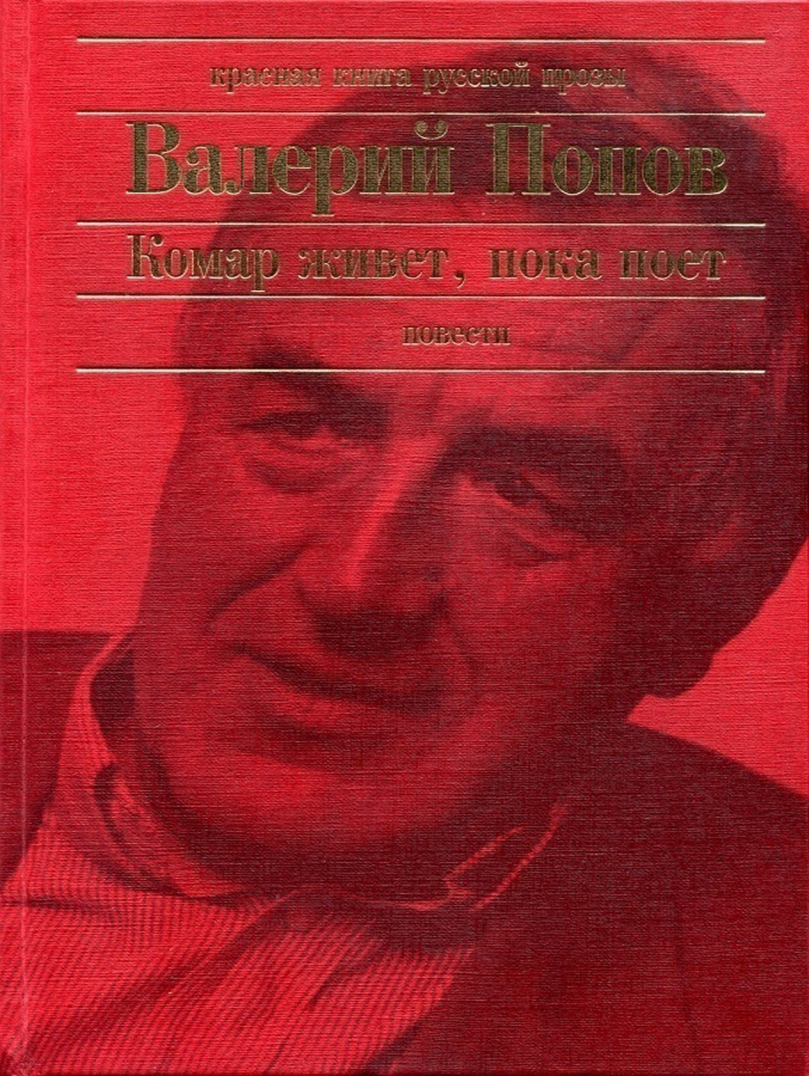
красная книга русской прозы

Валерий Попов

Комар живет, пока поет

повести



Комар живет, пока поет (Повести)

Валерий Георгиевич Попов

Аннотация
Untitled
В ГОРОДЕ Ю.
  ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ
    1. Воспоминание
    2. Отдых в горах
    3. Как я женился
    4. «Хэлло, Долли!»
    5. Жизнь сложна
    6. Муки не святого Валентина
    7. Попытка развода
    8. Бездна
    9. Уход
  ИЗЛИШНЯЯ ВИРТУОЗНОСТЬ
  ОСЕНЬ, ПЕРЕХОДЯЩАЯ В ЛЕТО. (Хроника)
    Утро в газовой камере
    Народные мстители
    Конец интеллигента
    Стакан горя
    Осень, переходящая в лето
    Возвращение в рай

ГРИБНИКИ ХОДЯТ С НОЖАМИ
Пули в пыли
Панночка
Болотная улица
Вор на ярмарке
Школа стресса
Собачья смерть
Бегущий по мостам
Кукушонок
ЧЕРНИЛЬНЫЙ АНГЕЛ. (повесть)
Млат водяной
Уродливый скат
Ужас морей — однозуб
Батя
Ненадежный оплот
Тревожный завтрак
Третье Тело России
Стенолаз
Святой Мефодий
Соскользнувшая мантия
Битва при Валерике
Святая Аграфена
Финиш
После финиша
ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ
Глава 1

Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
КОМАР ЖИВЕТ ПОКА ПОЕТ
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Аннотация

УДК 82-31
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
П 58
Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко
Попов В.Г.
Комар живет, пока поет: Повести. — М: Эксмо, 2006.
— 784 с. — (Красная книга русской прозы).

Валерий Попов, лауреат премий «Золотой Остап» и «Северная Пальмира»; в своих произведениях дарит нам добрый юмор, гротеск и занимательную интригу. Повесть «Чернильный ангел» — о трогательной и смешной судьбе интеллигента в нынешнее бестолково-суровое время. В книге собраны также лучшие повести писателя, где перемешаны добро и зло, трагедия и веселье.

ISBN 5-699-15786-7
© В. Попов, 2006
© ООО «Издательство «Эксмо», 2006

красная книга русской прозы

Валерий Попов

Комар живет, пока поет

повести

Москва
Эксмо
2006

В ГОРОДЕ Ю.

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ
1. Воспоминание

Вечером я сидел дома, и вдруг телефон, проржавевший от безделья, задребезжал.

— Алле! — Голос Дзыни раздался. — Ты, что ли? Все молчишь? Несчастье случилось. Леха утонул. В Бернгардовке я, на спасательной станции. Приезжай!

Та-ак! Чего-то в этом духе я и ждал! Примерно так все это и должно было кончиться...

Я стоял на платформе. Примчалась электричка, прожектором пожирая снежинки.

Я нащупал скамейку с печкой. Вагон дернулся...

Я сидел, пригревшись, и вспомнил вдруг одно утро — какое теплое оно было!

Мы трое, Леха, Дзыня и я, шли по улице. Было тихо, только мычали голуби, будто кто-то тер мокрой губкой по стеклу. Из парадной далеко впереди показался человек с тазом горячей воды. Из таза валил пар. Человек пересек улицу и скрылся в доме напротив.

Мы пришли на вокзал. В вагоне электрички

было свободно.

Постояв, электричка тронулась.

Потом мы с грохотом проехали мост. Вдруг в вагон вбежал человек.

— Опасность! — закричал он. — Опасность! Мы идем по одному пути со встречным!

С этим криком он пробежал дальше. А мы посидели молча, потом сощурили глаза и увидели, как по проходу вагона, деловито сопя, идет маленький встречный поезд высотой со спичечный коробок.

Два правила у нас было тогда: «Все, что можно придумать, можно и сделать!» и второе: «Нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать за час!»

Потом помню только: мы лежим на каком-то причале, голыми спинами на шершавых горячих досках, закрыв глаза, время от времени чувствуя через доски быстрые дребезжащие удары пяток. Потом доски выпрямляются, пауза... Несколько ледяных капель шлепается на живот, кожа живота блаженно вздрагивает.

Говорят, каждый день укорачивает жизнь. Не знаю. Такой день, может, и удлиняет!

...С Лехой, кузнецом своего несчастья, познакомился я давно, на первом курсе. Потрясающий был человек. Завтрак всегда с собой приносил в

аккуратном белом мешочке и в перерыве между лекциями засовывал голову в мешок — чтобы никто ничего не видел — и все съедал.

Колоссально мне понравилась эта его привычка.

Однажды, мы не были еще с ним знакомы, оказался я возле него на лекции. Вижу вдруг: по тетрадке моей муравей бежит. До края страницы добежал, голову вниз свесил, усами пошевелил и быстро к другому краю страницы побежал. Сбросил я его, гляжу — по другой странице трое уже бегут. Покосился я на Лехину тетрадь — она вся почти муравьями покрыта! Дальше посмотрел: целый муравьиный шлях через аудиторию тянется: от двери до потолка мимо окна к нашему столу.

Леха заметил мой взгляд, ухмыльнулся и говорит:

— Это мои ребята. Деревня наша так и называется — Мураши. И вот сюда даже за мной прибегли.

И действительно, где мы потом с ним ни были, всюду нас муравьи сопровождали!

В Эрмитаже — мчатся по уникальному паркету, в театре — лезут на четвертый ярус по бархату.

И везде здорово они нам помогали. Кто-нибудь

нехорошее про нас скажет или подумает даже — в ту же секунду бешено начинает чесаться!

Честно говоря, приятно было на экзамене увидеть вдруг, как муравей по носу экзаменатора ползет: не робей, мол, если что!

Потом Дзыня к нам присоединился. Сначала Леха не хотел брать его в нашу команду, все спрашивал, морща нос:

— Дзыня этот из простой, кажется, семьи?

— Да, он из простой семьи, но отец его известный дирижер.

— Да? Значит, я перепутал. Это мать его, кажется, совсем простая?

— Да, она простая, но она известная балерина.

— Неужто?

Все-таки полюбили они друг друга. Да и трудно было Дзыню не полюбить — таких людей теперь просто нет. Помню, как первый раз он в гости ко мне пришел... Семь кусков сахара в стакан открыто положил, а восьмой забросил незаметным баскетбольным движением из-за спины. После его ухода смотрю: две самые замечательные книжки увел. Третью почему-то не решится увести, но всю зато злобно искусал. Удивительный человек! На всех языках говорил, включая несуществующие, великолепно на ударных иг-

рал (за это его, наверное, Дзыней и прозвали) и параллельно с нашим вузом в консерватории еще занимался. Исключительный голос у него был. И слух. Запоет, бывало, — все цепенеют. Иной раз ему даже из других городов звонили, по автомату, чтобы только пение его послушать, пятнадцатикопеечные одну за другой швыряли в автомат, а Дзыня на другом конце провода ртом их хватал, не переставая петь. На следующий день, ясно, тратили все.

Замечательно мы тогда жили: легко и в то же время наполненно. Однажды, помню, спорили, про все забыв, всю ночь до утра — обратимо ли время? Утром выходит Леха из парадной и видит — время идет назад: редкие прохожие в переулке пятятся, такси вдруг проехало задом наперед. Леха долго стоял, оцепенев, а мы с Дзыней в булочной напротив подыхали от хохота.

Леха, он и тогда уже немножко занудой был, начинал иногда вдруг придираться к чему-нибудь, ныть:

— ...Ну почему ты говоришь, что все поголовно в тебя влюблены?

— А, что ли, нет? Ира влюблена, Галя влюблена, Наташа влюблена... Только вот Майя, как всегда, немного хромает.

— И ты будешь утверждать, что в тебя, в этих вот носках, кто-нибудь влюблялся?

— Конечно! До безумия.

— Брось врать-то. Посмотри лучше, как ты живешь!

— Как я живу? Нормально. Кресла утопающие. Сближающая тахта. Брюки с капюшоном. Чем плохо? Обошью еще свою полдубленку мехом, утреннюю зарядку делать начну, и мы еще поглядим, кто кого, товарищ Онассис!

— Нет! — Леха опять вздыхает. — Мы как-то не так живем. Хочется чего-то совсем другого — большого и светлого!

— Понял! — говорю.

Пошел я в другую комнату, вынес новые ботинки в коробке.

— Вот, — говорю, — для себя купил, но, раз уж так тебе этого хочется, бери!

— Как ты мог подумать? — Леха оскорбился.

Однажды позвонил я по телефону одной знакомой, она мне:

— Приезжай вообще-то... Только у меня жених мой сейчас, лесничий.

Приехал. Посреди комнаты на стуле хмуро сидит лесничий, почему-то в тулупе, с завернутой в окровавленную газету лосиной ногой... Сидим

так, молча. Час минул, полтора... Потом лесничий вдруг вскакивает — хвать лосиной ногой меня по голове!

— Так?! — Я тоже вскочил.

— Так! Дуэль?

— Дуэль!

— Завтра?

— Завтра!

— В четыре утра на Комендантском аэродроме?!

— Не, в четыре я не проснусь. В пять!

— По рукам!

Приехал я после этого к Лехе, уговорил его моим секундантом быть, потом к Дзыне заехали, рассказали.

— Тогда, может быть, в мягкой манере? — радостно потирая руки, Дзыня говорит.

— Так ведь денюх же нет! Де-нюх! — Леха вздохнул.

— Это необязательно! — Дзыня говорит. — Видели, в парадной внизу старик грузин с бочонком вина? К сыну приехал. И со всеми, кто в парадную входит, знакомится и — хочешь не хочешь — ковш вина.

— Да мы уж познакомились с ним! — Леха стыдливо говорит.

— Это несущественно! — Дзыня ответил.

Привязали быстро к батарее на кухне веревку, спустились с пятого этажа, вошли в парадную, познакомились, выпили по ковшу.

Пулей наверх, снова спустились по веревке, познакомились, выпили по ковшу вина.

Потом уже веревку отбросили, прямо прыгали из окна — для экономии времени.

Проснулся я на какой-то скамейке. Возле головы мокрый темный пень, обсыпанный сиренью. Голуби отряхивают лапки. Еж с лягушкой в зубах вдруг подбежал:

— Не желаете?

— Нет. Пока нет.

— Освежает.

— Нет. Пока не нужно. Спасибо.

Поднялся энергично, Леху на уютнейшей полянке нашел. Рядом милиционеры на коленях пытаются его разбудить, сдувая ему на лицо пушинки с одуванчиков.

— Нет, — с огорчением один говорит. — Не просыпается!

Стряхнули землю с коленей, ушли.

Разбудил я Леху своими силами, рассказал, как милиционеры пытались его будить.

— Не может этого быть! — Леха говорит. — Не

типично это.

— Ну и пусть, — говорю. — Наша, что ли, забота, чтобы типично было? Главное — хорошо!

Потом к Дзыне направились — открыл он нам, энергичный, подтянутый, даже загоревший.

— Чайкю?

— А сколько времени-то? — испуганно вдруг Леха спросил.

— Половина шестого примерно, — Дзыня отвечает.

— У тебя же в пять дуэль! — Леха с ужасом ко мне поворачивается. — Ты что же это, дуэль проспал?

— Мать честная! — говорю. — Проспать фактически свою смерть! Никогда себе этого не прошу! Нет, ну когда-нибудь, наверно, прощу...

— Может, успеем еще? — Леха спрашивает.

— Нет!

— И правильно, — Дзыня говорит. — На такси еще тратиться! Незачем это — самому себе неприятности организовывать за свой счет! Пусть другие этим занимаются, кому деньги за это платят. А мы лучше чайку попьем!

— Не понимаю только я, — Леха бурчит, — где же тогда духовная жизнь: мучительный самоанализ, мысль?

— Мучительный самоанализ, — говорю, — с трех до пяти. А мысль у меня одна: жизнь — это рай. И мне этой мысли вот так хватает! Ведь в жизни как? Что сам придумаешь себе, то и будет! Все сбывается, даже оговорки.

— Ну а вот сейчас как? — снова въедливо Леха спрашивает. — Ни копейки у нас! Это хорошо?

— Нормально, — говорю.

Наутро пью в кухне пустой чай. «Да, — думаю, — видимо, действительно жизнь сложна!» Вдруг Леха является, совершенно потрясенный. Лезет в кошель и вынимает оттуда сто рублей!

— Откуда?! — в изумлении у него спрашиваю.

— Слон дал.

— Как слон? — говорю. — Ничего не понимаю.

— Я сам ничего не понимаю! — Леха отвечает. — Заглянул я случайно в зоопарк. Стою задумчиво перед вольером слона и вижу вдруг — слон улыбается и протягивает мне в хоботе сто рублей!

— Колоссально! Откуда же это у него?

— А на груди у него такая складка вроде кошеля — оттуда, наверное, — Леха говорит.

— Да я не о том! Откуда вообще деньги у него?

— Может, на еде экономит?

Задумчиво плечами пожали... Тут звонки раздались. Дзыня появился. Быстро сориентировался:

— Все в зоопарк!

По дороге волновались слегка, что не приглянемся мы с Дзыней слону, на ладошки плевали, волосы приглаживали. Но все удалось, увидел нас слон, улыбнулся и мне и Дзыне тоже по сто рублей протянул!

— Быстро на юг! — Дзыня говорит.

И в тот же день вылетели на ют — тут, кстати, и студенческие каникулы начались.

Помню, только самолет взлетел, Леха сразу шмыгнул с сумкой в туалет и вышел оттуда в плавках уже, в маске и с трубкой — чтоб ни секунды не терять!

В первый же вечер на танцы отправились. Леха, везет ему, какую-то местную красавицу пригласил — и в первый же вечерок довольно-таки здорово нас побили. С того вечера Леха, будучи человеком принципиальным, каждый день эту площадку навещал. И мы, естественно, с ним — свою ежедневную порцию побоев получать!

И вот идем мы однажды вечером по набережной, глядим, как солнце в море садится, — скоро, значит, на танцплощадку!

— Может, не пойдем сегодня? — я произнес.

— Пожалуйста! — Леха лицо напряг. — Вы, собственно, и не обязаны!

— Ну ладно, — Дзыня говорит, — зачем так ставить вопрос?! Но, может, пропустим вечерок? Голова больно гудит.

— Пожалуйста! — Леха говорит. — Я пойду один.

— Но зачем? — говорю.

— А что они подумают про меня?

— Не все ли тебе равно, что эти малознакомые люди подумают про тебя?

— А она? — Леха спрашивает.

— Кто она? Помнишь ли ты хоть ее лицо?

— Это абсолютно не важно! — надменно Леха отвечает.

— Да. — Тут я историческую фразу произнес:

— Четко можно сказать, что ты кузнец своего несчастья!

— Так, — со вздохом Дзыня говорит, — придется карате применять!

— Придется, видимо, — согласился Леха.

Занимались они карате давно уже. Бегали с Лехой на цыпочках ног и рук, с диким воплем бились с размаху головой о стену, удары бровями разучивали: левой, левой, потом неожиданно правой.

В номере Дзыня достал из чемодана длинный ларец черного дерева — батя-дирижер из Гон-

конга ему привез. На малиновом сафьяне лежат разные приспособления для карате. Особенно, помню, меня там жужжалка потрясла: боец крутит ее перед собой, она жужжит и всех, видимо, валит с ног.

Потом Дзыня шкаф распахнул, стал одежду выбирать для битвы. Решил одеться «совсем просто», как он сказал, — строгий джинсовый костюм!

Взяли мы волшебный ларец, но тревога меня не отпускала: не поймут они карате!

Так и получилось.

Дали нам, надо сказать, неплохо. Но на этом, к сожалению, история эта не прекратилась.

Леха с девушкой той, из-за которой сыр-бор разгорелся, переписываться стал! Тогда такое было: лишь то считается достойным, что достается с трудом.

И действительно: ничто нам так трудно не досталось, как невеста для Лехи.

Звали ее Дия. Каким-то холодом уже от самого имени веяло! Правда, Леха в разговоре со мной легкомысленно ее Дийкой называл, но чувствовалось — это только в разговоре со мной!

Однажды врывается ко мне потный, взъерошенный!

— Ну все! — Обессиленный, сел. — Согласилась она! Завтра приезжает!

— Ну, поздравляю тебя! — Лехе говорю.

Кивнул, счастливый, потом озабоченно спрашивает меня:

— Ты человек умный, разбираешься, что к чему. Скажи, куда б ее завтра повести, чем поразить?

— А ты к слону нашему ее отведи! — говорю.

— Точно! — обрадовался Леха.

На следующий день звонит, расстроенный страшно:

— Дийка говорит: «Это абсолютная дичь!»

— Да вы, что ли, ходили уже?

— Нет еще...

— Ну так сходите же! — ему говорю. Вечером звонит, абсолютно уже убитый, еле говорит:

— Дийка требует... чтоб мы все деньги... взятые у слона... вернули ему, иначе она немедленно уезжает!

— Замечательно, — говорю.

Продали все, что могли, вернули деньги.

Вскоре после этого Леха мне говорит:

— Знаешь, чего мы тут с Дийкой надумали?

— Чего?

— Решили свадьбу нашу у тебя на даче играть!

Честно говоря, для меня это неожиданностью

было — что свадьба их у меня на даче будет.

«Ну ладно уж, — думаю, — все-таки он мне друг. Не так много у него радостей в жизни. Пускай!»

Когда я в день свадьбы приехал на дачу, Леха, гордый, а-тю-тю-женный, водил меня по прибранным, украшенным комнатам.

— Красиво, старик? А? Красиво?

Я зато привез массу жратвы, все деньги, можно сказать, стратил. Ладно уж!

Потом гости появились. Какой-то романтик с гитарой. Доманежиевский, литературотоваровед. Еще какие-то. Никто не был знаком ни с Лехой, ни со мной, и никто, главное, и не собирался с нами знакомиться!

Невеста приехала в велюровой шляпке. Где-то на крайнем Западе, говорят, снова такие в моду входят, но у нее-то она от позапрошлой моды осталась — это видно!

Ну ладно уж — решил сготовить им грудинку баранью с разварным рисом. Когда я притащил из кухни блюдо, перегородка между столовой и кабинетом была свалена, лежала на полу, гости ходили по помещению туда-сюда.

— Это по договоренности, старих, по договоренности! — Леха залопотал.

Какой я ему еще «старих»?! И по какой это «до-

говоренности»? Видимо, не так себя понял!

Потом кто-то столкнул со стула мой пиджак прямо в ванночку с проявителем. В доме воды не было, пришлось бежать чистить пиджак на улицу к колонке. Тут вдруг подошел ко мне какой-то странник, с палкой и бородой (вот это действительно — «старих»!).

— Милок, помоги до дому добраться!

— А где ваш дом-то?

Показал светящиеся маленькие окошки — жутко высоко, видимо, на небе.

— Да нет. Понимаете, не могу. Пиджак вот проявил, надо теперь закрепить.

— Я уж рассчитываю на тебя, милок.

Что значит — «рассчитываю»? Минуту назад он вообще ничего о существовании моем не знал.

Впился он в локоть мой железными пальцами. Повел. Долго шли мы с ним, приблизительно вечность. Вошли наконец в какие-то сени. Странник взял стакан, с шуршанием запустил в какой-то мешок.

— Семецки, сусаные. На цедаке, под залезом.

— А-а. Спасибо! — говорю.

Выскочил, заскользил быстро вниз. И главное, когда наверх еще поднимался, видел, оглядываясь, зарево какое-то. Радовался, как дурак:

«Северное сияние?»

Но когда, с болью дыша, примчался вниз, все было кончено.

Дача сгорела, невеста, вспылив, уехала, только Леха, балбес, болтался по пепелищу, лопоча:

— Все нормально, старих, все нормально! Потом он шел сбоку от меня, заглядывал в лицо.

— Ничего, старих? А? Ничего?

— Ладно уж, — ответил я, — ничего!

Вскоре после этого Леха от муравьев своих любимых решил избавиться. Пришел однажды к нему, застал в горьких слезах. В одной руке у него маленькая, в другой хлорофос. Из маленькой глоток отопьет, потом хлорофосом на себя брызнет.

— Надоели мне эти муравьи, — в слезах говорит. — Не выйти с ними никуда в приличное общество!

И снова из маленькой отхлебнул и хлорофосом себя обдал!

Вышли мы с ним потом на улицу, сразу же к нам огромная колонна муравьев побежала. Потом, едкий запах хлорофоса почуяв, передние тормозить начали, заворачивать. Колонна вопросительным знаком изогнулась.

Впервые я видел так наглядно, как от человека удача его уходит!

Потом защитили мы дипломы. Нас с Лехой в зональный институт проектирования направили, а Дзыня, ловкач, в архитектурно-планировочное управление проскользнул.

И надо отметить, что руководитель нашей с Лехой мастерской — все у нас Орфеичем его звали — не особенно нас взлюбил.

Ну, понять можно его: папа у него был Орфей, а он лишь Орфеич получился, поэтому злоба из него так и лилась. Пытался незадачливую свою жизнь под обстоятельства подвести: такие, мол, нынче обстоятельства, что лучше и пытаться не надо ничего сделать. Слышал я разговоры эти миллион раз! Будто раньше когда-то обстоятельства другие были. Ерунда! При любых обстоятельствах, самых крутых, пытаться надо делать что-нибудь, а от трудов твоих и обстоятельства, глядишь, к лучшему переменятся!

Лехе я это сказал — он сморщился.

— Оптимизм твой просто меня бесит! Сам посуди, ну как тут можно развернуться, если столько ограничений на все наши проекты: денег экономия — раз, площади экономия — два...

— Мыслей экономия — три! — говорю ему. — Все вы радуетесь этим ограничениям — без них бы собственное убожество наружу вылезло, а так

на ограничения все свалить можно!

Часто мы с ним ругались.

Однажды вышли из института.

— Ну как ты живешь вообще-то? — Леха спрашивает, заранее вздыхая.

— Нормально! — говорю. — Жизнь удалась. Хата богата. Супруга упруга.

— А я нет! — Леха говорит.

— Что ж так?

— Да так, — Леха отвечает. — Жизнь сложна!

— Жизнь сложна, — говорю, — зато ночь нежна!

— Как же, — Леха обиделся, — ночь нежна! Знаешь, какие сны мне снятся! Тебе нет?

— Снятся вообще-то. Недавно, например, наяву все вспомнить не мог, где шапку забыл. Только заснул, вижу: вот же она где! Нет, снами я доволен. А что?

— А угрызения разве не снятся? Кошмары?

— Нет. Как-то еще нет.

— Ты что же, Фрейда еще не читал?

— Еще нет!

— Вот ты говоришь — «ночь нежна». — Пригнулся. — А знаешь, что мне жена моя изменяет? Налево и, что самое обидное, направо?..

Поехали ко мне, попили чаю с грудинкой. Леха

допивает вторую чашку, встает.

— Ну, мне, к сожалению, пора.

— Давай, — говорю, — еще посидим. Скажешь, что на работе задержался. Пойду сейчас еще грудинки куплю...

— Да нет, — Леха говорит. — Женщины, в отличие от Вия, все видят, не поднимая глаз!

Проводил я его до остановки. Леха вдруг жаловаться стал:

— Недовольна все, говорит: «Когда хоть за границу поедешь, красивых вещей мне привезешь? Все уже ездят за границу, привозят своим женам красивые вещи!» А чего, спрашивается, ей не хватает? Одних кофт — две! Говорит, за все время трех слов с ней не сказал!

— А давай я скажу! Какие надо сказать слова?

— А что? — Леха говорит. — Поехали ко мне! Знаешь, что будет нас ждать? Мясо в фольге!

Пока ехали мы, я еще надеялся: может, действительно она холит его и лелеет? Приехали, вижу: какая там холка и лелейка! Она и себя-то не холит, не говоря уж о том, чтобы лелеять! Сразу же в комнате захлопнулась. Леха, естественно, сник. Взял я кувшин на кухне, спрашиваю:

— Что внутри у него? Содержимое?

— На твои идиотские вопросы трудно отвечать!

— нервно говорит.

Направился к ней. Слышу: обвиняет она его, что с работы он опоздал.

— Сегодня только! — он говорит. — Пойми, к другу зашел!

— Сегодня! — она говорит. — У тебя каждый день «сегодня»! (Странное, если вдуматься, обвинение!)

Возвращается Леха на кухню, вздыхает:

— Угостить тебя, сам понимаешь, нечем, так что пока в комнате посиди, а то я бренчать тут буду, тебе мешать.

А говорил — мясо в фольге! Дали бы хоть фольги пожевать!

На следующий день встретились мы на работе с ним, в обеденный перерыв пошли в буфет.

Работал у нас тогда такой Змеинов. Всегда четко знал, что модно сейчас, что современно, другого ничего для него просто не существовало. И выглядел соответственно: дымчатые очки, бородка, трубка, шарф, свисающий до земли. Помню, как он, взяв в буфете чашечку кофе, держа ее перед собою на блюдце, другой рукой придерживая трубку, зорко оглядывал зал, соображая, куда сесть. И обычно не ошибался: садился к тому, кто самый модный был, самый успешный. Сидел,

кофе отхлебывая, вел интеллигентную беседу — и вдруг случайно узнавал, что у человека, с которым он сидит, все переменилось: украли пальто, благодарность заменили на выговор, сын попал в вытрезвитель. Тут же Змеинов вставал, брал недопитую чашечку, пересаживался за другой стол, к новому корифею. И если снова узнавал: не этот самый модный, а тот, что в углу сидит, — тут же вставал, извинившись, забирал кофе, попыхивая трубочкой, шел через зал. Одной чашечки кофе ему обычно на несколько человеческих судеб хватало.

Пока мы считались с Лехой молодыми и дико растущими, Змеинов, бывало, до трети чашечки с нами выпивал. Леха доверился ему, рассказывал подробно о своих планах.

И вдруг в этот день, только начал Леха рассказывать, Змеинов, ни слова не говоря, встает и тянется к своей чашечке. Леха аж позеленел от такой подлости, мотнул головой и плюнул Змеинову прямо в чашку!

Помню до сих пор Змеинова позу, немой укор в его взгляде: «Как же я теперь, с плевком в чашке, буду за новые столики садиться?»

Ушел Змеинов, Леха говорит:

— Ну, что? Может, неправильно я сделал?

— Правильно. Но, в общем-то, по Змеинову измеряя, популярность наша стремится к нулю...

Через несколько дней направлялся я вечером к Лехе в гости. С тех пор как понял я, что не очень весело они живут, стал довольно часто к ним заходить. Перед домом их возле гастронома сталкиваюсь с профессором Корневым. Здорово он в институте меня любил, колоссальные надежды на меня возлагал.

— Ну, что вы? Где? — участливо спрашивает. — Что-то совсем про вас ничего не слышно.

— Да знаете, — говорю, — семья, дети...

Он понимающе кивает, стараясь при этом не смотреть на две поллитры в моих руках.

Лехе я в комическом ключе случай этот пересказал, но он неожиданно трагически все воспринял:

— Я давно уже говорю, что жизнь не удалась. Как сам-то ты думаешь: если человек вырастет среди домов, которые мы с тобой рисуем, сможет он когда-нибудь художником стать?

— Конечно, нет!

— И мы это делаем, представляешь?

Я и сам начал понимать в последнее время, что не все так уж блестяще идет, как предполагалось.

Раньше я думал, беда в том, что тебя спросят, а ты не сможешь ответить. И стоит только усиленно заниматься... И понял вдруг совсем недавно: беда в том, что никто тебя и не спросит!

— А давай, — Лехе говорю, — сделаем на конкурс! Слышал небось, конкурс объявлен: культурный центр северного поселка улучшенного типа. Солярий, розарий, дискуторий — и все это желательно под одной крышей.

— Да нет, — Леха говорит. — Все равно Орфеич работать нам на конкурс не даст. Наш удел — коробочки рисовать!

— А полагается же нам творческий отпуск? Давай возьмем творческий отпуск за свой счет!

— А Дзыню возьмем?

— Конечно! Поселимся у меня и будем работать! Колоссально!

На следующий день я к Дзыне поехал. Он принял меня уже в отдельном своем кабинете.

— Надо уметь жить! — высокомерно говорил, небрежно проливая мне арманьяк на брюки.

Но в проекте нашем участвовать милостиво согласился.

Помню, в день, когда мы должны были начинать, Леха пришел, а Дзыни все нет и нет. Выглянули от нетерпения с балкона, видим —

красные его «жигули» выезжают на перекресток и подруливают зачем-то к стоянке такси... Какие-то тетки с узлами к нему бросились. Быстро сговорились — и Дзыня уехал! Вот это да! Видно, решил — и вполне, надо отметить, справедливо, — что дело это гораздо более надежное, чем какие-то непонятные проекты создавать!

Стали работать с Лехой вдвоем.

Но ни черта не получалось. Хочется придумать что-то новое, а рука привычно рисует прямоугольник! И розарий, и солярий, и дискуторий должны размещаться в нем.

Да и потом, не все новое хорошо. То есть сразу видно, что в нем будет хорошего, но никогда заранее не узнаешь, что в нем будет плохого. Придумали, скажем, круглые дома. Свежо, оригинально. Начали строить. И стали образовываться в круглых дворах этих домов вихри. Выйдет старушка на балкон снимать белье, неожиданно образуется вихрь — старушку уносит!

Потом уже в погоне за оригинальностью мы с Лехой до полного абсурда докатились. Совершенно дикая родилась идея: сделать культурный центр в виде стоящего человека... В глазу — бар.

— Да-а, — Леха говорит. — Видно, ничего у нас не получится! Все равно Бескаравайный нас

обойдет. Сам знаешь, что это за человек, растет на глазах!

Действительно, на последней архитектурной конференции наблюдался феномен: рос Бескаравайный буквально на глазах!

И еще — это только говорится: отпуск за свой счет. А какой счет? Никакого счета и нет!

Открыл я как-то ящик стола, оттуда вылетела вдруг бабочка. Поймали, убили, сделали суп, второе. Три дня ели.

Однажды рано утром вышел я на прогулку. Сорвал с газона ромашку, стал лепестки обрывать... И вдруг понял: форму ромашки должен иметь наш культурный центр — розарий, солярий, дискуторий под отдельными крышами и сходятся к общему центру, как лепестки. Примчался домой, с Лехой поделился. Он говорит обидчиво:

— Гениально! Но это ты, наверное, сам же и будешь делать?

— Ну почему же! — говорю. — С тобой! Стали мы чертить с нашей любимой песней «Елы-палы» дни напролет.

Сделали наконец, понесли. Секретарь конкурса — Дзыня. Сидит, головы не поднимает.

— Что у вас?

— Ты, харя! — говорю. — Поднимай хоть глаза,

когда с тобой разговаривают!

Он обомлел.

Потом разговорился все-таки, стал объяснять, что в конкурсе многие именитые архитекторы участвуют, не нам чета. Что главная трудность — во второй тур пройти, там только начнется настоящее рассмотрение...

Стали мы ему намекать, что жизнь на месте не стоит, что в городе много новых точек открыто, где встретиться можно за дружеским столом.

Приблизительно месяц он нас мурыжил, потом вызывает: проект наш пробился во второй тур.

Подмигивая, вывели его на улицу, провели мимо всех ресторанов — и неожиданно вводим в пышечную, берем три пышки обсыпные, три бумажных стаканчика кофе. Потом в эти же стаканчики, влажные, разливаем под столом бутылку портвейна... Все!

Но, как оказалось, Дзыня нас нагрел, а не мы его! Выяснилось, что никаких двух туров и нет, все проекты рассматриваются одновременно и равноправно, а рассмотрение состоится на Всесоюзной архитектурной конференции в Ереване.

Летели мы в Ереван на Ту-154, на высоте пятнадцати тысяч метров... Леха нервничал все, в иллюминатор смотрел. Далеко внизу, на белых

облаках, тень нашего самолета бежала, как крестик.

— Страшно, если вдуматься, — Леха говорит. — Пятнадцать километров до земли!

— Что страшного-то? — отвечаю. — На такси трешка!

Стали снижаться наконец. Окунулись в облака. Потом удар, в иллюминаторе побежало рыжее поле, на краю поля — вислоухий вертолет.

Вышли на трап, первое ощущение — сухой горячий воздух, как на сковородке. Над горизонтом, будто облака, две белые вершины, иногда оттуда доносится короткое ледяное дыхание, словно глоток холодной воды после чашки густого горячего кофе.

Рассадили нас по машинам — каждому участнику отдельная машина, — повезли через Ереван. Да, неспроста Ереван местом архитектурной конференции выбран — замечательно строят! Дом молодежи — огромный кукурузный початок... Хранилище древних рукописей — Матенадаран...

В Доме техники, где конференция собиралась, толпа гудит в холле, люди тусуются, руки пожимают.

— И Жупелов здесь! — почему-то шепчет Леха.

— Академик Аскетян! Все!

Вечером поместили нас в гостиницу. Ужинаем в буфете на этаже, Дзыня появляется с завязанным горлом.

— Вы разве не знаете, — надменно говорит, — я простужен!

Как будто все в мире непременно должны об этом знать!

Долго куражился, требовал у буфетчицы подогреть шампанское. Только буфетчица кремневая оказалась — такую и охладить не заставишь, не то что подогреть!

— Ладно, — Дзыне говорю. — Иди сюда. У нас есть.

— А теплое? — капризно спрашивает.

— Теплое, — говорим, — целый день за пазухой носим.

Подсел Дзыня к нам, говорит:

— Только вы сами открывайте, и поосторожней, а то я очень изысканно одет, боюсь забрызгаться...

Вот это человек!

Выпил все наше вино, потом говорит:

— Наши очаровательные хозяева добавили нам еще несколько экскурсий — на озеро Севан, в храм Гехард...

— Замечательно! — говорим.

— ...так что число сообщений на конференции придется, видимо, сокращать. Понимаете?

— Понимаем.

— Ну, хорошо. — Дзыня говорит. — Пойду, чтобы не отвлекать вас своим обаянием.

Ушел. Леха говорит:

— А ведь возьмет и не выпустит нас!

— Выпустит!

Тут Леха снова за старое принялся:

— Все равно Бескаравайный нас победит! Сам знаешь, что это за человек, растет на глазах!

Потом рассказывать стал откровенно, что есть у него, оказывается, застарелый какой-то враг: звонит его жене, когда его нет, и всяческие гадости про него говорит, и главное — все в точку! Стал подробно рассказывать, как ко встрече с этим врагом готовится: карате, с бегом по потолку, стрельба по-македонски.

— Да брось ты! — говорю. — Нет у тебя никакого врага!

— Как это нет? — обиженно.

— А так и нет. Врага, как и все на свете, надо создавать своим трудом, долго и упорно. А откуда у нас время еще и на это?

— Так, думаешь, нет его?

— Конечно, нет.

— Выходит, я сам себе и звоню?

— Ну, конечно!

— Твой оптимизм меня просто бесит, — Леха говорит.

— Ничего, — говорю. — Он всех бесит.

Наутро сделали мы сообщение... Колоссально! Сам академик Аскетян нас обласкал! На следующем заседании сообщили: нашему проекту культурного центра — первый приз!

Проект же Бескаравайного, как выяснилось, рядом не лежал. Такой удивительный оказался человек: рос только на глазах, причем только на наших. Лишь исчезал с глаз — сразу же переставал расти!

Да что Бескаравайный! Подумаешь! Если мы и были в его тени — значит, не с той стороны падало солнце...

— Как-то все не так, — Леха озабоченно говорит. — Должны же быть трудности, тысячи преград!

— Ох, мать честная! — говорю. — А я и забыл! Аскетян, руки нам пожимая, говорит:

— А я почему-то думал, что вы моложе.

— А мы и есть моложе, — отвечаю. После Еревана еще в Тбилиси заехали... Замечательное место — тбилисские серные бани. Буквально после

них становишься другим человеком — тут же, в предбаннике, вручают тебе новые документы!

Возвратились на работу. Идем с Лехой, как обычно, в буфет. Только появляемся — к нам, сметая все на пути, устремляется Змеинов с чашечкой кофе...

Вскоре нам премию присудили за наш проект. Леха этим известием почему-то совершенно потрясен был.

— Шестеро тысяч денег! — повторял. — Это ж машину можно купить, на двоих!

Помню, когда мы сумму эту на руки получили, всю ночь ее у меня перепрятывали, боялись, кто-нибудь украдет.

Утром выскочили из дома. Поехали машину получать — институт нам выделил ее из своих резервов.

Помню, магазин автомобильный за городом был. Долго автобус еще стоял у переезда, как раз состав пропускали с автомобилями на платформах. В некоторых почему-то уже люди сидели.

Добрались наконец до магазина.

Очередь в маленькое окошко. Кассирша кричит:

— Никому не отходить!

Сама пропала — часа полтора, наверное, ее не

было. Появляется потом, грубо орет:

— Иванов! Иванов! Вы где это шляетесь?!

Подбегает на трясущихся ногах.

— Я здесь был! Я никуда не отходил!

А сам уже думает небось: «Ну, все! Машины, конечно, уже не будет, и деньги за нее, наверное, не вернут!»

Вывели тут и нашу машину, стали в последний раз ее осматривать. Кузнечик вдруг впрыгнул на заднее сиденье.

— Ну, все, — говорит, — все наши в сборе! Помчались мы по шоссе.

— Неправильно едем! — Леха говорит.

— Зато красиво!

Вдруг выскакивает из кустов человек с полосатым жезлом, останавливает.

— Да я из ваших прав, — говорит, — вологодские кружева сейчас сделаю!

— А у нас нет еще их, — отвечаем.

— Ых! — зубами только скрипнул и компостером со злости дырку в своем рукаве пробил.

Потом поставили мы машину во дворе, а сами долго пили у меня чай...

— Я тут думаю все, — вздыхая, Леха говорит. — Делаем свое дело с наслаждением да еще получаем за это наслаждение деньги. Морально

ли это?!

— Норма-ально! Пойми: существует новое направление в архитектуре. И кто лежал у его истоков?.. Вернее, не лежал, а стоял... Я! То есть ты, ты!

После этого мне еще от института квартирку дали. Долго ждал я — и тут дали.

По такому случаю мы выпили слегка с Лехой. Дия не совсем одобрительно нас встретила.

— Вот, — Леха говорит, — гению нашему квартирку дали!

Метнула она на него взгляд, обозначающий, видимо: «А почему не тебе?»

Но Леха взгляда этого не заметил, говорит:

— ...Только вот мебели никакой у него нет, может, подарим ему наш пуфик, все равно мы им не пользуемся давно?

Метнула на него взгляд, молча ушла. Потом, начал я уже домой собираться, в комнату заглянул с нею проститься, гляжу: стоит она перед пуфиком на коленях и сигаретой прожигает в нем дыры!

Вынесла мне пуфик — из дыр еще дым идет!

— Пожалуйста, — говорит.

Привез я его домой, поставил... Ничего! Все-таки вещь.

И тут ошеломляющее известие: нас с Лехой, как подавших уже надежды специалистов, посылают на полгода в Болгарию на стажировку!

Леха обрадовался:

— Ну, наконец-то! Наконец-то я съезжу за рубеж, красивых вещей Дийке привезу, как она мечтала!

День спустя выясняется: необходимо медицинское освидетельствование.

— Так я и знал! — горестно Леха говорит. — Так я и знал, что не выйдет ничего, давно уже чувствую себя неважно!

— Спокойно! — отвечаю.

Назавтра отправились мы с ним сдавать на анализ мочу. Было ясное осеннее утро.

Леха задумчивый шел, потом говорит:

— А давай поменяемся мочой!

— Зачем?!

— Ну так. Чисто дружески.

— Давай!

Поменялись пузырьками, перевесили ярлычки. Через неделю интересуемся анализами, нам говорят:

— Вы (то есть я) можете ехать куда вам угодно, а вы (то есть Леха) по состоянию здоровья ехать никуда не можете.

Раскрыл я только рот, чтобы сказать, что все наоборот, что это я, оказывается, больной, а Леха здоровый... Леха выталкивает меня в коридор.

— Молчи! Понял, молчи! — шипит. — Узнают про наш обман, обоих не пустят, а так уж хоть ты поезжай... Ладно уж!

Уговорил все-таки меня, но, видно, и обиделся, что я согласился.

Сначала не хотел я ехать, потом подумал: «А почему, собственно, не я? Работаю нормально. Знаю языки. Характер отцовский, бойцовский... Чем плохо?»

...Только вернулся я из Болгарии — в первый же вечер к Лехе. Подарки принес: ему рубашку, жене — свитер, дочурке их — блок жвачки. Сидел, долго рассказывал, как показалось мне, очень интересно.

Поздно уже вышел от них... Спускаюсь по лестнице и вспомнил: курточку свою у них забыл! То-то я ощущаю, что как-то неловко плечам.

Помчался наверх по лестнице, вижу — и дверь не закрыл. Только хочу войти — слышу глухие их голоса.

— Его, что ли, курточка? — Леха спрашивает.

— Его! — Дия говорит. — Давай мни!

Тут я чуть прямо на лестнице в обморок не

упал.

Я-то считал, что они меня любят, а они, оказывается, ненавидят, даже курточку мою спокойно не могут видеть!

Приехал я к себе домой, часа два по комнате бегал, успокоиться не мог.

И примерно после этого дня стал я чувствовать себя иногда нехорошо. Какая-то тяжесть по утрам в желудке, потом вдруг резкая боль, словно кто-то нож втыкает в живот. И все чаще стало прихватывать. То и дело сидишь, скорчившись, на скамейке, руками живот обняв, прикидывая на глазок, как бы до следующей скамейки добраться!

Однажды остановился я передохнуть, стал «Медицинскую газету» читать. Почитаешь, закроешь глаза... в темноте зеленые буковки мерцают.

Снова открываешь глаза, читаешь: «...серповидная опухоль в низу живота... увеличение опухоли к вечеру... боль при длительной ходьбе».

«Что ж это? — вдруг я опомнился. — Ведь это же у меня! Все думал — так, ерунда, а оказалось — болезнь, и вот даже в газетах про нее пишут».

Вспомнил еще, как Леху по моему анализу в Болгарию не пустили.

Все ясно.

Стал двухкопеечную монету искать, чтобы знакомому одному врачу позвонить, — руки дрожат, никак в карман не попасть!

Рядом стоял покачивающийся человек.

— Двухкопеечную, что ли? Дам!.. Все равно мне некому теперь звонить-то!

Дозвонился знакомому своему врачу, приехал к нему, он говорит:

— Ну, поздравляю! Одной ногой уже, можно сказать, ты в могиле! Надо срочно оперироваться, иначе худо!

Утром пришел я в поликлинику, назанимал очередей — послали меня сразу же на анализ крови, рентген и прогревание.

Горбоносый мужчина из очереди спрашивает меня:

— Вы в какой конкретно очереди стоите?

— Да понимаете, — говорю, — предпочтения еще не отдал.

— Тройную игру ведешь? — озлобился он.

Хотел я тут даже четверную повести — над укольным кабинетом лампочка замигала, врываюсь туда... Протягиваю свои бумаги.

— Уколы, — говорят, — вам не прописаны.

— Не прописаны? — говорю. — Жаль.

Снова стал тройную игру вести. Лежу в кабине-

те процедурном на прогревании, а одновременно с этим еще в двух очередях стою! Какой-то я виртуоз!

Выскочил с прогревания, с ходу — на рентген: холодную резиновую раму прижали к груди... Выскочил с рентгена, а тут и на кровь моя очередь! Замечательно!

Выскакиваю я, сдав кровь, горбоносый мужчина мне говорит:

— Чего радуешься-то? Ведь ты больной!

Тут я, честно говоря, немного приуныл. «Ничего, — думаю, — может, вылечусь еще?!»

Перед больницей встал я рано, побрился, надел новую футболку, трусы.

«Надо пораньше, — думаю, — пойти, а то все лучшие койки разберут!»

— Ты, — мать говорит, — прям как на праздник собираешься!

— А как же? — я говорю.

Когда я пришел к больнице, ворота были еще закрыты. Я подождал.

Впустили наконец в приемный покой. Там говорят:

— Ну что, будем оперироваться?

— Сразу?

— Сразу.

Подзывают молодого гиганта в халате и шапочке.

— Познакомьтесь, — говорят, — ваш хирург.

— Федор, — подает он огромную ладонь.

— Привет, — говорю. — Как, много операций делал?

— Пока, — говорит, — только на покойниках.

— Как?!

— Вот так. Все к профессору рвутся, а у меня никто не хочет оперироваться. Так, видно, и не начну.

Сначала мне страшно стало, потом думаю: «Что же это я? Говорю всегда, что молодежь надо продвигать, а сам ей, получается, продвигаться не даю?»

— Все! — говорю. — Делай! Куда мне?

— Да подожди ты, — радостно Федя говорит. — Завтра еще оперироваться, сегодня процедуры будут!

— А-а-а... Жаль!

Переоделся в больничную байковую пижаму, быстро отправился вслед за Федей в палату.

— Здравствуйте, — бодро говорю.

Молчат. Только кто-то стонет в углу, пытаясь для приличия перевести стон как бы в кашель. Вдоль кровати у него с двух сторон вставлены

доски, только тонкий нос торчит между досками, как из...

Лег я на свою койку, долго неподвижно лежал, глядя в потолок. Потом появилась мужеподобная сестра, басом говорит:

— Брили живот? Идите брейте! За вас никто этого делать не станет!

В тускло освещенной уборной брил я живот и плакал. Жалко все-таки умирать.

Потом процедуры были. Потом вечер настал. То есть в городе еще, наверно, гуляют вовсю, а здесь тусклый свет, тишина. Сосед на ближней койке храпит, волны от храпа идут по одеялу!

Вдруг зажегся яркий свет, сразу вошли много людей в белых халатах.

— Что?! — Сосед встрепенулся.

— На операцию, — ему говорят.

— Как, прямо сейчас? Можно хоть домой позвонить?

— Нечего звонить, все будет нормально!

Переложили его на длинную каталку, увезли.

Долго я лежал в темноте, смотрел на светящиеся свои часы. Час минул... два... Может, в другую палату после операции его увезли?

Понимаю, что надо выспаться, а не могу. Тянется обрывками не сон, а какой-то бред.

...В глухой темноте и тишине я спускаюсь куда-то по ступенькам, и чей-то знакомый голос на ухо говорит мне, что вот получил новую мастерскую, но света в ней нет и окон тоже.

— Хочешь пощупать последнюю мою работу? — спрашивает он.

Вытянув руки, я начинаю двигаться во тьме, которая оказывается вдруг бескрайней, бесконечной!

— ...Сюда иди, сюда... — слышится голос все глуше...

Я проснулся весь в липком поту и вдруг увидел на соседней кровати Дзыню: он лежал прямо в костюме, в ботинках, закинув ладони за голову.

— Вот так! — хвастливо произнес он, повернувшись ко мне. — Говорят, трудно в больницу лечь, коек нет. А мне это раз плюнуть: захотел — лег!

И так же внезапно исчез.

Ну, тип! Я лежал, радостно улыбаясь, хотя понимал, что появление здесь Дзыни мне пригрезилось.

Потом я незаметно уснул и вдруг, резко проснувшись, сел на кровати. Было еще темно, но во дворе уже светилась цепочка окон — путь в операционную.

Я встал, умылся, почистил зубы. Побрился.

Потом, не снимая пижамы, лег на кровать, стал читать найденную в тумбочке растрепанную книжку — почему-то про подводное плавание.

В коридоре вдруг послышалось тихое дребезжание тележки... За мной?.. Мимо. Снова лежал, читая, прислушиваясь к звукам в коридоре... Все! Наверное, уже не придут, наверное, отменили.

И когда все сроки, казалось, минули, неожиданно растворилась стеклянная дверь, появился Федя.

— Пошли?

— Как?.. Прямо так?

— Конечно!

Встал, стал искать в тумбочке амулет, который мама мне дала, не нашел. Ну, ладно! Пригладил только волосы...

Федя, гигант, шагает широко, трудно за ним поспеть!

По галерее подошли к белой двери с надписью «Операционная. Посторонним вход воспрещен». Вошли. Резкий запах лекарств. Свернули в большую комнату. Забрался с табуретки на узкий высокий стол. Сестра тут же не видимыми мне завязками привязала к столу руки и ноги. Я стал сосредоточенно смотреть на висящий под потолком большой блестящий круг со светильниками,

и вдруг светильники матово зажглись. Я быстро отвернулся. Потом надо мной повисло лицо Федора, закрытое до глаз марлевой повязкой. Он сожмурил оба глаза, видимо, подмигнул и опустил перед моим лицом белую занавеску.

Я лежал неподвижно, потом вздрогнул, почувствовав, как в живот воткнули что-то круглое и толстое.

Ввели наркоз.

Потом я понял, что меня разрезают, медленно, с хрустом продлевают разрез все дальше. Федя о чем-то тихо заговорил с сестрой. Я почувствовал, что внутренности мои оттягивают в стороны какими-то крючками — мелкими, острыми, вроде вязальных.

Потом стали нажимать чем-то тонким и твердым, вдавливать что-то внутрь меня.

— Больно? — спросила сестра.

— Нет.

— А почему тогда надуваете живот? Не надувайте, вы не даете нам ничего сделать!

Значит, они ничего еще не сделали!

Снова началось растягивание, потом — вдавливание.

— Больно? — услышал я голос сестры. — Вам нельзя больше добавлять наркоза. Терпите. Я

лежал, глядя в потолок.

— Все! — вдруг сказал я.

Все поплыло, затошнило меня, никак не вздохнуть...

— Что? — появляясь, словно издалека, спросила сестра.

— Что-то не то.

— Дышите! — строго проговорила она.

Потом около моего лица оказались двое в белых шапочках. Один держал в ладони трубку, другой — тампон. Щекотка нашатыря проникла в ноздри.

— Все! — шумно вздыхая, с облегчением сказал я.

Прохладная девушка, оказавшаяся рядом с моей головой, тампоном промокнула мне пот.

Потом началось короткое щелканье — вроде бы ножниц.

Я скосил глаза на стенные часы. Операция продолжалась пятьдесят минут!

Но главное — дверь в операционную так и ходит ходуном, входят и выходят разные люди, скучающе смотрят на меня, обращаются к Феде: «Федя, ты взносы уплатил?!» Или: «Федя, ты скоро освободишься?»

— Э, э! — сказал я. — Друзья! Может, не стоит

вам отвлекать хирурга?

Тут я почувствовал колоссальное облегчение.

— Ну, все! Самое страшное позади! — улыбаясь, сказала прохладная девушка.

Потом начались тонкие укольчики, видимо, от иглы — и все в одном и том же месте! Что они там, вышивают, что ли?

Потом я вдруг увидал, как с потолка зигзагами спускается пушинка.

— Э, э! Куда? — Я стал ее сдувать.

— Не надувайтесь же! — уже с отчаянием проговорила сестра.

Я услышал шершавые звуки шнурования.

Потом я увидел огромную белую спину Федора, выходящего из операционной.

— Что? Вспылил? — улыбаясь, спросил я прохладную девушку.

— Все! — ответила она.

К столу подкатили каталку, меня перевалили на нее. Я ощущал блаженство и покой.

Весело крутя головой, я ехал по широкому коридору.

Когда меня привезли в палату, откуда-то снова вдруг появился Федя, помог переложить меня на кровать и быстро удалился.

— Ну как? — поворачиваясь ко мне, спросил

сосед.

— Чуде-есно!

Снова появился Федя, уже успокоившийся.

— Ну, ты клиент! — покачал головой. — Ты зачем все время живот надувал?

— Видно, для важности.

— Ну, ничего! Весь кошмар позади. Старик, первая у меня операция!

— Старик, и у меня!

Мать пришла, часа полтора посидела.

Следом Леха. Начал жаловаться на тяжелую свою жизнь:

— ...Я говорю ей: «Ты ж знаешь, многих только после смерти признавали!» А она: «Ну, так умри скорей! Не пойму, что тебя удерживает?!»

Леха зарыдал.

Я в таком моем положении должен был его еще и утешать!

— Ничего! — говорю ему. — Все отлично!

Он вдруг начал каракули мои рассматривать, которые я в блокноте чертил, лежа на спине, обливаясь потом.

— Мне бы твою усидчивость! — непонятно буркнул.

...На пятый день Федя долго мял шов, морщился.

— Что? Нехорошо?

— Да. Нехорошо. Инфильтрат. Затвердение шва. Так что извини, если что не так.

— Ничего-о!

Все в палате начали понемногу шевелиться, вставать — и вот по комнате ковыляют белые согнутые фигуры, заново учатся ходить.

На двенадцатый день кто-то украл мою ручку-шестицветку! Замечательно! Всюду жизнь!

И вот — утро, когда я выписался. Рано, часов в пять, только открылись ворота, я уже выскочил. Было тихо, светло. Вдалеке кто-то пнул на ходу ногой — шарканье пустой гуталинной банки по асфальту.

В шесть оказался я возле дома Лехи. Дом, освещенный солнцем, еще спал. Цветы на балконах стояли неподвижно и настороженно. Но Леха, к моему удивлению, бодрствовал.

— Да... жизнь не удалась! — сказал он, когда я, хромая, вошел в залитую солнцем кухню.

— Удала-ась!

Тут выглянула в кухню Дия, сухо кивнула.

— Болен был, значит?

— Ага! — радостно сказал я.

— А почему не сказал?

— Когда? — Я посмотрел на Леху.

Потупившись, он молчал.

— Сам знаешь когда! Когда анализами менялся. Ведь знал!

— Конечно! Часами любовался своей мочой!

Я ушел... А вскоре он на другую работу перевелся.

После этого мы больше почти не общались.

Однажды только пытался прорваться к нему, и то он при этом дома находился, а я в Москве.

Зашел, помню, на Главпочтамт — перевода ждал.

На почте меня всегда почему-то охватывает чувство вины. Вспоминаются все, кому не пишу, и кому не звоню, и кого забыл. Потом вспоминаются те, кто забыл меня, и грусть переходит в жалость — жалость к себе и к своим бывшим знакомым, а потом и ко всем людям, которых когда-нибудь тоже забудут, какими бы замечательными людьми они ни были.

И тут еще, пока я стоял в очереди к окошку, ввезли на тележке груду посылочных деревянных ящичков: больших, средних, мелких и совсем маленьких, крохотных, размером почти со спичечный коробок. Я посмотрел на них и вдруг почувствовал, что с трудом сдерживаю слезы. Тот, кто якобы хорошо знает меня, конечно, не

поверит: «Как же, амбал чертов, ящичков ему стало жалко!» Но тем не менее все было именно так. Я предъявил в окошечко паспорт.

Кассирша незаметно, как ей показалось, глянула в лежащую на ее столе записку: «При предъявлении паспорта на имя Елоховцева Виктора Максимовича срочно сообщить в милицию».

Сердце заколотилось, перед глазами поплыли огненные круги. Гигантским усилием воли я взят себя в руки, заставил вспомнить, что моя-то фамилия не Елоховцев! Совсем что-то слабые стали нервы!

Кассирша взяла мой паспорт. Перевода, как и следовало ожидать, не оказалось, и это еще больше усилило мою грусть. Но что-то в ней было приятное. Уходить с почты было неохота. Гулкие неясные звуки под высокими сводами, горячий запах расплавленного сургуча, едкий запах мохнатого шпагата — все это создавало настроение грустное и приятное, как в осеннем лесу. И вдруг моя грусть получила вполне конкретное наполнение: сегодня Лехин ведь день рождения, а я и забыл!

Год уже ему не звонил, и сегодня, в день рождения его, особенно это грустно. Как это постепенно мы разошлись?

Нет, но телеграмму-то уж я могу ему отправить, телеграмма — это уж, как говорится, святой долг!

Сунулся снова к окошечку, посмотрел художественные бланки с цветочками. Да, Леха будет поражен, получив от меня поздравление с цветочком... Совсем, подумает, ослабел человек! Нет, лучше простой честный бланк с простыми душевными словами! Я взял бланк, деревянную ручку и написал цепляющимся, брызгающим пером: «С днем рождения поздравляю, в жизни счастия желаю!» — и подписался.

Приемщица посмотрела на бланк, что-то в нем почиркала и говорит:

— С вас восемь копеек!

— Почему так мало-то?

Составил поздравление своему лучшему другу, и чувств набралось всего на восемь копеек!

— У вас номерная телеграмма, — сказала приемщица, — плата взимается только за номер.

— Как номерная? — уязвленно спросил я.

— Так, номерная. Ваш текст номер четыре. Разве вы не из списка его брали?

— Нет, представьте!

Я был уязвлен еще больше. Написал другу, с которым у меня столько связано, поздравление, и оно из самых банальных, которые сведены даже

в список, существующий для людей умственно отсталых.

Восемь копеек — цена моего излияния!

— Так даете вы деньги или нет? — агрессивно проговорила приемщица. — Вы же видите, мы перешли на полуавтомат, всяческие задержки вредно сказываются на его работе!

— Полуавтомат, — сказал я. — Извините... Можно телеграмму мою назад?

С недовольным видом она вернула мне бланк, уже поднесенный ею к щели полуавтомата. Я взял его, порвал в мелкие клочки и кинул разлетевшиеся голубые бумажки по направлению к урне. Нет... Автомат, полуавтомат — это не то. От такого полуавтоматического общения результат обычно получается самый поганый.

— А скажите, а свой какой-нибудь текст передать по полуавтомату можно?

— Можно. Но это значительно дороже! — сухо ответила приемщица. — И потом, надо еще его сочинить, а это не каждому дано! — с прозрачным намеком закончила она.

Я взял снова ручку, новый бланк.

— А можно такой текст передать: «Поздравляю тебя, морда, с установлением рекорда!»?

— Какого рекорда?

— Это уж мы знаем с ним...

— Нет. Такие тексты мы не передаем! Тексты, допускающие двусмысленные толкования, мы не передаем.

— Да это не двусмысленный вовсе — трехсмысленный!

— Тем более! — отвечает.

— Но я прошу вас. Друг, потерянный почти!

— Гражданин, я же вам объяснила — у нас полуавтомат...

Заплакала вдруг, утираясь шалью.

Ну, вот! Так у нас кончаются все принципиальные споры.

Я быстро вошел к ней за барьер, погладил по голове.

— Уйдите, гражданин! — всхлипывая, проговорила приемщица. — Здесь у нас материальные ценности. Уйдите!

Она вдруг вынула револьвер...

Я вышел в большой гулкий зал.

Хотел душевность по телеграфу проявить, а в результате лишь бедную женщину расстроил!

Как-то у нас мучительно все переплетено! Все вроде одного и того же хотят — счастья, но так все постепенно запутывается, что и запах-то счастья забывается!

Неизвестно кем, неизвестно где, неизвестно зачем проживаем день за днем, и не вспомнить уже, когда последнее действие было, которое хоть немножко бы к счастью подвигало!

Ведь все не важно сейчас: зачем я в командировку приехал, — через год никто про это и помнить не будет, не важно, что полуавтоматы на почте стоят, — думаю, месяца через два уберут их как нерентабельные... Не важно это все! Другое важно — с Лехой связаться, сказать ему, как я его люблю, — и во все эпохи, при любых полуавтоматах важнее этого не будет ничего!

И вот теперь Дзыня позвонил мне, сказал, что Леха погиб. Что же — как это ни ужасно, а к этому и шла Лехина жизнь.

Я вышел из электрички на платформу. Со всех сторон подступала тьма.

Когда-то я был здесь, в том самом доме отдыха, где «отдохнул» Леха сейчас... Я побрел по тропинке между высокими плавными сугробами. Вот и пруд, окруженный ивами, почти горизонтально склонившимися ко льду. А вон и домик, видимо, бывшая часовня, где размещалась сейчас спасательная станция...

Внутри ее были своды, тускло освещенные керосиновой лампой. За служебным столом сидели

спасатель, высокий горбоносый старик, и Дзыня.

Я протянул руку.

Потом мы пошли по берегу пруда, спасатель показал мне следы на снегу и дальше, на середине пруда, черный зияющий провал.

— С дома отдыха ко мне только час как пришли. А он давно уже там, — сказал спасатель. — А ночью без пользы шарить там, да и провалишься — лишние жертвы.

— Как раз навестить его приехал, — Дзыня говорит, — а он тут такое дело учудил!

— Так что — все! — горбоносый говорит. — Готовьте вашему другу могилку. Место-то припасено у вас на кладбище али нет? А то сейчас подхоранивать стало модно: в имеющуюся уже могилку опускается второй гроб.

— А может, подхаронивать? — Дзыня его спрашивает. — Ваше имя, случайно, не Харон? Тот долго глядел на него подозрительно.

— Угадал! Харитон.

Вернулись мы под хмурые своды часовни.

Харитон говорит:

— У меня часто тут подобные дела случаются, так что продумано все уже до мелочей. Может, выпьете? Сходил за печь, вынес два валенка вина.

— В одном, — говорит, — у меня на ореховых перегородках настоянно, в другом — на ореховых промежутках... Не брезгуете, что в валенках у меня?

— Не-ет! — Дзыня говорит. — С перегородовки, я считаю, начнем?

Посмотрел на меня. Я кивнул.

— А помнишь, — Дзыня мне говорит, — как перекликались мы через весь город?

Еще бы не помнить! Телефонов у нас тогда ни у кого не было, а общаться друг с другом хотелось непрерывно. Нам, конечно, обидно было — все только и делают, что звякают друг другу да брякают. Хотели себя телефонизировать, бумаги разные доставали про то, какие мы несусветные умники и красавцы. Но нам в ответ неизменно из самых разных инстанций: комиссия такая-то, рассмотрев, нашла нецелесообразным...

Однажды вышел ранним утречком на балкон. Туман густой... А Леха тогда на совершенно другом конце города жил. Постоял я. Как грустно-то без товарища! Сложил я ладони рупором, как закричу:

— Леха! Слышишь-то хоть меня?

Долгая пауза, минут, наверное, пятьдесят, и вдруг доносится ясный ответ:

— Слышу... Чего орешь-то?

— Да ведь иначе бы ты не услышал меня.

— А-а-а...

...Пока вспоминали мы, рассвело. Красное солнце появилось на льду. Лед тонкий, гибкий, бросишь по нему камень — зачирикает, запоет!

— Ну, давай, — Дзыня говорит. — Выпьем промежутовки: за нас, за нашу дружбу, за Леху!

И только он это произнес, из-подо льда вдруг раздался громкий стук! Выбежали мы из часовни и оцепенели. Из пролома во льду вылетел, трепыхаясь, огромный лещ, затем ладонь появилась, потом локоть... И вылез Леха: живой и, что самое поразительное, абсолютно сухой!

— Ты чего там делал-то? — изумленно Дзыня спросил.

— Спал, чего же еще? — сварливо Леха ответил. — Отлично, надо сказать, спал...

— Леха! — заорал я.

Вернулись мы в часовню. Леха обиженно стал бормотать, что перегородовки с промежутовкой ему не оставили.

— Что такое? — Харитон озадаченно говорит, удивленно Леху ощупывает. — Не порядок! Трубку снял, начал звонить.

— Эх, повезло вам! — зло говорит. — Воду с пру-

да спустили еще позавчера!

Потом лето настало. Однажды пили мы чай в кухне у меня, у открытого окна. Вдруг появляется в открытом окне голова!

— Здравствуйте! — говорю. — В чем дело?

— Да вот любуюсь, — бойко вдруг голова заговорила. — Как здорово у вас цветочек разросся. У меня и сорт тот же, и сторона вроде бы солнечная, а не то!

— Так, может, вам отросточек дать? Отломил я отросточек, человек долго благодарил, потом спустился по водосточной трубе, как и влез.

— Ты, что ли, думаешь, — Леха спрашивает, — что тип этот просто так сюда прилезал?

— А нет? — говорю. — Отросточек хотел!

— Да-а... — Леха на меня посмотрел. — Видно, жизнь тебя ничему не учит!

— Да, видно, нет! Видно, я — как мой дедушка, который первый жизненный урок получил в девяносто шесть лет!

Потом пили чай долго. Оса залетит в банку на одно гулкое, звонкое мгновение — и снова беззвучно улетает по ветру.

2. Отдых в горах

Наконец-то, вырвавшись из засасывающих, унылых дел, мы — Дзыня, Леха и я — сидели в знаменитом горнолыжном кафе «Ай», из которого открывается такой вид, что действительно хочется сказать: «Ай!»

Солнце жарит через стекло, в чашечках знаменитый местный глинтвейн — кофе с портвейном. Шапки сняты с упарившихся голов, брошены на пол.

— А помнишь, — Леха мне говорит, — как в Приюте Одиннадцати мы зуб тебе вырывали?

— Конечно! — говорю я.

С самого начала нашей дружбы мы спортом занимались. Сначала греблей... Только тот, кто жил в Ленинграде, может представить, как это прекрасно: ранним утром пройти на байдарке по широкой дымящейся Невке. Или на закате, в штиль, выйти в розовый зеркальный залив.

Потом новое увлечение — альпинизм! И вот делали траверс вершины, заночевали в Приюте Одиннадцати. Вымотался я уже совершенно, спускался к приюту, как сомнамбула, все в глазах расплывалось. Склон крутой, заросший родо-

дендронами. Листья у рододендрона мясистые, скользкие. Ноги уезжают вперед — падаешь в полный рост, плюс еще добавляется тяжесть рюкзака. Встанешь, потрясешь головой, сделаешь шаг — снова бац! Причем каждое падение равносильно нокауту... Уже в темноте подошли к приюту, расположились. И тут почувствовал я, что у меня дико болит зуб — голова раскалывается!

— Ну, это ерунда! — Дзыня сказал. — Сейчас мы тебе его вырвем!

Пошарили в темноте под нарами, нашли шлямбур и огромный ржавый замок. Посадили меня на табурете посреди комнаты. Говорят:

— Открой рот!

Приставили шлямбур к зубу, стали бить по шлямбуру замком. От боли в глазах потемнело, дужка брякает, прямо перед носом. Потом какой-то особенно удачный удар, я падаю, теряю сознание.

Прихожу в себя — ребята, согнувшись, стоят надо мной.

— Эх ты, — говорят, — как следует на табурете не умеешь сидеть, а еще хочешь, чтоб мы зуб вырывали у тебя!..

— ...Да... замечательно было! — вспомнил я. Я встал, пошел по горячей террасе, взял еще по

чашечке глинтвейна.

— Ну, расскажи нам, Дзыня, как ты так в гору пошел? — в это время спрашивал Леха.

— Просто повезло ему, что он в контору эту попал! — возвращаясь с чашечками, сказал я.

— Как же! — усмехнулся Дзыня. — Многие не хуже меня попали, а до сих пор мелкими клерками трубят. Дело не в этом. Главное — с шефом наладить творческий контакт!

— Ну и как же ты наладил его?

— Обычно! — Дзыня плечами пожал. — Прикинулся для начала, что так же без ума от рыбалки, как и он. Договорились вместе поехать. «Только смотри, — умные люди меня предупреждали. — Ни в коем случае выпивки не бери! Он к этому очень болезненно относится, недавно завязал!» — «Ясно!» — говорю. Но взял на всякий случай одиннадцать маленьких. Утром проверили с ним донки, справили уху. Он говорит: «Пить, конечно, омерзительно, но сейчас, под уху, сам Бог велел!» — «Я сплаваю!» — говорю. А до деревни ближайшей четыре километра! — Дзыня со вкусом прихлебнул глинтвейна. — Полез в палатку я, якобы куртку надеть, и незаметно одну маленькую сунул в карман. «Серьезно, что ли, поплывешь?» — шеф меня спрашивает. «Раз надо!»

— скромно потупившись, отвечаю. Спустился к лодке, поплыл. «Только маленькую бери, и все!» — вслед мне кричит. Заплыл я за ближайший мыс, лодку остановил, часок поспал — обратно гребу. «Ну, ты человек!» — потирая руки, шеф говорит. Выпили, насладились ухой. Поплыли по огромному тому озеру. Продрогли насквозь, но рыбы, надо сказать, поймали немало. «Да, — говорит он, — так и застудиться недолго! Сейчас маленькую для согрева просто необходимо!» — «Я сплаваю!» — говорю... И так, по его понятиям, я одиннадцать раз мотался туда-сюда. В конце уже не удивляло его, что весь маршрут у меня в оба конца не больше пяти минут занимал! Потом он обнял меня и сказал: «Я думал, среди молодежи теперешней нет людей, теперь вижу — ошибся я!» И все. Остальное, как говорится, дело техники!.. — высокомерно подытожил Дзыня. — Ну и пошло-поехало! Делегации. Симпозиумы. Конференции. В Греции. В Югославии. В Швеции. Везде одно и то же: гостиницы, залы для заседаний! — Дзыня устало махнул рукой. — В Швеции, правда, удалось довольно приличное лыжное снаряжение купить.

— А где же оно? — спросил я.

— Завтра увидите, — ответил Дзыня. — Сегодня

лень распаковывать.

— Да-а! — с завистью глядя на Дзыню, сказал Леха. — Здорово ты!

— Да нет! — заговорил я. — Карьеры подобного рода меня не волнуют. Как правильно сказал один поэт: «Позорно, ничего не знача, быть прытчей!»

Дзыня и Леха незаметно переглянулись за моей спиной. С некоторых пор у них почему-то считается, что я несмышленыш какой-то, за которым нужен глаз да глаз, иначе забредет он неизвестно куда. Почему это установилось, трудно сказать, но многократно я это уже замечал.

— Все! Напился наш герой! — Дзыня усмехнулся, демонстративно повернулся ко мне спиной, и они с Лехой минут еще сорок умные разговоры вели.

Ночью я не спал, все думал: может, действительно как-то не так я живу? Рано утром поднялся, зашел за Лехой. Много раз я уже такой эффект замечал: находишься с каким-то человеком вдвоем — он абсолютно нормально с тобой разговаривает, появляется третий — этот же человек вдруг начинает тебя страшно лажать!

— Вот, герой наш! — подталкивая меня в номер Дзыни, усмехнулся, сразу меняя тон, Алексей.

Но, к счастью, и Дзыня оказался в разобранном состоянии — мятое лицо, сеточка на волосах.

— О! — застонал он. — Уже вставать?

— Подъем! — сказал я. — А то побьем!

— Нет, ну, я так не могу! — заговорил он. — Я должен чисто выбриться, выпить кофе, сделать массаж... Джем, джус. Нет, не раньше чем через час!

— Может, мы пока очередь на подъемник займем? — подобострастно предложил я.

— Умоля-яю! — протянул Дзыня.

Мы покинули номер, направились к подъемнику. Очередь была метров на триста. Ну, что ж, первый раз ждать — это еще ничего. Можно постоять. Это потом, когда уже спустишься несколько раз, охватывает такой азарт, что драки то и дело вспыхивают в очереди. Но первый раз — это еще куда ни шло. Тем более великолепного нашего лидера еще не видать...

Когда Дзыня появился возле подъемника, все сразу умолкли, наступила тишина... Какой-то невиданный еще в наших краях комбинезон: заостренный спереди, как рыцарские доспехи (для обтекания воздухом), огромные темно-фиолетовые окуляры, шлем (все это с названиями фирм). Какие-то уникальные черно-сизые крепления.

Палки — такие пока доводилось видеть только в специальных журналах: изогнутые на концах во избежание флаттера (вибрации). Очередь молча расступилась. Конечно, можно было пока и подраться, время коротая, но когда появляется специалист такого класса — об чем речь?!

Дзыня расстегнул молнию на рукаве, швырнул в рот какую-то тонизирующую таблетку и, махнув нам рукой, унесся на креслице подъемника. Мы видели в дальномер, как Дзыня соскочил с креслиц. Дальше был только бугельный подъем. Дзыня зацепил себя сзади штангой и стал подниматься еще выше, уже на лыжах, превращаясь в невидимую почти точку. Вскоре он исчез. Затаив дыхание, очередь стала ждать. Минуты через две на склоне появилось снежное облачко. Оно приближалось стремительно и прямо. Гул восхищения прошел по толпе... Когда же он собирается тормозить... Оказалось, он и не собирался тормозить! С ходу он налетел на очередь, повалил всех подряд, как кегли, и, взлетев на небольшом пригорке, застрял в кустах. Потирая ушибленные места, все бросились топтать бывшего своего кумира, но мы с Лехой отстояли его.

За долгим завтраком был произведен анализ случившегося, разобраны ошибки, решено было с

завтрашнего дня приступить к тщательнейшим, жесточайшим, изматывающим тренировкам!

— Может... не стоит пока? — робко вставил я.

Дзыня и Леха снова переглянулись за моей спиной.

— Все! — жестко произнес Дзыня. — Хватит дурочку валять! Завтра спускаемся с самого верха.

Весь день меня преследовали кошмары. Я уже спускался один раз, и не сверху причем, а всего-навсего с середины, и то вылетел на лавиноопасный склон, по которому в тот же самый момент лавинщики выстрелили из пушки. И вот покатился я — и следом за мной сдвинулась лавина... Весь день я представлял, как лавина меня настигает, хотя в тот конкретный раз удалось уйти.

Вечером, когда я ложился спать, кто-то требовательно постучал.

— Опять не в ту сторону головой ложитесь — строго произнесла дежурная по этажу, появляясь.

— Ну, я ж объяснял вам — в ту сторону головой мне душно!

— Не имеет значения, — произнесла она — у меня на этаже все должны спать головой в одну сторону.

Дежурная с достоинством удалилась и через минуту снова раздался стук. Я с досадой распахнул дверь. За дверью в тонком пеньюаре салатного цвета стояла очаровательная рыжая соседка, на которую я давно уже пялил косенькие свои глаза.

— В электричестве что-нибудь понимаете? — улыбаясь, спросила она меня.

— Разумеется, — ответил я. — А что?

— Да вот кипятильничек сломался. — Соседка протянула мне никелированную спиральку с ручкой. — Чаю хотела попить, и не получается.

— Ясно, — сказал я.

Мы поглядели друг на друга.

— Когда можно зайти? — улыбаясь, спросила она.

— Можно через десять минут. Можно через пять.

— Ясно. — Она твердо выдержала мой взгляд.

Как только дверь за нею закрылась, я, ликуя, подпрыгнул, коснулся рукой потолка.

За секунду я починил кипятильник, проводок был просто оборван — она даже не пыталась этого скрыть!

Я поставил на подоконник стакан, подстелив газету, опустил в холодную водопроводную воду

кипятильничек. Демонстрируя мошь техники, вода сразу же почти забурлила. Дрожа, я сидел в кресле. Раздался стук. Я впустил соседку. Она обняла меня, и я вздрогнул, почувствовав низом живота колючую треугольную щекотку.

Потом я вдруг заметил, что на стене почему-то сгущаются наши тени. Я обернулся и увидел на подоконнике костер. В центре пламени лежал кипятильничек, расколовший стакан и вывалившийся на газету.

Я поглядел на это пламя, потом на соседку — и выбрал то пламя, что было ближе.

Утром дежурная по новой зашла ко мне — поглядеть, в ту ли сторону я сплю головой.

— Та-ак! — оглядев номер, сказала она. — С вас шестьсот девяносто шесть рублей двадцать копеек!

— Шесть рублей я дам, — потупившись, сказала соседка.

Потом я поглядел на несгоревшие каким-то чудом часы: полдень! Вот тут я испугался! Все рухнуло! Опоздал на жесточайшие, изматывающие тренировки, назначенные на восемь... Теперь, кроме презрения, мне нечего ждать от моих друзей!

Лехи в его комнате, конечно, уже не было. Я

помчался в гостиницу к Дзыне. Его в номере не было, но дверь почему-то была открыта. Я вышел на горячий балкон, чтобы посмотреть на подъемник, и увидел прямо под собой, у нагретой солнцем стены потрясающую картину: Дзыня и Леха играли в пинг-понг, лениво перестукиваясь треснувшим шариком. Тут же, на теннисном столе, стояли открытые бутылки с пивом, на газетках лежали вобла и замечательный местный сыр «чанах».

— Куда же ты пропал? — закричали друзья, увидев меня. — Давай сюда!

«Вот это хорошо!» — радостно думал я, сбегая по лестнице.

3. Как я женился

...Я занимался тогда архитектурной акустикой вагонов. В лаборатории Министерства путей сообщения. Лаборатория размещалась в двухэтажном белом доме с балкончиком. Дом стоял прямо среди путей.

В зале первого этажа, сохранившем еще сладковатый запах дыма, помещались наши приборы. На втором этаже была мастерская художника. Каждое утро, часов в девять, когда солнце как

раз попадало в наш зал, сверху раздавался скрип костылей и спускался, улыбаясь, художник Костя. Ноги у него отнялись после полиомиелита, еще в детстве. Раньше он работал в артели, выпускающей разные вокзальные сувениры — значки, брелки для ключей, но неожиданно у него обнаружились свои идеи — и теперь он был художник, у него была мастерская, и по его образцам артель уже выпускала ширпотреб.

Костя, улыбаясь, смотрел на нашу работу, потом, переставляя костыли, проходил в туалет, потом, побледневший после умывания, снова поднимался наверх, и вскоре раздавался стук или скрип — Костя ваял очередной свой шедевр.

Помню, однажды надо было отвезти в ремонт тяжелый прибор, и мы попросили у Кости его тележку, переделанную из дрезины.

Как он обрадовался!

— Вот черти! — радостно говорил. — Знают, что у меня есть транспорт! Пользуются, что у меня транспорт есть! — говорил он уже другому, сияя...

Мы вынесли его тележку, установили на ржавые рельсы. Я стоял сзади, придерживая прибор. Трещал моторчик. Светило вечернее солнце. Мы медленно ехали среди желтых одуванчиков...

Иногда ночью я проносился в тяжелом быстром поезде мимо этого дома. Дом был темный, мертвый. Под крышей горела лампа, но все вокруг было безжизненно.

Я привинчивал к столику свою аппаратуру для измерения вибраций, включал магнитофон — шумы и вибрации записывались, чтобы после, в лаборатории, их проанализировать. Подносил к губам микрофон, говорил голосом, охрипшим после молчания: «Третье купе, вагон типа тысяча семьсот семидесятого рижского завода, год выпуска шестьдесят седьмой... Шумы у нижней полки... Запись».

И, поднеся магнитофон к нижней полке, минуту держал его там и, если уставал, неслышно приседал на другую полку.

«Конец! — говорил я. — Внимание. То же купе. Шумы у верхней полки... Запись».

Приподнявшись, я поднимал микрофон к верхней полке, застыв, стоял неподвижно, смотрел на колебания стрелки, иногда — с удивлением.

Я любил работать в темноте, глядя лишь на светящиеся шкалы приборов. Это было прекрасно — не спать одному во всем поезде, идущем через темноту, говорить самому с собой, потом выйти ненадолго в пустой коридор — весь вагон мой,

потом вернуться, с тихим скрипом задвинуть дверь.

Иногда я брал с собой Костю: в купе без пассажиров шум и вибрации были чуть другими.

— Вот черт какой! — довольный, говорил Костя, собираясь. — Пользуется, что у меня время есть!

...Однажды я привинтил аппаратуру и пошел в коридор за Костей. С ним стоял какой-то тип, видно, забредший из вагона-ресторана. Глаза его и рот составляли мокрый блестящий круг. Оказавшись в пустом темном вагоне, он несколько ошалел от неожиданности, но все же старался говорить громко, показывая, что этот лунный свет и тишина на него не действуют.

— Костя, пора! — позвал я.

Он вошел в купе, задвинул дверь.

— Вот черт какой! — взволнованно заговорил Костя. — Пристал — ты, говорит, не падай духом, учись... еще, может, человеком станешь... Вот черт какой! — говорил он, тяжело дыша.

— Ну, все, тихо, — сказал я. — Включаю.

На столик наехал свет, рябой от стекол.

Как-то, вернувшись из поездки, на пустынной улице я вдруг услышал женский крик:

— Поймайте его! Пожалуйста, поймайте!

Обернувшись, я увидел бегущую прекрасную

девушку, но, кроме меня, никого на улице не было.

Я поглядел вниз и увидел зверька, похожего на крысу.

Быстро нагнувшись, я схватил его двумя пальцами за бока.

Она подбежала ко мне, грудь ее высоко вздымалась.

— Ой, спасибо! — виновато улыбаясь, сказала она.

Зверек мне не понравился (наглая рожа!), девушка — да.

— Ну, давайте уж, — сказал я, — помогу вам его донести.

Я посадил его в шапку, было холодно.

По дороге она расстроенно говорила, что очень его любит (совсем еще школьница, юннатка!), но приходится отдавать его бабушке — занятий в институте так много, возвращаешься иногда совсем ночью...

Хомячок отчаянно рвался, порвал на мне: два пальто драповых, перелицованных, три костюма шевиотовых, шесть пар белья... Потом еще пытался отвалить — в моей шапке! Потом надулся.

Наконец появился дом, где жила ее бабушка. Стукнув дверью, девушка скрылась в высокой

парадной.

Я долго стоял в каком-то оцепенении, глядя вверх.

Голове без шапки было холодно.

Дом был весь еще темный, и вдруг высоко в окне у закопченной стены зажглась лампочка, мне показалось, что я слышал щелчок.

...Потом мы очутились вдруг в винном дегустационном подвале «Нектар» — деревянном, горячем, освещенном пламенем... Кроме всего прочего, здесь оказалось «Чинзано», а я всегда отличался большим чинзанолюбием.

Но ведущая дегустацию волевая женщина с высокой прической сумела создать крайне суровую обстановку, все время подчеркивая, что дегустация — это не забава.

— Если хотите развлекаться, идите в цирк! — то и дело гордо говорила она.

Лариса сидела рядом, стройно помещаясь на маленьком высоком сиденье, испуганно выполняя все инструкции. И только когда мы поднимались по крутой деревянной лесенке и я сзади тихонько подпер Ларису в плечи, она вдруг выгнулась и быстро потерлась головой о мои руки.

Я остановился. Озноб прошиб нас обоих.

На улице я сразу повел Ларису к себе домой.

Она плелась за мной довольно покорно и вдруг уже на лестнице ухватилась за трубу!

Я обнял Ларису за талию, она мягко гнулась под моими руками... Потом выставила ногу, якобы для защиты... Потом осталось одно ощущение ее губ — сухих, чуть сморщенных, как застывшая пенка.

И, едва опомнившись, она снова ухватилась за трубу!

Я уже знал, что у нее есть официальный жених, ее ровесник...

— Ну, не пойдешь?

Закрыв глаза, она замотала головой.

— Ну, ладно.

Оскорбленный в худших своих чувствах, я проводил ее до дома, вернулся и уснул тяжелым сном праведника.

На следующий день я увидал ее из трамвая: она стояла у огня, прижатого к мерзлой земле ржавыми листами, тонкая, гибкая, правой рукой держала за спиной левую. Я стал расталкивать ни в чем не повинных граждан, но трамвай тронулся.

Весь день я был в напряжении, часа в четыре примчался к ней в институт, обегал все аудитории, читалки, лаборатории, но ее почему-то так

нигде и не встретил.

Я шел по улице и вдруг увидал ее: она шагала с высоким длинноволосым красавцем и так была схвачена, обнята рукой за плечо, что даже рот ее слегка был стянут вбок!

...Промелькнуло несколько недель. Я абсолютно не забыл Ларису: время действует, когда оно работает, а просто так оно ничего не значит.

Я не звонил ей, но такое было впечатление, что звонил.

Случайно я видел ее на институтском стадионе. Она пробежала четыреста метров и, сбросив шиповки, босыми разгоряченными ступнями шлепала по мокрой холодной траве...

Раз только я позвонил ей — естественно, в час ночи, но она, что удивительно, не рассердилась и даже робко спросила:

— Именно сейчас необходимо встретиться?

— Нет, нет, — сказал я. — Вообще...

— Ах, вообще! — ответила она тихо, робко и, как мне показалось, слегка разочарованно.

Однажды я шел после работы по улицам, внушая себе, что я не знаю, куда я иду.

Было темно, но света еще не зажигали. Отовсюду — из подъездов и подворотен — валили темные толпы. Я свернул за угол и попал на ули-

цу, где жила она.

И тут я увидел, что прямо посреди улицы бежит хомячок, тот самый, опять в чьей-то шапке, и, что меня возмутило, бежит абсолютно уверенно!

Потом я гнался за ним по мраморной лестнице. Он метнулся к двери. Я позвонил. Брякнул замок.

Лариса с изумлением смотрела на нас.

— Ну... пойдем ко мне? — неожиданно сказал я. Опомнившись, она затрясла головой.

— Ну, а сюда... можно?

— Нет, — испуганно сказала она.

— Ну, а к другу?..

— К другу? — Она задумалась... Потом мы плутали с ней по темному коридору, и я грохнулся головой об угол.

— Бедный! — прошептала она. О, какая она прохладная, гибкая, гладкая — словно ведешь ладонью в воде!

После этого мы два дня скрывались у Кости.

— Вот черти! — радостно говорил он. — Пользуются, что у меня мастерская!

...Когда говорят: в жизни ничего не происходит, — это неверно. Надо плотно закрыть глаза — и в темноте сами потянутся картины, казавшиеся не важными, забытые в суете, а на самом деле они и есть моменты самой полной твоей жизни...

Неспокойная ночь, мы оба чувствуем, что не спим. Осторожно ворочаемся, тихо вздыхаем — все самое тревожное проникает в душу перед рассветом. Потом я засыпаю странным, коротким и глубоким сном, и во сне вдруг приходит облегчение. Проснувшись, я чувствую: ее рядом нет, быстро приподнимаюсь и вижу, как она тихо стоит у окна. Я подхожу к ней и с волнением замечаю, что выпал первый в этом году снег — под окном белые полосы, покрытые снегом крыши поездов.

И вот одна из этих полос сдвинулась, потянулась в сторону все быстрей — с завыванием помчалась первая в этот день электричка.

А потом и мы с ней уехали.

Я лежал в темноте на полке, и подо мной все стучало и стучало твердое колесо. Я лежал на спине, ощущая бескрайнюю темноту вокруг.

Вдруг на лицо наплыл свет. Я услышал, как она с тихим шелестеньем перевернулась под простыней на живот и, подставив руку под голову, стала смотреть в окно.

— Бологое, — сказала она. — Старичок куда-то торопится. Милиционер стоит... Другой к нему подошел. Разговаривают.

Я лежал, не открывая глаз, и с каким-то на-

слаждением, словно с того света, видел все это: желтые стены под сводами, облитые тусклым электричеством, торопившегося старичка, двух разговаривающих милиционеров.

Потом вагоны стукнулись, поезд заскрипел... Свет оборвался, и снова наступила темнота.

4. «Хэлло, Долли!»

Вскоре была свадьба. Запомнился стеклянный куб столовой посреди ровного поля полыни и еще — как подрались молодые стиляги, друзья невесты, в широких брюках, с пришитыми по бокам пуговицами, а у кого и лампочками.

После, примерно через месяц, она вдруг сказала, что стала очень чувствовать запахи — капусты в магазине, запах сухого навоза и дегтя от проехавшей телеги. Как нам объяснили, это всегда бывает при беременности. До этого мы жили у меня, но теперь пришлось перебраться к ее родителям.

И вот я вел ее рожать. Она шла легко, она вообще носила легко, она и все на свете делала легко.

— Буз болит, — вдруг сказала она.

— Что болит?

— Буз!

— Зуб? А ты кури больше! Сколько куришь-то?

— Пачку... В секунду! — Она вдруг захохотала, как ведьма.

Я возмущенно умолк. Уже давно я твердил ей, что, если курить, родится уродец, но она не обращала внимания.

Улучив момент, я схватил пачку сигарет в кармане ее халата, она стала крутиться, больно закручивая мою руку материей, и кричать:

— Ну не надер! Не надер!

Навстречу нам шел Филипчук с книжкой под мышкой, а может быть, с книгой под мыгой, старый мой знакомый, еще по яслям, самый скучный тип, каких только видел белый свет. Я с ним поздоровался, и она сразу же спросила меня:

— Кто это, а?

«Вот ведь, — с досадой подумал я, — фактически идет рожать, схватки, можно сказать, и еще интересуется, кто да кто, ху из ху! Непременно ей нужно все разузнать, разведать, захватить всю душу!»

— А никто! — ответил я. — Тайна!

— Вот этот мужик — твоя тайна?

— Да, представь себе!

Она вдруг согнулась, прижав руки к низу живота, сожмурилась, открыв зубы и сильно сморщив лицо...

— Ну, ладно, — сказала она, распрямляясь, — эту тайну ты можешь иметь.

«Да, — подумал я, — с тайной мне не повезло».

— Ну, как, приближения не чувствуешь? — спросил я. И тут же не удержался и добавил:

— А удаления?

Мы долго шли через двор. Потом, распустив волосы, она исчезла. Я побыл там еще немного. Ряд гулких кафельных помещений, откуда-то доносятся шаги, голоса...

Я вернулся к себе и лег. Спать я не спал, но сон видел. Вернее, я понимал временами, что это сон.

Я иду по улице между двумя кирпичными домами. Впереди темная вода, мост на наклонных скрещенных бревнах слегка сдвинулся, отстал от берега, висит. Люди тихо перебираются внизу по воде. Почему-то очень страшно.

Потом я вхожу в какой-то дом, долго иду по желтоватым лестницам, коридорам, наконец вхожу в темную комнату, там все говорят тихо, шепчутся. На полу, на стиральной доске, спеленатая, лежит она.

— Плохо, — говорит кто-то над ухом. — Она все говорила: «Лучше бы другой конец, лучше бы другой...»

Тут я наполовину проснулся и успел подумать: «Нет, это какие-то не ее слова — «другой конец». Она бы так не сказала».

И сразу же начался второй сон — легкий, светлый. За окном по железному карнизу, покрытому белым снегом, проезжают люди в шубах, в сани запряжены олени, все освещено розовым солнцем. Вот останавливаются, слезают, через стекла разглядывают комнату. Сразу за карнизом — белый сверкающий провал, снег, чувствуется, очень легкий, пушистый.

Я проснулся. Было действительно уже светло. Под самым окном мели тротуар, шаркали метлой, я сразу подумал — неужели сухой, не смочили? Тогда — пыль. Запершило в горле. Но нет, наверное, смочили, смочили...

Дорогой, поздравляю! Ты, может быть, уже знаешь, что у нас родилась дочка, вес три двести, длина пятьдесят сантиметров. Я ее еще толком не разглядела. Только успела заметить, что, кажется, твои бровки.

Теперь на тебя ложатся обязанности не интересные, но очень важные. Во-первых, к выписке (9-го, часов в 11) мне нужен гардероб: принеси костюм замшевый и свитерок. Затем рубашка, трусы и лифчик (можно тот, что я тебе от-

дала в приемной родилки). Потом еще туфли и ваты с марлей. Теперь — дочке. Ты мне сегодня сообщи, что у тебя есть к выписке. Узнай у мамы непременно сегодня или завтра о том, что она приготовила. Есть ли косыночка, подгузники, тонкие рубашечки. Теперь. Посмотри список того, что я тебе писала на календаре-шестидневке, и сделай так, чтобы все было. В аптеке купи ваты, рожки и соски и узнай, где есть весы напрокат. Отнесись, пожалуйста, без раздражения ко всему этому и постарайся к нашему приходу все сделать. Обо всем, что есть и чего нет, сообщи мне обязательно завтра. Принеси мне косметичку.

Целую.

Родила я в 1 час ночи и тебе не советую.

Попишу еще немножко, пока врача нет. Интересно, как тебе девочка покажется. Мне она ужасно нравится. Жить бы нам в квартире с холодильником и друг с другом.

Как светская жизнь протекает в городе? Не пустует ли «Крыша» и кем она заполняется? Напиши, а? Ить интересно. У дочки отпала пуповина. Это хорошо.

Дорогой! По телефону звонить не разрешили во избежание простуды. Поэтому ты мне пиши письма, длинные и интересные: где был, что делал, с

кем делал, чего добился в общем, все те вопросы, которыми ты особенно любишь делиться. А если серьезно, то можешь писать о чем-нибудь другом или вообще ничего не писать. Ты к нашему возвращению должен: помыть окно, вытереть пыль — в общем, навести идеальную чистоту. Как насчет кроватки? Поищи. В бюро справок есть список вещей для ребенка при выписке. Посмотри его и принеси, что нужно. Вот и все. Рад?

Очень хочу домой.

Совсем забыла. Ты чего не тащишь мне косметику? Возьми бигуди (три штуки), пудреницу и карандаш. Ты заверни это в газетку, а потом положишь в мешочек типа целлофан.

Дорогой! Сейчас доктор сказала, что завтра после двух часов в справочном бюро будет известно, выпишут меня или нет. Можно позвонить, и тебе сообщат.

Она кричала удивительно громко, при этом вся наливаясь красным, только маленькие ноздри от напряжения белели. Иногда она замолкала и тут же начинала с удивлением икать. Потом била ногами через фланель.

Мы решили назвать дочку Дашей, в основном, в честь прабабушки, но и не без влияния популярной в том сезоне песенки «Хэлло, Долли!»,

которую своим неподражаемым хриплым голосом исполнял известный негритянский певец Луис Армстронг, параллельно подыгрывая себе на трубе.

Дочку, конечно, сразу же захватили женщины — теща, жена, тетка. Я сидел на кухне, брал целлофановые мешочки с фруктами, что жена принесла обратно из родильного дома, вытряхивал фрукты в тазик с водой — помыть. Сливы ровно легли на дно, образовав лиловую мостовую какого-то города, персики плавали посередине, как оранжевые пушистые экипажи, яблоки всплывали и висели наверху, как розовые облака.

Потом я стянул с веревки пеленку, стал сушить ее над газом, сквозь темное, мокрое полотно виднелся синий гудящий кружок. Но тут набежала теща, оттолкнула, вырвала пеленку и умчалась.

«Мне кажется, я никому не интересен», — подумал я.

Тяжело вздыхая, я стоял в длинной очереди в кассу.

— Значит, так, — опомнившись, заговорил я, когда очередь подошла, — бутылку подсолнечного масла...

Громыхание кассового аппарата.

— Пачку гречневой крупы...

Громыхание.

— Полкило творога... Вот такие неинтересные покупки, — не удержавшись, сказал я.

— А что делать? — неожиданно сказала кассирша.

И главное, когда я донес все это, пытаясь удержать в охапке, и высыпал на стол, жена быстро глянула и сказала, как ни в чем не бывало:

— Ага. Ну, ладно. Поставь в холодилу.

На кухне сидела теща, занималась обедом, разговаривая сама с собой: спрашивала и тут же отвечала, говорила и сама же опровергала. Войдя, услышал отрывок последней возмущенной фразы:

— ...разве это дело — давать чучелам деньги?!

Увидев меня, она колоссально оживилась.

— Скорей послушайте, — сказала она, — какой я сочинила стишок: «Жила-была девочка. Звали ее Белочка».

— Неплохо, — задумчиво сказал я, — а еще есть: «Шел Егор мимо гор...»

— Весной мы с Дашенькой поедем к Любе, — сияя, сообщила теща.

— Кто это — Люба?

Выяснилось, что это ее сестра, живущая где-то

на Урале.

«Ну, это мы еще посмотрим», — хмуро подумал я.

Она стала жарить рыбу — валять в муке, раскладывать по сковородке.

Я все норовил вскочить, умчаться по делам, сидел как на иглах.

— Какие-то вы странные, — говорила теща. — Поешьте рыбы.

Долго жарит, долго...

Щелкнул замок — пришел с работы тесть.

— А-а-а, — слышен его голос. — Ну, я сейчас, сейчас.

Сейчас он, наверно, снимает плащ, аккуратно вешает его на распялку, потом ставит галоши, строго параллельно, берется с двух сторон за бантик на ботинке, тянет. Долгое время вообще ничего не слышно, только дыхание: вдох, выдох. Что он там — заснул, что ли?

Наконец, потирая руки, входит в кухню.

— Суп будешь? — спрашивает теша.

— Суп? — Он удивленно поднимает бровь.

Казалось бы, чего здесь странного, — да, суп, но он такой — всегда переспросит.

Потом мы сидели в комнате молча. Тесть читает газету, одну заметку, долго, удивительно долго.

Вот наконец отложил газету, потянулся к журналу. Неужели возьмет? Этот номер молодежного журнала со статьей обо мне, с моим портретом и несколькими репродукциями работ. Я давно уже, много раз как бы случайно оставлял на столике... Тесть берет журнал в руки.

«Неужели сейчас прочтет?» — замирая, подумал я.

Нет! Сложил этот журнал с другими, стал сбивать их ладонями, уравнивать края. Видно, ему откуда-то известно, что журналы существуют не для чтения, но для аккуратного складывания их стопками.

Теща, прибежав с кухни, на минутку присела на диван. По телевидению как раз идет нашумевший фильм с известным актером в главной роли. Она вглядывается, щурится и вдруг радостно заявляет:

— Так это ж Генька Шабанов — на нашей лестнице жил!

— Вечно, маменька, ты придумываешь, — хрипло, зло говорит ей тесть.

Она поворачивается к нему, глядит на него, непонятно блестя очками.

— Какой у нас папенька молодец! — умильно говорит она. — Сегодня видела его в метро — ко-

стюмчик такой славный, и даму под ручку ведет так ловко, деликатно. Я еще подумала: какой он сладенький, наш папочка!

Тот, ошалев, откинув челюсть, сидит, ничего не понимая. А она встает и гордо уходит на кухню...

Но энергия — удивительная! Только что вымыла посуду и уже — топает утюгом, гладит.

— Имеются товары, — говорит она, важно появляясь. — Цвета: сирень, лимон.

Потом она подходит ко мне, преувеличенно вежливо говорит:

— Сдайте завтра бутылки. Хорошо? И картошки купите.

Я молча киваю. Я физически уже чувствую, как все эти невкусные, неинтересные дела опутывают меня, делают своим...

— У нас заночуешь? — спрашивает тесть. — Я тогда в прихожей на раскладушке, ты — на диван.

— Ну зачем же?! — говорю я. — У вас что — рассольник? Вот и буду спать в нем!

Тесть удивленно поднимает бровь.

Никто не заходит и даже не звонит. Первое время забегали еще друзья, но теща сразу же начинала громко говорить, как бы в сторону: «Как же, шляются тут разные объедалы да опивалы!» Ей, видно, любые гости представлялись в виде ка-

ких-то полусказочных объедал и опивал — сапоги гармошкой, огромные блестящие рты, пальцы вытираются об атласные, с ремешком рубахи.

...Время тянется томительно. Тесть осторожно гладит внучку. Жена стоит перед часами, шепчет, загибая пальцы, считает, какой грудью, левой или правой, сейчас кормить. Потом она садится на диван, положив дочь на приподнятую ногу.

Даша сразу бросается сосать, щеки так и ходят ходуном. Теряя грудь, начинает громко пыхтеть, сопеть, вертеть головой.

— Мы с ней сегодня, — говорит жена, помогая ей, — часа три уже гуляли. Со всеми старушками тут перезнакомились, что на скамейках сидят. Я им говорю: «Вообще-то у меня муж есть, но он все по делам». Они кивают так сочувственно и явно думают: «Понятно все. Мать-одиночка!»

Она улыбнулась, прикрыв языком верхние зубы.

— Потом домой ее отнесла и решилась вдруг в магазин сходить, впервые за все это время без нее. Очень странно было идти — без брюха и без коляски!

Вдруг заверещал телефон. Звонила одна моя старая знакомая. Своим бархатным голосом она сообщила последние новости, потом выразила

удивление по поводу того, что я не смогу сопровождать ее в театр.

— Странно, — говорила она, — по-моему, в любой интеллигентной семье должно быть правило: каждый встречается с кем угодно и не отдает при этом отчета!

«Что ж, — хмуро подумал я. — Получается, у нас неинтеллигентная семья?»

Тут я увидел, что рядом стоит жена, глаза ее полны слез, подбородок дрожит.

— Опять? — проговорила она.

— Что — опять?! — вешая трубку на рычаг, закричал я. — И по телефону разговаривать нельзя?

— Да! — закричала она. — Нельзя!

Тесть вдруг захрапел особенно громко.

Ранним утром, спустив коляску по лестнице, мы вышли на прогулку. Было холодно. Дорога, разъезженная вчера, так и застыла остекленевшей гармошкой.

Мы двигались молча. Было удовольствие в том, чтобы катить коляску: чем-то напоминало езду на велосипеде или — из детства — бег со звенящим катящимся колесом на упругой изогнутой проволоке.

Мы въехали в пустой парк. Во льду были видны

вмерзшие листья, ярко-зеленая трава. Сходя с дороги, я разбивал каблуком лед над пустотой — открывались теплые парные объемы со спутанной травой.

— А ты чего чулки эти напялила? — спросил я. — Других, что ли, у тебя нет?

— А мне другие нельзя. У меня ноги тонкия. Тонкия! — важно проговорила она.

— Все равно! — сказал я.

— Ну ладно, — сказала она. — Теперь я буду тебя слушаться...

Потом мы скользили по ледяному склону, придерживая колясочку...

— Ло-орк! Смеется!

5. Жизнь сложна

Прошло семь лет.

— Ех! — говорила жена, разливая чай. — Я в промтоварный сейчас заходила, такая там шерсть! Очень редко бывает! Очень!

Жена покачала головой.

«Да-а, — подумал я. — Пора, видимо, браться за ум, порезвились — и хватит. Начинать пора солидную, основательную жизнь, пора в очередь

становиться, как все!»

Грустно это было понимать!

Я надел халат, пошел к себе в кабинет, сел за стол с целью начать новую жизнь.

Вдруг я увидел, что в луче солнца пунктиром блеснула паутина.

«Пунктиром... блеснет паутина!» — похоже на начало стиха.

Гляжу — все ниже она к столу опускается, а на конце ее сучит лапками маленький паучок!

Куда же он? Как раз в бутылку с чернилами, которую я открыл, собираясь заправить ручку! Шлеп! Успел только схватить его за паутинку, вытащить, мокренького, поставить на сухой лист. Паучок быстро забегал по листу, оставляя каракули. Вдруг я с удивлением разглядел, что получаются буквы!

«Г... Д... Е... где-то я тебя видел!»

Нахальство какое! В моем собственном доме где-то он меня видел.

Прелестно!

Еще штанишки такие мохнатые на ножках! Поднял я его вместе с листом: «Давай! Мне такие наглецы в хозяйстве не нужны! Я сам, может, неплохо пишу, конкурентов в моем собственном доме мне не надо!»

Паучок с ходу понял меня — утянулся на паутинке и где-то под потолком непонятно исчез.

Успокоился я, стал писать письмо — вдруг снова, разбрызгивая кляксы, шлепается на лист, бежит:

«Х... хоть бы пальто жене купил, подлец!»

Тут я уже не выдержал, выхватил из ящика ножницы, стал щелкать ими над столом. Но никак паутину лезвиями не поймать: то сверкнет, то снова исчезнет, то снова сверкнет, совсем уже в стороне от стола. Долго прыгал я с ножницами, щелкал, совсем запарился. Исчезли вроде паучок и паутина. Но надпись на листе осталась: «Хоть бы пальто жене купил, подлец!»

Что за напасть! Не хватает еще, чтобы в моем собственном доме какие-то паучки меня критиковали!

Гляжу — снова спускается. Вскочил я, выбежал на кухню, взял долото, молоток, на всякий случай — лазер. Ну, держись, думаю, дитя неестественного отбора!

Вижу вдруг: жена чистит картошку и тихо усмехается.

Та-ак! Все ясно. Паучков подучать?

Пошел в кабинет, разложил в готовности инструменты. Паучок снова окунулся в чернила,

потом подтянулся на паутинке, прыгнул на лист:

«С... Т... О... П! Стоп! Перерыв! Короткий отдых!»

Ну что же, перерыв так перерыв! Пошел на кухню к жене. Она говорит:

— Посмотри-ка, что за странное сооружение там на горизонте?

У нас за окном открытое пространство — далеко видно. И действительно на горизонте что-то непонятное появилось... На высоких железных ногах какая-то площадка, на ней какие-то мощные окуляры — сверкают сейчас, против солнца, всю кухню заполняют своим блеском!

— Да это не сооружение, — говорю. — Это, наверное, неземной пришелец показался на горизонте...

Сначала хотел было пошутить, но неожиданно сам вдруг поверил, испугался, громко закричал.

Потом вдруг икота началась!

И главное, с каждым иком оказываешься в каком-то неожиданном месте!

Ик!.. Высокая оранжерея, до самого стеклянного потолка растет какая-то дрын-трава.

Ик!.. На острове каком-то, вернее, на обломке скалы, среди бурного моря.

Ик!.. Похороны мои. Жена, седая совсем. Любимый мой ученик плачет, размазывая черные

слезы по лицу пишущей лентой, которую я ему подарил.

Ик!.. Ну, слава Богу! Снова на кухне оказался! Скорей попить холодной воды, чтобы больше не икать!

Вечером пошли в гости к Хиуничевым — Лехе с Дийкой, — я Лехе про иканье свое рассказал, Леха сморщился высокомерно.

— Ты все витаешь? Пора уже за ум взяться!

— Думаешь, пора?

— Что ты в лавочке своей высидишь со своими прожектами? Идеи гениальные не каждый год рождаются, а кусать надо! Что ты дождешься-то там, если даже Орфеич со всеми пыльными-мыльными не больше двухсот имеет?

Сам Леха давно уже «в ящик сыграл», определился в солидное место, где оклады не зависят «от всякой там гениальности», как он выразился.

— Командировочные! Премиальные! Наградные! И дома никогда не бываешь — семье подспорье! Ну, хочешь, завтра же о тебе поговорю?

Очаровательные наши дамы как бы не слушают, мнут перед зеркалом какую-то тряпку, но тут застыли, я вижу, ушки навострили...

— Но это ж отказ будет, ты понимаешь, от всяких попыток сделать что-либо свое!

— Кому это нужно — «твое»! — с горечью Леха говорит. — Жило человечество без «твоего» и дальше проживет.

Попили чаю с козинаком — Дия научилась варить такой козинак: зубы у гостей мгновенно слипаются, до конца вечера все молчат. Только в прихожей уже, нас провожая, Дия говорит мне ласково, как близкому своему:

— И ты, видно, такой же, как мой!

— Какой — такой?

— Тоже как следует шарф на шею не можешь намотать!

— Ну, почему же? Наоборот! Я лучший в мире наматыватель шарфа на свою шею!

Потом мы ехали молча домой, жена, отвернувшись, в черное окно трамвая смотрела.

— Ну, слышала? — наконец я ее спросил.

— Слышала! — сощурившись и выпятив подбородок, ответила она. — Но ты ведь, конечно, не согласишься на это. Тебе главное — не существующий свой гений лелеять... ждать, пока свалится на тебя какой-то неземной шанс. А как семья твоя живет? Тебе безразлично, что у других все есть, а у нас ничего!

Она заплакала.

— Ну ладно уж! — не выдержав, сказал я. — По-

думаем!

Хотя чего, собственно, думать? Все ясно уже!

На следующий день я к Лехе в контору проник — почти полдня пробивался.

Леха в кабинете своем меня принял, заставленном почему-то железными шкафами.

— Ну, правильно, старик! — дружески мне говорит. — Мы тут с тобой такого накрутим!

По плечу хлопнул — начальник-демократ!

И началась новая моя жизнь!

Приезжаешь с папкой чертежей в какие-нибудь Свиные Котлы, выходишь из маленького деревянного вокзала, на автобус садишься... Автобус километра через полтора проваливается, как правило, в яму.

Все привычно, спокойно заходят сзади, начинают выталкивать автобус из ямы. Вытолкнули — автобус взвыл радостно и уехал.

— Ничего! — спутник один мне говорит. — Это бывает! Японцы говорят — пешком надо больше ходить!

Идем километров пять, постепенно превращаясь в японцев.

В гостинице, естественно, мест нет. Дежурная говорит:

— Но скажите хоть, кто вы такой, что мы долж-

ны места вам в гостинице представлять?!

— Я мэнээс! — гордо говорю.

— Майонез? — несколько оживилась.

— Мыныэс! — говорю. — Младший научный сотрудник!

— А-а-а! — с облегчением говорит. — Таких мы у себя не поселяем. Были бы вы хотя майонез, другое дело!

Что ж делать-то? Куда податься? Где-то должна быть тут жизнь, бешеное веселье, шутки, легкий непринужденный флирт?

Нахожу наконец «Ночной бар» — большой зал, и, что характерно, царит в нем мертвая тишина.

— Тут, — спрашиваю, — бешеное веселье бурлит?

— Тут-тут, — говорят. — Не сомневайся!

Называется — ночной бар, а практически, я понял, сюда только те идут, кому ночевать негде: транзитники, командированные и т.п. Добираются из последних сил, ложатся лицом на стол и спят.

Глубокий, освежающий сон.

Вдруг драка!

Подрались дворники и шорники! Шестеро дворников и семеро шорников! Встаю с ходу на сторону дворников, обманными движениями

укладываю двух шорников. Становится шесть дворников, пять шорников. Тут же встаю на сторону шорников, обманными движениями укладываю двух дворников. Становится четыре дворника и пять шорников. Тут же встаю на сторону дворников.

Появляются дружинники, говорят: «Пройдемте!»

Приводят в отделение. Скамейка. Перед ней стол, покрытый почему-то линолеумом.

Лег на него лицом. Глубокий, освежающий сон.

Тут загудело что-то. Отлепил лицо от линолеума, гляжу — над кожаной дверью надпись зажглась: «Войдите!»

Вхожу. Сидит капитан. Стол почему-то покрыт уже паркетом.

— Ну что? — говорит. — Допускали иронич-ность?

— Откуда? — говорю.

— А что было?

— Да просто все, — говорю. — Подрались дворники и шорники. Шестеро шорников и семеро дворников. Встаю с ходу на сторону шорников, обманными движениями укладываю двух дворников. Становится пятеро дворников и

шестеро шорников... Ой, извините, — говорю, — перепутал! Подрались шесть дворников и семь шорников...

Закачался капитан, застонал. И транспарант вдруг зажегся: «Уйдите!»

Выхожу в коридор — ко мне две дружинницы, хорошенькие!

— Можно, — говорят, — мы вас перевоспитаем?

— Можно! — сразу же отвечаю.

Привели меня в Дом культуры. Да еще вахтер спрашивает их:

— Это с вами, что ли?

Что еще значит — «это»? Сейчас как дам в лоб!

— Ну, смотрите, — они мне говорят. — Тут у нас работают кружки: кулинарный, танцевальный, курсы кройки и житья. Выбирайте любой. Только сначала мы вам должны показать, как вести в обществе себя, как недорого, но элегантно одеваться.

— А я и так элегантный! — говорю. — У меня и справка об этом имеется! Показываю.

— Ладно, — говорят.

Повели меня в танцевальный кружок. Шаровары натянули, картуз, на сцену вытолкнули — там уже пляшут!

Потом в кулинарный меня привели. Быстро там коронное свое блюдо сготовил: пирог с живым котом. Жюри только начало корочку разрезать — кот выскочил, возмущенно стряхивая с ушей капусту. Аплодисменты.

Потом еще закончил курсы кройки и житья. Потом затейники в перину меня зашили.

— Все, — говорят, — больше кружков у нас нет.

— Нет? — говорю. — Жаль!

Утром Леха приехал с рабочими и аппаратурой — все вошло наконец в свою колею.

Раненько, еще в темноте, возле гостиницы садишься в служебный автобус. Автобус трогается, едет по темным улицам. Все в автобусе начинают кемарить. Далеко нам на полуостров наш добираться.

— Не помешаю, — сосед мой меня спрашивает, — если ноги вам на колени положу?

— Конечно, конечно! — вежливо говорю.

Всегдашняя моя бодрость. Все буквально меня восхищает — такое правило! Помню, в детстве еще часами, вежливо улыбаясь, сидел над неподвижным поплавком, стесняясь бестактным своим уходом огорчить... кого?! Рыбу? Поплавок? Абсолютно непонятно.

И сейчас стараюсь держаться всегда, не вешать

на людей свои проблемы... Но понял: только настырные люди, недовольные всего и добиваются. А я — весело всегда: «Как жизнь-знь-знь?!»

«Ну, у этого-то все в порядке!» — все думают.

А Леха ноет все, жалуется, в результате машину нашу себе выклянчил, дачу строит. При этом продолжает ныть, что нет для машины запчастей, для дачи — пиломатериалов. И все сочувствуют ему, забыв, что речь-то уже — о даче и машине! Серьезным человеком его считают. Проблемы у него! А я так... Оченно это все обидно.

Почему должен я постоянно чьи-то тяжелые ноги на коленях держать?

За окном тьма. Предутренние часы. Самое трудное для человека, тревожное состояние.

Мозг не проснулся полностью, не успел на все привычную лакировку навести.

Белая бабочка судорожно протрепыхалась по лобовому стеклу. За стеклами не пейзаж, а какой-то негатив. Белые бабочки пролетают. Привидение машины в белом чехле. Толстые белые перила моста. Сейчас, если в лес возле шоссе углубиться, наверное, только бледную поганку найдешь.

Вот наконец шлагбаум черно-белый перегораживает дорогу — это уже более или менее веселая

расцветка!

За шлагбаумом уже стало светать. Свернули на бетонку. Вода в ведре для окурков от вибрации сморщилась выпуклым узором… Подъезжаем — белые известковые горы. Вот наша площадка…

На базе ее — каменоломня. Гора белого камня, гора песка. В горе песка ласточки успели насверлить гнезда. А говорят еще — инстинкт у них! Вот дуры!

Устанавливаем конструкцию на стенд, тянем провода. Пиротехники долбят известняк, закладывают взрывчатку. Включаем приборы, ставим на нуль. Ложимся. Машем рукою взрывникам: «Давай!» Потом распахиваем до предела рот, закрываем ладонями уши. Тишина, потом резкий, заполняющий все кишки хлопок воздуха. Не уселась еще известковая пыль — бежим к нашим конструкциям, обмеряем…

За день перетряхнет всего тебя взрывами. И так тридцатый день подряд.

На закате возвращаемся. Типичный южный городок. Мужчины в домашних тапочках, сидящие на корточках возле ларьков. Здание «Облвзрывпрома», наполовину взорванное. Выходим из автобуса — волосы от пыли стоят колом, в уголках глаз грязь.

Лехе говорю:

— Ну, когда ж ты отпустишь меня домой? Говорил, на две недели всего, а уже второй месяц пошел!

— А что, плохо тебе, что ли?

— А что ж хорошего-то? Согласился тебе помочь, а ты, пользуясь моей мягкостью...

— Хочешь, поезжай! — грубо мне Леха говорит. — Но денег не получишь!

— Так, да? Ну хорошо!

Плюнул, ушел к себе в номер. Открыл портмоне — там, упруго напружинившись всеми мускулами, лежал рубль.

Да-а-а... Только такие тяжелые, настырные люди, как Леха, добиваются чего-то. А я...

Стал я укладываться. Темно. Но сна и в помине нет!

Как там балда эта без меня?!

Завалила наверняка все, что я поручил ей, и даже то, наверное, чего я ей не поручал!

А я почему-то здесь. «Надо», считается. Если каждому «надо» покорно поддаваться, то вскоре окажешься... неизвестно где!

Ночь душная, неподвижная, не вздохнуть. Но в гостинице, несмотря на это, бешеное общение. То и дело слышно: стук в дверь, вкрадчивые, глухие

голоса.

Ко мне почему-то никто не стучит. Постучите, а?.. Слабеющей рукой открою уж задвижку!

Да нет, мало кому я тут нужен!

Странно как сосед мой храпит, сначала: «Хр-р-р!», потом тоненько: «О-о-о!», потом неожиданно: «Ля-ля, ля-ля-ля!»

Всю ночь я с открытыми глазами лежал, ждал — может, опомнится Леха, постучит?

Только под утро Леха пришел. Деньги мои мне сунул.

— Ну, ладно! Поезжай! Скоро и я приеду. Лорке привет!

Вспомнил все-таки, что он мне друг!

Радостный, прямо из аэропорта ворвался домой, начал будить жену.

— Не встану! — она говорит.

— Вставай и убирайся!

Обрадованно:

— Из дома?

— Нет. В доме.

— Я в одиннадцать встану.

— Нет, сейчас!

— Нет, в одиннадцать!

— Нет, сейчас!

Сунула кулачок под подушку вытащила часы.

— А сейчас и есть одиннадцать! — захохотала.

Везет ей.

Потом я в контору забежал. Там как раз в этот момент плафон отвалился с потолка. Тут я вошел, поймал плафон, поставил его на стол — и снова уехал, на четыре месяца!

Теперь все больше один стал ездить, без Лехи. Леха, правда, командировки свои мне отдавал, чтоб я отмечал их, а деньги — ему.

— Зря ты это, — неоднократно я Лехе говорил. — Куски жизни теряешь, новые ощущения!

— Уж годы не те, чтоб за ощущениями гнаться! — Леха отвечал. — Давно пора и тебе это понять!

Помню, после очередного моего возвращения пошли к ним. У них уже к тому времени интерьер образовался. Кошка, подобранная под цвет интерьера. Интеллигентные гости в гостях — Володя Доманежиевский, литературотоваровед!

— Вот, — жена моя сразу жаловаться начала, — купил мне эту дурацкую шаль за четыре с половиной рубля и теперь все время заставляет зябко в нее кутаться!

— Да, чего раскуталась-то? — говорю. — Кутайся давай!

Традиционный разговор.

— Возмутительно вообще. — Леха говорит.

— Мы с Дийкой пять лет в очередь на чудо записаны, все сроки прошли, деньги уплачены, а чуда никакого, хоть умри!

— Ну, не знаю! — В спор я полез. — По-моему, кое-каких простых вещей еще не хватает, а чудес-то как раз навалом!

— Например?! — строго Дия меня спрашивает,

— Например? Недавно совсем: поехал я в Москву, выхожу в Москве, спускаюсь в метро, засыпаю — просыпаюсь на станции метро в Ленинграде. Снова еду в Москву, сажусь в метро — просыпаюсь в Ленинграде!

— Ну, это ерунда! — Леха говорит. — Вот тут, я слышал...

Конечно, про летающие тарелки речь завел. Будто на земле все настолько ясно, что летающие тарелки понадобились для возбуждения.

— А отдохнули вы как? — оживленно к Дийке и Лехе жена обратилась. — Только из отпуска приехали — и не рассказываете ничего. Противные какие!

— Все отлично было! — Леха отвечает. — Все схвачено было — лучшие отели, лучшие поезда. Из кабаков фактически не вылезали. Загорали, купались!

Поглядел я на них: бледные оба, как черви

мучные!

— Мне-то ты не ври! — говорю ему. — Не ездили вы ни в какой отпуск, дома сидели!

— Да ты что, ошалел, что ли? — Леха возмутился. Вот билеты в оба конца, квитанция на белье... счета из лучших гостиниц, из кабаков.

— Ну ясно, — говорю. — Отчетность всегда в порядке у тебя. А в отпуск не ездили вы, только квитанции где-то достали!

— Ты что же, за идиота меня принимаешь?

— Конечно!

— Кто же отпуск так проводит, чтоб только по бумажкам все сходилось, а больше ничего?

— Ты! — говорю. — Ты давно так живешь. Чтоб все было как положено, а сути давно уж нет!

Неловкая тишина воцарилась.

— Я слышал тут, — тактично Доманежиевский вступает, — вышла книга американского физиолога одного (начинен буквально такими вот заемными сведениями!). «Живи после смерти», кажется, называется. Так он записывал показания людей, побывавших в состоянии клинической смерти. И многие слышали там голоса, зовущие их, что свидетельствует, как он считает, о наличии загробного мира!

— Странно, — не поворачиваясь ко мне, усилен-

но общался с интеллигентным гостем Леха. — Я тоже ведь был в состоянии клинической смерти. Но никаких голосов не слышал оттуда!

— Значит, и там тебя никто видеть не хочет! — Я захохотал.

Тут Леха не выдержал, повернулся ко мне, губы затряслись.

— А сам-то ты!.. — Леха выговорил с трудом.

— Да-а-а... — вздохнул я. — Ну и водка нынче. Чистый бензин! Видно, на мне обратно поедем вместо такси!

6. Муки не святого Валентина

Провожая мою маму на пенсию, ей дали от института четырехкомнатную квартиру.

Потом моя младшая сестра вышла замуж за москвича, и, когда у них родился ребенок, мама переехала на время туда — нянчиться с внучкой.

Так мы остались в квартире вдвоем с женой. Дочка по-прежнему жила у родителей жены, у деда с бабкой, — считалось, что так удобнее. По воскресеньям мы ездили к ним, обедали, разговаривали с дочкой, потом, когда она пошла в школу, помогали делать ей уроки на понедельник.

И нас это, надо сказать, вполне устраивало —

считалось, что руки у нас развязаны для каких-то выдающихся дел. Но годы шли. С годами все тяжелее давались мне эти поездки, жена обижалась, что я совсем не люблю дочь — месяцами ее не вижу, и хоть бы что!

Нет, я, конечно, скучал иногда по ней, но ехать туда, общаться по заведенной программе с тестем и тещей... когда у меня сейчас такое буквально что состояние... выше моих сил!

Сначала тесть солидно пожимает руку, приглашает к столу, потом следуют одни и те же вопросы, и обязательно в одном и том же порядке: «Как здоровье?», «Как дела?», «Какие планы?» — причем отвечать надо быстро, и обязательно одно и то же, любое отклонение, даже просто перестановка слов вызывает долгое недоуменное молчание.

И главное, не выскочить из-за стола, не выйти на улицу, потому что тесть сразу же недоуменно скажет: «За папиросами, что ли? Так вот же они!»

И попробуй ему объясни, что ты... вовсе не за папиросами!

Конечно, я понимал, что они очень любят внучку, а также свою дочь, мою единственную жену. И ко мне относились неплохо, да и я, в общем-то,

любил их, но ездить туда было выше моих сил. И я ездил все реже.

Мы пытались делать иначе — привозили на выходные дочку к себе. Но так тяжело было видеть, как дочка, веселая в субботу, в воскресенье то и дело поглядывает на часы и часов в пять, вздыхая, начинает собираться в обратный путь.

— Ну все! — возвратившись однажды от них, сказала жена. — Надо Дашу забирать к себе.

— Почему?

— На-ды так! Нады-ы! — выпячивая по своей дурашливой привычке подбородок, произнесла она.

— Но почему?

— Надоело ей со стариками жить, вот почему! А главное, в школе своей она со всеми поссорилась, не может там больше учиться, плачет каждую перемену. Вот почему!

— Странно... а мне она ничего не говорила! Мне отвечает всегда, что все нормально!

— Тебе разве скажешь! — махнула рукой жена.

— Ну что ж... — сказал я. — Но только год уж пускай доучится до конца!

— Ето понятно! — весело сказала жена. — А я зато с Дийкой договорилась, что мы на каникулах у них на даче будем жить!

И вот настал вечер, когда Даша переезжала к нам...

Я вышел в прихожую, прислушался. Девятый час, а жена с дочкой еще не появились. Тревожные мысли, над которыми раньше я издевался, теперь захватили меня.

Ну что могло случиться? Метро, автобус?.. Тут воображение не подсказывало ничего ужасного. Может, погас свет и они застряли в лифте?

Я быстро щелкнул выключателем — свет есть!

Потом снизу послышалось завывание лифта. Я подошел к двери, стал слушать. Лифт остановился на площадке, но голосов не было. Заскрипел открываемый замок соседней квартиры.

Я вернулся в комнату, сел.

«Да, плохо! Ни в чем нельзя на нее положиться! — привычно устало думал я про жену. — Даже привезти дочь от бабки, и тут нельзя быть уверенным, что она проделает это без происшествий!»

Я абсолютно извелся, когда услышал наконец скрип открываемой двери, увидел свет, проникший с площадки.

Первым в квартиру, часто и горячо дыша, вбежал песик (подаренный дочке за хорошее окончание учебного года), подбежал и, встав на задние лапы, передними стал перебирать на

моих коленях. Потом, насмешливо тараща глаза, появилась дочь, кивнула и пошла в прихожую раздеваться. С ободранным картонным чемоданом ввалилась жена, обиженная и уставшая.

— Представляешь? — кивнув на чемодан, она горько вздохнула.

«Надо же, как трогательно огорчается! — подумал я. — Словно для нее это новость, что дочь жила у деда с бабкой, и откуда взяться там модному чемодану?»

— Зато, говорят, в школе нашей со следующего года будут занятия в бассейне, — сказала жена и направилась в кухню.

Там Даша играла с песиком и, увидев меня, подняла быстро голову и улыбнулась.

На кухне жена взбила омлет и вылила его из мисочки на сковородку.

— Во сколько завтра едете-то? — спросил я.

Она пожала плечами.

— Как так?

— Не знаю, — сказала она. — Звоню все время Дийке, она не отвечает.

— Но вы договаривались или нет?

— В общем, да.

— А когда?

— На той неделе еще.

— А вчера не могла созвониться? Позавчера? Трудно это было? Или невозможно?! Мало ли что могло случиться за эти дни?

Жена отвернулась к плите, заморгала, что означало у нее приближение слез.

Я ушел в комнату, сел на диван, сидел, автоматически сводя и разводя два маленьких черных магнитика, оставшихся, наверно, от какой-нибудь «Маши не хочу каши», стараясь отвлечься, успокоиться их маленьким, выскальзывающим сопротивлением.

— Что, папа? — в комнату вошла встревоженная Даша.

— Ничего, — сказал я, погладив ее по голове,

Я надел ботинки, вышел на лестницу, хлопнув дверью.

Та-ак! И это дело завалено! А Даша, особенно последние дни, так мечтала о том, что она поедет к Хиуничевым на дачу, будет вместе с их дочкой Катей поливать грядки, как они будут бегать по лесу!

— Там, наверное, ландышей уже много. — Поддерживая в ней бодрость в последние дни занятий, я сам часто поднимал эту тему.

— Нет, — серьезно подумав, как всегда, отвечала Даша. — Ландышей еще нет. Только внизу,

у ручья есть.

— Но вы-то знаете небось это место?

— Конечно! — небрежно отвечала Даша. — Мы с Катькой в прошлом году каждый день туда носились!

Да и сам я радостно думал, как хорошо будет оказаться ей в сосновом лесу после тяжелых занятий в конце года, тем более, как рассказала однажды жена, Даша, выйдя после контрольной по математике, потеряла сознание. Меня эта история очень перепугала — что же это такое... в чем дело? Может быть, просто переутомление? Даша занималась так старательно, дотошно, и вот наступили каникулы, она собрала свои вещи в старый чемодан... и вдруг выясняется, что никуда они не едут!

Я стоял, слушая ровные гудки в трубке. У Лехи с Дийкой — никого! Все ясно! Собственно, это давно было ясно, что Хиуничевы не горят желанием приютить нас у себя на даче. Мы сами давно прервали семейное общение с ними и только перед самым летом, в ожидании каникул, резко возобновили. Эта хитрость, конечно, шита белыми нитками, и обидчивый Леха, конечно, ее раскусил. И вот результат: долгие, тягучие гудки в трубке. «Нас нет, а вы живите, как знаете!»

Я нервно топтался во дворе. Главное, тяжело было возвращаться к дочке, что-то ей объяснять...

— Ничего! Утро вечера мудренее! — сказала жена.

— Мудрёнее! — сказал я.

Утром, когда дочь с женой еще спали, я снова позвонил... Нет... никого! Тягучие гудки.

— Ну как? — спросила дочка, подходя.

— Пусто! — сказал я.

— Ух, мама! Уж не могла договориться! — Сощурясь, Даша посмотрела на выходившую из спальни мать.

— Ну, что будем делать? — садясь в прихожей на стул, спросил я.

— Они на даче, точно! — подумав, сказала Даша.

«Может, они на кладбище поехали? — подумал я. — Троица сегодня, все на кладбище едут».

— А поедем к ним. Нет, так нет! — сказала жена.

Я представил, как они с дочкой, со щеночком на поводке подходят к даче — и никого там нет, ворота закрыты. Только представить себе, как они будут идти потом обратно!

— Ладно, съездим! — решил я.

Я открыл чемодан, стал перекладывать вещи

в сумку.

— Английский берем?

— А как же! — вытаращив глаза, сказала Даша. — Обязательно надо будет там английским заниматься!

В электричке песик спокойно уснул, Даша читала английский. Я, не отрываясь, смотрел в окно.

«Как долго едем-то! — думал я. — С прошлого года помню эти торчащие из воды черные палки. Сколько едем, а самое только начало пути!»

Наконец мы вышли на станции и, спустившись с платформы, пошли по ноздреватому после дождя песку. И сразу же почувствовали чистый, промытый дождем, прохладный воздух!

По дороге Даша, разрывая мое сердце, все рассуждала о том, что дядя Леша с тетей Дией, конечно, уже взяли Катю из детского сада.

— Любому хочется отдохнуть от этих занятий! — рассудительно говорила она.

Мне все хотелось добежать первому до дачи, узнать, как там обстоят дела, вернуться с какой-то определенной вестью, чтобы жена и дочь не шли так, в сомнениях и переживаниях, по дороге... Но, сдерживая себя, я шагал с сумкой рядом, чуть впереди.

И вот показался за оградой двор, у сарая серый

бок «жигулей».

— На месте! — небрежно сказал я.

Словно услышав команду, песик стал рваться на поводке. Даша побежала за ним, но я с сумкой обогнал их, чтобы в случае чего принять удар на себя! Мы подошли к калитке. Леха, остроносый, в берете, обстругивал какую-то доску: поставив ее на топчан посреди двора, с наслаждением прищурив глаз, готовился нанести снайперский удар — и тут он увидел нас.

— А-а-а... И с собачкой! — только и произнес он и, не в силах сдержать своей досады, скрылся в бане, которую он строил, наверное, лет пять.

Даша со щенком на руках стояла у закрытой калитки. Из бани раздался стук топора.

К счастью, страдания в жизни не тянутся долго — этого не выдерживают ни жертвы, ни палачи, — и вот уже с крыльца дома спускается Дия, громко говоря:

— Дашка! Какая ты большая-то стала! А это что с тобой за безобразная женщина? А это что за командированный с узлом?

Жена быстро подхватила ее тон. Дия открыла калитку, и, обнявшись, они с женой, болтая на тарабарском своем наречии, ходили по двору.

Катя, не обращая внимания на Дашу, хотя они

так дружили год назад, сразу, конечно, бросилась к щенку. Но Даша спокойно ждала, пока та опомнится и поздоровается, — характер у Даши был твердый, дожимать ситуации она умела, тут я даже иногда ей завидовал.

Дождавшись приветствия, Даша присела к щеночку, и они стали щекотать его вместе с Катей.

— Сходите, девочки, погуляйте с ним в лесу! — сказал я, быстро закрепляя этот альянс.

— Леня! — густым своим голосом закричала Дия. — Может, ты покинешь свой скит хотя бы по случаю приезда дорогих гостей?

— Должен же я закончить эту сторону, раз решил? — с досадой отвечал Леха.

Я сел на раскладной стульчик посреди двора.

— Телеграмму получили от Риммы, — высунувшись вдруг из бани, проговорил Леха, — шестого приезжает, точно уже! Так что ничего, к сожалению, не получится!

И тут же скрылся обратно.

Собрав силы, я вошел к нему в клейкий, пахучий сруб.

— Да-а-а... Здорово ты тут развернулся!

— Шестого, говорю. Римма приезжает, Дийкина мать, — упрямо повторил Леха.

— А? Ну и что? — небрежно и весело сказал

я, хотя веселья и небрежности осталось у меня очень мало. — Но до шестого-то могут тут девочки пожить вместе, тем более, видишь, как они обрадовались друг другу!

— До шестого — я ничего не говорю. До шестого — пожалуйста! — сломался Леха.

Тут из леса (как по сценарию) с криком и визгом выскочили разрумянившиеся, радостные девочки, за ними, взмахивая ушами, как крыльями, мчался щенок.

Поглядев на них, Леха вонзил топор, вышел из бани и наконец поздоровался с моей женой и дочкой.

— Что, Лешенька? — Не давая остыть железу, жена выхватила из сумки бутылку. — Может быть, с легким паром?

— С легким паром, с легким паром! — подхватил я.

Через час я шел к станции. На последней прямой я обогнал старичка и старушку и, спохватившись, высоко подпрыгнул, чтоб показать им, что быстро иду я просто от избытка энергии, а вовсе не из-за опасности опоздать на электричку!

...В городе я вдруг почувствовал, что я один, что обычные заботы на время отпали.

«Что-то я давно не не ночевал дома!» — бодро

подумал я, впрыгивая в автобус.

Автобус переехал мост. Я все собирался выйти, позвонить (кому?), но на первой остановке не вышел, подумав, что на следующей автоматы стоят прямо у автобуса... Но почему-то опять не вышел и так доехал до самого дома.

«Ну, ничего, — бодро подумал я, — зато чаю сейчас попью! Хорошо попить горячего чаю с лимоном в холодный вечер!»

Потирая руки, я отправился на кухню. Но заварки в коробке не оказалось. И лимона не было. И вечер, в общем-то, был не такой уж холодный.

Я побродил по пустой квартире.

Да-а-а... Помнится, два года назад, когда жена уехала в отпуск и через пять минут вернулась, забыв билет, квартира была уже полна моими гостями.

— Вот ето да! — с изумлением, но и с некоторым восхищением сказала тогда жена. — В шкафу они у тебя были, что ли?

Нет, они были не в шкафу — они прятались во дворе, за мусорными баками, ожидая момента! Да... теперь, конечно, не то! Видимо, возраст. Тридцать лет. Еще двадцать девять лет одиннадцать месяцев — ничего, но тридцать — это уже конец.

Видимо, жизнь прошла. Не мимо, конечно, но

прошла. С этой умиротворяющей мыслью я и уснул.

Проснулся я необычно рано. По привычке я стал искать на стене пятно света, сквозящего между шторами, — по расположению этого пятна я определял время довольно точно. Но пятна на стене не было.

«Значит, пасмурно, дождь!» — подумал я, и сразу же возникло почему-то ощущение вины.

Потом пятно на стене стало проступать, сперва бледно, потом все ярче и ярче наливаясь солнцем.

Я вскочил, отодвинул штору: на кусок ярко-синего высокого неба со всех сторон надвигались набухшие тучи. Я смотрел некоторое время на этот кусочек с надеждой, но потом задвинул штору, оделся, поел и, сдуваемый ветром, вышел на улицу.

«Что за лето?» — с отчаянием думал я.

С таким трудом, ценой таких унижений удалось пристроить дочку на шесть дней на дачу, на воздух, и надо же — пошел дождь, они с Катей даже не могут выйти погулять! Что я, метеоролог, что ли, виноват, что лето выдалось в этом году такое холодное?..

— У тебя жена в отъезде? — спросил приятель

на работе.

— А что, есть хорошие девушки? — автоматически, думая о другом, спросил я.

— Да нет... Я не к тому. Вид у тебя какой-то неухоженный.

На следующий день, отпросившись с работы, я поехал к своим. Время в электричке промелькнуло в этот раз быстро, я соскочил с платформы, побежал по дорожке.

Дочь выскочила из калитки, бросилась навстречу, стукнулась в живот головой. За оградой лаял щенок, выпрыгивая из высокой травы, чтобы посмотреть, кто это приехал.

Я вошел в дом, обнял жену. Щеку мою защипало — я понял, что она плачет.

— Ну, в чем дело?! — злобно спросил я.

— Взвалили тут все на меня! — сжав свои маленькие кулачки, утирая ими щеки, рыдала она. — А магазины все закрыты, ничего нет. Вот, достала только это! — Она ткнула кулачком в маленькую синеватую курочку, которая лежала, поджав тоненькие лапки. Жена умела создавать жалобные картины, когда ей нужно было изобразить одинокую свою, печальную участь. — Лешка совершенно не разговаривает! — всхлипнула она.

— Так... в лес-то хоть ходите? — обратился я к девочкам.

— Нет. Холодно очень, — грустно вздохнув, сказала Катя.

— Эх вы, мерзлячки! — бодро сказал я. — Быстро надевайте курточки, сапоги! А где папа твой? — спросил я у Кати.

— Папа в городе, — вздохнув, сказала она.

В лесу действительно было очень холодно. Подгоняемые мною, девочки дошли до ручья. Там было не только холодно, но и сыро. Свисающие из тугих трубочек белые шарики ландышей казались олицетворением зимы.

Возвращаясь обратно, я увидел, что ворота в ограде широко распахнуты и посередине двора стоят «жигули». Леха, стоя на коленях у багажника, вынимал оттуда банки с краской, долго осматривая каждую, нюхал, подбрасывал.

— Что это у тебя?

Этого вопроса, видимо, Леха и дожидался.

— Да краску вот купил, — ответил он. — Пол на кухне хочу покрасить к приезду Риммы, а то ворчать начнет, как всегда, что дача запущена.

— Как же в комнаты придется входить? Через окно? — легкомысленным тоном спросил я.

Леха молча покачал головой: «Ни за что!» — и с

банкой ушел в дом. Уже в отчаянии я стал бегать с девочками, взбадривать щеночка (совершенно не справляется, сукин сын, со своими функциями!) и, когда смех и лай сделались практически непрерывными, пошел на кухню.

— Что ж теперь, — не выдержав легкого тона, сорвался я. — Из-за твоей чертовой хозяйственности все должно рушиться?!

— Что все? — пожав недоуменно плечами, спросил Леха.

— Для чего ты дачу-то строил? Чтоб дочка была счастлива, верно? И конечная цель уже достигнута — посмотри в окно! А теперь ради какой-то промежуточной цели ты хочешь порушить цель конечную, понимаешь?!

Взглянув в окно, я спросил у Кати:

— Нравится тебе, Катенька, с собачкой играть?

— Нравится, — робко пропищала она.

Мне немало приходилось в жизни интриговать, но впервые я интриговал с помощью маленькой девочки и щеночка!

И все зря!

Не слушая меня, Леха опустился вдруг на колени и стал измерять пядями пол, что-то бормоча.

Расстроившись, я ушел в лес.

«Все ясно! — думал я, шагая по лесу. — Такой

тип людей — и ничего им не объяснишь! Преодолевая трудности, так привыкают к ним, что забывают о конечной цели, упиваясь трудностями как таковыми! И главное, нет никакой возможности им доказать, что девяносто девять процентов проблем и несчастий создают они себе сами, своими же руками!.. Хотя, с другой стороны, — несколько уже успокаиваясь, думал я, — будь Леха на каплю другим, не было бы дачи и вообще не о чем было бы дискутировать!»

Я спустился вниз, перепрыгнул ручей.

Да-а... Когда-то мы жили примерно в этих местах, посланные в студенческие каникулы на мелиорацию... Какое счастливое, безоблачное житье тогда было!

Днем с друзьями бегали по болотам, опрыскивая химикалиями чахлые кусты, вечером веселились... Потом я, не чувствуя никакой усталости, шел за двадцать километров туда, где жила с яслями знакомая медсестра, и часа в четыре утра возвращался от нее обратно. Как раз тогда были белые ночи (как, впрочем, и сейчас, но сейчас я как-то их не заметил). Было светло, я шел напрямик по пружинистому глубокому мху, подходил к неподвижному озеру, спускался в гладкую холодную воду и плыл.

...Когда я вернулся на дачу, Катенька плакала, по лицу ее текли длинные слезы. Даша стояла молча. Жена спускалась с крыльца, толкая перед собой коленом набитую сумку.

— Что, едете уже? — мимоходом спросил Леха, отрываясь от пола.

Жена, не глядя на него, кивнула.

— ...Ну, так позвоните? — не выдержав тишины, проговорил он.

Я сунул руку в окно, мы молча обменялись рукопожатием.

— Дашенька, бери Рикки, — светским тоном проговорила жена.

Даша постояла неподвижно, потом сняла со стула поводок и пристегнула к ошейнику щеночка.

Песик упирался, жена тащила его, ошейник сполз ему на уши...

— Матери скажем, что он на машине нас до станции довез! — после долгого молчания сказала жена, когда мы шли уже по дороге.

Я кивнул.

— Ну, ничего! — говорила в электричке жена. — Зато пожили все-таки на свежем воздухе!

— Мне не понравилось в этот раз, что погода холодная, — тараща для убедительности глаза, произнесла Даша.

Домой мы приехали поздно, молча попили чаю и легли.

— Ничего! Я уверена, все как-то устроится! — безмятежно сказала жена.

«Конечно! — подумал я. — Обязательно! Как тут может устроиться-то?! Приучил ее в свое время ни в чем не видеть трагедии и сам теперь на этом горю!»

«Что ж делать-то? — лежа ночью без сна, думал я. — Что Даше сказать, когда она утром проснется? Старалась, так хорошо закончила второй класс, удивив всех обстоятельностью и серьезностью; так мечтала интересно прожить каникулы, и вот из-за разболтанности родителей придется ей провести лето между мусорными бачками и пивным ларьком!»

Утром я спустился по лестнице к почтовым ящикам посмотреть, нет ли какого-нибудь письма. В последнее время почему-то я все ждал какого-то письма, даже замочек на ящике сломал, чтобы быстрее можно было запустить руку, но письма не приходили.

Я спустился... В одной из дырочек ящика что-то белело! Вынув, я сразу разорвал конверт. Письмо было от двоюродного брата Юры.

Здравия желаем!

Сим письмом спешу уведомить вас, что, спихнув наконец все дела, ослобонился душой и телом, поэтому готов принять вас с достопочтенным вашим семейством на берегах великой русской реки Волги. Следующие факторы дают основание предполагать, что может иметь место весьма насыщенный культурный отдых:

1) Лодка с мотором «Вихрь-М».

2) Польская трехкомнатная палатка (Сашок тоже собирается прибыть с семейством).

3) Пропуск-разрешение на житье на малообитаемом острове-заповеднике.

4) Огромный запас рыболовных снастей (некоторые из них на грани законности, но это — тайна!).

Ждем! Надеюсь, ты не забыл наш зимний договор, хотя заключался он в состоянии некоторого подпития.

Необходимо взять:

1) Одежду на случай холода и жары.

2) Энное количество банок тушенки.

3) Неограниченное количество огнен-

ной воды.

4) Несколько флаконов ДЭТы (на Волге в этом году необыкновенный выплод комаров — мириады!).

Мы все очень надеемся, что Дашу отпустят с вами, ее здесь ждут и Мишка, и Димочка.

Все!

Срочно звони.

Твой друг и брат Юра.

— От кого это? — спросила в прихожей Даша, как только я вошел.

— От дяди Юры. Помнишь, к нам зимой приезжал? Приглашает нас на Волгу.

— А что, поедем! — кивнув для убедительности головой, сказала Даша. — А будут там какие-либо дети? — важно спросила она.

— Мишка, сын его. И Димка, сын Сашка.

В прихожую вышла из спальни жена.

— Приснился мне сон, что мы плывем по какой-то реке.

— Все правильно, — сказал я. — Вот, Юрка нас приглашает.

— Ведь говорила же я, что все устроится! — сладко потягиваясь, сказала жена.

Снова она со своей беспечностью неожиданно оказалась права!

В тот же день я дозвонился в Саратов, потом, отстояв три часа в очереди, купил им билет на самолет (сам я, как выяснилось, мог освободиться на работе не раньше чем через неделю).

И вот мы ехали уже на экспрессе в аэропорт Ржевка. За окном мелькали широкие проселки, холмы, речки, словно мы уже прилетели куда-то далеко. Аэропорт оказался маленький, сельский. В зале было душно, преобладали старухи с корзинами.

Щеночек пугался шума самолетов, скулил... Хотели было оставить его у бабушки, но он так рвался с поводка и сипел, что решено было взять его.

Скрепя сердце я оставил их в неказистой этой обстановке, вскочил на последний в этот день экспресс. Автобус отправился. Они, уменьшаясь, все так и сидели неподвижно в сквере, хотя начал вдруг накрапывать крупный дождь.

Всю неделю меня мучила эта картина — как сидят они в сквере под дождем. Один раз вечером я даже поехал туда, чтобы посмотреть, так ли там действительно все печально? Оказалось, что так.

И вот наконец с чемоданом и тяжелым рюкза-

ком я ехал туда как пассажир.

В салоне самолета было сумрачно, слова из-за мягких кресел доходили глухо.

На промежуточной посадке в Ижевске я вышел на воздух. Самолет стоял в пустом, глухом конце аэродрома возле каких-то вагончиков-мастерских. Было холодно и темно (я и забыл уж, что летом, оказывается, может быть такая тьма!).

В Саратов прилетели под утро. Аэропорт его показался мне южным — горячий воздух, колючие стриженые кусты, цикады.

Я побродил по площади и в темноте еще уселся в автобус. Автобус тронулся, я задремал. Потом вздрогнул от ощущения какой-то громадной пустоты. Я придвинулся к стеклу... Автобус катился через знаменитый саратовский мост — огоньки пароходов внизу казались такими же далекими, как звезды.

На рассвете я доехал до маленького заволжского городка Маркса и там вдруг впервые почувствовал, что оказался на Востоке — возле автобусной станции сидели несколько казахов в халатах.

По спуску, отделанному серым камнем, я спустился к бензиновой воде, подошел к человеку, сидевшему в моторке, и договорился. Сначала мы промчались по узкой протоке, затемненной вы-

сокой землечерпалкой, потом вдруг выскочили на огромный простор, ограниченный лишь на горизонте высокими круглыми горами, словно срезанными острым ножом со стороны воды. Дальше по краю разлива горы поднимались еще выше. В долине между горами, совсем высоко, стоял маленький розовый домик.

Последний раз я плавал по Волге давно и сейчас, окатываемый водной пылью, удивлялся — такого гигантского простора я не ожидал!

— Амур! — кивнув головой в сторону шири, сказал водитель.

— Как Амур? — изумился я.

— Лодка типа «Амур», — усмехнулся водитель. — Со стационарным двигателем. Три тысячи.

— А-а-а. — Я поглядел на большую лодку, идущую по фарватеру стремительно и мощно.

Потом, слепя, мелькнула отмель, обсаженная чайками, дальше с этой же стороны (противоположной горам) потянулись низкие песчаные острова, узкие блестящие протоки. Изредка мелькали на берегах моторки, виднелись палатки. Я стал понимать, как нелегко будет в этом лабиринте найти своих. И вдруг увидел на длинном песчаном мысу, почти исчезающем в блеске воды на горизонте, крохотное черное пятнышко, быст-

ро двигающееся туда-сюда, подпрыгивающее.

— А это ведь песик наш! — обрадовался я. — Что еще может здесь быть такое быстрое и черное? И вот я уже выпрыгнул в воду, вышел на песок.

— Ты самый заметный, самый видный на всем побережье!

Я чесал опрокинувшемуся щеночку живот. Перекатываясь на спине, он довольно урчал.

Потом откуда-то сбоку наскочила дочь, одетая в какой-то незнакомый свитер, в чьи-то ботинки.

Я вдруг почувствовал, как лицо мое стало набрякшим, потным, плохо управляемым. Я вспомнил, что взрослые должны показывать детям пример, стал делать важные, серьезные рожи.

С песчаного берега спускалась жена, почему-то в брезентовой куртке с нашивками полковника студенческих строительных отрядов.

Потом, стряхивая с рук тесто, подошел Юра, саратовский брат.

После из леса по тропинке вышел московский брат Саша.

— Ха, Валя! Где это тебя так подстригли?

Общепленный со всех сторон сразу всеми, я выбрался на невысокий песчаный уступ, сел за стол.

...Вскоре, утомленный броском через пространство, я залез в палатку и крепко уснул.

Очнувшись от тяжелого сна часа через два, я вылез из палатки и испугался: вроде бы должен наступить день, но небо оставалось низким и темным, освещение было темно-красное, словно в гигантской фотолаборатории. С высокой горы за рекой дул резкий ветер — занавеска на продуктовой полке отстегнулась и громко хлопала.

— Как приехали, все такая погода, — сказала жена. — Обычно весь день в глубине острова проводим, а то тут с ума можно сойти.

— А где Даша? — спохватившись, спросил я.

— С ребятами на внутренней протоке рыбу ловит... Ну, что ты, там целая драма!

Я огляделся, удивляясь мужеству дочки, которая, как рассказывала жена, и в этих условиях непрерывно находила себе увлекательные дела.

По дорожке, окруженной засохшими листьями ландышей, я двинулся в глубь острова.

Поперек дорожки среди кустов лежали ровные кучи хвороста, так, как их оставил разлив. Некоторые хворостины висели высоко на ветках. Перевалив песчаный холм, я спустился к внутренней протоке — этот рукав реки, заслоненный островом, продувало меньше, вода была ярко-

синей. Зайдя по щиколотку в воду, неподвижно стояли с удочками: Даша, высокий худой Миша, сын Юры, и пухленький веснушчатый Димочка, сын Сашка.

Димочка вдруг дернул удилищем, и серебристая рыбка промелькнула в воздухе и упала в воду.

— О горе мне! — кривляясь, завопил Димочка.

Даша и Миша повернули к нему улыбающиеся лица.

«Ясно! — подумал я. — Видно, Димочка придумывает слова в этой компании!» Конечно, Даше нелегко с ребятами, которые к тому же старше ее: один на год, другой — на два. Наверняка она чувствует неравенство и, при ее характере, сильно переживает.

Тут Даша дернула удилищем, и довольно крупная плотва, размером с ладонь, долетела до берега, и запрыгала на песке.

— О! Крокодайл! — сказала Даша.

— И у меня крокодайл! — тонким своим голосом закричал Миша.

Я спустился к ним, велел идти обедать, взял обе их трехлитровые банки с рыбой.

Жена жарила лещей на печи, выложенной в земле, искры, отрываясь, летели из высокой

трубы по ветру.

Поставив банки на берегу, я вместе с ребятами сел к столу. Дима и Миша сели, обнявшись и хохоча, стали говорить о своем, не обращая внимания на Дашу, сидящую напротив.

— А мне «фольксваген» не нравится! — нахальным своим голоском говорил Димочка. — Знаешь, как бабушка его назвала? Горбушка!

Ну почему они так демонстративно на нее не смотрят? Неужели им трудно что-нибудь ей сказать? Или в их возрасте все это совершенно непонятно?

Даша вдруг встала, перешла на их скамейку (я физически почувствовал, как трудно ей преодолеть это расстояние) и что-то, улыбнувшись, сказала им. Ребята засмеялись, но не над ней, а, как чувствовалось, ее словам, чего она и добивалась.

«Молодец!» — с облегчением подумал я.

Жена поставила на стол сковородку.

Наступило наконец успокоение. Ветер утих. Все вокруг было серым, ровным. Только трехлитровые банки, поставленные на пляже, светились, как два зеленых фонаря. Иногда там мелькал увеличенный темно-красный плавник рыбешки.

...На стол, заваленный рыбными остатками, за-

литый чаем, слетелись осы. Даша вдруг вскочила посреди разговора, сначала стояла, держась руками за горло, потом вскрикнула и выбежала из-за стола. Я догнал ее, обнял. Она стояла, широко раскрыв рот, потом с усилием глотнула и пошла обратно к столу.

— Нахальство! Я осами не питаюсь! — еще со слезами на щеках, улыбаясь, сказала она.

— Давай горлышко посмотрим, — подходя к ней, сказала Майя, Юркина жена. — Она укусила тебя?

— Да.

— Прямо в горле?

Даша кивнула.

— Дай-ка я посмотрю, — сказала Майя. Сощурившись, она некоторое время смотрела в темноту горла, потом, погладив Дашу по голове, сказала:

— Ну, ничего страшного! Если что-нибудь будет, прокатимся на катере, сходим в больницу, но я думаю, что все уже позади.

— Ну, за выздоровление! — сказал Юра, разливая вино.

Наконец-то он развеселился, а то меня удивила поначалу его хмурость, столь не соответствующая, кстати, тону письма!

Разгорелось веселье.

— Нахальство! Я осами не питаюсь! — вопили ребята, охотясь за осами по всему столу.

Обед достиг апогея, все кричали, хохотали, в голове стоял какой-то звон. Потом я увидел, что жена, бросая на меня лукавые взгляды, о чем-то шепчется с Юрой и Сашком. Для меня давно уже не составляли тайны эти ее заговоры в конце обеда — опять, конечно, подговаривает всех куда-то мчаться, плясать, веселиться и даже здесь, на необитаемом острове, не оставила своих дурацких привычек.

— Уговорила! — громко сказал Юрий.

— Ну, а с детьми кто останется? — спросила Наташа, жена Александра.

— Я!

Я поднялся и ушел в лес. Я слышал громкие их голоса, потом треск перегруженного мотора. Я видел сквозь ветки, как лодка медленно скрылась за островом.

Я вернулся в лагерь. Дети, одурев от непрерывного возбуждения, начав с охоты на ос, теперь уже окончательно сходили с ума — палатка, в которую они забрались, ходила ходуном, нервно-веселые крики, хохот, визг щенка доносились оттуда.

Потом, как это часто бывает, излишнее веселье

окончилось ссорой.

— Фиг тебе! Ясно, фиг! — зло кричал Димочка.

— Дима, прекрати! — услышал я голос дочери. Потом была долгая напряженная пауза.

— Миша, — спокойно проговорила дочь. — Может быть, сходим на наше место?

«Молодец! Одного отсекает!» — подумал я. Миша молчал... Ну чего же он?!

— Ну, ладно! — вдруг злорадно заговорил Димочка. — Отгадай тогда, Даша, такую загадку: «В болоте родился, три раза крестился, с врагами сражался, героем остался!»

Наступила тишина.

«Что же это такое? — мгновенно вспотев, стал думать я. — Три раза крестился... с врагами сражался... что же это?!»

— Стыдно, Даша, — ехидно вдруг проговорил Миша.

— Ну, не знаешь? — ликуя, спросил Дима.

— Город, в котором ты живешь! Эх ты! — проговорил Миша.

— А... вспомнила, — небрежно сказала Даша. Разговор в палатке продолжался — давно уже я так не переживал каждое слово! Я было сунулся в палатку...

— Папа, выйди! Не видишь, мы разговариваем!

— топнув ногою, крикнула Даша, опять как бы выставляя себя главной.

Я вышел. Уже темнело. Пора было кормить детей ужином, но этой очаровательной затейницы, увлекшей всех в неизвестность, не было и в помине!

Стало совсем темно, только над горой была узкая бордовая полоса.

«Что они там делают-то? — думал я. — Давно уж, наверное, все закрыто!»

Безмолвно промчалась в темноте белая «ракета», удивительно близко — до этого они проходили гораздо дальше.

Было ясно уже, что с этими идиотами что-то случилось, другого объяснения их отсутствия быть не могло!

Глухой ночью, когда я хрустел в лесу сухими деревьями, стаскивая их на берег для большого костра, я вдруг неожиданно услышал их громкие голоса, и звонче всех был, конечно, голос жены, неестественно оживленный.

— Конечно, он ничего не сделал! — говорила она.

Я бросил тяжелые жердины, которые волок к лагерю, и, повернувшись, ушел в лес.

«Что же такое? — думал я. — Вроде бы обычная

жизнь, без каких-либо событий, и такие переживания, почти невыносимые».

Помню, в ночь перед операцией я и то переживал значительно меньше, чем сейчас... Возраст?

Я начал вспоминать, с каких пор характер мой, мое насмешливое, легкое отношение ко всему стали изменяться. И тут я еще смеялся, и над этим тоже. Пожалуй... Я вспомнил один вечер, день рождения Лехиной дочки. Когда-то мы сами дружили — не разлей вода.

Теперь мы собирались только на детские праздники, пытаясь так же, как дружили когда-то мы, подружить детей. Но, удивительно, это почему-то не получалось — то один, то другой ребенок, обиженный, приходил на кухню, где выпивали взрослые, мать или отец сажали его на колени, успокаивали... Беззаботного веселья не получалось. Пришлось все-таки помогать им. Леха поставил веселую музыку, дети, разбившись по парам, стали плясать, и вдруг я увидел, что Даша, робко улыбаясь, пляшет в сторонке одна. Я почувствовал, как что-то горячо и остро ударило в голову и в сердце.

— Прекрати, слышишь... Прекрати, — повторил я.

Да... Пожалуй, этот момент. Кончилась легкая,

беззаботная молодость, началась, мягко выражаясь, вторая половина.

Я долго стоял в темноте неподвижно, потом услышал рядом тяжелый вздох.

«Кто это?» — удивился я.

Я переступил с ноги на ногу и услышал, как, громко хрустя, то ли олень, то ли лось умчался в глубину острова.

Я возвратился в лагерь. Жена, искусственное возбуждение которой еще не перешло в обычно следующий за этим приступ гордой обидчивости, пыталась зачем-то разбудить спящих детей.

...Утром на острове царила полная ахинея.

Печка была не разожжена, завтрак не готовился. Жены вообще не было.

Брат Юра, еще более хмурый, чем накануне, зайдя по колено в воду, возился с мотором — после вчерашней увеселительной прогулки он почему-то не работал.

Брат Александр, элегантно подбоченясь, высокомерно подняв брови, давал советы, ценные научно, но абсолютно неприменимые в конкретной ситуации.

Потом я увидел, что из леса с озабоченным видом показалась жена.

— Что там?! — спросил я.

Какое-то плохое предчувствие охватило меня.

— С песиком нашим что-то странное творится, — сказала она. — Всю ночь где-то пропадал. Утром пошла я в лес, вижу — бежит, но как-то странно, и вдруг зарычал. Руку протянула к нему — отпрыгнул. Загривок топорщится...

— А пасть? — поворачиваясь, спросил Юра.

— Что пасть?

— Этого только не хватало, — пробормотал Юра.

Снова отвернувшись, он начал разбирать реверс, Димка и Мишка, демонстративно обнявшись, ходили по пляжу, не обращая на Дашу ни малейшего внимания.

Майя вдруг отвела меня в сторону и тихо спросила:

— Как Дашенька... нормально спала?

— Вроде бы да... — неуверенно проговорил я.

— Ну, слава Богу! А то, честно говоря, я очень боялась — укус осы в горле! Многих к нам привозили с такими отеками! А в горле даже маленькая опухоль, сам понимаешь, — начинается задыхание. Но теперь уже абсолютно ясно — все обошлось.

— Та-ак, — проговорил я, садясь на поваленный ствол ивы.

Даша, насупившись, сидела за столом, тут откуда-то выскочил щеночек. С криком она бросилась его ловить, прижала между корней, щеночек, зарычав, укусил ее.

Стало тихо. Все подумали одно и то же, но никто не сказал.

— ...Не нравится мне это! — произнес наконец Сашок, важно хмурясь.

— Ты что это, ты что, а? — Жена хлестала щенка поводком.

— Надо срочно сделать укол, — сказала Майя.

— Катер-то сломан! — показал я.

Юра быстро вбежал в воду, дернул заводной шнур, мотор задымил, застучал, но винт по-прежнему не вращался.

— У егеря за протокой есть моторка! — прокричал Юра.

Я побежал через лес к протоке, потом, спохватившись, вернулся за Дашей. Лицо ее только начинало сморщиваться для плача — так быстро все это происходило.

Взяв ее за руку, я побежал, но, оглянувшись, увидел, что Юра машет мне рукой.

Винт почему-то заработал. Сашок и Юра, упершись изо всех сил, пытались оттянуть катер назад — как стрелу в луке.

— Работает! — прокричал Юра, когда я подбежал.

— Падай! — проговорил Сашок.

Я схватил под мышку Дашу, другой рукой схватил за шкирку щенка, ввалился в лодку. Ногами я запихнул щенка в передний рундук. Щенок страшно рычал, пытаясь выбраться.

Братья отпустили лодку, и она вылетела на широкую воду.

Даша на заднем сиденье плакала, и в плаче ее слышалась отнюдь не только обида на щенка. Щенок яростно грыз мне ботинки, борясь за жизнь.

Как камикадзе, я вылетел на фарватер, промчался рядом с буем. Лодка выскочила из-за острова на ветер и волну. Ударяясь о воду, она глухо звенела, как сбрасываемое с палубы на воду пустое ведро.

Все забыв, я сделал встречной лодке отмашку не с той стороны — мы едва разошлись, рядом скользнул борт, человек в лодке яростно крутил у виска пальцем.

Я быстро проскочил мимо высокой, закрывающей небо землечерпалки и вошел в гавань.

И тут же винт снова остановился — медленно, по дуге моторка приближалась к наклонной каменной набережной.

Наконец стукнулись носом в берег. Я выключил мотор, стало тихо. Щенок выскребся из рундука, перевалился через борт, быстро доплыл до берега, выполз, встряхнулся, потом повернулся к воде башкой и начал лакать.

«Водобоязнь! — понял вдруг я. — Бешенство называется же «водобоязнь»! Бешеная собака не пьет и боится воды. Значит, это не бешеная! Ну, прекрасно!»

Щеночек продолжал быстро лакать, иногда только поглядывая на меня, и взгляд этот ясно говорил: «Ну, ты и ненормальный!»

Продолжая сидеть, я опустил руку, зачерпнул горсть бензиновой воды, вытер лицо.

Да-а-а... А еще говорят — возраст. Выходит, возраст этот похлестче будет, чем любой другой!

Перед глазами моими мелькнули загорелые ноги в туфлях и белых носках, Даша спрыгнула с лодки на берег, уверенно прищелкнула щенка на поводок, они взобрались наверх и вот уже весело вместе прыгали высоко наверху.

Посидев еще некоторое время, придя в себя, я тоже вылез...

Потом мы плелись по душным пыльным улицам, я заходил в магазины, обвешанные мушиными липучками, покупал хлеб, сахар, чай.

Когда я заходил в магазины, щеночек, удерживаемый Дашей, скулил, вставал на задние лапы, царапался в стекло.

Потом, купив все, что можно, мы шли обратно. Уложив свертки, я взялся за мотор. Надо было найти специальный вкладыш-палец вместо сломавшегося, вставить его в винт, чтобы он не прокручивался. Я долго громыхал, искал его в многочисленных инструментальных ящиках в лодке и наконец — большая удача! — нашел.

Напрягшись, высунув язык, я старательно вставлял палец в паз... Потом, распрямившись, с тревогой увидел, что погода разбушевалась. Там дальше, за узкой протокой, на ширине, ветер дул все сильней и бессмысленней, на темных волнах начали появляться белые барашки. Ну зачем это, какой в этом смысл?

Я посмотрел на Дашу и на собачку.

— Может, переждем эту ерунду? — бодро кивнув в сторону стихии, предложил я.

— Нет. Мама будет волноваться, если мы не приедем, — наморщив лоб, подумав, произнесла Даша.

— Эх!

Мы плюхнулись в лодку, выехали на простор.

— Спрячься за лобовое стекло, пригнись! — ска-

зал я Даше.

Даша спряталась за лобовое стекло, пригнулась, гулко кашляла там.

Широко дула низовка — ветер против течения, поднимающий самую сердитую волну. Как мы ни прятались за лобовое стекло, быстро промокли насквозь.

Вечером у Даши было 38,6. Майя, как лечащий врач, напоила ее чаем, дала аспирину. Даша валялась в палатке три дня — раскладывала засушенные ею листья, что-то писала в своих тетрадях. Под разными предлогами я то и дело заходил к ней.

— Ну как там погода? — садясь в постели, спрашивала она.

Потом мы носили ей еду, потом вытягивали из-под нее простыню, стряхивали на ветру песок и колючие крошки, потом, взмахнув, снова стелили. Даша в это время стояла, держась рукою за стену палатки. И главное, за все дни, пока она болела, никто из ребят ни разу к ней даже не заглянул. Понятно, другой возраст, другие интересы, но все же?

Только поздно вечером, когда все уже засыпали, мы с женой могли спокойно попить чаю.

Да-а-а... Ну и жизнь!

На пятый день объявилась новая напасть — егерь!

Сначала он с диким треском промчался вдоль всего берега на моторке, потом с оглушительным тарахтением нависал над палатками на вертолете, потом вдруг явился пешком, неожиданно молодой и стеснительный.

— Это... устарело уже, ваше разрешение, — краснея, бормотал он, крутя в огромной своей руке нашу бумажку.

— Бутылку ему надо было, вот чего! — зло сказал Юра, когда егерь ушел.

— Ну да? — удивился я. — Мне показалось, что он такой...

Юра только махнул рукой.

— Что, уезжать велят? — высовываясь из палатки, спросила Даша.

На следующее утро все мы проснулись от нарастающего грохота. С треском ломая кусты, выехал высокий колесный трактор. Сзади него волочился изогнувшийся петлями толстый трос. Трос отнесло песком в сторону. Прыгая и извиваясь, как удав, он задел и свалил столик для зубных щеток, врытый возле берега, потом свалил, зацепив, палку, на которой вялилась рыба, потом выдернул угловой кирпич из печки, и печка

завалилась. Трактор с треском въехал в кусты и там неожиданно затих. Егерь слез с трактора, подошел к нам со своим двухлетним белесым пацаном на руках, покачиваясь, неподвижным взглядом смотрел на нас.

— Ты чего это... с тросом? — еле сдерживая бешенство, спросил я.

— Да тут понтоны тягали, — с трудом ворочая языком, проговорил он.

Потом он стал демонстрировать, какие забористые словечки знает его двухлетний сынок. Тесно окружив его, мы счастливо смеялись.

— Ладно... к обеду, может, буду, — проговорил он, возвратился к своему трактору и с треском уехал в лес (называется, егерь!).

Даша собиралась долго и кропотливо — перекладывала гербарий, отдельно упаковывала найденную в лесу засохшую змеиную шкуру.

— В школе же мне все это понадобится! — говорила она.

В какой школе-то? Эх! Еще ничего и не известно — с английской-то школой договоренности нет, вполне может получиться, что весь второй класс она учила английский понапрасну...

Когда мы ждали на автобусной станции, навалилась страшная черная туча, стало темно,

подул ветер, и несколько светлых перекати-поле, прихрамывая, выкатилось на площадь.

На вокзале в Саратове творилось что-то невообразимое. Не было ни одного места на полу, где не сидели бы на вещах люди — чаще всего почему-то с плачущими детьми.

— Ну, как же уехать? — прорвался я наконец к дежурной по вокзалу.

— Понятия не имею! — злобно ответила она. — Все дополнительные поезда отменены.

Я не стал ее расспрашивать дальше, по опыту зная, что все так напряжено, что только тронь — прорвутся отчаяние и злоба.

Я вернулся в набитый зал, где ждали меня жена, дочка и песик.

— Ну, как? — спросила меня Даша.

Собрав все остатки энергии, я прорвался через плотную толпу к кассе, ничего не объясняя, только толкаясь, и через два часа, измятый, постаревший, выбрался из этой адской толпы с билетами...

— А с кобелем своим куда лезете? — сказала плотная, похожая на печь проводница, когда мы подошли к вагону.

— А... что?

— Разрешение есть на провоз?

— А где, скажите, пожалуйста, его получать?

— В городе, где ж еще! — ответила она и своим плечом в колючей шинели оттеснила нас от площадки и отвернулась.

Мы возвратились обратно на вокзал.

«Это конец!» — подумал я.

Жена и дочь смотрели на меня... Я вдруг расстегнул чемодан, схватил взвывшего щенка, сунул его в чемодан и защелкнул замки.

— Ты что? — проговорила жена. Губы у нее затряслись...

— Быстрей! — яростно сказал я.

Проводница посмотрела на нас подозрительно, но пропустила. Когда она вошла в купе отбирать билеты, песик, потрясенный и оскорбленный, сидел на полу, а на столике лежала пятерка.

Она плюнула на песика, зло схватила пятерку и, резко, со скрипом задвинув дверь, исчезла.

Поезд качало на стрелках. За окном мелькали деревья.

Да-а-а...

7. Попытка развода

Туго повернулся ключ, едва растворилась дверь. Чувствовалось, что в квартире у нас давно

никто не был — тяжелый, застоявшийся запах, повсюду пыль.

Заглянули хотя бы грабители: проветрили бы квартиру, а заодно бы и прибрались.

— Ну, вот мы и дома! — сказал я.

Мы вошли в комнату. Странное дело: все цветы упали с подоконников, валялись на полу. Горшки разбились, рассыпалась земля. Видимо, те мощные ветки, которые тянутся от стволов к солнцу, уперлись в стекло и наконец постаскивали горшки с подоконника.

Странные растения, сами себя не могут рассчитать. Цветы-самоубийцы — это что-то новенькое!

Жена, выругавшись, взяла веник, принялась подметать.

— Ну, все! — сказал я. — Меня нет! Закрыл дверь в кабинет. Я-то знал, что буду сейчас делать! На языке у меня давно вертелась фраза: «Нежное зеркало луж».

Я сел к столу и стал писать:

Как темно! Мы проходим на ощупь.

Я веду тебя, тихую, слабую.

Может, ждет нас ответственный съемщик,

Сняв с ковра золоченую саблю?

Вот окно. Два зеленых квадратика.
Станут тени зелеными, шаткими.
В сквер напротив придут два лунатика
И из ящика выпустят шахматы.

...Тени ночи вдруг сделались слабыми.
Темнота струйкой в люки стекает.
И овчарки с мохнатыми лапами
В магазинах стоят вертикально.

Ты берешь сигареты на столике,
Ты проходишь по утренней улице —
Там, где, тоненький, тоненький, тоненький.
Мой сосед в этот час тренируется!

Во!

При чем же все-таки «нежное зеркало луж»? Я снова взял карандаш.

ДОЖДЬ

Ужасный дождь идет, спасайтесь!
Внизу, у самого асфальта,
Мелькают остренькие сабельки,

Сверкают маленькие всадники.

Они то выстроятся к стенкам.
То вдруг опять придут в движенье.
В каких-то тонкостях, оттенках
Причина этого сраженья!

Ах, кавалерия! Куда ты?
Стою я мокрый, изумленный.
На клумбах, словно на курганах,
Чуть-чуть качаются знамена.

Я встал, подпрыгнул, шлепнул ладонью о потолок.

— Резвишься? — появляясь, сказала жена.

— А что? — еще не отдышавшись, спросил я.

— В школу надо сходить, вот что!

— В какую школу?

— В английскую — в какую, в какую! А то из той-то, где бабушка с дедушкой, Даша ушла, а в эту еще не записали ее.

— А ты, что ли, не могла раньше поинтересоваться? Не перед самыми занятиями?

— Честно говоря, я ходила. Но мне отказали. Говорят, район не тот. Соседний с нами дом еще принимают в ту школу, а наш дом уже нет. — Она вздохнула.

Та-ак! И это на мне. И знает ведь, как я обожаю такие дела! Но лучше быстрее этим заняться. Школа с углубленным английским, все классы могут быть переполнены. Если все рухнет — для Даши это трагедия. И мнение о родителях: значит, мало на что они на этом свете способны!

Я приехал в школу, волнуясь. Надписи на всех дверях по-английски. «Принсипал» — это, наверное, и есть «Директор». Запах в школах тем же остался, что и раньше. Старые волнения вспомнились — не исчезли еще, оказывается, хранятся в башке! Все-таки, что ни говори, а самое нервное время жизни — школа! До сих пор сны снятся, как ты чего-то не знаешь и боишься, что сейчас спросят. Навсегда комплекс тревог отпечатался. «Но мне-то что, — вдруг подумал, — я-то поволнуюсь тут час, а Даше каждый день... Если, конечно, тьфу, тьфу, тьфу!..» — За мной будете! — Встал мужчина в замшевой куртке. «Проклятие, — подумал я, — еще претендент, и главное — впереди меня! Может, единственное место в классе освободилось, и он его как раз и займет!»

Сколько раз меня нерешительность моя губила. Пока медлил, колебался, другие раз-раз — и в дамках! Не выдержал, приблизился к нему.

— Простите, вы в какой класс? От волнения

даже не заметил, что вопрос курьезно звучит.

— Я в первый, — улыбаясь, ответил он.

— А, ну тогда хорошо, — успокоился.

Улыбнулись.

В фойе понемногу набираются старшеклассники — еще летние, независимые, в джинсах... Какая-то толстая женщина их приветствует, видимо, уборщица:

— Мать моя! Один лучше другого! Ну что, соскучали без школы? — Добрые морщинки у глаз.

Все ясно. Добрый ангел!

И тут стукнула дверь, появилась дама в прекрасном кожаном пальто, с ней девочка, как раз, наверно, третьего класса.

— А, здрасте! — ласково уборщица их встретила, провела к кабинету директора, у самой двери поставила. — Вот тут и стойте. Как Александра Дмитриевна придет — сразу к ней. Она вас ждет.

Глянула нахально на нас, повернулась, ушла.

Проклятие. Что ж делать? Кричать, доказывать? Как бы все не испортить, если она знакомая Александры Дмитриевны.

С мужчиной в замшевой куртке переглянулись, вздохнули, руками развели.

— Да-а... А еще говорят: маленькие дети — маленькие хлопоты... — сказал он.

— Разрешите! — услышали мы резкий голос.

Кожаная дама закрыла собой дверь, а тут директриса появилась.

— Пожалуйста, пожалуйста! — Дама отстранилась.

Директриса кинула и на нас неласковый взгляд, повернула в двери ключ. Кожаная дама за ней ворвалась, буквально на ее плечах...

— Вениамин Машинович в Паланге сейчас, но он... Обменялись мы взглядами с мужчиной.

— Ну, это надолго, наверное, — говорит. — Покурю.

Я кивнул. Он на воздух вышел, видно: стоит под окном, курит.

— ...Спасибо. Обязательно передам. Непременно. Всего вам доброго! — Кожаная дама пятилась из кабинета.

— Прошу! — В дверях директриса. — Вы ко мне?

В окно посмотрел — мужчина курит, ни о чем не ведает. В такие вот напряженные минуты и важно порядочность сохранить. А так, в спокойной-то жизни, чего легче!

— ...Нет. Передо мной еще мужчина. Сейчас позову.

Тот благодарно кивнул, бросил окурок, побе-

жал.

Долго его не было. Видно, дело серьезное, раз она так его выспрашивает.

— Прошу!

Я встрепенулся. Не своими шагами прошел по ковровой дорожке, боком сел к столу.

Приблизительно минут через пять я выскочил из кабинета, хотел подпрыгнуть, вовремя опомнился...

— Ну как, папа? — сразу спросила Даша, когда я вошел.

— Нормально, — небрежно ответил я.

— А насчет учебников не спросил?

— А что? Нету? — Я перевел взгляд на жену.

— А я откуда знала? — пожала плечами она.

— Понимаешь, в той школе мне не дали, потому что знали, что я уйду А в этой, наверно, меня не было еще в списках, — объяснила Даша.

— Ясно! — сказал я. — Ну, это ничего. С учебниками уладим как-нибудь, без учебников не останешься!

— Надеюсь! — улыбнулась Даша.

— А я тоже тут сделала одно дело, — смущенно-хитро улыбаясь, промолвила жена, прикрывая кончиком языка верхние порченые зубы.

— Какое, интересно?

— Денег достала! — Она высунула язык.

— Ну? Где? — обрадовался я.

— Дяде Симе книги она продала, — сказала Даша.

— Та-ак... — Я бросился в кабинет. — Ты что... совсем уже? Половину библиотеки, самых любимых поэтов моих!

— Да? — вздохнув, сказала жена. — А я думала, ты их не любишь...

— Так вот. Быстро звони этому твоему Симе, пусть тащит книги назад, пока он не загнал их по спекулятивной цене!

— Нет.

— Что нет?

— Он обидится.

— А мне-то что? Десять минут назад я не знал ни о каком Симе, ни о каких его обидах... Это все твое творчество! Мне надо только одно — чтобы книги мои снова на полках стояли, а эмоции меня не волнуют.

Скорбно кивнув, жена вышла. Потом я слышал, как она в той комнате набирает номер, потом очень тихий — специально, чтоб я не мог разобрать — долгий разговор.

— Ну, все! — появляясь, сказала жена.

— Что все?

— Все улажено. Сейчас Сима приедет. Непонятно, чего было так психовать?

— Непонятно? — в ярости спросил я. Минут через сорок появился Сима. Сухо поздоровавшись, он стал обиженно смотреть в сторону.

— Ну... принес книги?

— Какие книги?

— Которые ты сегодня купил вот у нее.

— А? Так их уже нет.

— Так. А где они?

— Я не для себя их покупал, — глядя в сторону, обиженно проговорил он. — Для брата... вернее, для его жены.

— Ну, и у нее, уже, конечно, нельзя их забрать?

— Ну, почему же? Можно, — пожав плечами, произнес Сима. — Только она в Индию улетела полчаса назад, — добавил он, глянув на часы.

— Та-ак. Уже и Индия показалась на горизонте! — Я глянул на жену. — Значит, элементарно, — весело сказал я. — Надо просто съездить мне в Индию и взять там у нее мои книги. Я правильно понял?

— Ну, почему же так все оглуплять! — дернув плечом, произнес он. — Достаточно будет просто выслать ей деньги, и она вышлет ваши книги. Только там не рубли, в Индии. Там рупии, кажет-

ся. Можете рупии достать?

— Ну, конечно же! — сказал я. — Значит, я достаю рупии, отдаю их тебе, ты отсылаешь их своей сестре, она присылает тебе мои книги, и ты приносишь их мне?

Сима кивнул.

— Видишь, как все, оказывается, просто! — повернулся я к жене. — Значит, все? — спросил я у Симы.

— Ну, почему же все? — снова обиженно отворачиваясь к окну, проговорил он.

— Так... а что еще? — спросил я, глядя на жену.

— Не знаю... Мне Лора сказала, вы еще какие-то книги хотите продать. Я схватил такси, примчался... — Он пожал плечами.

Жена мне усиленно подмигивала, хотя вроде бы она должна была подмигивать ему.

— Иначе он приехать не соглашался! — наконец сказала мне она. — Ты уж, Симка, вообще! Столько замечательных книг взял практически за бесценок, а теперь и остальные хочешь забрать!

— Не знаю. Ты мне сказала. Я взял такси, приехал. — Сима смотрел в сторону.

— Ну, видишь? — сказал я жене. — Человек на такси приехал! Ясно тебе? Чего, Сима, тебе нравится еще из моего добра?

Забрав вторую половину библиотеки, Сима, обиженный и недовольный, уехал.

— Зачем ты эти-то книги ему отдал?! — как бы выговаривая абсолютному несмышленышу, спросила жена.

— Вали отсюда! — Я затрясся.

Через час я подошел к ней. Она лежала ничком на кровати, уткнувшись в подушку.

— Слушай меня внимательно и запоминай: никогда, нигде и ни за что ничего не делай! Так будет значительно легче и тебе и мне!

— Вот это мне нравится! — Она радостно подскочила.

Быстро же улетучилось ее расстройство!

Но главные неприятности этого дня, оказывается, были впереди. Часа примерно в три раздался звонок. В дверях стоял хмурый человек с мешком.

— О! Приехали наконец-то, — проговорил он. — А то мы дверь у вас хотели ломать.

— Зачем же дверь-то ломать? — растерялся я.

— Сейчас увидите! — ответил он. И, подойдя к телефонной розетке, вырвал ее из стены и положил вместе с телефоном в мешок.

— В чем, собственно, дело? — дрожащим голосом произнес я.

— Вовремя надо платить! — ответил он и хлопнул дверью.

Я посмотрел на моих домочадцев.

— Наверное, это из-за того счета, — очаровательно смутившись, проговорила жена.

— Какого того?

— Вот, — потупясь, она протянула мятый листок.

— Симферополь? Это зачем?

— Это я Дийке звонила. Они тогда с Лешкой поругались, и она к матери уехала. Могу я поддержать свою подругу? — нахально пытаясь перейти в наступление, сказала жена.

— Да... но не за пятнадцать же рублей!

— Это я согласна, — кивнула она.

— И это ведь в марте еще было, чего ж ты раньше-то не сказала?

— Я боялась, ты ругаться будешь, — потупилась она.

— Да? А теперь не боишься? Странно.

— Боюсь.

— Но ведь, наверное, и повторные напоминания присылали?

— Присылали. А я их прятала, — с некоторым упрямством, упрямством отчаяния, повторила она.

— Ну, и чего ты добилась? — я кивнул на то место, где была раньше телефонная розетка.

— Добилась! — повторила она.

Я махнул рукой.

— Так что же теперь делать? — через некоторое время спросил я.

— Надо на телефонную станцию обратиться, — рассудительно сказала дочка.

— Ну, и кто пойдет? — Я посмотрел на жену.

О! Трет уже кулачками под глазками! Надо же, как трогательно! Картина Пикассо «Любительница абсурда».

— Мне, видимо, выпадет это счастье?

— А хочешь, мы тебя проводим? — сразу же развеселившись, проговорила жена.

Вместе с собачкой они отправились провожать меня до автобуса. Солнце сверкало в лужах, глаза от блеска и ветра слезились.

— Кто последний? — входя на телефонный узел, задал я привычный вопрос.

— Я! — кокетливо поворачиваясь, ответила старушка в панамке и, обратившись к своей собеседнице, продолжала:

— Нет, телефон у нас есть. Ни одного дня без телефона я не жила! И до войны, когда мы у отца жили, он концертмейстером был Мариинского

театра, имелся у нас телефон, и после того, как он скончался, телефон остался. В блокаду, правда, ненадолго отключили, но после снятия ее сразу же восстановили. Только я заявление подала, буквально в тот же день поставили телефон. — Она произнесла «тэлефон».

«Чего же она делает тут, если телефон есть у нее?» — отвлекшись от своих тяжких мыслей, подумал я.

— Правда, четыре года назад, когда мы от коммунальной квартиры отгородились, телефон в той половине оставили жильцам. Как они устроили эту мерзость — их дело. Но муж в тот же день, он техник был крупного завода, надел все свои награды, пошел в исполком — и нам буквально через месяц установили телефонный аппарат!

«Ясно, — вдруг понял я. — Просто надыбала старушка место, где она счастливей, удачливей других, и хвастается. Все правильно!»

— Ладно, — повернулся к ней, — так уж и быть, давайте ваш телефон.

— В каком смысле? — надменно проговорила она.

— Ну, в смысле — номер ваш. А то телефон-то у вас есть, да никто, видимо, вам не звонит?

— Ну, почему же? То брат, то племянник!

— Ну, тогда хорошо.

Все остальные в очереди молча сидят, с нетерпением глядя на дверь в кабинет. Надеются, что с катушкой оттуда выскочат, помчатся, на ходу разматывая телефонный шнур. Но получается, скорее, наоборот. Красные выходят оттуда, расстроенные, бумаги свои, на которые такие надежды возлагали, в портфель обратно суют, не попадают.

Скоро и мне. Мандраж некоторый бьет, не скрою. Это когда-то я считал, что все на свете могу. А теперь... кислота жизни всех разъедает. Жизень!

— Нет, — снова старушкин голос прорезался, — я без телефона ни одного дня не жила!

Молодец!

Лампочка загорелась над кабинетом. Я пошел.

Чего только я не делал перед тем начальником! И бумаги предъявлял, что я являюсь несусветным гением и красавцем, и генеалогическим деревом своим тряс, и чуть не плясал!

— Ничего не могу поделать, — только повторял он, — такое положение: через неделю после последнего уведомления телефон отключается.

— Ничего, значит?

— Я уже говорил. И кнопку нажал.

— Сейчас как дам по лбу! — трясясь от ярости, выговорил я.

В коридоре, как и все, я пытался засунуть свои бумаги в портфель.

За что я ненавижу свою жену — за то, что она меня все время в ситуации такие толкает, где я так остро несостоятельность свою чувствую! И главное, чувство это останется на всю жизнь, на другие мои дела распространится! Вот так.

Вернулся домой, стал из кувшинчика цветы поливать. Даже такие вещи, про которые принято говорить: «Да это так, жена балуется», — и те целиком на мне!

— Какие у тебя дальнейшие планы? — спрашивает жена.

— Побриться, — отвечаю, — постричься, сфотографироваться и удавиться!

О-о! Заморгала уже...

— А белье кто в прачечную отнесет?

— Никто!

И все! Кулачками глазенки свои трет. Поглядел я на крохотные ее кулачки с синенькими прожилками и вдруг подумал: «А ведь загонит она меня этими вот самыми кулачками в могилу!»

Впервые ясно так это почувствовал!

...В прачечной такая же юркая старушка об-

наружилась, как на телефонном узле. Стояла поначалу за мной, потом заметила женщину впереди, к ней перекинулась... Вот чем теперь загружен мой мозг!

— ...училище закончил, устроился. Форму носить не надо, оклад двести тридцать, как у научного работника. Говорю ему: «Зачем ты тогда училище-то кончал?» — «Мама! — говорит. — Не учите меня, как жить!» Теперь женился. Бабу свою к нам привел. Техникум у нее кончен, на фабрике «Светоч» работает. И с первого дня у них — симоны-гулимоны, дома и не увидишь. Дочка растет — им хоть бы что. «Посмотрите, мама, за Викочкой!» — и хвост трубой. Но дочка, правду сказать, такая уж умница да красавица! В первый класс в прошлый год пошла, одни пятерки только домой приносит...

Гляжу потом — к другой уже бабе, поближе к цели перебралась.

— ...но зато, — слышу оттуда, — такая умница да красавица, в четвертый класс осенью пошла!

Вот оно как! Уже в четвертый!

Сунула в окошко свой узелок и, резко смолкнув, ушла.

Потом самодовольный без очереди сдал. Вошел важно в помещение — женщины льстиво загово-

рили, повернувшись к нему:

— Вот это, сразу видно, мужчина, мне бы такого! И дела, чувствуется, идут у него — будь-будь! И вот жене помогает, не дает ей в квартирное помело превращаться, как другие мужья. И курточка-то какая славная у вас, всю жизнь себе мечтала такую достать...

Самодовольный выслушал важно, потом говорит:

— Все мечтают. Не продам. Бензином пахнет?

— Есть немножко, — загомонили женщины.

— Правильно! — кивнул. — Сейчас заправлялся. Разрешите без очереди сдать, мотор остывает!

— Пожалуйста, пожалуйста! Настоящего хозяина сразу видать!

А я, по-ихнему, получаюсь — кто?!

Потом я долго мыкался по двору, ждал, когда телефонная будка освободится — позвонить.

Теперь в любую погоду — и в дождь, и в холод — надо на улицу выходить, чтобы позвонить!

В одной будке молоденькая девушка, в другой усталая женщина лет сорока. Но голоса их переплетаются то и дело.

— Ну, Боб! Ты один! — захлебываясь восторгом.

— ...Позавчера на бровях пришел, вчера на бровях...

— Ладно! — смеется молодая. — Меня эти прихваты не колышут!

— Я ему говорю: «Николай! Что ты делаешь? Погляди на ребенка!»

— Ладно! Не надо меня за дурочку считать! — счастливо смеется.

Целая жизнь, как прочерк, между будками этими вместилась.

Окна зажигаются, освещают двор.

Обе женщины одновременно из будок выходят.

Сунулся в ту, где молодая была, запах вдохнул.

Лехин номер набрал.

Дийка в отъезде оказалась — пошел к нему поговорить по душам.

— Все! — я сказал. — Пора поднять семью на недосягаемую для себя высоту, иначе смерть.

— Точно! — Леха горячо подхватил.

— А баба-то у тебя есть хоть какая-нибудь сейчас?

— Есть вообще-то, — довольно-таки вяло Леха ответил. — Но так, в основном, для отчетности. Для самообмана.

— Но хоть хорошая она? Душевная?

— А-а! — махнул рукой Леха. — Такая же стерва, как и Дийка! И даже хуже!

Вот именно. То-то и оно!

Я уже уходил однажды от жены, но как-то странно все получилось: ушел я к известной балерине, а вернулся от дворничихи. Искусство балерины меня покоряло, да и просто как человек она меня искренне восхищала. «Да, — думал я. — Это женщина четкая, деловая, с такой не пропадешь». Но именно с ней я чуть было и не пропал... Непрерывное напряжение, жизнь, рассчитанная по секундам, функциональность каждого движения и интонации. Я убежал от нее во двор и там был подобран жалостливой дворничихой. Она привела меня в свой флигель, облезлый и старый, с воротами, окованными железом (когда-то он, видимо, был каретной).

— С женкою, что ли, поругался? — с присущей простым людям проницательностью спросила она. Я стыдливо кивнул.

— Так ты и жрать, наверное, хочешь? — догадалась она.

Я снова кивнул.

— На, жри! Небось и самогоночки заглотнешь?

«Вот так! — в сладком алкогольном дурмане думал я. — Злобная, глупая жена и эта вторая, бездушная карьеристка, никогда так душевно не поинтересуются, что у тебя болит. А эта!.. И

главное, бескорыстно!»

— А это кто? — испуганно спросил я, увидев вдруг за пологом на кровати спящего старичка.

— А-а, муж мой! — злобно сказала дворничиха. — В летаргическом сне, восьмой год уже!

Однако, когда она скрылась на кухню, старичок открыл один глаз, хитро подмигнул мне и снова закрыл.

Я был потрясен! Неужто я был предназначен вместо него?

— Чего не жрешь-то совсем? — возвращаясь, спросила дворничиха.

— Я ем.

Растрогавшись, я быстро, как молнию, открыл перед нею душу, стал подробно рассказывать, что и как... Лицо ее приблизилось к моему... и вдруг я почувствовал, как сильные руки поднимают меня и несут.

— Э-э! — закричал я, но было поздно...

Я прожил в каретной десять дней, подружился с летаргиком, который уговаривал меня тоже погрузиться в летаргию, но, подумав, я все-таки не решился.

Через неделю я вернулся домой и решил никуда больше не уходить.

Поэтому, изливаясь перед Лехой, я знал уже,

что это бессмысленно, что никуда я не денусь, да и некуда деться!

Тридцать первого августа я вернулся с работы и застал дома только дочь, жены не было.

— А где мама-то? — спросил я.

— Не знаю, — расстроенно усмехнулась Даша. — Какая-то подружка к ней заглянула, и они убежали. Сказала, что скоро вернется...

— А сколько прошло уже?

— Четыре часа.

«Та-ак! — подумал я. — А что муж с работы вернулся, ей на это наплевать».

— Баба Аля приехала! — сказала дочь.

— Как? А где же она?

— Пошла в собес.

Так! Приехала мать, что делает она два раза в год, а жены, как будто специально, нет дома, и когда она вернется...

Я долго сидел на кухне, пил чай, посматривал в зеркало на стене, отражающее улицу. На остановке скапливалась жиденькая толпа, потом в зеркало вползал длинный троллейбус и, стерев отражение очереди на остановке, уползал за другой край зеркала.

Потом показался еще троллейбус, остановился. И я увидел, как мать обходит троллейбус сзади,

торопливо двигая головой влево-вправо, переходит дорогу... Спешит!

Я почувствовал, как внутри все сжалось... Хоть мать-то меня любит, торопится, почти бежит!

Я открыл дверь и, улыбаясь, стоял сбоку, ожидая... Мать быстро вышла из лифта, увидев меня, улыбнулась, чмокнула в щеку.

— Началось? — тревожно спросила она меня, устремляясь в комнату.

— Что? — удивился я.

Оказывается, спешила она на премьеру многосерийного телевизионного фильма, боясь опоздать!

Потом мы сидели с нею рядом, молча и неподвижно, глядя по телевизору многосерийку, которая, честно говоря, веселила очень мало.

— А это что за новости? — Разочарованно отвернувшись от телевизора, мать кивнула на оборванный телефонный провод.

— Ничего! — сумел бодро выговорить я. — Без телефона как-то даже спокойней.

— А! — Мать расстроенно махнула рукой. — Нельзя квартиру на вас оставить!

Ну, когда-нибудь я уж отомщу за это жене — за то, что приходится сейчас улыбаться, изображать перед матерью этакого супермена-весельчака,

которому все нипочем, даже утрата телефона.

— А что Лорка, совсем, что ли, дома не бывает? — спросила, нахмурившись, мать. — Все-таки завтра первое сентября, дочь в новую школу идет, могла бы появиться хотя бы на час!

«Да, — улыбаясь, но внутри задыхаясь от ярости, думал я. — Умеет жена моя закрутить ситуацию! Первое сентября, приезд матери, вырванный телефон — не слабый наборчик!»

Резко поднявшись, мать ушла к себе в комнату, и долго ее не было. Потом она вернулась: в очках, добродушно щурясь, разглядывая какой-то помятый листок.

— Давно это, не помнишь?

— Что это?

— Да вот, на флюорографию вызывают! — озабоченно, но и не без гордости сказала она.

Улыбаясь, я обнял ее, и так мы некоторое время стояли посреди комнаты.

Потом, высвободившись, мать с озабоченным лицом направилась к себе в комнату.

Я собирал дочку в школу, с наслаждением чинил гладкие пахучие карандаши из набора «Кохинор».

Я понял вдруг, откуда это: «Все для ребеночка!» Просто притупляется с годами острота ощуще-

ний, и лихорадочно пытаешься почувствовать все с прежней силой через ребенка.

Даша легла, уснула мать. Я некоторое время прислушивался к завыванию лифта, потом заснул сам. Начался сон, который часто посещает меня при тяжелом настроении, — сон документальный, но все равно страшный. Мне снилось, как мы с женой в первый год нашей совместной жизни ездили в Ригу.

Женились мы как-то по инерции и легкомысленно и вдруг почувствовали, что сделали что-то серьезное. Веселые друзья, задушевные подруги, компании — все исчезло, как волшебство. Мы оказались совершенно в другом мире и большую часть времени — предоставленными самим себе.

И вот наступил первый в нашей совместной жизни Новый год. В Новый год без людей быть не годится. Мы стали звонить по прежним компаниям, но нас нигде уже не хотели.

С полного отчаяния мы решили поехать на Новый год в Ригу, тогда это было очень престижно: «Нет, мы Новый год справляли в Риге... Чудесно, чудесно!»

Стояли дикие морозы — пришлось перебежкой добираться от метро до автобусного вокзала, то и дело заскакивать в парадные, прижиматься

там к батареям, хоть чуть-чуть отогреваясь для следующей перебежки.

Помню, я оглянулся — из зева метро валил пар, как из действующего вулкана.

Наконец мы ворвались на автовокзал, стали стучать окостеневшими пальцами по скамейке.

Билеты были только на дополнительный рейс. Жена с сомнением посмотрела на меня.

— Ну, что же, поедем на дополнительном! — бодро произнес я.

На вокзале было ненамного теплее, чем на улице. Нашего дополнительного долго не подавали — что-то там чинили, как объясняли нам сведущие люди.

Я долго ругался в диспетчерской, пока меня оттуда не выкинул толстый шофер. Пытаясь совладать со своим лицом, переделать гримасу обиды на улыбку, я вернулся к жене, бодро сказал:

— Сейчас поедем!

Когда мы сели в автобус, пар изо рта нас испугал.

— Ничего, печка у него от двигателя работает — разогреется! — сказал какой-то знающий пассажир.

Поднялся тот самый шофер, с которым я ругался

в диспетчерской, Валера-толстый, как называли его в разговоре другие водители, хлопнул дверцей, и мы поехали.

Это был страшный путь. В автобусе не только не стало теплей, но гораздо холодней — отопление в этом резервном автобусе не работало.

Сначала слышались слабые крики возмущения, но Валера даже не оборачивался. Потом все испуганно замолкли, оцепенели. Вдоль дороги то и дело попадались замерзшие машины, под моторами их горели яркие костры из ветоши и бензина.

Наконец появилась первая автостанция. Застывшие, негнущиеся, мы вошли внутрь. Вот, оказывается, где начинается самая дрожь — в тепле! Мы уже не разговаривали, жена исчезла куда-то, потом вернулась.

— Смотрела расписание... обратных автобусов до утра нет, — крупно дрожа, произнесла она.

Из дверей вырвался ярко освещенный автобусными фарами пар. Раздались протяжные гудки — надо было ехать дальше.

За время стоянки автобус еще больше остыл. Кожу на голове схватило ознобом, корни волос кололись. Потом стали лопаться бутылки, лед разрывал их.

Дальше я помню только, как был потрясен поведением водителя — шарф болтался на вешалке рядом с ним, но он нарочно его не надевал. Где-то под Псковом, когда все уже окончательно стали замерзать, он оглянулся, снял вдруг с себя пальто и повесил на вешалку...

И вот путь этот не забылся, въелся холодом в глубину костей и теперь снился.

Снова тянулось темное шоссе, белые заиндевевшие деревья, проплывающие вдоль стекол. Рядом — ощутимое, но невидимое присутствие жены.

«Вот морда! — подумал я. — Даже и в сны мои влезла! Ну, все! Хватит!» С этой гневной мыслью я выскочил из сна и, приподнявшись, посмотрел на ее постель — постель была не разобрана. Ну ладно!

Утром я накормил рыбок в аквариуме, полил цветы, выгладил фартук дочке, проводил ее в новую школу.

Вот я, оказывается, кто: друг детей, а также животных. А я-то думал!

Пора на службу, но жены все не было. И тут обязательно полагается волноваться, глядеть в окно, против таких правил поведения не попрешь — вот что противно! Песик и тот вставал задними лапами на стул, передними на подокон-

ник и, вытянувшись, шевеля усами, смотрел на троллейбусную остановку.

Но ей это, конечно, все равно!

Я посмотрел на часы. Половина десятого. Как раз сейчас должен начать в нашей конторе свой доклад молодой коллега: прекрасный, талантливый, робкий. А я величественно опоздаю или вообще не явлюсь... Вот до чего она меня довела!

— Лорка так и не появилась? — хмуро произнесла мать, проходя мимо с тряпкой, намотанной на швабру.

Ну, все! Хватит! Не только переживать, но еще притворяться спокойным и веселым перед матерью, перед всеми остальными... Хватит!

В районном суде, набитом неожиданно битком, как вокзал, я долго пытался пролезть хоть в какую-то дверь... безо всякого абсолютно успеха. Наконец я достал листочек бумаги и, так и не найдя, где бы с ним можно было приткнуться, улегся с отчаянием на каменный пол, приспособился писать.

«Прошу развести меня...»

— Это что еще? — Надо мной нависла толстая уборщица. — На полу еще приладились писать. А ну встань!

Я вскочил, яростно скомкав листок, швырнул

его в сторону урны и, хлопнув задребезжавшей стеклянной дверью, выскочил на улицу.

Резкий ветер сдул мою шляпу в лужу. Весело крутясь, она поплыла по воде. Я стоял, не в силах нагнуться и выловить ее. От блеска и ветра глаза мои слезились, изображение расплывалось...

Когда я вернулся домой, я тут же услышал оживленные голоса, доносящиеся с кухни. Мать весело рассказывала жене о московской своей внучке. Главное, из-за отсутствия жены выражала недовольство мне, а теперь, когда подлинная виновница явилась, мать, как ни в чем не бывало, разговаривает с ней... Все-таки любят они друг друга, как ни странно!

— Явился! — произнесла жена таким тоном, словно меня не было три дня и три ночи.

— Ненадолго, — выговорил я сквозь зубы. — Где наше свидетельство о браке?

— Да брось ты! — легкомысленно сказала жена. — Зачем это тебе?

Повернувшись, я кинулся в кабинет.

— А где Даша? — В новой уже роли выступила жена. Встревоженная орлица, не заставшая в гнезде своего птенца!

— В школе, — как можно сдержаннее выговорил я.

— Ха! — Она засмеялась, потом, испуганно глянув на меня, прикрыла ладошкой рот. — Вот ето да! То-то я гляжу, почему это все в белых передниках идут? Чтой-то, думаю, наверняка тут скрывается!

Демонстративно вынув из стола и пронеся по воздуху свидетельство о браке, я положил его в карман и направился к двери.

— А ты куда? — встревоженно спросила жена.

— Не догадываешься? — произнес я.

— Ой... А как же? Я столько накупила всего!

Я вышел в прихожую, злобно переворошил все свертки. Бананы! Финики! Прихоти миллионерши! Еще один ее ненавистный для меня облик: «Элегантная женщина, покупающая все необходимое для дома!»

Хлопнув дверью, я вернулся в кабинет. Она ворвалась вслед за мной.

— Разрешите облобызать! Умоляю, один лишь поцелуй!

— Вали отсюда! — закричал я.

Через минуту, робко постучавшись, она показалась с подносом в руках, скорбно-дурашливо уронила на грудь кудрявую головку. На подносе лежал банан, финики в блюдечке, стоял высокий бокал с кефиром.

— Ты понимаешь хоть, что денег у нас совсем не осталось? — поглядев на все это великолепие, сказал я.

Она кивнула.

— Ну что ж, — вздохнув, произнесла она свою любимую фразу, — будем жить скромно, ни в чем себе не отказывая!

Я только махнул рукой.

— Когда хоть окна-то вымоешь?

— Это вопрос? — Она наморщила лоб. — Это вопрос, требующий ответа? Это вопрос не риторический, нет? — весело дергая меня за рукав, спрашивала она.

— Нет.

— Жаль. — Она вздохнула. — Так редко встречаешься со своим мужем, и при встрече одни только упреки.

— Почему? Не только упреки, но и угрозы. Улыбаясь, мы глядели друг на друга.

— Ты где была-то?

— На кухне, — сразу ответила она.

— Нет! Ночью?

— А... у Дийки, всю ночь с нею проговорили. Она в жутком состоянии. Леха из дому ушел, сказал, что навсегда.

— Да? — оживился я. — Как же мы с ним не

объединились?

— А ты разве тоже уходил?

— Да.

— Ой, а я и не заметила! — Она засмеялась, потом, испуганно захлопнув рот, посмотрела на меня.

— Вот, — я протянул ей рубль. — И этого нам должно хватить до конца жизни. Поняла?

— Ну, если так, до конца жизни осталось недолго! — весело сказала она.

Потом пришел кафельщик, вызванный матерью, и под мерные удары зубила я закончил стих, начатый давно:

Сидит гардеробщик, стоит гардеробщик,

Но вот почему гардеробщик не ропщет?

Карьера ему полагалась иная:

Он должен был ночью стоять, где пивная,

И громко свистеть, чтоб мурашки по коже,

И шубы срывать с одиноких прохожих.

Но все получилось спокойней и хуже:

Раздав номерки, он сидит на диване
И долго не может понять — почему же
Его так волнует процесс раздеванья?

Но вот, отогнав эти мутные волны,
Откинув со лба хулиганскую челку,
Он ходит веселый, он ходит довольный,
И вешалка сбоку походит на елку!

8. Бездна

Вечером я гулял с песиком во дворе.

— Знаешь, почему все нынче собак заводят? — обратился ко мне с разговором пьяный сосед. — Потому что чувствуют — жизнь всех на одну тропку загоняет. Чувствуют, что у них так же будет, как и у прочих, необычного ничего уже не будет. Остается собакой себя выразить. Логично?

— Ну, как же? — возразил я (последнее время я много об этом думал). — А бездна? Мы ж на краю бездны живем! Что ж здесь обычного, скажи?

— Какая бездна-то? — удивился он.

— Да вот же! — указал я наверх.

— А-а! — Он махнул рукой. — Шея устанет вверх

все время смотреть.

Он ушел, и скоро пошел к своей парадной и я.

Да, думал я, он прав. Спокойно и плоско мы живем, даже страх смерти куда-то исчез (до самых последних, наверное, мгновений). Со спокойной усмешкой произносим мы: «Все там будем!» — причем с особым удовольствием неопределенное «будем», а слово «там» не воспринимаем совсем.

Все время смотреть в бездну страшно — это понятно! И правильно сделали, наверно, отгородившись от бездны фанеркой. Только постепенно нарастает уверенность, что за фанеркой этой ничего и нет.

Я вспомнил вдруг одно далекое, детское лето... Прямо за домом, где я жил тогда, начиналось зачарованное пространство.

На языке здравого смысла это называлось — пустырь за домами, где люди держали сараи. Для нас это было, как я понимаю теперь, зачарованное пространство.

Там среди зарослей горячих фиолетовых цветов был фундамент каменного дома с темной сырой лестницей вниз, в подвал. В подвале этом были свалены почему-то круглые серебристые коробки с черной сгоревшей кинопленкой. Иногда туда спускался небритый мужчина с мешком,

накладывал в мешок гору коробок и уносил. Как доложила наша разведка, из коробок этих он делал электроплитки.

Наша организация называлась «Черная кошка», мы проникали всюду, наши принцип был: «Мы знаем все — нас не знает никто!»

Особенно опасной, но важной считалась экспедиция в трамвайный вагон, где хранилась продукция (или отходы) какой-то артели — матовые алюминиевые трубки разной длины. Нужно было быстро выскочить из полыни, открыть двери вагона и быстро-быстро — не остаться последним! — пихать в карманы и за пазуху трубки, потом выскочить и, чувствуя страх и ликование, мчаться обратно в полынь.

Потом настало время посетить сарай-корабль. Операция готовилась долго и тщательно. Лежа в лопухах, мы целыми днями изучали окружающую обстановку... Хозяев этого сарая было двое: трясущийся мужчина, видимо, контуженый, и толстый парень. Они приносили лестницу, приставляли ее к борту своего корабля-сарая, залезали, отпирали люк и, перетянув лестницу, слезали по ней вниз и что-то там делали весь день: слышались гулкий стук, шарканье рубанка, кашель, гулкий разговор. Поздним вечером

они вылезали обратно, забирали лестницу и уходили.

Однажды мы провели в нашей засаде целое утро, но хозяева так и не появились. Мы подождали еще час и поняли, что сегодня они не придут.

— Вперед! — прошептал Виталий.

Замирая, мы перебежали пустое пространство, вскарабкались по корме на палубу, подползли к люку, сколотили замок и, повисев на руках, спрыгнули вниз.

В корабле-сарае было темно, пыльно, луч света проникал через люк. Виталий с грохотом полез вдаль, в темноту. Потом на стене появилась его большая качающаяся тень — он зажег керосиновую лампу. Показались верстак с прибитой доской-упором, подвешенные на стене инструменты, ведро с гвоздями. На полке цветные непрозрачные бутылки с красками. Под ногами грохотали железяки — какие-то шестигранные палки, шестеренки.

— Громи! — выговорил Виталий, и мы, подхватив железяки, начали громить все вокруг, переворачивать, разбивать, потом, подвинув к люку верстак, возбужденные, тяжело дыша, вылезли и бросились врассыпную.

На следующий день к кораблю-сараю была

выслана разведка. Мы лежали под широкими листьями лопухов, среди красноватых стеблей, и вот — затихли! — к сараю приближались хозяева. Они приставили лестницу, влезли и тут увидели, что люк открыт. Контуженый спустился вниз и, разъяренный, выскочил наверх.

Он стоял, тяжело дыша, озирая полынные заросли. Он знал, что мы где-то здесь, но не знал точно где.

— Если какая-нибудь сволочь... мне попадется! — Контуженый недоговорил и оглушительно выстрелил...

Ошалевший, я опомнился на другом конце пустыря... Оказывается, у него есть пистолет!

Но не ходить туда мы уже не могли — это было наше зачарованное пространство: от старого, заброшенного, никуда не ведущего шоссе до речки за кораблем-сараем, узкой, заросшей, но глубокой.

Помню, как мы с Виталом ползем среди мясистых, бордово-розовых стеблей лопухов, доползаем до края и, тихо отстранив последний лопух, смотрим на корабль-сарай, на котором появилась вдруг огромная мачта!

— Антенна... для передатчика! — горячо шепчет мне на ухо Витал, и я скорее по дозам теплоты,

чем по звуку, угадываю буквы, которые он говорит.

Мы ползали туда каждый день. Визг пилы, шарканье рубанка, стук молотка слышались одновременно, непонятно было — сколько у них рук?

То лето кажется теперь длиннее, чем все, что было после него. Потом я уехал и — через целую жизнь — вернулся, но это лето все еще не кончалось.

Я проснулся в нашей комнате, затемненной тяжелыми шторами, взял с близкого стула будильник, чтобы разглядеть стрелки, и вдруг он раздребезжался прямо мне в лицо!

Я встал, оделся и побежал искать Витала — мы не виделись так давно!

Дом его был на пустыре, далеко вокруг не было других домов. Он состоял из двух соединенных флигелей за каменной стеной. Я нажал на дверь — она открылась. В комнате никого не было. Я вошел. У окна их комнаты рос высокий сиреневый куст, и свет проходил в комнату через дырку в этом кусте узким лучом. Вдруг стало темно и опять светло. Свет — темнота, свет — темнота сменялись все быстрей и быстрей. Обернувшись, я успел понять, что с ветки перед окном, замахав

крыльями, слетела птица.

Я долго неподвижно стоял в тишине, потом тихо щелкнул суставом пальца, почувствовав, что щелчок скопился. Может, Витал во втором дворе? Обогнув флигель, я вышел во второй, глухой двор. Там было тихо и жарко. Я пошел обратно. Ну, ясно, он там, где самое интересное — корабль-сарай!

Я пробежал через заросли, но сарая на месте не оказалось! Я удивленно смотрел на пустое место, потом случайно глянул вдаль и увидел, что по речке уплывает корабль-сарай...

И тут что-то щелкнуло у меня внутри и развернулось, как зонтик или как вырвавшаяся из чехла бабочка.

Я не смог тогда сказать, как называется это чувство... Потом мог его назвать, но самого чувства уже не было.

Я долго жил, уверенно считая кольцо автобуса концом света, и лишь совсем недавно беспокойство снова посетило меня.

Может, это было влияние кометы, приближающейся к нам?

— Ухожу! — сразу сказал я жене, вернувшись домой.

— Куда?

— В бесконечность!

— Что, новый пивной бар?

— Нет. В первозданном смысле.

— Да брось ты! — ласково сказала жена. — Вечером ребята придут. Посидим. Дод расскажет анекдот...

Вот этого я как раз и не хотел!

— Ну, об экологии поговорим! — идя на крайнюю уступку, сказала она.

— Ну хорошо... тогда я завтра пойду!

— Завтра сложнее, — озабоченно заговорила она. — Завтра Марфа Даниловна обещала зайти.

И вот так всегда! Вместо кометы имеем уже Марфу Даниловну. И так любая резкая идея обволакивается, усыпляется, подменивается!

— А что тебя конкретно там интересует? — поглядев на меня, спросила жена.

— Комета.

— Какая комета? — строго вдруг спросила она (словно некоторые из комет известны ей своей легкомысленностью).

— Когоутека.

— Кого-кого?

— Когоутека!

— Ах, Когоутека! — с облегчением сказала жена, как будто это в корне меняло все дело. — Так

вот же она!

Она бросила мне журнал. Но никакой кометы там, естественно, не было. Была клякса, вернее, отсутствие кляксы — типографской краски на темном фоне.

Нет, в этот раз я на эту подмену не соглашусь. Я уже имел вместо вихря — одноименный пылесос, а вместо галактики — одноименную соковыжималку.

— Все! — сказал я себе. — Сейчас или никогда!

— Тебе бы лишь из дому уйти! — зло проговорила мне вслед жена.

Я выскочил на улицу, впрыгнул в автобус. Я доехал до конца, посмотрел: никакой бездны наверху не было, все забивал свет согнутых фонарей.

Я сел в загородный автобус и вышел возле одинокой будки, стоявшей на краю огромного темного поля.

Я долго хлюпал по грязи и воде и, только войдя в полную темноту, поднял голову.

О-о-о-о! Вот это другое дело!

...Но где ж комета? Я долго искал ее среди бесчисленных звездочек и вдруг увидел ее в самом низу, у горизонта, — тусклая звездочка с летящим от нее маленьким лучиком... Во-от! Я пристально

смотрел на нее, и мне показалось, что она движется — лучик чуть-чуть развернулся. Потом я заметил, что лучик еще вырос. Что такое? Об этом ничего не писали! Сердце вдруг запрыгало, как пойманная рыба... Точно! Приближается! Знал бы я, что это так страшно!

И тут, словно вспомнив обо мне, лучик повернулся и стал светить в мою сторону!

Это уже не мерцание — свет! За кочками на пустыре протянулись длинные подвижные тени.

Слепящий шар приближался все быстрее — и вот весь мокрый пустырь, всегда темный по ночам, осветился ярким мертвенным светом!

Быстро стал нарастать страшный грохот. Я почувствовал, что земля подо мной дрогнула. Я сделал шаг, поскользнулся, упал. Земля прыгала подо мною, как живая.

Потом я поднялся и увидел, как по насыпи, сотрясая все вокруг, промчался тяжелый товарный поезд...

То хохоча, то снова испытывая возвращающиеся приступы ужаса, я приехал домой и лег.

Проснулся я на какой-то длинной веранде. Солнце освещало ее через крайнее оранжевое стеклышко. Я долго лежал неподвижно. Солнце передвинулось, светило через следующее

стеклышко — красное, потом через следующее — зеленое... и, быстро миновав все стекла террасы, скрылось за дощатой стеной. И почти сразу же показалось в начале, снова светило сквозь оранжевое стеклышко, потом через красное... Прошло через все стеклышки еще быстрее и почти сразу же засверкало через первое... Третий круг... Четвертый! Я закричал.

Я заболел. Официально считается, что я простудился, шастая по пустырю. Но на самом-то деле — меня продуло из бездны.

Прошло некоторое время, прежде чем я стал выздоравливать. Ко мне постепенно возвращались слух, зрение, нюх, причем свежие, обостренные, словно бы отдохнувшие и встряхнувшиеся, и сопровождалось это давно забытым блаженством.

Как рыхло, кусками, с клейким прохладным ветерком отпадают кипы страниц в перелистываемой книге.

На дне чистой, вымытой, блестящей чашки свет лежал контуром яблочка.

Я поднялся, вышел в прихожую. В плоском луче солнца пыль закручивалась галактиками. Вот сверкнула муха, как комета. Я закашлялся и увидел, как в пыли проплыло три волны кашля.

Я спустился на улицу. По стене высокого до-

ма медленно ползла тень строительного крана и вдруг, дойдя до конца, быстро скользнула за угол.

Потом я посмотрел вверх — солнце было на месте.

9. Уход

Мы сидели на кухне с женой и дочкой.

— Так ты, значит, Барбосом была? — Жена засмеялась.

— Да, — усмехаясь, ответила дочь.

— А ты в шапке была?

— Конечно!

— А этой... Жужу кто был? — спросил я.

— Светка Ловицкая, — небрежно ответила Даша.

— Ловицкая?

— Ну да. Она полька.

— А она в чем была? — спросила жена.

— Она ни в чем. Только с бантом на шее, и лапы, то есть руки, — усмехнулась дочка, — держала на такой красивой пуховой подушечке. Ей папа такие подушечки из Польши привозит.

— А что он, в Польшу часто ездит? — сразу встрепенулась жена, с упреком поглядев на меня:

«Вот видишь!»

— Да нет, — объяснила Даша. — Он вообще в Польше живет. А Светка с мамой здесь. Мы с женой поглядели друг на друга.

— Может, и мне тоже в Польшу за подушечками? — усмехнулся я.

— Пожалуйста! — обиженно сказала жена. — Можем хоть и вообще развестись! Выменяю я себе комнатку в центре и буду жить припеваючи. Еще умолять меня будешь, чтобы зайти ко мне на чашечку кофе с коньяком.

— В таком разе, я думаю, придется приносить с собой не только коньяк, но и чашечку кофе!

Усмехаясь, мы глядели друг на друга, и вдруг резкая боль, почти забытая, скрючила меня.

— Чего это ты? — недовольным тоном спросила жена.

Я не ответил. Продолжая улыбаться, выпрямился. Но сам-то за эту секунду оказался совсем, можно сказать, в другой опере. Все понятно. Опять! Рецидив болезни! Какой-то я получаюсь рецидивист...

После завтрака, сказав, что помчался на работу, я пошел в поликлинику. И вот снова — выветрившийся почти из сознания медицинский запах, длинные унылые очереди с разговорами о бо-

лезнях. Что делать? В молодости мы все кажемся себе вечными и гениальными...

Нормальный ход человека: юность — семья — больница. Еще, кому дико повезет, — творчество. И мне повезло. Все-таки, положа руку на сердце, сделал кое-что — и в работе, и в жизни. О чем же, собственно, еще мечтать? Все нормально. Нормальный ход.

— У кого двенадцатый номерок?

— У меня! — ответил рыхлый мужчина.

Подсел я к нему, и тут же он с больничной непосредственностью стал рассказывать:

— Сейчас хирурги через какую-то трубу прямую кишку у меня смотрели... Говорят, какие-то полипы у меня там.

— Да?

— Я что думаю? Не рак ли это? Может, направление в онкологию у них попросить?

— ...

— Но маленькие, говорят, полипы. Ноль два на ноль два. А у вас, извиняюсь, что?

— Рак пальто!

Да-а. Веселая у меня теперь компания! Другой мужчина, интеллигентный, элегантно одетый, к нам подсел.

— Я, собственно, не по своим делам сюда, — ви-

новато улыбнувшись, говорит. — Насчет сына узнал.

— Ну и как?

— Считают, не больше трех месяцев жить ему осталось. Да сын и сам уже об этом догадывается!

— Ну... и как?

— Просит все, чтобы мы брюки ему шили с раструбами внизу, как модно сейчас. Мы шьем.

Было тихо, потом появилась маленькая красноносая уборщица, стала мести, стуча шваброю по ножкам кресел. Особенно она не усердствовала, половину оставляла — видно, процесс этот не особенно ее увлекал...

Двенадцатый номер, сидевший передо мной, вдруг стал изгибаться, сползать с кресла, болезненно гримасничать. Я хотел уже спросить его: «Что с вами?» — но тут он дотянулся до бумажки, оставленной возле его кресла, и щелчком подбросил ее в общую кучу...

Наконец я вошел в кабинет.

Врачиха спросила мою фамилию, достала из папки мою карточку и стала читать. Долго, не шевелясь, она читала мою карточку, потом стала писать. Писала минут пятнадцать, не меньше, потом закрыла карточку, положила ее и захлопнула папку.

— Все, — сказала она.

— Как все?! — Я был потрясен.

— А что вы еще хотели бы?

— Я?.. Да, собственно, ничего. Может, мне к хирургу на всякий случай зайти?

— Зайдите. — Она пожала плечами.

Хирург, крупный лысый мужчина, размашисто ходил по широкому светлому кабинету.

— Видели? — Он обвел рукою свой кабинет.

Как надо отвечать? Видел? Или — нет?

— А вы думаете, это они? Я все отделал своими силами! Благодаря старым связям с генеральными директорами предприятий. Вы видите, — постучал он ногтем по стене, — бак-фанера. Вы строитель, кажется? — Он мельком поглядел на мою карточку.

— Да.

— Вы представляете, что это значит — достать бак-фанеру?

— Представляю.

— И я благодаря своим связям достал бак-фанеру на всю поликлинику. Я говорю им: «Пожалуйста, берите!» И знаете что они мне отвечают?

— ...Что?

— У нас нет для этого транспорта!

Он сардонически захохотал, потом, обесси-

ленный, брякнулся рядом со мною в кресло, посмотрел мне в глаза умно и проницательно, как единомышленнику. Мы мило побеседовали с ним о бак-фанере, и я пошел.

Дома меня не ждало особенно сильное сочувствие. Жена, как я понял, отнеслась к болезни моей, как к мелкому недоразумению. Поведение мое вызывало у нее лишь недоумение и презрение: в то время как настоящие люди зарабатывают бешеные деньги и одевают своих жен, этот выдумал какую-то глупость, никому больше не интересную, кроме него!

Но поругаться мы в этот раз не успели: пришел Леха.

— Вот что, старик, хватит дурака валять! — сурово проговорил он. — Один раз ты проэкспериментировал со своим организмом, теперь тебе надо к хорошему хирургу. Хватит! Дийка вот сговорилась тут через своих знакомых. Тут вот написано, к кому и куда. Скажешь, от Телефон Иваныча...

Я посмотрел.

— Ядрошников... Интересно. И первый мой хирург Ядрошников был... Ну тот, который практиковался на мне.

— Однофамилец! — сурово Леха говорит. —

Этот классный специалист, все рвутся к нему. По полтора года в очереди стоят, чтоб под нож к нему лечь. Благодари Бога, что у Дийки знакомые такие!

— Благодарю.

Пошел по указанному адресу. Больница та самая, в которой я и раньше лежал! Говорю вахтерше:

— Мне к Ядрошникову.

— К Федору Ляксандрычу?

Тут только и понял я: это же Федя, который первую свою и одновременно первую мою операцию делал! Когда-то просил, чтобы оперировать его допустили, а теперь, наоборот, рвутся к нему. Надо же, какой путь проделал! И с моего живота восхождение его началось. Просто счастлив я был это узнать.

— Счас он выйти должен, — говорит вахтерша.

И появляется гигант Федя! Но выглядит потрясающе: бархатный костюм, сверху замшевая куртка, кожаное пальто переброшено через руку.

— О, — тоже обрадовался, увидев меня. — Снова к нам?

— Ну как? — Я на него внимательно посмотрел. — Жизнь удалась?

— Да, — говорит. — Пошли дела с твоей легкий руки. Сели мы с ним в машину. Федя выжал на своем «жигуленке» под девяносто, потом говорит:

— Домой надо срочно, дома меня ждут. Так что извини, около метро тебя выброшу.

— Девушка, что ли? — улыбаясь, спрашиваю.

Федю даже перекорежило.

— Да ну! — возмущенно говорит — Вот еще! Придумал тоже, девушка... Клиенты! Клиенты меня ждут. Рентгенограммы смотрю их, анализы. Решаем мирком да ладком, кто башляет мне за операцию, кто нет. Знаешь, как говорят: «Кто лечится даром — даром лечится!» Тебя на какое записать?

Вылез я у метро, совершенно убитый. Знал бы я, что таким он окажется, не помогал бы ему карьеру начать. А он разогнался, гляжу, и вот как теперь использует свой талант! А где я возьму деньги (сто рублей)? Я и семье-то, уходя, семьдесят пять всего оставляю (все рассчитано). Да-а. Жизнь не удалась.

Прихожу домой. Жена спрашивает:

— Ну что?

— Договорился, в принципе.

— Ну, а как тебе твой хирург?

— Потрясающе! — говорю. — В твоем вкусе.

— Вот это здорово, повезло тебе! — радостно говорит. — А где будешь оперироваться?

— Да в той же самой больнице. На Обводном.

— Ну-у, как неэлегантно! — разочарованно жена говорит.

— Ну, ясно, — говорю. — Ты бы, конечно, мечтала, чтоб я в «Астории» оперировался или, в крайнем случае, в «Европейской».

Кивнула. Смотрели, улыбаясь, друг на друга.

Потом она в магазин отправилась, я на кухне сел, тупо в окно смотрел и по новой вдруг загрустил.

Возвращается она, видит меня, говорит:

— А когда тебе уходить-то?

— Девятого, — встрепенулся.

— Ну, — легкомысленно говорит, — это еще черт знает когда!

Конечно, черт знает когда, но и я тоже знаю — через четырнадцать дней.

Стал в кабинете бумаги свои раскладывать: это — сюда, это — туда. Стихи свои прочитал. Странные какие-то! Откуда взялись они, непонятно, куда зовут — тоже неясно. Какая перспектива их ждет? Никакой! Прочитал еще раз — и безжалостно сжег! Но по одному экземпляру на всякий

случай оставил.

Потом Дзыня приехал на немыслимом «шевроле», целый веер вариантов передо мной развернул: одна больница, другая, при этом одна лучше другой!

— Ну, прямо глаза разбегаются! — ему говорю. — И это все, чего ты в жизни добился?

Обиделся, ушел.

Оставшиеся дни отдыхал я, читал, чего за свою жизнь не успел еще прочесть, с дочкою разговаривал, театры посещал... Но настал все-таки последний день. У всех когда-нибудь последний день настанет!

Встал рано я, по квартире побродил. Жена с дочкою спали еще. Дочь, как специально, накануне тоже заболела, ангиной. Посмотрел я на нее: температура, видно, губы обметанные, потрескавшиеся, спит неспокойно.

Перешла недавно в новую школу. Как радовалась вначале, но потом все так же сложилось, как и в прежней. Человека-то не изменишь!

Я вспомнил, как в один из первых школьных дней она вбежала ко мне в кабинет, торопливо натягивая халатик, радостно закричала: «А у нас гости!»

И вот все расклеилось. Заболела — никто из

«гостей» ее не навестил...

Почувствовав, что я смотрю на нее, дочка открыла глаза, улыбнулась.

...В этот день температура поднялась у нее до тридцати девяти. У меня все, что я ни съедал, тем же путем выходило наружу. И даже песик, желая, наверно, внести свою лепту, старательно наблевал посреди ковра.

Только одна жена со свойственным ей легкомыслием не унывала: приплясывала по квартире, подтирала за песиком, тормошила нас.

— Ничего, продержимся! — говорила она.

Потом я делал прощальные визиты. Дзыня на этот раз не хвастался своими вариантами, поговорили нормально.

— Как ты думаешь, жизнь удалась? — Дзыня спросил.

— Конечно! — ответил я. — Была ведь она? Была! Любовь... тоже. Работа была! Друзья есть. Самое глупое, что можно сделать, — это не полюбить единственную свою жизнь!

Потом я к Лехе зашел, но Леха после ссоры с женой принял меня довольно сурово.

— Ну, все, старик, ухожу в небытие! — сказал я.

— Надо говорить: «В небытиё»! — сварливо проговорил он, и больше никаких эмоций с его

стороны не последовало.

Дома меня ждал необыкновенно изысканный ужин, жена подавала все торжественно, гордясь.

— Балда! — сказал я. — Ведь мне ж всего этого нельзя!

Она обиделась. Бодро простившись с дочкой, я погасил свет, лежал на диване, рассматривал полки с книгами, любимые картинки на стенах. Ночь была светлая — возле самого окна светила луна. Потом раздался тихий стук, дверь отъехала, и в щель просунулась кудрявая головка жены.

— Можно к тебе, а то мне страшно, — сказала она.

— Входи, — приподнявшись на подушке, ответил я.

— ...Ой, ну ты где? — услышал я потом ее голос. Она уронила свою головенку мне на ключицу, и я ощутил, как слеза, оставляя горячий след, течет по коже.

— Спокойно! — сумел проговорить я.

Поцеловав меня, жена быстро ушла.

...Когда я поднялся, жена, дочка и песик лежали на кровати уютным клубком. Женщины не проснулись, а песик, молча, не открывая глаз, хвостом указал мне на дверь. Послушно кивнув, я зашагал на цыпочках.

В автобусе было битком. Едва я подстерег себе место, уселся, надо мной угрожающе нависла толстая женщина. Она висела надо мной, как туча, дыхание ее напоминало отдаленный гром. Потом, воспользовавшись торможением, как бы случайно ткнула толстым пальцем мне в глаз.

— Возмутительно! — заговорили все вокруг. — Совсем обнаглели, мест не уступают!

Я отвернулся, глядел в окно. Неткнутый глаз тоже почему-то слезился, все расплывалось.

...О, родной, великолепный, волнующий запах больницы! Федю я нашел в ординаторской. Повернувшись к окну, он смотрел рентгеновский снимок.

— О привет, старик! Пришел? Я кивнул.

— ...А принес?

Что я мог принести, когда и семье осталось всего шестьдесят пять рублей?

— ...Извини, старик, я занят, — отворачиваясь к окну, проговорил он.

Я вышел из ординаторской, сел в темном коридоре на холодную батарею. Вот так! Пожертвовал своим животом для его учебы — и вот результат! Знал бы я тогда... Ну и что? Все равно бы то же самое сделал. Правильно Леха говорит — жизнь меня ничему не учит. Но, может быть, это и хо-

рошо?

Никакой ошибки и нет. Просто ничего не опасался, ничего не остерегался, слишком верил в уютное и веселое устройство жизни — и, ей-Богу, не жаль!

— Здесь нельзя сидеть!.. — сказал врач с широким лицом и узкими глазами (потом я узнал, что его фамилия была Варнаков). — Зайдите ко мне... Понимаете, — медленно заговорил он после осмотра. — Заплату вам можно делать только из вашей же ткани. И главный вопрос — в каком состоянии сейчас эта ткань?

— А так, до операции, этого нельзя узнать?

Он молча покачал головой.

— Шансов на благополучный исход — пятьдесят из ста.

— Тогда, может быть, мне все же к Ядрошникову попроситься?

На лице его промелькнуло колебание. Конечно, приятно свалить тяжесть на другого — пусть такую операцию, пятьдесят из ста, делает другой.

— Нет! — покачав головой, твердо ответил Варнаков.

Потом последовали процедуры, я глотал длинную толстую кишку, сдавая сок. Такая медсестра сок у меня брала — я все бы ей отдал, не только

сок!

— Не пойму, — говорит, — что вы там такое гуторите через зонд?

— Я гуторю, не худо бы нам потом встретиться.

— Надо же, — восхищается. — Одной ногой, можно сказать, уже в могиле, а лезет!

Потом я лежал в темноте, думал, вспоминал. Ведь и отца замучила эта же самая болезнь. Конечно, наследственность — великая вещь, но зачем же с такой точностью передавать и болезни?

Я заснул. Сон начался как-то сразу, ничем не отгороженный от яви. Мы с женой, самым любимым и самым ненавистным существом на свете (это остро ощущается даже во сне), идем по какой-то незнакомой улице, мимо серого здания без окон.

— Я тут вчера умер, — бодро, как обычно, говорю я. — Тельце бы мое надо получить. А?

В темном помещении я протягиваю свой паспорт, обгрызенный по углам нашим любимым щеночком. Человек в пенсне поворачивается на крутящемся кресле, раскрывает шкаф за спиной и брезгливо протягивает мне мое тельце — маленькое, с болтающимися ножками.

Весело поблагодарив, я кладу тельце в карман.

Потом мы выходим на балкон и оказываемся над каким-то городом, на страшной высоте.

— Да... Вот и вся жизнь! — глухо сбоку произносит жена и, уткнувшись в мое плечо, начинает рыдать.

Я проснулся, испуганный. Что это за город, над которым мы стояли?..

Полежал в темноте, вытер горячие слезы на щеках. Второй сон тоже накатился неожиданно. Жара. Темнота. Я с закрытыми глазами лежу голой спиной на шершавых досках причала, ощущая поблизости присутствие друзей. Глаза закрыты (во сне!). Из окружающей тьмы по доскам передаются лишь крепкие, дребезжащие, учащающиеся удары пяток, потом пауза, и от воды доносится прохлада. Несколько ледяных капель шлепается на живот, кожа блаженно вздрагивает... Я полежал так, потом вытолкал себя из этого сна со странной тревожной мыслью: такой прекрасный сон пусть досмотрит дочка!

Проснувшись, я лежал в палате, усмехаясь, удивляясь странному течению своих мыслей во сне.

Под утро я опять уснул и окунулся в сон — такой легкий, счастливый, что проснулся весь в счастливых слезах... Мы с любимыми моими друзьями

(только сейчас я чувствую, как, оказывается, их помню и люблю) мчимся в открытой машине по влажной улице за серебристой цистерной «Пиво», подняв тяжелые пистолеты, стреляем и, вытянувшись, смеясь, ловим губами прозрачные струи, бьющие из дыр...

Утром я лежал побритый, готовый, собранный.

Открылась дверь, и в палату вошел Федя.

— Ты? — изумился я.

— А! — улыбнулся он. — Онассисом с вами все равно не станешь!

...Общий наркоз — это как будто лезешь сам, с каждым вздохом все дальше, в темную душную трубу, все больше затыкая собой приток воздуха, задыхаясь... и когда чувствуешь, что уже все, не вздохнуть, делаешь отчаянный рывок назад, но сознание медленно, как свет в кино, начинает гаснуть...

После больницы я лежал дома. Раздались звонки, явился Алексей.

— Ты чего делаешь?

— Лежу. А что?

— Дзыня совсем плох, полное отчаяние! Подписал какой-то хитрый контракт — уезжает!

— В Сибирь, что ли?

— Угадал!

— А где мы с ним встретимся? У него? — вставая, поинтересовался я.

— Нет. У него — нет смысла. Решили на даче у меня, чтоб никого больше, только мы!

— На тачке его поедем? — спросил я, наспех собравшись.

— Нет. Тачки теперь нет у него. Тачку он оставляет.

— Ясно.

Дзыня, подтянутый, затянутый, натянутый, как всегда, стоял на платформе, личико его посинело, налилось злобой.

— Что такое? Почему?! — тряся перед лицом растопыренными ладошками, завопил он. — Только что ушла электричка, неужели нельзя было успеть?

— Да с этим разве сделаешь что-нибудь? — сразу переходя на его сторону, ответил Алексей.

Так! А я поднялся, совсем еще больной, в темпе собрался, разругался с женой.

— Ну, ладно! — проговорил Дзыня, лицо его немножко разгладилось. — Я и сам, честно говоря, опоздал.

Мы засмеялись.

...Электричка ползла по высокой насыпи. Внизу был зеленый треугольник, ограниченный насы-

пями с трех сторон. В треугольнике этом зеленел огород, стояла избушка и был даже свой пруд с деревянными мостками, и единственный житель этого треугольника стоял сейчас на мокрых досках с кривой удочкой в руке. Жизнь эта, не меняющаяся много лет, с самого детства, волновала меня, но попасть в этот треугольник мне так и не удалось.

Загадочная эта долина мелькнула и исчезла, навстречу грохотал товарный состав с грузовиками, накрытыми брезентом.

Сойдя на станции, мы долго пробивались к даче по осыпающимся, норовящим куда-то уползти песчаным косогорам.

Дача была темная от воды, краска облупилась, торчала, как чешуя. Леха дернул разбухшую дверь, мы поставили на террасе тяжелые сумки, начали выкладывать продукты на стол.

— А сигарет ты, что ли, не купил? — испуганно обратился Дзыня к Лехе.

— Нет. Я думал, ты купишь, пока я за этим езжу! — Леха кивнул на меня как на главного виновника отсутствия сигарет, хотя я в жизни никогда не курил.

— Ничего! Можно день провести и без них, — примирительно проговорил я. — Не за этим

мы, кажется, приехали сюда, чтобы курить.

Дзыня повернулся ко мне, его остренькое личико натянулось обидой, как тогда на платформе, хотя в обоих этих случаях виноват он был ничуть не меньше меня.

— Об тебе вообще речи нет, — скрипучим, обидным тоном, столь характерным для него в последнее время, заговорил Дзыня. — Ты можешь жить без того, без чего ни один нормальный человек жить не станет.

Довольный своей фразой, он улыбнулся язвительно-победной улыбкой, Леха тоже глядел на меня как на виновника каких-то их бед... Ну ладно! Я вышел во двор, начал колоть сырые дрова — лучшее средство тут же вернуться в больницу, — чтобы успокоить наконец лютую их, непонятную злобу... Нет, конечно, дело не в сигаретах и не во мне, просто устала немножко душа, особенно у бывшего счастливчика Дзыни.

На крыльцо высунулся Дзыня.

— Слушай, если не трудно тебе, — с прежней язвительной вежливостью выговорил он, — принеси, пожалуйста, воды. Хочется чаю выпить, а то бьет все время какой-то колотун.

Конечно же! Об чем речь! Кто же, как не я, должен носить им воду!

Когда, тяжело переступая по сырому песку, я вошел с полными ведрами во двор, Дзыня и Леха, покачиваясь, стояли на крыльце и Дзыня, поправляя на остреньком своем носике очки, говорил Лехе:

— Нет! Не могу я поехать с тобой за рыбой. Я ведь с лодки могу упасть. Видишь, как я падаю! — Дзыня, не сгибаясь, упал с крыльца в песок. Показал.

— Да, — озабоченно почесав в затылке, согласился Алексей. — Падаешь ты действительно здорово! Ладно, оставайся. Поедем с ним.

Дзыня поднялся, долго внимательно глядел на меня.

— Что за идиот?! — возмущенно заговорил он. — Месяц как из больницы — и таскает полные ведра. Ждать же надо, пока рана зачмокнется. — Соединив ручонки, он показал, как это произойдет.

— Виноват! Больше такого не повторится. — Я с облегчением опустил ведра на крыльцо.

Потом я сидел на террасе в шезлонге, как бы заработав себе право на отдых, глядел на красного, залитого слезами Леху, дующего в печь, на Дзыню — обмотав горло шарфиком, он умело нарезал на досочке мясо.

«Эх!» — меня осенило. А ведь я один на всем свете и знаю, какие это прелестные люди. Никто больше не знает — да и откуда всем знать? Надо жить было вместе с самого начала, вместе пытаться повернуть время вспять, вместе пытаться угнать эскалатор на станции метрополитена «Владимирская»... Да ведь и про меня, понял я, никто на свете не знает, кроме их двоих!

— Утро... гуманное... утро... с едою! — козлиным своим голоском затянул Дзыня.

Потом мы гуляли по лесу, перепрыгивали канавы с красной, настоянной листьями водой, ползали по серо-голубому мху, находили белобокие брусничины с глянцевыми листиками, порою — темными.

— Эх! — сказал я Дзыне. — И ради каких-то денег ты хочешь уехать!

— Не в деньках фокус! — строго поглядев на меня поверх очков, выговорил Дзыня. — Тебе этого не понять, — и снова нервно улыбнулся.

— А видели, какая девушка прошла? — меняя тему, оживился я. — А?

— Мне кажется, ты слишком приземист для нее, — уже ласково улыбнулся Дзыня.

— Ну и что? — обрадовавшись, заговорил я. — Подойдем к ней. Скажем: вот тебе приземистый,

а вот коренастый. Выбирай!

— Этот идиот по-прежнему уверен, что женщины от него без ума, — переглянувшись с Лехой, как умный с умным, произнес Дзыня.

— Конечно! — Голос мой гулко звучал в пустом лесу. — Ирка влюблена! Галька влюблена! Только вот Майя, как всегда, немного хромает.

Но друзья уже не слышали меня, они снова были заняты настоящим мужским делом — отыскивали окурки.

— Ты по карманам, что ли, окурки прячешь? — пытался развеселить я Дзыню, но безуспешно.

— Нет? — не сводя с него глаз, выдохнул Алексей.

— Почему я обязан обеспечивать всех куревом?! — вдруг истерически закричал Дзыня. — Я никому ничем не обязан! Никому! — Дзыня повернулся и, перепрыгивая на тоненьких своих ножках через канавы, не оборачиваясь, стал удаляться.

— Что ж это такое! — воскликнул я. — Собрались мы, друзья, дружим двадцать лет, расстаемся неизвестно на сколько, а говорим о каких-то окурках!

Дзыня остановился. Потом обернулся.

— А ведь этот слабоумный, кажется, прав! — улыбнулся он.

— Может, в магазин еще успеем, — глядя в сторону, сухо произнес Алексей.

Но мы не успели. На станции магазин был закрыт. Только дощатая уборная, ярко освещенная изнутри, излучала сияние через щели. Рядом ловил окнами тусклый закат длинный одноэтажный барак ПМК — передвижной механизированной колонны.

— Зайду, — сказал Дзыня. — Может, хоть здесь сделаю карьеру?

Он вышел через минуту с маленьким коренастым человеком. Человек сел рядом с нами на скамью.

— Вообще уважаю я таких людей! — произнес он.

— Каких?

— Ну, вроде меня! — ответил он.

— Ясно. А покурить, случайно, не будет?

— Есть.

— А какие? — закапризничал Дзыня.

— «Монтекристо».

— Годится!

Поворачиваясь на скамье, коренастый протягивал нам по очереди шуршащую пачку. Рейки скамьи вздрагивали под его мускулистым маленьким задом, как клавиши.

— Пойду, пену подниму — почему не грузят? — пояснил он нам и пропал во тьме.

Потом мы ехали на его грузовике, фары перебирали стволы. Осветилось стадо кабанов — сбившись, как опята у пня, они суетливо толкались, сходя с дороги.

Потом мы снова сидели на террасе. Смело кипел чайник, запотевали черные окна.

— Ну, а как Лорка? — спросил Дзыня.

— Нормально! — ответил я. — И чем дальше гляжу, тем больше понимаю: нормально! Недавно тут поругались мы с ней, так и дочка, и даже щенок к ней ушли. Что-то в ней есть! — усмехнулся я.

— Вообще она неплохой человек, — снимая табачинку с мокрого языка, кивнул Дзыня.

— А... с Аллой Викторовной у тебя как? — спросил я.

— Никак.

— Ясно. А у тебя как с Дийкой? — Я повернулся к Лехе.

Леха не отвечал.

— А в больнице как у тебя? — перескочил на более легкую тему Дзыня.

— Нормально! — ответил я. — Говорят, что, когда с операции меня везли, я руки вверх вздымал

и кричал: «Благодарю! Благодарю!»

— Да-а. Только могила тебя исправит! — язвительно улыбнулся Дзыня.

И вскоре снова началась напряженка: спички кончились и остыла печка.

— Неужели нельзя было сохранить последнюю спичку?! — тряся перед личиком ладошками, выкрикивал Дзыня.

— Слушай... надоел ты мне со своими претензиями! — окаменев, выговорил Алексей.

Дзыня плюхнулся на пол террасы, долго ползал, ковыряясь в щелях, и наконец вытащил спичку, обмотанную измазанной ваткой, — какая-то дама красила ею ресницы и бросила.

Дзыня тщательно осмотрел спичку, чиркнул, понес огонек к лицу. Леха стоял все такой же обиженный, отвернувшись. Я дунул, спичка погасла.

Мы все трое обалдели, потом начали хохотать. Мы хохотали минут десять, потом обессиленно вздохнули, словно вынырнув из-под воды.

— Ну, все! — произнес я коронную фразу. — Глубокий, освежающий сон!

— Эй! — закричал Дзыня, вышедший во двор. — Вы, дураки! Давайте сюда!

По темному небу катился свет — северное

сияние! — словно какой-то прожектор достиг бесконечности и блуждал там.

— А не цветное почему? — обиделся Леха.

— Тебе сразу уж и цветное! — ответил я.

Ночью погасшая было печь неожиданно раскочегарилась сама собой — трещала, лучилась сквозь щели и конфорки. Мы молча лежали в темноте, глядя, как розовые волны бежали по потолку.

ИЗЛИШНЯЯ ВИРТУОЗНОСТЬ

Вдобавок ко всем неприятностям, — купил еще портфель с запахом! Сначала, когда покупал его, нормальный был запах. Потом походил два дня по жаре — все! — пахнет уже, как дохлая лошадь.

В магазин пришел, где его брал. Говорят:

— Ничего страшного. Это бывает. Кожа плохо обработана, портится.

— Ну и что? — спрашиваю.

— Не знаем, — говорят. — Лучше всего, думаем, в холоде держать.

— ...Портфель?

— Портфель!

— Все ясно. А деньги вернуть не можете?

— Нет. Не можем.

— Ну, ясно. Огромное вам спасибо.

Пришел на совещание в кабинет к научному руководителю своему, с ходу открыл его холодильник, поставил туда мой портфель.

Тот спрашивает (обомлел от такой наглости):

— У вас там продукты?

— Почему же продукты! — говорю. — Бумаги!

Долго так смотрел на меня, недоуменно, потом — головой потряс.

— Ну что ж, — говорит. — Начнем совещание.

Пришел я после этого домой, на кухню пошел.

Сгрыз там луковку, как Буратино.

...Буратино съел Чипполино...

Главное — как в аспирантуру поступил, — денег значительно меньше стало почему-то!

Жена выходит на кухню, спрашивает:

— Какие у тебя планы на завтра?

— Побриться, — говорю, — постричься, сфотографироваться и удавиться!

О, о! Заморгала уже!

— А белье, — говорит, — кто в прачечную сдаст?

— Никто!

Потом, вздыхая, ушла она, а я все про случай на совещании думал. Теперь, точно уже, руководитель мой будет за ненормального меня держать. Требовать будет, чтобы я в кабинет к нему, как маленький самолетик, влетал — раскинув широко ручонки и громко жужжа!

Жена заснула уже, а я все на кухне сидел. Разглядывал календарь польский большой, с портретами знаменитостей, которые в том месяце родились: Булгаков... Элла Фитцжеральд... Буратино. Меня почему-то нет, хотя я тоже в этом месяце родился!

Ну, аспирантура — это еще что! Гораздо печальнее у меня со стихами получилось.

Написал неожиданно несколько стихов, послал их в один журнал. Напечатали. Потом даже в Дне поэзии участвовал — выступал в парке культуры с пятью такими же поэтами, как я.

Сначала — вообще пустые скамейки были, потом забрели от жары две старушки в платочках. Поэты, друг друга от микрофона оттаскивая, стати на старушек испуганных стихи свои кричать. Старушки, совершенно ошеломленные, сидели, потом побежали вдруг, платки поправляя.

До сих пор без ужаса вспомнить тот момент не могу.

Все! Хватит!

Пора кончать!

Из кожи вон вылезу, а своего добьюсь (а может, и чужого добьюсь).

Часов примерно в пять утра бужу жену:

— Все! Вставай и убирайся!

Она испуганно:

— Из дома?!

— Нет. В доме!

Потом вдруг звонки пошли в дверь, ворвался мой друг Дзыня — давно не виделись, радостно обнялись.

— Это ты, что ли? Надо же, какой уродливый стал!

— А ты-то какой уродливый!

— А ты-то какой некрасивый!

— А я зато был красивый.

Засмеялись.

Отец Дзыни вообще довольно известным дирижером был. Дирижировал всю дорогу, жили они неплохо: породистая собака, рояль. Теперь уже, конечно, не то. Серебро продали. Бисер уронили в кашу. Рояль разбит. Собака умирает. Минор.

Правда, Дзыня сам дирижирует теперь, но пока без особого успеха.

Сели на кухне, я быстро перед ним, как на молнии, всю душу открыл. Дзыня говорит:

— Ты неверно все делаешь! Стихи надо по заказу писать, к случаю, тогда и деньги и известность — все будет!

— А думаешь, удастся мне: стихи сочетать и научную деятельность?

— Уда-астся! — Дзыня говорит.

— А давай, — говорю, — я буду писать стихи, а ты будешь их пробивать. А считаться будет, что мы вместе их пишем.

Дзыня подумал одну секунду.

— Давай!

— Только ты все же, — говорю, — серьезной музыкой занимаешься, я — наукой. А для стихов, мне кажется, нам псевдонимы придумать надо.

Долго думали, напряженно, придумали наконец: Жилин и Костылин.

Дзыня говорит:

— Я немного вздремну, а ты работай! На карнизе лягу, чтобы тебе не мешать.

Лег Дзыня на карнизе спать — я голову обвязал мокрым полотенцем, стал сочинять.

Час просидел — два стихотворения сочинил, но каких-то странных.

Первое:

Жали руки до хруста
И дарили им Пруста.

С какой это стати, интересно, я должен кому-то дарить Пруста?

Второе:

С праздником Восьмого марта
Поздравляем Бонапарта!

При чем тут Бонапарт — убей меня Бог, не понял! Да-а. Видно, краткость — сестра таланта, но не его мать!

Дзыня просыпается, влезает в окно — бодрый

уже такой, отдохнувший. Смотрит мои стихи.

— Годится!

Особенно готовиться не стали, выгладили только шнурки. Вышли на улицу, пошли. Первым учреждением на нашем пути Госконцерт был. Заходим в кабинет к главному редактору — женщина оказалась, Лада Гвидоновна.

— Вы поэты? — спрашивает.

— Поэты!

С подозрением косится на мой пахучий портфель — не хочу ли я тут подбросить ей труп?

— Ну что ж, — говорит. — Давайте попробуем! Тут заказ поступил от ГАИ — ОРУДа — песню для них написать... Сможете?

— Сможем!

Сел я за столик у дивана, карандаш взял. Дзыня, верный товарищ, рядом стоял, кулаками посторонние звуки отбивал.

Минут двадцать прошло — готово!

Я пошел служить в ОРУД,
Это, братцы, тяжкий труд:
Столько лошадиных сил —
А я один их подкосил!

Посади своих друзей,

Мчись в театр и в музей.
Но — забудешь про ОРУД —
Тут права и отберут!

Где орудует ОРУД,
Там сигналы не орут,
Не бывает катастроф
И любой всегда здоров!

Прочла Лада Гвидоновна. Говорит:

— Но вы-то понимаете, что это бред?

— Понимаем!

— Впрочем, — плечами пожала, — если композитор напишет приличную музыку, может, песня и пойдет. Тема нужная.

— А какой композитор?

— Ну, маститый, надо думать, сотрудничать с вами пока не будет?

— Все ясно!

Вышли мы на улицу. Дзыня говорит:

— Знаю я одного композитора! На последнем конкурсе я симфонией его дирижировал... Полный провал! Думаю, он нам подойдет.

Приехали к нему, какая-то женщина — то ли жена, то ли мать, а может, дочь? — говорит:

— Он в Пупышеве сейчас, там у них творческий

семина-ар!

— Ясно!

Стали спорить с Дзынею, кому ехать.

— Ты Жилин, — говорю. — Ты и поезжай!

— Ты перепутал все! — говорит. — Ты Жилин!

На спичках в конце концов загадали — выпало, конечно, мне ехать!

Сначала я не хотел пахучий портфель свой брать, потом вдруг жалко как-то стало его — пусть хоть воздухом свежим подышит, погуляет!

Пока ехал я туда, волновался: все-таки Пупышево, элегантное место, Дом творчества!

Но к счастью, все значительно проще оказалось: домик стоит на краю болота, поднимается холодный туман.

И все.

Зашел я внутрь, по тускло освещенным коридорам походил... никого!

Потом вдруг запахи почуял... Столовая.

Вхожу — официантка мне грубо говорит:

— Ну что? Долго еще по одному будете тащиться? Через десять минут ухожу, кто не успел — пусть голодный ходит... Вы что заказывали?

Что я заказывал? Довольно трудный вообще вопрос.

— Сырники или морковную запеканку?

Прям даже и не знаю, что предпочесть!

— А мяса нельзя?

Посмотрела на меня.

— Ишь! Мяса!.. Один хоть нормальным человеком оказался!

Приволокла мне мяса. Большая удача!

Подходит ко мне распорядитель с блокнотом.

— Сердыбаев? — говорит.

— ...Сердыбаев!

— Только что приехал?

— Да.

— Ну — как там у вас в Туркмении с погодой?

— Чудесно.

— С кем будете жить?

Прям, думаю, даже так?

Определился в шестой номер, где как раз нужный мне композитор жил. Вхожу — довольно молодой еще парень, сидит, кипятит кипятильничком в кружке кипяток.

— Ты что? — говорю. — Ужин же как раз идет! В темпе!.. Ну, пойдем!

Привел я его в столовую, говорю:

— Уж накормите его, прошу!

После ужина композитор мне говорит:

— Может быть, сходим тут неподалеку в театральный Дом творчества?

— Давай!

— Только у меня будет к вам одна просьба...

— Так.

— Если увидите там японок — не приставать!

— ...К японкам? Ну, хорошо.

И пока шли мы с ним в темноте, я все хотел спросить у него: «А есть они там?»

Но не спросил.

А там вообще оказалось пусто! Только в столовой двое — явно не японского вида — стояли, раскачиваясь, по очереди пытаясь вложить замороженную коровью ногу за пазуху, нога со стуком падала, — и это все.

Когда мы вернулись, композитор сказал:

— Не возражаете, если я открою окно?

— Пожалуйста!

Всю ночь я мерз. Ну, ничего! Не так уж это много: не приставать к японкам и спать при открытом окне. Ничего страшного.

Для моего скоропортящегося портфеля это даже хорошо!

Всю ночь я мерз — и с благодарностью почувствовал, как на рассвете композитор покрыл меня своим одеялом.

Во время завтрака подошел ко мне один из проживающих, сказал жалостливо:

— Вас, наверное, послушаются. Скажите коменданту, чтобы не запирал бильярдную на замок.

Неожиданно я уже самым главным здесь оказался! И всюду так: издалека только кажется — дикая конкуренция, чуть ближе подходишь — никого!

После завтрака композитор мне говорит:

— Может быть, прогуляемся немного?

— Можно!

— Только единственная просьба! — Он сморщился...

— Не приставать к японкам! — сказал я. Он с удивлением посмотрел на меня.

— Откуда вы знаете?

— Но вы же сами вчера говорили!

— И вы запомнили?! — В глазах его даже слезы сверкнули!

«Да! — думаю. — Что же за сволочи его окружают, неспособные единственную запомнить, такую скромную просьбу?»

Неужто действительно — я самый хороший человек в его жизни?

На прогулке мы разговорились, я рассказал ему о своих делах, он — о своих... Выяснилось, кстати, что связано у него с японками: во время учебы в консерватории влюбился он в одну из японок, с

тех пор не может ее забыть. Все ясно!

После прогулки он сидел за роялем, что-то наигрывая, потом пригласил меня и заиграл вдруг прекрасную мелодию!

— Годится? — резко вдруг обрывая, спросил он.

— Для чего?

— Для твоего текста?

Мы обнялись. Обратно ехал я в полном уже ликовании! Здорово я все сделал! И главное — честно! И человеку приятно, и все счастливы!

Иной раз хочется, конечно, приволокнуться за хорошенькой японкой, но можно же удержаться, тем более если человек просит!

Утром зашел я за Дзыней, понесли Ладе Гвидоновне песню.

Лада Гвидоновна наиграла, напела.

— Что ж, — говорит. — Для начала неплохо! Хотите кофе?

— Не знаем, — говорим.

— Учтите: мы только хорошим авторам кофе предлагаем.

— Тогда хотим!

Жадно выпили по две чашки. Лада Гвидоновна в какой-то справочник посмотрела:

— Вам за ваш текст полагается двадцать рублей.

— А за подтекст?

— А разве есть он у вас?

— Конечно.

— Тогда двадцать пять.

Стоим в кассу, подходит к нам Эммануил Питонцев, руководитель знаменитого ансамбля «Романтики».

— Парни, — говорит, — такую песню мне напишите, чтобы английские слова в ней были.

— А зачем?

— Ну, молодежь попсовая — длинноволосая эта, в джинсах — любит, когда английский текст идет.

Приехал я домой, написал — самую знаменитую нашу впоследствии песню:

Поручите соловью —

Пусть он скажет: «Ай лав ю!»

Утром думаю: все, хватит! Пусть Дзыня теперь в Пупышево едет! А то текстов не пишет, с композитором не контактирует, а получает половину гонорара в качестве Костылина.

Вызываю его:

— Поезжай в Пупышево! Все я сделал уже — на готовое, что ли, не можешь съездить? Подселишься к композитору в шестой номер и сразу

же скажешь: что любишь тех, что при открытом окне любят спать, а ненавидишь тех, которые к японкам пристают. Запомнил? Или тебе записать?

— Запо-омнил! — Дзыня басит.

Уехал он, а я все волновался, ведь перепутает все, наоборот скажет!

Так и есть! Появляется, без каких-либо нот.

— Перепутал! — говорит. — Все наоборот ему сказал! Эх, записать надо было — ты прав.

— Ну и что он сказал?

— Сказал, что никакого дела иметь не будет.

— Ну, все ясно с тобой. Иди отдыхай.

Ушел он — жена подходит.

— Звонил, — говорит, — Фуфлович Вовка. В гости просился.

— Так... А еще кто?

— А еще Приклонские.

— Так... А из еще более бессмысленных людей никто не звонил?

— Нет.

— Все ясно. Позвонишь Фуфловичу — скажешь, что мы с Приклонскими договорились уже. Приклонским позвонишь, что Вовка Фуфлович к нам в гости напросился. Они как в позапрошлом году подрались, так отказываются вместе находиться.

— А кто же из них придет? — растерянно жена спрашивает.

— Никто! — говорю. — Взаимно уничтожатся!

— Жалко! — печально вздохнула. — Я люблю, когда гости приходят!

Ушла она спать, а я все думал: что же теперь с нашей музыкой будет?

Лег приблизительно около полуночи спать — просыпаюсь под утро от дикого холода!

Гляжу, на диване композитор сидит.

— Извини, — говорит, — дверь у тебя не заперта оказалась. Я и окно открыл — ты же любишь!

Вышли мы в кухню с ним.

— Извини, — композитор говорит. — Приехал, не смог удержаться. Только ты меня один понимаешь!

Вот это здорово!

— ...Напишешь что-нибудь сложное, — композитор продолжает, — сразу все в один голос: «Формальные ухищрения!»

Что-нибудь новое — сразу: «Алхимия!» Простое что-нибудь — «Дешевая популярность!» Только тупость почему-то никого не пугает!

— Ну, что же, — говорю ему. — Чайку?

— А покрепче ничего нельзя?

— Можно! — говорю. — Только жену спроважу

куда-нибудь.

Иду в спальню, бужу жену:

— Вставай и убирайся!

— В доме? — испуганно говорит.

— Нет. Из дома. Не видишь, что ли, композитор пришел, работать с ним будем над новой песней.

Собралась она, на работу ушла. А может, и осталась она — считалось, во всяком случае, что ее нет.

Поговорили мы с композитором обо всем. Выпили. Потом вдруг мне гениальная мысль в голову пришла.

— А может, и действительно, — говорю, — песню напишем?! Я вообще-то жене для отмазки сказал, что мы песню с тобой будем писать. А может, мы и действительно напишем ее?

— Ну давай, — кивнул композитор. — Только ведь рояля у тебя нет!

— А балалайка вот. Балалайка не годится?

Сели мы с ним — и за полчаса написали самую знаменитую нашу песню: «Поручите соловью — пусть он скажет: «Ай лав ю!»

— Здорово! — композитору говорю. — Сначала только чтобы жену увести сказали, что над новой песней будем работать, а потом и действительно написали ее. То есть сразу двух зайцев убили!

Понимаешь?

Но он не понял.

Эту песню многие потом исполняли, но первым исполнителем ансамбль «Романтики» был. Сначала, когда я увидел их, слегка испугался. Что ж это за «Романтики», думаю, фактически уже зачесывают на голову бороду! Но потом оказалось — все нормально! Выйдет Питонцев к микрофону, затрясет переливчатой своей гитарой:

— Па-аручите са-лавью...

Весь зал хором уже подхватывает:

— ...пусть он скажет: «Ай лав ю!»

Полное счастье!

Крутые ребята «Романтики» эти оказались. Первый раз потрясли они меня в одном Доме культуры: зашли на минутку за бархатную портьеру на окне — и тут же вышли все в пиджаках из этого бархата!

Конечно, какой-нибудь сноб надутый скажет: «Романтики»? Фи!» Но кто знает его? А «Романтиков» знают все!

После каждого концерта буквально подруливают на машинах поклонники: директора магазинов, все такое... В общем, «торговцы пряностями», как я их называл. И везут в какой-нибудь загородный ресторан, где давно уже уплачено

за все вперед, даже за битую посуду, или в баню какую-нибудь закрытого типа!

Особенно верными «Романтикам» поклонники с живорыбной базы оказались: везут после концерта к себе на базу — ловят рыбу в мутной воде, мечут икру! Портфели форели! Сига до фига!

Надо же, какая жизнь у «Романтиков» оказалась!

И чуть было все это не рухнуло.

Однажды мчусь я на встречу с ними, слышу вдруг: «Эй!»

Гляжу, друг мой Леха стоит. Вместе с ним работали, потом он, на что-то обидевшись, на ЗНИ перешел — Завод Неточных Изделий. Неважно вообще выглядит, надо сказать. Одет рубля так на четыре. Но гордый.

— Ну, как живешь? — многозначительно так спрашивает меня.

— Нормально! — говорю. — Жизнь удалась. Хата богата. Супруга упруга.

— А я понял, — говорит, — что все не важно это! Считаю, что другое главное в жизни!

И замолк. Что же, думаю, он назовет? Охрану среды? Положение на Востоке? Но он вместо этого вдруг говорит:

— Столько подлецов развелось вокруг — рук не

хватает! Вот, думаю — пощечину этим запомнит любой подлец!

Вынимает из-за пазухи странное устройство, вроде мухобойки: к палочке приколочена старая подошва.

— Вот, — говорит.

Честно говоря, это меня потрясло!

— Да брось ты это, Леха! — говорю. — Давай лучше поехали со мной, отдохнем!

По дороге Леха мне говорит:

— А помнишь, у тебя ведь была мечта: поехать в глухую деревеньку, ребятишкам там математику преподавать, физику!

— Не было у меня такой мечты!

— Ну посмотри мне в глаза!

— Еще чего! — говорю. — Отказываюсь!

Приехали мы с ним на концерт, после концерта повезли нас живорыбщики на охоту. Все там схвачено уже было: утки, павлины. Вместо дроби стреляли черной икрой.

И только начался там нормальный разворот, слышу вдруг с ужасом: «Шлеп! Шлеп!» — Леха мухобойкой своей пощечины двум живорыбщикам дал.

— Леха! — кричу. — Ты что?!

С огромным трудом, с помощью шуток, прибау-

ток и скороговорок отмазал его.

Вспомнил я, когда домой его вез: ведь давно уже клялся не иметь с ним никаких дел!

...Однажды уговорил он меня поехать с ним в туристский поход. Взяли две одноместные палатки, надувную лодку, забрались на дикий остров на Ладоге. Днем там ничего еще было, но ночью житья не было от холода и комаров. Леха каждую ночь вылезал, просил, чтоб я палатку его песком обкопал, чтобы щелей не оставалось для комаров. Днем намаешься как Бог, да еще ночью просыпаешься вдруг от голоса:

— Эй!.. Закопай меня!

Слегка устал я от такой жизни. Сел однажды вечером в лодку, на берег уплыл — там какая-то турбаза была. Никого не нашел там — все в походе были, — только увидел на скамеечке возле кухни молодую повариху.

— Привет! — обрадованно говорю. — Ты что делаешь-то? Работаешь?

— Не! — отвечает. — Я отдежурила уже!

— А чего не идешь никуда?

— А куда идти?

— А поплыли на остров ко мне?

— Не!

— Думаешь, приставать к тебе буду?

— Ага.

— Да нет. Невозможно это. Знаешь, как холодно там? В двух ватниках приходится спать!

Нормальный человек, послушав нашу беседу, подумал бы: странно он ее уговаривает!

Но именно такие доводы, я знал, только и действуют.

— А люди там, — канючила она. — Что скажут?

— Да нет там никого. Я один.

— Честно?

— Ей-Богу, один!

Долго плыли мы с ней по темной, разбушевавшейся вдруг воде, в полной уже темноте приплыли на остров. С диким трудом, напялив на нее два ватника, уговорил я ее залезть в палатку — и тут появился Леха, с обычным своим ночным репертуаром:

— Эй! Закопай меня!

В ужасе выскочила она из палатки, увидела Леху и с криком «О-о-о!» умчалась куда-то в глубь острова. Всю ночь я ее проискал, утром только нашел на кочке посреди болота.

И поклялся я, когда обратно мы плыли: с Лехой больше никаких дел не иметь!

И вот надо же — снова появился, притулился ко мне. Жена моя почему-то с горячей симпатией

к нему отнеслась.

Только приходил (а он теперь часто стал приходить) — усаживались друг против друга на кухне и начинали горячо обсуждать заведомую чушь!

Но это еще не все, что произошло.

Однажды — прихожу поздно вечером домой, вижу: сидит на кухне какой-то старичок.

— Кто это? — тихо жену спрашиваю.

— Не знаю! — плечами пожала.

— А кто же впустил его?

— Я.

— А зачем?

— А он приехал к родственникам, а их нет. Что уж я, не могу старичка пустить?!

Всегда так, с повышенной надменностью держится, когда чувствует, что совершила очередную глупость.

— Здесь сараюшка-а ста-яла, — старичок повторяет.

Какая такая сараюшка, так и не добился я от него.

Ну ладно уж, положили его на нашу тахту, сами в кухне на раскладушке легли. Жена лежит в темноте, вздыхает. Потом говорит:

— ...Сегодня над церковью у нас журавли весь день кружились, кричали. Наверно, вожака по-

теряли!

— Ну и что ты предлагаешь... К нам, что ли?!

Потом заснула она, а я долго лежал в темноте, руки кусал, чтобы не закричать!

Когда же это кончится, ее дурость?!

Потом заснул все-таки.

Просыпаюсь, иду посмотреть на старичка — и падаю. Старичка нет, и так же нет многого другого! Причем взято самое ценное — диссертацию мою так и не взял, хотя она на самом видном месте лежала!

— Вот это да! — почему-то чуть ли не обрадованно жена говорит.

— Ну, довольна? — говорю. — Кого в следующий раз пригласишь? Думаю, прямо уже убийцу надо — чего тянуть?

Обиделась, гордо отвернулась. Слезы потекли. Бедная!

И тут впервые у меня мысль появилась: а ведь погубит меня эта хвороба!

Снова теперь хозяйство нужно поднимать — старичок даже кафель в туалете снял! Решил к Дзыне пойти на откровенный разговор: стихов никаких он не пишет, дел не делает, а считается, как договорились, соавтором Костылиным и половину гонорара за песенки получает. Приез-

жаю к нему — и узнаю вдруг сенсацию: Дзыня, слабоумный мой друг, первое место на конкурсе молодых дирижеров занял и приглашение получил в лучший наш симфонический оркестр!

Вот это да! Балда балдой, а добился!

— Ну ты, — говорю, — чудо фоллопластики... Жизнь удалась?

— Удала-ась!

— Но как Костылин-то... соавтор мой... ты, наверно, теперь отпал?

— Это насчет песенок-то? Конечно! — Дзыня говорит.

Хороший он все-таки человек! Сам отпал, и не вниз, что морально было бы тяжело, а вверх!

Позавтракали с ним слегка, потом пригласил он меня на репетицию.

Встал Дзыня за пюпитр, палочкой строго постучал... Откуда что берется! Потом дирижировать начал. Дирижирует, потом оглянется на меня — и палочкой на молодую высокую скрипачку указывает!

В перерыве спрашиваю его:

— А чего ты мне все на скрипачку ту показывал?

— А чтоб видел ты, — гордо Дзыня говорит, — какие люди у меня есть! Что вытворяет она,

заметил, надеюсь?

— Конечно, — говорю. — А познакомь?

— А зачем? — дико удивился.

— Надо так.

— Ну, хорошо.

Подвел Регину ко мне. Красивая девушка, но главное — сразу чувствуется, — большого ума!

«Что ж делать-то теперь? — думаю. — В ресторан — дорого, в кафе — дешево. В филармонию — глупо. И жена опять будет жаловаться, что одиноко ей. И Дзыня говорит, что редко встречаемся...»

И тут гениальная мысль мне пришла: одним выстрелом двух зайцев убить — может быть, даже трех!

— А приходите, — Дзыне говорю, — завтра с Региной ко мне в гости!

Дзыня испуганно меня в сторону отвел.

— А как же?..

— Жена, что ли? Нормально! Скажешь, что Регина — невеста твоя. Усек? Это часто среди миллиардеров практикуется — когда едет он на курорт с новой девушкой, специальный подставной человек с ними едет. «Бородка» называется. Понимаешь?

— ...А ты разве миллиардер?

— Да нет. Не в этом же дело! Главное в «бородке»!

— А! — Дзыня вдруг захохотал. — Понял!

Даю на следующий день жене три рубля, говорю:

— Приготовь что-нибудь потрясающее — вечером гости придут.

— Гости — это я люблю! — Жена говорит. — А кто?

— Дзыня, — говорю, — со своей девушкой.

Вечером захожу на кухню, гляжу: приготовила холодец из ушей! Решила потрясти ушами таких гостей!

Ругаться с ней некогда уже было — звонок, Дзыня с Региной пришли. Дзыня одет в какой-то незнакомый костюм, а на лице его — накладная бородка!

С кем приходится работать!

Затолкал я в ванную его, шепчу:

— Ты что это, а?

Дзыня удивленно:

— А что?

— Зачем эту идиотскую бородку-то нацепил?

— Ты же сам велел, чтобы жена твоя меня не узнала!

— Зачем это нужно-то — чтобы она тебя не

узнала?!

— А нет? Ну извини!

Стал лихорадочно бородку срывать.

— Теперь-то уже, — говорю, — зачем ты ее срываешь?

Вышли наконец в гостиную, сели на стол, отведали ушей.

«Колоссально! — думаю. — Сидим вместе все, в тепле. И довольны все, особенно я! Замечательно все-таки! Какой-то я виртуоз!»

Потом Дзыня с моей женой за дополнительной выпивкой побежали, а я с Региной вдвоем остался. Быстренько оббубнил ее текстом, закружил в вихре танца, потом обнял, поцеловал.

Стал потом комнату оглядывать: не осталось ли каких следов? Вроде все шито-крыто. В зеркало заглянул, растрепавшуюся прическу поправить — и вижу вдруг с ужасом: в зеркале отражение осталось, как я Регину целую!

«Что такое?! — Холодный пот меня прошиб. — Что еще за ненужные чудеса физики?!»

Долго тряс зеркало — отражение остается! Примерно после получасовой тряски только исчезло.

Сел я на стул — ноги ослабли. Вытер пот. И тут дверь заскрипела, голоса раздались — вернулись гонцы.

Сели за стол, гляжу, Дзыня снова все путает! С жены моей глаз не сводит, непрерывно что-то на ухо ей бубнит, Регина же в полном запустении находится!

Снова выволок его на кухню, шепчу:

— Регина же — невеста твоя! Забыл? Скажи ей ласковое что-либо, обними!

— Понял! — говорит.

Подсел к Регине наконец, начали разговаривать. К концу он даже чересчур в роль вошел — обнимал ее так, что косточки ее бедные трещали! Забыл, видимо, что страсть должен он только изображать!

Да, понял я. Видно, придется встречаться с нею наедине!

Договорился с нею на следующий день.

На следующий день собирался я на свидание с Региной, волновался, в зеркало смотрел... Да-а, выгляжу уже примерно как портрет Дориана Грея! Вдруг Леха является — как всегда, вовремя!

— Извини, — говорю, — Леха! Тороплюсь! Хочешь — вот с женой посиди!

Сели они друг против друга, и начал он рассказывать горячо о возмутительных порядках у них на Заводе Неточных Изделий. Жена слушала его как завороженная, головой качала изумленно,

вздыхала. Меня она никогда так не слушала — правда, я никогда так и не рассказывал.

Встретились с Региной. Довольно холодно уже было,

— В чем это ты? — удивленно она меня спрашивает. — В чьем?

— Да это тещина шуба, — говорю.

— Чувствуется! — Регина усмехнулась.

Такая довольно грустная. Рассказывал мне Дзыня про нее, что год примерно назад пережила она какой-то роман, от которого чуть не померла. Разговорились, она сама сказала:

— Да, — говорит. — И, в общем, неплохо, что это было. Теперь мне уже ничто не может быть страшно. Больно может быть, а страшно — нет. Ну, а тебе как живется?

Была у нее такая привычка: все в сторону смотреть — и глянуть вдруг прямо в душу.

Стал я ей заливать, как отчаянно я живу, как стихи гениальные пишу, которые не печатают...

Прошли по пустым улицам, вышли к реке. Вороны, нахохлившись, сидят вокруг полыньи.

— О, смотри! — говорю. — Вороны у полыньи греются! Воздух холоднее уже, чем вода. Колоссально.

— Может, пойдем погреемся? — Она усмехну-

лась.

Стал я тут говорить, чтоб не грустила она, что все будет отлично!

Зашли мы с ней погреться в какой-то подъезд. Довольно жарко там оказалось. Потом уже, не чуя ног, спустились в подвал — и так до утра оттуда не поднялись.

Потом, уже светать стало, задремала она. Сидел я рядом, смотрел, как лицо ее появляется из темноты, бормотал растроганно:

— ...Не бойся! Все будет!

Потом — она спала еще — я вышел наверх.

Снег выпал — на газонах лежит, на трамваях. Темные фигуры идут к остановкам.

Ходил в темноте, задыхаясь холодом и восторгом, и когда обратно шел — неожиданно стих сочинил.

Посвящается Р.Н.

Все будет! Чувствуешь — я тут.
Немного дрожь уходит с кожи.
Не спи! Ведь через шесть минут
Мы снова захотим того же.

Похолодание — не чувств, —
Похолодание погоды.

И ты не спишь, и я верчусь.
Уходят белые вагоны.

Все будет! Чувствуешь — я тут.
Нам от любви не отвертеться.
Пройдут и эти шесть минут.
Пройдут... Пройдут! Куда им деться?

Написал на листке из записной, перед Региной положил, чтобы сразу же увидела, как проснется... Когда я снова вернулся — со сливками, рогаликами, — Регина, уже подтянутая, четкая, стояла, читала стих. Потом подошла ко мне, обняла. Потом, посадив ее на такси, я брел домой... Да, как ни тяжело, а разговора начистоту не избежать!

Открыл дверь — жена нечесаная стоит в прихожей. Вдруг звонок — входит Леха с рогаликами и сливками!

— ...В чем дело?! — задал я сакраментальный вопрос.

Леха гордо выпрямился.

— Мы намерены пожениться!

Вот это да!.. Я-то, слава Богу, ничего еще не сказал, так что моральная вина ложится на них! Леха протянул мне вдруг свою мухобойку.

— Бей! — уронив руки, сказал он. — Я подлец!

— Ну что ты, Леха... — пробормотал я.

Едва сдерживая восторг, я выскочил, хлопнув дверью. Все вышло, как я втайне мечтал, причем сделал это не я, а другие!

Какой-то я виртуоз!

На работу еще заскочил. Все как раз в комнате сидели — и тут вдруг с потолка свалился плафон. Вошел я, поймал плафон, поставил на стол — и под гул восхищения исчез опять.

Теперь бы, думаю, еще от композитора избавиться, чтобы все уже деньги за песни мне капали. Жадность уже душит — сил нет! Что я — не смогу музыку писать? Кончил, слава Богу, два класса музыкальной школы — вполне достаточно.

Прихожу к композитору, говорю:

— Родной! Нам, кажется, придется расстаться!

— Почему?! — Композитор расстроился.

— Понимаешь... я влюбился в японку!

Он так голову откинул, застонал. Потом говорит:

— Ну, ладно! Я тебя люблю — и я тебя прощаю! Приходи с ней.

— Нет, — говорю. — Это невозможно!

Обнял он меня.

— Ну, прощай!

И я ушел.

И Регина, кстати, тоже вскоре исчезла — уехала с Дзыней, ну, и с оркестром, понятно, на зарубежные гастроли по маршруту Рим—Нью-Йорк—Токио. Перед отъездом, правда, все спрашивала:

— Может, не ехать мне, а? Может, придумать что-то, остаться?

— Да ты что? — Я ей прямо сказал. — Такой шанс упустишь — всю жизнь себе потом не простишь!

В общем-то, если честно говорить, все у нас кончилось с ней. Меньше двух месяцев продолжалось, но, в общем-то, все необходимые этапы были. Просто от прежней жизни, похожей на производственный роман средней руки, с массой ненужных осложнений, искусственных трудностей, побочных линий пришел я, постепенно совершенствуясь, к жизни виртуозной и лаконичной, как японская танка:

Наша страсть пошла на убыль —
На такси уж жалко рубль!

Все!

Уехала Регина, и я совсем уже с развязанными руками остался.

Ну, ты даешь, Евлампий!

Что же, думаю, мне теперь такое сотворить,

чтоб небу было жарко и мне тоже? И тут гигантская мысль мне пришла: песню сделать из стиха, который я Регине посвятил!

Вскочил я в полном уже восторге — бежать, с Дзыней и с композитором делиться, но вспомнил тут, ведь нет уже их, сам же сократил этих орлят, как малопродуктивных!

Снял балалайку со стены — и песню написал. Назвал «Утро».

Немножко, конечно, совесть меня мучила, что из стихов, посвященных ей, песню сделал. Тем более — для «Романтиков»!

Крепко ругаться с ними пришлось. Видимо, общее правило: «Из песни слова не выкинешь» — не распространялось на них. Не понимают: не только слово — букву и ту нельзя выкидывать! Одно дело — «когда я на почте служил ямщиком», другое — «когда я на почте служил ящиком»!

Порвал я с «Романтиками» — мелкая сошка. А эту песню мою — «Утро» — на стадионе на празднике песни хор исполнял. Четыре тысячи мужских голосов:

Все бу-удет! Чу-увствуешь — я тут!

Да-а... Немножко не тот получился подтекст. Ну — ничего! Зато — слава!

Даже уже поклонницы появились. Особенно одна. Пищит:

— А я вас осенью еще видела — вы в такой замечательной шубе были!

...А сейчас что, разве я бедно одет?

Выкинул наконец свой пахучий портфель, вернее, на скамейке оставил, с запиской. Купил себе элегантный «атташе-кейс». При моих заработках, кажется, могу себе это позволить? А почему, собственно, должен я плохо жить? Можно сказать, одной ногой Гоголь!

С машиной, правда, гигантское количество оказалось хлопот: ремонт, запчасти, постройка гаража!

Еду я однажды в тяжелом раздумье, вдруг вижу — старый друг мой Слава бредет. Усадил я в машину его, расспросил. Оказалось, в связи с разводом лишился он любимой своей машины. Остался только гараж, но гараж хороший.

«Колоссально! — вдруг мысль мне пришла, острая, как бритва. — Поставлю мою машину в его гараж, пусть возится с ней — он это любит».

Загнали машину к нему в гараж, потом в квартиру к нему поднялись. Он порывался все рассказать, как и почему с женой развелся, а я успокоиться все не мог — от радости прыгал.

Замечательно придумал я! С машиною Славка теперь мучается, с бывшей женой-дурой — Леха, с композитором... не знаю кто! А я — абсолютно свободен. Какой-то я виртуоз!

Тексты за меня — нашел — один молоденький паренек стал писать. Врывается однажды сияющий, вдохновенный:

— Скажите, а обязательно в трех экземплярах надо печатать?

— Обычно, — говорю, — и одного экземпляра бывает много.

Потом даже выступление мое состоялось по телевидению.

В середине трансляции этой — по записи — выскочил я на нервной почве в магазин. Вижу вдруг в винном отделе двух дружков.

— О!.. — Увидели меня, обомлели. — А мы тебя по телевизору смотрим!

— Вижу я, как вы меня смотрите!

Подвал наш с Региной отделал к возвращению ее. При моих заработках, кажется, могу я себе это позволить?

Бархатный диван. Стереомузыка. Бар с подсветкой.

Неплохо!

Правда, в подвале этом раньше водопроводчи-

ки собирались, и довольно трудно оказалось им объяснить, почему им больше не стоит сюда приходить. Наоборот — привыкать стали к хорошей музыке, тонким винам. Приходишь — то один, то другой, с набриолиненным зачесом, с сигарой в зубах, сидит в шемаханском моем халате за бутылочкой «Шерри».

По Регине, честно говоря, я скучал. Но и боялся ее приезда. Много дровишек я наломал — с ее особенно точки зрения.

Конечно, ужасным ей покажется, что я из стихотворения, посвященного ей, песню сделал для хора!

И вдруг читаю однажды в газете: вернулся уже с гастролей прославленный наш оркестр! А ни Регина, ни Дзыня у меня почему-то не появились.

Звоню им — никого не застаю.

Мчусь в филармонию на их концерт.

Регина! Дзыня!

Дзыня обернулся перед концертом и вдруг меня в зале увидел, почему-то смутился. Взмахнул палочкой, дирижировать стал. Дирижирует, робко взглянет на меня и палочкой на пожилую виолончелистку указывает.

В антракте подошел я к нему.

— Почему это ты все на пожилую виолонче-

листку мне указывал?

Дзыня сконфуженно говорит:

— Хочешь — познакомлю?

— Как это понимать?! — На Регину смотрю.

— Понимаешь... — Дзыня вздохнул. — Ты так доходчиво объяснял, как жениха мне Регининого изображать, что я втянулся как-то. Мы поженились.

Вот это да!

И это я, выходит, уладил?

Ловко, ловко!

Можно даже сказать — чересчур!

Пошел к себе в подвал, выпил весь бар.

Ночью проснулся вдруг от какого-то журчания. Сел быстро на диване, огляделся — вокруг вода.

Затопило подвал, трубы прорвало!

Всю ночь на диване стоял, к стене прижавшись, как княжна Тараканова. Утром выбрался кое-как, дозвонился Ладе Гвидоновне (единственный вот остался друг!).

Она говорит:

— В Пупышеве с завтрашнего дня собирается семинар, поезжайте туда!

Ну, что же. Можно и в Пупышево. Все-таки связано кое-что с ним в моей жизни!

Перед отъездом не стерпел — соскучился, — за-

шел в старую свою квартиру, навестить бывшую жену и Леху... Главное, говорил мне, что проблемы быта не интересуют его, а сам такую квартиру оторвал! Нормальная уже семья: жена варит суп из белья, муж штопает последние деньги.

Потом уединились с Лехой на кухне.

— Плохо! — говорит он. — Совершенно не хватает средств.

Обещал я с «Романтиками» его свести.

Три часа у них просидел, больше неудобно было — пришлось уйти. Ночевал я в ту ночь в метро — пробрался среди последних, спрятался за какой-то загородкой — больше мне ночевать было негде.

Утром пошел я к Славке в гараж — поехать хоть в Пупышево на своей машине!

Но и это не вышло. Машина вся разобрана, сидит Славка в гараже среди шайбочек, гаечек. Долго смотрел на меня, словно не узнавая.

— Это ты, что ли? — говорит.

— А кто же еще?

— Что — неужели дождь? — На плащ мой кивнул.

— А что же это, по-твоему?

— А это вино, что ли, у тебя?

— Нет. Серная кислота! Не видишь, что ли, все

спрашиваешь?

Но машину собрать так и не удалось.

Пришлось поездом ехать, дальше — автобусом. Долго я в автобусе ехал... и как-то задумался в нем. Не задумался — ничего бы, наверно, и не произошло. Вышел бы в Пупышеве, и покатилось бы все накатанной колеей. Но вдруг задумался я. Пахучий портфельчик свой вспомнил. Как там хозяин-то новый — ставит его в холодильник-то хоть?

Очнулся: автобус стоит на кольце, тридцать километров за Пупышевом, у военного санатория.

Водитель автобуса генералом в отставке оказался. Другой генерал к нему подошел, из санатория. Тихо говорили они. Деревья шумели.

Оказывается, генералы в отставке хотят водителями автобусов работать.

А я и не знал.

И не проехал бы — не узнал.

Вышел я, размяться пошел.

Стал, чтобы взбодриться чуть-чуть, о виртуозности своей вспоминать. Ловко я все устроил: то — так, это — так...

Только сам как-то оказался ни при чем!

Можно сказать — излишняя оказалась виртуозность!

Э, э! В темпе, понял вдруг я, все назад!

Я быстро повернулся и, нашаривая мелочь, помчался к автобусу.

ОСЕНЬ, ПЕРЕХОДЯЩАЯ В ЛЕТО
(Хроника)

Утро в газовой камере

Только успели заснуть — тут же, как и всегда, проснулись от воплей и молча лежали в темноте. Нет! Безнадежно! Никогда это не кончится. И людям-то ничего не объяснить — не то что этому!

Мы долго прислушивались к переливам воя.

— А наш-то... солист! — проговорила жена, и по голосу было слышно, что она улыбается.

Да. Замечательно! Опера «Кэтс»! Сколько раз я тыкал его грязной расцарапанной мордой в календарь: «Не март еще! Ноябрь! Рано вам выть!» Бесполезно.

Я вышел на кухню, посмотрел на часы. Четыре! О, Боже! Хотя бы перед таким днем, который нам предстоит, дали бы выспаться, но всем на все наплевать, акромя собственной блажи! А приблизительно через два часа начнется другая мука, более гнусная.

В отчаянии я плюхнулся в жесткую кровать. «Ну, что за жизнь?!» Дикие голоса в гулком дворе тянулись, переливались, составляя что-то вроде

грузинского хора, и теперь я уже ясно различал речитативы нашего гада. Действительно: солист!

Одна наша подруга, поглаживая это чудовище, вернувшееся с помойки, ласково предложила нам его кастрировать, по дружбе за полцены: чик — и готово, он даже ничего не поймет. Но мы хотя бы не будем чувствовать моральных мук за то, что творится во дворе, и сможем наконец возмущаться, как благородные люди!

Но — пожалели. И как правильно говорят: ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Вкушаем плоды.

В промежутках между двумя ужасами — вдруг прервавшимся и другим, надвигающимся — я вроде бы успел задремать в начавшей слегка светлеть комнате, но спал я весьма условно: все видя, все помня, все слыша и за все переживая.

Где-то в половине шестого залаял пес, и мне показалось, что я слышу, как пришла дочь... второй уже месяц, однако, это кажется.

Та-ак. Пошло!.. Завывание первого душегуба. Потом второго. И все их отдельные голоса я тоже уже различаю — сделался ценителем. Накупают своим «тойоты» на помойках, и каждое утро мы доплачиваем за это — совершенно невинные. Сипенье, надсадные хрип полусдохшего мотора.

Часовая порция газа. Громкое захлопывание форточки на них не действует. И вот под окнами уже хрипит и дышит целое стадо — на этот раз не только рваное, но и ржавое!

Некоторые, оставшиеся почему-то веселыми друзья нынче спрашивают меня: «Что случилось? Ведь ты же был самым светлым из нас — почему же так потемнел?» Тут потемнеешь!

«Утро в газовой камере». Записки оптимиста.

Когда-то в квартире под нами жил милиционер с двумя пацанами, потом его убили бандиты. И (надо же, какое благородство!) самый главный бандит женился на вдове, усыновил пацанов и теперь любовно ерошит их короткие бандитские стрижки. И весь двор теперь, естественно, их — бандитская стоянка. Правда, и их окна тоже выходят сюда. Слабое утешение!

Снова проснулся я от собачьего лая — жена, как-то сохраняющая в таких условиях остатки бодрости, выходила с псом.

Еще пару минут полупрозрачного, призрачного сна...

Народные мстители

Печально понимать осенью, что лета фактически и не было! Чтобы увидеть лето, надо было поехать на дачу, а чтобы в этом году снять дачу, нужно было сдать кому-то свою квартиру. А кому сдать? Естественно, иностранцу — кому еще?

Еще в апреле я начал звонить. Обидно, конечно, будет — проходить мимо своего дома, приезжая в город... но что делать?

Ничего! Хлебнут горя! Они и не догадываются еще ни о чем! «Наш ответ Чемберлену»... Комары! Они и не догадываются еще, насколько это серьезно...

Пока что мы проверяли это оружие на себе. И наш неугомонный кот помогал. Марля, натянутая на форточки, слегка спасала, и даже удавалось иногда заснуть... но он был начеку! Тут же с диким воем его морда вдавливалась в марлю снаружи — ему непременно нужно было проникнуть домой, видимо, чтобы сообщить о своих победах и поражениях. После пятиминутного воя марля освобождалась от кнопок, угол ее приподнимался... и вместе с котом врывались комары!

Но этого десанта было мало — через минуту он

начинал рваться обратно, и снова отстегивалась марля — и навстречу коту снова летели комары!

Мы лежали в отчаянии... вроде бы тишина... и — нарастающий звон: вот и авиация!

И тут же в марлю вдавливалась морда кота: ему нужно было домой, попить водички и заодно впустить новую стаю кровопийц!

Бледные, в желваках, сидели мы по утрам на кухне.

— Ничего! Скоро эти тут будут жить! Тогда посмотрим! Только марлю надо пока снять, чтобы не догадались.

— Боюсь, что по нам догадаются, — говорила жена.

Но беда пришла с другой стороны.

Замок в нашем подъезде был разбит, что многие принимали за приглашение, а когда замок чинили — его снова разбивали. Интересная шкала человеческих слабостей предстала перед нами! Как раз под нашей кухней была ниша с мусорными баками, и, казалось бы, проще всего было облегчиться там, но некоторые оказывались настолько стеснительными, что входили для этого на нашу лестницу, а некоторые, наиболее застенчивые, поднимались до второго этажа, до наших дверей.

— Опять застенчивый пришел! — говорила жена, как только внизу стукала дверь. Неудобно прерывать! Но — к приходу иностранцев...

Уже перед приходом агента жена вымыла лестницу, и все сияло.

— Нам нравится, что вы интеллигенты! — сказала агент.

— А он, надеемся, тоже приличный? — поинтересовались мы.

— Он англичанин! — сказала она. — И, конечно, интеллигент.

— Профессор?

— Почему? Бригадир грузчиков. Он приезжает сюда, чтобы учить наших грузчиков работать.

— Великолепно. Действительно, замечательно. А когда он придет?

Она посмотрела на изящный циферблат.

— Через час.

Только бы эти народные мстители не устроили засаду, не возвели баррикады! Пятьдесят минут я дежурил на площадке... Все спокойно! Но не бывает же такой прухи, чтоб именно сейчас! Обнаглев, я даже поставил чай.

Жена глядела во двор, под арку, расплющив о стекло половину лица.

— Идут! — воскликнула она.

— Где? — Я подошел к ней.

О! Она не сказала, что он негр! Впрочем — замечательно!

Агентша плавно обводила рукой наш двор, памятник архитектуры. Негр одобрительно кивал.

Вот — счастье!

Стукнула дверь... они вошли на лестницу... сердце заколотилось... и тут же они вышли. Не оборачиваясь, они пошли со двора... Что такое? Впрочем, я уже понял — что! Я выглянул на лестницу. Эти народные мстители, борющиеся против иностранного нашествия, возвели баррикады из самого доступного материала — напрудили пруды! Как они оказались на лестнице, ведь никто не входил! Сидели в засаде? Проникли через чердак? Какая разница! И бессмысленно с ними бороться! Комары будут кушать нас, а не классовых врагов!

Временно исчерпав свои ресурсы, мстители исчезли — мы ходили по лестнице почти свободно, но больше гостей не приглашали...

Грустное лето — под лозунгом: но зато хоть посмотрим наш город. Одинокие блуждания. Город и вправду красивый, но запущенный. Ржавые баржи, бомжи... им мы, наверное, и обязаны тем, что в это лето сохранили свободу.

Волнующие, но давно знакомые истины: Фонтанка по-прежнему впадает туда же, а Мойка по-прежнему вытекает оттуда же.

Наполненный светлой грустью, я вернулся после одной из этих прогулок и обомлел... Снова изобилие! Но сейчас-то зачем? Ведь ясно же, что мы навеки порвали с иностранцами — теперь-то зачем?.. Нет ответа. Это было уже просто буйство красок, излишества гения, искусство ради искусства.

Говорят, видеть много дерьма во сне — к богатству, но наяву — вовсе не обязательно.

Звонок на двери зачем-то искорежен мощным ударом... тоже — излишество: кто же может добраться теперь до нашей двери и нажать звонок? Эх, не бережете вы своих талантов!.. Здравствуй, лето.

Конец интеллигента

Но и осень, увы, не принесла никакого оживления в мою жизнь. Обычно каждый сентябрь начинались суета в клубе, толкотня в издательствах. А теперь — словно этого и не было никогда — клуб сгорел, издательства исчезли. И именно мы все это смели заодно с ненавистным строем

— так что жаловаться не на кого, увы!

Писатель Грушин пригласил меня на свой юбилей, но проходило это далеко уже не в ресторане, а почему-то в Доме санитарного просвещения.

— А вот и наш классик! — воскликнул Грушин, только я появился в конце практически пустого зала... Делать нечего, радостно улыбаясь, я направился к сцене, и вдруг Грушин сказал: — Он болен, очень болен. И приехал издалека! Он болен, но нашел-таки силы прийти! Поприветствуем его!

Я так и застыл с ногой — поднятой, чтобы войти на сцену... Почему это я «очень болен», черт возьми?! И почему это я «приехал издалека»? Так надо Грушину, чтобы показать, что даже очень больные люди буквально приползают на его юбилей! Черт знает что нынче делается для того, чтобы удержаться на поверхности, — и все, зная мое слабоволие, пользуются этим. Ну, ладно уж. Я болезненно закашлялся, лишь бы Грушину было хорошо. Даже когда приезжал с друзьями на юг, и там чувствовал неловкость, что горы не такие уж высокие, а море не такое уж синее — словно я в этом виноват!

— К сожалению, ему надо идти! — вдруг объявил Грушин, только я взялся за скромный бутерброд.

Куда это мне «надо идти»? Видимо, в могилу. И, судя по окружающей меня жизни, — верный адрес. Словно исчезло все, что я за жизнь свою сделал. Хочешь — начинай все сначала!.. Но хотел ли этого я?

Я зашел к критику Ширшовичу — пусть объяснит.

— Читал «Флаги на башнях»? — вдруг спросил Ширшович, выслушав жалобы.

— «Флаги на башнях»? — Видимо, он тоже считает, что мне надо начинать образование сначала. — Конечно, читал. Но только в детстве. А что такое?

— Критик Примаренков блистательно доказал, что колония трудных подростков, о которой пишет Макаренко, якобы педагог, на самом деле была притоном гомосексуалистов для высших правителей страны!

— Как? — Я даже подскочил. — Но Макаренко же их перевоспитывал!..

— В правильном ключе!

Вот как развивается сейчас литературоведение — семимильными шагами!

— М-да... И кто же... гомосексуалист... туда приезжал?

— Буквально все! Калинин! Бухарин! Без сомне-

ния — Ежов. Конечно же, Максим Горький, ну, это подтверждается даже документально. Вот так.

— И... что?

— И то! Поэтому книги Макаренко выходили миллионным тиражом!

— М-да. А мы-то здесь при чем?

— При том же! Те же самые флаги на тех же башнях!

— То есть — что?

— То есть — то. Вся мировая политика, ну, и, разумеется, культура контролируются ими!

— Давно?

— Всегда.

— Но как же раньше было? Я и не знал!

— Только не надо считать меня за идиота! — вскричал Ширшович. — Все было — только тайно. И ты прекрасно это знаешь!

— Я?..

— Сколько ты выпустил книг? И помалкивай! Не надо строить из себя наивного идиота!

— ...каким я, видимо, и являюсь.

То-то последнее время у меня на глазах происходили непонятные взлеты непонятных людей, вчерашние приготовишки объявлялись гениями, объезжали мир, а ты как числился скромным середнячком, так и остался... Спасибо Ширшовичу

— открыл глаза!

— Но ведь Горький — известный бабник!

— Сам ты бабник, — презрительно проговорил он. — А, надеюсь, известно тебе, что Радищев был сифилитиком?

— Примаренков установил?

— Да нет! В книге написано. «Путешествие из Петербурга в Москву» называется.

— Мда-а...

Словно ошпаренный, я вышел от него.

Делиться больше не с кем — рассказал все жене.

— Ну что ж... раз так надо... — безжалостно произнесла она.

— И... как Радищев — тоже?

— До Радищева тебе далеко!

Да, человеку обычному в наши дни ничего не светит! И никогда не светило!

— Но ты уверена, что если бы... удалось, я, точно бы, стал преуспевающим автором?

— С тобой — ни в чем нельзя быть уверенным! — вскричала жена.

Через два дня, когда я вернулся с прогулки, она встретила меня радостно:

— Тебе звонили... из этой самой... колонии подростков!

— Как?! И что?

— Просили выступить.

— В качестве кого?

— Сказали, что ты сам все знаешь. Ты что, никогда не выступал?

— В колонии — нет. А кто звонил?

— Воспитатель Савчук. Голос молодой, ломкий. Сказал, что заплатят.

— Да? И когда?

— Завтра. В семь выступление, потом — танцы.

— Замечательно!

Утром перелистал «Флаги на башнях». Врет все Примаренков. Не может быть! И что я — Максим Горький? Зачем я им?

К вечеру стал собираться. Непонятно даже, какой галстук надеть.

— Ладно уж, не ходи, — вздохнула жена.

За убогого меня считает! Нет уж, пойду! Я им их «флаги на башнях» поотрываю, а там хоть трава не расти!

...Поздней ночью, прикрыв спящего завуча одеялом, я вышел в канцелярию, позвонил жене.

— Ну что? — проговорила глухо она.

— Ничего страшного. В смысле, воспитатель Савчук — обычная женщина. Причем неплохая.

— Идиот! Опять за старое! — Жена бросила трубку.

Так что не удалось повторить путь Максима Горького — если, конечно, это был его путь. Насчет Радищева пока не зарекаюсь, но откуда ж знать — повезет, не повезет?

Стакан горя

Под эти воспоминания я снова задремал, но тут дунуло холодом, хлопнула дверь, и ко мне, бодро цокая, приблизился пес — свежий, холодный после прогулки, с ярким веселым взглядом. Хоть кому-то везет!

— Эта... не звонила? — вскользь поинтересовалась жена. Имелась в виду дочь.

— Нет, не звонила.

— В такой-то хоть день могла бы позвонить!

— Да она и не знает!

— Ну что ж... поехали.

И потянулся этот грустный маршрут.

Когда-то мы этим маршрутом отвозили-привозили дочь, на выходные забирая у деда с бабкой. В воскресенье отвозили — не до нее. Своя жизнь слишком радовала. Дорадовались! Вот — результат!

Впрочем, надо добавить, что и к деду с бабкой, вырастившим ее, она тоже не прониклась особой нежностью: не в воспитании тут дело!

Помню, как она, толстая, неуклюжая, сидела напротив меня на таком же толстом, надутом автобусном сиденье. Не могу сказать, что было особенно спокойно каждое воскресенье увозить ее: совесть в нас, видимо, начинала уже пробуждаться... но так, видимо, и не пробудилась. Помню, как рвало сердце, когда она говорила серьезно и вдумчиво: «Нет, не буду телевизор смотреть: так время очень быстро летит!» И после этого — все равно отвозили! Помню, как я вложил в рот сложенные автобусные билеты, закрывал и раскрывал губы с листиками, пытаясь ее развеселить. «Уточка!» — улыбнулась она. Помню, как вспыхнула радость: значит, мыслит образно, соображает, значит, все станет хорошо!.. Стало!

Но, судя по последним мыслям, главное все-таки не воспитание? Все не главное — судя по последнему!

Вот здесь мы как раз тогда и ехали...

И в электричке в хмурый ноябрьский день оказалось битком! Неужто все на кладбище?!

Пошли желтые вокзалы этой некогда царской линии — и вернулись снова мучения тех наших

поездок. Только закоптились эти славные домики за это десятилетие до неузнаваемости — особая чернота под сводами, под архитектурными излишествами. Все движется к худшему!.. Или это день такой? Не просто — день похорон, но вообще тягостный. Не хотел бы я хорониться в такой день! Впрочем — в какой бы хотел?

Выйдя из готического вокзала, мы втиснулись в автобус... что ли, специально еще надо мучить — в день похорон одного мало, что ли?

Мы ехали молча, глядя в разные стекла автобуса, но думая об одном.

— Наверное... уж сразу в морг? — с трудом выговорила жена. — Потом уже домой?

Я молча кивнул. Мы пошли через больничный двор. Хорошо, что хотя бы морг старый, красивый... Хорошо?

Думал ли он, въезжая в этот дом, что морг совсем рядом? Думал, когда вселялся: мол, морг совсем рядом? Думал, конечно, но исключительно как о шутке, не веря, конечно, что будет лежать здесь... но где же еще?

Надо сосредоточиться, собраться, слегка окаменеть. Мы уже видели его мертвым... Вызвала теша. Сидели молча. Потом раздался звонок. Вошли двое «носильщиков» — один наглый,

пьяный, как и положено, другой почему-то стеснительный, как бы суперинтеллигент...

— Ой, боюсь, я вам тут наслежу!

Теща посмотрела на него.

— Ладно, хозяйка, давай две простыни! — просипел наглый.

— Почему же две? — встрепенулась теша.

— Сейчас увидишь.

Интеллигент как бы смущался. Одну простыню они постелили на пол, свалили его с дивана, второй простыней накрыли, слегка их перекрутили, затянули, подняли. Вот и вся человеческая жизнь — между двумя простынями.

...Все почему-то толпились на пороге морга, внутрь никто не хотел — уже нагляделись!

— Почему же еще простыня? — Теща уже начала приходить в обычную норму. — Я дала ведь уже две простыни!

— Но надо же накрыть! — увещевала ее сестра.

— А где же те простыни?

Молча поздоровавшись, мы вошли внутрь. Он лежал, всеми оставленный, абсолютно один. Почему в сандалетах-то — ведь ноябрь!

Мы стояли, хотя подмывало выйти. Мой брат, патологоанатом, рассказывал мне, что, казалось бы, повидал уже все, но когда ему в благодарность

за быстрое вскрытие преподнесли кремовый торт, почувствовал, что возможности рвоты безграничны! Сладковатый запах... Да... была жизнь. И начиналась ведь не хуже другой и даже лучше — в красивом дворянском доме. После... и после ничего! Вот он, красивый, мускулистый, щегольски расчесанный, сидит, хохоча, в каком-то декоративном курортном водопаде, в воротничке на голое тело и в галстуке, и среди этих же бурных струй красивые друзья и подруги... Молодой специалист! Видел ли он оттуда, тогда эти своды?

Потом, конечно, работа, армия... тусклые воспоминания... «И помню — были стрельбы на шестьсот метров... на шестьсот и на восемьсот... нет... на шестьсот не было... только на восемьсот... Точно! Ну, не важно».

Потом — в рваной шерстяной жилетке сшивает картонный абажур вместо разбившегося, что-то бормоча под нос. Неужели каждая жизнь так печальна?

На кладбище автобус остановился посередине дороги — вокруг была непролазная грязь. Богатыри лопаты стояли в отдалении, насмешливо поглядывая: ну что — сами будете таранить или поговорим конкретно? К водителю всунулась какая-то старая пигалица, злобно пискнула: «Ра-

порточек будет!»

Да, всюду жизнь... Но — какая?

Дальше все было как-то просто... потом — жена присела, приложила ладошку к холмику, подержала... и все.

— Эта так и не появилась! — возвращаясь ко мне, прошептала она.

Да, жизнь продолжается... Но — какая?

Обратно я ехал один, все еще оставались там, но я больше не мог: срочная работа, срочная работа!

Впрочем, и дома ждет ад... Единственная радость и отдохновение — проезд по уже пустынному Невскому. Чисто, красиво, и почти уже никого! Бело-зеленый магазин «Ив роша», величественный, сдержанно освещенный подъезд «Невского паласа», охраняемый полицией неизвестно какого государства в серо-мышиной форме. Да — теперь туда уже не войдешь. Как же мы проехали мимо ярмарки? Ведь все начиналось хорошо! Талант! Та-ла-лант! Как же получилось так, что единственное денежное поступление, на которое я конкретно надеюсь, — крохотный гонорар за составление сборника похабных частушек? Остальное — нэ трэба! Только это. «Мою милую... только серьги брякают!»

Вздрогнул, увидав у метро грязную толпу этих

хиппи... И эта дура с такими, смотрит сейчас на какое-нибудь раздувшееся, немытое ничтожество, задыхаясь от восторга! О-хо-хо!

Двор, как всегда, был забит бывшими «мерседесами», переванивающимися между собой... А в чем им, собственно, сомневаться? Их пора!

И как тут прикажете пробираться? Боком? «Твои дела!» Хозяева сняло глядели из-за тонированных стекол... «Это еще кто?» Я их не интересовал — даже как субъект убийства. На лестнице сунул руку в ящик. Вытащил конверт... Не деньги, увы, и даже — не напоминание о них! Какой-то текст... Я тупо смотрел... «Нравится — не нравится, спи, моя красавица!» И все? Как это понимать?.. Корректура? Да нет! Это ответ на мои отчаянные просьбы — выслать хоть какие-то деньги!.. Ответ! «Спи, моя красавица!» И ответ абсолютно в жанре — не сборник же трубадуров ты составлял, и вспоминать о благородстве тут даже глупо... «Спи, моя красавица!» Я выбросил бумажку.

Войдя, я долго сидел в кресле в прихожей. Может, хоть сейчас позвонит?.. Тихо! И пес как-то придавленно спит, и на него давит!

И главное, чего я боюсь, — чтобы не позвонил мой лучший, единственный друг! Удивительное,

конечно, желание, но я уже больше не могу с ним разговаривать бодро, как будто бы все отлично и просто у меня нет времени вернуть ему сорок тысяч, и притом я будто бы легкомысленно не понимаю, что те сорок тысяч — это уже не теперешние сорок! Тишина. И за это спасибо ему.

Звонок! Праздничный гул в трубке — и голос известной светской львицы:

— Ну, где же ты?

— А что?

— Ты же обещал!.. День рождения!

Ах, да!

При разъезде гостей мне досталась одинокая красавица — теперь уже одинокая! — о которой я когда-то мечтал... Теперь я вздрогнул, провожая ее, лишь тогда, когда почувствовал, что в кармане всего одна перчатка вместо двух! Так... этого еще не хватало! Ползти обратно? А как же красавица? Ладно, так и быть, благородно доведу ее до стоянки — и помчусь обратно, искать перчатушку! А как же?

«...Прости, ты не сердишься, что я не приглашаю тебя домой?» Не сержусь? Да я бы ее убил, если бы пригласила!

Часа, наверное полтора я ползал по бульвару... Ничего! Ну, почему, почему так надо, чтобы все

сразу?.. Сам все делаешь! Ослабел.

Во дворе стоял единственный «мерседес», но зато самый омерзительный — с темными стеклами, как бы глухой, как подводная лодка, с тусклым зеленоватым светом внутри. Газует прямо мне в нос! И не протиснуться! И не шелохнется!

Я жахнул в переднее стекло ключами. Существо подняло голову. Я приподнял кепочку и прошел.

Ну, что? Можно наконец ложиться — или подождем?

Звонок. Та-ак... Я огляделся, взял старую, пятидесятых годов, настольную лампу... Недавно кинул ее в жену — с тех пор не горит. Не жалко. Я выдернул ее из штепселя и вынес в прихожую.

Гость темнел в темноте... вытянул руку.

— Ну, ты...

— Я! Я! — Я дважды жахнул его лампой, потом захлопнул перед его носом дверь. Тишина... видимо, думает. Я включил лампу — и неожиданно она загорелась... Вот и чудо!

Я решил лечь спать и, почти заснув, услышал, как уезжает машина.

Осень, переходящая в лето

Но друг все-таки позвонил!

«Ах так! — услышав наконец его голос, взбеленился я. — Мало ему? Ну, что же! Попрошу у него сейчас в долг еще полторы сотни тысяч рублей, чтобы он понял, что такое настоящая дружба!»

Но он сказал:

— Слышал, организуется круиз по Эгейскому морю?

— Слышал. И что?

— Тебя нет в списке.

— Так я и думал. И что?

— Ну и что думаешь делать?

...А что? Раньше надо было думать, когда давали места! Каких мест только не было! «Смелый писатель»! «Смелый писатель — этот тот, который смело говорит то, что и так всем уже известно».

Вот и дошутился!

...Писатель-прогрессист, верящий в будущее, — тем более считалось, оно наступило... ведь ясно было указано: «Прикоснуться к мечте!» Прикоснулся?.. Побрезговал? Ну, о чем же жалеть теперь? Отдыхай, любимец валидола! Спи, на радость людям!

...Правда, когда приезжал организатор круиза, Урман, он заходил, и я даже, напившись, подарил ему мне не нужный баян, тоже мне подаренный. Повеселились! Но помню и свой холодный расчет. «Сыграй, мой баян!»... Но, похоже, — не сыграл!

— Перезвоню! — не дождавшись вразумительной моей речи, рявкнул мой друг и повесил трубку.

Не то что поверить — я даже представить не мог, что где-то сейчас существует лето и имеет какое-то отношение ко мне. Сидя в валенках, душегрейке, я тупо смотрел в заледенелый двор. Снова задребезжал звонок. Я медленно поднял трубку.

— Собирайся! — рявкнул мой друг.

Новые, незнакомые города, о которых столько слышал и мечтал, любят появляться неожиданно, как бы ни с того ни с сего выскакивать из холодной мглы, причем в неожиданном ракурсе, как бы раскинувшись домиками по вертикальной стене, — самолет заходил на посадку, ложился на крыло.

У москвича, сидящего передо мной, вдруг пронзило лучом солнца ухо, оно стало рубиновым и прозрачным.

— Афины! — выдохнул обладатель уха, прилип-

нув лбом к иллюминатору.

Афины!

Как всегда после приземления, все казалось фильмом без звука: уши после посадки еще не откупорились.

Утыканный мачтами яхт берег от Афин до Пирея. Плоские, как ступени, крыши, поднимающиеся на холмы. Серое небо и — вдоль шоссе — сплошные деревца с темно-зелеными глянцевыми листьями и ярко-желтыми мандаринами — их едва ли не больше, чем листьев.

Наш теплоход — «Мир ренессанса». Греческая команда и писатели более чем из ста стран вылезают из автобусов, поднимаются вдоль борта по наклонному трапу, выкрашенному в сине-желтые греческие цвета. Маршрут: из Афин по Эгейскому морю, через Дарданеллы, Босфор в Черное, в Одессу, обратно в Стамбул, потом в Измир, в Салоники, в Афины, из Афин — в Дельфы.

Нам с другом досталась шикарная каюта наверху, с огромным окном на палубу... «Досталась»! Ему — досталась! Мой друг честно завоевал высокое свое нынешнее положение: он был и смелым писателем, и писателем-победителем, торжествующим победу... моих циничных сомнений он не признавал и лавры свои выстрадал честно.

А я, как всегда, подсуетился, оказался в лучшем месте в лучшее время — это приспособленчество еще скажется на моем даровании, скажется... но значительно позже.

— Давай. Быстро! — проговорил мой друг, чувствуя себя, естественно, главным.

— Счас. — Я расстегнул свой чемоданчик. Чемоданчик-то был крохотный, но в нем удалось создать давление около десяти атмосфер. Вещи как бы взрывом раскидало по всей каюте.

— На полюс, что ли, собрался? — пробурчал мой друг.

Он честно заслужил свои лавры. Он верил, что будет жара!

Главный салон оказался, естественно, возле нас. Под его уходящими вдаль зеркальными сводами уже бурлила толпа. Заграница узнается по запахам, и я с наслаждением погрузился в них: сладковатая пахучая жвачка, медовейший табак, тонкие, словно серебряные, пряди дыма уже струились по салону. Я рухнул в огромнейшее кресло. Порядок!

Я благожелательно осматривал толпу... Иностранцы и есть иностранцы. Постоянное радостное возбуждение, красивая громкая речь, уверенные жесты (лучше всего с дымящейся

трубкой в руке), высокий, лысеющий лоб, очки в тонкой оправе. Как бы небрежная, но дорогая одежда... Думаю, заплатки на локтях этого пиджака стоят дороже всего моего гардероба... Ну что ж!.. Зато у нас — самобытность! Я, конечно же, взял, что положено для самобытности: складень, сбитень, — но пока что не вынимал. Погодь!

Тем временем определилось неторопливое движение к длинному столу поперек салона — вносили еду. Небольшая элегантная очередуха. Еду несут и несут! Хрустящие на жаровне тонкие листики грудинки... скользкие шестеренки ананаса... покрытые сверху дымкой небывалые сыры... Кто последний?

Прослушивалась всюду и русская речь, но я деликатно не встревал в нее, понимая: это по-русски они общаются между собой, и разоблачать их, встревая в разговор, не совсем будет ловко. Русский язык — это у них для отдыха: на официальных встречах они будут говорить с нами по-эстонски, по-грузински, по-белорусски... А как же?! Для этого и приехали — преодолевать рознь, но, чтобы преодолевать, надо эту рознь обозначить... Для того и круиз. Кто бы вкладывал деньги, если бы розни не было? Придется поработать. Где мои сбитень и складень? А пока что

— «шерше ля харч»!

Все явственнее обозначалась дрожь — машины разгонялись. Завибрировали, звеня, бокалы. Между огромным стеклом салона и берегом стал расширяться треугольник: мы отходили кормой вперед.

Все высыпали на верхнюю палубу... Берег отходил... Вот она, знаменитая «пятерня Пелопоннеса» — неожиданно суровая, каменистая!

Радостные восклицания, хохот, плоские фляжки в руках... Путешествие началось. Один грузин (или абхазец, или грек? В этом еще предстояло разобраться) отстегнул сетку, закрывающую пустой бассейн, и прыгнул туда, и стал изображать, что он купается. Всеобщее оживление, аплодисменты!.. Отличное начало!

Тем временем берег скрывался в дымке, солнце вопреки уверенности моего друга в лучшем так и не появлялось. Все спускались в салон. Продолжились объятия, поцелуи — все почти оказались знакомы, может быть, не так уж глубоко... но хорошим тоном, как я уловил, считалось уж лучше расцеловаться лишний раз с незнакомым, чем кого-то обидеть. Для поцелуев и плывем!

Я тоже наметил одного: вот этого финна я, точно, знаю! И он раскинул объятия. Тут палубу

накренило крутой волной — он помчался ко мне, но неожиданно промчался мимо и впился поцелуем совсем в другого! Да, не все так однозначно... Поэтому и плывем!

Уже довольно четко обозначились главные проблемы: грузины и абхазы летели с нами вместе, но здесь, в салоне, сидели подчеркнуто отдельно. Проблема! Для этого и плывем. Правда, каждые по отдельности вели себя мило — оживленно переговаривались, смеялись, веселили своих дам, — всячески показывая, что они-то как раз нормальные, дело не в них... И темные курды пока еще держались отдельно от русых шведов, хотя и жили на одной территории... Для этого и плывем!

Но главное, честно говоря, расстройство — это полная изолированность наших. На грузин и абхазов хотя бы все смотрят, а на нас — ноль. И как вошли мы сюда, так и держимся настороженной стайкой — и никто к нам не стремится. Увы! Все как-то притерлись уже, а мы отдельно, стоим, как гордые глыбы, и нас не видят. Ведь не пустое же мы место, ведь каждый сделал кое-что — с десяток книг... Но все сугубо наше, свое... Неконвертиру-е-мое!

Стеклянные стены уже сделались темными.

Качало все круче. Ленч плавно перетек в «капитанский коктейль», но то один, то другой из пассажиров вдруг посреди речи озадаченно замолкал, прислушивался.

— Однако! Как сильно раскачивает! Все нормально?

Я пошел было в каюту, но коридор мой поднялся передо мной, на меня налетел толстый эстонец, стриженный ежиком, пробормотал:

— Там ужасноват-то!

И мы вернулись.

В толпе у бара я заметил знакомую по имени Хелена: однажды на книжной ярмарке мы сплясали с ней быстрый танец. Но сейчас я лишь приветливо пошевелил пальчиками и промчался мимо... Знаю себя: истратишь всю валюту в первый же день!.. Обождем! Рано еще! Побережем силы для финиша...

Все понемножку задремывали в салоне. Залезать при такой волне в свои узкие гробики никому не хотелось...

Тусклый рассвет... и лупит сплошной дождь!

— Пошли. — Друг растолкал меня. Мы надели куртки и вышли.

Слева за пеленой дождя из наклонного берега торчал целый лес минаретов.

— Турция?

— Стамбул!

Дождь аж отпрыгивал от палубы. Однако внизу, прямо под нами, раскачивались на изогнутых фелюгах рыбаки, время от времени вытаскивая гирлянды серебристых рыбок. Да, тут сурово, как и везде!

Берега с обеих сторон сходились. Плоскими ступнями поднимались по склонам крыши, припадая к мечетям с круглыми приплюснутыми куполами. По бокам торчали минареты. Качка на время прошла, все стояли на воздухе.

— Это Айя-София?

— Нет. Айя-София отсюда не видна.

— Почему это?

Мы уворачивали от Стамбула вправо.

— Гляди!

Высоко в сером небе тянулась черная нитка птиц — она надувалась ветром, как парус, потом порвалась.

— Гляди — еще!

Вторая нитка... третья... четвертая... Как высоко! Куда это они?

Мы прошли под высокими, натянутыми в небе мостами — один, потом второй... берега расходились. Плоские домики на склонах становились

все мельче.

Все стали собираться у рубки. Там сейчас стоял сам капитан, и рядом с ним главный из нас — Урман, организатор круиза. Обычно хохочущий, как бы легкомысленный, сейчас он был хмур, неподвижен... иногда они о чем-то переговаривались с капитаном.

Чем дальше мы шли, тем больше было по бокам кораблей, стоящих на якоре.

— Черное море штормит... Но решили идти! — передавалось друг другу.

Берега удалялись. Все сильнее раскачиваясь, мы выходили в шторм.

Обгоняя нас, в море выходил длинный серый сухогруз, раскачиваясь все больше, пролетая сквозь брызги.

— Наш! «Волго-Балт»! — вдруг раздался крик.

Мы кинулись на тот борт.

— Наш! — воскликнул украинец, стоящий рядом, радостно переглянувшись со мной, забыв на это время о проблемах круиза.

Все мы стояли вдоль борта — и украинцы, и белорусы, и эстонцы — и со слезами смотрели, как наш сухогруз, единственный, кто вышел в море с нами, ныряет в волнах!

Тут нечего было обсуждать... Любим мы Родину,

любим все!

Потом мы разошлись.

А это что за хмурый город встает из тяжелого тумана?

...Одесса! Господи, Одесса!

Впервые как иностранцы вплываем в нее!

Хмурые улицы, мрачная толпа... Господи! Одесса!

Мы высадились из автобусов у Дюка, у знаменитой лестницы, спускающейся к морю.

Дюк здорово что-то позеленел. У его подножия стояла старушка в панамке и что-то дребезжащим голосом пела. Что-то в этом было такое, на что и смотреть было невыносимо, не то что помогать! То ли дело нищие в Италии!

А здесь все стояли, поеживаясь, позевывая, вежливо время от времени поглядывая на экскурсовода... Ну?.. Все?

Тут вдруг откуда-то рядом с нами появилась толпа роскошных красавиц — в богатых шубах, с накрученными кудрями... Особенно вот эта хороша!.. Скромно потупила взгляд.

Да это же члены делегации, одесские поэтессы, ударило вдруг меня. С нами поплывут! Вот это да!

Уж с ними-то мы найдем общий язык! Я снова

глянул... На этот раз красавица стеснительно улыбнулась. Улыбайся! А как же? Принимай гостей!.. Но лучше это продолжить на элегантном теплоходе! Получив еще один взгляд-аванс, я отложил это дело до вечера. Скорее в комфорт!

В салоне было тепло, уютно, замечательно пахло. Многие, как я понял, и не покидали его.

— Ну... как Одесса? — встретил я наконец знакомого шведа переводчика.

— Проспал! — Он сокрушенно развел руками.

Что делать? Не всех так волнует Одесса, как нас.

— Быстро переодеваться! — сурово одернул меня друг. — Через полчаса украинский вечер!

Ага-а!

Горячий душ, потом — холодный, снова — горячий, снова холодный... растираясь, я вышел в каюту... даже и это зеркало запотело — друг его протирал.

— Ну? — проговорил он. — Ты видал, какие шикарные были проститутки?

— Проститутки? Где?..

— Ты что — ослеп?.. Еще бабником считаешь себя! Около Дюка подходили!

— Около Дюка? Так это же были поэтессы! — Я захохотал.

— В таких шубах — поэтессы? Ну, ты и идиот!

Действительно... Я тупо молчал.

— Москвичи интересовались... Пятьдесят долларов!

Пятьдесят! Господи! Сколько дней и ночей я бродил по душной, сочной Одессе, пялясь на роскошных ее красавиц!.. И вот!.. Пятьдесят долларов! Я метнулся к окну.

По стеклу текли крупные слезы. Далеко на горизонте еле брезжила цепь огоньков... Прощай, счастье!

Вечер был не очень удачный. Чего только не выслушали мы! И что триста лет пьем из Малороссии кровь — и кончая тем, что это мы украли золото Шлимана из Трои!

Я вышел на палубу, пошел на корму к длинному ряду белых шезлонгов, вытянутых во тьме.

Темно — и за кормой пустота. Только чайки. Мрачные существа. Неподвижно, не шевельнув ни косточкой, висят в темноте — и при этом ни на метр не отстают от корабля, идущего полным ходом. Иногда вдруг только вздрагивают, словно поправляясь, и снова висят. И вдруг так же бесшумно, ничем не пошевельнув, обгоняют и исчезают за рубкой.

В тумане скрылась милая Одесса.

...Снова висят. Невдалеке сидят на шезлонгах какие-то англичане и, переговариваясь, тоже глядят на чаек.

И вдруг — видимо, сбросили помои из камбуза — чайки с воплями кинулись вниз.

— Фром Раша! — указывая на них, проговорил кто-то, и все слегка засмеялись.

...Вот теперь Стамбул так Стамбул!

Наш теплоход еле втискивается в узкий отросток воды среди нагромождения домов. Бьет мокрый снег, и капитан, как и швартовая команда, в оранжевой накидке. Все! Встали!

Тесные улочки, по которым еле проходит наш автобус. Через мост — и все выше и выше в гору!

Дворец шаха. Бесконечный восточный лабиринт. Гарем. Роскошные залы — все как один похожие на конференц-зал Дома архитектора. Все? Нет, еще несколько... Помещение, где хранится волосок Аллаха. Слепящее сияние золотого ларца за стеклом и сдавленные, равномерные выкрики муллы, сопровождаемые поклонами. Так он молится, не сбиваясь, ровно сутки, потом сменяется. Кинжал с сотнями алмазов. А выйти побыстрее отсюда нельзя? Хочется увидеть живую жизнь, но экскурсоводша, как бы соглашаясь с нами, кивая, ведет нас все дальше и дальше...

Вот с террасы видно Мраморное море, бухта Золотой рог, но мы далеко, высоко. Интересно, если бы я понял, что меня отсюда не выпустят никогда, смог бы я разбить себе голову о мраморную стену? Запросто бы мог!

Огромное количество янычар с радиотелефонами, в европейских костюмах, с непривычно внимательными глазами. К тому же, как манекены, всюду стоят, расставив ноги в галифе, неподвижные полицейские в надвинутых касках, положив руки на автомат.

А мы еще думали, что живем в несвободе! Посмотреть бы на это раньше! Говорят, что самый лучший для развивающихся стран путь — это турецкий. Значит — столько же полицейских?

Наконец мы получаем свободу в узкой улочке под бортом теплохода. Какие-то сплошные механические мастерские, и люди в них пьют чай, но почему-то не из чашек, а из одинаковых приталенных рюмочек с торчащей ложечкой... «На рюмку чая»? А где же нега?

Вот по улице, дребезжа, едет рваный человек на велоколяске — из кузова впереди вздымается, пылит ржавый хлам. Он явно счастлив. Это — светлое капиталистическое будущее, которое ждет всех нас? Нормально! Впрочем, достань еще

такую велоколяску сперва!

Следующее пробуждение — в огромной морской чаше среди меловых гор, слегка заросших, с прошибленными в них белыми тропинками.

Измир. Турецкая Ницца... И бывшая Смирна. Поплавав тут, видишь, что все не очень просто, что один народ, бывает, теснит другой.

Экскурсия в древнегреческий Эфес, потом ставший римской колонией и оказавшийся наконец в Турции. Спускается улица из полированных плит с древними насечками, чтобы не скользила нога. Составленные из кусков колонны, слева — шершавая стена, справа — тоже, и от левой стены до правой больше тысячи лет!

Наш экскурсовод-татарин, воевавший, как он говорит, в Крыму, правда не уточняющий, на чьей стороне, ведет нас в старинный общественный туалет с рядом отверстий и протекающей вдоль них освежающей канавкой. Неужели люди в тогах сидели здесь?

Экскурсовод наконец выпускает нас на набережной: «Погуляйте! До теплохода примерно двадцать минут». Мы разбредаемся... Да — такие товары уже не покупают даже у нас! Господи! Где же рай? Пора на борт!

Но где же он? Вдоль берега бухты нас мчит из-

вилистая набережная с шуршащими, стучащими пальмами, но нашего теплохода нигде не видно! Может быть, там, где бухта загибается? Ого-го! Какие тут «двадцать минут»? Тут и за час не добежишь, а через десять минут отплытие! Хрипя, мы мчимся по набережной, вдоль роскошных отелей, автомобилей... Да, отомстил нам «крымский воин»! А может быть, все получилось случайно?

Мы оказываемся в «связке» с литовцем... «Давай! Давай!» — повторяет он. Все литовцы, как на подбор, огромные, крепкие, но и он задыхается... все же выходит вперед, удаляется... Кто-то окликает меня из такси, но там наших битком!

Вдали — поворот, за которым или стоит наш теплоход... или?

На повороте, перед тем как исчезнуть, литовец на секунду замедляется, оборачивается и машет мне рукой: «Сюда!»

Сипя, но уже сдерживая бег, отдыхиваясь, я подхожу к трапу — с него смотрят на меня эстонцы, видно, вместо экскурсии отметившие на борту какой-то свой национальный праздник. Я приближаюсь.

— Не спешит-те! — благожелательно, но слегка ехидно произносит их главный. — Т-теплоход не уходит-т — на море бу-уря!

Все еще приходя в себя, я развалился в кресле на палубе... Фу! Знали бы, что так тяжело!

Подходит друг.

— Не уходим!

— Я знаю.

— Выходит — не успеем ни в Салоники, ни в Дельфы... ни в Афины толком.

— Что делать?!

— Главное — один украинец исчез!

— Как?

— Не появился вовремя, и вот уже час — ни слуху, ни духу. Такой круглолицый — в бакенбардах, в очках!

— Помню! Куда же он делся?

— Где-то отстал!

— Да-а... дружба народов!

— Тут — не только народов, вообще дружба... оказалась не на высоте. Обзвонили участки, морги... Ничего!.. Но сказали, что приезжих иногда убивают — вполне вероятно.

— Но какие ж у него деньги?!

— То-то и оно!

И на три дня нам в подарок Измир — то ли из-за шторма, то ли из-за украинца.

Подходит друг.

— Сейчас... с комиссией... осматривали его

чемодан. Никаких намеков! Интересно — множество наглаженных носовых платков. Видно, жена собирала.

...И, может быть, приговаривала ласково: «Смотри — ежели с бабой какой!» Знала бы, что ждет... согласилась бы и на бабу!

— Ну что... пойдем?

Мы в который уже раз сходим по трапу на пирс.

Нет, оказывается, ничего еще, неплохо мы живем: стоящих рядом ливийцев под зеленым флагом вообще не выпускают на берег — закупорили на корабле, в железе, нет даже рядом трапа, и они таращатся из иллюминаторов на нас, завидуя свободе!

Да, как-то туго наша осень переходит в их лето! Холодно, ветрено. Знаменитый рынок. Колом висит знаменитая кожа, которую у нас сейчас не наденет даже умный председатель колхоза, не говоря уж о фермере. Когда мы, вяло поглазев, вытекаем из очередной лавки, яростный продавец выскакивает в гулкий каменный коридор рынка и почему-то четко и аритмично хлопает в ладоши — видно, сигналя своим: особенно не старайтесь, надвигаются мудаки. Наконец все мы стекаемся в большом маркете... или шопе? И украинцы, и

латыши торгуются с продавцами по-русски... Все мы в шопе!

И наконец, так не найдя украинца и не дождавшись окончания шторма, мы покидаем Измир. Теперь, если не потонем, только-только успеем в Афины — и на самолет! Другие, впрочем, могут и задержаться — жесткое расписание лишь для нас. Зато мы сможем потом всю жизнь гордиться: единственные в мире люди, побывавшие в Афинах и не увидевшие Акрополя!

Эгейское море встречает нас свистом. Поначалу нас прикрывают еще два высоких острова. Лесбос! И Хиос (где была еще знаменитая хиосская резня). Они еще прикрывают нас. «Лесбос спасает» — простая шутка, но все, нервничая, повторяют ее.

Я укутываюсь в шезлонге, достаю тетрадку. Ведь взял же работу — обещал сам себе написать статью «Литературные шампиньоны», но здесь, посреди волн, тема эта кажется почему-то не важной. Сам ты шампиньон!

И когда уходят острова — тут-то и начинается! Рев!

Антенна на рубке изгибается, как спиннинг, словивший совершенно непомерную рыбу. Резиновый провод с лампочками, предназначенный

для прощального карнавала, крутится, как скакалка!

Эге-гейское море! Прощай!

Уже темнеет. Я спускаюсь в салон. Седой и мудрый грузинский поэт подходит вдруг к столу, где сидят абхазы, и что-то долго им говорит. Я замедляюсь в отдалении... Наконец один из абхазов поднимает свою лысую голову и что-то, улыбаясь, отвечает. Слава Богу! Может — плавали не зря?

Совсем уже недоуменно смотрит Хелена: «Так когда же?» — «Рано, сказано же тебе!»

...Выползла Гаага, Амстердам, потом пополз Гамбург... а где же мы? Потом пошел Ханой, Пекин!

— А где же наши вещи?

— Ваши вещи не пришли! — сухо говорит амбал за стойкой, даже не глянув на нас.

Здравствуй, Родина!

— А где же они?

— Видимо, остались в Афинах.

— Как же так?!

— «Аэрофлот»! — усмехается он, словно не имеет с этой позорной фирмой ничего общего.

— Когда же... могут появиться?

— Может быть... со следующим рейсом?

— Может быть?! — уже возвращаясь в почти

забытое состояние, восклицаем мы. — Что значит — «может быть»? А когда этот следующий рейс?

— Послезавтра, — роняет он и, совсем уже потеряв с нами терпение, уходит.

Без теплых вещей, ночующих в далекой стране, прикрыв одной ладонью горло, другой темечко, мы выходим на холод, в темноту... Где тут что? Везде — ничего! Ничего не меняется у нас в стране! «Осень, переходящая в лето», — но так и не перешедшая!

Возвращение в рай

И наконец самый волнующий момент путешествия — я вбегаю под арку во двор и кидаю взгляд наверх, на окна! Светятся! Значит, кто-то жив! О! И даже постукивает машинка — это не дочурка ли вернулась из своих странствий и занимается переводами?

Родные лестничные запахи. Как-то по-новому искуроченный звонок: лишь маленький кусок пластмассы прикрывает сложную электротехнику... Не важно!

Первым бросается на шею пес...

Новости: временно нашлась дочурка, но зато,

видимо, окончательно потерялся кот — этот огненно-рыжий некастрированный бандит.

Находки и потери.

Жена заглядывает в ванную.

— О! Никак засос! Поздравляю!

— Поцелуй Иуды, — хмуро поясняю я.

Не спится уже как-то по-новому... Несомненные шаги прогресса: все дворовые бандиты оборудовали свои рыдваны сигналами угона — и всю ночь завывает то один, то другой, причем воют, даже меняя тон и ритм, подолгу, видно, хозяевам лень подниматься из теплой постели ради такой ерунды.

Маленькая ночная серенада для семи сигналов угона с котами!

Ночь глухая неспешно идет.

Лишь машины во тьме завывают...

То ли правда, что их угоняют,

То ли просто душа их поет?!

Жизнь пошла, словно и не уезжал, только обозначился вдруг резкий интерес к помойке — раньше его не замечал. То и дело восторженно вбегал домой с замечательными трофеями в руках. «Смотри!»

Жена и дочь переглядывались.

...А что? Эти инофирмы, расплодившиеся вокруг, иногда выбрасывают почти целые вещи!

В одну из ночей проснулся от удушья: вся комната была заполнена дымом, пес, цокая когтями, носился по коридору, но почему-то не лаял. Я подскочил к водогрею — не горит, потом свесился в форточку: так и есть, из хранилища мусорных баков под нашей кухней валил дым! Был и огонь — на стене напротив дрожала тень решетки.

Я стал лихорадочно одеваться. Эти гении помойки, разыскивая сокровища, швыряют в баки окурки... форменный пожар!

— Ты куда? — проснулась жена.

— На помойку!

Она презрительно отвернулась к стене.

Огонь уже бушевал вовсю, сразу в трех баках!

А ведь сама же она говорила, что нижние соседи весь день через окна загружали канистры с бензином!

Я стал стучать им в окно... Тень моей фигуры довольно красноречиво металась по дому, доставая до крыши... Но хозяин... или хозяйка абсолютно невыразительно глядела на меня... потом задернула занавеску. Поразительно! Никакой реакции!

И ведь дети у них! Ну и что? Видно, выросли люди, которым пожары, тюрьмы кажутся уже чем-то вполне правомерным, привычным... «Ну и что?»

Лишь Бог о нас заботится: выпал снег!

Я набивал его в ведро, опрокидывал в баки — сначала снег таял еще на лету, потом стал оставаться — пока я бежал за новой порцией, пробивалось пламя. Наконец я утрамбовал все баки снегом, победно вытер пот, огляделся... Кое-где засветились в доме окна, но, в общем-то, паники никакой. А может ли быть у нас паника вообще? Думаю, что с нашей закалкой — навряд ли!

Гордясь силой нашего духа, я лег.

Под Новый год принято подбивать итоги... А чего подбивать? Все, что было у нас, смели вместе с ненавистным строем, а то, что пробивается по новой, как-то растет мимо нас. Был самиздат, за который преследовали нас... теперь хамиздат, который нас, увы, не преследует!.. Что еще? Статьи «Литературные шампиньоны» — о новой литературе — так и не написал. И абсолютно правильно сделал. Себе дороже! Что еще? Более ничего! «Дэтс олл!» — как говорят англичане.

Но на елку, может быть, хватит — пересчитал бумажки, все время меняется их значимость, не

успеваю привыкнуть!

Толкучка Сенной площади уже притихла — лишь самые отчаянные ханыги толкались здесь, но торговали лишь ветками. Как всегда — опоздал! Спрячь свои бумажки — не пригодятся!

На всякий случай я обошел площадь и в дальнем закутке, в темноте, нашел елки: они стояли в изобилии, прислоненные к стене. Я выбрал одну — скромную, но прекрасную, — постоял, задумчиво встряхивая ее в руке... Потом с нетерпением поглядел на двух ханыг, спорящих чуть в стороне о чем-то высоком. «Ваша?» — крикнул я. Но ближний ханыга только отмахнулся — люди о важном говорят, а ты лезешь с ерундой! Я пошел, сначала оглядываясь... Давайте, догоняйте же! Я не убегаю! Но они не реагировали!.. Новогодний подарок.

Радостный, я распахнул дверь на лестницу, взлетел к своей площади и обомлел — прямо перед моей дверью сидел какой-то восточный человек — кореец, китаец? — в каком-то странном оцепенении. Я обомлел... Что же это? Новогодний подарок?

— Ты что же это? — выговорил наконец я.

— Не могу! Живот прихватило! — с натугой

выговорил он. — Да я по-умному, на газету! Не беспокойся — уберу!

Странный Дед Мороз! Таиландец? Малаец?.. Не елкой же его бить!

Тут я заметил, что из-под него действительно торчит угол газеты... Прогрессивная? Реакционная? Незнакомая какая-то верстка!

— Ну, смотри, — абсолютно безвольно пробормотал я и бочком пробрался в квартиру. Прикрыв дверь, я стоял за ней с колотящимся сердцем... Что же это? Выждав, сколько требовали приличия, я приоткрыл дверь... Лестница пуста! Не обманул малаец! И звонок уже месяц не курочили: видно, беспощадные лестничные дизайнеры достигли наконец идеала, удовлетворены его теперешним видом... И это — вместе с благородным поступком непальца — и будем считать главными успехами прошедшего года.

Почти уже перед полночью позвонил, рыдая, Ширшович:

— Что же он делает? Мы же так верили ему! Всю душу ему отдали!

— А вот это напрасно! — Я грубо захохотал. — Всю душу не надо было отдавать — надо было частичку оставить!

Ширшович грохнул трубкой.

— Что значит — нечего надеть, ничего нового? Ожерелье из пробок надень! Продали его? Это когда же?

Во дворе в отличие от обыденных выстрелов грохнул фейерверк, и весь двор подошел к окнам — и мы тоже махали. Завыли сигналы угона, но без них уже и праздник — не праздник!

...Проснулся я в уголке прихожей, почему-то сидя на сундуке. Видимо, зашел сюда, чтобы разбежаться отсюда для выпивания заключительной, сто шестнадцатой рюмочки — и внезапно уснул! Бывает.

Пес, не признавая никаких компромиссов, горячо задышал мне в ухо... У этого одно на уме! Но найти трудовую одежду среди этой свалки нелегко, кругом — одна роскошь... Ага!

Мы вышли на пустую улицу. Такая же пустота, мне вспомнилось, была в один из предыдущих, первых дней года... какого же? Уже и не упомнишь — столько было всего. Помню только, что с этого дня разрешили поднимать цены во сколько угодно раз, и было почему-то страшно... А счас — нет. Хотя абсолютно все может быть, но как-то уже не волнует... После пожара возле бензиновых баков как-то успокоился... На углу у нас намечал-

ся было росток капитализма: появилась тележка «Макдоналдса», и абсолютно трезвый парень в козырьке продавал гамбургеры. Но в последнее время почему-то появилась старуха в валенках с галошами и вместо гамбургеров всем давала землистые котлеты за ту же цену. Что? И в капитализме уже разочаровались? У нас надо держать ухо востро! У нас это быстро.

— Вот! — Старуха с каким-то мрачным удовлетворением кивнула на котлеты. — Бьют и плакать не дают!

Как это понимать? Чему радуется? Ясно только одно — как бы мы пережили все повороты нашей истории, не будучи мазохистами?!

Пес вдруг дернул налево. Ого! В Александровский сад? Не слишком ли жирно будет?.. Впрочем, хотя бы ему можно сделать новогодний подарок?

Невский был пуст. Мы с псом почти бежали. Вот некогда любимый журнал «Нева», сдавший свое помещение почти полностью фирме камней и теперь слегка погибающий от голода среди драгоценностей.

У закругленного здания на углу — «Стройтреста», куда перекочевали теперь все обкомовские

машины, сегодня пусто, только старушка таращится из-за стекла. В тепле! И чайник закипает! И главное — при деле! Я вдруг почувствовал зависть.

Но пес тянул дальше. Обычно тут не перейдешь, но сегодня пусто. В Александровский сад только что залетел завиток ветра с Невы, и снежная пыль медленно оседала. И все хмуро, неподвижно. Бывает ли солнце?

Я вдруг заметил, что, чуть возвышаясь над стрижеными кустами, движется странная голова, без лица, при этом почти прозрачная... Что это? Образ смерти?.. Фу! Целлофановый пакет, поднятый легким завихрением и чуть-чуть пролетевший!

Счастия, как прежде, нет...
Но зима уже стоит.
Нежно-вкрадчиво летит
Целлофановый пакет.

В снегу были уже пропаханы темные зеркальные каточки. Прокатиться? Не упаду?

Мы не любим тяжелых пальто.
Нам зима, словно смерть. Но зато
Как приятно погладить ногой
Шелковистый каток ледяной!

Возвращался я промороженный, бодрый и, войдя на лестницу, снова не мог не восхититься благороднейшим поступком корейца. Ведь можно жить хорошо!

Навстречу спускалась жена с мусорным ведром.

С Новым годом!

Где мусор — там жизнь!

Дома было тепло, сухо. Ну, все! Изнуряющий труд! И аскетизм. Молоко и ко-ко-ко!

Вошла радостная жена.

— Ты знаешь, кого я сейчас видела на помойке?

— Кота?

— Кой-чего получше!

— Что может быть лучше?

— Пятерых котят! И все абсолютно такие же рыжие, как он!

Еще один большой успех прошедшего года!

Жена вдруг выдернула из холодильника гирлянду сосисок.

— Э! Куда?

— Но они же наши!

Замечательно! Значит, семья увеличилась еще на пять ртов!

От машинки меня отвлек знакомый, уже привычный шум: завывание мотора, скрип, потом гулкий удар опрокинутого бака.

Вот это да! И в выходные работают!

Очередной бак вывалил мусор внутрь машины, она заурчала, поглощая дозу, и тут же сверху на эту гору коршуном обрушился человек в комбинезоне. Он прыгал на мусоре, почти плясал, страстно утрамбовывая его — и при этом уходя в медленную мусорную воронку все глубже, успевая одновременно рвать в клочья огромные картонные коробки, ломать с треском доски. Он погрузился уже почти по шейку, как настоящий виртуоз, довел свое действо до последней грани — и в самое последнее мгновение успел выскочить, вывинтить себя, но почему-то не поднял победно руки, хотя и мог бы, — только затопал своими бахилами по гулкой крыше цистерны, стряхивая прах.

Надеюсь, я такой же.

Стремясь вслед за ним к совершенству, я направился в ванную, чтобы побриться, и невольно залюбовался прыщом во лбу, удивительным по мощи и красоте... Значит — есть еще силы в организме?

...И наконец пришло солнце — но, как всегда, с дикими морозами.

ГРИБНИКИ ХОДЯТ С НОЖАМИ

Пули в пыли

Пули валялись в пыли. Пули эти никого не убивали, разве что немножко, чисто морально. Они были свернуты из бумаги и залеплены пластилином, чтобы лететь, когда их выплевывают из трубки, через стену тюрьмы, украшенную выпуклыми крестами.

Я стоял под стеной и ждал своей «пули» — рецензии на мою последнюю рукопись.

Панночка

Конечно, не сразу я дошел до такого состояния или, точнее, стояния. К этому все двигалось постепенно. В молодости я легкомысленно отрекался от сумы и от тюрьмы — и вот оказался с ними связан в зрелом возрасте.

Подул широкий ветер, покрыв рябью широкий невский разлив. Отсюда, спиной к тюрьме, отличный вид на ту сторону. Вот они, две главные доминанты нашей жизни, поднимаются за водной гладью: мрачный, слегка рябой гранитный куб Большого дома — и налево, за излучиной, желтые бастионы Смольного, «штаба революции», с прекрасным растреллиевским собором чуть на отшибе.

Да, раньше мы думали, что лишь две эти доминанты определяют нашу жизнь. Теперь добавилась и третья — здание из темного кирпича на другом берегу.

Помню, как в двадцать пять лет, уволившись из инженеров абсолютно «в никуда», я бродил одиноко, просто куда вели ноги. Для грустного моего настроения больше подходили пустынные улицы — видеть людей, бодро несущихся по де-

лам, было нестерпимо. Постепенно я обнаружил целый район таких улиц — пустых, чистых, торжественных, несколько даже странных. Тут не было универмагов с орущей толпой, ни остановок с обезумевшими пассажирами. Хотя какая-то жизнь здесь шла — в окнах виднелись абажуры и даже цветы, но из подъездов никто не выходил, всюду было пусто, чисто и даже чуть строго.

Каждое утро я в волнении шел туда, смутно чуя, что именно в этой зачарованной стране ждет меня счастье.

Однажды я прошел длинную пустую улицу до конца и вышел на такую же пустую площадь под низким осенним небом. За ней поднимался прекрасный голубой собор, с колокольней, летящей в облаках, словно мачта. Чувствуя, что я близок к разгадке какой-то тайны, я пошел туда. За собором был сквер с высокими деревьями — ветер дул только в верхней их части, стучали ветки. Гулко орали вороны. Грусть росла, становилась нестерпимой, и тут же чувствовалось, что ее разрешение где-то недалеко.

Я ходил в этот сквер регулярно, от осени до весны, и постепенно стал замечать, что здесь не так уж все безжизненно. Двор был окружен двухэтажным монастырским строением, и вре-

менами я замечал, что оттуда выходят весьма симпатичные ребята и девушки, абсолютно, кстати, не монашеского вида. Наконец, решившись, я пересек сквер, подошел к двери в начале строения, которая только что несколько раз гулко стукнула, и увидел скромную вывеску: «Обком ВЛКСМ. Отдел культуры». Я потянул за ручку — пружина была тугая, не каждому дано войти в культуру. Я поднялся по каменной винтовой лестнице — и вышел в высокий, светлый, закругляющийся коридор. На первой двери, белой, резной, висела табличка: «Инструктор отдела культуры А.В. Вуздыряк». Ну что же, я вздохнул, Вуздыряк так Вуздыряк. Пусть строгий товарищ поговорит со мной, объяснит, как мне жить, — не век же мне болтаться по улицам! Выдохнув, я распахнул дверь — и зажмурился. Огромное окно слепило желтым вечерним светом, а сбоку от него за столом сидела ослепительная красавица — черные очи, сахарные зубы, алые губы — и, улыбаясь, смотрела на меня.

— Давно гляжу на вас! — гортанным южным голосом произнесла она. — Все жду, когда же вы решитесь зайти!

— Вы... меня знаете? — Я был поражен ее добротой и красотой.

— Конечно! Вы талантливый молодой писатель!

Такое я услыхал в первый раз именно от нее.

Сняв шапку, я вытер пот. Да, с ликованием подумал я, а ты, оказывается, не так прост: удачно выбираешь места для грусти и уединения!

— Садитесь! — ласково пропела она.

С того дня моя жизнь изменилась — не сразу, правда, резко — сначала плавно.

— Я знаю, что вам нужно! Вам нужно поездить! — уверенно сказала она.

Она выписывала мне командировки, затем, обливаясь потом, я брал в бухгалтерии деньги и уезжал на пустой в это время года электричке не очень далеко — туда, куда она меня посылала: Тихвин, Бокситогорск, Приозерск. Устроившись в обшарпанной гостинице — все они были одинаковые тогда, — скромно ел в буфете, потом ходил по пустынным улицам. Все вроде бы осталось без изменений — правда, я ходил теперь вроде бы по заданию — и за деньги. И одиночество в этих маленьких городках вроде бы не было уже столь трагичным, как в Питере: здесь-то у меня и не могло быть знакомых...

Где-то перед восьмой поездкой Анна, как я заметил, стала проявлять недовольство.

— Теперь куда тебе? — Мы посмотрели на унылую, во всю стену, карту области.

— Да куда-нибудь подальше! — пробормотал я.

Она метнула на меня горячий, я бы сказал — страстный взгляд, если бы мне пришло такое в голову — в таком месте! Потом молча выписала путевку, и я побрел в бухгалтерию.

Выборг в тот раз действительно казался концом света: сырые холодные облака клочьями летели прямо по узким улицам, среди каменных старинных домов, удивительно грязных.

Поработав — то есть честно обойдя город, — я вернулся в отель. Сейчас — кипятильничек, чайку!

Радостно сопя, потирая ладошки, я поднялся к номеру — и обомлел.

— ...Анжела?! — пробормотал я (вот тебе и чаек!).

— Я же просила тебя, — проговорила она дрожа — наверное, от холода? — не называть меня этим дурацким именем.

— Да... Анна. Ты как здесь?

— Ты по-прежнему собираешься изображать идиота? Резко зарыдав, она рухнула в мои объятья, которые я еле-еле успел соорудить.

— Гостосмыслов мне твердо обещал! — сидя

в постели, деловито говорила она. — Как только начнет строиться сто шестнадцатая серия, квартиру мне дают точно... Нам! — Она ласково взъерошила мне волосы.

Да... белоснежными у нее оказались не только зубы...

— Но ведь далеко еще... сто шестнадцатая, — с тихой надеждой пробормотал я.

— Дурачок! Уже сто пятнадцатая строится! — улыбнулась она.

Да, с такими темпами строительства пропадешь... Ночью я вдруг резко проснулся от какого-то тихого скрипа. Широко раскрыв в темноте очи и вытянув прекрасные обнаженные руки, она медленно приближалась (из ванной?) ко мне.

Панночка! — вдруг с ужасом понял я.

Промолчав три часа в обратной электричке, я наконец решился и на Финляндском вокзале сказал:

— Знаешь... я никуда больше не поеду.

Через неделю она позвонила мне домой и радостно сообщила, что я включен в группу творческой молодежи, едущую в Будапешт.

Поезд шел через Карпаты. Вместо квелой ленинградской весны кругом была весна горячая,

быстрая. От прошлогодней травы на оттаявших склонах валил пар, под мостами неслись бурные, вздувшиеся реки с задранными кусками льда. На нагретых солнцем платформах стояли почти уже заграничные люди: из черных тулупов торчали снизу тонкие ноги в обмотках, а сверху — веселые, носатые лица в кудлатых серых папахах. Все незнакомо!

И вот — впервые в жизни мы проплывали через границу. Медленный гулкий стук колес в такт с нашими сердцами, узкая, абсолютно пустая река — обычные реки такими не бывают.

Только с краю, почти под самым мостом, двое пограничников жгли ветки, и дым летел прямо в поезд.

— Поддерживают дым отечества, — проговорил остроумный Саня Бурштейн, и все, включая руководство, засмеялись.

Гулкий стук на мосту оборвался, мы словно оглохли — стук сделался еле слышным. И в окне проплыл маленький домик — абсолютно непохожий на наш.

Она сильно сжала под столом мою руку.

— Скажи — ты счастлив? — прошептала она.

— Скоро я приду! — шепнула она, быстро оделась и вышла, почему-то, как взяла тут в при-

вычку, гулко повернув ключ.

— С какой это стати, интересно? — вдруг всполошился я.

Я медленно оделся, подергав, открыл окно и ступил на карниз. Придерживаясь за лепные листья, а также прекрасные груди наяд (гостиница в стиле модерн), я переступал по карнизу... куда? Испуганно оглянувшись, я увидел, на какой высоте над Дунаем я висел. Почти падая, я ухватился за градусник на следующем окне.

В тускло освещенной комнате под низким бронзовым абажуром сидело за круглым столом наше руководство, включая Панночку. Перед ними на столе лежали пачки незнакомых денег, они то сгребали их в кучу, то снова разгребали. Чувствовалось — шел горячий спор.

Я толкнул форточку (стеклянный лист и цветок были изображены на ней) и протянул руку в комнату.

— Дайте мне денег! Дайте! — закричал я.

После этого я был отлучен от нее, и мне была предоставлена полная свобода, которая, как предполагалось, окажется постылой. Но вышло далеко не так.

Я дозвонился моему венгерскому переводчику, и мы радостно встретились. Оставшуюся там

неделю я гулял, как Хома Брут перед смертью.

Когда наши финансы истощились, Ласло сказал, что мне положена валюта в одном издательстве за перевод моих рассказов. Еле стоя на ногах (от усталости), мы пришли туда. Неожиданно перед нами оказалось препятствие почти непреодолимое — открытый лифт!

Он шел откуда-то снизу: открывалась сначала лишь узкая щель, слепящая светом, потом она увеличивалась — торчало уже пол-лифта, три четверти лифта, и вот он был открыт весь, совпадал с рамой, нужно было бросаться — но просвет уже начинал уменьшаться!

Ф-фу! — утирая холодный пот, мы отступали. Понемногу начинал выходить следующий — но и тут мы пропускали момент для броска! Так и не сумев себя преодолеть и решиться попасть в лифт, мы долго шли по лестнице на четырнадцатый этаж, наконец в маленькой белой комнатке получили деньги и радостно кинулись в лифт, когда он торчал уже только наполовину, и благополучно спустились.

Потом в русском магазине я купил Ласло меховую шапку — и он сидел в ней во всех забегаловках, где мы были, даже не снимая с нее бумаги и бечевок. Потом мы явились в отель — пора

уже было прощаться. Он приблизил ко мне свое круглое, очкастое, бородатое лицо, и некоторое время мы смотрели друг на друга в упор.

— Большой писатель... огромная морда! — выговорил Ласло.

Наизусть он знал не очень много русских слов — только самые выразительные.

В Питере, едва отдышавшись, я узнал, что неугомонная Анна готовит следующую поездку творческой молодежи, на этот раз в Гватемалу, где мы должны как бы заниматься раскопками, а на самом деле — носить оружие коммунистическим повстанцам. Анна летала как на крыльях — остановить ее и что-то объяснить было невозможно.

— Все! Панночку уже не остановишь! — говорил Сашка Бурштейн.

Кстати, она знала, что все заочно называют ее Панночкой, но относилась к этому благосклонно, думая, что ее сравнивают с какой-то прекрасной полячкой шляхетских кровей. К счастью, ей все недосуг было взяться за Гоголя, но то, что там есть прекрасные панночки, она знала точно.

— Прошу, не называйте меня панночкой! Ну какая ж я панночка? — кокетливо говорила она.

Из повести «Вий»! — хотелось сказать порою,

но я не говорил.

Однажды, проснувшись дома в необычную для меня рань, из бодрой утренней передачи я узнал, что дома сто шестнадцатой серии строятся уже вовсю!

Надо было на что-то решаться. С такими темпами строительства — мне не уйти! И кто в здравом уме отказывается от Гватемалы? Последняя надежда была лишь на мой не совсем здравый ум. Кстати, стоило заметить, что с этими поездками моя литературная деятельность как-то сомлела, бурные посиделки молодых гениев в Доме писателей на улице Воинова иссякли. Видимо, дело было в том, что все мрачней надвигались тяжелые восьмидесятые годы: мало интересуясь политикой, я чувствовал это нутром. И на бытовом уровне. В том же самом Доме писателей молодые перспективные официантки, разуверившись в нашем финансовом будущем, все тесней смыкались с весьма платежеспособными в ту пору офицерами из Большого дома, расположенного ну просто рядом. Те тоже очаровывались нашими официантками — и нашим домиком заодно — все сильнее. В конце концов нас просто перестали туда пускать. «Проводится мероприятие!» — и

стройными рядами проходили военные. Чувствовалось, они слегка побаивались и, шныряя в нашу дверь, испуганно оглядывались на нависающую рядом громаду Учреждения — но легкий риск придает, как известно, дополнительную сладость.

Все! — стоя у двери Дома писателей, закрытой по случаю очередного такого «мероприятия», вдруг понял я. Сейчас — или никогда!

Я стал дергать изысканную дворцовую дверь, отгораживающую меня от положенного мне счастья, захваченного другими. Выглянула молодая и холеная администраторша, отмахнулась ладошкой. Я дернул сильней. Глянув на меня гневно, она метнулась в свой «скворечник» и стала накручивать диск, вызывая, видать, милицию. Все бы и кончилось, наверное, мирным посещением пикета, но тут за стеклом показались сытые, пьяные военные — от сытости и пьянства у них чуть не капало с носа — в обнимку с нашими официантками.

— Ну все!

В ушах послышался какой-то отдаленный звон. Может быть, потому что я вошел боком в стеклянную дверь. Обсыпанный стеклами, как алмазами, я возник перед изумленными гуляками и, схва-

тив за горло одного из них, стал трясти:

— Что ты здесь делаешь? Иди к себе!

Стекла ссыпались с меня с мелодичным звоном.

Полное счастье я ощутил только в милиции, радостно ходил по грязному помещению, предлагая мильтонам продолжить почему-то вставший тут ремонт: «Ну, давайте! Где у вас кисть?»

— Сиди, паря! — Мильтоны благодушно отмахивались.

Но тут явился человек в штатском, весьма почему-то взвинченный, и стал что-то нашептывать дежурному.

Дежурный подошел ко мне, почесывая в затылке.

— Вот так вот, паря, — забирают тебя от нас! Тут мы, как говорится, пас!

Меня везли в темном газике, ликование мое уже слегка уменьшилось, но все равно временами накатывала радость: все-таки ушел! Гул улицы резко оборвался — мы въехали внутрь Большого дома.

— Ждите здесь! — Обращение было на редкость вежливым.

Я сидел, тупо рассматривая табличку: «Следователь Н.Ф. Богорад».

Сейчас я войду туда, и суровый седой мужчина объяснит мне, как надо жить. Я сосредоточился.

— Входите!

Я открыл тяжелую дверь — и зажмурился: кабинет был залит солнцем с Невы, комната была оплетена какими-то лианами, а за столом сидела тоненькая синеглазая девушка и смотрела на меня.

— Наконец-то! — радостно воскликнула она.

Что — «наконец-то», подумал я.

— Как я рада, что вас привезли!

— ?!?!?!

— Вы просто герой: давно надо было проучить этих нахалов. Наши мальчики последнее время стали много себе позволять!

Глаза ее сияли. Я жмурился. Гибко согнувшись, она взяла мой протокол с нижней полки. Что-то власть ко мне поворачивается все какой-то не той стороной! — успел я подумать. А она уже рвала протокол...

Эту историю за неимением места я разворачивать здесь не буду, скажу только, что все мои предчувствия сбылись. Через месяц мы гуляли с ней по тому берегу Невы (как раз возле стен тюрьмы, но тогда я не придал этому значения), и она вдруг рывком затащила меня в глубокую

нишу и стала расстегиваться.

— Как? Прямо тут? — Я покрылся потом.

Она расстегнула одну за другой пуговицы рубашки и вдруг — запустила туда руку и вытащила... какие-то листки — и, сияя, протянула их мне.

— Господи! — С изумленьем я рассмотрел мои рассказы, затерявшиеся где-то по редакциям... в укромном, оказывается, месте.

— Спрячь! — шепнула она.

— Но у меня... вроде... есть экземпляры, — пролепетал я.

— Зато их нет больше у нас! — воскликнула она.

Надо было бы восхититься подвигом разведчицы, но скажу честно: я устал. Все больше меня тянуло назад, в мою семью, оказавшуюся вдруг довольно уютной, особенно с рождением дочки.

Спасибо советской власти: укрепила мою семью!

Испуганно пометавшись среди двух сил, страстно сжимающих меня, я понял, что выдернуть меня из капкана может лишь третья могущественная сила, имеющаяся у нас... а четвертой и нет.

Третья сила, не уступающая двум главным,

— военно-промышленный комплекс, подводный флот, к которому, слава богу, я имею (имел) отношение. Многие кореша-студенты занимают теперь посты.

— Ты что? Рехнулся? — обрадованно вскричал Сенька Барон, уже замзавлабораторией.

И через какой-нибудь месяц я проплывал на мостике атомной подводной лодки, замаскированном под сарай, как раз по тому разливу Невы, возле которого стою сейчас.

А тогда я выплыл на свет из тьмы под Литейным мостом и увидел над водой две громады, два колосса, желающих меня скушать, — Большой дом и Смольный собор. Я подождал, пока медленно движущаяся лодка окажется примерно посередине между ними, и послал тому и другому увесистый — от сгиба локтя — привет.

Потом я сделал шаг в рубку, взял микрофон:

— «Шило», «Шило»! Я — «Аспид-два»!

Аспида им было не взять — во всяком случае, на данном этапе исторического развития... К несчастью, я совсем забыл тогда про тюрьму, проплывающую за спиной. Месть ее подкралась незаметно — и вот я стою под ее стенами, ожидая, когда мне выплюнут оттуда рецензию на мою последнюю рукопись... и Панночка тянет ко мне

с того берега свои дивные руки.

Я страстно надеялся тогда, что ложусь на дно ненадолго. Действительно: не прошло и десяти лет, как мы вынырнули — вместе со всеми моими ровесниками сразу. И нас было уже не потопить.

Примерно в один и тот же год мы целым скопом появились в издательстве, и тогдашнему директору, Пантелеичу, было нас уже не унять. И он рассудил здраво: других никаких и нету... а эти, собственно, чем плохи? Мы с ходу сдружились. На первой же пьянке Пантелеич рассказал нам, что сделал такую карьеру чисто случайно: зашил партбилет в трусы и, когда потопили их эсминец, был единственным, кто выплыл с партбилетом. Мы понимали, что это всего лишь байка, санкционированная наверняка высшим начальством... но нам она подходила: мы тоже выплыли!

— Вчера тебя, мудака, цельный день в Смольном защищал — хотели твою книгу из плана выкинуть.

— Спасибо, Пантелеич! С меня приходится!

Главная заповедь Пантелеича была — водка бывает лишь двух сортов: хорошая — и очень хорошая!

От кого он там защищал-то меня? — тревожили мысли. ...Не от Панночки ли?

Но хорошее, как известно, гибнет чаще всего от рук прекрасного. Прошли годы, и появилось новое поколение литераторов. Эти — уже прямо из аудитории. Естественно, что полуграмотный директор (или прикидывающийся таким) их не устраивал. И нам как-то было стыдно его защищать, с партбилетом в трусах, в наше-то демократичное время.

Сначала сюда прорвался критик Гиенский, прозванный так изменением всего одной буквы фамилии — за то, что питался исключительно трупами классиков — живого не признавал. Однако сделался знаменем перемен — и ворвался на должность главного редактора, при уже слабеющем сопротивлении обкома... Ура!

В зале издательства, где мы заседали теперь почти непрерывно (имели такую возможность — даже удивительно вспомнить теперь!), упорно курсировали слухи, что дни Пантелеича тут сочтены.

Известный балетный критик С. (известный особенно тем, что, входя в демократическую общественность, имел странные связи и «там») авторитетно шептал нам, что «там» вопрос этот уже решен и директором издательства назначают... Аристархова!

— Но Аристархов же... известный балерун! — изумился Бурштейн.

— И он к тому же... — проговорил я.

С. кивнул многозначительно: и такое можно теперь. Просто голова шла кругом от столь дивных перемен!

— Есть решение: ставить не аппаратчиков, а просто — интеллигенцию! — вещал С.

— Поразительно! — восклицали мы.

Дверь заскрипела пронзительно — и вошла секретарша Пантелеича — заплаканная, но суровая.

— Новый директор... появилась! — проговорила она. — ...И требует вас! — Ее костлявый перст уперся в меня.

— Ладно... — проговорил я. — Поднимите мне веки — я посмотрю.

— ...Панночка! — воскликнул Бурштейн.

Болотная улица

Кстати, балетный критик С., абсолютно не растерявшийся от этой неожиданности, оказался полностью в курсе и рассказал нам о *появлении* Анжелы (Панночки) в нашем городе в те годы, когда никто еще ее не знал.

Первым — как ему и положено — увидел ее сам С. из окна своей комаровской дачи и был сразу поражен: во-первых, ее красотой и, во-вторых, нелепостью и яркостью ее одежды — настоящие комаровцы так не одевались, предпочитая блеклое.

Красавица толкала перед собою коляску, и С., пристально вглядевшись, узнал коляску Порай-Лошицев: уже четвертое поколение академиков вырастало в ней. Ясно — их новая нянька. Но — какая! Откуда она?

С. интеллигентно (это он может) вышел на тропинку и добродушно пригласил фею зайти «по деликатному делу». С. умеет выглядеть таким старым и простодушным, что никакие мысли об опасности — в связи с ним — даже не приходят в голову... и совершенно напрасно.

Замерзшая в непривычном для нее климате,

Анжела простодушно — но абсолютно мрачно — вошла.

— Извините... но не возьмете ли стирку? Иначе моя холостяцкая берлога превратится в бедлам!

— Возьму! — мрачно глядя в угол, проговорила Анжела.

Критик стал сбрасывать в центре гостиной грудой белье (деликатные вещи решив пока не давать) и попутно непринужденно, по-стариковски расспрашивал: кто она, откуда такая?

Анжела отрывисто отвечала, и постепенно составился полный портрет. Они сбежали сюда с женихом-грузином от его родителей, которые возражали против межнационального брака. Они устроились в санаторий «Волна» — сначала как бы отдыхающими, потом рабочими, — и вскоре жених ее бросил, сказав, что против родителей не пойдет. Анжела гордо осталась и теперь стоически несла свою беду.

Вернув белье в точно указанный срок, Анжела взяла плату самую мизерную, мрачно настояв на своем, но следующую партию брать отказалась, не называя причин.

И она исчезла. Ее явления на дорожке — единственная яркая картинка хмурого дня — прекратились.

Появилась она через месяц, уже без коляски и, судя по отрывистости ответов, куда-то спешила. С., не знающий поражений, все-таки заманил ее в дом, снова попросил о стирке — и она, подумав, кивнула. С. стал обрадованно кидать на пол белье, Анжела сосредоточенно связывала его в узел, и тут С., как он выразился, рухнул, увидев на ее пальцах два шикарных перстня с неплохими камушками. С., сокрушенно воскликнув: «Старый дурак!», стал отчаянно вырывать у нее свои кальсоны — но Анжела абсолютно холодно упаковала их и, сказав, что все принесет точно в срок, удалилась.

Вскоре она оказалась студенткой университета и одновременно — что было почти невероятно — инструктором Отдела культуры обкома ВЛКСМ. Как она взлетела? Загадка! С. утверждает с пафосом, что, исчезнув с его улицы, Анжела продвигалась вовсе не «узким местом вперед»: после измены жениха-грузина все мужчины долго ей были отвратительны. В этом С. клялся... уж если ему!.. Когда Анжела принесла белье в последний раз, С., увлеченно рассказывая о балете, пытался показать ей несколько дуэтов — и был отброшен с яростью.

— Нет, — эффектно заканчивал С. эту историю.

— Я больше чем уверен, что она и «там» стирала... Но на каком уровне?!

Эту историю я вспомнил неожиданно, возвращаясь из города, стиснутый в электричке.

Да, съездил неудачно... Ну а чего ж ты хотел?

Главное, что Панночка явилась в издательство вовсе не с местью, наоборот — полная светлых надежд! И что мы с нею сделали?

Тогда, вызвав меня первого, она размашисто, по-партийному расцеловала меня.

— Кто старое помянет... — и уже разливала коньяк.

— Представь своим бандитам! — через четверть часа добродушно попросила она.

Войдя на редсовет, она вольно, вовсе не по-партийному, уселась на подлокотник кресла, эффектно подчеркнув божественное бедро.

— Давайте по-простецки! — проговорила она.

То, что она предложила, ошеломило даже и нас, уже обреченно ждущих чего-то невероятного.

Совместную нашу работу она предложила начать... с публикации секретных документов Смольного, которые ей удалось как-то вытянуть, — показывающих, как сказала она, самые неприглядные стороны партийной жизни!

— Делать так делать! — сказала она решитель-

но. — Сор без остатка выметать!

— И сколько... его? — пробормотал Гиенский.

— Кого?

— Этого... мусора?

— На три года хватит печатать! Ну, что пригорюнились?

Она явно была разочарована нашей квелостью! Семьдесят лет они ныли, что им не дают дышать, и вот только пахнуло свободой — сразу в кусты?!

Все это читалось в ее взгляде.

— Но у нас... годовой план! — пролепетал Гиенский.

— Читала я ваши планы! — Движением кисти Панночка как бы сбросила их со стола. — Все чушь, приспособленчество... Ну как?

Расходились мы хмуро.

— Опять хотят задолбать нас своими декретами, — проворчал Сашка.

— Пусть даже и тайными, — добавил я.

На следующих редсоветах она настаивала на своих огневых планах, презирала нас, называла «клячами режима» — мы понуро вздыхали. Кончилось это тем, что кто-то (видно, особенно переживавший за свою книжку в плане) написал на нее анонимку в Смольный — и анонимкой этой она презрительно размахивала перед на-

ми уже на следующем редсовете, оказавшемся последним.

Ясное дело, что неудачно съездил... А ты бы как хотел?

Поняв, что тут больше мне не светит — ни аванса, ни пивной, — я сдал свою квартиру знакомой финке и уехал, лишившись квартиры, с семьей на дачу... хотя и на даче этой все вовсе не так, как вы думаете.

Просидев там в сырой комнате фактически без стен, я решил все же рвануть в город: а вдруг я что-то пропускаю и что-то там идет?

Гиенский сидел теперь в маленькой клетушке (в бывшем роскошном кабинете главного редактора был чей-то солярий, стояли — я заглянул — лучистые гробики, в которые ложились голые люди). Гиенский — как и все мы — успел ухватить власть как раз в тот момент, когда она абсолютно ничего уже не значила. Кабинет, увы, не тот... не говоря уж о машине.

— Ты слышал, что сделала эта дура?

Так начинался теперь каждый наш разговор.

— Забрала фактически издательство себе! Приватизировала! И коллектив единогласно выбрал ее директором! Все!

Единогласно — значит, и ты проголосовал?

Естественно, что коллектив, изголодавшийся по соляриям, выбрал ее! Гиенский тайно надеялся, что выберут его... но за что должны его выбрать... за снобизм и высокомерие? Это ценят лишь близкие друзья.

— Все ваши папки, кстати, выбросила на помойку! — мстительно (за что мстит — непонятно) проговорил Гиеныч.

— Как — на помойку? На какую?

— Извини... ты за кого меня считаешь?!

— Ах да...

Оскорбленный вид Гиенского говорил: ты можешь считать меня кем угодно, но, надеюсь, не человеком с помойки?

Кстати, более чем уверен, что тут они сблизились — он тоже выкидывал наши папки... Всех ненавидит, кроме классиков... и тех терпит лишь потому, что их не сковырнуть.

— ...И когда я возражал против этого, знаешь, что она мне ответила?

— Что?

— «А что хорошего я видела от вас?»

Да-а... тут она права... Хорошего мало.

— И... что? — выдавил из себя я.

— И — все. — Гиенский поднялся.

Кстати, в дальнем углу электрички я увидел,

придавленным, его... Но мы пугливо отвели взгляды... О чем еще говорить?! Немного отдохнуть можно?!.

Отдохнешь тут, обязательно!.. Не то место!

— Лучший писатель современной России!

Мы с Гиеной еще больше скукожились: речь явно не о нас! Перед электричкой я еще забежал в свою квартиру (бывшую), выпросил у финки двести долларов за аренду — на месяц вперед. Кайза приехала сюда изучать стрессы... но боюсь — не многовато ли будет?

— Благодарю вас! — небрежно расстегнул боковую молнию на сумке, кинул бумажки... кстати, надо переложить... но момент выбрать, когда бы никто не смотрел...

— Лучший писатель России!

Прямо в ухо орет этот офеня с буйными льняными кудрями, прижатыми берестяной ленточкой, и пузатой сумкой на боку... Увесисто пишут!

— Афанасий Полынин!

Господи! Никогда не слыхал.

Портрет Полылина... мужественные щеки... прямой, честный взгляд... но почему-то сквозь черные очки.

— Необыкновенно увлекательный, правдивый роман...

Встречный поезд, прогрохотав, заглотил часть рекламы — но осталось немало:

— ...Честный, принципиальный хлопец, ненавидящий несправедливость, сызмальства связался с ворами... в восемнадцать лет несправедливо получил срок...

Снова встречный грохот — но, увы, краткий...

— ...Выйдя, долго страдал от всеобщего недоверия, снова был вынужден красть... но потом прозрел, ушел в монастырь. Там совершил групповое изнасилование — дьявольское наваждение, снова сел — и окончательно уже прозрел. Дешевле, чем на складе, — всего десять тысяч.

Я вдруг представил себе, что мог бы съесть на эти деньги, глотнул слюну.

Полынина, что интересно, активно брали. Такой коктейль — святости в сочетании с дьявольскими наваждениями — всех устраивал.

Я тоже потянулся к сумке, но — открывать молнию — пред всеми, мелькать долларами в кошельке? Нет. Афанасий Полынин не стоит такого риска... тем более тут поблизости вполне могут оказаться его ученики.

Гиенский вслед удаляющемуся Полынину скорбно вздыхал. Но вышел, однако, вместе с толпой зажиточной интеллигенции в Комарове

— зацепился все-таки! — а я поехал дальше.

После ухода думающей части общества в вагоне началось полное безобразие: замелькали бутылки, народ задымил — въезжаем в зону полного хаоса, все верно!

Поезд стоял в Зеленогорске три минуты, надо успеть выскочить — но сделать это не так уж легко: какой-то щуплый тип, в затоптанных опорках, в грязных брюках с бахромой, вдруг остановился в проходе и неторопливо стал чиркать спичку за спичкой. Именно сейчас ему нужно закурить! Знает, что позади толпа, слышит, что двери уже закрываются, но стоит и неторопливо чиркает: ведь закурить же надо — неужели не ясно? А еще говорят, что мы угнетены! На самом деле — самая свободная страна в мире, делаем что хотим! Где еще возможно такое?

Наконец задымил, вразвалку, неторопливо двинулся, не ускоряя шаг... еле я успел выпасть вслед за ним — и двери захлопнулись. Во жизнь!

Вокзальная площадь Зеленогорска оправдывала худшие опасения: обломки ящиков в грязи, обрывки коробок, всюду закутанные сразу на все времена года бомжи, небритые кавказцы, визгливые бабы.

Протолкавшись, я стал пробираться через бо-

лото на свою родную Болотную улицу, хотя вовсе не хотелось туда спешить.

Да, навряд ли мы разбогатеем в ближайшем будущем при такой бережливости: прямо посреди болотца валяется плоско упакованный финский ларек — кто-то бросил и забыл, и теперь эта площадка используется, так сказать, для тусовок. Местная достопримечательность, дед Троха, держит навытяжку руку со стаканом — и вдруг спохватывается:

— О, етить! Вроде бумажник с пенсией в бане забыл!

— Ну? — Бульканье на мгновение прерывается. — Сходишь?

— А ну его на...! Наливай!

Широкая душа!

Родная Болотная улица извивалась среди чахлых кустов, и вдали все величественнее вздымалась доминанта этой улицы: двухэтажный дом бывшего начальника местного ГАИ Маретина — о «крутости» его даже и после смерти ходят легенды. Зато два его сына, Паша и Боб, полностью отомстили бате за тяжелый характер, приведя некогда величественный его дом в полный упадок: дом был буквально растерзан ими напополам, водопровод уничтожен вообще

(поскольку имелся лишь в одной половине), электричество еще теплилось — но зато почти полностью отсутствовали стены — лишь опорные столбы: каждый из братанов собирался со временем расширить располовиненные комнаты в хоромы, но покуда — лишь сломаны стены. Все это напоминает работы известного русского художника Кабакова, потрясшего своими растерзанными коммуналками цивилизованный мир... Но я пока что по хаосу не стосковался!

С тяжким вздохом открыв калитку, я начал спускаться в ад. С Бобом мы познакомились три года назад, когда он на чудовищном автобусе, свежеприватизированном в мехколонне, перевозил меня с семейством с писательской еще дачи в Репине. С тех пор дача перестала быть писательской, и я рассказал об этом в лирическом очерке. Могу сказать, что очерк этот имел сильный резонанс, особенно среди Боба: он явился ко мне глубокой ночью, бледный и растерзанный, с куском газеты в руках.

— Что делают, суки! Так живи тогда у меня!

Я не мог не оценить его порыв: прочитав это уже перед сном, он взволнованно кинулся в город — один, собственно, из всех моих знакомых и друзей.

Требовалось только дать четыреста долларов — для расширения нашей — он уже называл ее нашей — комнаты, и эти деньги, на беду мою, у меня тогда как раз были.

Трудясь словно каторжный, Боб к нашему приезду гостеприимно разрушил стены, сохранив лишь террасу и старый пол. Трудно передать наше впечатление, когда мы на трясущемся, дрыгающемся автобусе въехали в его усадьбу.

— Как же так, Боб? Мы же договаривались, — пробормотал я.

Боб ответил великолепно:

— А-а! При этом правительстве разве можно что-нибудь сделать?

Жена заплакала.

И теперь, по прошествии месяца, мало что изменилось здесь. Разве что автобус, бесивший Боба непослушанием, прекратил свое земное существование. Вырванные сиденья притулились у сарая — там Боб любил предаваться философским размышлениям, сидел там и сейчас, прямо под дождиком, как истинный философ, не замечая мелочей. На месте будущей стенки Боб приготовил к моему приезду композицию в духе раннего Раушенберга: на топчане привольно раскинуты рваные кальсоны с торчащими из

ширинки зазубренными пассатижами и все это щедро залито липкой сгущенкой из опрокинутой банки... Неплохо.

По всему двору, как и месяц назад, были раскиданы бревна с ярко-желтыми спилами, мокнущими под мягким дождичком.

— Боб, но мы же договаривались, что ты распилишь и уберешь! Сколько можно?

Боб долго, словно не узнавая, глядел на меня.

— А ты что-нибудь понимаешь? Дрова дышать должны!

— Хватит, уже надышались! Пора и под навес!

— Может, скажешь еще — как?

— Электропилой твоей!

— Пилой?

— А что? Ты ж ее показывал! Где же она?

— А это ты спроси у Серого! — оскорбленно произнес Боб.

— Почему я должен спрашивать у Серого? Это еще кто?

Боб на минуту задумался.

— Нет, без сильной руки порядку у нас не будет, — горько констатировал он. — Ну ладно, давай бабки! Попробую...

— Я их тебе уже дал!

— ...попробую с ним все же договориться. —

Оставив последнее замечание без внимания, Боб деловито встал. — Кстати, у тебя сумка расстегнута. Это что — так надо?

Похолодев, я дернул вверх сумку... и уселся на бревно: молния была открыта!

— Молодец. Умный мальчик! — проговорил Боб.

Вор на ярмарке

Проснувшись на следующее утро, я долго лежал не открывая глаз. Открывать не хотелось: что увижу я? Много лет уже мечтал поднять семью на недосягаемую для себя высоту... а когда это внезапно случилось, впал в отчаяние.

Сперва дочь, насладившись этим комфортом, уехала в город якобы по делу — и с тех пор ни слуху. Потом отбыла к матери жена...

После смерти тестя (минувшей зимой) мы пытались внушить теще ощущение второй молодости — или хотя бы полной вменяемости: мол, какие проблемы? Все тип-топ! Но теща усваивала наши уроки вяло. Часами сидела уставясь в точку и ничего не видя: однажды мы минут сорок радостно стучали ей в окно, она не двигалась, не видела нас и не слышала звонка.

— Все! Надо переезжать к ней! — плакала жена.

— Но ты же сойдешь там с ума!

— А что делать?!

Мы приехали туда — но попасть в квартиру в этот раз оказалось абсолютно невозможно: пришлось разбивать форточку и влезать. Анто-

нина Ивановна, всю жизнь панически боявшаяся воров, никак не прореагировала на наше вторжение — глядела куда-то вдаль и кокетливо улыбалась. Я прошел мимо нее в прихожую — и злоба захлестнула меня: что эта слабая старушка вытворяет? К входной двери был прижат холодильник, гигантский платяной шкаф, сервант с посудой, наполовину вывалившейся, разбитой. Милая старушка.

— А, это вы, Валерий! — как бы встретившись со мной случайно на улице, проговорила она.

— Антонина Ивановна! — не выдержал я. — Вы зачем всю мебель притащили к двери?!

— Какие-то вы странные! — надменно произнесла она. — Могут же залезть!

Мы с женой в полном отчаянии сидели на диване.

— Все! — У жены затрясся подбородок. — Уезжай! Зачем тут еще и тебе... Уезжай хоть ты!

И я уехал.

Оставил им денег на неделю. А прошло уже десять дней!

Я было открыл глаза — но снова зажмурился. Что же делать, что делать? Так надеялся на взнос финки, изучающей стрессы у меня на квартире, — и вот!

Как же я так пролопушил? Ведь знал же, что эти деньги — все?! Как же я так? Помню, когда носили великого Полынина, молния была еще закрыта. Когда?

А... ясно! Когда тот якобы забулдыга перегородил выход из вагона, как бы закуривая, а я, вместо того чтобы прижать сумку, пустился в высокопарные рассуждения! «Свобода и несвобода»! От денег свобода! Точно рассчитали они, что интеллигент взбесится, когда вшивый люмпен перекроет ему путь! Но как же это я, старый рыбак... всегда отличал виртуозно-живое подергиванье леща от мерного покачивания грузила, а тут — не почувствовал! Совсем, видно, ослабел! Но — надо подниматься! Я открыл глаза. Даже пес, последняя моя опора, бросил меня — вовсе уже не появляется. Но... кому здесь хорошо, если честно, — так уж ему! Первые дни я видел белый кончик его хвоста высоко в цветах, в самых разных местах, — деловито помахивая, плыл куда-то. Больше даже не появляется! Раз хозяин такой!

Я стал медленно одеваться. Тут мне пришлось убедиться в том, что случившееся со мною горе хоть кому-то пошло на пользу — но, к сожалению, не мне. Вдруг затряслась фанерная перегородка и открылась заветная и как бы несуществую-

щая дверка: после ссоры братьев было принято решение — эту дверь не считать. И вдруг — она открылась, и явился Боб. Он был собран, деловит, ему явно было не до условностей вроде стука, предупреждающего о появленьи. Я понял, что из моего горя он кое-что уже извлек — в частности, помирился с братом: дело, мол, слишком серьезное, чтобы вспоминать тут о вражде!

— Пойдем! — Он деловито кивнул.

Из него явно изливался «амброзический дух»: под мое несчастье братаны не только помирились после долгой вражды, но еще и выпили, по крайней мере Боб — точно!

— Куда это? — поинтересовался я.

— К Павлу, — сухо сказал он.

Все меняется. В прошлые годы Боб говорил:

— Все прячьте, запирайте, уносите с собой: соображайте, с кем живете!

Он драматически, впрочем не без гордости, кивал на ту половину. В действительности его брат Паша с детства избрал уголовный путь, неоднократно сидел. На его фоне Боб считал себя блистательным аристократом... но приоритеты меняются: теперь поселковым аристократом считался Паша, и подростки, провожая завистливым взглядом его «суперграндчероки», рассуждали

со знанием дела, сколько кубиков в его моторе: таких кубиков не было больше ни у кого.

Теперь Боб гордился братом.

— Паше не нравится, что случилось с тобой! — проговорил Боб высокомерно.

— А кому ж это нравится?! — воскликнул я.

— Вот в этом и разберемся! — сурово проговорил Боб.

Правда, мне, как лицу не приближенному, волшебная дверца не была доступна: Боб повел меня в обход.

Паша, крепыш альбинос, не похожий на Боба-красавца, чистил ботинки.

— Давай, — распрямляясь, просипел он, — объедем сейчас с тобой несколько точек... я этого так не оставлю!

— Спасибо! — проговорил я.

— Тут больше моя проблема, чем твоя! — проговорил Паша.

Ну, я бы этого не сказал!

— Сейчас... оставлю только кобелю пожрать! — сказал я.

— У тебя кобель? — почему-то заинтересовался Паша.

— Да, вроде... А что?

— Ну, смотри... — с легкой угрозой произнес

он.

Туг я наконец разглядел, о чем речь. У ног Паши неподвижно стояло какое-то жалкое существо с огромной головой, с сонными глазками... Это ж разве кобель?! Никогда даже не слыхал его лая! То ли дело мой Тавочка звонко лает, и здесь, и в отдалении, и сейчас!

Я сбегал на свою территорию, положил псу в миску остатки каши. Где шляется этот красавец? Лай то приближался, то, наоборот, вроде бы удалялся. Что там с ним? Уж не задрали ли его, как не раз уже бывало: еле добирался на трех лапах, на двух, оставляя в пыли пунктирчики крови... Впрочем, местных кобелей можно понять: каждый новый год мы наблюдаем тут молодое рыжее поколение — эти против отца не идут, зато остальные носятся за ним злобными стаями... О! Догнав наконец собственный лай, вбежал с ветром на террасу — чувствуется, только оторвавшись от преследования: розовый язык весело свисает с белых острых зубов, черные глаза сияют, длинная шерсть сверкает, как медная проволока.

— Явился наконец! — Рука, не удержавшись, зарылась в свежую, прохладную шерсть. — Где ты шляешься, черт тебя побери, целыми сутками?! — Вспомнив о своей карающей роли, рука

пихнула его в широкий шелковистый лоб.

Пес, сокрушенно вздохнув, рухнул, стуча костями, и виновато полез под кровать, но пробыл там всего секунду и тут же, как бы отбыв уже наказание, с нахальной мордой вылез обратно: ну? все?

— Ладно... ешь! — На это существо, абсолютно счастливое, невозможно сердиться. Впрочем, есть он тоже не хотел — зачем тратить драгоценное время на такую ерунду? Прыгал на меня лапами, лез целоваться. — Все! Отвали! Будешь сидеть дома! Хватит!

Он скорбно ссутулился, изображая невыносимые муки совести. Я закрыл-таки дверь не на ключ, а на крючок — и он кинул исподтишка блудливо-радостный взгляд. Не сомневаюсь: как только я уйду обходными путями, он тут же, ликуя, откинет своей узкой хитрой мордой крючок и унесется! Не сомневаюсь, что, вернувшись, застану дверь распахнутой. Но это уж ладно... Главное — воспитательную работу я провел. Тут снова открылась «волшебная дверь», и явился мрачный фельдъегерь:

— Паша обычно никого не ждет!

— Иду, иду!

Хотя сильно сомневаюсь, что Паша решит мою проблему! Насколько я понял, стиль работы этих

хлопцев такой: из одной проблемы делать как минимум две, а то и три! На этом и держатся. Но мне и первой проблемы — образовавшегося безденежья, да еще в такой семейной ситуации, — хватит с головой, так что до второй и третьей неприятности вряд ли и доживу!

Паша, как у нас принято, возился с мотором. Что за мотор без мата? Когда Боб имел свой автобус, тот абсолютно всегда весь, от носа до хвоста, от руля впереди до мотора сзади, через ломаные-переломаные сиденья был, как гирляндами, увешан матюками. Этот талант и Паша унаследовал полностью. Постояв, я понял, что еще и мои матюки не требуются, и уселся в салон.

— Ой, извините! — пробормотал я, нечаянно, не обратив внимания, столкнул эту тряпичную куклу — его пса, — тот, не издав ни звука, безжизненно повис между сиденьями. Ну и страшила! Ключиком он его, что ли, заводит? Не подает никаких признаков жизни — а еще эта порода считается самой бойцовской! Все у них как-то не так, все ненастоящее, включая пса! Где нормальные реакции? Ну ладно, не выступай. Другая задача.

Мотор наконец затрясся. Паша, кинув безжизненного пса назад, выехал ухабами на шоссе.

Какой новый русский не любит быстрой езды! Паша нагло пер по осевой, даже не глядя на встречные машины, отруливающие к обочине. Видимо, именно скорость накачивала его энергией.

— Сейчас заскочим в пару точек, проговорим твою проблему!

— Спасибо.

Паша спокойно кивнул — уже то, что такая личность проявила участие, было замечательно — я это понимал.

— Я знаю, чьи это когти! — Паша счел возможным приподнять завесу над моим делом. — Будь уверен — их здесь больше не будет!

Ну, это даже слишком! Меня устроило бы и меньшее!

— А о бабках твоих не беспокойся! Они их вернут! С процентами вернут!

Чувствую, что вложил деньги в выгодное дело.

— Тут один тоже, — Паша начинал выходить на обобщения, — не понял сразу. Потом головни на пепелище собирал.

— Зачем?

— Ну, видно, чтобы костер развести, погреться чуток! — И юмор был Паше не чужд.

Паша был не в красавца брата — какой-то

обесцвеченный и как бы слегка недоделанный, поэтому, наверное, и стремился к великим делам, чтоб покрасоваться ими.

— Этого-то... подожгли, что ли?

...может, я влезаю в профессиональные тайны?

— Ага! — проговорил Паша с вызовом. — Пожарные, кстати, и подожгли!

Смех его походил больше на шипение. Удивительно они веселятся. Уже с тревогой я поглядывал вперед.

Дело в том, что тут за поворотом должен быть хутор моего друга: не о нем ли речь?

— Но сам-то... слава богу... жив? — спросил я, хотя не был убежден, что он поддержит мое «слава богу».

— Этот? — Паша усмехнулся. — Пришел с наглой рожей к нам же ссуду просить!

— Это... после пожара, что ли?

— Ну! — воскликнул Паша, отчасти даже, может, любуясь клиентом.

— И... дали?

— Куда ж от него денешься? — добродушно произнес Боб.

Сердце забилось еще сильней. На Аркана, чей хутор должен сейчас появиться за поворотом (появится ли?), все это очень похоже. Нахальство,

упрямство и при этом — игра под дурака... Неужто и он попался в сети этих структур?.. Куда денешься! Да, наш Арканя опровергал банальное мнение о художниках — существах слабых, ранимых и чутких. Это скорее бульдозерист, мощный и лысый, скорее американский, чем наш, — глазки спокойные, сонные... но секут все! При этом его акварели поражают, наоборот, своей тонкостью, нежностью... Поражали — больше нет! Полностью, резко поставил свой талант на службу бизнесу: столько нарисовал этикеток, что даже не помнит их. Радостно приносит бутылочку, смотрит на красивую картинку... «Это вроде не моя. Пить можно». Наливает, принюхивается, глоток — и гримаса отчаяния: «Моя!!»

«Жертва собственной виртуозности». Кстати, обиделся почему-то на мою отточенную формулировку. «Да где виртуозность-то! Чушь кругом!» Прибедняться — первый его обычай. Неужели раскусили? В компьютерах у них, говорят, все есть! — я покосился на Пашу.

В прошлом году, когда я, изнемогая от семейного счастья, сбежал к Аркану на хутор, жизнь наша сразу не заладилась: ему породистая телка была нужна, а не человек, да еще с больной душой!.. Помню, когда я вошел, с вещами, он, словно не

видя меня, оглядел свое хозяйство и пробормотал как бы про себя:

— Вроде художники слова тут не нужны...

Но я не обиделся — люблю, наоборот, таких лбов! И Арканя знает, что меня не запугаешь. Поморгал своими глазками, вздохнул:

— Ну что... Выпить, что ли, хочешь?

— Ну что ж... Рюмаху приму с размаху, — рассудительно ответил я.

Ф-фу! Вылетели из-за поворота! Слава тебе, господи, хутор цел — на каменном финском фундаменте мореный темно-коричневый дом. Нет, не такой человек Арканя, чтобы дать себя сжечь! Коровки пасутся — на каком-то удивительно ровном, ярко-зеленом лугу... на всякий случай отвернулся, и даже с зевотою, — чтобы, не дай бог, туда не навести...

Теперь можно вспоминать более спокойно, хотя жизнь там моя — да, не задалась. Сначала я поставил перед Арканом философский вопрос, стоя перед сетчатым вольером, где копошились куры:

— А почему, интересно, курицы не едят своих яиц?

— Да потому, что они не идиотки! — с тонким, хотя и злобным намеком ответил он.

И вечером этого же дня внес в кухню, где я писал свои заметки, курицу, безжизненно обвисшую в его ручищах, — с лапок ее стекал желток вперемешку с кусочками скорлупы — и вдруг резко швырнул заверещавшую птицу прямо в меня:

— Твоя работа!

Да, развел я идеологию среди кур. Резко повернувшись, Арканя вышел.

Изгнан я был из-за другой своей фантазии — к счастью, не осуществившейся. Я бегу по прекрасному лугу с охапкой полевых цветов, радостно напевая, мимо добродушно жующих коров, и вдруг — мгновение — вжик! — налетаю на невидимую почти, тончайшую проволоку с током, охраняющую пастбище. Нижняя половина моя продолжает бежать, радостно подпрыгивая, а верхняя, что с цветами, начинает понемногу отставать, тревожно покрикивая: «Э! Э!.. Куда?»

Я нарисовал эту картину Аркадию — мне казалось, что, как художник, он должен ее оценить. Вместо этого он молчал, с ненавистью буравя меня злобными глазками, стоя при этом на пороге хлева, весь в рванине и свежем навозе... Да-а... похоже, не понял!

В эту же секунду, на мою беду, с шоссе в нашу сторону свернул шикарный лимузин, плавно

вырулил — и из него, стройно распрямившись, вылезла, сияя нарядами, красавица манекенщица, воображуля-капризница его жена Неля.

Что-то пробормотав, Аркан молча повернулся во тьму сарая, потом, словно вспомнив какую-то дополнительную мелочь по хозяйству, буркнул: уходи!

Мол, две напасти сразу — многовато даже для него!

Однажды, проезжая мимо, увидал, как к его хутору сворачивал размалеванный иностранный автобус... Да-а, широко пашет Арканя!

Слава богу, жив! Главное — не поглядеть в его сторону: Паша, вроде бы тоже ушедший в размышления, соображает медленно, но цепко.

А он-то, оказывается, все это время думал обо мне!

— Вообще, не понимаю таких, кто ворует в наши дни! — не сдержав своих переживаний, выпалил Павел. — Кто ворует-то?! — (Вопрос явно был риторический, я и не пытался на него ответить.) — Ублюдки одни!

...не слишком ли смело?

— ...в наши дни надо только тумкать немного! — стукнул по лбу. — Знать, где какие льготы, где какие проценты... на этом делать дело! Нет, не

врубаются! — Праведный гнев хлестал из него.

Я вздохнул виновато: то и дело не проявляю нужных эмоций, отталкиваю людей! Даже немного стыдно за мою холодность перед горячим Пашей: моим же делом занимается — а я словно сплю!

Мы рульнули к бензозаправке, и, пока хлопцы в желтых комбинезонах вставляли нам в бок «пистолет», Паша буркнул: «Подожди» — и, оставив меня под присмотром своего тряпичного пса, ушел в деревянный бар неподалеку, заранее уже обожженный — видимо, чтобы больше не хотелось его жечь.

Видать, это и есть одна из «точек», где будет решаться моя судьба, во всяком случае, судьба моих несуществующих денег.

Дверка стукнула, Паша скрылся. Я поглядел на неподвижного пса с абсолютно ничего не выражающими глазками... Хорошо бы выйти, размяться, подышать свежим бензином — но кто знает, что за существо эта собачка, какой в нее заложен код?

Паша вернулся не скоро — а куда ему торопиться? Зато, придя, поглядел на меня с каким-то новым интересом, видно что-то новое узнал про меня, чего я не знаю.

— Говорят, сегодня у вас своя разборка?

Не понял! У кого у нас? У обворованных, что ли?

— У кого — у нас?

— Ладно, шлангом не прикидывайся... у кого, у кого... У писателей!

А-а-а... Гиенский же говорил при последней встрече! Действительно, разборка. Раздел оставшегося — или не оставшегося уже? — имущества. Плюс книжная ярмарка. В нашем Доме творчества в Киселеве. Сомневаюсь, чтоб что-то перепало.

— Отвезти?

Да... Как говорится, «отдам себя в хорошие руки»!

Паша рулил молча, но нагло — видимо, и не подозревая о том, что я впаял уже его в янтарь вечности.

Сияющий его броневичок, ярко отражаясь в витринах, выруливал на ухоженные и пустые Киселевские дорожки, оставшиеся такими — надолго ли? — с тех времен, когда здесь отдыхали партийцы — и работали, самозабвенно трудились писатели в своем Доме творчества. Из «простых» тут лишь пробегали порой кастелянши или повара, сопровождаемые недовольными взглядами

прогуливающихся «маститых»: что ты здесь, братец, потерял — в рабочее-то время?

Было время, когда и мы, степенно прохаживаясь по этим тропкам, задумчиво закинув руки за спину, думали, сладко вздыхая: да уж, видно, до самой смерти вот так вот проходим тут... куда уж денемся? Жизнь, однако, развеяла эту светлую грусть, заменив ее более темной.

Понадеялись на тихую старость? Выкуси! На!.. Вечная молодость нам суждена!

Мы вкатились на бетонную площадку у длинной каменной столовой с бильярдной и конференц-залом, выстроенную в период наибольшего взлета писательского благосостояния, правда, мы тогда надменно думали, что это упадок.

У нас не угадаешь!.. Да — в сложное, сложное время мы живем. Сложное, но не очень.

Паша молча вылез и стал тыкать железкой в мотор.

— Ну что ж... спасибо. — Я вылез. Пойду позаседаю...

Паша вдруг закрыл капот, вытер руки тряпкой — и молча, без каких-либо объяснений, пошел со мной.

Появиться с телохранителем — это неслабо. Новый вал подозрений и оскорблений... но что за

жизнь-то без них? Другого ничего и нет.

— Послухаю малость, — сказал мне Паша, и мы вошли в зал.

Он скромно уселся сзади. Я огляделся. Да, усохли братья писатели, немножко пожухли, как и я. И ряды поредели. Но гонор прежний, хотя книжная ярмарка, которая должна тут открыться завтра, уже сейчас должна б их кое-чему научить: на ярких глянцевых обложках, расставленных по стендам, — ни одной знакомой фамилии, все незнакомые. Интересное кино: книги — отдельно, а писатели — отдельно! Что же мы пишем? Неизвестно! Но гонор, что интересно, прежний, если не больший. Вошел как раз в самый гудеж — все были возмущены тем, как Панночка ловко оттяпала наше издательство. Хотя в момент, когда я вошел, Панночка, возбужденно похохатывая, предлагала нам забрать обратно наше добро.

— Берите! Берите его, ради бога! — Сидя на сцене, она как бы отодвигала от себя ладошками нечто мерзкое. — Мне от него одни неприятности. Но посмотрим, что вы там будете делать — при нынешней экономической ситуации, при нынешних ценах на коммунальные услуги. Берите — вместе с девятьюстами миллионами долга!

— Откуда такой долг-то? — пробормотал Сашка

Бурштейн.

— А это — плата за выпуск ваших книг, которые лежат мертвым грузом на складе. Обзваниваю всех — никто не берет их, даже за полцены!

...Да. Врезала неплохо!

В наставшей вдруг тишине я разглядывал собравшихся. Редеют наши ряды, редеют! Конечно — у кого было другое дело, кроме этого, сейчас там и есть, занимаются этим самым делом... Здесь сейчас только самые непутевые. Впрочем, есть и счастливчики, которые, наоборот, сейчас взлетели: часть бревна утонула, другая, наоборот, задралась.

Вот господин Аземов, бывший близкий приятель. Сколько проехали вместе! Всегда он мог писать только в дороге — раньше в поездах, в самые концы Союза, потом — только на самолетах, теперь — только на международных авиарейсах. Далеко улетел.

В углу веселой компашкой, бодро хихикая, команда «новых», хоть и не молодых. Сумели внушить Западу, что именно в их лице он помогает новой русской литературе... Книг, правда, они не пишут — пишут «проекты», получают гранты... «Дети капитана Гранта», как называю их я.

В другом углу — мрачный Юра Каюкин. Всегда

выглядит — и одет — точно так, словно только что вылез из земли. Трепаный, грязный. Бывший аутсайдер, раньше неприлично было даже с ним здороваться — только милостиво, но сухо кивать. Сейчас вдруг его разжиженные, бесконечные писания из жизни древних князей стали бешено всюду издаваться. «Князь из-под земли». Счастья, правда, не испытывает, и богатства тоже на нем не видно, но издается повсюду — от Камчатки до Смоленска. Но хоть мучается, понимает, что пишет — никак. Обменялись с ним ненавидящими взглядами. Он страстно мечтает писать, как я. А я — как он!

Писатели явно грустили. Так ведь, глядишь, понуро разойдемся — и все. Что сказать?

И тут поднялся Гиенский.

— Я предлагаю выбрать сейчас инициативную группу, пойти в мэрию и требовать снятия Анжелы Вадимовны и признания проведенной ею приватизации издательства недействительной!

Зал загудел на разные голоса. Наиболее активные — они же наименее сведущие — считали, что надо пойти и свергнуть, а там уж! Другие сумлевались: а не посадит ли их в долговую яму эта «фабрика счастья», называемая издательством? Но самые отчаянные, как всегда, брали верх:

— Гиенского в комиссию! То есть, извините, Гиевского...

— Называйте, называйте... Должно быть по меньшей мере пять человек. Называйте лишь самых авторитетных!

— Аземова надо! — проговорила поэтесса Шмакова. — Его все знают.

— ...Ну, давайте... не молчите... Ваша судьба решается! — горячился Гиенский, при этом странным образом не услышав самую как раз весомую фамилию Аземова... Уж слишком авторитетный? Как бы не захватил пост, намеченный Гиенским явно для себя. — Ну не молчите же!

Все, напротив, в некоторой растерянности молчали. Если он фамилию Аземова проигнорировал — то кого же кричать?

Вдруг я с изумлением увидел, что вперед медленно идет Паша. Ему то что наши дела?

— Я тут посторонний, с другом зашел...

— ...бизнесмен, бизнесмен... — зашелестело в зале.

— ...а вы тут всю жизнь этим занимались... но, ей-богу, удивляюсь я вам.

Все с интересом молчали. Поняв давно уже полную бесперспективность дальнейшей жизни, только на чудо и надеялись: придет такой вот,

простой и коренастый, — и все решит. Ну а кто же еще?

— Честно! — продолжил Павел. — Напали все на красивую женщину!

Панночка, перед этим слегка опавшая, гордо встрепенулась.

— ...а сами, мужики, не подумали, чем конкретно можете ей помочь?

— Мы пишем книги — этого достаточно! — гордо воскликнул Гиенский, которому, кстати, этого было явно недостаточно.

Все, конечно, знали, что Гиеныч подлец, но как-то некогда было заняться этой мелочью — Гиеныч, всех опережая, звал постоянно вперед, не давал сосредоточиться на мелочах, в частности некоторых особенностях его характера, — говорил-то он всегда правильно, причем самое-самое!.. а мелочи простим.

Правда, Сашка Бурштейн однажды бил ему морду — но это пустяк.

Но Паша — видно, не в курсе рейтингов — лишь махнул презрительно рукой: книги, мол, все пишут. Не в этом дело! И скоро блистательно это подтвердил... Гиенский гордо уселся. Кстати, всего какой-нибудь год назад Гиеныч выступал в этом зале, надменно говорил, что в ближайшие

восемь лет намерен заниматься лишь Баратынским, надменно отвергая всех прочих, менее родовитых... а вот теперь тут какие-то непонятные пришельцы затыкают ему рот!

— ...Вы лучше поинтересовались бы конкретными делами, — спокойно продолжил Паша. Анна теперь не сводила с него глаз. — Узнали бы для начала, к примеру, есть у вас какие-то положенные скидки по аренде, какие льготы, короче, толковым бы чем помогли.

Паша даже зевнул — в такой-то аудитории. Наступила тишина. Маститый критик Торопов, поглаживая осанистую бороду, оглядывал зал: кто тут еще шевелится, кого надо срочно добить? «Дедушка Мазай с дробовиком», как ласково называл его я.

— Потом... про это заведение, — неожиданно перешел Паша. — У меня друг работал, шофером, — спокойно, без комплексов сказал Паша (не те времена!). — Так что я бывал здесь...

Все снова насторожились: ну и что? Паша зевнул снова: устал объяснять детские вещи — сколько же можно?

— ...сдайте на пару лет в аренду — пусть заодно сделают прилично! Живете как свиньи — общий сортир! Пусть туалет в каждом номере сделают!

Потом сами ж сюда вернетесь... — не совсем уверенно закончил Паша.

Впрочем, последнее вызывало сомнение не только у него. Писатели гудели вроде бы одобрительно, но уныло. Общий тон был: «Не! Тогда мы уже не вернемся! На уровне туалета в каждом номере мы не пишем. Мы пишем в аккурат на уровне общего туалета, одного на этаж!»

Устало махнув рукой, Паша пошел по проходу.

— Слушай, кто ты такой? Ты мне понравился! — неожиданно к нему с поцелуями, сильно покачиваясь, кинулся Каюкин. Видно, много уже принял нынче на грудь. — Бери тут, все бери!

Каюкин кинул выразительный взгляд на зал: лишь бы эти не взяли!

— Пойдем ко мне, выпьем! — Каюкин рухнул ему на руки.

— Ну, пойдем, коль не шутишь! — неожиданно добродушно согласился Паша.

С уходом этих двух героев собрание окончательно увяло, не слушая что-то восклицающего на сцене Барыбина: знали, когда берет слово Барыбин — это все, полная уже разруха, маразм в очередной раз ликует, можно уходить!

Выходя, я кидал злобные взгляды на стенды: кто ж пишет все эти книги, когда писатели без

работы?

«Записки Волкодава»... Неужели пишет сам Волкодав?

Ко мне подскочил пышущий злобой Гиенский:

— Ты, как всегда, отмалчиваешься?! Подожди у меня в номере — есть разговор! — Он сунул мне ключ и умчался.

Что за роль себе взял: командира под любыми знаменами? Не случайно Сашка Бурштейн бил ему морду! Не случайно — но, видимо, зря. Безрезультатно. Гиенский рвал и метал, давая указания и всем прочим.

Поняв, что счастья здесь не дождешься, радостного общения сегодня не будет, я вышел на улицу и прошел в корпус.

Марфа Кирилловна, в теплой шали, так же, как и всегда, дремала над телефоном. На мгновение мне показалось, что ничего не изменилось, что можно, немножко похимичив, неторопливо войти в прежнюю жизнь. Я поднялся по обшарпанной лестнице, открыл девятнадцатую комнату — длинный затхлый пенал с окном на закат. Мой любимый девятнадцатый!

Сколько здесь было всего! Целая огромная жизнь, почему-то вдруг исчезнувшая.

Помню, просыпался обычно на заре от глухого,

протяжного трубного звука. Такие чуткие тут были трубы! Косился в окно: солнце горело лишь на самых вершинах сосен — рано еще, можно сладко поспать. Гудение это, так сказать, случайное: кто-то просто открыл в номере кран умывальника — подошел в полусне, пошатываясь и зевая, к раковине и начал отливать, открыв, по здешним негласным правилам, одновременно водопровод. Все: отлил, завинтил крантик, вернулся, плюхнулся — и снова блаженная тишина. Самые сладкие грезы шли в эти часы, когда солнце медленно и торжественно спускалось по стволам деревьев. Потом вдруг гудела другая труба, в дальнем конце коридора, — тоже кто-то открыл кран, но, судя по солнцу на деревьях, тоже еще не для того, чтобы умыться. И опять тишина. Эти блаженные часы тянулись, кажется, бесконечно!

Потом вдруг одинокое гудение, оборвавшись, подхватывалось другим, третьим — и вскоре весь уже наш домик пел, как орган. Паша еще только мечтал о туалете в каждом номере, а у нас — правда, неофициально — это было всегда! Гул становился непрестанным — все, это уже не случайность, пора вставать, вплетать звук своей трубы в общий оркестр!

После завтрака возвращались в номер, завин-

чивали лист в машинку. Вот на эту стройную сосну с бронзовыми чешуйками прилетел однажды большой черно-бело-красный дятел, стукал, но как-то вопросительно, носом по стволу, весело косил глазом в мою сторону... потом вспорхнул — и, словно нырнув вниз, показался на моей фортке, посидев, перепорхнул вдруг на мою машинку... и прилетал каждый раз, когда я тут появлялся, садился на машинку, долбил по клавишам и худо-бедно надолбил за эти годы восемнадцать книг! Традиционный уже вопрос: кому все это мешало?

Ладно, об этом забудь. Твои лирические излияния могут остаться не при деле: издатель другой пошел — крепкий, мускулистый, слезам не верит. На последней книжной ярмарке, в которой я участвовал, после заключительной пьянки произошла гигантская драка: издатели бились с охранниками. Драка длилась почти час, и в результате охранники, набранные в основном из силовых структур, были вдрызг разбиты издателями. Вот такой нынче издатель пошел! И надо не уступать ему по возможности... а повторять: «Культура... культура!!» Бесполезняк! Во рту от этого слаще не станет! На данном этапе культуры мне надобна часть ее шкуры!

Кстати, на ярмарке той те самые издатели пошли мне навстречу со страшной силой: предложили почему-то написать книжку о знаменитых пиратах, неожиданно — о моем деде-академике (откуда узнали?) и совсем неожиданно — об англо-бурской войне... глаза не разбегаются, а буквально — сбегаются. Главная была их идея: как раньше не пиши! Прими вторую молодость, скачала начни!

На данном этапе культуры мне надобна часть ее шкуры...

Неожиданно хлопнула форточка, из многих прожитых лет здесь я знал уже: открылась дверь. Я обернулся.

Появился Гиенский, скорбно-многозначительный:

— Сидим ни о чем не ведаем?

— Ты о чем?

— Ничего, значит, не знаем? Понятия, значит, не имеем, что все они, — скорбный кивок на дверь, — *тебя* директором хотят поставить?!

— Меня?!

— Не знал? — усмехнулся Гиеныч.

М-да. И мне, значит, предстоит как-то утолять все эти уязвленные самолюбия... Но как?

Мгновенье славы настает!.. а у меня вдруг — не

встает.

— Нет, честно, не имел ни малейшего понятия. Скажу больше: отказываюсь.

— Та-ак, — проговорил Гиенский. — Ты лучше, чем я о тебе думал!

Принять это как комплимент — или как оскорбление? Скорей все-таки как второе.

— Все! Пошел! — Я стукнул дверью.

И пошел, и пошел. Вдруг в кустах возле дороги что-то затрещало, тень метнулась ко мне... медведь-шатун? Фу! На самом деле — очаровательная женщина! Перестал уже отличать! За те годы, что мы не общались тесно, она почти не переменилась — лишь поднялась на голове взбитая, как торт, прическа ответственного работника.

— Привет, Анжела... Вадимовна!

— У меня к *вам* просьба...

Неужели тоже будет просить возглавить? Сердце, до этого неподвижное, слегка зашевелилось... Мгновенье славы настает?

— Познакомьте меня... с вашим другом... с которым вы сегодня вошли, мне он показался *единственным* порядочным здесь человеком!

Да-а... меняются ориентиры!

— Сами знакомьтесь! — рявкнул я. Потом все же вежливо добавил: — Он у Каюкина... Всего

вам доброго!

Возвращался я пешком по шоссе. На машине дорого получается ездить! Вспоминал многие обиды... на той же ярмарке, где была драка... разговор двух шикарных теток — директрис книжных магазинов: «Пушкин? Ну, пошел... Но — не побежал!» Еще им надо, чтобы побежал, иначе — неинтересен!

Да — есть, слава богу, чем растравить душу!

Перед выходом в этот ночной бросок я зашел еще в общую телевизионную — проститься. Все там мужественно делали вид, что абсолютно ничего не происходит, просто собрались интеллигентно вечерком у телевизора. Но все уже, увы, было по-другому! Взять хотя бы сам телевизор. Только мы уселись кружком смотреть новости на нашем любимом прогрессивном телеканале, как изображение вдруг начало дрыгаться, съезжать целыми пластами в сторону.

— Надо вызвать техника! — капризничал Гиенский.

Между тем монтер Дома творчества, который раньше быстро все исправлял, сидел теперь, нагло развалясь, в лучшем кресле (разве раньше он мог позволить себе такое?) и усмехался.

— Простите — чему вы радуетесь? — не выдер-

жал Гиенский.

— Да — видно, у ребят крупная разборка идет! — Даже не повернувшись к Гиенскому, тот любовался экраном. — Всю частоту своими радиотелефонами задолбали! Что делают! — воскликнул он ликующе.

Чья-то особо крепкая тирада, кинутая в радиотелефон, снесла полчерепа нашей любимой дикторше!

Я поднялся и ушел.

Солнце, оказывается, еще не полностью исчезло: блеснуло из-за моста над рекой.

И по красной воде,
По ошметкам заката
Проплывают заплатами
Тени цистерн.

На хуторе Аркана, видно, топился камин — дым слоем толщиной, наверное, в метр и к тому же наклонно висел где-то на середине стволов.

К Зеленогорску я подходил уже во тьме. О, слава богу, чуть посветлело, выскользнул совершенно юный месяц... Хотя радоваться гадко: тут вырублен лес!

Помню, как в прошлом году взбудоражила всех новость, что власти кому-то продали участок леса

возле шоссе. Потом вдруг выяснилось: болгарам! Почему болгарам-то?! А почему бы и нет? Новость эта горячо обсуждалась в народе, во всех местах. Мужики, заранее волнуясь, представляли, как все это будет происходить, представляли бурные контакты с братьями болгарами, споры за жизнь — наверное, небольшие драки, потом бурные примирения... И вместо этого — болгары приехали на *два дня*, спилили лес и тут же увезли. Большего оскорбления с их стороны быть не могло! Буквально плюнули в душу, раскрывшуюся навстречу!

— А еще славяне! — наиболее точно высказал общую боль дед Троха.

Я вдруг почувствовал толчок воздуха в спину и бензиновый запах: это Паша — в шутку, разумеется, — изобразил наезд, но в полуметре затормозил!

— Падай!

Я упал. Паша явно был в растерзанных чувствах: вот уж точно — с кем поведешься...

— Противно на тебя смотреть! — (Для того, видно, меня и подобрал.) — Толковый вроде парень — а даже колес не имеешь!

— Ничего! — пытался я убавить его боль.

— По идее, за день можно на тачку сделать!

Такие есть цепочки по недвижимости! Одну, скажем, старушку или алкаша передвинуть — и пять тонн баксов в карман! Но опять же: введи тебя в такую коммуналку — ты там такое «Прощание с фатерой» накарябаешь! — проявляя недюжинные знания в литературе и в то же время явно переоценивая мои потенции, проговорил Паша.

— Да нет... не напишу! Скорее уж — «Преступление и наказание»... И то навряд ли, — успокоил его я.

Но Паша уже не смог слезть с разбередившей его литературной темы.

— Я книжки там полистал — вообще уже! — захлебываясь возмущеньем, говорил он. — Разборки пишут, убийства... понятия не имея, как это делают! Считаю — надо иметь *моральное право* это писать!

Услышав про моральное право — в такой трактовке, — я чуть было не вывалился из салона!

Надо его уводить от литературных тем: опасное соседство! Мы проезжали мимо новомодного кемпинга. Прямо у обочины стояла стройная девушка, одетая явно не по времени: крохотная мини-юбка, распахнутая белая блузка. Писатель-гуманист встрепенулся во мне:

— Хочет, наверное, чтобы подвезли ее?

— Ну, если пара сотен баксов есть — подвези! — усмехнулся Паша.

Да, про пару сотен баксов неловко вышло: наша нынешняя встреча с того и началась, что обещал по своей линии отыскать украденное... а вместо этого я получил фактически коллегу-литератора. Как бы увести его с этой дороги, пока не поздно? Вернуть его к более привычным вещам?

— Но ведь ей холодно, наверное!

— А как ты советуешь ей одеться? Не за грибами же собралась! Ну, выдай ей валенки, тулуп! — куражился Паша.

Проехали.

— А одну там книжку видел — вообще!

— Слушай. — Я вдруг почувствовал жуткую тоску. — Где твой радиотелефон — хочу жене позвонить!

— В багажник кинул — противно его брать. Каюкин, писатель ваш, попросил тоже женке позвонить — и вместо этого туда харч метнул.

Наверное, это и был мощный залп, который снес любимой дикторше голову.

— Да... неудачно получилось, — чувствуя вину за своего коллегу, пробормотал я. — Извини, плохой день.

— Нормально: дэй как дэй! — равнодушно про-

говорил Паша.

Школа стресса

Проснулся я резко, на ранней заре, сосновый косогор за крышами был розовый. Пойти, что ли, туда? Раз уж проснулся... не сон был — какой-то резкий провал. Вынырнул, слава богу! Я поднялся.

Запыхавшись, я вскарабкался на косогор, тяжело дыша, огляделся. Но где же, интересно, пропадает пес — по ночам даже не является! Высмотрел самые дальние окрестности — не мелькает ли где в травах белый кончик хвоста? Увы!

И только пошел по тропке между молодых пушистых елочек — тут же рядом послышалось горячее, частое дыхание... Преданный, любящий взгляд снизу вверх... Примчался!

Но в наказание — даже не прикоснувшись к нему — домой не вернулся, шел как шел. Пес стал прыгать в восторге передо мною, пытаясь на лету заглянуть в глаза.

Мы подошли к даче друга моего Славы — самой богатой, пожалуй, на этой «полковничьей» улице. Бывший тесть Славы, заслуженный чекист, удачно использовал сложенные из валунов

стены старого финского коровника — получился уютный, солнечный, безветренный каменный дворик, патио, — раньше там поднимались террасами цветы, после смерти тестя все заросло каким-то мезозойским борщевиком, похожим на гигантский укроп. Слава с его худеньким сыном сидели за столом для пинг-понга, рисовали парусник. Со всеми своими женами — и детьми — сохранял самые прекрасные отношения: что значит веселый, интеллигентный человек!

— Ну что... легкий завтрак? — предложил я.

Пес начал выгибаться, как бы кланяться, касаясь острой грудью земли.

— Этот, видно, тоже голодный? — усмехнулся Слава.

— Пса я сейчас накормлю! — взволнованно проговорил чудесный его сын.

— А уж что останется — мне!

— Ну, садись, раз уж пришел! — улыбался Слава. — В ногах правды нет.

— Но правды нет и выше!

Грустно усмехнулись. Старая, проверенная шутка.

Слава, по идее, самый успешный из нас — хотя успеху его трудно завидовать. Был доктором физических наук, как было принято в ту пору,

управлял ураганами — потом оказалось, что это не нужно. Тут Слава заболел — самой жуткой болезнью, — лег на операцию... Мы уже мысленно прощались с ним, спускаясь по холодной мраморной лестнице Военно-медицинского, мимо изящных бюстов знаменитых хирургов. Предстояло много вырезать... если и удачно получится — что вряд ли, — то какая уж после этого жизнь?!. Оказалась — самая та!

Поначалу Слава лишь получал, как крупный ученый, с помощью своих коллег за рубежом запчасти для своего организма. Потом они, с удивлением поняв, что он кой-чего соображает — и не ворует (мог бы свои собственные запчасти воровать и продавать — многие так и делали, но не он: все-таки совесть и разум оказались), назначили его командиром местного отделения международного фонда. Потом, как один из популярных деятелей светлой поры (пора была такая — наши побеждают! в бородах, в джинсах!), избрался в городское собрание. И там уже, видя его авторитет, назначили его председателем Иностранной комиссии. Брифинги, приемы — красивая жизнь!

— Когда на прием какой-нибудь пригласишь?

— Ну... будет сегодня обед... в честь министра

транспорта Новой Зеландии... но ты-то тут при чем?

— Годится! Когда приходить?

В прошлый раз был министр экологии Гренландии — отличный, кстати, мужик. Немножко, правда, был удивлен вниманием столь широкой общественности к его работе — а также к закускам... новозеландец, надеюсь, будет не хуже? — уже слегка обнаглев от изысканного Славиного завтрака (пополам с моей собачкою), размечтался я.

Слава «расстегнул» гараж.

— Ну... тебе в город не надо?

— Надо вроде бы... — Я тяжко вздохнул. Веселые там дела!

— Что вздыхаешь-то? Бабы замучили? Ты же у нас ходок!

— Какой я ходок? Я хот-дог!

Но такая трактовка моего образа, не скрою, порадовала меня.

— Ладно, поехали... За сумкой только заскочим.

В дороге Слава энергично рассказывал, как они готовятся к выборам мэра, готовят машины, чтобы в случае необходимости привезти больных...

— Самое трудное будет — здоровых привезти!

— не выдержал я.

Слава глянул на меня строго, но сказать ничего не успел — мы вылетели на сложную дорожную развязку, называемую «коровий желудок». Конечно, при высоком его положении Слава был просто обязан время от времени восхищаться радостными переменами в окружающей жизни.

— Нет, ну ты скажи, раньше — мог бы ты сдавать квартиру финке, за валюту? Скажи!

Но раньше и не было такой необходимости — сдавать! Мысль эта, очевидно, одновременно пришла нам обоим в голову — мы долго молчали.

— Нет, ну вот смотри, — снова завелся Слава. — Мужик за рулем грузовика — а в галстуке, шляпе! Раньше могло быть такое?

— Да... это сдвиг!

— Высади у дома... Надо позвонить! Спасибо. На банкет, может, зайду! — пообещал я.

— Только не напивайся, как в прошлый раз! — улыбнулся Слава.

Я зашел в свой холодный двор, обтянутый мхом, как бархатом театральная ложа... глянул с тоскою на окна... зачем-то цветы переставила... Ну, хватит маяться перед собственной дверью — надо идти!

Вряд ли Кайза расщедрится — за месяц вперед уже заплатила... вряд ли мне обрадуется. Хотя думаю, что стрессов, которые она приехала сюда изучать, ей вполне хватает... ну ничего! Добавим! Не жалко!

Поднявшись, робко нажал звонок, прислушался. Тихо. Ушла, что ли, с ранья? Или — моется? Еще раз позвонил, вставил ключ — и почему-то с замиранием сердца открыл собственную дверь. Воровато вошел... Как хочу, так и вхожу! В свою квартиру имею право входить и воровато!

Быстро прошел по коридору. Ясно — шум душа. На столе — отличнейший харч! Что-то мало она, по-моему, получает тут стрессов: завалит работу.

— О! Здравствуйте! — без особого восторга.

— Да проходил тут... в Законодательное собрание... решил зайти!

— О, конечно, конечно! Садитесь — сейчас будем пить чай!

Стройная — несмотря на возраст, строгая, как у них это принято, и, видно, решительная женщина... раз приехала сюда. Улыбается — уже привыкла: одним стрессом меньше, одним стрессом больше — ей это тьфу!

— Разрешите, я позвоню?

— О, конечно, конечно!

В этот раз уже улыбка с натугой вышла. Знает: телефон в руках русского — это страшный аппарат! Польются неприятности. Но — стойко разрешила. Кинув при этом, однако, жадный взгляд на компьютер, притулившийся тут же, на обеденном столе. С кислой улыбкой набирал я заветные цифры... Хоть бы никто не поднял трубку! Но что это будет означать? Уж хорошего точно ничего! Гудки, гудки... прервались. Дыхание.

— Привет... это я.

В ответ в трубке только дыхание. Хорошо общаемся!

— Я... скоро приеду.

— ...А зачем? — тихий, еле слышный голос жены... умирает, что ли, там?

— Но я же твой муж!

— Разве?

Поговорили!

Кайза улыбалась все более натянуто, косилась на компьютер. Вдруг — какая-то возня, вскрики — там, у телефона, — и голос дочурки:

— Папа! Не слушай ее! У нас все нормально!

Дочурка появилась, после десятидневного отсутствия? И что она появилась там и как бы сразу возглавила — это, пожалуй, даже и умно! Хоть кто-то умеет рулить в этом хаосе!

«Формально все нормально?» — как говорили мы когда-то...

Снова какая-то борьба у трубки, и — рыдающий голос жены:

— Нормально?!. Она говорит, «нормально» — да? Ты знаешь, что сегодня ночью сделала эта... больная?

Любимая теща?

— Что?..

— Что? Свернула газовую плиту — тоже тащила ее к двери! Мы чуть не умерли от газа!

Снова борьба за трубку. Басовитый голос дочери:

— Не слушай ее, папа! Газ уже перекрыли!

Газ... Да, неслабо!

Улыбка буквально застыла на лице Кайзы: ваши личные стрессы меня не касаются... читалось так.

— Ладно... скоро приеду! Что привезти?

— Подожди... — после долгой паузы произнесла дочь как-то глухо. — Звонил твой отец...

Так. Прекрасно. И что там еще?

— Лиза погибла.

— Погибла... как?!

— Попала под машину!

О господи! Батина жена... после операции на

глаз с той стороны ничего не видела... оттуда и налетела смерть!

— Просил тебя срочно приехать...

— Ну ясно... — (Да — это я удачно позвонил!) — Держитесь... скоро приеду!

Повесил трубку... А с чем я приеду — они ведь ждут хотя бы еды! Повернулся к Кайзе. Она встретила меня стоической улыбкой.

— Вы знаете... моему мужу... как это сказать?.. десять дней назад делали операцию... как это сказать? Открывали?.. отворяли голову... это очень дорого...

— ...Ясно... всего вам доброго... До встречи!

Я двинулся к выходу. На лестнице, пока я дома беседовал, кто-то нассал, несмотря на запор на парадной двери, который я так упорно тут устанавливал! Все почему-то были против! Полное отчаяние!

Но видно, что наведался интеллигентнейший человек: культурно нассано, в форме Италии!

Победа разума над мертвой техникой.

Я вышел из-под темной арки на улицу — и буквально ослеп, зажмурился от яркого света, горячие слезы заструились по щекам.

Ну? Куда податься? С какого несчастья начать? Глядишь, тут гурманом сделаешься!.. Начнем,

думаю, с самого горького...

Поглядел на свое отражение в витрине шикарного магазина «Мон Пари», сравнил себя с манекеном на витрине. Нет — он пошикарнее одет, хотя вряд ли у него больше заслуг перед отечественной словесностью. Одеваюсь нынче исключительно на Сенной, из одежной горы, называемой «Одежда на вес». Купил недавно двести граммов штанов. Донашиватель!

Ну, поехали — дела предстоят трудные. Денег, правда, нет — придется исключительно на самообладании!

— ...Лучший писатель современной России... Василий Слепынин!

Что приятно — на Сиверском направлении электричек уже другой!

...Медленно пятясь, к бетонной площадке перед Институтом селекции подъезжал крытый брезентом грузовичок «газель» — с самым страшным грузом, какой только бывает!

Сотрудники торопливо установили прямоугольником стулья — и «груз» выплыл из тьмы.

Когда отец ушел из семьи и переехал сюда, я, помню, сильно переживал. Теперь «причина» того события, ныне маленькая пожилая женщина,

лежала в этом продолговатом ящике, который с подчеркнутой тщательностью сотрудники устанавливали на стулья...

Родственница в черной косынке, как видно имеющая опыт в этих делах, показала жестом: снимите крышку. И все увидели... нет — покойные мало похожи на тех, кто жил.

Директор института открыл панихиду. Из его речи выходило, что покойная (великий селекционер!) накормила своими сортами картофеля всю Россию, так же как муж покойной (мой отец) накормил всю Россию черным хлебом (поклон в его сторону).

Родственница поправила упавшую набок голову мачехи, и — все вздрогнули: голова подвинулась удивительно легко, словно не имела тяжести.

Вышел батя, абсолютно как бы спрятавшийся в черном костюме, глубокой шляпе, темных очках, и глухим, размеренным голосом произнес доклад о заслугах покойной — примерно как на ученом совете.

Дальше образовалась очередь желающих выступить — у них все выходило замечательно, непонятно было, откуда могли взяться страдания и переживания покойной, связанные с инсти-

тутом.

Отец, неподвижно застывший у ее изголовья, вдруг поднял руку и согнул пальцы... Подзывает меня?

— Закругляй это дело. Через пять минут — отпевание в церкви!

Спасибо за доверие — дело нелегкое, но нам не привыкать!

Я вышел к изголовью, плечом отодвинул какого-то седенького академика, уже шевелившего губами, но не начавшего говорить, и зычно произнес:

— От имени родственников покойной благодарю всех за участие в этой скорбной церемонии и приглашаю на отпевание, которое состоится через пять минут в местной церкви!

И сделал правой рукою плавный жест.

Свет косо падал через церковное окно. Дым из кадила плыл, медленно изгибаясь. Пение оборвалось. Батюшка с громким шорохом свернул трубочкой бумажку с молитвой и вставил ее в сложенные руки покойной. «Путевка в смерть».

Разлили по рюмкам. Объявили минуту молчания. Тишина тянулась долго и вдруг прервалась коротким бульканьем: кто-то пересмотрел свои

возможности и подлил еще.

...Все тебе надо замечать.

В следующей электричке, несущейся уже по петергофской линии, я чувствовал себя довольно уверенно: окреп на похоронах.

И даже, расслабившись, отдохнул немного: только на транспорте и получается — отдыхать. Тем более никакого «лучшего писателя современной России» тут не продавали.

— Ну что у вас? Простейшую проблему не можете решить? — Я с ходу набросился на жену и дочь (нападение — лучшая защита). Но, кажется, переборщил — и так у них дрожат руки и губы.

— Каждую ночь раза по три неотложка приезжает. Делают ей укол, она оживает — и снова мебель двигает!

Жена крохотным кулачком утирала слезы.

— Бабушка! Прекрати! Ты не видишь — Валера приехал! — рявкнула дочь.

Но бабушка, не обращая на меня ни малейшего внимания, сидела за столом и, улыбаясь, рассказывала о каком-то Михаиле Ивановиче — неизвестно кому, — который «повел себя некультурно»... видимо, еще до войны?

— Сказали, что больше не приедут! Говорят

— сами с ней разбирайтесь! — всхлипывая, проговорила жена.

— ...какие-то вы странные! — прорезался кокетливый голос тещи.

— Ладно! Я сейчас! — Я выскочил на улицу и сразу почувствовал облегчение, почти счастье — лишь бы оттуда уйти! А они уже там вторую неделю — и не могут выйти: тут же будет забаррикадирована дверь.

Через фортку до меня донеслось дребезжание тяжелой мебели и срывающийся крик дочери:

— Прекрати!

...Надо идти.

Жизнерадостно улыбаясь, я заглянул в кабинет:

— Разрешите?

— Прием окончен! — прохрипела усталая красавица.

— Я лишь на минутку! — Очаровательно перед нею уселся.

Уж я умею делать такие дела!

— Я по поводу Костровой...

— Я уже говорила... вашим: госпитализация этой больной нецелесообразна. И еще: если бы ваши жена и дочь разговаривали нормально!

— Вы что, не видели: они же там погибают!

— Это их проблемы!

— И после этого вы называете себя доктором! — Задрожав от ярости, выскочил.

Идиот! Называется — «все устроил»!

Спокойно! Перейдя заросший травой дворик, я уселся передохнуть на ступеньках морга — больше, к сожалению, негде: чем плохое место? Зимой забирали тут тестя. Второй морг за сегодня. Сравнительный анализ моргов: нет — этот красивше, стариннее! Поднялся со ступенек... Вперед!

— Все! — шепнул я жене. — Договорился. Сейчас ее увезут!

— Как? Прямо сейчас? — Подбородок ее снова затрясся.

— А когда?.. Никогда?!

— Молодец папа!

Хоть кто-то ценит!

— Пойдем... скажем ей!

— Нет! — Жена отчаянно замотала головой. — Пусть лучше так... неожиданно.

Мы вошли в комнату. Теща оживленно рассказывала кому-то о своей жизни в Париже (хотя никогда там не была).

Мы в основном слушали другое: шум машин за окном. Задребезжали стекла — мы кинулись

к окну...

Нет! Другое... Хлебный фургон.

Мы снова сидели молча, слушая ее плавную речь.

Снова задрожали стекла... То! Белый пикап с крестом.

— Доченька! — вдруг жалобно проговорила теща. — Ты не сделаешь мне чайку?

Жена с отчаянием глянула на меня. Я кивнул. Она ушла на кухню — и раздалось мирное, успокоительное сипение крана.

И тут же брякнул звонок.

— Почему так долго не открываете?

— Извините! Вы видите — трудно пробраться! — Я показал на загромоздившую прихожую мебель.

— Вы что — переезжаете?

— Да нет... это все она.

Прости меня, господи! Но — единственная просьба: пусть судят меня те, кому так же тяжело!

Санитаров было двое: один хороший — вдумчивый интеллигент в очках, второй — нехороший, пьяный и небритый. Вдумчивый сразу же подошел к теще:

— Скажите: вы *хотите* ехать в больницу?

— В больницу? С какой стати? Вы что — ненормальный? — проговорила она надменно.

Вдумчивый резко повернулся и стал уходить.

— Извините... как же? — Я растерянно преградил ему путь.

— Без согласия больной мы не можем ее госпитализировать! — взволнованно произнес «хороший». — Теперь это делается лишь с их согласия!

Благородно...

К счастью, он стал накручивать диск — и, к счастью, там все время было занято.

Я кинулся к «нехорошему»:

— Помогите... А то мы все погибнем тут!

— Вы что ж... не понимаете? — Он добродушно улыбнулся черными зубами. — Надо ж немножко дать!

— Нету! Обокрали в электричке вчера!

— Обокрали? Идиот! — как всегда вовремя, встряла жена.

— Молчи... дура! — Отчаяние, которому раньше некогда было выплеснуться, выплеснулось сейчас. И пригодилось — не зря берег!

«Нехороший» смотрел на нас. Мгновение это, кажется, длилось целый век.

«Нехороший» подошел к «хорошему», надавил

на телефонный рычаг.

— Ладно, Алексеич! Берем!.. Одевайте больную!

Надо уметь что-то делать хотя бы из отчаяния, если не из чего больше делать! — подумал я.

— Так... А где белье ее? Где платье? Что — нельзя было приготовить заранее?

Мы подло заметались по комнате. Господи, прости нас!

В черном костюме, белом платке на голове тещa вдруг показалась такой же красавицей, какой была когда-то...

Мы смотрели в окно — как ее, статную, красивую, ведут к пикапу. Единственное спасение в такой жизни — вставить в глаз уменьшительное стекло... А об увеличительном пусть говорит тот, кто горя не видал!

Под хлещущим проливным дождем мы бежали в полной тьме от станции к даче, ввалились на террасу — и не успели закрыть дверь, как ворвалось какое-то существо, вобравшее в себя, кажется, все струи, — и оно еще радостно прыгало на нас! Пес весело бил лапами нам по плечам, оставляя глиняные отпечатки, страстно дышал, лез целоваться. Запахло псиной, повалил пар.

— Все, все! Успокойся! Мы здесь!

Придя наконец в горизонтальное положение, радостно затряс шкурой — и если бы мы не были насквозь мокрые, то полностью вымокли бы сейчас.

— Ну все! Прекрати! Спим!

Он послушно улегся на полу рядом...

Среди ночи он вдруг вскинул уши... Медленный скрип замка... и страшный грохот — задребезжали все стекла террасы, словно от близкого грома. Мы выскочили в прихожую. Пес пытался лаять, но от волнения звонкий его голос куда-то делся, и он лишь виновато чихал. В прихожей медленно поднимался с колен какой-то Голем — гигантский глиняный человек, в нем тускло отражались вспышки молний... Кого-то он дико напоминал.

— Боб?.. Откуда ты?

Голем наконец гордо распрямился.

— Голубую глину искал... Только на голубой глине камин буду класть! — проговорил Боб и снова рухнул.

Собачья смерть

Я проснулся на косо освещенной красным солнцем террасе, поглядел на сладко спящих жену и дочь. Они здесь, в тишине и покое! Может ли быть более отрадная картина?

Не хватает, опять же, одного только члена семьи: вчера страстно клялся в любви, визжал и катался вверх брюхом, требуя ласк, — но чуть рассвело — все же не удержался: встал вертикально, надавил лапами на дверь (зная его подлую натуру, я уже и не запирал ее на крючок), с тихим скрипом отворил — и, подняв трубой хвост с белой кисточкой, радостно умчался. Мол, если все так отлично, то почему бы и не погулять?

Я вышел на крыльцо. Капли, оставшиеся от вчерашнего ливня, свисали с веток, наливаясь желтым.

Ага! Явился не запылился! Сияя очами, высокими длинными прыжками из цветов, поднимающихся над лугом, белая, серебряная грива сдувается набок. Стоп! Выскочил из травы на тропинку и, увидев меня, изумленно застыл, как на картине, — анфас, но чуть боком... любит себя показать: тонкая, гордо поднятая морда,

серебристо-белая на конце, огромные, черные, насмешливые очи, стройные ноги в белых «носочках» — и главное, ярко-рыжая богатая шуба, так очистившаяся здесь на воздухе, сверкающая, как медная проволока... Красавец, красавец!

— Ладно уж! Заходи!

Радостно тявкнув, прыжком подлетел к воротам, прогнувшись, как молодой, шнурком проделся под воротами — и замедленными прыжками, сияя шубой, чуть снесенной вбок, бегом полетел к крыльцу.

— Заходи уж! — открыл дверь. — Господи, мокрый-то!

Я вспахал пятерней его шерсть — резко запахло псиной, и поднялся целый рой каких-то полупрозрачных точек... и на кисти у меня вдруг вздулся белый волдырь.

Комары! Ты еще и авианосец комаров! Будто они сами летать не умеют: вон обсели весь потолок... Уйди! Отпихнул его — но он и это принял как ласку, стал прыгать, класть лапы на плечи, приблизя свой черный блестящий нос к моему рту, страстно вдыхал.

— Ну — что тебе? А! Не ел, честно, ничего! Ей-богу — не ел!

Повернувшись, случайно задел тихо брякнув-

шую его «уздечку» на гвозде, что вызвало новый всплеск эмоций: радостно визжа, подобострастно заглядывая снизу в глаза, забегал по половицам туда-сюда... Ну? Идем? Ну когда же? С отчаяньем гулко грохнулся на пол, словно мешок костей.

— Ну ладно уж! — снял с гвоздя поводок с ошейником.

Полное ликование, прыжки, вой!

— Ну все, успокойся!.. Сидеть! Дай хоть ошейник напялить!

Уселся, как воспитанный пес, дал натянуть ошейник. Удивительное творение! Кроме круглосуточного шлянья по местным красавицам, требует еще и обязательной чинной прогулки с хозяином, как преданный, благонравный пес. И в этом нельзя его винить — ведь есть же у него хозяин! И он об этом помнит! Хотя и не всегда!

— Красавец! Какой красавец! — неслось изо всех калиток, к сожалению не про меня.

Пес шел чинно, смиренно, стараясь ступать нога в ногу со мной, терпеливо за эти полчаса искупая все свои прошлые — и будущие — грехи.

Грехи, конечно, были — но то все были грехи любви.

Бывало, крался за тобой по дороге, в тени кустов, до самой станции, где машины, воры, бандиты и

где породистому благородному псу делать нечего. Хитрость его, эти прятки почти на виду были так трогательны (может, специально так делал?), что не было никаких сил его разоблачить. Но вот уже пошла криминальная действительность: рынок, гортанные голоса, продавцы шапок, сделанных явно из собачек. Я резко поворачивался:

— Ты здесь? Я сказал тебе — немедленно домой!

Он застывал, словно пораженный громом... Так вроде прятался, а все равно — разоблачен.

Опустив голову книзу, поджав хвост, он горестно уходил по дороге к дому... и снова крался вдоль лопухов!

— Ну, ты получишь у меня!

Это уже на базарной площади... виновато спрятался за ларек.

И когда, весь уже поглощенный предстоящими тягостными делами, идешь по платформе — он вдруг радостно вылетает тебе навстречу, развеваясь как знамя, и на всякий случай застывает неподалеку, поедая тебя счастливым взглядом, широко размахивая пушистым хвостом: мол, вот как я тебя люблю — не могу расстаться!

— Красавец! Какой красавец! — Хмурые люди начинали улыбаться, обтекая его.

— Ну, молодец, молодец! Доволен?.. Иди!

Иногда видел его еще и из электрички — он выскакивал из чистого соснового леса, пробегая напрямик по диаметру, снова к железнодорожной линии... не всегда, правда, успевая — но я, выехав из-за поворота, глядел в ту сторону всегда: выскочит ли? Замечал, городские дела лучше шли после этого!.. Грех ли это?

Но сейчас он чинно вышагивал рядом, стройными ногами в белых носках, собирая со всех сторон комплименты, сосредоточенно искупая примерным поведением бывшие (будущие) грехи. Знал бы он, что искупление будет гораздо тяжелей!

Еще проходя сквозь калитку, я жадно, почти как Тавочка, всосал запахи: ага! пахнет гнилью и слегка уже — грибами! так! Я снял с частокола целлофановый мешок, наполовину налитый дождем, с темнеющим в середине ржавым ножом... вдруг что попадется? «Грибники ходят с ножами»! Название моего следующего произведения... пока, правда, не знаю, о чем.

И только мы вошли в лес, я стал жадно внюхиваться, как пес: откуда веет?

Но перед Тавочкой, конечно, открылась картина побогаче. Он страстно куда-то меня тянул — и

вдруг остановился, застыл, с ходу ударившись о какой-то запах. Потом жалобно заскулил: ну?.. пустишь?

— Ладно! Беги! — Я отстегнул его, и он исчез, как молния, хруст веток недолго был слышен! И снова стал нарастать: кругами носится! Вот выскочил, встрепанный, сгоряча даже не признав, злобно облаял — меня, хозяина! — и тут же, поняв свою ужасную ошибку, мгновенно начал лаять куда-то вдаль, показывая, что никакой ошибки и не было — он сразу облаивал того, дальнего, но коварного врага.

— Ну, молодец... молодец! Беги!

И он унесся. Надеюсь, не навсегда? Надеюсь, эту, официальную, прогулку он не захочет испортить?

Уж лучше бы он ее испортил! Но кто же знал?

Пес продемонстрировал свою преданность... и на этом погиб!

Гулял бы безоглядно — и был бы жив. Явился показать свою любовь — и погиб!

Но, может, оно и лучше — погибнуть именно так?

Принюхиваясь так же страстно, как Тави, я сполз в осклизлый, гнилой, душистый овраг. Где-то здесь что-то есть! — я жадно озирался в

овражной мгле. Видимо — на самом дне, в гнилом буреломе.

Я поднял хрустнувший на весу гнилой ствол, ржавый изнутри. Ага! Открылась целая банда желтых, опят, сросшихся пятками. Дрожащей рукой я вытащил из целлофанового мешка ржавый нож, срезал понизу это сокровище, опустил в мешок. Так! Я пошел дальше во мглу оврага, поскальзываясь, сохраняя равновесие. Но дальше ничего больше не было, только комары, казавшиеся белесыми в этой мгле... притом почти бесшумные... лишь результаты — белые желваки — вздувались на руках. Поскольку «сокровище» было выбросить невозможно, я с ненавистью плевал на руки, чесал волдыри ножом... Ну все! Счастье кончилось — надо выбираться!

Плоские желтые свинухи, как летающие тарелки, шли на штурм муравьиной пирамиды, та отплевывалась какой-то белой пушистой гнилью: первые свинухи уже погибли.

Я выбрался на край леса, как раз к свалке... Какие богатства раньше выкидывали — почти целые холодильники, всего с одной отсутствующей ножкой столы.

Ну что — мой юный друг бросил меня?.. я огляделся. Уж лучше бы бросил! Но кто же знал! Я

тихо свистнул — и Тави ярко-рыжим костром вылетел из зарослей, страстно дыша, заглядывая в глаза: я ничего! Я только на минутку!

— Ну, ты... притвора!.. Ладно, пошли!

Он пристроился рядом — и мы, являя образен благочиния, пошли по улице.

Мы шли мимо Пашиной калитки: из распахнутой дверки его броневичка неслась песенка про «несчастного Коляна».

С крыльца к нам спустился важный Боб, чистый флигель-адъютант, не хватает лишь аксельбантов!

— Зайди! Паша там кое-что надыбал для тебя!

До чего ж не хочется — но вдруг действительно? Денег нет ни копейки, а скоро проснутся — ежели уже не проснулись — жена и дочь. Что я им предложу? Господи, когда мы только усвоим: не будет от них помощи, только беды!

— Пса не бери!

— Почему... боится? — идиотски торжествовал я.

Я чуть приоткрыл калитку, и нетерпеливый, жаждущий разнюхать что-нибудь новое Тави просунул рядом с моим коленом шелковистую башку и затем уже проструился весь.

Я поднялся на крыльцо и приоткрыл дверь.

Пардон, момент интима: пышная блондинка прильнула к Паше, он лениво гладил ее по заду радиотелефоном.

В этот момент что-то пихнуло меня сзади под коленки, и я стал заваливаться с крыльца назад, потом на какое-то время все исчезло — видно, стукнулся головой о кирпичи, воткнутые острым кончиком вверх по краю клумбы.

Очнулся я от наползающего ужаса: по мне, от живота к горлу, передвигалось на хиленьких ножках мерзкое существо — Пашина «тряпичная игрушка», с непропорционально большой головой, тусклыми сонными глазками, но довольно страшной — особенно в упор! — зубастой пастью. Белесое существо с розоватым, почти голым тельцем, с черной пиратской косынкой возле уха. Глазки были настолько тусклые, скучные, что было ясно: вопьется мгновенно, на лай, прыжки, рычанье, как это бывает у простых псов, времени и сил тратить не станет! Загораживаясь, я поднял ладошку.

Вдруг ярко-рыжее пламя налетело сбоку — я увидел рядом с лицом черную, подергивающуюся Тавочкину губу, обнажившую клык... на горле у него что-то висело, похожее на мешочек с мукой.

Господи! Этот успел-таки впиться! Яростный

ком покатился по клумбе, только и виден был один Тави, прыгающий, яростно рычащий. Ясно было, что он побеждает: кто еще-то? Того даже и не видать!

Но прыжки все замедлялись, становились тяжелей — и вдруг Тавочка остановился прямо передо мной, опустив башку, — «кулек» продолжат свисать с его горла. И тут я вдруг заметит, что «кулек» не спеша, деловито перехватил зубами поглубже. Тави засипел, задыхаясь. По булыжной морде «кулька» заструилась темная кровь... явно — не его. Он лишь перехватывал поглубже. Господи — кто же так дерется: где рыцарский разгон, роковой романс, исполняемый с легким рычанием, красота боя? Все! Ушли эти красоты, никому они больше не требуются — важен лишь результат, пусть абсолютно некрасивый, — кому это нынче нужно? Молча задушит — и все! Я выхватил из кулька ножик, полоснул по белесой шее: рядом с ошейником проступила кровь.

Тавочка, размахивая шеей, сумел наконец отбросить врага. Тот поднялся на свои рахитичные ножки и, жалобно поскуливая, стал карабкаться на крыльцо: каждая ступенька давалась ему с трудом.

Господи, ну и уродина! Неужто пришел их

век?!

Тавочка лежал вытянувшись, горлом в пыли. Я подсунул ладони под косматое брюхо, с трудом поднял его, поставил на ноги... Слава богу — стоит! Глядишь — все еще и обойдется?

— Получил? — сказал ему я. — Ну, молодец, молодец! — Он стоял безучастно, опустив голову, — Молодец! Спас хозяина!

Он стал медленно падать набок.

Я схватил его под мышку, как волосатый портфель, и помчался к дому. Он свисал абсолютно безжизненно, лапы болтались.

Я открыл дверь на террасу, поставил пса на лапы... Стоит, слава богу! Вышла румяная, счастливая, наконец-то выспавшаяся жена.

— Ну, как погуляли? — улыбалась она.

Пес вдруг гулко закашлялся, и розовая пена пошла из пасти.

— О! — отшатываясь, закричала жена.

Вышла дочь — и сразу все оценила:

— Надо быстро делать укол — пошла в аптеку! Ни в коем случае не давайте ему пить!

Жена, семеня рядом с ней, что-то лопотала, совала деньги.

— Уйди, мама! — басом рявкнула дочь.

Стукнула калитка.

Мы вернулись на террасу — Тави лежал вытянувшись, с открытыми глазами, но абсолютно неподвижно... Куда он сейчас глядел?

«Волшебная дверка» в стене открылась, и вошел Боб. Что-то часто в последние дни открывается эта дверка! Только вот счастья нет.

— Слушай! Все с кабысдохом своим возишься? Паша ждать не любит!

Я посмотрел на него. Ну что такое?! Наверное, несчастья не были бы такими ужасными, если бы к ним не примешивалась еще и чушь!

— Что ему от меня надо?

— То твои дела!

Господи! За мои же двести долларов, украденные Пашиными же коллегами, он решил меня же замучить до смерти!

— Ты дала Насте... какие-нибудь деньги на лекарства?

— Откуда? — оскорбленно проговорила жена.

— А что ты ей там совала?

— У меня есть вот... четыреста рублей!

Я посмотрел на неумолимого Боба.

— Ладно! Иду!

И, кинув последний взгляд на неподвижного Тавочку, ушел за Бобом. Как легко и приятно уйти — в нелепой надежде, что ты вернешься, а уже

что-то улучшилось почему-то!

— Ну что?

Паша чистил ботинки. Из соседней комнатки вышел поглядеть на обидчика Пашин пес, с забинтованной, как у ребенка, шеей.

— Есть тут некоторые наколки! Едем!

Да, молодец я: за какие-то двести долларов получил дивное право — то и дело кататься на его машине!

— Слушай — ты достал уже меня с твоими двумя сотнями баксов! — проговорил Паша, когда мы выехали на улицу.

Похоже, что в этой истории удовольствия не получает никто.

Мы ездили целый день, по окрестностям — с некоторыми Паша предварительно договаривался по телефону, к некоторым подваливал резко. Многое удивляло — например, с беззубым и оборванным, что сидел, выставив вперед рваные опорки, на поребрике вокзального сквера, разговаривал почтительно и долго. И наоборот: с суперменом, одетым в шлафрок с райскими птицами, впустившим нас в свой кирпичный замок, построенный в стиле тюрьмы «Кресты», лишь после долгих переговоров с помощью техники, Паша говорил резко и грубо... Их не поймешь...

но, оказывается, тут немалая их «прослойка»!

После очередного неудачного визита я внутренне сжимался: неужто — все? Возвращаемся на дачу? Что там произошло за эти часы? Навряд ли что-то хорошее! Однако ужас мой в очередной раз рассеивался — Паша, тыкая пальчиком, набирал следующий номер:

— Тема есть!

Оказывается, совсем рядом существует целое поселение кавказских беженцев — за болотом, в полусгнивших дачах какого-то бывшего промышленного гиганта.

Тема есть... но содержания — нету. Очередной «конфидент», к которому мы являлись, пристально меня разглядывал и отрицательно качал головой: «Нет. У этого не брал! Такой мелочевкой не занимаемся!»

— Слушай, кого ж ты там надыбал? — шутил Паша. — Все у тебя не как у людей!

В общем, он был доволен, авторитет его подтвердился, видимо, отблеск его славы упал и на меня... в следующий раз точно уже ни у кого не поднимется на меня рука!.. разве что у «гастролера». Но это уже не так обидно — главное, чтобы не пострадать от своих!

Тавочка вроде бы дремал — неподвижный, но

веки вздрагивали: от мыслей... или от снов?

— Нет, не спит — просто закрыл глаза, — вздохнула жена. На столике уже теснился целый арсенал: батареи ампул в бумажных патронташах, бутылочки, в кастрюльке — разобранные шприцы.

— Молодец Настя. А где вообще она?

— В город поехала... там обещали ей... какое-то американское лекарство. Наши абсолютно не действуют! — Жена всхлипнула.

— Прекрати! Одни несчастья от тебя!

— Да? Это я с ним гуляла, когда загрызли его? Я?

— Слушай! Прекрати, а то схлопочешь!

— Ну давай! Бей! — Она отважно выставилась вперед.

Пес, абсолютно не реагирующий на наши баталии — даже жилочка не пошевелилась, вдруг резко поднял уши, когда гулко хлопнула калитка. Настю ждет — на нее только надеется... нас уже раскусил. Обидно, когда даже пес понимает твою несостоятельность и легковесность!

— Когда Настя уехала?

— А тебе-то какое дело?!

Да — если в обычной жизни мы еще как-то держимся, то горе мгновенно размазывает нас!

«И средь людей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

— ...Может, пойдем встретим Настю? — пробормотал я. — Тавочка вроде успокоился...

Но тут Тавочка поднял уши, а потом даже и морду: на террасу входила Настя с медицинскими пакетами — и сразу пошла работа. Пес уронил голову с протяжным вздохом — то ли надежды, то ли отчаяния: мол, поздно все это!

— Ты, как всегда, бестолкова: я же сказала — шприцы в воде не оставлять! Ты сможешь сделать укол?

Это она уже ко мне!

— Я?

— А кто же еще? Вот смотри. Берешь... соединяешь иглу и помпу... держишь так... попробуй!

Я попробовал.

— Нет, не так! Ну, ничего — у тебя получится! Мне, к сожалению, надо срочно уезжать!

— Куда это?

— Не важно! — твердо ответила дочь. Считает, похоже, что стала главнее всех? Ну ладно, пока что не будем нагнетать!

— Дальше, — кротко проговорил я.

— Пускаем из шприца фонтанчик... Вот так — чтобы не оказалось в нем пузырьков. Окажется

хоть один пузырек воздуха в уколе — быстрая смерть.

— О господи!

— Так! Теперь хватаешь кусок его мяса!

Настя ухватила часть его бока — и даже слегка перекрутила.

— Втыкаешь... резко, ударом! И плавно выжимаешь. Ну, понял? Теперь надо еще уколоть глюкозу — это вещь неопасная. Сможешь?

— Нет. Сделай уж ты! Хорошо?

— Я думала, ты сильнее.

— Я и есть сильней... но — в другом!

— Ладно! — Дочь снова поднесла шприц к псу — тот лишь протяжно вздохнул — страдая, но подчиняясь ей, надеясь теперь лишь на нее!

— Молодец, Настенька! — сладко проговорила мать, я тоже умильно улыбался: любые гримасы, любые речи — лишь бы не делать чего конкретного самому! Нет чтобы спросить строгим родительским голосом: а откуда ты, дочка, вроде бы увлекающаяся переводами, умеешь так удачно делать уколы? Потом, как-нибудь потом... а сейчас — пусть делает!

— Молодец, Настенька! — снова веселея (опять не надо делать ничего трудного), проговорила жена.

— Вот так вот! — Настя выдавила из шприца глюкозу, снова ухватила кусок мяса, потрепала его, помассировала. Пес закряхтел — то ли от боли, то ли от счастья.

— Ну... сейчас я приготовлю ужин! Молодцы! — Жена радостно упорхнула на кухню.

Постояв над успокоившимся вроде Тавочкой, мы тоже пошли туда. Отнюдь не самая комфортабельная кухня — Боб оставил лишь две скрещенные половицы над бездною гаража, — но и в такой кухне, оказывается, можно расслабиться, быть счастливыми. Жена подала нам сардельки — как бы из кипятка, но сохранившие внутри себя слой льда. Потом дочь абсолютно свободно закурила — мы не сказали ни слова: ее сила!

Она же, докурив, размазала окурок по блюдечку и пошла к нашему Тавочке. Я — чего никогда раньше не делал! — как бы помогал собирать посуду.

— Ой! — послышался Настин крик. Мы кинулись туда.

— Ой! А где же пес? — удивилась жена.

— Ушел, — хмуро пробормотала Настя.

— Но это, наверное, хорошо! — весело проговорила жена.

Веселье, оказывается, не всегда бывает самой подходящей субстанцией!

— Снова, наверное, носится со своими красавицами! — взбадривала нас жена, но взбадриваться почему-то не хотелось.

Мы сидели на высоком крыльце, отмахиваясь от туч комаров. Тучи! Тучи! Налетели буквально за день! В августе вроде бы их быть не должно? Много чего быть не должно!

По тропце вдоль ограды маленький лысый человек тащил упирающуюся козу на веревке... говорят, бывший знаменитый профессор... не коза, разумеется, а человек.

— Это не ваш пес там лежит?

— ...Где?

— Там, на болоте.

— Живой? — хрипло проговорила Настя.

— Да не очень, — деликатно проговорил профессор.

Тут и дочь всхлипнула.

— Ладно! — Я поднялся. Хватит прикидываться дебилом — пришел твой час. — Сидите! Я пойду один! Все!

Тропка в болото уходила прямо от калитки Боба. Я шел — все выше вставали камыши, под ногами смачно чавкало... нигде никакого пса!

Специально, что ли, прячется? Не любит уже нас? Или ему — уже не до нас?

Был один способ увидеть его через мгновение — где бы он ни находился и чем бы ни занимался. Способ этот, как и многое гениальное, был рожден бедой, предчувствием смерти. В прошлом году, когда ещё у нас бывали бурные застолья, я вдруг подавился костью леща. Хрипя и кашляя, а потом уже — громко сипя, я пытался сделать горлом невозможное — протолкнуть кость... глухо, не поступает воздух. Мысль: через сколько секунд — затмение, смерть? Через минуту? Уже какие-то прозрачные колеса катились перед глазами — видения из другого мира? В последнем отчаянном броске я выкинул себя на край луга — и страшный, нечеловеческий сип (гибнущего динозавра?) вырвался из глотки. Вроде не такой уж он был и громкий — вопли встревоженных друзей вроде бы забивали его начисто, — но Тави услышал. Стоя на краю луга — почему-то на коленях, — я вдруг увидал, как из леса выскакивает и мчится через луг с высоченной травой мой огненный ангел — стараясь как можно выше выпрыгнуть, чтобы заранее понять — что же там случилось?

Развеваясь как знамя, он подлетел ко мне — я

обнял его пахучую гриву — и одновременно проскочила кость!

— Молодец! Молодец! Спас меня! — Левой рукой я гладил шелковистую морду, торопливо вынюхивающую, что же здесь произошло, другою рукою вытирал с лица слезы и пот.

После этого, если он был нужен позарез, я научился повторять этот сип — к счастью, без кости в горле. Так было в прошлом году, когда машина была уже загружена, а он не являлся. Я вышел на луг и издал свой предсмертный вопль — и тут же он вылетел из леса!

Несколько раз после этого мы выигрывали у гостей, споря, что пес, не появляющийся сутки, будет тут через полторы минуты!.. жена тоже научилась имитировать этот крик.

Но сейчас — даже этот крик сможет ли вырвать Тави оттуда, где он находится?!

Ох!.. вот он! Совсем в болоте, в булькающей жиже, в высоких камышах. Он лежал, вытянув шелковые лапы и положив на них голову.

Услышав чавканье моих шагов, посмотрел снизу.

О боже! Раньше, бывало, он на бегу с досадой останавливался и сбивал лапой комаров с чудной своей морды. Сейчас он и лапу поднять не мог?

Глаза его стали крохотными, были залеплены гноем и комарами. Взял его длинную голову в руку, комаров всех передавил, вычистил глаза пальцем.

— Ну что, любимый?

Он жалобно заморгал.

— Ну? Чего ты тут разлегся? Пойдем домой?

Он смотрел, моргая все чаще, и взгляд его умолял: «А можно, я здесь останусь? Умру, исчезну бесследно?»

— Встать! — заорал я.

Он, качаясь, встал на ноги, превратившиеся в спички. Грудь, ставшая вдруг листом фанеры, вздымалась тяжело. Господи! Мгновенно исхудал!

— Ну, молодец! Пошли. — Я вернулся, почесал опущенную его башку за ухом и, не оборачиваясь, пошел.

Через минуту, не выдержав, обернулся. Пес, голова у земли, бока вздымаются, покачиваясь, шел за мной.

— Давай! Молодец! Иди, иди... Сейчас — мы поспим все вместе — и утром все будет хорошо!

Через минуту, снова оборотясь, я не увидел его на тропке. Где же? Ах вот! Он почему-то вошел в воронку с темно-ржавой водой, лакал вонючую

воду, одновременно увязая все глубже — пузыри, лопоча, уже смыкались у него над загривком, — но это, видимо, не волновало уже его.

Так, вспомнил я. Кто же мне рассказывал это? — если пес уже лакает грязную воду — значит, все: точно помрет.

— Фу! — Я выдернул его из жижи и, взяв под мышку — запросто уже помещался — и какой легкий стал! — вынес из болота на улицу, опустил его на лапы. — Иди!

Он постоял, потом зигзагами, головою почти по пыли, пошел.

Вся улица, обмерев, смотрела из-за калиток.

У калитки Паши он вдруг остановился, постоял и, приподняв чуть-чуть голову, тихо зарычал. Помнит своего врага! Молодец!

— Пошли!

Он, шатаясь из стороны в сторону, обогнул дом. Я торопливо размотал проволоку, распахнул ворота. Да — под воротами он уже не пролезет... а как пролезал! Я поднял лицо вверх: самый лучший способ удержать слезы.

Тави подошел к крыльцу и остановился перед ступеньками. Головой — зашевелились жилы — он дал лапе приказ: подняться! — и вместо этого упал набок.

Я взял его под мышку и вошел с ним на крыльцо. Жена и дочь сидели молча: они видели через стекла наш путь. Пес лежал на полу — и вдруг вскочил, в каком-то последнем ужасе. Он сильно дернулся несколько раз, от хвоста до морды, и его стало сильно рвать.

Мы сидели на стульях вокруг него, время от времени отворачиваясь, утирая слезы.

Он снова гулко свалился. Жена зарыдала.

— Чем вопить, взяла бы лучше швабру, вытерла бы блевотину! — заорал я.

— Сам вытирай! — рыдала жена.

Дочь молча принесла швабру, вытерла перед его носом. Чудесный пес, он даже изобразил — правда, только мышцами головы, — что сейчас поднимется, чтобы можно было убрать как следует!

— Лежи, лежи!

Он со вздохом облегчения уронил голову... Последнее счастье!

— Олимпийка! — глядя на него, проговорила Настя.

— Какая олимпийка! Пес его искусал! — закричала жена.

— Олимпийка... в детстве у него была. Кстати, я тоже тогда колола... в восемь лет! С тех пор анти-

биотики на него не действуют.

Пес задергался и, словно плывя на боку, загреб зачем-то под стол, там он задергался мелко-мелко, потом переплелся лапами с ножками стола, словно обнимая их — в какой-то последней надежде? — и затих.

— Ну, все! — Настя поднялась. — Надо быстро достать его, пока теплый, закоченеет — будет не вытащить!

Мы стыдливо молчали. Она подняла его.

— Простыню дай! — скомандовала она матери, и та послушно принесла.

Мы завернули Тавочку, ставшего таким легким, в простыню, Настя перекинула его за спину, и мы спустились во двор. Настя оглядела эту «вечную стройку капитализма», показала подбородком:

— Вон... лопату у ограды возьми. И вон ту палку с перекладиной!

— Палку-то зачем?

— Воткнем рядом с могилой. Букву Т!

— Зачем букву-то?

— Т! Тавочка.

— Ах да... Ну — ты голова!

Настя кивнула.

Похоже, я потерял пса, но зато нашел дочь.

— В сухое место несем.

Мы пронесли наш груз в белой простыне мимо Пашиной калитки, он курил на крыльце, но никак не прореагировал. Настя повернула в лес. Правильная идея: похоронить рядом с полем боя!

Уже в сумерках мы вышли из леса на улицу. Паши не было. А почему он, собственно, должен быть?

Жена сидела на стуле посреди опустевшей террасы и, увидев нас, снова зарыдала.

— Хватит тебе вопить! — сорвался и я. — Возьми хотя бы тряпку, вытри эту жуткую грязь!

Жена убежала, вернувшись с огромной разлохмаченной тряпкой, и, размахивая ею в тоненьких ручонках, завопила (наконец-то и она могла превратить хоть во что-то свою скорбь):

— Убирать, да? Убирать, да? Хорошо, я вытру все!

Я пригляделся к полу. Весь он был заляпан отпечатками его лап — пять круглых подушечек на каждой!

— Это — тоже стирать? — она указала на узкий черный след на двери, где он просовывал свою тонкую хитрую морду, расширяя щель.

Я махнул рукой.

— А-а.. Тебе лишь бы не работать! — пробор-

мотал я.

Всю ночь мы не могли уснуть — мы не уснули бы и в тишине, но всю ночь *оттуда* несся вой собак, лай, рычанье — и рев яростного многопесного боя! Видно, весь местный бомонд сбежался на его поминки, и кончилось, как и полагается, дракой! К утру жена наконец дозрела:

— Это... отведите меня... к Тавочке... на могилку! Положу ему туда... его мисочку! — мужественно проговорила она.

Уже на подходе к могилке что-то меня заставило вырваться вперед. Может, непонятные клочья белой материи, попадающейся все чаще?

Я сделал резкий рывок вперед — и остановился.

— Стойте! Не подходите сюда! Уходите! — заорал я. Они как раз показались на краю полянки. — Уходите! — Я махал рукой.

Настя, сообразив что-то, увела мать.

Да-а, псы ночью не просто тут лаяли и дрались: они вырыли Тавочку из могилы и терзали его! Кругом клочья простыни, из остатков ее торчит темно-рыжий разодранный бок, оскаленная — в последний раз — Тавочкина пасть.

И тут они не забыли его: сбежались мертвому мстить — за его острый победный запах, за его

красоту.

Дай, боже, и мне такого запаха — и таких врагов.

...Еще когда мы шли сюда — мимо Пашиного крыльца, — Паша и какие-то его дружки стояли и глазели — видно, Паша им все рассказал. В глазах их было веселое любопытство: мол, ну а вы-то сами как? Не собираетесь тоже на тот свет?

Мне показалось неудобным начать углубляться в лес, где была могила, прямо у них на глазах — Паша наверняка решит, что это мы демонстрируем, подчеркиваем его роль в гибели нашей собаки... Так прямо перед ним — неудобно. Могли бы понять это — отвернуться или просто уйти в дом. Но они продолжали смотреть — их это не так волновало, чтобы им пошевелиться. Неудобно почему-то было нам — мы не свернули прямо на их глазах, а пошли в обход, через болото. Каждому свое!

Потом я снова отправился на могилу Тавочки, треща кустами.

По дороге я прихватил с нашей «вечной стройки капитализма» полусгнивший столб — таранил его, прижав под мышкой, в другой руке между пальцев два листа ржавого кровельного железа... И если Боб скажет, что это нужно ему для великой

стройки, — загрызу!

Я бережно уложил Тавочку обратно в яму, засыпал разбросанной вокруг землей, положил кровельное железо и сверху навалил столб... Вот. Примерно вот так!

Боб повел себя неординарно. Он встретил меня у выхода из леса, и, хотя по грязной моей одежде наверняка понял, чем я там занимался, хищением его стройматериалов не попрекал.

— Ну что... жалко тебе твоего кабысдоха?

— Слушай, Боб! А можно посоветовать тебе жить — беспомощно, светло и немо?

Боб неожиданно согласился.

...Зато вдруг пошли грибы — и можно было целыми днями пропадать, ни с кем не разговаривая. В лесу пахло, как в предбаннике, — пыльным засохшим листом.

В самой мусорной глухомани, вдоль старых, еще финских канавок, стояли на серых волокнистых ножках дряблые подберезовики.

Надо брать выше — я полез по сыпучему песку. Кто-то хватался уже тут, выбираясь: ярко-рыжий на сломе ствол осины... Здравствуй, груздь!

Яркость сыроежек обманчива: от них остается лишь пластинчатый мусор — и никакой яркости.

О! Маленький, но горделивый красный светился прямо посреди тропы — видимо, встал тут с целью преградить дорогу силам реакций.

В сухой канавке, уходящей в сторону, — огромный белый, как бы с потной шляпкой, с прилипшей к ней парой иголок, — к сожалению, уже немолодой, снизу зеленоватый.

Изолгавшиеся опята... Обходим их.

Не может быть! Неужели это он, драгоценнейший рыжик, с голубоватыми концентрическими кольцами на шляпке? Точно — сочится на сломе ярким соком!

Вдруг послышался нарастающий хруст — ко мне бежал худенький старикашка с корзиной.

— О, здравствуйте! Ну — как грибы? — произнес я.

— Да вот лисичек немного наковырял! Ну, слава богу, что нашел вас, думал, все — заблудился. Вы от Маретиных идете?

— Да.

— Ну, слава богу! Там пес всегда лает. *По краю собачьего лая* к станции и выйду!

— ...Больше он не лает, — пробормотал я.

Я вдруг резко повернулся и бросился в кусты, изумив бедного старичка... Все понял! Зато я про тебя, бедный мой Тавочка, напишу!

Сразу столько вспомнилось! Не растерять бы! Ломился сквозь кусты! Идиот! Сколько раз можно повторять тебе: без ручки и записнухи в лес не ходи! Ворвался на террасу, сел... ничего не потерял вроде. Кроме грибов.

За неделю я написал «Собачью смерть». К счастью, ничего почти не отвлекало. За это время произошло всего одно событие — повязали Пашу.

Произошло это неожиданно — во всяком случае, для меня. Я лихорадочно дописывал рукопись, сидя на террасе, и вдруг услышал в своей голове тихий, но четкий голос: «Сидит. Что-то пишет...» Я встрепенулся. Что это? Белая горячка? Шизофрения?

— ...перестал писать, — произнес тихий голос где-то рядом.

— Макай его, — произнес далекий, дребезжащий голос.

Я резко приподнялся — и увидел на крыльце какого-то марсианина в мохнатой маске, обвешанного множеством всякой техники, включая автомат. Мы встретились глазами — и он, ударом ноги откинув дверь, навалился на меня, приплющив харей к рукописи.

Так вот что значит — «макать»! — мелькнула

мысль. Записать бы, чтоб не забыть. Рука поползла к карандашу, но он приплющил и руку.

Паша уходил с большим достоинством. Подойдя к зеленому газику, в который его усаживали, он провел пальцем по борту и произнес:

— Мыть, Ваня, технику надо!

— Танки не моют! — красиво ответил Иван.

Жена, обосновавшись тут вполне уютно, утром радостно уходила на базар — завязала трогательно-дружеские отношения со всеми: хриплыми продавщицами, оборванными алкашами, небритыми кавказцами — и каждый раз возвращалась оттуда то с радостными, то с горестными вестями и требовала от меня адекватной реакции.

— У Юсуфа брат заболел!

— Отстань! Не видишь — я занимаюсь!

— О чем же ты пишешь, если никого не знаешь? — удивлялась она.

— Отстань. Зато ты всех знаешь.

А тут она пришла вконец расстроенная:

— Троху избили!

— Это деда этого? За что? — проговорил я, продолжая писать.

— Тебе это интересно?

— Очень!

— Его грибная мафия избила — за то, что свои

грибы продавал!

— Так не продавал бы, а ел! — Поняв, что от нее не избавишься, я поднялся.

Троха сидел, прислонясь к железнодорожной насыпи, по лицу его текли красные сопли, грибы были раскиданы по тротуару, разломаны, корзинка, а заодно и его соломенный брыль были разорваны и валялись в стороне.

— Продаешь?

— А тебе что — нравятся мои грибочки? — с вызовом произнес Троха.

— Для затирухи в самый раз!

Вечером Троха, с подкреплением дружков, появился у меня на террасе, утверждая, что продешевил, нагло требуя добавки. Каждому человеку для собственного самоутверждения надо кого-то презирать, так что со мной ему повезло. Не глядя, я открыл ящик, вытащил деньги, протянул Трохе.

— Пишу — видишь? Не отвлекай меня!

Боб, оставшись без руководства, вернулся отчасти на прежние позиции: теперь у него наверху вечно шел гудеж — и Троха со товарищи к ним присоединился.

Боб, после увода Паши оставшийся визирем, как всякий порядочный визирь, погряз в корруп-

ции. Брал с торгующих всем чем угодно, даже гнилыми фруктами. Однажды я смотрел, как он протягивает пожилому азербайджанцу сельского вида, с изумлением уставившемуся на него, какую-то свисающую бумагу. Я подошел ближе и тоже изумился: факс!

Они гудели наверху у Боба ночь напролет, что было, наверное, кстати: я не смог сомкнуть глаз — зато дописал «Смерть».

Утром, чуть вздремнув прямо за столом, поднялся, надел на рукопись скрепку из чистого золота, вышел на крыльцо.

Утро было прелестным. Кстати — гости, уходя, сперли мой свитер, который я с диким скандалом уговорил жену наконец выстирать! Вот тебе ответ на твои наглые просьбы! Свитер был куплен в Италии, в счастливые времена, и на груди его было выпукло вышито «Букмен»!.. Ну, ничего! Пусть мой свитер будет им пухом!

Я кинул рукопись в сумку и понесся.

Ладно! Что бы там ни творилось в издательстве — против «Собачьей смерти» ничто не устоит!

Я выскочил из троллейбуса перед издательством — и обомлел. Все двери и даже окна были заделаны толстыми решетками. Что же это теперь тута? Может, филиал тюрьмы, организо-

ванной Пашей на его деньги, где он сам лично и отдыхает? Как же туда войти — мне, с «Собачьей смертью»? Я долго общался через переговорник с какими-то глухими, словно подземными, голосами, мало кто из них что знал: «...какое еще издательство?» Нет уж — так не уйду! Наконец вышел на Гиеныча, и решетка сама собой отомкнулась.

Гиена, как гиене и положено, сидел весь зарешеченный.

— Ты понял, что учинила эта сука? — прошипел он. — Продала издательство этому бандиту!

— Как?

— Тебе лучше, наверное, знать, — змеей прошипел он. — Ты же его друг: пополам купили или как?

Да — плохо мое дело: и честь не сберег, и богатства не нажил!

Зато у Гиеныча все хорошо: и честь, и богатство!

То-то он, когда я вошел, прикрыл у какой-то толстенной рукописи название!

— Все! Теперь к Панночке иди! Уж она тебя приласкает!

— Нет-нет! — Панночка замахала ладошками. — Рукописями я теперь не занимаюсь!

А чем же ты теперь занимаешься? — подумал я.

— С рукописями решает теперь только Павел Дмитриевич! Изыщите возможность — и передайте ему!

— Но он же... в тюрьме?

Может, она не знает?

— Вот я вам и говорю: изыщите возможность!

...Изыскал.

Потом несколько раз просыпался среди ночи, волновался: как там Паша? Не спит небось, читает?

Да-а-а... С моей эйфорией — не пропадешь!

И вот я стоял у стен тюрьмы, за широкой гладью стройно вздымались Большой дом и Смольный, а за моей спиною — тюрьма, и оттуда должны мне выплюнуть рецензию на мою последнюю рукопись... Месть Панночки удалась. Я жадно ловил пули... не мне!

Но беда подошла с неожиданной стороны. С резного боярского крыльца спустился Боб и проговорил, протягивая рукопись:

— Паша не въезжает! Говорит — какая собака, когда людей пластами кладут? Мелкая тема... сумка-то есть?

Всем им подавай крупные темы — я оглядел окружившие меня учреждения, два за Невою, третье здесь!

— Ничего! — успокаивал я себя на обратной дороге. — Поем картосицу, хлебусек!.. Нормально!

Увозил наше барахло с дачи друг Слава — кто же еще? Я запихнул в его подгнивший снизу «москвич» узлы и жену... как и у всех моих друзей, транспорт у него эпохи зрелого социализма.

...Потом мы выпили, в знак прощания с летом, одну бутылочку, я уже в авто не влезал — а они поехали.

— Слава, а ты не боишься... поддамши? — перед этим спросила жена.

— А я изнутри весь искусственный, как робот... алкоголь на меня не действует! — лихо ответил Слава, и они умчались.

Я остался в грусти и одиночестве. Надо прощаться с этим куском жизни — видимо, навсегда! Осень не может не покрасоваться: один этаж ее бурый, выше — золотой, голубой — еще выше.

Прозрачный целлофановый пакет, забытый женой, выпячивал на веревке блестящую молодецкую грудь, хорохорился. Я спустился с крыльца, глянул в стоящую возле ступенек ржавую бочку с водой. О — весь темный объем занят

мелкими светлыми головастиками, неподвижными запятыми.

Я стукнул по ободу — и головастики примерно на сантиметр от края вздрогнули, потанцевали и снова успокоились.

Я дал посильнее — заплясало более толстое кольцо. Схватил обломок кирпича — жахнул по бочке. Затанцевали почти что все, кроме самой середины. Вот оно, настоящее искусство! Вот она, моя команда.

Пакет на веревке начал крутить лихие сальто, все ближе подкатываясь к голой бабе на мотоцикле на пластмассовой кошелке. Сальто, сальто — и к ней под бок! Вот это по-нашему! Я еще немного постоял.

Пролетела пара соек.

Я мудаковат, но стоек.

...Пора!

У самого уже вокзала привязался Троха с компанией:

— Эй ты, носатый! Деньги давай!

— Отвалите! Ей-богу, спешу!

На Трохе, кстати, красовался мой свитер «Букмен». Он, значит, теперь «Букмен»?

Пришлось все же быстро подраться.

Перед самым уходом от Боба вдруг послышался скрип лестницы сверху... Дома он, что ли? Решил попрощаться?

Но с лестницы неожиданно спустился абсолютно незнакомый интеллигентный человек — голубоглазый, с русой бородкой.

— Здравствуйте! — приятно улыбаясь, заговорил он. — Последние пять лет я по контракту в Принстоне работаю, там же и отдыхал. Но в этом году не выдержал, приехал сюда. Вот — договорился. Думаю, удастся здесь спокойно отдохнуть.

— Несомненно!

Он стал рассказывать о своей жизни в Принстоне — но я уже торопился. Все! В голову ничего больше не влазит.

— Извините, но я спешу! Доброго вам отдыха!

А тут эти еще алкаши прицепились! Дай денег им — сразу мнение о твоей носатости переменят! Но — некогда заниматься их просвещением.

— Отстаньте, — сказал. — Мне уже не до вас — у меня даже Принстон не влазит.

— Нет, стой!..

Пришлось-таки сцепиться. Обидно, когда твой собственный свитер бьет тебя по лицу. Шмыгая окровавленным носом, ввалился в электричку, и

тут же она тронулась! Умен!

В вагоне, кстати, как всегда, оказалось полно очаровательных девушек. Поглядывали с интересом: что ж это едет за отважный боец? То с одной переглядывался, то вдруг другую избирая... Казанова вагона.

На станции Левашове с грохотом ввалилась толпа омоновцев — видно, после ночной работы: «макали» кого-то. Пятнистые робы, пушистые усы, волнующие запахи смазки и гуталина. Девушки все моментально на них переключились. Ну, знамо дело: где уж нам с ОМОНом тягаться! А на меня, кстати, орлята предпочитали не смотреть, хотя факт преступления налицо — разбитая морда. Но чувствовалось, что и им тоже — лишняя работа ни к чему... Тем более, что она уже сделана!

Ну — прощайте тогда. Углубился в свой внутренний мир. Да-а. Вот и отпал еще один кусок жизни. Лучший или худший, пока говорить рано. Но точно, что не худший! Вдруг очнулся: а чего так тихо?

Огляделся — все омоновцы спали, уронив буйные головы на нашивки и бляхи. Девушки, повздыхав, снова ко мне повозвращались. Целый взвод ОМОНа победил!

Бегущий по мостам

В городе сразу же навалились новые проблемы... А я еще хулил сельскую жизнь! Идиллия!

Во-первых — батя сразу же позвонил, что в одиночестве он жить не намерен и переезжает ко мне. И, как я сразу выяснил, — со своим багажом.

Мы стояли в его — теперь уже холостяцкой — квартире, и он, потрясая ладонями, восклицал:

— Ну и куда все это теперь? На помойку? Скажи — на помойку?!

За окном уходили во мглу ровные кубы новостроек.

Я, как мне кажется, красноречиво молчал. Куда все это теперь? Вопрос его, если я не ослышался, содержал и ответ.

Эти запыленные кубометры научных книг и журналов, загромождающие коридор и кабинет, далее — грустные плоды зажиточной, как казалось тогда, профессорской жизни: пластмассовые вазы, статуэтки, тяжелые ковры, какие-то почетные грамоты на стенах, блеклые вымпелы, дипломы.

— Это вот снимай...

«Лучшему», «Уважаемому», «За выдающие-

ся...».

— Ну — а остальное... а остальное?

Я вздыхал. Превращать свою квартирку в музей ушедшей, хотя бы и замечательной, эпохи?

Перевезли, что вместилось.

К тому же — вот уж чего не ожидал: они сразу горячо сомкнулись с моей женой — даже в вопросе перестановки мебели. Жена сказала, что давно уже мечтала все переставить по-умному, но боялась меня. Теперь, значит, не боится! Так что теперь я полюбил вынашивать новые дерзкие замыслы на улицах и мостах.

Я стоял на широком мосту, который скорее часть уютной Исаакиевской площади.

Из-под ног моих медленно выползал плоский экскурсионный катер. Пассажиры щурились, вынырнув на свет после темноты. На самой корме стоял маленький японец, задрав видеокамеру. Увидев меня, повернул ко мне слегка отливающий бензиновой радугой зрачок. И все — засосал меня в свою жизнь, увез с собой.

Все! Уехал в Японию!

Правда, вскоре выяснилось, что уехал я не в Японию, а в Венгрию.

— Но учти: и в Венгрии на конференциях теперь только по-английски, — сказал друг Слава.

— Кончилась наша малина!

Мы стояли с ним на приеме, посвященном, кажется, министру из Антарктиды — пораженному, как и все наши гости, таким бурным интересом общественности к нему.

— На английском так на английском! — ответил я. — Эка дела!

— Мне кажется, тебе лишь бы расслабиться! — проговорил Слава.

Но расслабиться не удалось.

Наконец-то я сумел найти место, где абсолютно никому не нужен! Я остановился посреди бесконечного будапештского моста Свободы, свесил голову над огромным Дунаем. Прыгнуть, что ли? Боюсь — Слава не одобрит!

В первый же день я подошел к устроительнице семинара, энергичной седой женщине, заспрошал (разумеется, по-английски):

— Скажите, а где переводчик с русского Ласло Братко?

— Не имею понятия! Может быть, придет. Список участников мы ему посылали.

— Благодарю вас!

Помню, как он обнимал меня на прощанье тогда:

— Большой писатель... огромная морда!

Конечно, можно вспомнить тот хмельной наш путь, заявиться к нему... Но — кем? Исключительно уже в виде «огромной морды»?

Ладно! Где тут она, моя «Путевка в жизнь»? Вытащил из кармана яркий листок, врученный мне у моей гостиницы смазливым хлопцем. Под огромной горой Геллерт, вздымающейся бурыми склонами как раз за мостом, намалеван на листочке полуоткрытый женский рот, и в нем надпись: «Стриптиз “Парадайз”. Фри эдмишн». Это, видимо, означает — «вход свободный». Бесплатно. А за бесплатно русский человек и не такие километры может пройти!

Ветер скомкал мою «путевку» — но я ее расправил, спрятал в карман. Путевку в новую жизнь. Вчера уже, кажется, везде побывал, где делать нечего: в бане, в кегельбане.

Далеко, за бескрайним простором — гигантский мост Эржбеты, плавно летящие вниз конструкции. Машины там идут крохотные, не различить — только, поймав стеклом низкий луч солнца, пуляют светом. Слава богу, второй день уже блистаю на конференции своим отсутствием.

Конечно, теперешние наши лидеры, известные в основном за рубежом, наверняка уже общались с Ласло! Самый первый из них, Юра Петух, уж

точно общается. Петушиный крик его, исполняемый вместо доклада, знает вся прогрессивная славистика — Ласло, конечно, тоже. Перевел наверняка... Ясное дело, мой доклад на двух страницах «Советская литература — мать гротеска» длинноватым после Юры казался!

Пересек наконец эту могучую реку. Огромный, витиеватый, в стиле модерн, отель «Геллерт». Вон по тому карнизу — голова теперь кружится! — прошел я к окну комнаты комсомольских работников, где они деньги делили, всунул руку в форточку: «Дайте, дайте!»

Милые времена! Даже названия отеля не помнил тогда, спрашивал... Теперь — название знаю, но там не живу.

Пошел вправо по темной набережной, согласно путевке. Ну, где здесь «Парадайз»? Тьма и пустота, лишь трамваи проносятся.

Да. «Парадайз»! Может — это стройка будущего?

Или — только после смерти бывает? Ну что ж. Я готов.

Конечно, на конференции есть одна, болгарка, — неказистая, в моем вкусе. Но с ней постоянно — красивый серб. Да... красив серб. И молод! Резко остановился. Надо записать. Ветер скомкал

листочек, но я записал все-таки... Пиши, пиши!

Устроительница подарила мне сборник русской прозы на венгерском. «Ма» называется. По-нашему — «Сегодня». Но издано в семьдесят восьмом! Эх, «Ма»!

Какой тут «Парадайз» на фиг? Одна природа кругом! Бежит, правда, одинокий бегун. Тормознул вежливо.

— Гуд автенуун!

— Гуд.

— Бизнес? Плэжэ?

— Плэжэ!

...не видишь, что ли?

— Гёлз? Бойз?

— Гёлз!

— Деа! — показал рукой на дальний берег.

— О! Из ит э плейс фо гейз? (Это место для геев?)

— Иес! — ответил бегун твердо. — Ду ю вонт?

— Сорри! — Я ускорил шаг. Он, впрочем, все равно быстрее бежал. Так что вскоре бежал мне навстречу — но в этот раз только улыбнулся: сколько вежливости можно тратить на одного? Но не раз еще, наверное, мимо пробежит, улыбаясь: мол, хватит притворяться... в такую даль пришел!

О! Увидел в горе лестницу вверх. То что надо! Хоть и крутовато. Хоть и падаю почти с ног, но на гору взойду — лишь бы с этой тропы извращенцев сойти! Взобрался, запыхавшись, на перевал. О! Вот оно! Мосты, как горизонтальные елки, сверкают внизу. За рекой, в темноте уже, — соборы — Марии, Святого Матиуша! Все помню! Вон там, с готическими башенками, Парламент. Да, здорово нас дурила советская власть, всюду возила нас на автобусе, пьяных, — казалось — до всюду рукой подать. Теперь — понял? Гудят ножонки-то?

На краю смотровой площадки сидел еще один, молодой парень, и что-то писал... Столбиком! Причем слова, а не цифры! Не прошла, оказывается, мода и слова столбиком писать!

Но странно — в прошлый раз здесь день был, жара. Разделся, помню, махал Дунаю носком. Нынче — холод и тьма. Непонятное явление!

Стал спускаться. Ну — какой берем мост? Разбрасываюсь мостами, как хочу! Выбрал новый.

Помню, когда-то — в другой век! — выбегал из общежития университета на Неве, где жила тогда Панночка, мчался навстречу солнцу — через один мост, другой. Вечером, снова навстречу солнцу, обратно: Дворцовый мост, мост Строителей...

«Бегущий по мостам» — ласково называла

меня она.

Так и не угомонился?

Посередине огромного моста — название пока не выяснил — остановился, обернулся... Ну что? Завтра — снова по горным кручам, как козел?!

Шатаясь от усталости, подходил к своему скромному отельчику. Да — денек прошел так себе! Единственное, за что могу себя похвалить. — что не завалился к Ласло!

Из последних сил я тянул на себя дверь отеля, и тут, лучезарно улыбаясь, кинулся ко мне хлопец с рекламкой «Парадайза».

Ага! Только передохну сейчас немного — и снова пойду!

Кукушонок

Грохот стоял такой, словно шли танки. На самом деле — это батя с женой на кухне рубили капусту — на скорость, кто нарубит больше. Время от времени доносился хохот победителя.

При этом я еще должен писать!

Тяпку, кстати, дочка мне подарила на день рождения: «Чтобы ты рубил капусту по-легкому» — разумеется, в переносном смысле, но пока, к сожалению, рубим только в буквальном, и то не я!

Та-ак! Затошнило, все поплыло. Это значит — очередной «душегуб» под окнами разогревает свою «душегубку», гонит угарный газ!

Точно — серебристая «мазда»! С этими кретинами даже марки стал разбирать — хотя угар их мало отличается: бензин-то наш!

Шикарная жизнь. Со двора — те, кто побогаче, душат газом, на лестнице — те, кто победней, сломав все препоны, пьют: шампунь и кондиционер в одном стакане. Но те хоть не заставляют наслаждаться их ароматами, а эти — заставляют!

В прошлый раз уже выбежал с палкой — расхерачу на фиг! — подскочил к машине, мирно пускающей белый дым, размахнулся... спасло его

лишь то, что я поглядел на номер: после цифр 55-58 стояло УХ! Я засмеялся — это его и спасло! Погрозил только палкой — и он довольно быстро слинял!

Начал печатать, увлекся — снова затошнило! Новая «душегубка» стоит! Ну, эту уже ничего не спасет! Поднялся, оделся. Выглянул в окошко. Ага! Из-под арки во двор выходил молодой парень в форме, с наклейкою «МСС». — Муниципальная служба стоянок. На улице плату взимает — решил и тут, видно, порядок навести. Шаги прогресса! Метнулся вниз. Страж почему-то сворачивал в бетонную нишу под нашей кухней. Дым во дворе был уже по пояс! Я глянул на «душегуба» — и метнулся за стражем. К мусорным бакам-то он — зачем?

— Извините! — тронул его за плечо.

Он резко обернулся. Руки его почему-то были где-то внизу. По мутному блаженству в его глазах я понял , что он готовился как раз начать один из сладчайших физиологических процессов и я, прервав его, вызову лютую ненависть.

— Извините!

Я попятился.

«Душегуб» в клубах собственного яда выплывал со двора.

Я вернулся домой и сразу пошел в кухню — сказать, чтобы они хоть не стучали. Но стук как раз оборвался: победитель, первым изрубив кочан, откинул тяпку и радостно хохотал. В восемьдесят пять такие зубы — дай бог каждому молодому!

— Видал-миндал? — Прищелкнув языком, отец показал на целые сугробы шинкованной белоснежной капусты на столе.

— Объясни — как ты это делаешь? — глядя на него с восторгом, проговорила жена.

Я ушел — видимо, не вправе разрушать этот дуэт.

Уселся злобно за стол.

...Помню — приехала Валентина из Харькова, сестра его покойной жены, долго разглядывала нас с отцом, переводя умильный взгляд с меня на него.

Ну вот — я уже заранее ежился — начнется сейчас: «...Ну прям два дуба... ну как вылитые прям оба!» Неудобно даже!

— А корень-то — покрепче будет! — вдруг проговорила она.

Вот так!

Хорошо, что хоть он забыл вроде бы, что сегодня первое — день платы за аренду его квартиры, а то бы так же дергался, как я. А день-то уже вечереет.

Да, подтверждаются, видать, мои самые худшие опасения! Потянул руку к трубке... отдернул... Погодим! Будем хотя бы гордыми!

До того четыре раза ездили с батей на его окраину, отпирали затхлую уже квартиру, с пыльными книгами и журналами на полках, толстыми коврами, которыми когда-то гордились, хрусталем... хрусталем гордились очень давно. И — снова ехать!

Приехали. Ждали.

— Кого он хоть приведет, сказал тебе? — нервно спрашивал батя.

— Нет! Но придираться можно до бесконечности! Видимо, это человек, которому твоя квартира почему-то подходит!

— А почему — она ему подходит? — цеплялся отец.

— Вот сейчас у него и спросишь! — Я уже изнемогал.

— А может, это чеченский боевик?

...Да — толковый у меня батя. Такой вариант, честно, тоже маячил в моем мозгу. Поэтому ответ был готов заранее: «Чеченские боевики все там!» Но выдал я другой вариант:

— Ну почему обязательно боевик?

— Ты, наверное, хочешь сказать — почему обя-

зательно чеченский? — Батя засмеялся.

Брякнул звонок.

Вошел агент-дылда, и за ним — маленький смуглый человек в длинном желтом пальто. Двигался он удивительно медленно, с достоинством. Сдержанно кивнул. По сторонам, по мебели, не смотрел — это его вроде не интересовало. Мы посидели молча.

— Простите... вы какой национальности? — не выдержал отец.

— Я чечен, — с достоинством ответил тот.

...Обращался он только к отцу, ко мне даже не поворачивался:

— Я вижу, вы старый, ученый человек — поэтому я вам верю!

...Он верит!

Потом мы с отцом, прикрыв дверь, совещались на кухне.

— Но у него даже прописки нет! — горячился батяня. — Кто он?.. И неудобно почему-то расспрашивать! — Батя шлепнул себя по колену.

— Ты заметил, какой он гордый? — сказал я.

— Ну еще бы!

— А давай и мы тоже будем гордые?

— А давай!

И вот — день платежа. Кончается, кстати! При-

встал, потянулся к телефону... Сидеть!.. А давай и мы будем гордые, а?

Займись своими делами!

...А какие дела? Относил тут Гиенычу своих «Головастиков»...

— Гениально, старик! — И протягивает рукопись мне. — Но кому сейчас нужны гении?! — И себя присовокупил! Но он, однако, нужен кому-то: высотой в метр рукопись на столе, стыдливо прикрыл заглавие листочком.

Да — жизнь нас не балует! Ближнюю баню закрыли — не говоря уже о дальних... любил я попарить косточки. Окна там пленкой закрыли... мрамор везут. Ну, думаю, суперлюкс делают: тыщ по пять будут брать... ну ничего: такое дело осилим! И вот — ремонт закончили. И народу никого! Сладострастно кряхтя, мелко почесываясь, собрал бельишко. Вхожу: медные перила сделали, как до революции. И голую нимфу, давно уже разбитую, тоже отреставрировали. Молодцы! Похоже — действительно новая жизнь начинается? Еще более страстно чешусь, поднимаюсь по лестнице. Шлагбаум какой-то... Пятнистый охранник. В бане уже охранники — вот это да!

— Пройти, — спрашиваю, — можно? — указываю на шлагбаум.

— А зачем? — неожиданный вопрос.

— Да помыться бы!

— Где?

— В бане, где же еще?

— Какая тут тебе баня! Разуй глаза! — указывает на окно.

Прижался к стеклу, читаю буквы, повисшие над тротуаром: б...а...н! К!!!

— Банк?!. А где же баня?!

— Только не здесь!

— А где ж теперь мыться?

— Дома! — Так по-доброму со мной разговорился, видно клиентов было мало в этот час.

— Так у меня ж ванной нету!

— Ну... тогда в банке мойся... в трехлитровой, я имею в виду! — удачно сострил.

Вышел, посмотрел еще раз на буквы — действительно: БАНК! Таперича заново учу буквы и грязный хожу!

О — снова стекла задребезжали, и я вместе с ними задребезжал: сколько ж можно душить? Вчера выбежал: газует совсем юнец! «Выключи, ради бога!» — «Так мотор же грею!» — «У себя дома его грей!»

Вздрогнул — дверка хлопнула! Все уже изучил, нервами: такое звонкое захлопывание означает:

ушел! Снаружи захлопнул! О — дым уже в окна поднимается! Посмотрел: спокойно дымит!

Господи! Сколько же можно! Побежал по коридору — схватил молоток! Выскочил, глянул с площадки: еще такси во двор въехало и тоже дымит. Клиент — какой-то знакомый, ко мне, что ли? — вылез и рукой жест сделал: я схожу, а ты тут подыми!

Кинулся! Парадная дверь передо мной распахнулась... в раме — знакомый силуэт... Паша! Но он же в тюряге? Да — замечательный гость пошел.

— С молотком встречаешь? Вот это правильно! Но, может, сперва поговорим?

Исповедоваться приехал? Ну... давай колись.

— Да — ну и дверь у тебя... плевком открыть можно!

Ясно: это в нем профессиональная добросовестность говорит.

Вошли. Уселись с ним возле моей машинки. Отец и жена, к счастью, не слышали. Бодрый стук тяпок, веселый хохот.

— Капусту рубят? — Паша усмехнулся, кивнул.

— Да. Но, к сожалению, в буквальном смысле.

Помолчали. Я ж уже впаял его в янтарь вечности — что ж ему нужно еще? Помолчали.

— Пишем? — на машинку кивнул.

С воспитательной работой приехал? И прежде несколько раз уже говорил: я без тебя знаю, что я говно, ты покажи мне, где я святой! ...Где?

Но оказалось — не наглость в нем сейчас преобладает, наоборот — стеснительность.

— Я тут... подарочек тебе принес!

Похохатывая, полез в сумку, вынул толстенный глянцевый том с бабою на обложке... таких теперь на прилавках полно.

Книга — худший подарок. Свои некуда девать!

П. Маретин. «Кукушонок». Фамилия что-то знакомая. Стремительно перевернул книгу — Пашин портрет!

— Твоя?

Закашлялся.

— Да вроде да.

— Слушай, — я вдруг вспылил, — только выключи вонючку свою, — я кивнул на окно. — Не продохнуть!

— Понял, — миролюбиво Паша проговорил. Спустился — такси его вырубилось. Вернулся. Снова сели.

— Вот... накарябал *там*.

Где «там» — можно не спрашивать. Там, где много свободного времени, но нет свободы.

— Ну... поздравляю.

Он скромно кивнул:

— Может, ты... обругаешь где?

Ага! Заколдобило! Когда свой труд выставляешь — совсем, другое дело!.. А ты мне помог, с «Собачьей смертью»?.. Ну ладно.

— ...А почему — «Кукушонок»?

— Так приемный я!

— А-а. Понятно.

— Ты все-то не читай.

Постараюсь.

— Там много похабщины есть... Так то Гиеныч вставил... Надо, говорит!

— Ясно.

— Главное, там... один смешной эпизод... важный вроде... До него я так... шестеркой мотался...

«Портрет художника в молодости». Это понятно.

— Ну, так я говорю. Эпизод. Простой шестеркой был, по ларькам мотался, собирал навар. А за рулем Ленька сидел, кореш наилепший... в окопе вместе сидели...

— Ясно! — предчувствуя уже, что добром их дружба не кончится, пробормотал я.

— Керосинить стал! — жахнув себя по колену, горестно произнес он. — Да и я не отставал... Вот — тут все описано! — Он разломил книгу, потом

нервно ее отложил. — Объезжаем точки, а Ленька все ноет: «Давай врежем... не могу — горит все!» — «Сейчас, — говорю, — еще два места сделаем, навар сдадим — и врежем, не промахнемся». Пошел я... а там долгая «терка» получилась — не хотели сперва платить... — Паша вздохнул. — Возвращаюсь... Леньки нет... И машины с наваром!

Паша выдержал паузу... Я, как положено, потрясенно молчал.

— А через две минуты — в кассу. Сдавать. У нас это четко: кровь из носу!

Ясно. И не только из носу.

— Прихожу пустой. Серьги вешать на уши не принято у нас... Старший говорит: «Твоя ошибка, ты привел его к нам — ты и исправляй. Человека этого не должно быть на земле. Для тебя это — вопрос чести». Молча пошел. Знал уже — прихожу в домик на карьере: раньше там песок брали, теперь глухо. Всю дорогу там с Ленькой керосинили: я в ту пору женат был. Прихожу — он на полу, в полном отрубе. С ним — две пустые водочные бутыли. Молча постоял. Посмотрел на него. Надо будить. Усадил его на табурет. «Ну, просыпайся, Леня. Смерть твоя пришла!» Открыл он глаза, но молчит! — Голос Паши прервался. — Он мужик умный был, таких я больше не видел!

А я?

— ...молчал долго, потом говорит: «Принес?» — «Что ж, я — не понимаю, что ли?!» — вынимаю бутылку. Леня тут расплакался: друг!!! «Ну... не чокаясь!» Выпили, сидим... «Давай, чего тянуть», — Леня говорит. Я не выдержал — заплакал...

Паша не только сам заплакал — похоже, хотел, чтобы заплакали миллионы читателей!.. Толстый «Кукушонок» получился — восемьсот страниц! Слез может не хватить. Впрочем — у наших людей хватит.

— Ну, я вынул «волын»... Нет, думаю, — палить здесь негоже: пост ГАИ рядом — менты набегут. И Ленька мне тоже говорит: «Убери пушку!» Любил меня!

Паша, уже не стесняясь, всхлипнул... эх, нервы, нервы!

— Короче — резал я его почти час... руки дрожали. Слова упрека он не сказал! Хрипел только: «Налей!»

Паша резко оборвал повествование и глянул вдруг мне в глаза — видно, моя реакция казалась ему неадекватной... Я глянул на книгу. Толстенький «Кукушонок» получился — всех нас вытолкал из гнезда.

— А ты вообще про что пишешь? Задевает тебя

что-нибудь?! — вспылил вдруг Паша.

Он же и критик: берете ли волнующие проблемы, чем собираетесь воспитывать читателя?

Да на его фоне практически ничем...

Брякнул спасительный звонок. Я бросился в прихожую. Таксист?

В дверях стояла пышная красавица в шикарной шубе — причем явно знающая себе цену... Эксцентричная миллионерша, интересующаяся литературой?

— Добрый вечер... Я к Павлу!

Уже свой дом свиданий здесь устроил?

— Проходите... Извините, — по дороге не выдержал я. — Вы... э-э... муза Паши?

— Прапорщик Федулова! — отрапортовала она. Потрясенный, я смотрел на нее... Да-а, в наши годы прапорщики так не одевались!

Паша кинул на нее ненавидящий взгляд: только собрался поговорить по душам с коллегой!

— Ну что... кукушонок... Пора, — мягко проговорила Федулова.

Паша мрачно поднялся. Но волнение, как видно, все еще бушевало в нем.

— Там... про церковь у меня... не совсем вроде точно, — уже в прихожей торопливо договаривал он. — Термины там не все знаю... не успел! Так

что посмотри там...

Да, видно, хоть церковь влияет на них... или — они на церковь?

— Я ж и говорю: тебе еще учиться и учиться! — проговорила Федулова, кокетливо глянув через плечо на меня, одновременно изгибаясь, чтобы подшнуровать высокий ботинок... Во все времена... как-то власть ко мне поворачивается... неожиданной стороной! И эту, что ли, надо?.. А почему нет?!

— Эпизод, кстати, что я тебе рассказывал, — уже на лестнице лопотал Паша, — ну, с Лехой... До него я керосинил по-черному, а после — завязал! Ни грамма! — Паша строго глянул на меня.

Так эпизод этот имеет, оказывается, и воспитательное значение? Ну как же без этого — без положительных-то сторон? Завсегда надо!

Ну ладно, отрицательные стороны отдали им, но если еще и положительные захватят они — вообще будет туго!

— А как там... директриса наша? — прикрыв дверь квартиры, поинтересовался я.

— Панночка? — Паша равнодушно зевнул. — А! Умом поехала, на религиозной почве. Какие-то четьи-минеи хотела издать. Пришлось ее задвинуть.

— Куда? — холодея, пролепетал я.

— Это ее проблемы.

Ну, слава богу.

Мы вышли наконец во двор. Таксист маялся, ходил взад-вперед. Паша стоял на крыльце, медленно закуривая. Да — пришло, видно, время тех, кто может заставлять ждать таксиста сколько захочет. Я, например, ни на минуту не задержу. Потому и сижу... а впрочем, всегда так было!

Паша зло чиркал зажигалкой. Неважные зажигалки выдают в тюрьме. Неудовлетворенно поглядывал на меня — обижался, видимо, что я не полностью в нем растворился.

— Ну — а ты-то про что пишешь? — уже с агрессией произнес он.

Да на его фоне — практически ни про что. Я огляделся с отчаянием. «Мерседес» в углу зажег красные огни сзади, но и не думал уезжать — облако яда было огромное, наши тени колыхались на розовых барашках высотою до крыши.

— Вот о чем пишу! — проговорил я злобно.

— Ну и что? — произнес Паша насмешливо. Я в отчаянии безмолвствовал. — Дай-ка монтировочку! — Он нагнулся к таксеру. Тот испуганно вытащил из-под сиденья зазубренный дрын.

Хлопая дрыном по ладони, Паша подошел к

«мерседесу». Тот спокойно гнал красные клубы ему в лицо. Паша спокойно замахнулся — я зажмурился, но звона не послышалось, скорее это был громкий шорох. Стекло разделилось на мелкие соты и просело внутрь. Паша спокойно стоял, поигрывая ломиком. Из машины так никто и не вылез.

— Вот так примерно! — Паша передал мне ломик, как скипетр. Я трусливо сунул его водителю. Федулова грациозно уселась, чарующе улыбнувшись. Такси уехало, и сразу за ним съехал «мерседес».

Вот так вот.

Звук удара ломиком прозвучал для меня как звон камертона. Я уселся за машинку и долго печатал — свои, правда, песни. А что нам еще остается? Печатать — и носить. Печатать — и носить. Есть впечатление, что Панночка плохо ко мне относится... Ну и что? Другая знакомая из тех лет, что выносила мои рассказы под рубашкой, — тоже плохо ко мне относится и живет нынче в Норильске... Что же мне — и туда теперь ни ногой?

Потом я перелистал «Кукушонка». Поражало многое. Вот, например, — после насилия: «В глазах ее не было ничего, кроме ненависти, отча-

яния, боли, презрения и жажды мести»... Не так уж, если вникнуть, мало! А он пишет — «ничего»! Так что в смысле стилистики мы еще можем с ним потягаться! Даже — должны... Правильно говорит Федулова — учиться и учиться!

Да и в смысле морального совершенства — не полностью он его достиг. Помню, позапрошлым летом Боба потянуло к корням, уехал в вологодскую деревню, где родился отец («Вологодский конвой не шутит», — поговорку привез). Кроме того — приехал на зеленом «москвиче», такого цвета ни до, ни после не встречал. В машине имелся водитель, в шляпе, галстуке и костюме (приметы нового?). Но водитель этот вел себя странно — почти не шевелился, и я не видел, чтобы он выходил из машины. Только пил. На третий день умер, прямо за рулем. Приехали родственники, водителя увезли, а зеленый «москвич» почему-то оставили (может, тоже родня Боба, а может, в благодарность?). Боб потом поллета, вздымая тучи, гонял на этом авто, порой даже гордо отказывался: «Я за рулем!» Потом Паша попросил тачку «буквально на полчаса» — и с концами. Остаток лета прошел в скандалах и драках, из-за «москвича» братья разошлись и разделили дом. Сошлись только на моей почве.

Но где же наш квартиросъемщик? Почему не звонит? Полдесятого ночи!.. Ведь, уходя, мы с отцом оставили там заряд огромной созидательной силы: вот, мол, отец до сих пор — в восемьдесят пять! — еще работает, выводит сорта... весь черный хлеб, что едят в Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Костромской, Архангельской... Вологодской областях, — его сорт! Он кормит! Неужели и это не подействовало?.. Что же тогда? Я сидел, в отчаянии уронив руки. Надо печатать! Плевали все на наши «заряды»! Молчит телефон!

...На другой год жизнь Боба снова переменилась. Он снова поехал на «малую родину» — и вернулся... верхом на коне. На мощном пегом тяжеловозе — Орлике. И все лето гордо на нем гарцевал, на радость нам — и назло брату. При этом никому не отказывал в помощи — окучить картошку, привезти сена. Денег обычно не брал — лишь скромно говорил: «Но надо же учитывать и гомогенный фактор»! И, уезжая в тот год с дачи — на машине со Славой, — мы обогнали на шоссе Боба — на высоком возу сена, с каким-то мальчонкой... помахал нам рукой!

Но где же наш квартирант?! Одиннадцать уже! Значит, все — никаких надежд?!

Зимой, конечно, Боб Орлика пропил — теперь

тот пашет на ферме моего друга Аркана... За что Аркан меня выгнал? Что я про охранную проволоку, которая меня перережет, сочинил? Ну — еще назвал однажды его хозяйство — «Арканзас»... Ну и что здесь плохого-то? Фактически — за свободу слова пострадал!

Телефон вдруг тихо брякнул, и я, даже не дав ему раззвониться, сорвал трубку.

— Але!.. Ничего не слышно... Але!

Тишина... только какие-то шорохи... Хотел уже вешать трубку, но шорохи вдруг сложились в тихий голос:

— ...Хасан.

— Что?

— Хасан. Жилец.

— А-а... Здравствуйте! Как ваши дела?

Долгое молчание... шорохи...

— ...Куда я должен привезти деньги?

— ...Но вы, наверное, устали?

Снова долгое молчание: что с ним там? Потом еле слышное:

— Да... Могу я завтра вам заплатить?

— Ну разумеется, разумеется!

Да — нелегко, видимо, даются доллары!

— ...когда?

— Да когда вам удобнее.

«А давай и мы будем гордые?.. А?»

Опять долгая тишина, шорохи. Потом еле слышно:

— ...спасибо.

Вот и хорошо! Оба — наверное, с облегчением — повесили трубки.

Машинка прям разбежалась — не удержать!

...Наш покойный Тавочка, особенно если его в наказание держали ночь взаперти, утром выскакивал как пружина, как шнурок продевался под воротами — высота там была не больше ладони, — выскакивал на тропку и начинал быстро бегать туда-сюда, жадно вынюхивал, иногда повизгивая от восхищения. Потом, словно ударившись о какой-то запах, застывал изваянием: «...не может быть!» И снова мелькал по дорожке. Для него это было — все равно как для нас прочесть утреннюю газету... и даже интересней, потому что там у него было все — настоящее.

Ч-черт! Лента клочьями. Надо менять. Вышел в коридор — скатать с катушки старую ленту, бросил катушку вдаль — поскакала, разматываясь.

Раньше Тавочка такого не пропускал. Даже если спит глубоко, сразу просыпался, выскакивал в коридор и, звонко лая, несся прыжками за катушкой, хватал ее лапами... Теперь не проснется.

Ладно, дорогой. Больше не нервничай: новая лента уже не про тебя.

Утром я, наслаждаясь бездельем, завтракал — и вдруг вспомнил: писательское собрание в одиннадцать!

— Извините!.. Привет! — пробирался на свободное место.

— Снова он чем-то доволен! — прошипел Гиеныч.

ЧЕРНИЛЬНЫЙ АНГЕЛ
(повесть)

Дружбы народов надёжный оплот.
Из песни.

Млат водяной

Поставив точку, я откинулся на стуле и, выплывая из вымысла, огляделся. Убогая дачная комнатка освещена низким вечерним солнцем, выпуклые крошки под обоями дают длинные тени. Тишина. Покой. Счастье. И никого в доме. Эту минуту блаженства я заслужил.

Я выкрутил лист из машинки, сбил пачку листов ровно и положил в стол.

Вышел в палисадник, отцепил с веревки просвеченные солнцем бордовые плавки. И тут все было тихо и торжественно. Розовые стволы сосен. И ни души нигде — ни здесь, ни у соседей. Сцена снова свободна! Все прежнее кончилось и лежало теперь в столе, а новое не спешило пока появляться. И правильно — должна же быть минута покоя и торжества... Ну, хватит.

Стиснув упругие плавки в кулаке, я вышел из калитки. Наш Крутой переулок, освещенный тихим вечерним светом с верхнего его конца, спускался желтым песчаным скатом к оврагу. Дом, где я сейчас жил, был самым последним, на краю оврага. Вверх уходили дома людей более важных — чем выше, тем важней. Но сейчас я и у

себя внизу был на вершине счастья.

По сырым ступенькам, вырытым в склоне оврага, я постепенно, по частям спускался во тьму. И вот — освещенные листья перед глазами исчезли. Зато сразу потекли запахи — они почему-то любят тень. Щекочущий ноздри запах крапивы сменялся гнилым, болотным.

Когда-то, еще в финские времена, здесь была глубокая речка — говорят, до самого края нынешнего оврага. Но после успешного прорыва плотины она превратилась в мелкий ручей — коричневый, как крепкий чай, но чистый и холодный. Присев, я потрогал воду рукой. Ледяная! Сдвинул с себя одежду на мостик, сложенный из трех досок, натянул плавки и лег в ручей. Если лежать в нем плоско, он как раз обмывает уши, а рот и нос — над водой. Небо отсюда, из темноты, казалось очень высоким и узким, как, наверное, из могилы — если оттуда что-то можно увидеть. Неподвижное кудрявое облачко стояло в аккурат надо мной. И вдруг по воде донесся какой-то удар и гул, а потом прикатилась волна и нашлепнулась на лицо. Что-то где-то упало в воду — причем чувствовалось, что-то очень крупное и с большого размаху — с неба, что ли? Ручей растекался и открывался у железнодорожной

насыпи... там, наверное? Потом стал наползать какой-то смутно знакомый, волнующий запах. Что это? Многие запахи, в отличие от красок, не имеют названий, поэтому действуют не на сознание, а на подсознание... Что это льется по мне, булькая и щекоча? Пожалуй, подумал я, уплывая в негу, лучше это не называть и не объяснять, пусть останется смутным, неясным блаженством — будем считать это лаской небес.

И все! Я поднялся из воды. Главное — не утонуть в блаженстве окончательно: окунулся — и все! Обсыхая на бегу — как тепло наверху, даже жарко! — я вбежал в темную комнату, уже покинутую солнцем, и улегся спать.

Проснулся я так же резко, как и заснул. Состояние вчерашнего блаженства протянулось и через сон, и какая-то сладкая ломота в суставах осталась и теперь.

Утро было ясное. Граница солнца и тени делила пустой заросший двор точно по диагонали, и единственное растение во дворе — высокий, почти с человека, серо-зеленый куст спаржи — было ровно поделено пополам.

Ну все — праздник кончился. Чайку — и к станку!

Застилая постель, я снял с дивана простыню,

встряхнул — вечно насыпаются крошки! — потом, дернув за углы, растянул полотнище — и обомлел.

До чего же грязная простыня — в бледных, еле различимых пятнах, причем какого-то странного фиолетового отлива. Откуда бы? Я даже вышел с простынею в руках из темноватой комнаты в солнечный двор, чтобы понять эту загадку, — но на свету она стала еще загадочней. Я вдруг различил, что это не просто бледные пятна, а отпечатки чьего-то тела: вот спина, зад, затылок (или лоб?), отдельно — раскинутые словно в полете руки и ноги. Кто лежал на моей простынке и отпечатался на ней?

Или... это я сам? Но — как? Что за странная субстанция выделилась из моего тела? Тут я не мог найти никаких аналогий, кроме самых возвышенных. Только лишь Одному, самому знаменитому, удалось так отпечататься безо всяких красок. Но человек ли Он был? Знаменитая простыня, названная Туринской плащаницей, с отпечатком Его тела — и вот это скромное изделие местных ткачей, тоже с отпечатками... К чему бы это?

Подумав в этом направлении, но так ничего и не решив, я растянул простыню по веревке на

прищепках — пусть повисит. Просохнет, глядишь — и все исчезнет: пятна явно влажные на ощупь. Просохнет! А цвет какой-то жутко подозрительный, мучительно знакомый... цвет фиолетовых чернил! Неужто я за годы своих писаний так пропитался чернилами, что теперь их выделяю? Истраченные мною чернила слились с душой, и душа моя, вылетая на ночь, оставила отпечаток?

— Точно! — вспомнил я. — Во сне летала она, оставив тело, над каким-то оврагом, и как сладко было летать и не падать!

И отразилась она на простыне как бы в полете — летит, наклоненная по диагонали.

Ветер надул простыню, как парус... точно — летит!

Рядом раздалось знакомое покашливание. В городе, сидя дома за столом, я слышу его за квартал, сквозь стук своей машинки и вой машин.

— А... это ты. — Я вздрогнул, уходя от дивных фантазий к реальности, — Ну... как там?

Жена ездила навещать дочку... Точно, вспомнил! Я покосился на нее— не заметит ли отпечаток на простыне? Спокойно прошла мимо! Хотя как ответственная за белье могла заметить непорядок. Тоже — хозяйка!

С надутыми полиэтиленовыми пакетами в

обеих тонких ручонках, шаркая маленькими ножками, довольно посапывая — я уже в тонкостях изучил ее звуки! — она подошла к двери.

— А ты знаешь — мне понравилось! — проговорила она.

— Что же, интересно, там может понравиться?! — ревниво, а поэтому сварливо проговорил я.

— Даже не знаю, говорить тебе или нет. — Она задорно глянула на меня.

Представляю, что за радости там могут быть! Но мне можно и не рассказывать — все равно не пойму!

— Ну... сказать? — продолжала сиять жена.

Я молча пожал плечом. Чуя мою реакцию, могла бы и не говорить, но не удержалась:

— Собаку подарили ей!

— Да... замечательно. Наверняка какой-нибудь урод.

— Почему урод? Огромный ньюфаундленд, черный красавец! Хозяева его в Америку уезжают!

И нам, значит, его дарят? Еще один рот — я бы даже сказал, огромная пасть!

— А чем она, интересно, собирается его кормить? По-моему, она и себя-то прокормить не может! Что с книжкой?

— Книжка выходит... но денег не платят. Гово-

рят, лопнуло издательство.

Ну, ясно. В такой ситуации ей только собаки и не хватает.

После относительного дочуркиного счастья — вышло несколько книг, переведенных ею с английского, — вдруг все издательства стали лопаться, исчезая вместе с деньгами. С каким упоением мы сами когда-то разбивали государственную машину, государственные издательства — мол, все теперь будет «нашенское»!.. Фиг! Теперь наши дети хлебают хаос.

Мне только осталось сейчас дождаться отца — с такими же примерно обнадеживающими известиями. Он ездил в город на кладбище, на могилу своей жены, — но зайти к себе на квартиру, сданную нами юному «сыну гор», который полгода уже не платит, батя, конечно, не успел!

Все на мне! Загрызть собаку, выселить «горца»... Скоро душа моя кровью будет печататься на простыне!

Уродливый скат

Могу я на секунду расслабиться? Жена вошла на террасу, а я, наоборот, — пошел в гору, на соседний участок, к солидному каменному дому, где обитал мой друг Кузя. Вернее, это я тут иногда обитал, а Кузя тут жил, причем с детства; шикарный отцовский дом! Это я притулился по соседству, а Кузя тут *жил*!

Обмотав горло шарфом — легкая простуда! — Кузя посасывал трубку и меланхолично пил коньяк на открытой террасе.

— Ну ты... куль бородатый! — так непочтительно обращался к Кузе мой дачный хозяин Боб по прозвищу Битте-Дритте... Впрочем, я считаю, он к Кузе несправедлив. Какой же он куль? Он, можно сказать, «совесть поколения», а после того, как батя его отойдет от дел, Кузя, возможно, станет «совестью» и всего нашего поселка.

На калитке, которую я сдвинул, входя в усадьбу, было нацарапано, по одной букве на каждой досточке: «Это змей». Но это скорее относилось к бате — Кузя, при всей его авторитетности, до змея не дотягивал.

Вот папа его, безусловно, был поселковый

лидер, буревестник всего передового. И когда творческая интеллигенция поселка — он наполовину из творческой интеллигенции и состоит — решила в едином порыве переименовать главную улицу поселка из Кавалерийской (сроду тут не было кавалеристов!) в улицу Анны Ахматовой, именно Кузин батя, Зиновий, и был командирован в верха: кроме того, что он был «совестью поселка», он еще имел ходы наверх. Все с трепетом ждали его возвращения — вернется ли? И хотя в те годы уже не сажали, волновались все сильно. Переименования он, увы, не добился — но славу смельчака и героя укрепил. Кто еще обладал такой смелостью, чтобы выйти с предложением наверх? Разве что голь-шантрапа какая-нибудь (вроде нас), которой и терять-то нечего, — а Зиновию было что терять, но он не побоялся!

Вся жизнь его состояла из таких подвигов. Сразу после войны статный и кудрявый морской офицер, в кителе уже без погон, появился в этом знаменитом поселке. Он был направлен сюда директором Дома творчества — восстанавливать разрушенное войной хозяйство. И навел в полуразворованном доме флотский порядок: окна засветились, повара и горничные забегали. Одна-

ко он быстро понял, что карьера «обслуги» — это совсем не для него и, пока «классы общества» слегка спутаны и не стали еще такими замкнутыми и недоступными, какими они должны были стать, надо действовать.

И вскоре он сделался «душою поселка» — такого балагура, и бонвивана, и джентльмена давно ждало местное светское общество, слегка потускневшее за время войны. Левая простреленная, негнущаяся рука как бы добавляла ему статности — и уверенности в себе.

Вскоре все зашептались о его головокружительном романе с местной законодательницей мод и аристократкой Кузнецовой, вдовой известного критика серебряного века Аполлинария Кузнецова. Кузнецов сгинул перед самой войной в громком и многолюдном политическом процессе — и заявляться к Кузнецовой открыто (в этот самый каменный особняк, в который я сейчас поднимался по круглым ступенькам) местный бомонд пока не решался. И вот появился Зиновий, лихой морской офицер, и сказал: «Можно!» Как все были благодарны ему! Как любили его — ведь это именно он, красавец и герой, «разморозил» поселок! Прошумела свадьба. Сколько всего радостного было в ней — и смелости (можно уже

не бояться безрассудных чувств!), и как бы продления полузапрещенных дворянских традиций, подхваченных Зиновием. Праздник, праздник! Такого здесь не было уже давно. И несмотря на «закатные» годы аристократки, вскоре родился Кузя — что значат флотские лихость и упорство!

Однако Зиновия вовсе не устраивала роль «прилипалы» при богатой вдове. Только побеждать, только лидировать — таков был его девиз! Он уверенно занял кабинет Кузнецова, похожий на музей, увешанный картинами мирискусников. И когда я впервые — еще будучи школьником — увидел его тут, было абсолютно очевидно, что это его кабинет, что картины, кресла, книги, старинные безделушки принадлежали ему вполне заслуженно — и всегда. Главное, и сам Зиновий ощущал это. Он ведь не просто занял кабинет — он занял место, и его блистательные статьи — всегда самые смелые для конкретного времени — скоро снискали ему заслуженную славу.

Помню, как мы с Кузей, еще друзья-школьники, сидим в этом кабинете — я робею от этой роскоши, увиденной мной впервые, — и Зиновий сочно и, я бы сказал, как-то даже вкусно рассказывает о похоронах знаменитой поэтессы, в которых он, естественно, принимал самое непосредственное

участие.

— Ручки-т у нее уже заквокли, стал их на груди ей складывать — захрустели аж!

Зиновий, причмокивая, курит трубочку (это почти единственное, что унаследовал Кузя от него) и рассказывает это, естественно, не нам, а своим взрослым именитым гостям, слегка теряющимся в трубочном дыму. Но я их помню — потому что был ими потрясен и жадно к ним потянулся. Прошли эпохи, восторжествовала свобода и интеллект — но таких холеных, ухоженных, значительных лиц, какие я увидел тогда, в дыму того кабинета, я не встречал потом нигде. Помню, как я тогда возбудился (первая настоящая страсть тихони отличника, я, помню, сам был собой удивлен). Я возжелал вдруг страстно: «Сюда! Сюда я хочу, в эту вот жизнь!» Почему, собственно? Вырос я в более чем аскетической семье родителей-агрономов — и вдруг такие замашки! И многое удалось. И вот я поднимаюсь сейчас — в тысячный уже, наверное, раз — по этим полукруглым ступеням, хотя тут, конечно, все уже не то.

Взять того же Кузю — он вырос в зависти к своему блистательному отцу.

«Ослабел сталинский сокол!» — бормотал Кузя

при малейшей батиной промашке, хотя батя-то был покрепче его.

Да, Кузя пошел не в отца. А в кого? «Рыцарь, лишенный наследственности», — говорили о нем местные остряки. А другие, еще более мерзкие, за глаза называли его «сын садовника». Батиной лихости и даже его статности Кузя не унаследовал. И возмещал это брюзжанием, как бы неприятием моральных устоев «приспособленца и проходимца». Да, надо сразу сказать: Зиновий виртуозно совмещал славу вольнодумца и смельчака с блистательной советской карьерой: ему, весельчаку и герою, сходило с рук все, хотя это «все» он, конечно, очень точно просчитывал. До меня доносились лишь отзвуки тех легенд. Говорили, что, когда Зиновия — по возрасту или еще по чему-то — хотели снять с должности заведующего университетской кафедрой, Зиновий смело позвонил самому Агапову (а все даже секретарше его боялись звонить!) и с усмешкой сказал тому: «Василь Никифорыч! У меня к вам предложение: давайте пригласим дам, штук восемь, возьмем ящик коньяку — и посмотрим, кто из нас молодой!» В трубке, говорят, была долгая пауза — потом Агапов вдруг добродушно захохотал: «Не сомневаюсь в вашей победе, Зиновий Яковле-

вич!» И на кафедре наш герой был оставлен. Так ли это было на самом деле? Думаю, что так.

Естественно, Кузя завидовал батиной удачливости и всю жизнь брюзжал и передразнивал его. «Ручки-т у нее уже закво-о-кли!» — издевательски проокал Кузя, когда мы вышли тогда из кабинета. Это ощутимое оканье было одним из проявлений умелого врастания героя-моряка в современную действительность. Кроме окладистой бороды и оканья Зиновий напридумал — впрочем, порой бессознательно — много другого, что могло бы его сделать своим среди партийного начальства, которого он, как бы помягче сказать, отнюдь не чурался. Особенно Кузя был «благодарен» бате за свое имя: среди изысканной поселковой подростковой знати, щеголяющей тогда в основном заграничными именами, явиться вдруг Кузьмой Кузнецовым! С детства Кузя был уязвлен насмешками, да так и не оправился. «Спасибо, батя! Отчитался перед партийным руководством в своем патриотизме, — брюзжал Кузя, — а как будет жить его сын с таким именем, как-то не подумал». Некоторые до сих пор кличут Кузю Кузнецова Ку-ку: «А где наш Ку-ку?» Чего же хорошего?

Много за что Кузя мог обижаться на батю: по совместному детству помню — батя блистает в

гостиной в светском обществе и к сыну-увальню не заходит. Тяжело! И при первом же случае Кузя «отомстил» — и не столько бате, сколько себе. На третьем курсе медицинского, назло бате-сатрапу и любимцу публики, Кузя почти демонстративно занялся антисоветчиной, получал-распространял какие-то брошюры. И загремел. Правда, угодил не в лагерь, а благодаря высоким батиным связям всего лишь на высылку, где оказался в соседнем селении с самим Бродским и даже встречался с ним на совхозном току. Но будущий олимпиец, уже тогда оттачивающий свое высокомерие, с Кузей не здоровался, чем Кузя был весьма уязвлен. Хотя гений мог бы понять, что интеллигентный очкастый мальчик не случайно оказался на совхозном току — но тот понимать этого не захотел. Да, много язв было на Кузиной гордой душе! В частности, он не мог простить бате, что тот не заступился за него публично, хотя времена уже многое позволяли. Но батя, как всегда, был, наверное, прав: если бы вступился публично, то уже не мог бы вступаться тайно — что было гораздо результативней. Благодаря именно тайной батиной работе Кузя пробыл в изгнании всего полгода вместо назначенных трех. Ссылка, однако, бесследно для Кузи не прошла — с той поры Кузя был

горд и высокомерен. Когда он — при батиной, надо отметить, помощи — вернулся из ссылки, Зиновий был радостно-суетлив. Кузя — холоден и высокомерен. Нас, его корешей, явившихся с чувством некоторой неясной вины, Кузя тоже не жаловал. Помню, счастливый отец поставил перед сыном целый дощатый ящик сочных, чуть треснувших, сочащихся гранатов. Кузя лениво их обсасывал и косточки выплевывал прямо на пол. Батя, вообще-то помешанный на порядке, не возражал и смотрел на сына радостно-восторженно. Он простил своего блудного сына, но блудный сын батю — нет. И времена шли уже такие, что сын становился главней.

Впрочем, Кузя и за другое мог сердиться на батю. Вскоре после рождения Кузи скончалась его мать-аристократка. Помню ее пышные похороны... Ушла эпоха! Безутешный Зиновий, оставшийся с грудным сыном, катал колясочку по поселку — и в поисках утешения начал заруливать к знаменитой поселковой блуднице, красавице продавщице Надюшке. И практически у детской Кузиной колыбельки все и совершилось! Надюшка, черноглазая поселковая Мессалина, тогда чаровала всех своей лютой красой — привлекательна она, надо сказать, и

сейчас: когда видишь ее, мысли как-то сбиваются и идут в неожиданном направлении. Кроме того, она и тогда, и после, и сейчас любовно-дружески-сварливо обсчитывает всех в поселковом магазинчике. Самая знаменитая ее фраза, которой она клеймит недобросовестных своих коллег: «Ты обвесь, ты обсчитай, но зачем же разбавлять, портить товар!» Но лихого вдовца это не остановило. Короче, у Кузи, невинного младенца, появился братик. Существо, надо сказать, совсем другого закваса и помола — Надину бойкость он соединил с батиной лихостью. Интересно было взглянуть сначала на Кузю, а потом — на его брата, Сеню Левина: подъезжал темно-зеленый «форд» и оттуда вылезал маленький, пузатый, лысый человек с длинным блестящим носом и веселыми, жуликоватыми глазками у самой переносицы. Левин, в отличие от его законного брата, никогда не унывал. И к бате относился не сварливо, как старший его брат, а снисходительно-насмешливо. Батя хоть и дал ему жизнь, но в семью не взял и воспитанием не занимался — что, может, и к лучшему: Левин вырос шустрым и самостоятельным и к благородному семейству относился добродушно, но свысока. Кстати, и от приобретенной по женской линии фамилии

Кузнецов он в зрелом возрасте насмешливо отказался и записал в паспорт прежнюю фамилию бати — Левин.

— Эй, Кузнецовы! Как делишки? — ёрничая, кричал он с улицы через ограду, слегка поддевая батяню и Кузю заодно: «Какие мы Кузнецовы? Левины мы! Не надо корчить из себя дворянство — мы, какие есть, вовсе не хуже!»

Зиновий, надо сказать, тоже не испытывал никаких мук насчет того, что младший пошел неинтеллигентным путем, — может, втайне даже радовался: одного сына-интеллигента вполне достаточно — путь будет еще и такой!

— О, Левин приехал! — беззаботно говорил Зиновий, увидев «форд» за Надюшкиной оградой. — Вот он-то меня до города и подбросит!

Естественно, снобировал незаконного Левина только Кузя.

У Левина, в отличие от братика, были свои университеты: он еще в юные годы возглавил всю фарцовку на Приморском шоссе, останавливая финские автобусы, и тоже загремел — уже не по политической линии. Так что у Зиновия был момент, когда оба его сына томились в застенке. Видимо, от отчаяния он родил в это время еще младенца — теперь дочку — от гордой, молчали-

вой и застенчивой медсестры Гали, которая от местной поликлиники, как говорится, «пользовала» его. Другого такая моральная неустойчивость погубила бы — разбирательство же морального облика профессора Кузнецова на университетском парткоме кончилось, говорят, хохотом и бодрой мужской пьянкой, в которой, говорят, участвовал и юный инструктор райкома Агапов, впоследствии взлетевший так высоко: отсюда их дружба?

Как говорится: «Доброму вору все впору». События, которые другого могли бы похоронить, у Зиновия «работали» и только украшали его легенду.

Рассказывают, как однажды Зиновий с коляской дочки-малютки прогуливался по улице — и навстречу бежал академик Прилуцкий, в своих постоянных заграничных поездках слегка сбившийся с курса последних поселковых событий.

— Здорово, Зяма! Уже внук? — гаркнул Прилуцкий.

— Еще дочь! — с усмешкой ответил Зиновий, и это его «бонмо» мгновенно облетело все общество и укрепило миф его до такой степени, что временами он оказывался даже сильней правящей идеологии. Тем более идеология оказалась куда

менее стойкой, чем миф, и менялась каждые пять лет. И как ни странно, любой идеологии миф его нравился — и это еще раз показывает, что человек сильнее времени.

Кстати об идеологии. Времена изменились — и к знаменитому профессору Кузнецову стали съезжаться зарубежные ученики и поклонники — и один из них, юный француз, влюбился в Галю, которая как раз с дочкой, начавшей ходить, заглянула к патриарху. Короче, удача во всем просто преследовала Зиновия — теперь Галя с маленькой Оленькой жила на вилле у Гюстава возле Бордо, и патриарх, скучая, все время собирался их проведать.

— Уже свил себе гнездышко на старость! — злобно бормотал мой друг Кузя. — Помяни мое слово: скоро туда переползет!

Однако надеждам Кузи пока не суждено было сбыться, и батя отнюдь не сворачивал свою бурную деятельность на родине, а, наоборот, развивал.

Да, Кузю я понимал — при таком папе завянешь. Тем более теперь они двигались в одной «лыжне»: в знак протеста после ссылки Кузя оставил медицину и предался философии и культурологии — гены взяли свое. Но успеха не

обеспечили — Кузе только оставалось завидовать батиной производительности, в том числе и творческой: десятки книг, от марксизма через философию к филологии, — и во все времена, абсолютно, Зиновий был смелым, бесстрашным, самым передовым, но, видимо, в меру, раз его книги успешно издавались.

И еще — о производительности. Чисто формально Кузя был женат — его сухопарая, слегка мужеподобная жена Дженифер прожила с ним полгода и укатила в Бостон — как утверждал Кузя, из-за несходства взглядов на структурализм.

Впрочем, Кузя как раз был из тех, кто охотно оставляет семью, дабы радеть за человечество в целом, но когда они жили еще вместе, Битте-Дритте, хозяин дома, где я сейчас снимаю помещение, ходил тогда пьяный вдоль ограды с баяном и пел: «Эх, не стоящая у них любовь!»

Ему-то знать откуда?!

Говорят, что, когда оба сына Зиновия были в каторге, язвительный Битте-Дритте тоже пел под баян, повторяя одну строчку из «Орленка»: «Как сы-на вели на рас-стрел!»

Но Зиновия это не волновало — он-то знал точно из «высоких источников», что сын его — оба сына! — скоро вернутся.

Теперь Сеня Левин был фактически владельцем всех достойных объектов недвижимости в поселке, включая баню. Однако, уважая батю, как бы чтил старую профессорскую иерархию и, останавливая свой «форд», почтительно-насмешливо раскланивался с теперь уже одряхлевшими «небожителями» — нынче уже не играющими никакой роли.

Кстати, родственные связи в поселке оказались завязанными еще более круто, чем я предполагал. Поселковый алкаш-умелец Битте-Дритте оказался родственником моего высокоинтеллектуального друга Кузи! Когда мать Битте-Дритте померла, отец его, грозный милицейский начальник, забрюхатил красавицу Надюшку, опередив с этим делом даже Зиновия. И что интересно, внебрачный сын Савва гораздо больше походил на отца, чем непутевый Битте-Дритте, и даже унаследовал от отца грозную милицейскую профессию, хотя вырос сиротой и отца почти не видел — тот вскоре погиб.

Непутевый Битте-Дритте, он же Боб, приобрел свое прозвище, которым, впрочем, гордился, во время срочной службы в Германии, где он занимался успешной починкой машин местным немцам — и неплохо, похоже, зарабатывал, во

всяком случае, привез оттуда почти что музейный «хорьх», на таких машинах ездило лишь высшее командование рейха.

Вот такое удивительное древо — а впрочем, почему удивительное? — тут выросло. И когда пошли по телевизору «мыльные оперы» с запутанными отношениями и внебрачными детьми, Битте говорил не без гордости: «У нас-то покруче все!»

Чтобы окончательно все запутать — как он любил это делать, — Битте проникся по возвращении из армии страстью к Надюше, которая фактически была его мачехой, мамой сводного брата Саввы (общий отец!), но это не удерживало страстного любовника, а, наоборот, может, даже где-то подстегнуло его. Да, страсти тут были вполне латиноамериканские.

Так что мои надежды написать что-нибудь из жизни обыкновенных наших людей потерпели фиаско... Где ж тут обыкновенные?

Кузя сидел на террасе, раскачиваясь в качалке, и на меня не смотрел. Пристальный его взгляд был устремлен вдаль, на следующий участок, где некоторое время назад поселился «новый русский». Он безжалостно снес все старье и теперь возводил бетонные хоромы. Перед домом

какие-то заграничные мастера — финны, что ли? — сделали красивый помост, на котором новый могучий хозяин баловался штангой и гирями, «делая» то одну мышцу, то другую, хотя и так все его рельефные мышцы казались бронзовыми. «Третье Тело России» — так он сам отрекомендовал себя, когда навязчивый Битте-Дритте проник к нему. Имелось в виду, как мы поняли, третье место в России по бодибилдингу, «телесному строительству», столь модному сейчас. Теперь Кузя, олицетворяющий, как известно, Дух и Совесть, часто с болью смотрел в ту сторону. Господи, всюду торжествует теперь лишь Тело, без Духа и Совести!

Впрочем, и прежний хозяин этой усадьбы, советский классик Голохвастов, автор многотомной эпопеи «Излучины», авторитетом у Кузи не пользовался. Более того — он Голохвастова презирал, хотя сам написать столько томов никогда бы не смог, даже просто физически. А фактически Кузя не написал ни строчки, что не умаляло его высокомерия, а, наоборот, укрепляло... Он чист и высок!

За бывшими угодьями Голохвастова, теперь проданными и разрушенными, поднималась другая знаменитая усадьба. Там жил прежде

Василий Пуп, советский поэт-классик, переведенный на сотню языков (правда, народов СССР). Пуп тоже не пользовался уважением Кузи, хотя с отцом его крепко корешился, пока не съехал отсюда. С батей Зиновием часто, бывало, упивались они военными воспоминаниями, хотя Зиновий воевал на флоте, а Пуп был кавалерист. Не оттого ли главная улица поселка называлась Кавалерийской и не потому ли ее никак не хотели переименовывать в улицу Ахматовой? — этот язвительный вопрос Кузя не раз задавал мне, и я не знал, что ответить. Я даже чувствовал себя порой виноватым перед Кузей за это, хотя как раз Кузя, а не я работал одно время при Пупе референтом по дружбе народов и сопровождал Пупа на пышные, как было принято тогда, курултаи и сабантуи. Теперь дачу одряхлевшего Пупа купил наш кореш, поэт-песенник Ваня Ходов. И сейчас он махал нам оттуда.

— Привет! — подошел я к Кузе. — А Зиновий где?

— Укатил в Бордо... как я и предсказывал! — горько усмехнулся Кузя.

Да, у Кузи, конечно, были основания и для гордости, и для горечи. Было известно, что он уже много лет пишет роман «Защита ужина», кото-

рый должен был все затмить. Но в той компании, где он вращался, вряд ли мог ждать его триумф: самый привередливый народ — это слависты-экстремисты.

— Ты слышал вчера… какой-то странный… хлопок по воде? — сказал я тихо. Но Кузя разобрал: слух у него был тонкий, я бы даже сказал — утонченный!

— Млат водяной? — усмехнулся Кузя. — Это ты, что ли, с обрыва упал?

Издевается? Когда мы в молодости подружились втроем — я, Кузя и Ваня, — мы сами себе дали прозвища, поделив строчку из известной поэмы Жуковского: «…и млат водяной, и уродливый скат, и ужас морей — однозуб». Млатом водяным из-за большой головы на худеньком тогда тельце был я, уродливым скатом (потому что в разговоре плавно шевелил крыльями носа) был Кузя, а ужасом морей — однозубом был Ваня, и прозвище это он вполне подтвердил.

— Нет, не я. Что-то вроде бы с неба в воду упало, — сказал я.

Кузя удивленно-насмешливо поднял бровь — мол, это насекомое (то есть я) собирается поговорить о чем-то возвышенном?

— И какие-то странные последствия, — указал

я на простыню, как раз надувшую «грудь» под порывом ветра. Фиолетовый отпечаток летящего существа — раскиданные руки-ноги, спина, голова — проступил вполне явственно — и тут же опал, потеряв ветер.

— Какой-то... чернильный ангел... из ручья, — проговорил я неуверенно.

— Крестился, значит, в ручье? Поймал божественную субстанцию? — произнес Кузя еще насмешливо, но взгляд его уже затуманился какой-то мыслью, что-то он тут понял, чего не понял я. При всей якобы его непрактичности Кузя довольно цепок.

Он даже поднялся с кресла и, метя пол кистями роскошного халата, пошел в комнату, вынес фотоаппарат и щелкнул изображение на простыне, когда она снова надула «чернильного ангела».

Фотоаппарат зашипел, и из задней щели пополз мокрый снимок. Когда он вылез полностью, Кузя осторожно, за уголок, положил его на круглый стол — и на фото все яснее стал проступать «чернильный ангел».

— Да, значит, посетил он нас, — задумчиво глядя на «ангела», тихо произнес Кузя. И опять я ничего не понял: как-то странно он говорит! Почему «он», если это все-таки, наверно, я отпе-

чатался, и почему — «нас»? Кузя вроде тут ни при чем. Но умеет, молодец, пристроиться, взять все бремя славы на себя!

— Надо ехать в город, — совсем уже задумчиво проговорил он. Про меня, как про какую-то случайную мелочь, было забыто. Как бы ненадолго и случайно я оказался «переносчиком» чего-то высшего, а чего именно — этого мне было не понять, не стоит даже объяснять, расходовать время. «Мавр» может уходить?

Мне, значит, в город не надо?

А ему зачем?

Ужас морей — однозуб

И тут Кузя «заметил» наконец Ваню, который махал нам из-за монумента Третьего Тела уже давно. Кузя вдруг помахал Ване в ответ. Потом поднял полы своего халата, словно рясу, и направился к калитке. Я поплелся за ним. Все-таки какое-то отношение я имею к происходящему или к тому, что должно скоро произойти? Хотелось бы это выяснить. Под внешней дряблостью у меня еще сохранилось все-таки некоторое упорство!

Увидя, что мы направились к нему, «ужас морей» оживился, вбежал в дом и вынес на кривой столик в беседке поднос с бутылкой и стопочками.

— Ну... за аскетизм! — всегда был наш первый тост, но, может, сейчас все пойдет несколько по-другому?

Ваня Ходов, наш друг, жил размашисто. В школе он был главный хулиган, однако заступался за нас с Кузей, гогочек-отличников, тянулся к культуре... и дотянулся. Мы с ним учились потом в Электротехническом институте. Во время практики на третьем курсе, на заводе «Светлана», все выносили транзисторы, похожие на маленьких

колючих паучков, в карманах и в носках, но попался лишь удалой Ваня — может, делал это с излишней удалью? Исключенный, Ваня загремел в армию. Отнесся он и к этому спокойно и лихо: ай, велика беда?.. Душа нашего курса отлетала от нас — оставался лишь унылый зубреж! В армии Ваня — непонятно за какие качества, но они, видимо, у него были — попал в элитную школу МВД. А еще говорят, что у нас была жестокая кадровая политика! Ваню — после транзисторов — в школу МВД? А может быть, действительно хорошие люди всюду нужны?

Мы выпили по первой. В «мезозойских зарослях» в трехлитровой банке лежал пупырчатый, как крокодил, единственный огурец — но из деликатности никто его, единственного, не брал. По-моему, Ваня выставлял эту банку уже не впервой.

Из той школы Ваня вышел лейтенантом — и сразу же командиром какого-то загадочного «объекта» (это, естественно, не расшифровывалось). Ваню погубил его талант. Он писал стихи (как, впрочем, и я) — на этом и подружились. Но Ваня с его стихами гремел гораздо громче — к сожалению, не всегда в хорошем смысле. Уже являясь военачальником, на пороге карьеры, он создал

очередной свой короткий шедевр: «На посту я поссу!» Неужто не мог удержаться? Как говорится, талант сильнее всего, его не удержишь. И как всегда бывало с Ваней, загремел по максимуму, как Муму! Его разжаловали в солдаты и отправили в Сибирь. Ну что же — за славу надо платить! Что ни говори, вся наша армия знала этот стих!

И в Сибири Ваня всех очаровал. Приехав на побывку, Ваня рассказывал, как они вместе с командиром гоняли за водкой по тундре на вездеходе за сто километров! А денег набралось только на маленькую. Очень может быть.

Потом, отслужив какой-то срок, Ваня уволился и стал уже только стихотворцем. И здесь его ждал успех. Его песню «Стоят березы нетверезы» пела буквально вся страна — она гремела на концертах, абсолютно во всех кабаках, и даже — опять же — в воинских частях она исполнялась в качестве походного марша! Да, рожденный для славы от славы не убежит!

Хлынули деньги. Тогда-то Ваня и купил эту огромную ветхую дачу, которой прежде владел советский классик Василий Пуп, чей стихотворный эпос «Непогодь» охватывал всю территорию Советского Союза и был, ясно дело, переведен на все его же, Советского Союза, языки. Потом, когда

с дружбой народов стало хуже, Пуп вынужден был продать эту дачу Ване — пришла иная пора, теперь уже песню Вани знали и любили от Львова до Камчатки — и что характерно, безо всякого перевода.

— Все! Больше ни грамма! — твердо сказал Ваня. — Кто в город со мной? — Он кивнул на своего зеленого «козла» — «ГАЗ-69А». Став знаменитым поэтом, Ваня, что характерно, с армией не порывал — и этот «ГАЗ» он купил по дешевке на какой-то тайной распродаже военного имущества... Так зачем «порывать»? Армия должна служить людям.

Помню, как мы с Ваней под маркой «молодых литераторов» — когда Ваня уже уволился из армии — пронеслись от Урала до Чукотки. И все время на какой-то новой, сверхскоростной и сверхсекретной технике — в армии для него, как, впрочем, и всюду, не было преград.

Помню, как я однажды ночью проснулся где-то за Полярным кругом, вдруг ощутив с ужасом, что обнимаю труп. Оказалось — огромного белого тайменя, подаренного нам командиром части.

Ване, чтобы он не чувствовал стеснения (которого он и так не чувствовал), выдали в той поездке какой-то особенный тулуп. На кармане,

если его вывернуть, стояла особая черная печать, говорившая о принадлежности к некоему спецподразделению. Шатаясь ночью пьяные в сверхсекретном поселке, мы карманом этим ошарашивали всех патрульных — они сразу почтительно вытягивались, отдавая честь. Слава кружила Ване голову всегда, причем любая. И Ваня вдруг решил не расставаться с тулупом, видимо, чтобы чувствовать всемогущество постоянно. По договоренности с корешем-пилотом он вылетел из части, не вернув тулупа. Какой шум, какая радиопаника поднялась во всей Сибири и Северу! Тулуп этот, обладавший чрезвычайными полномочиями, представлял, оказывается, огромную опасность, особенно на удалых плечах Вани. Поднялись армия, авиация и флот — но мы ускользнули. Нас мотало над тундрой, бутылки дребезжали, краснолицый друг Вани время от времени поворачивался от штурвала и говорил довольно спокойно: «Ваня, в Ключевом нас ждут — с ходу собьют!» — «Давай в Оленье!» — хохотал Ваня.

Ничего себе веселье! Потом, отыгравшись за все страхи, я этот тулуп-вездеход описал минимум в трех литературных произведениях.

Прорвались! После, когда опытный Ваня изоб-

разил наш тогдашний маршрут на карте, было впечатление, что просто капризный мальчик зачиркал карту Севера цветным карандашом.

Может, из-за этого тулупа-вездехода Ваня и пользовался в нашей округе таким влиянием? Мчаться с ним в город, отлетая на лихих поворотах то к одному борту, то к другому, было приятно. Гаишники отдавали честь. Впрочем, самого тулупа давно не видел никто.

Батя

И тут я увидал, что с песчаной горы, с верхнего конца переулка, спускается, озабоченно морщась, мой отец. Впрочем, то, что он морщится, вовсе не означает, что он озабочен чем-то реальным, — вероятней всего, его досада расположена где-то очень высоко! Если принудить его вдруг озаботиться чем-то конкретным — квартира, счета, хлопоты, — вот тут он сморщится по-настоящему: «Да ни ч-черта я в этом не понимаю! Ведь ты вроде взялся? Так доводи до конца!» Ну да. Я взялся. А что мне оставалось делать? Не ему же поручать? Роль рассеянного, не от мира сего профессора поистине замечательна. Вон какое сияние от могучего лысого черепа над густыми бровями! Я бы тоже хотел парить, видя только глобальные вещи! Чем глобальные приятны — что абсолютно не зависят от тебя: озабоченность носит чисто теоретический характер. Но мне, увы, не достичь глобалки: в дерьме увяз!

— Ну, что новенького? — Я вышел к нему.

— А?! — Он заполошно откинул голову, выкатил глаза. С больших, видимо, высот я сбросил его на землю. — А... это ты, — почему-то недовольно

проговорил он.

Да, я. Что здесь такого странного?

— Ну... был на кладбище? — спросил я.

— На кладбище? — Он изумленно задумался. — А... да!

Я посмотрел на него. Дальнейшие расспросы были бессмысленны — никакими другими, более мелкими делами он, естественно, не занимался!.. Не захотел? Забыл? Чаще всего для него это было одно и то же. Забыл, потому что не захотел. Молодец!

Оча, сын гор, уже полгода не плативший за аренду батиной квартиры, завис, естественно, на мне... Убить дочуркину собаку (у попа была собака), выселить гордого сына гор — все эти мелочи, естественно, на мне... Ну а на ком же? Батя, естественно, «забыл»! Я, собственно, так и думал — просто подошел удостовериться. Ну, все! Кивнув бате — мол, все ясно, — я вернулся за калитку к моим друзьям.

Ненадежный оплот

Им-то и предстоит делить со мной бремя ответственности, хотя они вряд ли сейчас догадываются об этом. И лучше, чтобы они как можно больше об этом не догадывались.

— Ну... за аскетизм! — бодро проговорил я, разливая по стопкам.

Кто тут у нас специалист по дружбе народов? Судя по некоторым насмешливым их переглядываниям мимо меня, они имеют какой-то свой тайный план. И было глупо, если бы я не имел своего тайного плана в отношении их. И я его имел.

Кузя, освобожденный из узилища во многом благодаря усилиям прогрессивной общественности Запада, собирался и дальше, в знак благодарности, с Западом дружить. Но почему-то Запад, освободив Кузю, стал вдруг к нему охладевать — правда, не резко, но постепенно... Может, охлаждение произошло из-за «каменщика и садовника»? А может, и нет. Может, эта история с каменщиком и садовником потрясла только мой мозг? Но зато потрясла и умственно, и, как ни странно, физически.

Не могу удержаться и не рассказать об этом — душа болит!.. И голова.

Кузя после освобождения, готовясь активно дружить с Западом, жадно впитал их самые модные филологические учения — эгофутуризм, панкретинизм... точно не вспомню. И стал бурно их пропагандировать, очевидно ожидая поддержки и благодарности. Может, потому он бросил медицинское поприще (его схватили на третьем курсе), что пропагандировать новые литературные течения (в отличие от медицинских) гораздо легче и, что немаловажно, не так опасно. Что бы там ни говорилось, никто — в физическом смысле — от этого не умрет. Литераторы поселка (а их тут гораздо больше, чем слесарей, сельхозрабочих и печников) сначала было ходили к Кузе «на новенькое», но, слушая его заумные речи, в которых он сам вряд ли отдавал себе отчет, скоро завяли и разошлись от греха, отмахиваясь: да ну его подальше! Писали раньше без этих мудреных теорий, и неплохо вроде бы выходило — сотнями тысяч книжки расходились! А от этих теорий, похоже, только вред!

И не ошиблись. Я, во всяком случае, ощутил этот вред на своей собственной голове. Литераторы разбрелись по хатам и продолжали писать, как

ране... и некоторые, надо добавить, очень неплохо. Кузя остался разглагольствовать в пустой комнате. Только я еще сидел порой перед ним, клюя носом... но раз друг переживает — посидю! Еще в третьем классе Марья Сергеевна говорила: «Все-таки нет добросовестнее этого Попова!» Это после того, как второгодник Остапов, с которым я занимался, побил меня после школы, а вечером я, повздыхав, все-таки явился к нему с учебниками. И вот — перед Кузей сидю. И мне же и досталось! И это естественно! Кому же еще? Остальные-то все разбежались! Как правильно говорят: ни одно доброе дело не остается безнаказанным!

А как конкретно досталось? Сейчас расскажу. Примерно месяц я слушал Кузю один, потом неожиданно, когда силы уже стати слабеть, пришло подкрепление. Кузя в сельской нашей лавочке «У Надюши», покупая горячительное (наши слушания, честно признаюсь, заканчивались пьянками), вдруг познакомился и разговорился с двумя стрижеными солдатиками из соседней воинской части, которые оказались, как говорил взволнованный Кузя, «и с головой, и с душой»! Солдатики стали ходить на наши слушания — тем более батя Зиновий отдыхал-таки у своей юной дочери под Бордо, и ради дорогих гостей Кузя из-

рядно опустошал отцовские погреба. Солдатики своими стрижеными головами быстро смекнули, что именно тут их место. Кузя был взволнован до слез, когда солдатики стеснительно попросили у Кузи карандаши и тетрадки и стали за ним записывать, восхищенно покачивая головами: «Да... заковыристо! А помедленней нельзя?» — «Ладно уж... повторю, ребята!» — со слезами на глазах говорил Кузя. «Ты-то хоть понял?» — обращался он ко мне уже сварливо. Я-то не понял. Зато я понял, что солдатики поняли! Меня они сразу невзлюбили — я тоже в те годы пожрать и выпить был мастак, однако ходил туда, честно говоря, не за этим. Честно говоря, меня пьянство, наоборот, огорчало! И я терпел его как вынужденное зло — не бросать же Кузю-друга в столь ответственный момент его карьеры! Но солдатики четко наметили меня в жертву. Время от времени они кидали взгляд на меня, потом — недоуменный — на Кузю: «А этот-то что здесь делает? Он же ни черта не понимает! Да и не уважает тебя, шеф, это же сразу видно!» (это из-за нескольких моих робких вопросов). Дело их шло на лад. Кузя, озирая с высоты «племя младое, незнакомое», так жадно впитывающее знания (и запасы из погреба), был счастлив. Так счастлив он не был даже на свадьбе

с Дженифер, жизнь с которой, как известно, не заладилась. Зато с солдатиками заладилась. Ну, от солдатской голодухи да при лихой солдатской смекалке и не такое сообразишь. Тем более что режим в их части был какой-то почти свободный — приходя к Кузе, я встречал их там каждый раз... Если бы только я тут не путался под ногами! И меня «распутали».

Однажды после очередных «слушаний», перешедших в пьянку, я не удержался и высказал все, что думал, о Кузиных теориях и о его учениках... Кузя сидел белый: такого «удара в спину» даже от меня он не ждал. Пока я топтался в холодной прихожей, натягивая тулуп и боты, услышал две фразы вольнослушателей. Одного: «Да что он понимает!» — и второго: «Сделаем, шеф!» Не думаю, что Кузя, как это теперь модно, «заказал меня». Не думаю. Скорей это был талантливый экспромт. Оценил я его не сразу и, разгоряченный, направился к станции (тогда комнат у Битте я еще не снимал). Шел быстро, надеясь, что никогда больше этих «вольнослушателей» не увижу, — но увидел, увы. Я вроде бы шел к станции кратчайшей дорогой — но были еще и кратчайшие партизанские тропы. «Эй!» — услышал я из белых снежных кустов. Первый выскочил и

сбил меня с ног, правда, и сам он, по гололеду, поскользнулся и упал. Часть, где они служили, была технической, радиолокационной, поэтому специальным ударам их, видимо, не учили, что меня и спасло, но голову мне своими бляхами расковыряли они основательно. «Вот так вот... соображай впредь!» — проговорил один из них в заключение, и, оставив меня в пышной белой канаве, они удалились.

Через неделю, правда, я снова приехал к Кузе: все же жаль было мне его горячности, его азарта! Не пропадать же им втуне — и я приехал. Солдатики были на месте, но со мной не поздоровались. Видимо, на что-то обижались. Кузя в тот день был с ними строг — наверно, строго пожурил их перед этим за некорректность их методов. Со мной, однако, он тоже был строг. В этот день происходило что-то вроде зачета: что же слушатели усвоили из Кузиных лекций в плане эгофутуризма и панкретинизма? И надо же, усвоили кое-что — сбивчиво, путаясь в терминах или выговаривая их сокращенно, но все-таки говорили! Я, надо признать, оказался отстающим, не в силах до конца выговорить ни одного модного термина.

В разгар наших бдений резко распахнулась тяжелая кожано-ватная дверь, и в проеме возник

Зиновий, старый хозяин, в роскошной шубе, купленной, видимо, в Бордо. Некоторое время он озирал неприглядную картину, что-то задумчиво напевая, побубнивая в роскошные усы... Взгляд его становился то насмешливым, веселым, то задумчивым... Да, картина в комнате, уставленной по всем стенам книгами, не была особенно привлекательной — темнота, лишь круг света низкой лампы, катятся седые валы табачного дыма, кругом воняют окурки и бутылки, а главное, масса расконсервированных банок помидоров и огурцов. Я бы на месте хозяина вспылил — но Зиновий был и дальновиднее, и умнее. Сначала он, естественно, разозлился, но потом все взял под контроль разума, сообразил, что он сам — да и его сын тоже — с этого стихийного бедствия могут получить.

— Здорово, братцы новобранцы! — лихо рявкнул Зиновий (старый вояка!).

Все облегченно «расковались», встали, пошли представляться ему — меня-то он, надеюсь, узнал? Зиновий правильно понял, что раз у него самого тысячи учеников (от марксизма через философию к филологии), то и его сыну тоже нужны ученики!.. А что курят и пьют... дело молодое! Хорошо, хоть без баб... Или это плохо?

Зиновий и себе набуровил стопарик и, чокнувшись со всеми, лихо выпил.

— С возвращением вас! — сориентировавшись в боевой обстановке, загомонили солдатики.

Как всегда, решение Зиновия было мгновенным и безошибочным — и сына приподнял в его собственных (в смысле — сына) глазах, да и для себя кое-что удумал... как он про это-то успел сообразить?

Но все сбылось, как он, видимо, и планировал. Отслужив срочную, смышленые солдатики решили не возвращаться на свою малую и нищую родину, а остались, как и раньше, «при штабе» — но теперь уже при Кузином «штабе», как бы продолжая заслушиваться Кузиными высокопарными речами и создавая как бы иллюзию «новой литературной школы». И Кузя, что интересно, стал все более ощущать себя — при столь немногочисленной аудитории — полноценным профессором, начал важничать, походка его стала медленной, речь отрывистой и многозначительной... готовый академик — осталось только его «увенчать»! Я же к тому времени, наоборот, разболтался и обнаглел, к тому же выпустил первую свою книгу, поимевшую успех. В общем, переваривать дальше Кузину тухлятину

я не мог и своими насмешками довел его до того, что он отлучил меня от «штаба». Знал бы я тогда, в легкомысленной и веселой молодости, как это «чревато», что именно Кузя, так и не написавший в своей жизни ни строчки, будет поставлен «у руля» и, что самое обидное, — «у рубля»: на распределении и раздаче всяких премий, поощрений и наград. Кем? За что? Для меня это до сих пор — трагическая загадка. Впрочем, и раньше секретарь ЦК по идеологии, распределявший литературные премии, тоже не был мастером слова — но в его симпатиях и антипатиях все же прослеживалась логика. Кузя был гораздо более всемогущ и делал абсолютно все, что шло ему в голову.

Вскоре после освобождения России от гнета до меня дошел слух, что Кузя по поручению одной немецкой кафедры славистики готовит там конференцию «Современная литература Петербурга» — то есть, видимо, литература, выжившая вопреки. Так это же я и есть! Ни разу не употребив аббревиатуру КПСС, сумел при ней выпустить целых три книги, любимых интеллигенцией. Что же мне Кузя не сказал про конференцию-то? Кого, как не меня, он должен иметь в виду? Ведь первые свои рассказы я напечатал буквально

на его машинке, точней, на машинке Зиновия, который мужественно делал вид, что ничего не замечает. Так что же Кузя молчит? Готовит сюрприз, собака? Я не оценил еще тогда суровый нрав Кузи — отступников он карает безжалостно. Но я-то считал, что, несмотря на научные расхождения, чувство какой-то объективности он сохраняет. Как же — Кузя, друг!.. Это мое тупое добродушие не раз уже подводило меня... Но, вмазавшись в очередной раз улыбающейся харей в бетонную стену, наутро почему-то снова просыпался с улыбкой: как же... дружба! принципы! добро! Все продолжая восхищаться лукавством Кузи, скрывающим «сюрприз» от меня буквально до последнего момента, я ехал к нему в гости с целью добродушно его разоблачить: мол, хватит, Кузя, валять дурака, пора ведь уже и оформляться начать — так ведь ты на конференции без писателя окажешься!

По дороге со станции я зашел, естественно, в поселковый, «Надюшкин», магазин, собираясь приобрести гостинец. Передо мной в очереди оказались знакомые мне солдатики, служившие теперь уже при Кузином «штабе». Гордый, но бедный Кузя их, естественно, содержать не мог. Зато практичный Зиновий обнаружил в них иные

таланты — и теперь один из солдатиков работал у них садовником-огородником, другой каменщиком — строил гараж, потом флигель. Хозяйство их, как помещичья усадьба девятнадцатого века, поражало интеллектуальным блеском. Подобно тому как хорошенькая холопка после расчесывания льна вечером могла поразить цвет аристократии исполнением роли Джульетты, так и тут — каменщик с грубым лицом и руками в растворе, зайдя на минутку в гостиную к интеллектуальным гостям, поражал их цитатами из Кьеркегора и Дерриды.

Правда, здесь, в магазине, солдатики отдыхали от интеллектуальной нагрузки и выражались на прежнем солдатском сленге:

— Три пузыря берем... нет — четыре! В этой ... Германии нормальный поддавон ни ... не купишь!

В Германии? Я не ослышался? Садовник и каменщик едут в Германию представлять «современную литературу Петербурга»? Видимо, чтобы своим робким ученичеством оттенить Кузину интеллектуальную мощь?

— Да брось ты, на ..., дергаться! С закусью там все нормально!

Надеюсь, на конференции они изменят слог? А

сколько вообще мест в нашей делегации? Впервые вдруг тревога стала капать в мою лучезарную душу, как ржавые капли из крана на сверкающую поверхность ванны. Да не может такого быть!.. Кузя, друг! Ведь вместе же пробивались наверх — хотя несколько разными путями. Неужели эти «разные пути» так сказались?

Я пошел за солдатами, даже забыв купить бутылку, и получил «удар по голове» значительно более сильный, чем тогда, когда били бляхами.

— А почему ты *решил*, что именно *ты* представляешь собой *всю* петербургскую литературу? — вдумчиво расчесывая пальцами кудлатую бороду, произнес Кузя.

Обвинение сразу по трем пунктам — причем все три явно несправедливые: ничего я не «решал» и не говорил, что только «именно я», и не утверждал никогда, что «всю». «Всю», я думаю, не представит никто — но хотя бы себя самого я представляю?

— Значит, я не еду? — выговорил я.

Кузя в ответ ушел в молчаливое самосозерцание. Солдаты нагло развалились в креслах... Ну, если бы они выступали с новеллами из солдатской жизни — я был бы за! Но они ни с чем не выступали! Так почему же они? Возвышенный

ход Кузиных мыслей мне не совсем был понятен... Кто угодно — лишь бы не я? Тоже странно! Но в жизни, однако, много странного — просто ты не хочешь это «странное» осознать!

И потом — это ведь уже не солдаты! Это уже теперь — каменщик и садовник. Но все равно — представлять ими петербургскую литературу? Я тупо молчал. Потом встал. Вышел из хаты. Никто за мной не побежал — даже с целью избиения, как когда-то... Теперь я, видимо, никакой опасности не представлял.

Может быть, из-за того, что Кузя самонадеянно привез на столь важную конференцию лишь своего садовника и каменщика, его акции на Западе стали падать? Правда, что еще добавило мне обиды, Кузя вдруг пригласил на конференцию друга Ваню, чей незамысловатый солдатский шедевр «На посту я поссу» был объявлен Кузей — и его «учениками» — шедевром эгофутуризма. Вряд ли Ваня способен был выговорить это слово. Однако оказался эгофутуристом и был приглашен. Но загулял и не поехал — что делает ему честь.

Может, именно садовник и каменщик, явившись в Европу, и подорвали Кузину репутацию? Так, видимо, и было — хотя подрывали оба по-разному. Садовник, оказавшись впервые за рубежом,

среди столь разнообразной выпивки и закуски загудел по-черному и даже самых простых терминов не мог выговорить. С каменщиком вышло иначе. Тот неожиданно блестяще вписался и даже всех поразил многозначительной загадочностью выступлений — и с ходу, в отличие от Кузи, получил предложение преподавать на нескольких заграничных кафедрах. Вот это взлет! При этом, говорят, в своих лекциях он отзывался о Кузе все более пренебрежительно... В общем-то, безапелляционный стиль уничтожения соперника он усвоил от Кузи, так что тому вроде бы не на что было обижаться... Тем обидней! В общем, Запад Кузя потерял. Как Кузя мне жаловался за бутылкой (мы снова сблизились), настоящей интеллектуальной новизны никто не ценит.

Но зато у него была семья. В смысле — батя. Такого батю, как Зиновий, надо было еще поискать. Он не дал впасть своему отпрыску в уныние и пьянство, а энергично занялся его судьбой. Сложность была в том, что Кузя по-прежнему ничего не написал. Но, может, это и хорошо? Зиновий как раз занимал место «умного еврея при губернаторе» — при тогдашнем председателе Союза писателей, бывшем кавалеристе. Кавалерист и сам был не прост (хотя тщательно выпячивал

свою простоватость), но некоторые тонкие вопросы он целиком перепоручил Зиновию и был за них спокоен. И умный Зиновий поставил Кузю заведовать литературными отношениями с республиками Союза. Кузя был оскорблен. Вместо блистающего Запада его ткнули харей в пыльный Восток! Но что было делать, раз неблагодарный Запад сам отвернулся от Кузи и перестал его куда-либо приглашать?

Помню, как я однажды зашел к Кузе в его крохотный кабинетик в Союзе писателей, сел на прорванный кожаный диванчик. Кузя посмотрел на меня с нескрываемой ненавистью: мол, чего зашел? Какое отношение имеешь к делам республик? Просто так, поиздеваться? Но высказаться он не успел — телефон заверещал длинной междугородной трелью — Кузя тут же ухватил тяжелую трубку и, кидая на меня ненавидящие взгляды, подобострастно загундосил:

— Да, да! Заказывал! Спасибо! — (зачем перед телефонисткой-то так заискивать?) — ...Аксарбек Татарханович? Кузьма Кузнецов вас приветствует. ...да, из Северной Венеции, — подобострастно захихикал. Один глаз Кузи налился сладостью, другой еще продолжал метать в меня молнии. — Да, с Кабиром Тахировичем я все согласовал!

Да! Отлично! — Сладость наконец заполнила оба глаза. — Хорошо! Значит, я звоню Сарвару Алимджановичу, уже от вас! Лады! Да, Чингиз Торекулович в курсе. — Молодец, Кузя, ни разу не сбился на трудных именах! — Да, сабантуй ваш помню! — Кузя подхалимски захихикал и с новой ненавистью глянул на меня.

А вот теперь я это ему и припомнил! Раз он занимается дружбой народов, пусть он эту дружбу теперь и расхлебывает! Проще говоря, сохранил же он связи с Аксарбеком Татархановичем и Кабиром Тахировичем, которые были конечно же никакими не секретарями крайкомов или местных союзов писателей, а главами разных там родов, кланов и тейпов — просто назывались тогда так. Так пусть теперь Кузя попросит их, с их авторитетом, повлиять на Очу, моего безответственного жильца, занимающего батину квартиру и высокомерно отказывающегося платить. Может, хоть законы и авторитеты Востока на него подействуют? Короче, я имел на Кузю вполне конкретный план — но с ходу заявлять об этом не следует, Кузя сразу же горько улыбнется: «Да, ты настоящий друг!» Постепенно, только постепенно... чтобы все вышло как бы само собой. В мягкой манере — иначе Кузю не возьмешь!

Вот так! Мы тоже не лыком шиты!

Тем более, когда Советский Союз (эта «тюрьма народов») развалился и снова повеяло «запахом свободы», Кузя, как освобожденный узник «тюрьмы народов», снова радостно ринулся к Западу: наконец-то я окончательно раскрепостился, берите меня! — но неожиданно снова получил отлуп. За что же его так не полюбили там? Может, за полную бесполезность? Но вроде бы он знает эти дела? Тем не менее известный своей щедростью всемирный фонд Пауэлла ответил Кузе: будем поддерживать материально только программу «Восток — Восток». То есть продолжайте дружить между собой, как и раньше дружили, а на Запад не суйтесь: готовы вам за это даже платить! Кузя, конечно, снова обиделся... обида была почти что постоянным его состоянием... но что остается делать? Надо дружить и снова звонить Аксарбеку Татархановичу и Кабиру Тахировичу... тем более теперь дружить еще важнее, чем раньше. И пусть для начала уймут моего дерзкого жильца... Кто о чем, а вшивый о бане!

Так что на Кузю я имел вполне определенные виды. Дружба не знает границ! Кузя поможет — «дружбы народов ненадежный оплот».

— Ну так едет кто в город?! — Ваня вытащил-

таки из банки последний огурец и с хрустом прокусил. Раз пошла такая пьянка — режь последний огурец.

— А ты не пьян? — Кузя высокомерно поглядел на Ваню.

— Для тебя, может, и пьян, а для Попова — нормально! — Ваня лихо подмигнул мне. Кузя отвернулся от нас. Ваня разлил.

Боюсь, через полчаса он не сгодится даже для меня.

— Домой схожу, — сказал я неопределенно.

Тревожный завтрак

Отец и жена уже сидели на террасе и ели. Меня не дождались. А может, я сам виноват — задержался на совещании. Я торопливо сел за стол, глянул на листья, занавешивающие стекла и просвеченные солнцем... Да, природа хороша, но надо возвращаться к реальности.

— Дожили! — смачно проговорил батя, с хрустом раскусывая хрящ. — В Ивангороде свет отключили эстонцы, за нашу неуплату!

— Но мы-то, слава богу, не там сейчас! — пытаясь еще улыбаться, проговорила жена.

— А... везде одинаково! — кинув на нее тяжелый взгляд исподлобья, рявкнул отец.

— По-моему, здесь ты еще все-таки что-то ешь! — дрожащим голосом проговорила жена. Я-то был покрепче — в батю, — а ее давно уже нервировала эта батина манера страстно возмущаться «крупными проблемами», как-то не замечая наших, семейных, отнюдь не менее горьких... мелковато для него? Или просто — тут надо делать что-то беспокойное... а думать лишь о глобальном — гораздо удобнее.

— А!.. Что я ем! — упрямо проговорил батя, хотя

на столе были и куски вчерашнего мяса, и яйца, и сок. Я глянул на жену. Ей, болезной, не так-то легко искать, где дешевле, а потом все это таскать.

Да, это он зря сказал. Взяв в голову какую-то идею, упрямо прет напролом, не замечая, что топчет. Жена, побледнев, вскочила из-за стола и ушла в комнату. Батя неторопливо доел (ест он так же обстоятельно, как говорит), потом приложил ладонь к боку чайника (горяч ли?), неторопливо налил в кружку, два раза гулко хлебнул, потом посмотрел с некоторым изумлением на опустевшее место напротив, потом вытаращился на меня:

— А где Нонна?

Заметил!

— Ушла, — коротко ответил я.

— Ушла? — Он еще более вытаращился. Видимо, его сильно волнует — а где же сладкое? — Что я, что-нибудь не то сказал? Хорошо, вообще тогда буду молчать! — Грохнув стулом, он ушел. Позавтракали!

Я вошел в комнату к жене. Она сидела, откинувшись, на диване, губы и щеки побледнели и провалились, а лоб, наоборот, торчал и светился: пот.

— Ты лекарство купила? — с досадой спросил

я.

Лицо ее слегка дрогнуло, но глаз она не открыла. Губы показали обиду и недовольство. Ясно. Мол, на те деньги, что ты мне дал, могла я разве это сделать?

Все ясно. Отдала лекарственные деньги дочурке — собачку кормить! А виноват я! Схватив со стола свою сумку, я выскочил.

Ясно! Я должен вернуться с деньгами — и желательно живым.

Третье Тело России

Когда я пробегал мимо, Третье Тело России даже головы не повернуло в мою сторону!

Стенолаз

Друзья мои (прекрасен наш союз) тоже как-то не заинтересовались моим пробегом и, стоя теперь уже в саду Кузи, голов в мою сторону тоже не повернули. Ну и бог с ними! Пусть отдыхают ребята! Не буду их втягивать в ту воронку, в которую все сильнее втягиваюсь сам... Чем они могут помочь реально?! Так, одни фантазии. Друзья мои почему-то внимательно смотрели на мой вздувшийся опять отпечаток на простынке... Кумекают? А я как же? Ну ладно — не до этого! Мне пришлось протискиваться между грузовиком, вставшим тут, похоже, на вечную стоянку, и забором. Когда ДРСУ (Дорожное ремонтно-строительное управление), где раньше работал Битте-Дритте, наполовину сократилось, уволенный Битте демонстративно поставил свой сломанный грузовик поперек переулка — как капитан, затопивший свой линкор у входа в бухту, чтобы враг не прошел. Нам и самим-то было трудно пройти между грузовиком и оградой.

Под кузовом в тени степенно возлежали козы, неторопливо пережевывая, двигая челюстями с бородкой влево-вправо. Молодые козлята резви-

лись на солнышке — пассивный отдых их пока что не привлекал. Часть козлят, стоя на задних копытах, как фавны, щипали листики, торчащие сквозь ограду, несколько козликов (мальчуганов, по-видимому) оттачивали свою боевитость. Вот такая парочка уперлась друг в друга лбами в аккурат на моем пути. И вдруг одновременно, как по команде, наклонили кудрявые головки и гулко стукнулись рожками... Молодцы, ребята! Ну, может быть, теперь можно пройти? Но они так и остались стоять, видно набираясь решимости ко второму раунду.

Пришлось их обходить. Я выбрался на лоснящееся, взлетающее кверху, полыхающее радужными бензиновыми переливами шоссе. Может, я его несколько перехвалил — но приходится восхищаться чем попало, тем, что попадается на бегу: на поиски иного, более изысканного, ни времени, ни сил.

Вот и автобус в отдалении отчалил от будки. Теперь до станции — легкой трусцой. «Кросец по пересеченке», как говаривал Ваня, старый служивый. На километр без передыху хватило меня! Но на мосту, остро, с болью выдохнув, чуть замедлился — как бы любуясь окружающим, опять же. Под широким мостом справа и слева падала вниз

бескрайняя и какая-то засохшая долина — жизнь, похоже, там засохла после ухода высокой воды: огромные сухие зонтики борщевика, фиолетовые «бритвенные кисточки» цветов гигантского чертополоха, серо-голубые стены полыни, сплошь покрытые «пылью забвения», — чувствуется, что давно их никто не шевелил. Местами над зарослями торчала крыша или высовывалась рассохшаяся терраса, иногда там даже виднелись люди, греющиеся на солнце, неподвижные и тоже словно засохшие. Последнее время долина эта своим сухим и неподвижным спокойствием стала вызывать у меня жгучую зависть: вот так бы засохнуть на солнышке и ни о чем не думать, как вон тот неподвижный человек, хотя, конечно, умиротворенным он казался только издалека. Но все равно — над долиной этой я каждый раз останавливал свой бег. Что я все гоняюсь за несчастьями, словно умалишенный? А хорошо бы сойти с моста, в неподвижную эту жару, сесть на рассохшейся террасе и все забыть. Не удалось попасть в хорошую жизнь — сойти в долину, полную полыни и пыли. Не в жизнь, так в долину.

На далеком дне, под зарослями, кажется, сверкала какая-то вода. Отец, упрямый во всем, однажды, стоя на этом мосту, доказывал, что вот

с этого места вода течет в две разные стороны. Почему? Какой там, внизу, может быть такой водораздел, разламывающий течение? Ведь всем тут известно, что речушка течет от вокзала к нам. Но нет же — отцу надо иметь отдельное мнение абсолютно обо всем — иначе он не чувствует себя достаточно активно мыслящим, а это для него главное. Всю жизнь делал открытия в селекции, выводил сорта ржи, которые кормят до сих пор Северо-Запад... и теперь еще по инерции продолжает изобретать, обрушивает на всех свое почти уже вековое самомнение и опыт — в последнее время обрушивает исключительно на меня. Выдержим! Сам я, слава богу, такой же, хотя опыта и упрямства поменьше... Ну, все? Отдохнул? Полюбовался природой? Ну, так вперед!

Усталые ноги замелькали внизу, как-то отстраненно, словно издали, словно и не свои... Как же — отдохнешь ты! Сзади стал нарастать грохот досок моста — некоторое время я еще убегал, но потом обессиленно остановился... Не уйдешь!

— Падай! — Тормознув, Ваня оттолкнул заднюю дверцу своего железного зеленого «козлика». Кузя тоже сидел на заднем сиденье, непроницаемый за черными очками. Сжалились? Или — по своим делам? Или по своим-моим?

Тут мы легко, надуваясь ветром, полетели по небольшому спуску — перед новым взлетом шоссе. Именно из-за этого спуска батя и утверждал, что речка тут поворачивает вспять... Ну все. Успокойся.

Может, действительно верные мои друзья, старые специалисты по дружбе народов, помогут мне? В моем случае дружба народов должна выразиться в получении с Очи денежного долга — или выселении. Подмогнем? Я поглядел на друзей.

Я ж помогал Кузе с дружбой, как мог!

Помню, как я однажды с голодухи и одновременно с дикого похмелья — да, были времена! — забрел в резной, мрачного черного дерева ресторан Дома писателей. Благодаря реформам зал был уже почти пустой — теперь все опохмелялись в местах попроще. Лишь под великолепным витражом с шереметьевским гербом сидел какой-то всклокоченный Кузя с тучным, масляно улыбающимся «баем» в тюбетейке. В то время полагалось строго по одному классику на каждую автономную республику и национальный округ. Стол перед ними ломился от яств, но общение, я чувствовал, не клеилось. Нелегко было гордому Кузе на такой холуйской работе!

Увидев меня, входящего в зал, Кузя кинулся ко

мне как к спасителю. Запихнув меня в резной эркер, где баю нас было не видно, он жарко зашептал:

— Слушай! Придумай что-нибудь! Я ему — Эрмитаж, а он мне — бабу! Я ему — балет, а он снова — бабу давай! Глядишь, пожалуется Пупу, что я не соответствую!.. Мало ему там гарема — здесь захотел!

— А я-то чем могу? — зашептал я.

— Но у тебя-то, наверное, есть кто-то?

— У меня? Откуда? Сам еле ноги волочу! Ну ладно. — Я вошел в положение друга. — Сейчас подумаю.

— Вот и хорошо! — расцвел Кузя. — В общем, садись к нам, ешь-пей, а главное — думай! Ну, все! Улыбочка!

С масляными улыбочками, олицетворяющими гостеприимство, мы выплыли из эркера.

Появление мое за столом бай встретил довольно кисло: вовсе не того он ждал от референта! Такого референта у себя он мгновенно бы уволил. Знал бы бай, что его еще ждет впереди!

Выпив и закусив, я честно стал думать... в те годы я грабил «Ленфильм», получая авансы, но не сдавая сценарии.

— Вспомнил! — вскричал я. — У меня, ясное

дело, нет, но у друга Петьки, режиссера с «Ленфильма», наверняка есть!

Появление Петьки наш гость встретил уже мрачновато. Знал бы он, что ждет его впереди!

— Откуда?! — возмущенно вскричал Петька, хватив водки. — Я художник, а не бабник!

Хватив второй стопарик, Петька слегка поостыл.

— Ну ладно... У Димки, моего администратора, есть, наверное... Сейчас позвоню.

Постепенно образовался длинный стол — и, что характерно, из одних мужиков, шумно выпивающих и галдящих. С появлением очередного мужика, у которого «уж наверняка есть», бай все больше мрачнел. Радостный гвалт нарастал: последний знал, что его пригласил предпоследний, и радостно с ним общался. Затерявшийся где-то в дымной дали бай был почти что забыт, и если бы не моя стальная воля, цель сборища исчезла бы окончательно. Я подходил раз за разом к каждому новому и повторял задачу. В большинстве своем все были сначала изумлены, потом шокированы, потом вызывали следующего — и тому приходилось все объяснять. Бай с робкой надеждой глядел на меня. Как говорила моя учительница Марья Сергеевна: «Все-таки нет добросовестней этого

Попова!» И добросовестность моя наконец дала плод: в дальнем, уже еле различимом конце стола появилась маленькая, вертлявая и довольно вздорная особа... уж и не знаю, кто этого добился. Но, в общем, я. Кузя пожал мне под столом мою потную руку. Особа довольно противным голосом потребовала шампанского... И если бы все этим кончилось, то сделанное можно было бы считать успехом... Но! Бай громким шепотом приказал Кузе пригнать такси. Но! Вся компания почему-то устремилась за ними — так чудесно гуляли, что неохота расставаться. По дороге, естественно, пришлось еще докупать продукта. Все радостно ворвались в шикарную городскую квартиру Кузи. Учитывая, насколько длинной была прелюдия, само действие оказалось на удивление кратким. Бай, не снимая шубы, сразу же удалился с особой в спальню — и еще через мгновение раздалась звонкая пощечина, и возмущенная особа выскочила из квартиры. А мы с мрачным баем пировали еще долго, пытаясь его развеселить.

...Неплохо, правда?

И вот — «венец дружбы народов». Юный, но важный и наглый Оча в квартире моего отца, заслуженного профессора, не желающий платить. Конец — делу венец. Венец, к сожалению, терно-

вый. Помню, после бая Кузя говорил в отчаянии: «Нет, дружбу народов мне не поднять!»

...Может быть, теперь вместе осилим?

Стали мелькать кучи угля, ржавые цистерны — привокзальная свалка. Здесь рельсы взлетали на насыпь, на мост — все, стоящие на земле, смотрели куда-то в ту сторону, что-то там произошло. Какая-то круглая оранжевая сфера торчала вверх над растекшейся под мостом вширь речкой, рядом мелькнул огромный рыжий кран с надписью «Ивановец», еще какая-то мощная аварийная техника.

— Что там? — спросил я.

— Цистерну толкали, к составу подцепить, — и с насыпи шлепнулась, прямо в речку! — пояснил вездесущий Ваня почему-то радостно.

«Млат водяной?» — вспомнил я вчерашний удар по воде.

— Вдребезги? — спросил я.

— Почти! — усмехнулся Ваня. — Может, специально сделали — в цистерне-то спирт!

— Спирт? — изумился я.

Так вот откуда оно, вчерашнее неземное блаженство, что чувствовал я вчера, вылезая из ручья и засыпая!

— Мало того, что кайф поймали, теперь еще

фирма-поставщик компенсацию заплатит — за нарушение экологии... а фирма-то иностранная! — Ваня потер в воздухе пальцами.

— Не болтай... еще ничего не известно! — недовольно зыркнул на него из-под черных очков Кузя, как опытный шпион на неопытного, разбалтывающего тайну.

Что они там задумали? Впрочем, это вряд ли касается меня! А чё тогда поглядывают?

Но Кузя как раз сидит застывший, окаменевший — это Ваня задорно поглядывает, но не на меня, а на него.

— Ну почему же — неизвестно? — продолжая дразнить Кузю (а заодно вроде бы и меня) усмехнулся Ваня. — Вся речка у нас теперь чернильная!

— Чернильная?! — воскликнул я.

— К чернилам, было бы вам известно, — сварливо проговорил Кузя, — фирма «Пауэлл» не имеет ни малейшего отношения! У них народ технический спирт не лакает! Это уже наши, когда цистерна границу перешла, чернил туда бухнули, чтоб не пили!

«Чернильный ангел»?! — сообразил я. Вот оно что!

Я захохотал. Кузя почему-то обиделся, вздрогнул

и умолк, хотя к нему хохот не имел ни малейшего отношения — скорее ко мне. Я, как всегда слишком рано возбуждаясь, нафантазировал незнамо что... какого-то «чернильного ангела»... а всего лишь вымазался в грязном ручье!

Но разочарования я почему-то не чувствовал — скорее подъем!

Похоже, что-то они задумали все-таки про меня, какую-то гадость — но и я, простая душа, кое-что для них задумал, что они не ведают... а если и ведают, то забыли... как я однажды вполне ловко прошел уже по их головам! Неужто не поняли тогда? Или забыли, как я с их помощью решил неразрешимую, казалось, задачу?! И вспоминаю сейчас об этом не из злорадства, а потому, что собираюсь такую же штуку повторить — и в гораздо более жестком варианте.

Был уже однажды неплохой вариант, рассчитанный мной с виртуозной точностью... Забыли? Или — не поняли?.. Ну что же — тем легче мне будет его повторить.

Ну все, все... хватит! Не буду больше пугать!

Ничего страшного. Просто одного я уже провел по этой дорожке, по которой сейчас собираюсь Очу пустить. Первый раз довольно давно это было... потому уже не помнят, наверное.

Давно, когда дочурка еще в школе училась, было модно дружить со школами всяких-разных республик. И тогда уже, помню, в первый раз я удивился некоторым особенностям национальной политики.

Сначала дочурка съездила в гости в их столицу, пожила там в семье у своей ровесницы — очень понравилось. Стали ждать ответного визита. Вымыли квартиру, убрали для девочки, которая должна была приехать, лучшую комнату. И вот рано утром — звонок. Радостно бросаемся к двери— стоит, радостно улыбаясь, толстый усатый мужчина.

— Принимайте гостя!

Впустили, естественно. Стал развязывать какие-то кульки, выставлять пыльные бутыли.

— Гостинцы вам!

— А-а... где Стефания? — У дочурки слезы потекли.

— Кто?! — вытаращил свои глазки-бусинки. — А-а... Стефания. — Сел на диван, стал почесываться, зевнул. — Она не смогла! Устал с дороги... можно прилечь?

Да-а, странные обычаи в их солнечной республике — вместо школьниц пузатых дяденек присылать. Поспал минут десять — но хорошо

поспал, с храпом, потом резко вскочил, снова вытаращился:

— Цветы!!

— ...Какие цветы?

С досадой махнув на нас рукой, как на глупых и уже надоевших родственников, наш друг Аурел (так его звали) кинулся в прихожую, расстегнул пузатый баул... божественный аромат! Содержимое оказалось неожиданным: нарциссы!.. Неужели все нам? Ну зачем же?.. Оказалось — не совсем так! Аурел сел на корточки — какая грация, при его тучной фигуре! Все они там, в солнечной их республике, певцы и танцоры! Уверенно, уже по-хозяйски он взял со стула в прихожей наши газеты, расстелил на полу и стал аккуратно раскладывать грациозные белые цветы с желтенькой серединкой по двадцать штучек и, ловко доставая из кармана кругленькие резиночки, сцеплять их. Разложил на газете, полюбовался... Мы тоже, очарованные, глаз не могли отвесть...

— Ванную открой! — приказал мне он.

Я кинулся выполнять. Войдя в ванную, он оглядел веревочки для белья, потом, двигая головой на тучной шее вниз-вверх, стал брать сцепленные букетики нарциссов и вешать их головками

вниз. Вскоре наша ванная стала напоминать цветущий сад вверх ногами.

— А душ можно принимать? — пискнула жена.

— Нет, конечно! — рявкнул Аурел.

Потом — что же делать? — пригласили его к столу. Завтрак, приготовленный для встречи юной школьницы, не совсем, видимо, удовлетворил Аурела... во всяком случае, закуски к коньяку мы не предусмотрели.

Сказав, что вернется к обеду, Аурел аккуратно снял с веревочек в сумку часть цветочного урожая и ушел на рынок.

Мы вздохнули с некоторым облегчением: хоть чуть-чуть можно было расслабиться. Потом дочка узнала в школе, что, оказывается, во все семьи вместо ожидаемых мальчиков и девочек приехали суровые тети и дяди — и даже, что интересно, не родственники ожидаемых школьников: на расспросы о них не знали, что ответить.

Все эти судороги дружбы народов казались мне уже агонией: если происходят такие катаклизмы — вместо школьников приезжают спекулянты, — то дружбе, похоже, долго уже не жить. Но она оказалась живучей! Сменив, правда, шкуру, как змея!

Аурел, короче, здесь до сих пор. На рынке тогда

его приняли неласково и даже побили, в результате он запил-загулял, три дня, как рассказывали потом очевидцы, ходил по дымным кабакам в сопровождении музыкантов с визгливыми скрипками... Но мы-то тогда этого не знали, волновались как уже за члена семьи: куда сгинул? Не придется ли нести цветы к нему в морг?

Но на четвертый день он объявился, после чего два дня спал, потом еще один день рыдал. При этом мы еще должны были поддерживать наш нормальный трудовой ритм: дочка должна была готовить уроки, жена — высыпаться перед работой, а я что-то при этом еще и писать! И я должен сказать, что волновали тогда меня совсем другие темы — отнюдь не дружба народов!

На седьмой день Аурел распахнул дверь в ванную и издал вопль: увяли лютики! Это, впрочем, вполне естественно: провисели семь дней вниз головкой, без капли влаги, — мы, робея, даже не мылись.

— Что же мне делать? — Аурел горестно опустился на пуфик.

Вопрос этот, видимо, относился к нам.

— Я же должен за домик! Теперь меня убьют!

Надеюсь, не здесь?

...Так что некоторый опыт «дружбы народов», а

также ее прекращения у меня есть. Но без помощи моих друзей, тоже специалистов по дружбе, мне не обойтись. В прошлый раз они мне помогли — может быть, сами не ведая об этом...

Рыдающего Аурела все же удалось тогда впихнуть в поезд, что было нелегко... Дело, думаю, тут не в национальности — в любой национальности имеются люди, не умеющие рассчитывать свои желания и планы.

Аурел совершенно неожиданно объявился через восемь лет — наша дочка, бывшая школьница, была уже тогда замужем. Но Аурел внешне совсем не изменился — и внутренне, к сожалению, тоже: по-прежнему не соразмерялся ни с чем, был в плену необузданных желаний. С вокзала, весь в рыданиях и соплях, — прямо ко мне. Получалось, что лучшего друга, чем я, во всей России у него нет! А может быть, и во всем мире?

Правильно говорила мне одна моя знакомая: «Твоя добросовестность тебя погубит!»

Но — барахтаемся! В этот раз Аурел явился уже без цветов и вообще — без вещей. Это, честно скажу, не порадовало. Что случилось?

— Я буквально еле успел выскочить в чем был! — радостно сообщил мне Аурел еще в прихожей.

В чем сейчас дело? По его версии теперь полу-

чалось, что националисты в его освободившейся, но сильно разгулявшейся республике хотели его убить — за то, что он женился на молодой русской. Поступок, конечно, неординарный. Зачем пятидесятилетнему дядьке, женатому уже дважды, снова жениться — на молодой, да к тому же еще русской? Как говорят, сердцу не прикажешь. Но Аурел даже и не пытался ему приказывать! И даже гордился своим бешеным сердцем! А нам — расхлебывай!

Дело тут, повторяю, не столько в национальности, сколько в самом Ауреле. Вскоре после его появления — подселения, естественно, к нам — я ездил в Москву и в купе встретил молодого красивого соотечественника Аурела, который, оказывается, тоже женился на русской — и при этом прекрасно у себя в республике жил! Так что дело тут, повторяю, в самом лишь Ауреле. Возможно, дело не в том, что на русской, а просто на слишком молодой? Или, может быть, даже не женился, а просто так? Многие национальности этого не любят, включая нашу. И потом, если он так красиво-трагически женился, то где же его молодая жена? Позабыл в спешке? Почему ей не звонит? Много вопросов и, я бы даже сказал, подозрений возникло тут. Но высказываться об

этом я не решался: республики в основном уже отделились — но дружба народов по-прежнему считалась делом священным... и получилось бы, что я замахиваюсь не на Аурела, а на дружбу народов! В это время дочка от мужа вернулась к нам, и Аурел как-то сразу приосанился...

Надо было другим путем. И этот путь я гениально вычислил. В то время я часто гостил у Кузнецовых на даче. И вот однажды мы выпивали с Кузей в беседке, иронически комментируя все происходящее вокруг. А происходило следующее: Кузин батя Зиновий, в тертом морском кителе времен войны, командовал Битте-Дритте, сидящим на крыше. Как всегда, Битте-Дритте больше демонстрировал себя, чем работал.

— Ты обещал за два дня! — вопил Зиновий.

— Тут минимум на месяц! — свысока усмехался Дритте.

— Вот месяц тут и сиди! — в бешенстве прокричал Зиновий и ногой в рваном говнодаве пихнул лестницу, прислоненную к дому. Лестница медленно стала падать и с хрустом рухнула в заросли малины. Зиновий был — да и остается — настоящим мужиком, и гнева его все боятся... но не Битте-Дритте!

— В трубу можно поссать? — насмешливо крик-

нул он сверху.

Взбешенный Зиновий вошел к нам в беседку:

— Налей!

— У меня есть отличный кровельщик, — скромно проговорил я. — Беженец. Пропадает. Много не возьмет.

Зиновий радостным орлиным взором впился в меня. Хотя насчет «пропадает» (Аурел жил у нас довольно уютно) и насчет «много не возьмет» я не был до конца уверен. Но уверен я был зато в другом: держать больше Аурела у себя я не намерен!

Аурелу я, естественно, сказал, что интеллигентная богатая семья приглашает его к себе на виллу, много слыша о нем (от меня) и желая пообщаться. К тому же надвигается праздник уборки урожая, и не знаю, как у них (тут я снова слукавил), а у нас этот праздник принято отмечать на природе, буйно и пышно. И Аурел съехал!

Теперь на воздухе! Одна природа кругом!

И что самое славное — действительно оказался талантливым кровельщиком, о чем он сам — а тем более я! — прежде не подозревал. Теперь он там нарасхват, кроет все подряд, но в основном — богатые виллы, растущие сейчас словно грибы, и сам Аурел далеко уже не беден, хотя живет уже третий год в хламовнике у друга Вани — там он

ощущает себя вольней, чем в полувоенной обстановке дома Кузнецовых... Но скоро съезжает: виллу отстроил себе!

Вот так! Не лыком мы шиты! А кровельным железом!

Да, не так я прост, как правда.

Так что пути эвакуации мной уже разработаны, и теперь надо по ним провести следующего... хотя ни Кузя, ни Иван пока об этом не догадываются — и слава богу!

Я вернулся к реальности.

— Куда едем? — деловито уточнил я.

— К тебе! — загадочно усмехнулся Ваня. — Ты что — против?

И Кузя тоже мрачно и загадочно усмехнулся.

Видимо, они имеют какие-то загадочно-зловещие планы насчет меня! Но и я имею их!

На мгновение я представил свирепого бритоголового Очу с таким же его другом по имени Зегза на крыше кузнецовского дома, в тот момент, когда Зиновий отбрасывает лестницу, и слегка вздрогнул... Но тут же взял себя в руки.

Мы как раз проезжали вокзальную площадь и увидели дружбу народов в нынешнем виде и во всей красе. Кроме пестрых цыган и задумчивых кавказцев тут теперь еще носились рваные, но

веселые дети с кожей фиолетово-оливкового оттенка... из предгорий Памира? При этом, что странно, с ними не было никаких взрослых. И даже милиция, как сказал Ваня, не могла понять, откуда они. Тем не менее они чувствовали себя здесь довольно уверенно и весело, с воплями и радостными криками накидывались на людей, прося денег, что было понятно без перевода. Сейчас они налетели на нашу машину, лупили в борта, кричали.

— Привет вам, дети Юга! — рявкнул Ваня, но денег не дал и скорости не сбавил — и правильно сделал: растерзали бы!

Да-а, дружба народов принимает сейчас все более причудливые формы!

До нашего друга Очи в батиной квартире жил другой сын гор — Хасан. Потом он приютил друга Очу, которого раньше не знал, но, встретив где-то на рынке в затруднительной ситуации, сразу же величественно пригласил к себе (если быть точнее — то к нам!). Когда мы спросили Хасана по телефону, кто там с тонким голосом берет трубку, Хасан ответил с достоинством:

— Это мой друг. Его Оча зовут! — И, видно почувствовав наше недовольство, хотя он мало обращал на него внимания, добавил с достоин-

ством: — Я ручаюсь за него, как за себя!

Лучше бы он сказал: как не за себя, — сам-то он не платил уже полгода. Так что рекомендация та не выглядела такой уж великолепной — но это с нашей точки зрения, а не с его: ему эта фраза казалась вполне достойной. Вообще на них можно было бы любоваться — если бы не денежный долг. То, с какой горделивой надменностью они держались, вызывало сначала уважение, а после — недоумение: неужели они не понимают, что раз не платишь, надо держаться поскромнее? Отнюдь! Скорее наоборот. Чем больше был долг — тем выше самомнение: мы можем все, нам подчиняются, никто не смеет нам указывать, когда платить, а когда не платить! Мы сами знаем, когда не платить. Никогда. Как остроумно, но мрачно заметил мой друг Сашка Бурштейн: «Может, как раз их Честь и не позволяет им платить? Может, по их законам потом на сестре никто не женится, если они заплатят?»

Вряд ли они думали о сестрах — но с ростом долга их надменность росла: видимо, с осознанием их силы. Когда мы приходили к ним на переговоры о «реструктуризации долга», маленький, но величественный Хасан неподвижно сидел в кресле и почему-то казался выше нас. Толстый,

белый, бритоголовый, босой Оча садился скрестив ноги на ковер, брался руками за большие пальцы босых ног и застывал в неподвижности. Первые несколько раз мы думали, что он просто не знает по-русски, но потом выяснилось, что говорить может, но не считает нужным.

Потом Хасан куда-то исчез — не расплатившись и, разумеется, не извинившись. Тут Оча впервые счел нужным произнести нечто внятное: «У него дела!» Хотя особо внятным это не назовешь. Какие дела? Имеют ли они какое-то отношение к отдаче долга?.. Без комментариев!

Вскоре Оча привел жить в квартиру своего близкого друга Зегзу, за которого тоже поручился «как за себя!». Естественно, им обоим и в голову не пришло, что в этой рекомендации есть что-то ненадежное или тем более смешное. Они уже в себе не сомневались — так же, как и в праве жить в отцовской квартире не платя. Им, видимо, казалось, что уже — все! Победа! Только они, видимо, забыли (плохо учились в школе?) известную пословицу: «Русский медленно запрягает, но быстро ездит!» Поехали! Полетит красавец Оча вместе с другом Зегзой «белокрылой зегзицею», как сказала когда-то Ярославна, жена князя Игоря. Сейчас я в этом уже не сомневался — доперло! Лишь ско-

рей бы, скорей! Ваня обгонял всех подряд, но мне казалось, что медленно, и я вертел головой, высматривая: на что бы пересесть, чтоб быстрей?

Лермонтов ехал на Кавказскую войну — теперь я еду! Такие величественные ассоциации прибавляли бодрости... Впрочем, и без бодрости пришлось бы этим заниматься: куда денешься? Не зря батя предпочитает тревожиться о глобальных проблемах, хотя малая кавказская война уже идет фактически у него на дому... Понятно. Кому охота??

Свирепо-надменные Оча и Зегза — это не добродушный Аурел: их на крышу не загонишь! Но и так, как сейчас, я не оставлю, будьте спокойны. Мы уже мчались вдоль Невы.

— Э! Куда? — встрепенулся я.

— Мы же сказали — к тебе! — усмехнулся Ваня. — Ты что, домой не хочешь?

Вообще-то я собирался на малую кавказскую войну... но и домой заскочить не помешает, малодушно внушал себе я. Тем более насчет денег и там можно пошуровать... у нонешней съемщицы... За июнь она заплатила. Сорвем за июль!.. Конечно, с бабами воевать — это не то что с горцами!

Мы перелетели Неву.

Хотя баба эта тоже из крепких. Мимо желтой башни Адмиралтейства...

А потом уже, набравшись опыта, — к горцам!

Тем более что она как раз тоже занимается дружбой народов.

Приехала из-за рубежа, чтобы заниматься нашей дружбой.

Мы въехали в Невский. Стало темней.

Втахова встретила нас сухо, хотя дверь после настойчивых наших звонков все же открыла. Даже ключей от своей квартиры у меня нет — все отдал!

— Надеюсь, вы уже слышали о катастрофе? — произнес Кузя, когда Втахова провела нас на кухню (правильно: наше место — на кухне!).

— К счастью, мы не имеем к ней никакого отношения! — иронически усмехнулась Втахова, с ходу прочтя намерения Кузи. Втахова была у нас представителем могущественного концерна «Пауэлл», верней, заведовала его благотворительной деятельностью у нас — в частности, дружбой наших народов за их счет.

— Ваши налили в спирт чернил, ваши же и столкнули... загадили все ручьи! — строго проговорила Втахова. Да, быстро она там научилась говорить «ваши» — о наших! Да, информация

у нее поставлена — не зря у нее даже на кухне мерцает компьютер!

— Но цистерна-то — с вашими фирменными знаками! — широко и как бы простодушно улыбнулся Ваня. Для себя что-то кроит?

Знал бы, что в моей квартире будут твориться такие дела, — не поехал бы!

— Я, в общем-то, спешу. — Я поднялся.

— Горца из батиной квартиры выселять? — снова простодушно (простодушно ли?) улыбнулся Ваня.

— И ты собираешься *выкинуть человека на улицу*? — Изумленно, словно увидев меня по-настоящему впервые, Кузя глядел одним глазом на меня, а другим — на Втахову.

Ясно. Зарабатывает очки. А меня топит. Но мне это не важно — мне лишь бы конкретно выполнить задачу. Под себя Кузя строит пьедестал? Пусть!

Я поднялся.

— Пусть идет! — глянув на меня, потом на Кузю, сказал «добрый» Ваня.

Да, хочу уйти. Мне кажется, меня в моей квартире уже не уважают.

— Останьтесь — мне надо с вами поговорить отдельно, — сверкнула очками Втахова.

Отдельно — пожалуйста. Но в этой безобразной сцене, которая тут началась, участвовать не намерен. Я с грохотом закрылся в уборной.

Тончайшая, нежнейшая заграничная туалетная бумага, язычком свешивающаяся перед моим лицом, качалась взад-вперед от моего шумного дыхания...

Ну?.. Передохнул? С лязгом отодвинув щеколду, я вышел.

И увидел свой чернильный отпечаток на экране компьютера.

— Премию мы хотим назвать «Чернильный ангел», — пояснял Кузя Втаховой, снимая фотографию со считывающего устройства. — И хотели бы это изображение сделать символом.

Он обернулся в мою сторону, но ненадолго — я, видимо, его уже не интересовал: отдал свою чернильную душу для символа — и хорош!

— Присуждается за творческий вклад в дружбу народов... в наши дни. — Кузя скромно потупился.

Думаю, что Джалил Шакроевич и Багаутдин Анварович одобрили бы его действия — и с радостью приедут на чествование. «Надежный оплот»! Фирма «Пауэлл» должна поддерживать нашу дружбу, а то разругаемся — мало не покажется!

Видимо, Кузя прочел что-то нехорошее в моей ухмылке, потому что решил окончательно возвысить себя — и унизить меня:

— Неужели *ты мог* подумать, что это я для себя крою? — скорбно произнес он.

— А... для... кого же? — уличенный в самых низменных мыслях, пролепетал я.

Я огляделся вокруг... Неужели для Вани?

...Да-а... тот, конечно, пошуровал! Однажды по пути с Дальнего Востока в пьяном виде выпал из поезда, сломал руку — и тут же женился... Потом Амгыльда долго жила у него на даче, но Ване как-то все было недосуг— новые удовольствия и новые неприятности искали его! Да, действительно! Представители многих народов — их число у нас более ста — на моей памяти разыскивали Ваню, но в основном с угрозами: что-то там он у них спер, какие-нибудь оленьи торбаза, вышитые бисером, — но богатства, надо сказать, не копил — «уведенное» от одного друга дарил следующему. Василий Пуп, главный оплот нашей дружбы народов, брал Ваню несколько раз на разные курултаи, но закаялся — уж больно бурно Ваня дружил!

Ему? — я вопросительно поглядел на Ваню, потом на Кузю, и тот многозначительно «кивнул

ресницами»... Ну что ж! Годится!

Слава богу, что мою душу не запятнала незаслуженная слава!

— Мы должны с вам поговорить *отдельно*, не уходите. — Жесткий голос Втаховой настиг меня буквально в дверях.

...«За хорошей дружбою прячется любовь!» — эту песню мы слегка насмешливо пели с Фатьмой, сидя на диване на семнадцатом этаже минской гостиницы «Дружба», где и познакомились тогда на всесоюзном слете молодых дарований тогда еще могучего Советского Союза.

«Торчат лопатки татарчат» — сейчас я вспомнил лишь одну строчку молодой поэтессы. А может, она ничего больше и не написала? Просто ей зачем-то было надо оказаться на этом слете, и она придумала эту строчку — а дальше уж комсомольские органы республики, где у нее все были родичи, сделали остальное.

Потом мы встречались на подобных слетах два года, она считалась поэтессой, я — прозаиком, но о литературе, насколько мне помнится, никогда не говорили, зато чего только не придумывали другого!

— Торчат лопатки татарчат? — спрашивал я ее при встрече.

— Торчат, куда они денутся! — лихо отвечала она.

Все эти слеты стали для нас лишь способом встреч и проходили столь бурно, что не только она прекратила сочинять стихи — не до этого! — но даже я под ее влиянием почти бросил писать прозу: не до того!

Помню, как однажды на семинаре в Дубултах, продолжавшемся две недели, я так ни разу почти и не заглянул в свой номер — зашел только лишь за машинкой, уже уезжая. Вдруг схваченный грустью, я постоял над письменным столом, за которым, по идее, я должен был трудиться не уставая... вместо этого он, девственный, покрылся слоем пыли! Куда меня тащит — и еще утащит — жизнь в образе этой раскосой бестии?

Я постоял над столом (внизу уже сигналил автобус), по пыли написал пальцем: «Мудак!» — и направился к лифту.

Потом она, когда пришли веселые времена, организовала какую-то артель с помощью своих братьев комсомольцев, а ныне бизнесменов — по пошиву детских носочков, почему-то на Кипре.

— Сшить ребеночку носочки, причем именно на Кипре, — разве не заманчиво? — усмехалась она.

Ее веселая лихость, раньше уходившая на мелочи — например, очаровать дежурную по этажу, чтобы та меня всегда пускала, — нашла теперь достойное применение. «Лопатки татарчат» торчали теперь по всему миру — она звонила мне то из Хельсинки, то из Парижа.

Помню ее отчаянный автопробег по гололеду из родной Казани в Москву. В тот раз мы были с ней уже в самом роскошном московском «Гранд-суперконтинентале», ели из золота.

— А хочешь книгу свою выпустить, в золотом переплете?

— Так ты, выходит... золотое дно? — вдруг, задумавшись о чем-то постороннем, пробормотал я.

— Золотая лихорадка! — Она прыгнула мне на колени.

Да-а... Было дело под Казанью. Но в тот момент я вспомнил, что моему московскому брату, у которого я официально остановился, должны позвонить из ленинградской редакции: судьба рассказа решалась!

— И ты можешь уйти *отсюда*? — Она окинула взглядом окружающую роскошь.

— Запросто, — кротко ответил я.

— Да... жесткости я у тебя научилась! — сказала она тогда.

— А я — у тебя!

Может, тогда я и обмишулился? Как раз тогда она прочла мне гороскоп — именно мой звездный знак вместе с ее звездным знаком ждут большие дела!.. Похерил! Поперек звездного неба пошел! Вот и результат. А чё? Нормально.

Уж и не помню, чем я тогда увлекся. Только точно помню, что «чем», а не «кем»! На второй день уехал из Москвы на эти... ну, как их! Забыл!.. Похороны — вот! Потом вернулся к ней, но уже не тот. Похоронами заслонился — всегда умел использовать чужие несчастья для своих дел! Вернулся, но уже квелый. Федот, да не тот! Федот, да не тот, пальто, да не то, метод, да не этот.

— Любишь, значит, страдать? — холодно спросила она меня, когда я вернулся.

— Не то чтобы люблю, — бормотал я. — Но без страданий тоже нельзя. И задача писателя — научить людей пить страдания не из лужи, а из какого-то сосуда.

— Ну-ну... А я так тебе скажу: пока ты меня мишулил да егорил, твои лучшие силы ушли.

— ...Возможно.

Разговор тот — судьба точно выбирает — происходил уже в каком-то мерзком отельчике, окнами на хоздвор. Что заслужил! И потом я, бездушно-

пунктуальный, сварливо-блистательный, сиял на следующем семинаре — уже без нее.

И вот теперь она в моей квартире... И что интересно — за ее деньги. И арендную плату с западной пунктуальностью отдает вовремя. Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток, но в ней они сошлись!

— Выпьешь? — Она открыла шкафик.

— Да! — ответил я жадно. Мой принцип последних лет: на халяву — всегда! Отказываться — грех. Тем более халява, как правило, не из своего кармана, и уж у нее, хитро-веселой, точно какой-нибудь представительский счет.

Бутыль стала булькать. Фатьма прислушалась к гулким голосам моих друзей, удаляющихся по двору.

— Паук увидел червяка — и подружились на века! — Она усмехнулась. — Твой стих.

Возможно... Я жадно глядел на бутыль. Последние три года единственный мой заработок — телепередача «Разуй глаза». Закрывается.

— Ну... за встречу! — сказала она.

— Это логично, — подтвердил я.

Ее передернуло, как раньше: все такой же идиот!

Пустые стопки стукнули по столу.

— Да-а... все-таки я поселилась в твоей квартире! — усмехнулась она, оглядывая кухню (сама меня сюда привела!). — Правда, не совсем в том качестве, о котором когда-то мечтала!

Ни о чем она таком не мечтала — все врет! По делу приехала, на огромный оклад, представительницей гигантской фирмы, якобы для благотворительности... Ну а на самом деле, конечно, чтобы меня соблазнить!

Но сейчас она больше меня устраивает в строгом облике верной жены американского предпринимателя Блакоса, грека по национальности, вице-президента фирмы «Пауэлл»... И это немало!

Это раньше, на семинарах тех, мы осматривали зал во время завтраков: «Ну что? Кого сегодня будем когтить?» И когтили же!

Но это — в прошлом! Сейчас она меня устраивает... да это я уже говорил! Так в чем, собственно, дело? Я холодно-вопросительно уставился на нее.

— Ну как тебе... эта идея? — Она кивнула на экран монитора, где продолжал лететь фиолетовый «чернильный ангел».

Как мне эта идея? «...За творческий вклад в дружбу народов в наши дни»?

— Замечательно! — воскликнул я. — Но я бы хотел сейчас, а конкретно сегодня, как раз разрушить мою дружбу... с представителем одной национальности. За это вряд ли дают премии. Мое дело мерзкое. Это Кузе с его идеями хорошо!.. А я? Не-е: я склочник на этот раз. «Склочник дружбы народов» я.

— Влип ты на этот раз крепко! — задумчиво проговорила она.

Знает? Да, информация у них поставлена сильно...

Передо мной была суровая американская женщина-ученый... Про Очу знает?

— Да... к светлой дружбе имею мало отношения, — сказал я. — И.о. подлеца — вот сейчас я кто в натуре! «Человека на улицу выгоняю», как верно Кузя сказал.

— Ты сначала еще выгони! — подумал я.

Она надела очки.

— Нас, — (так и сказала — нас), — интересуют именно реальные ситуации теперешней жизни... — И добавила твердо: — ...а не Кузина туфта!

Как мы с ней когда-то шутили: «не в ту туфту»!

— Так что делай именно то, что считаешь необходимым, — закончила она.

Считать-то считаю, но сделаю ли? Я вздохнул.

Она глянула на меня сквозь очки уже вполне холодно: «Снова вас что-то не устраивает?»

Передо мной был какой-то симбиоз — прежней лихой красавицы и деловой американки? И вторая ее ипостась мне сейчас нравилась больше.

— А ты, значит, будешь наблюдать?

— Помогать, — ответила она сухо.

— Но так, ясное дело, чтобы не вмешиваться? Чтобы эксперимент, так сказать, остался чистым?

В словах моих, клянусь честью, не было язвительности!

В ответ она кратко кивнула и вдруг кинула откровенно жадный взгляд на компьютер — но не на мой отпечаток на мониторе, а на клавиатуру. У нее тут работы немерено, а я выпендриваюсь, как вошь на стекле!

— Ясно! — Я поднялся.

Со двора через открытые окна донеслось: фр-р-р! Взлетели голуби... И вдруг ожил давний миг счастья... такой же ленивый солнечный день... неподвижные облачка отражаются в распахнутых стеклах. Неподвижность, покой, счастье. Ленивый телефонный разговор с другом: «Нет... оказывается, не придем к тебе... Почему? — Переглядываемся с ней. — Переоценили, говоришь,

свои силы? — Переглядываемся. — ...Недооценили!»... Смеемся, вешаем трубку... Та-ак. И так же, как тогда, вдруг поплыли неподвижные облака в стеклах — со скрипом поехала рама. Я покачнулся. Ох, чую — заночую!

— Ну все! — Твердо опираясь о стул, я встал.

— Захлопнешь, — не отрывая взгляда от компьютера, обронила она. На экране уже был не «чернильный ангел», а какие-то переплетающиеся графики — что-нибудь типа «динамики изменения уровня жизни в Японии и у нас».

— Пока.

Ну... «может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной»?

Не блеснула. Я вышел. Постоял на площадке, глядя в солнечный двор.

Не получу я никакую премию! Таланта хватит, а ума — нет.

...А может, и верно зря поперек звездного неба пошел?.. Не ту любовь уморил?.. Ту самую, все верно. Вперед! И так уже полчаса потерял! И полетит сейчас Оча из батиной квартирки, а с ним и друг его Зегза «белокрылой зегзицею», как княжна Ярославна... а какие там выйдут графики на компьютере — мне наплевать!

Безупречная чебуречная... и — вперед!

Было две лихие пересадки, три вагона метро — в одном все почему-то были в желтом, во втором — в зеленом, в третьем — в голубом. Только на бегу и удается любоваться красотами.

Одно из стекол вагона почему-то было измазано навозом — самым настоящим навозом, с соломинками... всюду жизнь.

И последнее наслаждение — салон автобуса. Какие приятные люди! Какие девушки! Спокойная счастливая жизнь!.. Последнее время лишь в общественном транспорте ее и вижу.

Но и это счастье кончилось — я вышел. Вот батин дом через дорогу. Местами покрытый коричневой плиткой, с элементами художественности... Когда-то престижный кооператив ученых... Теперь другой тут престиж!

Ну... час перед штурмом. Час — это ты хватил. Переведу только дыхание — и вперед... Хотя зачем его «переводить» — все равно собьется!

Вот... тут постою. Строительство метро, огражденное бетонными стенами. Стена шелушится от объявлений. «Стена плача». Почитаем. Может, какое другое спасенье найдем?

«Могу работать гувернером. Немного нем.». Что значит — «нем.»? Немецкий, что ли?

«Обезличу»... Это более-менее понятно.

«Огненный танец фламенко исполняю на дому»... На дому у кого?.. Ну ладно, не придирайся — сам-то что можешь?

«Отдых вне тела»... Не понимаю, но одобряю. «Адрес — улица Кладбищенская, дом 14. Обращаться по ночам»... На всякий случай записал.

«Не просто сварщик, а электрогазосварщик!»... Молодец.

«Убиваю комарей. Умелец из пучины болот».

«Хочу работать. Вложу всю душу».

«Русские голубые с документами»... Русские, но, надеюсь, не люди? Коты?

«Вербуем на Север». Опять даль восстанавливать? Восстанавливали уже!

«Убью в Интернете». Заманчиво.

«Военно-патриотическое общество “Ни пяди во лбу”».

Живут же люди — на полную железку собственного мозга.

«ООО “Вагоны”, с ограниченной ответственностью».

«ООО “Последний путь”, с ограниченной ответственностью».

Как они тут-то ограничивают ответственность?

«Снимаю моральные проблемы».

«Рожу».

«Продается унция гороха».

«Радиоуправляемые хорьки».

«Требуется опытный печатник. Оклад — пять тысяч долларов в неделю».

Видимо, тех самых долларов, которые он будет печатать...

Ну все. Хватит тут стоять! Я человек непрактичный — но до определенных пределов. Иду.

Вошел в парадную — код, к счастью, сломан оказался. Главное — внезапность. Внезапность даже для меня самого!

Но перед началом штурма зайду к соседке. Нажал звонок.

Вера Афанасьевна.

— Здравствуйте, здравствуйте! Как поживаете? Как там? — на стенку кивнул.

— Опять буйствовали вчера!

Это хорошо. Хороший повод.

— Разрешите, я позвоню... Оча? Это я, Валерий Георгиевич! — (Ленивое молчание в ответ). — ...Сын хозяина квартиры. — (Ленивое молчание). — ...Как наши дела?

В ответ — медленно, сипло:

— ...Я же сказал тебе — звони через месяц!

Гудки. Это хорошо! Правда, «звонить через

месяц» он мне приказал ровно месяц назад... но и это хорошо!

Я вышел, позвонил в дверь. Тишина, потом — ленивые глухие переговоры за дверью... Тишина. Хорошо!

Вернулся к Вере Афанасьевне.

— Разрешите? — Открыл дверь на балкон. Вышел. К сожалению, у бати в квартире нет балкона. Но и это хорошо.

Перемахнул ногу, сел на перила.

Хозяйка всплеснула руками, метнулась — но не ко мне почему-то, а прочь из квартиры. Это правильно: ни к чему лишние чувства! Хватает своих.

Теперь с ее балкона перекинуться к батиному окну. Метра два всего-то лететь... но, к сожалению, силу тяготения даже на это время не отменишь! Поглядел вниз. Хорошо!

У «стены плача» стоял какой-то знакомый красный «пежо». Странно... Не такой ли я видел у себя во дворе?

Слежка?.. Это хорошо!

Вспомнил, как однажды с такой же высоты, из гостиницы, увидел Фатьму. Тогда, правда, была розовая зима, пушистое утро. За ней, лязгая челюстью, ехал бульдозер, сгребая снег, нагоняя, а

она бежала, виляя пышными бедрами, игриво отмахиваясь: «Отстань!» Бульдозер брякал. Как сейчас увидал! «Красавица и чудовище». Вперед!

Одной ногой на краю балкона, держась руками, другую ногу свесил... Холодит!

Подоконник, к сожалению, слишком покат, но зато педантичный батя привинтил с внешней стороны рамы градусник на кронштейне... Молодец, батя! Все предусмотрел!

Из «пежо» что-то длинно блеснуло. Бинокль? Фатьма наблюдает? Молодец.

Теперь — шаг в пустоту. К счастью, не в абсолютную. Батя кое-что сделал и для моей жизни. Вот — оторвал дом улучшенной художественной планировки, не зря его называют в народе «дом с шашечками»... есть куда ступить... Хотя до этого, думаю, нога человека сюда вряд ли ступала!

Надавил ребром ботинка на шашечку, художественно выдающуюся кафельную плитку. Удержит? Я, главное, — удержусь?

Хорошо висим! Раскорячился, как паук. «Паук увидел червяка, и подружились на века!»... Только хохоту мне сейчас и не хватает!

Вот он, градусник на окне. Трех сантиметров не достает пальчик. Заодно и температуру померим... Левой рукой — за градусник, правой

— сквозь стекла. Только так.

Оглянулся на прощанье... Автомобиль блеснул. Втахова смотрит? Может, «грант» метнет?

Говорила кокетливо: «Но я другому отдана... Причем — тобой!»

Лихой я парень! Под знаменем Фонда Пауэлла, с грантометчицей Втаховой — вперед! «Человек создан для счастья, как птица для помета!» С этими словами метнулся: левой рукой — за градусник, правой — сквозь звонко лопнувшие стекла, ухватился за подоконник в комнате... Ну что, Оча? Нравится окровавленная рука? Отпустил градусник (красный столбик заметно подрос!), полез в комнату сквозь стеклянные сосульки. Сверзился на ковер.

Ну что, Оча, — не ожидал?

Они как раз сидели на ковре скрестив ноги, когда я к ним присоединился. Многовато их, правда, оказалось, все с сизо-бритыми головами, некоторые с бородами. Совершали намаз? Извините. Не пришлось согласовать: слишком кратко ваш Оча изъясняется. Краткость — сестра таланта, но не его мать.

Сидел, зализывая кровь на запястье. Батя, я думаю, мною доволен был бы. Помню, он рассказывал, как во время войны ехал на подножке

поезда, лютой зимой, к нам на побывку, с тяжелым рюкзаком муки за спиной — всю ночь провисел. И не просто провисел, а когда, обледенев, стал стучать в дверку вагона, чтобы открыли, вот так же, как примерно сегодня я, стекло разбили изнутри — еле успел увернуться от осколков — и тут же каким-то острым костылем стали в лицо ему тыкать, желая спихнуть с подножки: в тот момент как раз поезд по мосту шел, высоко над рекой. И всю ночь в него этим острым костылем били, а он уворачивался, но так, чтобы поручней не отпустить. И мешок не сбросил! Молодец, батя! В конце концов умудрился костыль тот железный ухватить и завязать его узлом! Вот так вот! Благодаря тому, что он тогда доехал с мукой, и я выжил. Что же — я хуже его?

Здорово, ребята!

Смотрели они на меня, прямо скажем, недружелюбно. Это естественно. Сквозь стекла вваливается окровавленный тип, без предварительной договоренности. Но и на Очу — заметил я — они как-то злобно глядели. Может, он сказал им, что квартира сия куплена и все в порядке? И вдруг— гость из окна. А может, хозяин? Как-то страстно-вопросительно они смотрели на Очу. Хотя, как увидел я (и вежливо поздоровался), и

Хасан тут, прежний жилец... он бы мог, казалось, всем объяснить историю появления Очи здесь. Или мне все рассказывать?.. Сейчас — только отдышусь!

Странно, я пригляделся: Хасан тут (давно вроде исчезнувший), а Зегзы, близкого Очиного друга, почему-то нет. Ответственности испугался? Моральной? Или материальной?

Чувствовалось по их молчанию, какому-то серьезному их делу я помешал.

Но и у меня случаются некоторые дела! Улыбаясь, глядел я на них — но ответной улыбки не заработал. Пошел вдруг колотун в дверь.

Извините — открою.

Никто не шелохнулся. Открыл.

Соседка, с милиционером. Это хорошо.

Мильтон, молодой совсем, оглядел собрание.

— Что тут у вас? Кто в окно в квартиру влез?

Обшее молчание. И я молчу... Говорил же я Втаховой, что я нехороший!

— Документы!

К счастью, вроде бы не ко мне!

Те стали вынимать какие-то потертые грамоты. Милиционер мельком глянул... Не русские... И не голубые. Но — с документами.

— Ясно. Выходим.

Все стали хмуро подниматься.

— И ты!

Оча как-то обособился от своих, но неудачно.

— Я? — удивленно Оча проговорил.

— Ты, ты!

— Я ни при чем! Это земляки мои зашли... Но я их не знаю.

— Вот и не предавай своих земляков. Собирайся!

— Я их тут подожду, — заупрямился Оча.

— Это как хозяин скажет. — Милиционер посмотрел на меня.

— Нет... лучше не здесь, — сказал я...

Говорил же я Втаховой, что я нехороший.

— Обувайтесь! — усмехнулся мильтон. — А ты собирай манатки! — сказал он Оче. Видно, был уже проинструктирован соседкой.

Стреляя в меня взглядами — мол, не уйдешь, отомстим! — гости вышли.

Оча вслед за ними выволок баул.

Отомстят, не сомневаюсь... Я и сам-то жить не хочу. Но буду. Я лег.

Ночь кошмарно прошла — вся почему-то в стихах... но сил, чтобы собраться и уехать, не было у меня. Зато мозг бушевал, даже во сне.

«Кавказ! Далекая страна! Жилище вольности

простой! И ты несчастьями полна и окровавлена войной!»

Господи! Зачем я так хорошо учился в школе — и все это до сих пор помню?

«Оседлал он вороного и в горах, в ночном бою, на кинжал чеченца злого сложит голову свою!»

Проклятая эрудиция!

«Подожди немного, отдохнешь и ты!»... Но в каком смысле? «Он спит последним сном давно, он спит последним сном. Над ним бугор насыпан был, зеленый дерн кругом... и... и... и бледны щеки мертвеца. Как лик его врагов бледнел, когда являлся он!»

Как же, тут уснешь.

«Чу!.. Дальний выстрел! Прожужжала шальная пуля... славный звук!.. шум, говор. Где вторая рота?»

Действительно — где? Выходит, я с классиком почти что сравнялся по ощущениям?

«Что, ранен?.. Ничего, безделка! И завязалась перестрелка. Все офицеры впереди... Верхом помчались на завалы... И пошла резня, и два часа в струях потока бой длился. Резались жестоко, как звери, молча, с грудью грудь, ручей телами запрудили... Как месту этому названье? Он отвечал мне: Валерик, а перевесть на ваш язык — так

будет речка смерти»...

Находясь в семье, не мог себе позволить отчаяния, а тут — упивался! Утром я, врезав с помощью соседки другой замок, пошел на вокзал.

Святой Мефодий

— Ты где был? — спросила жена. И это благодарность за подвиги!

— Знаю, ответ мой тебя огорчит своей неоригинальностью. Был дома... у бати! — вовремя уточнил я.

— Ясно! — Ушла, уничтожив взглядом.

Батя, раскорячась, писал за столом. Глянул на меня одним недоуменно вытаращенным глазом... По-моему, даже не понял, что я уезжал... Ладно, потолкуем потом! Пошел в прохладную комнату, стянул свой рваный бешмет...

Осмотрел свое тельце... В происхождение ран все равно никто не поверит! Лег.

С кухни донесся гулкий звук — удар очищенной картофелины о раковину...

И долгая пауза. Это все?

«В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я»...

— Иди завтракать, — заглянув, сухо сказала жена.

Вот он, удел героя! Я пошел. На стенке у двери был приколот большой разрисованный лист — церковный календарь с картинками и коммен-

тариями: мать Битте-Дритте незадолго до смерти подружилась с Богом.

1 июля — святой Федул. Федул, что губы надул? В этот день обычно льет дождь. Федул заглянул — пора серпы точить, к жнитве готовиться.

2 июля — Зосима, покровитель пчел. Пчелы быстро летят к ульям — значит, скоро дождь. Перед засухой — жалят злее. Если сидят на стенках ульев — жди жары.

3 июля — Мефодий, паутинный день. Пауки свисают с веток. Примета: какой день на Мефодия, таким всему лету быть. Мефодий — все лето приводит.

Господи! Так это сегодня как раз! Думал отдохнуть, расслабиться — ан нет! Какой сегодня сделаешь день — таким все лето будет!

...Вот завтра и послезавтра вроде обычные дни, а потом опять:

6-е — Аграфена, канун Ивана Купалы. Утром париться в бане, купаться до позднего вечера с песнями и играми? Заготавливать веники. На Аграфену хорошо сажать репу. Репа, посаженная в Аграфену, особенно крепка.

7-е — день Ивана Купалы. Купание в росе и воде. С утра надо сделать два-три покоса. Вечером — прыжки через костер. Мужики гоняются за

бабами по лесу...

Зачем — не указано.

Спать нельзя — одолеет нечисть. Там, где зацвел папоротник, — ищи клад.

Хорошо бы устроиться завкладом!

Но пока — святого Мефодия преодолеть! Каков Мефодий — такому и лету быть. Сильно мучиться бы не хотелось. Выглянул в окно — белые облака, с чернильной подкладкой. Ну, держись, Мефодий!

Вышел на террасу, где жена и отец, недовольные чем-то (или друг другом) сидели молча, отрешенно над манной кашей.

— Со святым Мефодием вас! — проговорил я развязно, усаживаясь.

Отец не прореагировал. Лысый череп его сиял. Жена глянула злобно: мол, дома не ночует, а еще несет какую-то чушь!

Так... Можно? Я понес ложку каши ко рту — но был застигнут вопросом:

— Ты где был?

— Я уже говорил тебе! Дома! — начал бешено, но кончил скромно. — У отца.

— Я звонила туда. Никто не отвечал.

— Я спал.

— В восемь часов вечера?

— Да, представь себе! — заорал я.

— А где был Оча? — ехидный вопрос.

Тут я сник. Объяснять все подробно — значит вызвать новый виток ужаса. Пусть уж подозревает что угодно, лишь бы не истину! Не будем пугать.

— Молчишь? — торжествовала жена.

— Бесполезно говорить!

— Бесполезно?!! Конечно, тебе только с другими разговаривать!!

Я сник окончательно. Держись, Мефодий!

Интересно наблюдать за отцом — он словно не здесь находится. Вокруг лысины сияние, глаза за темными очечками не видны. Похож на крупного шпиона, который умело маскируется. Маскирует свои мысли, которые далеко. Явно, что не здесь. Молодец, профессор, — весь в себе.

Даже неинтересно при нем ругаться: абсолютно не слышит.

Вдруг тонкие его губы расплылись в благостной улыбке.

Решил нас помирить? Как же!

— Я сейчас гулял — и сделал инте-рес-нейшее открытие! — Даже поглядел, довольно живо, на нас. Как потенциальные слушатели его открытий — в таком качестве мы его устраивали. Практически в каждую прогулку делает инте-реснейшие

открытия. Азарта, огня у него навалом — только направлено все это на его собственные дела.

— Иду вдоль озера... — Он окончательно разулыбался. — И чувствую — что-то поблескивает перед глазами. Думаю, может, с глазами что-то?

Он сделал вкусную паузу, поел... Разговаривает он так же обстоятельно, как ест.

— И что же ты думаешь? — задорно ткнул меня в бок: настолько раздобрился, что даже сына своего узнал. — Гляжу — на всех ветках блестки, как на новогодней елке!

Снова пауза, гулкий хлебок чая. Наконец продолжил:

— ...И понял! — радостно шлепнул себя по колену. — На кончике каждой веточки — паучок! Абсолютно мизерный, микроскопический!

Да, зрение у него в восемьдесят семь такое, что позавидуешь.

— И — каждый паучок! — выпускает из себя сияющую паутинку — тысячи их и развеваются, как флаги! Выпускает, выпускает, на ветру они вытягиваются, сверкают... И точно рассчитывает длину, когда ветер его подхватывает, и он летит!.. Видал-миндал! — Он пихнул меня дружески и радостно захохотал.

Да, его силам и его счастью можно позавидо-

вать.

Впрочем, по статистике один из двоих должен быть несчастлив. Это я. Хотя желания особого нет. Но есть необходимость

— Ты, когда в город ездил, к Оче не заходил? — пытаюсь тихонько подвести его от парада паучков к важной теме. Бесполезно. С блаженной улыбкой так и застыл. Улетел, как паучок на паутинке. Земное все — это на мне.

— Так ты был или нет?! — Это я произнес уже на крике.

Никакой реакции! Молодец! Только улыбка, что еще теплилась, полностью погасла. Отъехал! Связь с реальностью — только в еде. Как паутинка у паучка.

— Ты слышишь?

Молчание. Черные непроницаемые очки.

Потом оттуда, издалека, вдруг протянулась длинная белая рука, абсолютно точно ухватила сахарницу и утащила к себе. И сам батя утянулся куда-то туда, как на резиночке. Снова полная непроницаемость!

Мы с женой переглянулись и, не удержавшись, расхохотались. Давно этим любуемся. Да, крепкий старик! Сблизились на его почве. Таким, наверно, и надо быть, чтобы дожить до его лет

и еще так крепко соображать — и главное, сберечь азарт и горячность! Вот именно — сберечь: тратить не на все подряд, а лишь на то, что его действительно волнует.

Но кто примет его за благостного старичка и сделает неосторожный шаг — крепко нарвется. Разъяренный медведь-шатун на него вывалится!

Поэтому я и веду главную линию так осторожно. А скажи я ему, что выгнал Очу. — он сразу очнется!

— Как? — рявкнет. — Ведь он же нам деньги должен?!

Тут он реалист. Хотя в деталях — большой художник!

— Ведь надо же было с ним поговорить! Должен же он понимать человеческие доводы! — примерно так заговорит.

И в душе прекрасно понимает, что несет нечто «общеобразовательное», что должно быть, но не бывает!.. Но для него плавная речь, аргументация, эрудиция (прячется за ними) гораздо ближе, чем истина. Грязной истиной должен я заниматься. Поэтому просто сотрясать стекла не будем. Помолчим. И культурно закончим завтрак: какой день на Мефодия будет— такое лето.

— Да, — вдруг радостно улыбнулась жена, — к

нам сегодня может Оча приехать!

...Как?

— Я когда в городе у Насти была, позвонила ему! И мы так хорошо с ним поговорили! — Она счастливо зажмурилась. — Это только ты с людьми нормально разговаривать не можешь!

Теперь плюха с этой стороны! И у нее — только любовь и счастье. И у отца — только паучки летают! Один я тут такой — и. о. подлеца. Да, похоже, что Мефодий не такой уж святой!

— Но денег не обещал, конечно? — Я подло улыбнулся.

— Сказал, что приедет! — отчеканила жена и свысока на меня поглядела: я, мол, все устроила! Этого мало тебе?

Молодцы, ребята! Главное теперь — тихо-мирно завтрак закончить и разойтись. Тем более, что каша кончается: в волнении не заметил, как огромную миску сметал!

Да, к Оче надо приготовиться, на всякий случай валы, редуты и другие земляные укрепления возвести.

Оча — это венец нашей многолетней дружбы народов, и надо подготовить ему достойную встречу!! Ну хоть какую-то подготовить.

Ключ от нового замка батиной квартиры тяже-

лит карман, холодит ногу, как надежный кольт. Какие-то ковбойские ассоциации пошли. Вполне, впрочем, своевременно — стоит только вспомнить их сизые, бритые головы!

«Делибаш уже на пике — а казак без головы».

Проклятая эрудиция! Впрочем, и бдительность не помешает! При таком союзнике... союзнице! — я кинул взгляд на жену — и таком союзнике — взгляд на батю, которому все до фонаря, — Оча вполне может победить меня — даже путем дипломатических переговоров загнать в зад. Впрочем, вряд ли он пойдет на мирные переговоры после того!.. Внутри как-то похолодело. Ну ничего! Я вышел на солнышко — в аккурат оно выглянуло из-за туч... Держись, Мефодий!

Но тут услыхал батин скрипучий голос — и метнулся обратно: сейчас не то наскрипит, жена снова расстроится: вдвоем их нельзя оставлять, обязательно мне надо быть!

— Однажды мы с моим другом Кротовым... покойным, — говорил батя, словно не замечая никого вокруг, уплывая в мечту, — отдыхали в Ессентуках... Вот там была манная каша! — Глаза его, оказавшись тута, умильно-восторженно сверкнули... Никуда он не делся — тут он, тут! И даже — в бою: доказывает свое превосходство,

более высокий класс своей жизни по сравнению с нашим убогим! Ставит нас на места. Конечно, в его возрасте надо поддерживать тонус, кого-то побеждать — а кого ему побеждать теперь, кроме нас?

Жена откинулась на спинку, щеки ввалились, как вчера утром, лоб сверкал потом. Батя сиял. Гордо отставил тарелку (начисто, кстати, вылизанную — хоть и не та была каша), расправил плечи.

— Прекрати! Ты что, не видишь, что ей плохо? — заорал я.

Батя смиренно потупился.

— Ну, пожалуйста. Я могу вообще ничего не говорить. Я и так почти все время молчу. Могу умолкнуть вообще! — Он поднялся.

Лицо у жены дрогнуло: она стала *возвращаться*. Веки стали подрагивать: спешит. И глаза ее наконец открылись. Она смотрела бодро и весело.

— Ну чего мы все ссоримся? — улыбнулась она. — А давайте будем жить хорошо? А то сидим все по углам! Этот все где-то пропадает! — Она уже ласково ткнула в меня кулачком. — А давайте придумаем что-нибудь! — Теперь она сияла, хоть и немного искусственным светом. — Поехали на лодке кататься, а?! — Отец стоял гордый, оскорб-

ленный, отрешенный, как монумент, но тут она и его ткнула кулачком. — Ну что, вредный старикашка?! — Отец чуть-чуть разлыбился. — Все, побежала за веслами! — Она подвигала кулачками вперед-назад, а потом и действительно, хоть и медленно, вышла.

Мы молча постояли с отцом, потом он вздохнул, положил мне руку на спину, похлопал. И ушел к себе, и снова раскорячился над рукописью, как краб, словно все происшедшее здесь не имело никакого отношения ни к чему и давно забыто.

Я вышел на крыльцо. Жена как раз подходила к калитке. Над высоким плетнем, отделяющим нас от дома Саввы, торчала огромная лохматая, почти человеческая башка со страдающими глазами. Анчар, как грозный часовой! Когда его башка возникала над двухметровым плетнем, да еще с тихим рычанием, все шарахались. Но сейчас глаза его излучали не ярость, а страдание и вопрос: куда пошла? Неужели опять не к нему? Сколько же можно? Страшный этот пес, гроза поселка, почему-то влюбился в жену, маленькую и сухонькую, и сразу, только она входила, опрокидывался на спину, катался и радостно скулил. За что? Почему? Меня так, например, он ненавидит и точно разорвет — а ее полюбил.

Причем бескорыстно! Грозный Савва, его хозяин, сам такой же свирепый, как пес, строго запрещал посторонним кормить его, и пес полюбил жену просто так, как, впрочем, и хозяева. Когда жена брала у них молоко, они выходили на крыльцо и, чему-то там улыбаясь, беседовали с ней... мне не докладывали.

Ну что ж... у каждого свой регион. И за веслами, больная и слабая, всегда ходила именно она. Я даже и не пытался: куда мне! Я злобный.

И сейчас она стояла в их палисаднике, скрестив весла за спиной, как крылья, и, кивая маленькой, расчесанной на прямой пробор головкой, внимательно слушала что-то, что ей рассказывали с высокого крыльца Маринка и Савва и даже шутливо ссорились, отпихивали друг друга — кому рассказывать первому. Слышалось тихое блаженное скуление Анчара, катавшегося, видно, в пыли перед нею... Любовь!

Ну все! Сколько же можно так стоять? Надо и действовать!

Вот потому тебя никто и не любит, что ты не можешь так стоять! Хорошо кому-то быть добрым — но кому-то необходимо быть и злобным.

Я огляделся. Если вскоре нагрянут джигиты — что мы имеем, кроме плетней?

Хозяин мой, Битте-Дритте, как всегда, блистает своим отсутствием... С тех пор как закрылось ДРСУ, он перешел на жизнь «вольного стрелка», даже создал у себя в гараже ремонтную мастерскую — сделал «яму», чтобы подлезать под машину, но дальше этого дело не пошло: клиенты не едут, а сам Битте постоянно отсутствует. К тому же у входа в наш проулок, в знак протеста против социальной несправедливости (когда его выгнали из ДРСУ), Битте поставил свой огромный заляпанный «КРАЗ», который никому, видимо, больше не был нужен. На его грязной стальной дверце кто-то (видимо, хозяин) написал пальцем: «Это не грязь. Это пот». Но пот этот давно засох, а Битте-Дритте, как правило, отсутствует... что мне, как писцу-затворнику, даже на руку. Когда он появляется, его сразу же становится много. Грузовик свой он, видимо, поставил, как затонувший линкор у входа в бухту: чтобы враг не прошел? Но никакой враг не рвался. Разве что наскочат кавказцы? Тогда — умно. Но на самого Битте в случае битвы вряд ли приходится рассчитывать. Вот победу отпраздновать, если доживу, — другое дело.

Я перевел взгляд на Савву, который, могуче зевая, потрясал кулачищами на своем высоком

крыльце. Последнее время редко трезв... но, может, это придаст ему дополнительную удаль? У него лишь единственный недостаток — на меня ему «глубоко наплевать», и если будут резать, он будет так же аппетитно зевать. Связь с ним может установить только моя жена — но просить бабу помочь?

Хозяина моего Савва глубоко презирает и, если надо за чем-нибудь, зовет его: «Эй, ты, раздолбай!» А ведь родные братья по отцу, отец их — грозный милицейский начальник Муравьев, «Муравьев-вешатель», как называл батю родной сын Битте-Дритте, в армии набравшийся разных знаний, в том числе из истории. И вот родный сын грозного Муравьева подался в «раздолбаи», а побочный сын, от Надюшки, неожиданно удался в отца, такой же свирепый и могучий и тоже — милиционер, гроза окрестностей. «Мусоррини», как презрительно его кличет родной законный брат. Вот Савва — это боец! Попросить жену замолвить словечко? Но она, видимо, считает, что все прелестно — вон как улыбается! Не будем рушить идиллию.

А вся идиллия в том, что рассчитывать не на кого. Вон Третье Тело на помосте. Какая силища! Но такое Тело надо беречь.

Я вспомнил вдруг знаменитый вестерн «Полдень». Такое же зловещее затишье, жара. Огромный сутулый шериф (Гэри Купер), роя мокасинами глубокую пыль, обходит вот такой же сонный поселок, пытаясь выяснить, кто же завтра встанет рядом с ним на бой с бандитами. Оказывается — никто.

Аналогичная ситуация.

Даже на Диком Западе, где всем положено палить без устали, и то никто не поднялся, а уж тут — что говорить. Да и какой я на хрен шериф? Погибну — и только. Но погибель свою никому не отдам.

Наискосок глянул — у Надюшки за оградой сиял синий «форд», и Левин на открытой террасе у своей мамы Надюши кушал чай, время от времени прикладывая к уху телефончик. Да, несмотря на «затопленный линкор» классовый враг все же проникает в наш переулок — по канаве линкор объезжает. Левин опутал своей сотовой связью весь Карельский перешеек, но просить его дать трубочку на миг, позвонить друзьям в город, бесполезно. Он даже родному отцу трубочку не подарил — приходится Зиновию обходиться телепатией. Да, если всем на мои дела просто наплевать, то Левину — «глубоко наплевать»!

Вот такая рекогносцировка. Жена с веслами, торчащими высоко над головой, пыталась открыть ногой калитку. Кинулся ей на помощь — раз уж от моральных усилий избавил себя, приложу хоть физические.

Отец, уже раскорячившийся над рукописью, вскинул голову в ответ на мое предложение покататься на лодке, дико сморщился, ничего поначалу не понимая. Потом наконец понял... «А! Давай!» Но поднялся с некоторой неохотой. И шел в задумчивости, не отойдя еще от мыслей. Счастливчик! Думает только о своем. Но так, наверное, и надо жить, если хочешь сохранить такую вот крепость духа! У нас с ним, как по ружью, по веслу на плече — жена шла впереди, счастливая: вот как все у нас хорошо!

Мы спускались по узкой песчаной тропинке к озеру, виляя между могучими корнями сосен, похожими на огромных пауков.

Отец вдруг отрешенно усмехнулся. Навряд ли это относится к конкретной реальности. Но все же я спросил:

— Ты чего?

— Как белорусы идем! — сказал отец и после паузы счел возможным пояснить: — Вспомнил я: в Первую мировую у нас в деревне белорусы

жили — от немцев бежали. И помню, мне еще три года было — но ясно помню, их сразу можно было узнать. Ходили только цепочкой, в затылок друг другу... вот как мы сейчас. Улица широкая в деревне: а они как по тропке, гуськом!

Любимая тема теперешних его писаний — влияние условий на культурные и дикие растения, и этот пример тоже подтверждал его правду: «условия жизни все определяют» — он даже приосанился и победно огляделся. Жена, наоборот, тяжко вздохнула и, замедлясь, утерла пот. Ее-то как раз угнетали все эти экскурсы его в науку и историю, она сразу начинала мучиться («ни о чем конкретном не хочет знать!»), но он словно не замечал... Или — специально?

Даже мы, трое самых близких людей, не можем разобраться — что же говорить о чужих?

Отец размашисто, по-хозяйски сел в лодку — под ней, отраженные от берега, гулко захлюпали волны. Я стал разматывать цепь вокруг корней сосны, нависших над водою.

— Да дай сюда... не умеешь ни черта! — Он яростно вырвал цепь из моих рук.

Разгулялся батя!

Но вот святой Мефодий, к сожалению, не разгулялся: день был душный и какой-то тусклый...

Все лето будет таким?

Не было видно ничего — даже ближние острова исчезли в тумане. Жена вздохнула, глянула на меня (пот блестел на верхней губе): «Вроде мы и так все уже помирились? Может, не поплывем?»

Но тут и я уже не выдержал — сколько можно сдерживаться, улыбаться, всем угождать?!

— Садись! — рявкнул я. — Как раз тебе надо покататься, воздухом подышать!

Думал ли я так в действительности?.. Да нет. Просто не удержался, злобу сорвал. Когда кончатся наконец все эти мучительные переплетения?.. Видимо, никогда.

Жена, держась за меня (как исхудала-то, руки — спички), пробралась на корму, уселась. Я с грохотом (какое эхо в тумане!) стал втыкать весла в уключины. Поплыли неизвестно куда — уключины заскрипели.

Я греб молча, потом поднял весла, не греб... Мы тихо скользили... Ну вот, добился своего, пригреб в *никуда*, где нет *ничего* — даже друг друга нам не видно. Ну, хорошо тебе тут, где нет ничего? Спокойно? Я бы не сказал. Булькали капли с весел. Все молчали — жена обессиленно, отец злобно: хотел завести беседу на совсем постороннюю, нейтральную тему — и тут встретил отпор! Вооб-

ще тогда умолкну!

Вот и помолчим! Но вздохи жены были тяжелее слов. Действительно, выехали на озеро подышать, а тут дохнуть буквально нечем, неподвижное удушье! И что ж — ничего вообще не делать: сложить лапки, сушить весла? Буду делать! Хоть поначалу вроде не то... но куда-то доедем!

Из мглы сначала неясно, потом все страшней выглянул черный, полузатопленный-полусгнивший какой-то размочаленный остров... Это куда же мы заехали... не помню такого. Легкий ужас... тоже стер со лба пот. Стикс какой-то, а не озеро Раздольное!

Вдобавок ко всему из мглы стал доноситься прерывистый треск... это «новый русский» с того берега, где сплошь виллы, сел на водный мотоцикл — и помчался, видимо, с полного отчаяния — куда *глаза не глядят*. Мы-то хоть тихо плывем, осторожно... А он все ближе, все громче... сейчас врежется! И, мазанув страхом, как краской, где-то совсем близко от нас отвернул, стал удаляться... и снова близится, нарастает!! Хорошо катаемся!

— Я прошу тебя! — Из тумана высунулась высохшая рука жены, коснулась моего колена. — Вернемся! Мне нехорошо... и страшно!

Знать бы только — *как* возвращаться?!

— Сразу уж — возвращаться! Только сели! — проскрипел из тумана отец.

Не думаю, чтобы его так уж радовала эта прогулка. Просто — лютует батя!

Вот теперь я понял, куда плыву! Туда же, в общем, куда все плывут: к гибели. В тумане вдруг образовалось окно, точней, длинная светлая труба, и эта «подзорная труба» упиралась в высокий мост — там, где речушка наша впадала в озеро, — и на мосту все ясней проступало зеленое пятно: мучительно знакомый зеленый «ниссан». Вот и Оча пожаловал, для полного счастья! Вон он стоит рядом с дверцей, весь круглый и безволосый, как колобок. Я знал, что разлука наша будет недолгой, — но так скоро! Как же ему без меня? Не в «ниссане» ведь жить!

Перед Очей стоит простая русская женщина — кажется, почтальон — и, плавно, задушевно жестикулируя, показывает ему дорогу — видимо, ко мне. Вряд ли кто-то еще его интересует: ближе меня никого у него нет... Как раз почтальонша третьего дня телеграмму мне принесла — ей ли не знать? Все складно! Золотое сияние сверху заполнило «трубу». Вот в эту трубу, к золотому сиянию, и вылечу! Вперед! Прямо вдоль трубы

и поплыл. Где-то совсем близко с диким ревом промчался водный мотоцикл — но не до него уже, другие дела!

— О! К нам Оча приехал! — обрадованно воскликнула жена. — Скорей греби!

За что она любит его? Видимо, за простодушие... зверское простодушие.

— Ну наконец-то! — подняв голову из задумчивости, проворчал отец.

Ему, видно, кажется, что Оча привез долг. Но Оча, боюсь, думает, что должны мы!

Гулко ткнулись в корень сосны. Ну все. Суши весла. Прогулка закончена! С веслами на горбу выскочил на берег, и жене не успел руку подать — она на радостях — увидеть любимого Очу — сама на берег полезла.

— Ч-черт! — по песчаному краю в воду съехала, и несколько крепких корешков по ноге пробороздило.

Одно к одному! Мелкая вода, пологие волны, колеблющаяся золотая сетка. Вытащил жену. Нога кровоточит, и щиколотка сразу же стала исчезать, опухоль сровняла ее с ногой.

— Не вставай на ногу! Скачи! — Второе весло бросил, жену под руку взял. Поскакали. — Может, ты возьмешь второе весло все-таки?! — вслед

отцу крикнул. Он уже задумчиво удаляться стал... вернулся, недовольный, резко взял весло. Мы поскакали. Уже не как белорусы — как чисто русские люди...

Усадил жену на диван, снял тапок... Пошел процесс!

— Ладно... Не двигайся!

Батя с демонстративным грохотом весло к веранде поставил и удалился в свои апартаменты. Осерчал. Но сейчас это не главное. Главное — дорогого гостя встречать. Хорошо хоть приехал, кажется, один. На разведку? Не похоже! Громко, нагло сигналит у поворота, где наш «КРАЗ» стоит, как последняя крепость. Совсем перестал снимать руку с гудка. Всех поднимет! Так они сигналят обычно, когда едут дружной вереницей на чью-то свадьбу. А сейчас? «Кровавая свадьба»? Впрочем, кровь уже полилась: жена над тазом поливала ноту из чайника, и с грязью стекало розовое... Я готов! Честно говоря, настроение такое, что погибнуть в бою — самое милое дело!

Вскинул весла на плечи, пошел туда. Не ружья, а весла, но все же что-то! Типа оглобли. И потом, если треск от них пойдет — Савва, может быть, выскочит?.. Хитер! Умен! Расчетлив!.. Но перестань же гудеть! Я не жених — мне это

неприятно!

Переулок — как положено, как в фильме «Полдень» — словно бы вымер. Жара, безлюдье. И я иду навстречу бандиту, одинокий шериф. Медленно иду. Правильно баушка говорила: «Не торопись на тот свет — там кабаков нет!» Лишь Левин весело поблескивает своими бусинками из-за Надюшкиной ограды. Ну что ж... и за это спасибо!

«КРАЗ», «затопленный линкор», мешает «ниссану» японскому проникнуть в бухту — и это хорошо. Хоть что-то защищает! Изделие русских мастеров. Умиление вдруг почувствовал, чуть слезы не потекли. Но — не время! Под «КРАЗом» козы и козлы блаженствуют в тени, жуют жвачку, и беспокоить их, заводить машину даже ради дорогого гостя — нельзя!

Вот так. Неторопливо обошел и с улыбкой перед Очей предстал.

Он стоял на песке и как раз нервно сунул руку в машину, чтобы снова сигналить, — но тут увидел меня.

Один прибыл? Это благородно. Я тоже один. «Битва при Валерике! Слова М. Лермонтова. Музыка народная. Исполняет В. Попов!»

А весла зачем на плече? Деталь эта заинтересовала Очу.

А это — загадка.

— Уберешь, может, грузовик? Никак не проехать! — миролюбиво проговорил Оча.

Да, один бы он мстить не приехал. Явно — на разведку. Фу-у... полегчало! Удерживая сгибами руки весла, утер пот.

— Это так... всегда тут стоит! — Зевая, я махнул рукой в сторону грузовика.

— К тебе гость приехал... Ты так встречаешь?! — бешено проговорил Оча.

Похоже — то не просто разведка... Разведка боем. Ну что ж! Я поправил на плечах весла.

Таких гостей лучше под крышу не пускать — потом не выгонишь! Надеюсь, мой взгляд это красноречиво сказал.

— Меня жена твоя звала в гости — ты что? — «изумился» Оча.

Я развел руками, придерживая весла. Зевнул — может быть, нервно.

— Не проехать тут!

Выдержал взгляд его довольно твердо: мол, раз не проехать — придется ехать назад.

— Жена твоя говорила — тут починиться можно?! — Он уже добродушно разулыбался.

— Не-е... — Я равнодушно зевнул. Все ясно?

Но Очу такой ход событий тоже устраивал

— мол, приехал дружески, а оскорблениями довели до кровопролития! Законы чести вынудили пролить кровь. «Доведенный оскорблениями до предела», Оча метнулся в «ниссан», заскрипели передачи — и боком, по канаве, он стал въезжать! Не опрокинулся бы ненароком! Я в тайной надежде пошел к Савве. Но нет! Никому нет дела. Жара. Полдень. Да никто мне ничего и не должен. Я сам.

Жена, добрая, выскочила, хромая, ворота перед машиной радостно открыла, отец равнодушный (не выглянул даже посмотреть, кто приехал)... я — злой. И хорошо, что есть еще силы злым быть... кто-то же должен?

Ключ от нового замка батиной квартиры жег мне карман, как кольт, — но, в отличие от кольта, ключ не вытащу никогда!

Подошел к Саввиному дому... Все время стеснялся заходить, но сейчас надо!

«И бледны щеки мертвеца, как лик его врагов бледнел, когда являлся он один средь их рядов!»

Анчар, как грозный часовой, ходил на задних лапах — того гляди, себя цепью задушит! И не лай, а тихое нарастающее рычанье... самое страшное! Смотрел он, правда, не на меня, а на Очу... правильно чует! Но все же в сарай я не пошел,

прислонил весла к крыльцу — и увидел ноги. Савва стоит! И правильно смотрит!

Но жена в это время кинулась обнимать круглого Очу! Умница! Хрен теперь Савва поверит, что это враг!.. Жена — хрупкое существо, а наворотила много! Все, хватит!

Уйду на фиг по воде — пусть сами разбираются! Анчар рычал. Савва зевал, даже не глянув на меня. Отсюда, теперь со стороны, я видел, как в палисадник вышел из дома батя, похожий на знаменитого Анатэму из пьесы ужасов Леонида Андреева, — лысый, худой, без волосинки, в непонятных черных очках.

Он задумчиво шел к уборной, стоящей за оградой, — и буквально впилился в Очу — иначе бы и не заметил! Но тут уж пришлось отреагировать — хошь не хошь!

— О! Оча! Приехал? Молодец! — Оскалив свои крепкие еще зубы, батя схватил двумя руками мощную длань Очи и встряхнул. Но тот, кто принял бы это за проявление душевности, разочаровался бы! Тут же потеряв к Оче всякий интерес и снова погрузившись в себя, батя проследовал к туалету. Брякнула щеколда. Оча глядел ему вслед изумленно: как же так? Много он повидал в боях — но такое?.. Снова брякнула щеколда,

задумчивый батя вышел из туалета и, как величественный «корабль пустыни», прошествовал мимо, даже не глянув на Очу. Вот это класс! Да, до бати мне далеко! Не зря сестра его покойной жены, как-то разглядывая нас, сказала льстиво: «А корень-то — покрепче!» Не спорю.

Учиться надо у бати!

Вон тем более меня Кузя зовет, старый друг! Этот порадует!

— Ну что? — Он презрительно оглядел меня, когда я приблизился. — Доволен?

Надо слепым быть, чтобы такое гуторить... Но он и есть слепой.

— Подарок! — Он насмешливо указал перстом на мои зеленые портки, сказочные... всего семь тысяч раз надевал. Что он имеет в виду? Чей подарок?

Вглядываясь в его мину, я наконец понял — а заодно и вспомнил!.. Совсем уже забыл — словно было век назад.

Понял наконец! Кузя намекает, что эти портки Фатьма Втахова мне подарила, боевая подруга... но где уже те бои? Только лишь Кузя, с его тупой последовательностью, может думать, что они идут!

Ну ладно! Не буду его разочаровывать. Уж со-

всем-то дураком не надо его выставлять — друг все же! Пусть проницательным считает себя... Ладно!.. с такой трактовкой моих штанов я согласен. Даже лестно. Все?

— Ну что? Добился своего? — Он усмехался еще более горько...

В каком смысле — «добился»? В смысле порток? Но с этим вроде бы я уже согласился... что надо еще?

У меня, извиняюсь, на огороде начинается малая кавказская война... тут не до порток! Но взгляд его все корил... Чего я «добился»-то?

Может, он премию имеет в виду? «За творческий вклад в дружбу народов в наши дни»... «Чернильный ангел»!.. Неужто — мне?!

А что? Я выкладываюсь! Даже кости трешшат! Вон мой дружбан — машину загоняет во двор, жена тонкими ручонками ворота придерживает. Неужто мне премию дали?

— Ну что... старая любовь не ржавеет?! Выкинул Ваню? — терзал меня Кузя.

Я ликовал.

...Ваню выкинул... А где, кстати, он? В усадьбе его сейчас бушевали дети Юга, топтали малину... Он их туда пустил? Судя по высокой скорби в голосе Кузи, Ваня их сюда запустил... а премию

«за вклад в дружбу» не получил... Бывает. А я что — не дружу с народами? Вон у меня какой сын Юга ядреный. Не столько любо, сколько дорого!.. Заслужил?

— Ну и чего ты добился? — презрительно Кузя произнес.

Как — «чего добился»? А деньги? Меньше двадцати пяти тысяч долларов Фонд Пауэлла не платит никогда... Кончились, значит, мучения — нормально заживем! Накупим лекарствий, витаминов!

Не зря «чернильный ангел» накануне мне явился: вон по-прежнему раздувается на простыне — жена убрать и не подумала, молодец!

— Ну и чего ты добился? — вскользь глянув на ангела, Кузя повторил.

— Ну... — проговорил я неопределенно.

— Пупу премию дали! Доволен? Вот так она любит тебя! — Кузя горько расхохотался.

Да-а-а... Любить ей действительно не за что меня!

— В общем, поздравляю тебя, — Кузя презрительно проговорил.

Почему меня-то? Я-то теперь тут при чем? Моя «дружба народов» ни при чем оказалась.

Кстати, Кузя и не замечает словно бы, что один

из представителей угнетенной народности в палисаднике у меня и мне с ним нелегко придется, мягко говоря.

Но Кузю интересуют лишь высшие сферы — что конкретно, то все мелко для него. Я его близоруким считаю, а он, наоборот, меня.

— Неужели ты не понимаешь, — Кузя вскричал, — что это такое: Пуп?!

Ну почему... понимаю. Василий Никифорович Пуп. Советский классик.

Понимаю. Умел дружить! Видно, Фатьме ее партийное руководство поручило восстановить не просто дружбу, а весь Советский Союз!

И чтобы Пуп дружбой заведовал!

Она справится.

Но меня сейчас больше волнует то, что в палисаднике у меня творится!

— Неужто ты не понимаешь, что Пуп — это возврат к старому?! — Кузя произнес.

Но в новое ты ведь меня тоже не пустишь?! — подумал я.

А при Пупе я пару раз плова урвал, в дружественных республиках, — плова, а также бешбармака, а также самсы, катырмы, катлымы, патырчи и немного чак-чака!

А ты хочешь, чтоб я тебя за идеи любил — при-

чем за твои, ко мне не имеющие отношения?.. Отдохни!

Вот такой я нехороший...

Красавица моя гостя дорогого уже к порогу самому подвела... Умница!

Главное — его в саклю не пустить, потом его оттуда не выкуришь — уж я-то знаю!

— Извини! — сказал я Кузе.

Метнулся туда. Притормозить немного дружбу народов, раз она такие завихрения дает!

— Оча! — рявкнул я.

Буквально на самом пороге его подстрелил. Вздрогнул, обернулся. На бегу я ладошкой призывно помахивал — мол, погоди, не входи, сказочное предложение имею.

— Хочешь... на остров... поплыть? — с трудом переводя дыхание, вымолвил все же до конца.

Оча изумленно застыл: на какой остров?! Ну, на необитаемый, разумеется! На нашем озере их полно! Предлагаю себя Пятницей! — честно в глаза ему посмотрел.

Оча явно заскучал от этого взгляда: и честь вроде явно не оскорбляют, как он рассчитывал, и в то же время предлагают какую-то чушь. Он сюда приехал войну развязать — а его на какой-то остров отправляют!

— Н-нэт! — мрачно Оча произнес.

Ну, оставайся... Но я, Пятница, буду неотлучно с тобой. И так позабочусь о тебе, что ты о далекой родине заскучаешь! Вот какой я нехороший.

Жена своими слабыми ручонками упорно тянула Очу в дом... еще один дом придется штурмовать?..

Но жизнь, как всегда, спасает, спасла и тут! Оча только наступил ногою завоевателя на крыльцо, как во двор красивыми зигзагами вошел Битте-Дритте — и с удивлением увидел работу по специальности, въехавшую ему прямо во двор.

— О! — Он глянул на «ниссан», после — на Очу. — Вдруг откуда ни возьмись... Сюда, быстро! — рявкнул он.

Оча, помедлив, снял ногу с крыльца и приблизился к Битте.

— Большой ремонт, малый? — резко поинтересовался Битте.

— ...Большой! — величественно произнес Оча.

— Сделаем! — Битте вдруг отдал честь. — Да... зацвела машинка твоя... как черемуха... Во, ржавчина... — сладострастно заговорил Битте.

Потом — я слегка отвлекся от них — Оча появился над гаражом, в домике Джульетты, украденном Битте при работе его в оперном театре... (Пусть

Ромео и вытряхивает Очу оттуда!) Битте, открыв мотор, чему-то дико поразился:

— Ну и херня!

Оча на балкончике вздрогнул, потом достал из кармана телефончик и стал тыкать могучим пальцем. Телефон в его руках — это опасно.

Потом я ушел к себе, погрузился в маразм творчества и, когда часа через два вышел размяться, увидел следующую картину: мотор «ниссана» был разобран на составляющие и аккуратно разложен на тряпочках по всему двору. Битте, довольный, вытирал руки ветошью и, видимо, собирался пойти прогуляться. Молодец — здорово мне помог!

За оградой стоял Левин и, прищурив один глаз, что-то соображая, смотрел на Битте, неожиданно вдруг рассекретившего свои «золотые руки».

Битте неторопливо двинулся к калитке.

— Эй! Куда пошел? — рявкнул Оча с балкона.

Битте с некоторым удивлением, с трудом вспоминая, глядел туда.

— А-а... это ты. Ты очень-то не увлекайся мной — разочаруешься!

После чего Битте удалился вверх по проулку. Оча слетел с балкончика. Кузя неожиданно оказался на стреме.

— Совесть у тебя есть? — укорил он проходившего мимо Битте.

— Полный бак совести! — отрезал тот и зашагал по шоссе. Я тоже решил прогуляться, вышел на озеро, глянул вверх...

А Мефодий-то разгулялся!

Соскользнувшая мантия

Я возвращался, обогнув озеро и даже слегка успокоившись... Вот так! Ни черта мне не дали... кроме порток. Да и те, если честно, я сам купил — в секонд-хэнде взял, с раскладушки «Одежда на вес».

Полкило штанов.

И ждать больше нечего.

О! Тут я остановился. На том же злосчастном мосту через ручей (по-английски — «крик») стоял теперь красный «пежо», и пассажирка, выглянув из него, расспрашивала все ту же почтальонку.

Пошел гость!

Надо упредить. Запыхавшись, я притрюхал домой, вбежал на террасу, зорко взглянул на жену.

Она сидела откинув голову, открыв глаза и приоткрыв рот. Я осторожно взял ее за руку, господи, одна кость!

— Да-да... я слышу, — выплывая откуда-то, пробормотала она.

Лучше бы она сейчас не слушала, немножко бы поспала!

На цыпочках — что было, как теперь понимаю, глупо и полностью выдавало меня — я вышел с

террасы, пошел к калитке.

События уже обрушивались на меня, как дома при землетрясении. К калитке, радостно хромая, двигалась бабка Марьяна, Саввина теща, поселковая горевестница — все худшие вести приносит всегда она, причем задыхаясь от страсти, забывая про хромоту.

— Тебя там баба кличеть! — радостно и громко воскликнула она.

Ну зачем же орать? Я испуганно оглянулся на марлю, закрывающую вход на террасу мухам... и лишним звукам, я надеюсь.

Пошел.

Втахова, вылезающая из «пежо», была прелестна. Как сказал английский поэт, «словно роза в утро битвы». Это сравнение легко было проверить: розы — от бордовой до чайной, желтой — как раз торчали из всех палисадников. «Линкор» — заглохший «КРАЗ» — нас надежно закрывал: она остановила авто у развилки. Козлятушки, как кусочки ваты, почему-то сгрудились у ее ног, жалобно мекая. «Ваша мать пришла, молока принесла»?

Мы смотрели друг на друга.

— Ну что? — усмехнулась она. — ...Войти, конечно, нельзя?

— Н-нэт! — страстно прошептал я и испуганно оглянулся... хотя, конечно, лучше бы войти: такие вот перешептывания в пределах слышимости — наихудший вариант. Но наихудший всегда и выбираем... лучше для романиста.

— Нельзя. Так я и предполагала. Работник невидимого фронта.

— «Союз меча и орала»! — не подумавши, брякнул я.

И тут же нам обоим в головы — спелись все-таки — явился неприличный смысл этого образа. Втахова густо зарделась, хотя и без того у нее румянец довольно темный, и я вдруг тоже почувствовал в щеках жар.

— Где меч-то? Не вижу! — взяв себя в руки, нагло проговорила она. — ...Но я не об этом... думала сегодня всю ночь. Я видела, как ты лез.

— ...Куда?

— ...В окно батиной квартиры.

— И что?

— И то! Я думаю, что ты среди нас... единственный... кто разбирается с дружбой народов всерьез. И за все отвечаешь, по полной программе!

— ...Ну?

— Гну. И я считаю, что «Чернильного ангела», — (он как раз раздулся на простыне), — достоин

именно ты... а не этот... — Она кивнула на картинно застывшего на террасе Кузю. Я испуганно глянул на Кузю (обидели друга!), потом снова на Фатьму.

— ...Шутишь?

Вон там, за оградой, стоит действительно серьезный мыслитель... А я что?

— Ради шутки, даже самой блистательной, я бы не тащилась так далеко, — процедила она. Передо мной снова была серьезная дама, крупная международная функционерка. — Жди! — отрывисто закончила она, хлопнула дверцей и, оставляя за машиной вихрь тополиных пушинок, уехала.

А как же Пуп?! Маленько ошибся Кузя?

Неужто? — я глядел ей вслед. Неужто все мои муки позади и премия, по-пауэлловски увесистая, оттянет мой карман?.. Не зря я, выходит, над бездной висел? Накупим теперь лекарствий, витаминов — и все будет хорошо! Я глянул на нашу дверную марлю, которая все это время странно шевелилась. Ничего, теперь предадимся роскоши — и все будет хорошо!

Вон и Кузя стоит — тоже радуется, наверное.

Странно — отворачивается...

Я открыл свою калитку. Навстречу шел Оча в ослепительно белом костюме... Мой герой!

«Здравствуй, милый!» — обласкал его на ходу. А что ж не обласкать — за такие-то деньги!

И наконец я приподнял марлю...

Жена лежала откинувшись, блестя испариной на лбу. Глаза ее были закрыты, и она была, кажется, далеко. Может, это сейчас и к лучшему? Воровато, на цыпочках, я стал уходить с террасы, но именно этот вороватый скрип — все равно же слышный! — подействовал на нее хуже всего. Она вдруг подняла тонкую высохшую ладошку, что значило, видимо: погоди! Я встал. «Сейчас!» — пошевелились беззвучно синие губы. Откуда-то издалека стали выплывать, возвращаться черты лица. «Садись!» — сказала она так же беззвучно, тронув ладошкой диван. И вот она открыла очи — в них был огонь.

— Может, тут премию урву, — проговорил я беззаботно. — Заживем!

Она покачала головою... Что? Не заживем? За такие-то деньги?!

Тишина!.. Но наконец пошел звук.

— ...Н-нет...

Что — «нет»?! Не может говорить? В больницу надо!

Снова подняла прозрачную ладошку.

— Н-нет... Не уходи... Я скажу!.. Втахова, конеч-

но, сука... Но тут я с ней согласна. Ты заслужил!

Снова откинулась, закрыла глаза.

— Эй! — Я осторожно тронул ее за руку... Она покачнулась, голова упала на грудь и так оставалась.

В больницу срочно надо!! Но какая тут больница — в деревне живем! Кузя все знает, ведь в медицинском когда-то учился, и коллеги все до сих пор чтут его! Да еще бы не чтить — с третьего курса за убеждения на костер пошел! Это они все — мещане, Ионычи, а он — герой! Все боятся его — да и как его не бояться, когда он тут недавно самого Михаила Булгакова (тоже, кстати, врача) причесал. В каких-то архивах разыскал, что в «Мастере и Маргарите», оказывается, был абзац, посвященный Сталину, — а от него, Кузи, долгие годы это скрывали, вернее, пытались скрыть, но он нашел и сказал. Сам Булгаков перед ним трепещет — а куда уж нам!

На жену оглянулся — она, конечно, этот ход не одобрит, не любит Кузю, но что поделаешь, если для спасения все время приходится делать запретные ходы, когда хорошее иначе как через плохое не сделать!

Пойду — опять на цыпочках, воровато... Такая жизнь!

Кузя, естественно, меня надменно встретил, хотя и с дружеской снисходительностью.

— О господи! — трубку раскурил. — Ты бы хоть раз зашел ко мне просто так, без корысти!

Без корысти некогда!

— Тебе этого мало? — Кузя кивнул на шоссе, по которому умчалась Втахова.

Да, мало! Уже другое на уме!

— Не можешь к Бурштейну заскочить? Нонну в больницу надо! — сказал я.

— О дружбе ты вспоминаешь, только когда припрет! — сказал он.

Я оглянулся... из дома ни звука. Похоже, полемика с ним надолго затянется.

— Неужели не стыдно тебе... так позорно суетиться... буквально премию свою зубами выдирать?! — по-дружески проникновенно произнес он.

— Ну ладно! — закричал я. — Бог с ней, с премией. Кому отдать ее надо? Ваньке? Я согласен! Где это записать?

Вдруг Кузя побледнел. Я испуганно оглянулся. Держась за дверную занавеску, стояла моя жена — белее занавески.

— ...Нет, — проговорила она. — Не соглашайся с ним! Он на болезни моей играет! Не соглашайся!

Уж лучше я умру!

И вдруг она исчезла, словно растворилась!

Спасибо тебе, Кузя! Я кинулся домой.

Она сидела на полу, прислонившись к дивану, щеки, губы и закрытые глаза словно провалились. Я усадил ее на диван. Голова ее упала.

Так. Обращаться к Кузе бесполезно — это все равно что ехать в Москву через Владивосток... Наконец-то ты это понял! Все чужими руками делать норовишь!

Надо бежать к Сашке Бурштейну... хоть он мне давно уже не друг — жизнь рассосала... и вовсе не боится он меня... как все боятся неумолимого Кузи... Но вдруг получится? Ведь не враги же мы, как теперь с... этим? Сашка — хороший врач!

Песчаные улицы хороши на вид, но неудобны для бега, особенно в гору... в конце улицы Ломаной, на углу улицы Ломоносова (сколько раз каламбурили!), проступает сквозь сосны дворец Бурштейнов, «Храм Спаса на грудях», как шутит (шутила) поселковая интеллигенция... Покойный батя Сашки, академик Бурштейн, известнейший хирург женских грудей... а Сашка — простой больничный врач... но это-то и нужно сейчас!

Да, вблизи дворец выглядел уже бледно, а сам Сашка, скрестив ноги, сидел против работающей

выхлопной трубы старенькой «Волги», дыша полной грудью и закрыв глаза... Самоубийство?

Не время, товарищ! Я качнул его за плечо. В его открывшихся глазах я не увидел восторга.

— Нонку в больницу надо! Не едешь? — Я уставился на «Волгу».

— ...Еду! — с трудом поднимаясь, вымолвил он. — Но на автобусе — эта сука не фурычит! — Он кивнул на машину, бывшую гордость семьи. Все мои некогда блестящие друзья нынче ездят (если ездят) лишь на гнилых машинах эпохи зрелого социализма, новая эпоха машин им не подарила.

— Может, тогда хоть заскочишь, а?

— Ладно. Счас... Но коек все равно нет.

В мятом белом халате (сам, что ли, стирает?), с отцовским потертым чемоданчиком он вышел из дома — степенно, солидно. Трудно было увлечь его в бег! Я убегал, на бегу весело, заманчиво подпрыгивая. Мол, с горки-то? А? Одно удовольствие! Потом, отдыхиваясь, стоял ждал... Потеряв терпение, возвращался — хоть как-то поторопить!

Мы вошли в палисадник. Очин «ниссан» (дар японского народа) был, как прежде, разобран. Битте-Дритте, представитель русского народа и друг немецкого, блистал своим отсутствием. Лишь Левин (сын еврейского народа) весело зыр-

кал своими глазками из-за Надюшкиной ограды.

Мы вошли в дом. Нонна, тяжело опираясь о стол, поднялась, покачнулась. Господи, одни кости, глаза и рот провалились. Лоб блестел.

Сашка молчал — видно, не ожидал такого.

— Да-а... Давно мы не виделись, — наконец выговорил он.

— И вот результат, — бледно улыбнулась она.

Мы вышли на террасу. Сашка закурил.

— Колеса найди, — приказал он.

Я огляделся. Никаких особых колес.

Только синий «форд-скорпио» Левина остановился у калитки Саввы, и я видел, как выходит статный, коротко стриженный Савва в спортивной «пуме», садится в тачку... На разбой собрались? Вряд ли в больницу! Проклиная прежнюю свою необщительность, кинулся к машине. Открыл дверцу. Душно у них в салоне, накалено!

— Ребята! Жену в больницу надо срочно!

Левин поглядел на меня с изумлением, но Савва неожиданно буркнул:

— Ладно, давай!

А я его почему-то не любил. Но важно, что он Нонну любит. Зачем-то махая рукой Сашке, я помчался к дому.

— ...Эти мудаки в Кремле — что они думают?

— страстно говорил Левин, выруливая на шоссе. Я страстно кивал, соглашаясь.

Бурштейн неожиданно горячо вступился за правительство. Я на всякий случай кивал и тем и другим.

— Бедный! — вдруг горячо шепнула жена мне в ухо.

Мы въехали в Сестрорецк, зарулили в больницу. Поднялись по пандусу к приемному покою. Голова жены в закрытыми глазами (уснула?) каталась по моему плечу.

Потом она лежала на железной каталке, рядом на такой же стонал рваный бомж. Сашка убежал и не возвращался.

— Есть, слава богу, коечка! — сообщил он, наконец появляясь. — Старушку одну только упаковали!

После этого бодрого, жизнеутверждающего заявления вышла мрачная толстая санитарка и покатила каталку. Жена вдруг протянула ко мне свою тонкую горячую руку, и я держал ее до дверей... Все!

— На вот рецепт! — протянул листочек Сашка. — Сегодня наше закапаем, а завтра, извини, — уже ваше. А теперь вали отсюда — у нас карантин!

Я остался с листочком в руках. Хотел было

обратить внимание Сашки на всеми забытого стонущего бомжа — он, видимо, уже стал тут всем привычной деталью пейзажа... Идти искать правду? Но на всех правды не напасешься! — таким подлым способом успокаивал я себя. «Приемный покой»? Могу я хотя бы здесь посидеть покойно, вытянув ноги?.. Нет. Я поднялся. Нашел аптеку — тут же, под крышей больницы, протянул рецепт... Сколько?! Сто семьдесят три рубля! Где же мне столько взять? У Очи? Он сам только думает о том, как взять!

В отчаянии я спускался по пандусу.

— Эй! — вдруг услышал я.

Левин и Савва, оказывается, ждали меня! Хотелось бы в аккурат одному... Но что поделаешь? Я их раб! Уселся сзади.

— Прокатимся... тут? — ухмыляясь, предложил Левин.

Я кивнул. Мы выкатились из Сестрорецка. Я то отключался, то слышал их разговор.

— ...от плясуний этих изжога уже у меня! — голос Саввы.

Веселиться едем?! В самый раз!

Солнце с заката светило меж стволами сосен.

Я вглядывался, прикрываясь ладошкой... Куда?

А-а! Знакомые пенаты! Аж сердце сжалось — ко-

гда-то самая жизнь здесь была! Вот промелькнул писательский Дом творчества. Когда-то по этой сосновой аллее степенно прогуливались ужасно важные, надменные типы... Казалось, что с ними может сделаться? Смело революцией! Теперь там, за оградой, видны автомобили, и даже какие-то детские голоса звенят — но это уже жирует обслуга, освободившаяся от эксплуататоров и начавшая новую, светлую жизнь!

А на новую жизнь надеялись как раз мы, тут ее зачинали!

По этой вот аллее когда-то шел на станцию, на первые демократические выборы, на которых он выставлялся, наш тогдашний лидер Сережа Загряжский. Свою предвыборную кампанию он строил, в частности, на защите бездомных животных — и вот на этом перекрестке как раз увидал, что целую «собачью свадьбу», целую разношерстную собачью свору ловят удавками на палках и поднимают, полузадушенных, в машину. Сережа смело кинулся в бой. Душители, естественно, психанули. В результате Сережа добрался к своим сторонникам рваный, окровавленный. И был встречен овацией. И на волне общего подъема был избран. Где теперь его избиратели? Да и сам Сережа в Германии.

Да-а... Были времена! Вот тут, вдоль глухого зеленого забора, мы прогуливались парами после обеда, язвя правительство, которое нас, оказывается, содержало. Правительство почти открыто ругали тогда многие... но и мы не молчали! Наибольшую нашу язвительность вызывал «ложный детсад» напротив их забора. Проходя мимо, все переглядывались и тонко усмехались. Домики, грибочки... не было там никакого детсада! Это правители, обитающие за зеленым забором, приказали наставить за дорогой домиков и грибков — якобы там детсад, — а на самом деле — чтобы никто там не селился, не ел их кислород! Звонких детских голосов не слышалось там ни зимой, ни летом. Эта тайна сплачивала всех нас, поднимала на борьбу!

Теперь звонкие голоса там снова не звенели — но хотя бы удалось покончить с ложью: домики и грибочки были разломаны, ложный детсад уничтожен.

За самим зеленым забором с победой демократии было решено устроить хоспис... но как-то не получилось. Из глухой дверки в заборе все время почему-то выходили румяные, мордатые, веселые люди, отнюдь не похожие на умирающих... Вот вышли и сейчас.

Но сладко было проехать через поле бывших великих надежд!

Так... Я огляделся. Теперь у меня другие друзья.

Мы проезжали мимо ярко-желтого сруба — кто-то строил огромную простую русскую избу из гладких ярко-желтых калиброванных финских бревен.

— Наш шеф строится... Вот так — скромно, по-ленински! — усмехнулся Савва.

Я огляделся пошире. Да, меняется пейзаж! Бывшая строгая обкомовская роскошь, не бросающаяся в очи, сменялась тесной аляповатостью... вон кто-то замок строит. На каменных стенах — выпуклые кресты... Филиал знаменитых Крестов?.. Проехали!

Теперь надо прислушаться к новым друзьям.

— Значит, так, — усмехался Савва. — Командир выступает перед частью. Вот, говорит, как у нас люди в армии растут. Вот Егоров был простой комбайнер, а теперь — зампотех полка! Сергеев после школы к нам пришел — а теперь командир роты химзашиты... Политрук сидит рядом и шепчет: «Про меня скажи... про меня скажи!» Командир поворачивается к нему: «...А ты как был мудаком, так и остался!»

В ответ Левин протяжно зевнул. Переехали

мост над каменистой речкой... Когда-то мы тут гуляли... Теперь гуляют они.

— Опять же, — Савва вдруг почему-то завелся, — командир выступает перед частью. Лепит: у нас в армии очень высокий моральный уровень. К примеру, я живу с женой тридцать лет и ни разу не изменял! Даже и не думал! Политрук ему шепчет: «Двадцать, товарищ командир!» — «Что?» — «Двадцать лет вы живете со своей женой, товарищ командир». — «Молчи ты... Так о чем это я? Ах да! Со своею женой я живу тридцать лет и ни разу ей не изменил!» — «...Двадцать, товарищ командир!» — «Слушай! Отстань! Это я с твоей женой живу двадцать — а со своей тридцать!»

Теперь уже Левин зло глянул на Савву, что означало вроде бы: прекрати! Что — «прекрати»? Я пытался понять, что происходит. И наконец понял.

— Политрука, что ли, везем? — кивнул наконец Савва в мою сторону, потеряв надежду достать меня тонкими намеками.

— Чего ты мелешь-то? — произнес Левин.

— Ну а кто ж он? — теперь уже открыто дерзил Савва. — Небось в книжках своих пишет, как нам всем хорошими быть!

— Никогда! — воскликнул я возмущенно.

— А за что ж тебе деньги платят?! — Савва презрительно уставился на меня.

— А ни за что! — Я тоже завелся.

Куда везут? На моральную казнь? Тогда зачем так далеко?

Я стал поглядывать в окно — и вдруг забыл о моих мучителях! Наплывало...

То, что я не надеялся никогда уже увидеть и даже был уверен, что то было видение... Ан нет! Вон оно, за соснами...

Давно это было, но как будто сейчас, мы с женой шли по почти уже призрачному мартовскому снегу, капли с крыш прожигали во льду желтые дырки. Мы сняли шапки — от голов повалил пар. И тут мы увидели вот эту затерянную в чаще столовую. Странно — для кого бы она? Вокруг — никого. Мы вошли... Большой зал, просвеченный солнцем. Чистые столики. Тишина.

Длинная алюминиевая стойка: салаты, винегреты, светится в лучах солнца пар над чанами с супами. Мы взяли подносы, тарелки, набрали салатов, хлеба. Так никто и не подошел. Заколдованная столовая?

— Наливайте, наливайте! — вдруг донесся откуда-то из гулкой глубины голос.

Мы налили по тарелке горохового супа, набра-

ли гуляша с подливой, поставили компоты — и долго ждали у сияющей никелированной кассы.

— Ешьте, ешьте! Потом! — донесся тот же приятный голос, который, как нам показалось, удалялся.

Мы сели пересмеиваясь, шепча, что это, видимо, дворец заколдованного чудовища, ждущего Аленушку, которая его расколдует, — а пока что он угощает всех!

Мы поели, постояли у кассы еще...

— Эй! А платить кому? — крикнул я.

Тишина. Потом донеслось издалека:

— Да ладно, ребята!

Был ли в жизни момент большего счастья? Мы вышли на крыльцо, зажмурились на солнце. Не то что мы радовались халяве — просто приятно было побывать в раю. И вот — неожиданно возвратился сюда.

...Что — настал час расплаты? Я пошевелился на сиденье — немножко прилип.

Да, теперь тут не рай... Во всяком случае, не бесплатный. Впритирку стояли шикарные тачки — среди них преобладали бандитские «броневички» с никелированными кроватными спинками вместо бамперов. Стоял какой-то технический автобус с маленькими окнами, черные кабели

выползали из него и ползли по ступенькам. Над дверью была круглая надпись, с желтым кругом внутри: «Золотой блин». Левин сиял. Нет... хорошее название... Соответствующее!

Мы вошли в зал, судя по гулкости — просторный. Не было видно почти ничего. За этим залом призрачно брезжил другой, с игорными столами. Похоже, что тут вечная ночь. И жара! Колотилась музыка, и в прокуренной тьме нас стали колоть и тут же исчезать тонкие лазерные «иглы»: синяя — зеленая — красная. Левин шел впереди — маленький, пузатый, лоснящийся, в мятой, выбившейся на животе рубахе, — но все, попадавшиеся на пути, почтительно кланялись.

Левин вскарабкался на низенькую приступочку сцены, взялся маленькой ручкой за стойку микрофона:

— Ша!

Ансамбль, состоящий из четырех лохов в переливающихся костюмах, резко умолк.

Левин повесил микрофон на стойку и взял протянутый ему из зала другой — мохнатый, похожий на растрепанную шерстяную шапку.

— Дорогие друзья! — заговорил он весело и слегка гнусаво, как многие радиоведущие. — С вами снова ваш друг Сеня Левин, президент — и

одновременно почетный член, — (Сеня хохотнул), — названной в честь Сени Левина фирмы «Селяви»!

Сеня Левин — «Селяви»... Молодец! Сам придумал?

— Я снова с вами со всеми, кто в пути, кто выехал из дома, или кто едет к дому, или, наоборот, вовсе не собирается домой! Я с вами! Мы снова вместе с радиостанцией «Парадайс», которую, я надеюсь, все полюбили, находимся в самом знаменитом клубе Карельского перешейка «Золотой блин», который работает круглосуточно!

Гусляры вдарили по струнам.

— Рад сообщить вам, что фирма «Селяви» придумала для вас новую мульку. Если вдруг — тьфу, тьфу, тьфу! — забарахлит на ходу ваш мотор, то лучшие! Лучшие мастера Карельского перешейка!..

Битте-Дритте подразумевается, понял я.

— ...в течение получаса наладят вам его. Кроме этого связывайтесь с нами по поводу... мелких недоразумений с ГАИ! Мы будем рады вам помочь — стоит вам только позвонить по моему мобилу — 914-34-14! Смелей, ребята!

Грянула музыка. Левин, придерживаясь за микрофон, задом вперед спустился с приступочки

и, позыркав своими гляделками, подошел вдруг ко мне.

— Слушай сюда! — заговорил он быстро. — Сделай мне штуку одну... Ну, песню как бы... чтобы с первого аккорда все просекали, что это я выхожу!

— Ну... тут Чайковский нужен! — воскликнул я.

— Ладно... Бери Чайковского! — рубанув маленькой белой ладошкой, разрешил он. — Главное — слова!

Я и без него знал, что главное — слова! Мысленно прикинул сперва — Первый концерт Чайковского... но — нет! Слишком много надо слов.

Что-то торжественное, но покороче... Ага!

— Пошли! — Я ухватил Левина за локоть. Он как раз посылал кому-то во тьму воздушные поцелуи — и удивленно глянул на меня своими птичьими глазками.

— Уже?

Вот это темп! Чайковскому такое не снилось. Левин пригнул ко мне ухо.

Я шепнул ему — и музыкантам, — что придумал, и Левин весело блеснул глазками:

— Годится!

С первыми же аккордами в зале наступила мертвая тишина. Все, оцепенев, смотрели на сцену... Вот это воздействие! Какому имиджмейкеру это удавалось? Левин, с окончательно выбившейся из порток рубахой, стал дирижировать. Понесся гул... Как? Снова эта песня? Ведь ее же вроде бы запретили, особенно по радио?.. Опять? Что-то переменилось, пока они тут? Лохи запели, торжественно и грозно:

День за днем идут года,
Зори новых поколений.
Но никто и никогда
Не забудет имя... Левин!

Левин со вскинутыми руками повернулся к залу. Зал взорвался аплодисментами. Дальше пели все, причем с упоением, — видно, здорово въелась эта песня: с явным восторгом исполняют! И слова все знают!

Левин — в твоей весне!
В каждом счастливом дне!
Левин — в тебе и во мне!

Последнюю строчку, хохоча, тянули дольше всех две красотки, прильнувшие к нашему толстячку.

Я скромно сошел со сцены.

— Вот так... скромно, по-ленински, — сказал я Савве, стоящему у входа.

Тот мрачно усмехнулся.

Вдруг с улицы донеслись какие-то громкие хлопки. Левин кинулся к Савве:

— Это что, однако?!

— Стреляют, однако! — равнодушно пожав плечом, вымолвил Савва.

— А тебе — что?! По ...?! — рявкнул шеф.

— Я сказал: охраняю только зал! Все! — рубанул Савва.

Левин в расстегнутой рубахе бесстрашно нырнул во тьму...

За соснами тлел то ли восход, то ли еще закат, когда мы покидали этот вертеп.

Левин поглядел на длинный, шестидверный, метров десять в длину, белый лимузин, стоявший чуть в сторонке.

— Что-то давно мы на катафалке никого не отвозили! — сладко зевнул Левин.

— Клиентов нет! — в ответ зевнул Савва.

Ну и делами они тут занимаются! — думал я в ужасе — на катафалке увозят!

Но потом, когда мы сели и поехали, из их разговора я понял, что на «катафалке» они тор-

жественно отвозят домой того, кто проиграл в их казино не меньше трех тысяч долларов, — таких «счастливцев» давно что-то не было!

Наконец мы мчались к дому, в приемнике записанный голос Левина повторял: «...по мобилу — 914-34-14!..» И медленно, торжественно: «Левин... всегда живой!»

Я больше был увлечен другим, в конвертике, который сунул мне Левин, пытался расклеить и пересчитать пальцами ассигнации, не вынимая их... Три?.. Четыре!

Я всегда говорил, что одним правильно выбранным словом можно полностью изменить окружающую жизнь, но никогда еще за одно-единственное правильное слово (Левин) не получал так много!

Накупим лекарствий, еды!

Победа ждет каждого, кто ее любит.

Я ликовал. Надо же — так увлечен, захвачен, даже угнетен делами семьи — а вторую ночь подряд дома не ночую!

— А политрук-то наш, похоже, нажрался?! — Савва, не подозревая о том, что я впаял уже его в янтарь вечности, продолжал дерзить.

Чуть не столкнув в кювет, нас лихо «урезал» бандитский броневичок, с бешеной скоростью

промчавшийся куда-то к гибели.

— Гробанется — к нам же чиниться придет! — благодушно заметил Левин. — ...Если выживет. А тебе как? — Неожиданно он ехидно обернулся к Савве: — Завидно небось, что братки на поворотах обходят, на такой скорости?

— ...Ничего! — неожиданно возразил Савва. — Мой батя вообще... поначалу на лошадке трюхал... а вся округа стояла «руки по швам»... О, а это что?

Небо вдали — над нашим проулком? — вдруг покраснело. Пожар?

Теперь уже мы обогнали броневичок!

Ага. Пока что не горим... Но близко к этому. В садике возле Ваниной халупы расположились табором дети Юга, громко галдя на своем языке, похоже, ссорясь. Для костра они отламывали доски от дома. Неужто Ваня сам их пустил? Ну, мудила! Самого, кстати, не видно — унесся к другим добрым делам, бросив на нас это? На него в аккурат похоже!

Да, судя по тому, как Кузя, стоящий у своей ограды, умильно поглядывал на детишек, тут все правильно... Для него!

А что там у нас? Все тихо, окна темные... но что-то переменилось! Ага! Ясно. Простыня исчезла с

«чернильным ангелом» — символом, так сказать, гуманизма. Детишки сперли? Но зато гуманизм, посмотри, бушует на самом деле, во всей красе: бездомные дети обрели приют!

Вот так... скромно — по-ленински! — Кузя умильно смотрел на них. Ночами-то он на кого работает? Ну ладно. Я подошел.

Кузя вдумчиво глядел на меня, пытливо стараясь понять: можно ли еще спасти этого человека, только что развязно вылезшего из роскошной тачки вместе с Левиным и Саввой — не имеющими с передовой частью человечества ничего общего?.. Детский праздник, кстати, они ломать побоялись: только свяжись с Кузей — опозорит!.. Зевая, разошлись. Я, зевая, остался.

— Ты знаешь, что Ваню исключили из Союза писателей? — проговорил он взволнованно. Видимо, это позднее (раннее?) время казалось ему вполне подходящим для задушевной беседы.

— Исключили? — Я бестактно зевнул.

Да, в наше либеральное время нужно что-то особое отмочить, чтобы исключили... Но Ване это по плечу! А у меня, кстати, сил абсолютно нет — падаю с ног!

— А что, было собрание? — Я раззевался до неприличия перед личиной чужой беды. — Не

слышал.

— Ты всегда не слышишь то, что тебе невыгодно! — припечатал Кузя.

Что за выволочка такая глубокой ночью? Завтра нельзя?

— Этих-то... Ванька привел? — указал, зевая, на закоптившихся у костра детей Юга. — Зачем?

— Тебе, разумеется, этого не понять! — вздохнул Кузя.

— Сейчас я вообще ничего не способен понять. Знаю только, что они простыню у меня украли!

— У меня они тоже кое-что увели, — усмехнулся Кузя, — и тем не менее я добился, чтобы именно Ване присудили «Чернильного ангела»! — отчеканил Кузя.

Ване? А я-то уже думал, что мне! Представлял, как мы жить теперь будем — все трудности позади. Всегда я так: лечу — и мордой об столб! Нормально.

— За что... исключили-то его? — пробормотал я (спросить, конечно, не то хотел, но постеснялся).

— Да... какие-то там деньги истратил, — вскользь сказал Кузя.

— А... наградили... за что? — все-таки выговорил я.

— За до-бро-ту! — глядя в сторону играющих

детишек, по слогам произнес Кузя, намекая на то, что мне-то это слово навряд ли знакомо. Интересно — сам-то Ваня знает?

Кузя, ясное дело, торжествовал! Добился, помог несчастному, исключенному из Союза писателей, но доброму, приютившему детишек... которые и его, Кузю, обворовали... Для него Принципы выше! Удачно обокрали — так заметнее его благородство! Честное слово, если б Кузя премию взял себе, уважал бы его больше. А так...

Я зевнул. Меня тоже обокрали... но я ничего с этого не получил. Все остальные получили.

Украли детишки у меня «Чернильного ангела» для Вани. И для Кузи тоже.

Ну и чего?

Не удовлетворенный, видимо, моими переживаниями (которых и не было совсем), Кузя добавил:

— К сожалению, твоя *предприимчивость* тут не сработала. — Снова камень метнул. Все вроде уже сказал — но не может успокоиться, в свете костра! Понимаю, что должен переживать более бурно, — но спать хочу!

— Пришлось обратиться через Ее голову, — Кузя многозначительно улыбнулся, — непосредственно к руководителю фонда... ее, кстати, мужу!

Ах да! И, видимо, пришлось ему сказать, чем она занимается тут, в России, пока муж ее блюдет высшие интересы.

Молодец, Кузя. Ради его принципов на все пойдет!

Но почему он так страстно за Ваню стоит? Думаю, все средства массовой информации теперь ахнут, когда Ване вдруг вручат «Чернильного ангела»! И под этот «ах» Кузя тут появится: «Считаю необходимым!» Понимает, что больше никогда его не покажут, — хоть тут показаться! Если б мне вдруг премию дали, никто бы не удивился, подвига Кузи никто бы не оценил... А так — шум, сенсация!

Про Ваню же известно всем, что связан с правоохранительными органами. Он и сам хвастался... Помню, были мы с ним с писательской делегацией в Индии. И в последний день Ваня, потрясенный древней культурой, так напился, что бумажник и паспорт потерял. Индусы его внезапно выпустили... им-то зачем такое добро? Но как встретит его суровая Родина?.. Ваня почему-то об этом не беспокоился. Только мы взлетели — он снова клюкнул и спокойно захрапел. Пока он спал в самолете, пуская слюни, в атмосфере что-то произошло, и нас вместо Шереметьево-2, с

пограничниками и таможней, посадили в старозаветном Быкове, где ничего этого не было.

— Понял, какие у меня связи! — проговорил он, проснувшись и приглядевшись. Не скрывал — акцентировал!

И теперь ему — «Чернильного ангела». За спасенных детей. И сбоку от его славы, в отсветах костра, — скромный Кузя.

Вот так... А я-то, честно говоря, особенно и не надеялся на простыне своей взлететь. Непрухо-Маклай!

Побрел. Да, соскользнула с плеч мантия... Ну что ж — нам не привыкать!.. Зато вон тень какая вытянулась — до самого леса!

Наши окна темные.

Отец уже спал (я надеюсь). Не хватает только ему узнать, что мне премию не дали. Да он про нее и не слыхал.

Я вошел, чуть скрипнув дверью, посидел, зажмурясь, на опустевшем диване жены... О господи! Как она плясала! Переплясывала всех! Все уже лежали в изнеможении, а она все летала! Помню, одна тетка-врачиха, кстати, сказала: «Ну у тебя и жена! Сбрось ее с шестого этажа — отряхнется и пойдет плясать!..» Шестого этажа не понадобилось — понадобилось всего пять лет!

Вдруг дом сотряс грохот! Взрыв?.. Наконец-то!

Я выскочил на улицу.

Битте-Дритте, сорвавшись с лестницы, ведущей к нему наверх, хладнокровно готовился к следующему штурму.

— Что происходит вообще? — поинтересовался я.

— ...Праздник клубня! — сообщил он.

Я пошел к себе, лег... Перед глазами замелькало. Ну и денек!

Надеюсь, у святого Мефодия нет братьев-близнецов?

Битва при Валерике

...Надеюсь, у святого Мефодия нет братьев-близнецов?

С этой фразой я уснул, с ней и проснулся. Слава богу, не забыл, хоть записать вчера поленился.

Я сладко зевнул, понес руки к глазам, чтобы как следует их протереть, — и руки застыли... Надо же! Вчера Левин, расщедрившись, поставил мне на запястье круглый штампик — «вечный пропуск», как он выразился, в «Золотой блин»... и он, оказывается, еще и светился! Я плюнул, протер простыней... Не сходит! Навечно заклеймен! Я потянулся... Вставай, проклятьем заклейменный!

Я сел. Да, в доме тишина! Обычно батя рано утром, чуть рассветет, выходил на кухню, нетерпеливо брякал посудой, как бы собираясь готовить завтрак... на самом деле — тонко намекая, что Нонне пора вставать и готовить.

Да, ест он так же страстно, как и работает. Но сегодня он понял, что готовить некому. Тишина.

Натянув порты, я заглянул к нему в комнату... Нету бати! Рукопись топорщится на столе — а бати нету. А был ли он ночью, когда я пришел? Побоялся заглянуть — а теперь не знаю! Может

быть, Очины штучки?

Я выглянул наружу. Большой светло-зеленый куст спаржи, наполовину поделенный тенью от угла дома, сиял мелкими капельками. Очи тоже не было видно. Выехали на батину квартиру? Решил батя покомандовать? Хоть бы спросил! Я метнулся было назад, чтобы окончательно одеться, — и тут увидел отца. Вдумчиво, размеренно ступая, он шел по тропинке от озера. Тучи, тут пронесшиеся, не омрачили его высокого, сияющего чела! Очень способствуют его гармонии темные очки — ничего не знает, ничего не видит. Зарядка, прогулка и — научные труды! Я бы так жил, если было б возможно.

Даже улыбается чему-то! Силен! Тоже почему-то улыбаясь, я двинулся навстречу. Столкнувшись со мной в калитке, он сначала недоуменно смотрел, словно не узнавая (давно не виделись?), потом вдруг озабоченно сморщился:

— Слушай, почему-то Нонны нигде нет. Она что — купается?

Да. Купается!

Мы молча вошли на террасу.

— Извини, мне надо срочно тут мысль записать! — Я сел к своему столу.

Завтрак подождет... пока Нонна купается!

Он тоже низко склонился над своей рукописью. Скрипело перо, стучала машинка. Кто кого пересидит? В животе урчало. Потом из чьих-то штанов — из его или из моих — донеслась звонкая трель. Абсолютно не различается звук — даже это он мне полностью передал... а еще пишет, что условия, а не наследственность важнее в селекции... Хотя наследственность-то покрепче — тут не поспоришь. Так мы задумчиво переванивались часа полтора. Посмотрим, будет ли сыт одной наукой! Что-то такое же гневное он думал про меня. Наконец я отвлекся, улетел и вернулся, услышав бряканье на кухне... Ага! Сломался! В таких борениях прошла наша с ним жизнь — и, думаю, на пользу! Понял наконец, где Нонна купается... сколько раз уже говорил ему, что Нонну надо госпитализировать! Просек— но с явным гневом, судя по громкости бряка. Понял наконец, где хозяйка, потому и лютует.

— Иди! — Его сияющая, словно отполированная, огромная голова появилась вместе с полосой солнца.

Лаконичное приглашение!.. Презирает? Я вышел.

Он молча, тряся большой ложкой — прилипло! — наложил мне крутой манной каши. Мы молча

ели, глядя в разные стороны. Не прожевать просто! Резина!

— Ну, как каша? — не выдержав, спросил он азартно.

Я с трудом (может, несколько демонстративно) вырвал ложкою кус каши из упругой массы.

— Мамалыга, — пробормотал я как будто про себя.

— Что-о?! — взвыл батя, даже приподнявшись.

— Мамалыга, — уже слегка испуганно, но все же повторил я. — Очень густая.

— Ну, это... знаешь! — Отец возмущенно откинулся. — Хочешь — сам вари! — грохнул котелок снова на плитку. Горяч батя... Потом немного остыл. — Я делал все точно, как Нонна показывала... Сама она ни черта не знает! — снова вскипел.

Бедная Нонна! Одна в огромной палате — маленькая, тощенькая, с крохотным узелком в тумбочке: штанишки, платочки. Нашел на кого напасть!

Но — спокойно... если я не буду спокоен — кто же тогда? Для раздоров всегда найдутся люди, а вот для успокоения... Тильки я.

— Какую она тебе показывала чашку — крупу насыпать? — спросил я спокойно.

— Вот эту! — Совсем уже разгневавшись, он брякнул чайной чашкой, едва ее не разбив.

— Она показывала маленькую! Вот эту — кофейную! — торжествовал я.

— Нет, эту!

Уперлись два барана!.. Понятно, он, особенно в теперешнем возрасте (почти девяносто), должен бороться и побеждать... за себя борется. Но и у меня душа зудела и чесалась... Не могу больше — улыбаться и терпеть!

— Ты же ученый, *кажется*, — проговорил я с язвительной усмешкой, — Так почему же на результаты опыта не обращаешь внимания? — Я подвинул к нему свою миску с окончательно застывшей мамалыгой. — Не интересует тебя? Только то интересует, что твои теории подтверждает? — Я победно откинулся на спинку стула.

Сволочь! Ведь знаешь прекрасно, что сейчас батя и мается как раз над своей новой теорией, сомневается в ней!

Вдарил под самый дых! Но — драться так драться... Батя сам так меня учил... когда я еще в школе был. Но, видно, придется разучиваться... Не в фильме ужасов живем!

В нем еще крестьянская жадность взыграла — из двух чашек, ясное дело, выбрал большую.

Но эта жадность, нахрапистость и держит его в форме! А разве я сам не такой? Всегда большую выбираю! Даже двум одинаковым людям не поладить, а что уж там про разных говорить?!

Мы ели, демонстративно отворотясь друг от друга — даже ложками промахивались мимо рта! Но вдруг поневоле наши взгляды сошлись. От озера, с полотенцем через плечо, важно шествовал Оча. Откуда у парня испанская гордость? Врожденное?

— Да-а! — вздохнул батя. — В войну я урожай проса втрое увеличил! Армию накормил! Калинин орден вручал! Весь Северо-Запад до сих пор мой ржаной хлеб ест — лучше не создали! А я в итоге всего питаюсь... каким-то кавказским хлопцем!

Если бы! Давно уж не им!

— Кстати! — Он вдруг стремительно и гибко пригнулся ко мне, горячо зашептал: — А деньги-то он привез? Нет?! — (Это «нет» он прочел в моих глазах). — Так надо поговорить с ним! — настырно и, как я понимаю, уже ко мне.

Вот сам и говори! Вслух я этого не сказал — но по глазам он понял!

Грохнув, как говорится, чашкой о чашку, мы разошлись.

Через час я заглянул к нему в комнату... Пишет и чему-то улыбается. Да-а-а... Корень-то покрепче! А я как-то не мог перейти к углубленной работе... Ручонки трясутся. Ну ничего. Как он учил: лучший отдых — перемена работы. Достал из шкафа пакетики... Вот это сварганим: быстрорастворимый рассольник!.. Сглотнул слюну. Божественный запах.

— Иди! — заглянул к нему в комнату, как он утром — ко мне.

Он вышел, улыбаясь. Видно, приготовил заранее какую-то шутку. Сел.

— Знаешь, — заговорил он, — когда я в молодости работал агрономом в Казахстане... часто приходилось в караванах на верблюдах ездить... с казахами. Помню, однажды долго ехали! Много дней. На привале вечером — каждый раз одно и то же. Слезаем с верблюдов. Они ложатся. Казахи костер разводят, в казане воду кипятят. Я в стороне, с моими сухарями. Потом, когда все у них готово, вода закипела, посылают ко мне маленького чумазого мальчишку. Тот подбегает, сияя, каждый раз с одним и тем же словом: «Чай!» Вот и ты меня так же зовешь!

Молодец! Уел. Разулыбался торжествующе.

— ...Извини! — Я поднялся, ушел.

Чтобы зафиксировать, пока не забыл, батины речи, вынужден его самого покинуть. Такой жестокий парадокс... Такая работа.

Ну все! Теперь надо в больницу! Я вышел на крыльцо.

Да-аа, простыни на веревке нет... улетел мой ангел!

«Ниссан» Очи — уже, видимо, отремонтированный — сиял за оградой. Но вряд ли он покатит меня.

А над «ямой» в гараже уже темнел синий «форд-скорпио» маэстро Левина, и из «ямы» к нему вздымались золотые — в данный момент черные — руки Битте-Дритте.

— Быстрее не можешь? — колыхал над ним брюхом Левин.

Вот он, во всей красе, звериный оскал империализма! За что боролись?

— Погулять не пойдем? — Белозубо улыбаясь, на крыльцо вышел батя в своей довоенной соломенной шляпе типа «брыль».

— ...Н-ну ладно!

И сразу после — в больницу! Всем должно меня хватить. Хотя, честно говоря, самому мало.

Молча — думая каждый о своем, проклятом! — мы перешли шоссе, углубились по узкой

тропинке в поле. Вдали темнел лес, по бокам шуршали колосья. Видно, батя часто гуляет здесь, в родной стихии.

Вдруг, остановившись, он азартно ухватил колос.

— Зацвела наконец-то! — Он отпустил стебель, колос пружинисто закачался.

— Рожь? — думая о своем (что там, в больнице?), пробормотал я.

— Что-о?! — рявкнул батя.

— Рожь, говорю, зацвела, — повернулся к нему я, отвлекаясь от мыслей.

— Рожь?! — Отец выкатил на меня свои жгучие очи. — Рожь?!

Со школьных времен я так его не пугался.

— Не рожь? — пробормотал я. — ...Пшеница?

— Тысячу раз тебе рассказывал! Не слушаешь, что ли, ни черта?! — Он вдруг шагнул в поле, ломая с хрустом стебли. — Иди сюда!

— Да ладно... зачем? Я все понял.

— Что ты понял?! — (лютует батя). — Иди сюда!

Я шагнул к нему. Он зорко отыскал самый крупный колос: ухватил, безжалостно отломал (ему, наверное, можно?), резко распотрошил и поднес к моему лицу.

— Смотри уж... раз ни черта не знаешь! Вот

видишь — под пленкой, в закрытом чехле, — и пыльник желтый вон торчит, и рыльце, пушистое! Дошло теперь? Пшеница — типичнейший самоопылитель, а рожь, которой тут, слава богу, нет, — мрачно усмехнулся, — наоборот — типичнейший перекрестник. Перекрестное опыление. Поэтому когда *рожь* цветет, тучи пыльцы над полем висят. А тут что мы видим? Додул? — Отец уставился на меня.

По тропке шел какой-то мужичок и решил, видимо, похозяйничать:

— Эй! Вам делать, что ли, нечего? А ну выходите оттуда!

Батя, резко повернувшись к нему, кинул на него взгляд такой ярости («Что-о? Это ты *мне* предлагаешь с поля уйти?!»), что мужичок сразу что-то такое почувствовал, стушевался и, бормоча себе под нос, удалился.

Лютует батя!

Обратно мы возвращались молча, в мрачных размышлениях. Он, видно, думал с отчаянием, что жизнь, целиком отданная сельскохозяйственной науке, пропала даром, раз родной сын (о, ужас, ужас!) не отличает рожь от пшеницы.

А я думал, что без Нонны, очевидно, лютость станет нормой нашей жизни.

Мы молча прошли в калитку. Оча, важно раздувшись, стоял на тропинке и, видимо, не собирался нам ее уступать. Такие у них законы, очевидно. Видимо, на сестре потом никто не женится, если уступишь!

— Что встал?! — вдруг рявкнул батя. — В землю врастешь!

Своей жилистой крестьянской рукой он легко сдвинул Очу с дороги. Тот чуть не упал, замахал руками, как крыльями, — но не улетел. Вот так, дорогой мой Оча! Образ дряблого, безвольного интеллигента, увлеченного лишь своей наукой и ничего не замечающего, придется пересмотреть! Коренным образом! Просто некогда было бате показывать себя — а вот теперь любуйся!.. Я, кстати, тоже такой. Характер бойцовский, отцовский. Война? Война!

Я огляделся. Битте наконец вылез из «ямы», неторопливо (куда спешить рабочему человеку) вытирал ветошью руки.

— На... держи! — Левин протянул ему деньги. Но Битте не торопился подходить... Кто к кому должен подойти — это еще вопрос!

Вдруг между заказчиком и исполнителем вклинился Оча, навис своей могучей тушей над тем и другим.

— Теперь все *мне* будут платить! — величественно проговорил Оча, протягивая руку к Левину. — Дай сюда!

Я, совсем уже собравшись уйти, обернулся на крыльце.

Война?.. Война! Левин своими насмешливыми глазками-бусинками разглядывал Очу.

— Да пошел ты! — проговорил он и, обойдя Очу, дал деньги Битте в руки. Тот не спеша спрятал их в карманчик и, не обращая на Очу никакого внимания, пошел за ограду.

Война?.. Война!

Левин сел в тачку, завелся и поехал прямо на Очу. Тот стоял не двигаясь. Кто кого?

«Битва при Валерике. Слова М. Лермонтова. Музыка народная. Исполняет Валерий Попов».

И что? Никого уже не боюсь! Левин, потеснив все же Очу, уехал. Битте ушел. И Савва вряд ли вступится. Ну что ж... Раз я это затеял — мне и расхлебывать. Батя мой союзник! Я хотел было раньше уйти, но теперь, специально оставшись на крыльце, смотрел на Очу. Ну что?!

Оча торопливо тыкал пальчиком в свой телефончик... Подкрепление? Давай!

О господи!.. Секунду назад я был уверен, что ничего не боюсь (и так оно и было)... а теперь

— боялся буквально всего! Кто все так запутывает — причем именно возле меня? Теперь всего боюсь. По переулку спускалась дочурка! Как всегда кстати! Тут малая кавказская война — а она явилась!

Я глядел на нее... Кукушонок! Как в гнезде у маленькой птички мог завестись такой крупный, неуклюжий птенец? На меня, что ли, похожа?

Она шла тихо улыбаясь, еще не видя меня, но заранее предвкушая, как мы удивимся и обрадуемся, увидев ее! Она же не предполагает, что тут война, — надеется порадоваться... О господи, что за жизнь?!

— Эй! — окликнула она с тропинки.

— Эй! — весело откликнулся я.

Только что собрался позлобничать — но снова надевай радостную улыбку! Так скоро кожа треснет!

Мы обнялись. Вошли на террасу. Батя ждал нас там (или случайно вышел?).

— Мила моя! — простонародно проговорил он, обнимая внучку.

Мы сели, глядели друг на друга.

— Мать-то в больнице! — сказал я.

— Да, я знаю! — энергично заговорила она. — Она с утра мне сегодня позвонила — я уже была у

нее, лекарство привезла! Так что...

Молодец! А я сволочь! Все утро тут сочинял!

— Ну... так теперь я к ней поеду? — Я поднялся было с табурета, но вдруг почувствовал, что уже устал.

— Да я уже сделала там все более-менее... — задумалась она.

— Ну и как там? — спросил я.

— Отвратительно! — пробасила дочка. — В палате восемь человек, все харкают, блюют — в туалет не могут выйти! Я пошла к сестре, а та говорит: «А что вы хотите? Здесь больница, больные люди!» — Дочурка раздула ноздри. Характер бойцовский, отцовский — ...Надо ее оттуда забирать!

— Как — забирать? — вскричал я.

Сколько тут всяческих проблем — еще жена снова вернется...

Оча, увидел я, вышел на развилку и нетерпеливо глядел вдаль по шоссе... подкрепление? Ай да джигит — один не может справиться с мирным населением!

Надо срочно сматываться! Куда? Дорога, похоже, перекрыта. Только морем.

— А давайте на лодке покатаемся! — жизнерадостно предложил я.

Энтузиазма мой призыв не встретил. Дочь ни-

когда не соглашается из упрямства, батя тоже глядел скучно — его в данный момент, кроме здоровья, необходимого для окончания его работы, не волновало ничто. Один я тут такой, безумный гребец... Но объяснять им сейчас мою тягу к гребле будет трудно... не стоит пока пугать. Лучше побуду идиотом — мне не привыкать! Взять весла в руки — и угребать! Вот только с Саввой у нас отношения отвратительные. Может, батя весла попросит?

— Счас, только переоденусь, — проговорил я беззаботно (беззаботность как раз дается трудней всего). — А ты сходи пока за веслами! — вскользь кинул я бате и направился в свою комнату.

— Сам возьми, — проскрипел батя. Упрям, даже когда понимает, в чем дело, а уж когда не понимает — тогда особенно!

Вязать узлы и бежать на вокзал? Слишком волнительно! Покатаемся, поглядим со стороны... Неужто ничего не понятно? Я в отчаянии глядел на батю. Смотрит он когда-нибудь на людей? Понимает, что здесь закрутилось? Знает хотя бы, кто тут живет? Навряд ли.

— Ну, сходи... в виде исключения! — Я продолжал улыбаться.

— Я тут аб-солютно никого не знаю! — высоко-

мерно проскрипел он.

Молодец! Хорошо устроился. Это только мне выпало такое несчастье — всех знать.

— И правда, пап! Ты чего придумал? Я вам капусту привезла, — Настя вытащила из рюкзака кочанчик, — сварю вам счас отличные щи...

— Наливайте, мама, щов, я привел товари-щов, — задумчиво произнес батя и удалился.

— А ты чего? Работай! — уставилась на меня дочурка.

Работать я скоро буду на том свете!

— Неужели трудно тебе покататься со мной на лодке?

— Папа! — обиженно пробасила она. — Я только что закончила тяжелый перевод! И тут звонит мать, я еду в больницу! Хотела немножко отдохнуть на даче — а ты устраиваешь непонятные скандалы!

Нет. Не объяснишь.

— А если я сам схожу за веслами? — Я заулыбался. — Тогда поплывем? А?! — воскликнул я бодро.

Весело подпрыгивая, я обогнул палисадники, развязно вошел во двор к Савве.

— Эй, хозяин! — небрежно окликнул я.

Какая, господи, мука!.. Похоже, нет хозяина. На крыльцо, зевая и почесываясь, вышла толстая

Маринка, жена Саввы. Анчар, дремлющий в конуре, наконец проснулся и тихо зарычал.

— Чего надо? — зевнула она.

— Хозяин дома?

— Нажрался, спит... Отпуск у него! А чего надо?

— А весла нельзя взять? Покататься решили!

— Что, Нонка, что ли, приехала? — Подпрыгнув радостно, как девчонка, она повернулась к нашей усадьбе.

— Да нет. Дочка.

— А-а-а, — равнодушно проговорила она, снова вонзая пальцы в пышные пряди, мелко почесываясь. — Ну, возьми, — кивнула она в сторону сарая и, стукнув дверью, ушла.

Дорога в сарай лежала, между прочим, мимо Анчара... но это уже мелочь по сравнению со всем остальным!

Мы плыли молча, только хлюпали весла. Настя на корме обиженно курила. Не любит, когда ее что-то заставляют делать... А что это для ее спасения, ей не объяснишь.

Батя своими темными очками глядел в никуда — тоже был недоволен. Это бессмысленное катание в разгар рабочего дня никак не укладывалось в его научную концепцию... Один я тут такой любитель художественной гребли!

День, в отличие от предыдущего — святого Мефодия, был легкий, солнечный и ясный. Много Мефодий на себя брал, обещал, что все дни будут на него похожие. Обманул! Хотя в каком-то смысле похожим оказался.

Вода была чистая, прозрачная. В золотой сетке от волн качались водоросли, сверкали рыбки. Я глядел на дальний берег озера, с прекрасным песчаным склоном, обрывающимся вниз от корней сосен. Шикарное место! Счастье, казалось, поселилось там навсегда — оттуда неслись звонкие плески, радостные крики, веселый собачий лай. Как же это люди так счастливо живут? Как это получается? Я же за пол-лета ни разу не искупался. Землю рою на берегу — какое уж там беззаботное плесканье!

Тем более... Тем более!! Все на том же мосту, где я впервые увидал приехавшего к нам Очу, стоял знакомый черный «броневичок» с фиолетовыми «кляксами»... боевая колесница Хасана... Пожаловали? И та же простодушная почтальонша указывала им путь...

— Ну, долго еще? — проскрипел отец. — Может, хватит?!

Он, как всегда, оценивает ситуацию блестяще... Но мне тоже надоело изображать гуляку.

— Хотите — так поехали! — пожал плечом я.

Будь что будет!

Зато от скольких проблем я сразу избавлюсь!

Мы причалили.

— Отнеси весла! — сказал я бате. — А ты ему помоги! — указал я Насте на весла. Теперь-то я могу покомандовать?

Надо хотя бы появиться чуть раньше их, взять на себя удары. Настя с батей тут ни при чем... Хотя батя, конечно, при чем... но он, как всегда, «не в курсе»! Я разъярился. Это хорошо.

Оча мотался по усадьбе — видно, в нетерпении, — но пока еще один. Заждался? Недолго осталось. Но пока я ему скажу!

— Что тебе здесь надо? — придвинувшись к Оче, заговорил я. — Мало тебе, что ты там нас ограбил, — приехал сюда? Не стыдно тебе? Вот тут девушка приехала. Ее тоже грабить будешь? Сука ты, Оча, а не мужик!

Глаза Очи почему-то бегали — он как-то не очень внимательно слушал меня... О чем, интересно, он думает? Не обо мне?

— Эй, ты, толстый! — окликнули меня. Я обернулся. У ограды стояла старуха с косой. Все как положено. — Там чарнявыи кличуть тебя!

Все правильно.

Пускай кличуть! Навстречу им я не побегу. Но они уже съезжали по переулку. Протяжный, скучный скрип — затормозили у калитки. Выходят. Старые знакомые: седой, изможденный — видно, главный у них. Второй — сизый бритый череп, борода до бровей! И — маленький, но важный Хасан. Давно не виделись! Не может, видно, без Очи. Друзья встречаются вновь!

И тут же в калитку вошли батя и Настя. О господи! Не могли погулять?

— Уходи! — крикнул я дочери. — В лес!

— Не хочу, папа! — Вся ее злость почему-то на мне сосредоточилась. Я кругом виноват. Батя поглядел на гостей вроде внимательно — но, разумеется, не признал. Понял, что нечто неприятное — не более того. Решил, видимо, что это литературные критики. Тоже не радость.

— Держись, казак, атаманом будешь, — проговорил он довольно холодно и удалился.

Гости подошли вплотную ко мне. Оча почему-то куда-то скрылся. В гараже? Странное восточное гостеприимство!

— Ты кто? — спросил меня седой, изможденный.

Странно, могли бы предварительно изучить фотографию, чтобы ненароком не пришить по-

стороннего. Или им все равно? Потом — мы вроде бы виделись, на батиной хате... Обидно как-то.

— Да... это алкаш местный! — отмахнулся Хасан.

Еще более странно. Семь месяцев у нас прожил, шесть из них не платил... а лица не запомнил? Что-то здесь творится не то! Я почувствовал вдруг, что у меня закружилась голова и я не понимаю уже, уперся я ладошкою в стену или в землю.

— Там он! — показал Хасан в сторону гаража.

Я — там?

Отпихнув меня с дороги (как непочтительно!), Хасан двинулся к гаражу. Гаражная дверь со скрипом отъехала... и гости вслед за Хасаном вошли в гараж. Криков, радостных приветствий почему-то оттуда не послышалось. Что они там делают? Странная тишина. Решили посоветоваться с Очей, как меня извести? Так почему же молчат?.. Что ты за них волнуешься? Волнуйся за себя. С женщинами и стариками они вроде бы не воюют. Хасан назвал меня местным алкашом... Может быть, я им и являюсь? Крики, которые понеслись наконец из гаража, криками счастья не назовешь — скорей криками ненависти. Тренируются? Странно. Раньше надо было тренироваться!

И тут я увидел чудо. Третье Тело, как всегда

возвышающееся на помосте (сейчас, в частности, озаряясь вспышками — корреспонденты наехали!), вдруг шевельнулось и сошло с пьедестала. Корреспонденты удивленно загалдели. Считали, что он застыл навсегда? Он двигался медленно, величественно, напоминая мухинскую скульптуру Рабочего, на время покинувшего Колхозницу, только что скрестившую с его молотом свой серп. Он подошел к нашей калитке:

— Эй, земляк! Помощь не нужна?

Я вдруг почувствовал в горле слезы. Не пропадем! Точно не пропадем, если аж Третье Тело России сходит с пьедестала и поспешает на помощь!

Слеза, прожигая едкую дорожку, выкатилась из глаза. Я не смог даже ему ответить. Он откинул калитку и вошел.

Я смотрел, как по переулку вниз ковыляет (в домашних шлепанцах, что ли?) Савва, с трудом удерживая за ошейник Анчара. Шлепанцы все время соскакивали, он как-то успевал их цеплять пальцами в пыли, но не останавливался. Он распахнул калитку, пропустил Анчара, но ошейник не отпускал.

— Ну что, политрук? По твою душу приехали?!

Я лишь глубоко вздохнул, пытаясь удержать

слезу на краю другого глаза.

На каждого из них — по глазу. Глаз да глаз! И оба плачут.

Слеза перекатилась через край глаза и побежала вниз — расплакался второй глаз. Слеза затекла мне в рот. Какая горячая! Не замечал раньше такого градуса в своем теле.

— Проблемы? — возвышаясь передо мной, спросило Тело.

— Вроде... не у меня! — пробормотал я, кивая на гараж. По звукам, доносящимся оттуда, можно было подумать, что там репетируют убийство.

Савва, держа ошейник Анчара в левой руке, правой сдвинул нас (даже Тело шелохнулось) и, подбежав, распахнул дверь гаража. Во тьме сияли ножи. Седой и изможденный обернулся и, увидев Анчара, вставшего вертикально, весело улыбнулся. Потом вопросительно глянул на Хасана: дальше что? Неужто крошка Хасан у них главный?

Савва глядел на все это молча. Анчар то поднимался вертикально, потом падал на лапы и снова вздымался.

Оча стоял у дальней стены гаража, у полок с горюче-смазочными материалами, и, прижав руки к животу, икал (от страха, что ли?).

— Ну что? — проговорил Савва, оглядывая гостей. — ...Минуту дать?

То была удивительно емкая минута. Гости спрятали ножи, помедлили, равнодушно прошествовали мимо нас. Они не сворачивали с пути, но при этом никого из нас не задели. Както грациозно они уселись в машину. Машина долго сипела и наконец завелась. Они медленно отъехали. После этого мы повернулись к гаражу. Оча стоял обхватив руками живот. Потом громко икнул и рухнул в «яму».

...Теперь мы снова порадовали Сашку, приехав в больницу на машине Третьего Тела — уже с раненым Очей на руках. Потом зашел к Нонне: «А вот и я!»

Мы, улыбаясь, смотрели друг на друга. Но тут появилась дочурка — задержалась у Сашки в ординаторской, что-то бурно выясняла. Появилась раскрасневшаяся, возбужденная:

— Это не больница, а сумасшедший дом! Ты что, — вдруг накинулась на меня, — не мог заставить Сашку, — (с какой стати Сашкой называет его?), — в отдельную палату мать положить?

— Значит, не мог! Возьми сама положи, — ответил я достаточно сдержанно.

Но маленькая птичка уже кинулась на защиту

своего крупного птенца:

— Зачем ты вообще Настю сегодня привез? Она работу закончила, ей нужно отдохнуть! Сам не мог привезти лекарство?

Снова я виноват! Объяснять ей, как мы здесь очутились, лучше пока не надо. Зачем оправдываться? Голова у меня дубовая, все выдержит!

— Ну... до завтра! — Мы, несмотря на инфекцию, расцеловались.

На ходу мы заглянули в палату к Оче — сидит и уже что-то рассказывает человеку с забинтованной башкой.

Теперь еще и Оча у меня на руках!

Обратно мы с дочкой ехали молча, сердясь друг на друга: она много на себя берет, а я, по ее мнению, мало.

Только Тело за рулем пело: оказывается, и голос у него замечательный!

Через неделю Оча вернулся в свою каморку над гаражом и горячо объяснял нам, как было дело — почему кинжал, направленный в меня, как я думал, вонзился в него.

Все оказалось по-своему логично. Хотя степени восточного коварства даже я, вроде бы знавший обоих жильцов, и Хасана и Очу, не мог предугадать, я был, честно говоря, потрясен. Они нас,

оказывается, *не замечают!* — поэтому и кинжал мимо прошел!

Оказывается, Хасан не просто съехал, щедро оставив нашу квартиру своему соплеменнику. Оказывается, Хасан *сдал* ее Оче! Причем не за триста, как мы слабовольно сдавали ему, а за пятьсот! Зачем мелочиться — восточный человек любит размах. Видимо, Хасан не случайно вселил (в нашу квартиру) соплеменника — свято, как и Хасан, чтущего законы горской чести. Это с нами им можно кое-как, а тут попробуй не заплати! Слово горца нарушено, честь оскорблена... Только кинжал! Но наивный Оча (наивность их часто переходит в жестокость) платить не захотел! Все намеки Хасана на возможную месть разбивались о легкомыслие Очи: а! обойдется!.. Как?!

В этом месте рассказа даже я распереживался: что они думают? как живут?

Оча по-прежнему не хотел ничего делать, а значит, не мог вернуть нарастающий долг (естественно, Хасану, а не нам... О нас он как-то уже забыл — нас-то он не боялся). Правда, он назначал нам с отцом несколько странных свиданий в городе, что-то горячо, сбивчиво рассказывал... Мы с отцом переглядывались, переминались (была мерзкая зима) и никак не могли понять: что Оча

говорит, что он хочет, зачем он вызвал нас, совсем уже немолодых людей, на эту бессмысленную встречу? Мы-то, когда шли, наивно надеялись, что Оча наконец отдаст деньги за аренду отцовской квартиры. Как, оказывается, далеки мы были тогда от истины! Отдавать деньги нам Оча даже не помышлял (это еще зачем, раз мы терпим и улыбаемся). Цель у него, оказывается, была прямо противоположная: взять деньги у нас, чтобы заплатить *за нашу* квартиру Хасану! Кстати, именно Хасан это ему дружески и присоветовал. Таких восточных тонкостей даже я, считающий себя мастером парадокса, не мог предположить. То есть мы были безумно уже близки к тому, чтобы, сдавая нашу квартиру, самим же платить за ее аренду — причем не либеральную сумму в триста долларов, как мы вяло назначили, а настоящую крутую цену — пятьсот! И только лишь добродушие Очи спасло нас от этой чумы! Но Очу не спасло. «По-дружески» выждав три месяца (не то что мы), Хасан со товарищи приехал к Оче, нарушившему слово горца, чтобы его убить — прямо на квартире, за которую он подло не платил (Хасану, разумеется, а не нам).

Тут-то я как раз бестактно влез в окошко и Очу спас. Так что он мне теперь как сын! Квартиры из-

за жестоких соплеменников лишился, не знает, где жить! Классический случай для «Чернильного ангела», жаль, что он улетел. И пока он летает с Кузей на спине, вряд ли высоко заберется. Но эти мои страдания не всем интересны, и вообще я человек стеснительный и скрытный, стараюсь все переварить сам. И за эту свою хитрость и изворотливость Кузей уже осужден. А вот Оча — завидую ему! — выложил все горячо, страстно, открыто, как на духу. Теперь делай с ним что хошь, предлагай ему выход — а он посмотрит... и вряд ли одобрит. Ему что-то красивое нужно — и чтобы было благородно! Ему не угодишь! Он тут пытался *честно*, — Оча, говоря это, снова разгорячился, — пытался *честно* заработать денег, чтобы вернуть долг! (Хасану, разумеется, а не нам.) Так ведь мы же не дали ему!

Под *честным* он, видимо, подразумевал намерение простодушно забирать все деньги за ремонт машин, под которыми ползал Битте...

Так мы же не дали Оче сделать это! Он же *видел*: все мы были *против!*

Что теперь делать ему? Предлагайте: вот он весь перед нами, всю душу открыл!.. Надо подумать.

Но все это мы узнали потом — а пока, под чудесное пение Тела, мы домчались до дома. Нас

встретил Савва — гордый, все еще разгоряченный:

— Вот думаю я: что бы вы, лохматые, — (действительно, волосы растрепались), — без нас, гололобых, делали? — Савва провел пятерней по своему короткому ежику.

Действительно, если бы не Савва, гости после Очи вполне бы могли приняться за нас! Да, за нас, слишком мягких, потом приходится доделывать другим, слишком жестким... а мы потом еще морщимся!

Вон Кузя, совесть интеллигенции, презрительно смотрит на нас со своей вершины: да, дошел ты (я), с сатрапом побратался!

Отдыхай!

И мы наконец вошли на нашу кухню. И только хотели расслабиться — как на нас коршуном кинулся батя:

— Вы где вообще гуляете столько? Обедать мы будем сегодня или нет?

Все, что тут было, прошло, видимо, мимо него. Главное — поесть и снова — работать. Молодец!

Мы с Настей переглянулись и засмеялись.

...И вот разнесся по дому пленительный запах щей. И мы сошлись на этот запах. И созвали всех соучастников сегодняшнего дня.

Наливайте, мама, щов, я привел товари-щов!

Потом мы улеглись спать. Настя постелила себе в моей комнате, на раскладушке.

— На материнском диване пружины выскочили, как на капкане, — только она одна могла спать на таком! — возмутилась Настя.

Да, мать неприхотлива. Или просто — ленива? Как ей счас спится там?

Я уже погружался в сон, а дочь все читала в углу, при маленькой тусклой лампочке.

— Ну все! — вспылил наконец я... Во всем она так — не чувствует меры. — Хватит читать... тем более в темноте! Глаза спортишь! Спи!

— Сейчас! — недовольно проговорила она и читала, наверное, еще час.

Ну до чего же упрямая! Я вскочил, выключил ее лампочку.

— Все!

— Тебе все равно, что я хочу, — тебе главное, что ты хочешь! — обидевшись, громко захлопнула книгу, гневно заворочалась на раскладушке, пружины натужно заскрипели.

— Ну все! Спим! — миролюбиво проговорил я и закрыл очи.

Я лежал с закрытыми глазами, но не спал... Что-то беспокоило меня... Что-то не так!

Я поднял голову... Так и есть! С заката, между деревьев, шел темно-бордовый свет, и она, повернув книжку, читала. До меня донеслось ее хихиканье.

— Ну все! Хватит! — снова пришлось подняться. — Закат тоже вырубаем!

— Папа! — пробасила она.

— Все! — Я задвинул занавеску. Тьма! Пружины раскладушки протяжно скрипели. — Ну все! Успокойся.

Обидно, что мне, мягкому человеку, приходится все время быть жестким, но иначе, увы, нельзя — иначе все рассыпется!

Я старался ворочаться поменьше, чтобы все вокруг успокоилось. Спи!.. Но нет! Наверное, надо записать эту безобразную сцену, которая только что произошла у нас с дочуркой? К утру забудешь!.. Да не забуду! (Не хотелось вылезать из-под одеяла и из накрывающего сознание сна.) Забудешь! Прекрасно же знаешь, что забудешь! Не впервой. Сколько уже забыл, вот так вот заспал. Поднимайся!

Я тихо поднялся, слегка покачиваясь, разлепляя очи, но не до конца, привычно уже нашарил стол в темноте, бумагу, ручку... и стал писать. Дело привычное. По ночам всегда пишу в темноте...

Только утром не все разберешь.

Донеслось хихиканье дочурки.

— А ты зрение не испортишь? — ехидно проговорила она.

Я повернулся к ней, пытаясь поймать в темноте ее взгляд.

— Да, вот так вот! — ответил я. — Читать вредно в темноте, а писать — полезно!

Мы улыбались в темноте, не видя друг друга.

— Что вы там бузите среди ночи? — вдруг донесся сквозь фанерную перегородку голос бати.

— Да так. Полемизируем. Спи! — сказал я.

— Я вспомнил вдруг, — глухо заговорил отец, — как в детстве... Бывало, выгонят меня с книжкой... мол, хватит керосин жечь! А я выйду тогда наружу, приложу книжку к беленой стене хаты — все видно! И читаю, пока совсем не станет темно.

— О! Сейчас пойду попробую! — оживленно приподнялась дочурка.

— Лежи!

Потом мы вроде бы уже засыпали. В мозгу проплывали кадрики дня. Да, может быть, со святым Мефодием ему не сравняться — но денек тоже вышел ядрен!

Снаружи раздался уже знакомый, привычный грохот. Я высунулся. Так и есть: снова Битте ссы-

пался с лестницы.

— А сегодня у нас что? — поинтересовался я.

— Магнитная буря, — сухо пояснил он.

Святая Аграфена

В это утро я проснулся от бряканья на кухне. Батя лютует? Намекает, что хочет есть? Похоже, все не так, я прислушался к продолженью — тут было какое-то другое, веселое бряканье, журчащее непрерывно, словно ручеек. А, это Настя переставляет посуду! Живет у нас уже третий день — и как хорошо! С ней и я впервые по-настоящему почувствовал лето. И гуляли, и к Нонне ездили в больницу, а вечером даже поймали на удочку рыбку, которую тут же отпустили: посмотрим, как эта рыбка себя покажет!

С таким бодрым настроем я встал и даже дважды присел, изображая зарядку. Не только же одному бате прыгать и приседать. У меня сил на гимнастику почему-то нет, а он прыгает каждое утро — стекла дребезжат! Здорово вообще живет! Ни за что на свете по-настоящему не волнуется. Гимнастика, еда, труд. И не представляю, что может его заставить отказаться от обязательной ежедневной прогулки. И лютует он только тогда, когда путают его планы. А так он — сама выдержка. Наверное, и надо жить так аккуратно? Я точно уже знаю: если из батиной каморки доносятся

глубокие вздохи, значит, делает зарядку. Другие причины глубоких вздохов он отметает. Только зарядка!

Я тоже буду так жить!

Я бодро присел еще раз, напялил перед зеркалом улыбку и пошел. Глянул на церковный календарь у двери. Так... Сегодня шестое июля... «Святая Аграфена, канун Ивана Купалы. Положено утром париться в бане, купаться до позднего вечера с песнями и играми. Заготавливать веники».

Точно. Вот так и буду жить, только прелестями. Почему нет?

«На Аграфену хорошо сажать репу. Репа, посаженная на Аграфену, особенно крепка».

И я буду крепок, как репа!

Сияя, я вышел на кухню.

Настя была веселая, румяная, совсем не такая, как приехала сюда, абсолютно измученная. Жизнь на воздухе, несмотря на все здешние ужасы, ей к лицу. Батя был уже за столом, не брякал, но сидел мрачный... Да, видимо, насчет вздохов только во время зарядки я не прав.

Настя ставила в стеклянную банку вымытые, пускающие зайчики (давно их такими не видел) ножи и вилки. Молодец!

— Всем привет! — Я, сияя, уселся.

Батя не ответил. Решил повредничать? Ну что ж — схлестнемся, батя! Могу!

Настя положила каши... Вот это каша! Отец ел молча, глядя куда-то в неизведанное. Пока, к счастью, настроение Насте не испортил... но испортит, если будет такой!

— Сегодня рано утром... — медленно проговорил он.

Долгая пауза. Интересно, жевать нам можно — или лучше подождать? Ладно, подождем. Хотя, в общем, мысль его понятна: он встал рано, как и положено труженику, а мы позорно спали. Что дальше?

— Я встал — вы еще спите...

Ну, это мы уже поняли.

— Решил на рынок сходить...

Это похвально! Но что-то не видно, чтобы он что-то купил... ни луковицы, ни морковки! Ходил, видимо, с целью научного изучения, как всегда.

— Так вот! — заметив мою ухмылку, припечатал гневным взглядом. — Посмотрел!

Тоже дело.

— И что я увидел?

...Лекция, видимо, на час. Каша остынет. Зачерпнул, медленно, вежливо поднес ложку ко

рту. Так можно?

— Продают уже картошку. Свежую... Хорошую! Гладкую, розовую...

— Ну вот — а ты не верил в фермерство! — бодро произнес я. Надо перехватывать инициативу — не то завтрак затянется до ужина, а хотелось бы еще заняться кое-чем.

— ...И почти на всех лотках табличка — специально пишут, чтобы покупали: сорт «Невский»!

Тут уже была настоящая пауза. Как-то он никогда об этом не говорил. Казалось, уже и забыл... «Невский» — сорт картошки, очень удачный, выведенный его покойной женой Лизой, погибшей прошлым летом под автомобилем. С тех пор он никогда об этом не говорил, и вдруг — сегодня. Годовщина? Да нет, она в августе погибла.

— Вот так! — проговорил он в полной тишине (даже птички умолкли). — Лизы нет уже на свете — а сорт ее всюду продают!

Я подумал сперва сказать что-нибудь вроде: «Но это же хорошо, когда после человека остаются его творения — тем более такие наглядные!»... Но не сказал. Все это пустой звук! Умершему от этого навряд ли легче.

Мы с Настей долго молчали, потом осторожно начали есть.

— Я вот думал сегодня ночью...

Ложки снова застыли в неподвижности.

— ...Мозг после смерти сколько живет?

— Не знаю... несколько минут, наверное, — пролепетал я.

— О чем я все время думаю... и простить себе не могу, — проговорил он. — Когда я прибежал... а она на асфальте лежала... Может, она могла еще меня слышать? А я — ничего ей не сказал!..

Пауза. Да-а... Выступил батя! Разбередил всех нас — у Насти даже ложка задрожала, а сам он, похоже, уже успокоился. Спокойным движением, уверенно вытянул руку, пощупал бок чайника — горячий ли? — как это он, собственно, делает всегда.

Потом он, низко пригнувшись, словно принюхиваясь, стал что-то разыскивать на столе.

— Ч-черт знает что! При Нонне был порядок, все стояло на месте, а теперь ни ч-черта не найдешь!

— Слушай! — Я быстро, с улыбкой повернулся к Насте... Срочно надо что-то сказать, чем-то отвлечь, пока не поздно...

Поздно! Она глубоко вдохнула, удерживая слезы, но слеза уже покатилась по ее круглой щеке. Она выскочила, задребезжав стулом. Надо за ней.

— Слушай, ну извини его, а? Старый человек, загрустил!

— Грустить можно никого не обижая! — резко задрала голову, но слеза уже выкатилась и из другого глаза.

Я заглянул на кухню: отец задумчиво пьет чай. Как же мне сделать тут нормальную жизнь? Невозможно. Хоть я пытаюсь. Но окромя меня — никто! Я почему-то должен все терпеть и улыбаться — а больше никто даже и не пытается что-то улучшить, наоборот — все норовят сделать как можно хуже! Неужели так надо?

— Ну, понимаешь, — заговорил я, — пришли к нему тяжелые мысли...

— А у меня, — она резко повернула ко мне заплаканное лицо, — у меня, думаешь, нет тяжелых мыслей? Может, только такие и есть! И все равно я приехала к вам, улыбалась, как дура, все делала — перемыла вековую вашу грязь... А он... руку не может протянуть за кружкой... сразу обвиняет!

— Ну... он не нарочно!

— И я не нарочно!

— Ну ладно... пошли помиримся! — Я обнял ее за плечи.

Когда-то и моя выносливость кончится!

Настя вывернулась из-под руки:

— Нет! Все! Сейчас схожу на озеро, немного успокоюсь — и уезжаю!

Ушла. Я заглянул в кухню. Батя тоже ушел.

Я заглянул к нему — раскорячась над столом, увлеченно пишет и даже чему-то улыбается. Забыл, видимо, все, о чем только что говорилось. Молодец! Мне бы так выучиться! Но — не выйдет...

Да-а... А мы еще обвиняем во всех наших бедах кавказцев! А мы сами себе кавказцы! Впрочем, я вспомнил недавний бой в гараже... и кавказцы «сами себе кавказцы»!

Заглянула Настя, уже аккуратно причесанная, с рюкзачком на спине.

— Уезжаешь все-таки?

Она весело кивнула: вся уже в предвкушении.

— А... — Я показал глазами в сторону бати.

Она отрицательно мотнула головой.

И действительно, ее можно понять — он пишет себе, ничего не слышит, — ничего не помнит, что только что было. Захочешь напомнить ему — он удивленно сморщится: «А чего было?»

— Ладно... — Я вышел с ней на крыльцо.

Неужто действительно — «нет в жизни счастья»? И правы те, кто пишет это у себя на груди? Неужели же нельзя ничего сделать.

— Слушай, не уезжай! Зайди к нему... он все уже забыл, уверяю тебя! Нормально поговорите! И все пройдет.

— Нет. Я когда ехала, действительно думала, что все будет хорошо. А он...

— Ну, слушай... Хватит уже! — не выдержал я.

— Это тебе хватит! — выкрикнула она. — Все!

Она сошла с крыльца на дорожку.

— Но пойми... мать же в больнице! — кинул я последний аргумент.

— К *матери* я заеду, — с достоинством произнесла она, нажимая на слово «матерь», как бы желая подчеркнуть, что «матерь»-то она не забудет — а вот такого отца!.. про него что-то определенное сказать сложно.

Ну и ладно! Моя выносливость тоже не бесконечна!

— Ну хорошо. Пока, — сказал я по возможности сухо.

Она мрачно кивнула и пошла.

Да, с ее крутым характером нелегко. Ей и самой с ним нелегко! Хотя, может, для дел — такой лучше?

Я смотрел, как она поднимается по песчаному нашему переулку.

Вернется ли сюда еще? Это очень важно. Это

очень многое в ней покажет! А пока... я смотрел ей вслед. Она поднялась до поворота на шоссе. Обернется ли перед тем, как исчезнуть? Обернулась, улыбнулась, помахала рукой... Ну, слава богу!

В блаженстве, вытянув ноги, я посидел на скамейке, погрелся на солнышке. Заслуженный отдых. Но надо вставать и идти! Устал? Ведь день только начался! Ждет уже следующий объект. А ждет ли? Я встал, огляделся... Хоть бы пейзаж запомнить, а то потом и не докажешь себе, что было лето! Во всех садах шикарные цветы — кроме, разумеется, нашего.

Так. Я отпечатал картину в мозгу... Это я как бы отдыхаю на даче.

Батя писал не поднимая головы. Не реагирует. Никакой реакции! Но постепенно я додул, что это отсутствие всяких реакций и есть реакция, причем довольно резкая. Мол, вам на меня плевать — и мне на вас тоже!

Неслабо. Остается и мне уйти в себя. Но не стоит. Все равно за обедом (который, видимо, мне предстоит готовить) мы помиримся. В крайнем случае — за ужином. Поэтому не стоит занимать мрачностью день. Помиримся с ходу.

Я с громким дребезжаньем подвинул к его круглому столу второй стул, уселся. И положил руку

на рукопись. Он испуганно вскинул глаза.

Похоже, я все сочинил про него: он действительно ни о чем постороннем не думал, все забыл. И сейчас удивился: чего это я?

Постепенно в его глазах проявилось узнавание: а... вот это кто? И что же?.. Минута близости отца и сына?.. Ну давай. Только недолго! — не удержавшись, он кинул взгляд на часы. Да, крепок батя — ничем его не собьешь!

— Что... уехала Настя? — проговорил он.

Мол, раз хочешь о душевном — давай.

— Уехала.

Мы вздохнули. И у меня мелькнула мысль о работе: надо бы прощание с Настей записать!

Нет уж! Сиди! Общайся! Должны мы хоть когда-нибудь с ним по-человечески общаться? Или нет? Батя нетерпеливо заерзал. Слегка шутливо я вытянул ручку из его пальцев... ну и ручка, все пальцы его в чернилах!

Мы, улыбаясь, смотрели друг на друга... И что?

— Может, на лодке покатаемся? — брякнул я.

И тут же чертыхнулся про себя: на лодке? в рабочее время? Ну и чушь! Ничего глупее не мог придумать? Кроме того, пора бы понять из последних событий, что катание на лодке, как правило, ни к чему хорошему не приводит.

Точно такую же мысль я прочел и в глазах у бати: ничего глупее не мог?!

...Глупо, но надо!

— Вставай! — скомандовал я.

Отец греб мощно, размеренно, но — я почти уверен — не знал, где он находится и что делает. Да, трудно перебить привычный поток мыслей даже резкой сменой обстановки. Он думал о своем, научном. Я — о своем. Точней, о своем я пытался не думать. И, вольготно развалясь на корме, на берег даже не оглядывался: а ну его! На дальнем, песчаном, крутом берегу резвились, шлепали по воде, визжали. Справляли святую Аграфену, как положено: купание с играми. Хорошо бы туда уплыть, оставив задумчивого отца в лодке. Но боюсь, он куда-нибудь врежется — вперед должен смотреть я.

Проплыли мимо первого острова. Какие чудесные на нашем озере острова — песчаные, с соснами. Когда мы сюда вселялись, я ликовал. Думал, что на этих островах буду проводить все дни! Ни разу не высадился!

Я оглянулся на берег. Пока все спокойно. На мосту Ужасов через Чернильный ручей ни души: ни гостей с Кавказа, ни словоохотливой почтальонши. Ура.

— Это не тебя там ищут? — проскрипел вдруг батя, указывая мощным своим перстом в берег.

— ...Где?! — Я затравленно обернулся.

На мостках, от которых недавно мы отчалили, стояла женщина, удивительно как-то не гармонирующая ни с летом, ни с озером... А с чем? В темном деловом костюме, в строгих очках она резко выделялась среди окружающей ее дачной расслабухи — ярких шортов, мелькающих полотенец. Из города явилась? За мной? Откуда же? — сердце заколотилось. Из мэрии? Из Управления культуры? Судя по ее облику, что-то в этом духе. Зовут? Понадобился, значит!

Отец подгреб к мосткам удивительно быстро — мог бы более тщательно изобразить упоение природой, но он на такие вещи не тратит сил. Стукнулись о доски. Придерживаясь о борт, я выпрыгнул. Отражая очками озеро, веселый летний разгул на водной глади, она неподвижно смотрела на меня.

— ...Попов? — строго проговорила дама.

Вот она, слава!

— ...Да.

— ...Вы что — совсем уже обнаглели?

— ...Пач-чему?

— Всем даете наш телефон!

— Чей?

— Звонят прямо к нам в ДРСУ, в приемную директора, требуют вас!

— ...И кто же?

— Понятия не имею!.. Говорят, чтобы вы срочно в больницу приехали — там что-то стряслось!

Автобус катил мимо песчаного косогора. Там, за розовыми соснами, уютнейшее Сестрорецкое кладбище — сухое, песчаное. Там лежит Зощенко — помню, я даже завидовал ему: хоть после смерти в хорошем месте! Потом появился замечательный памятник, и вот недавно — кто-то его разгромил. Зачем? Зощенко-то перед кем виноват? Да, и после смерти, оказывается, нет покоя!

Проехали!

Я ворвался в больницу, легко сдвинув загораживающего двери дюжего омоновца... здесь-то что охранять?

В палате ее койка в углу была пуста и аккуратно застелена. Я кинулся в ординаторскую. Отпахнул дверь — и обомлел. Рядом с Сашкой Бурштейном сидела Настя — обиженно надувшись, смотрела в окно. Сашка звонил куда-то по телефону.

— А... это ты. — Я посмотрела на Настю и повернулся к Сашке: — Ну что? — спросил я.

— Вот, Настя говорит, — кивнул Сашка, — что Нонну надо отсюда забирать!

— А что такое? — пробормотал я.

Сашка развел руками: я пас. И снова стал озабоченно набирать номер.

— Да? — Настя впилась в него взглядом. — А вы не хотите сказать, что у вас вчера двое рыбой отравились, один — насмерть?

— А я знаю, где у нас теперь... берут рыбу? — пробормотал Сашка. — Но она же не ест! — Он посмотрел на меня.

— Не ест?

— Нет. Абсолютно! — сказал Сашка.

— Дома вроде она ела... — проговорил я... Но точно ли?

— Исследование в основном проведено. Язва пока небольшая. Лечение назначено медикаментозное.

— ...В смысле?! — не понял я.

— В смысле, — вскипел Сашка, — если будет нормальное лекарство — я тебе записал, — давать его! Можно и дома... Если Настя настаивает.

Ей-то настаивать легко!

Только что вроде как-то устаканилось, какое-то настало равновесие — жена вроде при деле, мы тоже...

— Ты, я вижу, не понял! — напористо заговорила Настя. — Здесь невозможно! В палате у нее половина с температурой, форточка не открывается. Мать сказала мне, что ни одной ночи не спала!

— А где она? — спросил я.

— На обследовании. Сейчас явится, — проговорил Бурштейн и окончательно занялся телефоном.

Мы вышли. И вот в слепящем свете в конце длинного коридора, тая и временами исчезая в этом сиянии, с каким-то еще ледащим старичком под ручку появилась она. Из-за старичка она двигается так медленно или он из-за нее? Кто кого ведет? Наконец приблизились.

— О, Венечка! — обрадовалась она. — Вот, не знает, где ординаторская! — Она с улыбкой поглядела на старичка. — Сюда входите! — крикнула ему в ухо. Старичок обрадованно закивал.

— Настя говорит... надо отсюда уходить? — сказал я.

Она со вздохом поглядела на Настю, потом на меня... Ей бы только не принимать никаких решений!

Мы вошли в ординаторскую.

— Не знаю, — сказала она, глядя на Бурштейна.

— Я как раз сейчас кишку глотала, с «телевизором». Заблевала два полотенца! — Она хихикнула. — Ты привези, слышишь? — строго сказала она Насте. Та кивнула, но с весьма непокорным видом: как же — им привезу! — Ну вот... — Она задумчиво уставилась на Бурштейна. — И когда рассмотрят эти... блевотные материалы... Будет видно, наверное?

Сашка нервно вскочил, выбежал. То ли в связи с ее последними словами, то ли без связи... То ли побежал узнавать результаты анализа, то ли вообще смылся от опостылевшей ему семейки! Однако через минуту вбежал обратно.

— Ну что? — Я уставился на него.

Сашка отчаянно, но и как-то лихо махнул рукой. Богатый жест. И понимать его можно по-всякому. Мол, еще целый век ждать этих анализов! Или: получены ваши анализы, ничего страшного! Или: что, в сущности, анализы! Все помрем! Понимай как знаешь!

— Так ты... отпускаешь ее? — Я все пытался, как честный семьянин, прижать Сашку в угол и добиться определенности. Но он в ответ лишь зевнул:

— Давай... Под твою ответственность!

— Конечно, под мою... Под чью же еще! — Я

язвительно глянул на Настю.

— А ты что, вообще ничего не хочешь делать? — не менее язвительно сказала она.

Характер бойцовский, отцовский! Но бодаться с ней тяжело.

— Ладно. — Я глянул на Сашку. — Но... в случае чего... обратно можно?

— Ты меня уже утомил!

Я хотел было сказать, что это не я, а мое святое семейство утомило, — но не сказал.

— Ну, спасибо тебе... Вот.

— Убери свои вонючие деньги! — рявкнул Сашка.

Жена ушла собираться, а я стоял в коридоре и думал: откуда он узнал, что деньги вонючие? Или других сейчас нет?

Нервно расхаживая, прочитал табличку на кабинете зав. отделением: Р.Г. Фурдюк! Записал. Отнюдь не для писания жалобы — упаси боже! Наоборот, для восторгов: какое звучание!

За столиком, у лампы, тихо разговаривали две медсестры. Говорила одна — другая, наоборот, плакала.

— Он любит тебя, Жень! Уж он-то знает, откуда у тебя седина!

Записал и это.

И вот в сияющем конце коридора появилась она, подошла — уже в сандаликах на тоненьких ножках, с тощеньким узелком.

— Ну все. Я готова! — подняла голову ко мне, улыбнулась.

Мы пошли медленно, под ручку... Я теперь как тот старичок. В конце коридора у выхода курили Настя с Бурштейном, что-то хмуро обсуждая.

Приблизились мы под ручку, веселые старички.

— Ладно... Заскочу завтра, — проворчал Сашка.

Мы медленно прошли мимо омоновца, вышли во двор — абсолютно голый, с грудами мусора возле баков.

— Ой, как хорошо-то! — счастливо зажмурилась она.

Однако, только мы дошли до больничной ограды, сжала мне запястье:

— ...Постой... Передохнем!

Мгновенно провалились щеки, глаза, испарина на лбу.

Я посмотрел на Настю. Та обиженно отвернулась.

— Ну а ты сама рада, что ушла? — обратился я к жене. Может быть, хоть какая-то определенность, в конце концов?!

— ...Не зна-а! — вздохнула она.

— Ты можешь решить хоть что-то, хотя бы про себя?! — гаркнул я.

Она задохнулась, выпяченная челюсть дрожала, выставленный вперед кулачок трясся.

— Если ты... будешь на меня орать!.. Я лягу вот тут и умру! Ты этого хочешь?

— Нет.

— Тогда, может, пойдем? — Она выдавила улыбку.

— Он всегда недоволен! — бодро заговорила Настя. Жена тоже поглядывала с укором. Спелись! Кругом я виноват.

— Ну, пока, мамуля! — Настя чмокнула ее в бледную щечку, погрозила мне кулаком (шутливо, надеюсь?) и унеслась.

На остановке Нонна вдруг застряла возле нищего — довольно молодого, спокойного, наглого, выглядевшего, во всяком случае, здоровее ее.

— Счас автобус уйдет! — тащил ее я.

Она кивнула и стала лихорадочно рыться по кармашкам.

— Сейчас... извините! — улыбнулась она нищему.

Тот спокойно ждал.

Когда мы вошли наконец в наш палисадник, я

увидел над оградой огромную мохнатую башку с выразительными, страдающими глазами.

— Привет, Анчарик! — Она подняла ладошку.

Анчарик взвыл. Будто бы знает, где она была!

— Здравствуй, мила моя! — радостно приветствовал ее батя, после чего вернулся к работе.

— Ладно. Ложись отдыхай! — Я показал на диван. — Я все сделаю... Быстросуп, в пакетах.

— Нет. Я все сделаю! — твердо проговорила она.

— Плохо мы без тебя жили, плохо! — смачно грызя хрящ, повторял батя. — Плохо! — с удовольствием повторил он.

Почему так уж плохо? Я даже обиделся. И Настя старалась, и я, и он сам... Так просто говорит, из упрямства!

— Он просто думает, что теперь будет жить хорошо! — шепнула Нонна, кивнув на кастрюли.

Ох, вряд ли. Пока готовила все, устала, снова провалились щеки, глаза... Испарина на лбу... Зря батя так радуется.

— А чего вы арбуз не ели? — бодро проговорила она. Приподняла срезанную часть над бледным, незрелым арбузным чревом. — О... какие-то мошки завелись! — сказала она радостно. И как оказалось, то были неосторожные слова.

— Дрозофила мелеогастер! — проскрипел батя. Внимательно и с сожалением оглядел обглоданную кость, положил на тарелку. — Фруктовая мушка!

Долгая пауза, предвещающая еще более долгую тираду.

— Великий генетик Морган... — Он поднял палец и застыл многозначительно.

Очень трудно подстроиться к его ритму. Нонна откинулась на спинку стула, закрыла глаза. Неужто он не усвоил до сих пор, что его медленные, обстоятельные, скрипучие лекции почему-то утомляют ее, выводят из себя? Неужто не заметил? Или — назло? Отстаивает свои права, свои свободы?.. Но зачем же перед ней? Она-то чем виновата? Просто не выносит этих тягучих лекций, особенно во время обедов, которые она нам готовит все с большим для нее трудом! Неужто он не чует? Скорее, может быть, она послушала бы что-то о еде, которую она приготовила с такими усилиями? Или для него еда — это нечто недостойное разговора? При его-то аппетите!

— ...именно с помощью этой мушки... — потрогал рукою бок чайника, неторопливо налил. — Он сделал величайшее!.. Величайшее открытие!

Пауза. Громко прихлебывает чай.

— На ее примере он впервые в истории человечества — определил *карту* генов: как разные гены размещаются в хромосоме! Отбирал мутационные, уродливые особи...

Среди этих почти невидимых крохотулек, больше похожих не на живые создания, а на рябь в глазах, которая вот-вот должна исчезнуть?

— Уродливые особи! — аппетитный, громкий хлебок из кружки. — Ну там... с загнутыми крылышками! У всех прямые — а он находил загнутые!

У этих невидимок?

— Или другое брал — с опушенным брюшком... У всех — голые брюшки, а он находил опушенные...

Да, явно не торопится... Хорошо встречает ее из больницы!

Громкий прихлеб.

— И скрещивал их, — громкий прихлеб. — С нормальными особями!

Свечечку держал — при спаривании этих... песчинок?

— И рассаживал по пробиркам... Почему дрозофила? — вперился взглядом в меня. — Потому что у нее самый быстрый срок воспроизведения потомства... Десять дней. Через десять дней

можно уже видеть, что произошло. Сколько процентов получило опушенное брюшко... А значит...

Уже сейчас можно видеть, что произошло: Нонна почти без сознания!

Это он нарочно? Или просто привык, пусть даже со скрипом, но доводить каждую мысль до конца?

Нонна вдруг поднялась, закрыв ладонью глаза, и, покачнувшись, ушла в темную комнату.

Я кинулся за ней. Она сидела на диване, отчаянно зажмурившись.

— Извини, — тихо сказал я.

Лицо ее разгладилось, но глаза не открывались. Помедлив, она подняла ладошку, что, видимо, означало: ничего!.. все в порядке!.. я сейчас.

Разгоряченный, вернулся я к бате.

— Неужели ты — ученый, наблюдатель — не заметил еще, как на нее твои лекции действуют?! — вскричал я.

— А почему это? — воинственно произнес батя.

— Не знаю — почему! Тебя просто результат не убеждает? Обязательно надо рассказать — почему?! Теория нужна?! Ну так мы не доживем... до твоей теории!

Мы яростно глядели друг на друга.

— Я думал об этом, — заговорил наконец отец. — Видимо, объяснение такое: это нужно мне. Должен я чувствовать, что не совсем старик. Чувствовать еще свое упрямство... если не правоту. Побеждать кого-то должен... если не убеждать! Конем еще себя ощущать... хотя бы с вами. Паны-маешь? — Виновато улыбаясь, он взял меня за запястье.

— С ней-то зачем? — сказал я. Мы посмотрели в сторону комнаты.

— Эх, товарищ Микитин! — произнес он свою любимую присказку. — И ты, видно, горя немало видал! — Он полуобнял меня за плечи.

— Хорошо! — Я вывернулся из его полуобъятья. — Если ты побеждать хочешь — побеждай меня!.. Слабо?

Мы, улыбаясь, смотрели друг на друга. Послышались легкие шаги, и вошла Нонна. Села.

— Извините, — проговорила она. — Я виновата. Все будет в порядке.

Мы весело дообедали. И лишь когда я воровато притянул к себе арбуз, эту бомбу, подкинутую диверсантами, чтобы немедленно выкинуть его подальше, и полетели вновь эти полуневидимые мушки, батя все же не удержался:

— Да... дрозофила мелеогастер... Много гене-

тиков через нее пострадало! — проговорил он и глянул на меня орлиным оком: все-таки сказал!

Но тут и Нонна уже набралась силенок для реванша. Она встала, задорно подбоченясь, напротив отца:

— Вот ты все время рассуждаешь о высоких материях. А помидоры — и не очень, кстати, хорошие — из Аргентины везут уже! — Она подняла тоненький пальчик. — Ты не согласен с этим, наверное... но ведь ешь! — Она воинственно уставилась на него.

— Конечно, не согласен... после того, как съел! — добродушно пошутил батя, и мы засмеялись.

Перемирие! Теперь можно заняться чем-то другим. Не купанием — такое даже представить дико!.. Работой!

Изрядно уже обессиленный, я плюхнулся за стол. Вот где сейчас действительно жарко! Семейные неприятности, интриги, обманы, нищета — все это мелочи по сравнению с тем, как тут тебя бьет! Дикая кошка, русская речь, так треплет, швыряет, кидает! Какие там кавказцы! Какой там Кузя с его хитростью... Это все — милое дело! А вот тут — это да! Дикая кошка, русская речь, — вот та треплет так треплет! Все последние ночи поднимала меня, кидала к столу: запиши,

сволочь, а то забудешь! Пытаюсь спрятаться в сон, бормочу: «Не забуду, честное слово!» — «Нет, запиши!» Утром встаешь, покачиваясь, — и снова Она: что тут накорябал, что за ночной бред? Разбирайся! Вот кто уж действительно бьет так бьет! Уже солнце всю комнату прошло — не отпускает она! Привинтила к стулу! Наконец вроде бы оторвался, пошел, покачиваясь, к мосткам, хлебнуть озона... К-куда?! За шиворот — и к столу! Сиди. А то вот эту фразу записать забудешь!.. Какую, спросите вы, фразу?.. А вот эту, которую вы сейчас читаете!!

Уже солнце тонуло в озере, когда я выполз на скамейку, отдыхивался. Смотрел, как Нонна разговаривает с маленькой собачкой, коротконогой, с сосками, метущими пыль. Собачка снизу вверх задумчиво смотрела на Нонну, а та, грозя пальчиком, говорила ей:

— Сейчас я дам тебе немножко, но больше ты сюда не приходи — видишь, Анчарик волнуется!

Огромная башка Анчара моталась над изгородью, в глазах были боль, недоумение: что же это? Измена их любви?

С умилением я наблюдал эту идиллию — но, похоже, время идиллий ушло навсегда! Подняв глаза от маленькой собачки, я увидал, как по

песчаному нашему переулку чопорно шествует строгая женщина в очках... явно по мою душу! Что там еще? С Настей теперь что-то случилось? Я встал.

— Пойду немного прогуляюсь! — пробормотал я и, выйдя за калитку, быстро пошел навстречу судьбе. В калитку, во всяком случае, не стоит ее впускать!

Мы пересеклись на середине переулка. Она уже вполне благосклонно кивнула мне:

— Вас к телефону!

Да будь проклята и эта пруха — благосклонность ко мне женщин! Сидел бы тупо, отдыхал!

— Не сказали кто? — осведомился я светски. Мол, наверняка откуда-то из высших сфер, замучили своей лаской, надоели.

Она многозначительно пожала плечом, улыбнулась... «Услышите!»

Что может быть? Я мысленно развернул перед собой веер возможных неприятностей... Эта?.. Или эта?.. Какая получше? Боюсь, что-то с Настей теперь!

Мы шли, мило улыбаясь, через проходную ДРСУ, через широкий асфальтовый плац, заставленный бездействующими скреперами и бульдозерами.

— Вы видели вчера этот ужас? — слегка кокет-

ничая, возмущалась она.

— ...М-м-м... Что вы имеете в виду?

— Ну, по телевизору... У Сванидзе!

— О да! — понимающе улыбался я.

Не видал я никакого Сванидзе и даже забыл немножко о нем — своих ужасов хватает!

— О да!

Мы, интеллигентные люди, должны поддерживать друг друга, говорить и улыбаться... даже по дороге на казнь! Какая именно меня ждет?

— Прошу вас!

— Благодарю вас!

Она тактично, интеллигентно вышла. Да уж, моей реакции ей лучше не видеть! Трубка-двустволка, отражаясь, лежала на полированном столе. Чем вдарит?

— Аллеу? — вальяжно проговорил я (наверняка подслушивает).

— Здорово, пузырь! — сиплый голос... Господи, да это Иван! Уже легче. Особых бед от него вроде не жду... кроме тех, что уже случились.

— Да... слушаю, — проговорил я строго. Чтобы не поняла дама, что звала меня из-за какого-то пустяка.

— Соскучал я по тебе!

— Я тоже! Куда ж ты пропал? Когда приедешь?!

— кричал я.

Отличный разговор, особенно на фоне того, что пугало раньше.

— Да ну, — зевнул Ваня, — надоело мне там!

А как же дети Юга?.. Жгут в его усадьбе костры, слегка приворовывают. Не важно?

— Слышь, у меня дело к тебе...

Я уже радостно, с облегчением сел на стул, вытер счастливый пот... Любое его дело — это не дело!

— Случайно узнал — тут на какую-то премию выдвигают меня... «Крашеный ангел», что ли... не слыхал? Ты вроде все знаешь?

Я-то знаю. Но как-то неохота рассказывать ему.

— «Чернильный ангел», — все же выговорил я. — «За творческий вклад в дружбу народов».

— А-а-а, — проговорил задумчиво, видимо соображая, когда же он внес этот вклад и куда.

— Так что... поздравляю, — от души сказал я. Измученный борьбой, я и тут подозревал поначалу подколку, подковырку... но раз он со мной простодушен — я тоже.

— Приезжай, выпьем! — сказал я вполне искренне. А что? И выпьем! Должен же я быть когда-то и буйным!

Вытирая пот, я вышел на улицу... Слава богу

— живой!

И тут я увидел, что по переулку, бодро переставляя тоненькие ножки в розовых тапочках, поднимается жена с кошелкой в руке.

— Ты что? В магазин, никак, собралась?

— А как жы! А как жы! — радостно проговорила она.

...И больше я про это лето — теперь давно уже минувшее — ни черта не помню!

Финиш

Немножко помню только день отъезда — и то лишь в силу его необыденности, особливости.

Жена, радостная, пришла с базара:

— А я насчет машины договорилась, уезжать!

— ...На когда? — вымолвил я, отрываясь от машинки.

— А на сегодня! — лихо ответила она.

Она давно уже рвалась в город, тосковала по городской квартирке. Говорила, мечтательно зажмурясь:

— Неужто я на моей кроватке буду спать? И на моей кухоньке готовить?

— Будешь, будешь, — говорил я. — Но здесь вроде неплохо?

— Тебе везде неплохо! — обижалась она.

Это верно. Неплохо везде. А кому где-то плохо — тому плохо везде.

Она стала, подставив табуретку, скидывать со шкафа клетчатые баулы, главный инструмент «челноков».

— Какая-то я проныр-ливая! — довольная, проговорила она.

— С кем ты договорилась хоть? — смотрел я

на нее.

— С нашим Битте-Дритте... с кем же еще? Встретила на рынке его — и договорилася!

Прям летала от счастья!

— Ну что... уезжаем, я слышал? — улыбаясь, вышел отец.

Мы посмотрели в окошко... Все пожелтело, пожухло. Пора.

— Да, — сказал я ей, пытаясь перестроить свои мысли на городскую жизнь. — С Битте-Дритте договориться — большая удача!

Долго он хорохорился перед нами и, даже когда закончил наконец реставрировать свой «хорьх», вывезенный им из Германии и предназначенный, как он уверял, лишь для высшего командования... долго отказывался на нем ездить. Тем более невозможно было даже заикаться о поездке на «хорьхе» в город.

— Да там все с ума сойдут, постовые застрелятся, если я на «хорьхе» в город приеду! — хвастался он.

— Пообещала кое-что ему! Проныр-ливая я! — хвасталась жена.

Что, интересно, она ему обещала? — разволновался я.

— На когда договорилась-то? Собраться-то хоть

успеем? — строго спросил я.

— Думаю, сто раз успеем! — проворчал отец.

И фактически оказался прав. Сто не сто — но два раза подряд мы успели упаковаться — первый раз наспех, второй раз — более тщательно.

— Ну что? — Запыхавшись, я присел на громадный бельевой узел. — Где твой... ездок?

— А вон он, — беззаботно сказала Нонна. — У Надюшки своей торчит!

Так... И сколько же он там проторчит?

На всякий случай я заглянул в гараж: может, главные приготовления уже позади? Но «хорьх», как и прежде, был задвинут в дальний угол гаража. Голый по пояс Оча — с боевым шрамом на груди, оставшимся на память, — мыл из шланга бетонный пол.

— Битте говорил тебе чего-нибудь... про сегодня?

— Что он может? Бэздэльничает, как всегда!

— Ясно.

Перейдя переулок, я открыл калитку Надюшки, которую Битте когда-то в порыве вдохновения всю изрезал узорами.

Хозяйка сидела в широком кресле, сделанном под старину, полностью заполняя его своими манящими формами. Кресло это ей доставил опять

же пылкий любовник, когда он блистал в театре в роли монтировщика.

Битте-Дритте гордо расхаживал перед ней, однако полного счастья у них не было. На низенькой скамеечке у ее ног сидел Савва в пятнисто-болотистой форме (приступил уже, видно, к работе?) и огромным десантным ножом задумчиво строгал прутик, явно намекая на то, что прутик — это так, проба лезвия! Да, сложный завязан узел! Кровосмешение часто чревато кровопролитием!

Савва пренебрежительно отбросил прутик (да, лезвие острое!) и уставился своими мутными очами на негодяя.

— Если уж ты живешь... с ней! — прохрипел Савва (слово «мать» прозвучало бы тут кощунственно — Савва это ощущал). — Так и переезжай сюда, со всем хозяйством... вещи перевози! А так... — Савва подобрал другой прутик и зловеще начал стругать.

— Какие у меня вещи? Все вещи — ... да клещи! — хорохорился Битте.

— Да где у тебя клещи-то? — любовно глядя на Битте из глубин кресла, проговорила Надюшка.

Поняв в очередной раз, что эту преступную связь не разрубить никаким кинжалом, Савва резко, мускулисто поднялся со скамеечки, ма-

стерски сунул нож в ножны и, гулко стукнув калиткой, ушел.

Да, уже осеннее эхо! Все голое вокруг.

— Ты лучше вон... делом займись! — указала Надя в дальний угол двора. — Давно ему говорила: зачини сетку! — Ко мне повернулась: — Так нет, дождался! Вот в такую дырку, — она сложила колечком пальчики, — хорь пролез... ну прямо как червяк просочился, — и двух кур задушил! А этот все... красуется! — снова влюбленный взгляд на Битте. А говорят, не существует больше любви!

— Какой хорь? Я с людьми на сегодня договорился! — сурово проговорил Битте, кивнув на меня.

Надюшка махнула пышной и все еще красивой рукой.

— Давно этого раздолбая в шею бы выгнала, — доверительно сообщила она мне, — если бы он по ночам со мной такое не вытворял!..

Тут я даже зарделся, впервые за последние двадцать лет. Видимо, зачислили меня уже в летописцы поселка, раз доверили еще одну из его жгучих тайн!

Из бани в дальнем, завалившемся углу двора вдруг вылезло — почти на четвереньках, иначе не вылезти — Третье Тело России, распарившее-

ся, довольное.

— Ух! — присело на топчан.

— Какие вообще планы? — строго осведомился у него Битте.

— На чемпионат еду, в Германию, на той неделе, — доложило Тело.

— Ты там аккуратней, гляди, — инструктировал Битте. — Смотри там... Третьим Телом Германии не останься!

— Слушаюсь! — усмехнулось Тело.

— Пошли! — сказал Битте Надюшке, кивнув в сторону бани. — Через полтора часа едем! — сказал он мне, удаляясь в страну блаженства. Эти полтора часа он отмерил, очевидно, для совершения главного мужского подвига.

Я вернулся к своим.

— Через полтора часа... обещает! — сообщил я жене. — А где батя?

Она кивнула, вздохнув, на гараж... Где, где... Известно уже, где он проводит теперь свободное время. В гараже! Неожиданный поворот.

...Однажды мы сидели на скамеечке с ним, и он уже добивал меня своей лекцией о науке селекции.

— Ну, ты понял хоть что-нибудь? — кипятился он. — Слушай тогда дальше!

Краем глаза я замечал, что Оча высунулся из гаража с отверткой в руке и давно уже с интересом к нам прислушивается.

— А я вас понял! — вдруг лукаво проговорил он.

Отец изумленно вытаращил глаза:

— Ты?! Разбираешься, что ли?

— Я там у себя... сельхозинститут закончил! — гордо проговорил Оча. И влип.

Теперь его тяжелый механический труд по ремонту автомобилей сопровождается, как правило, сложной лекцией по сельскому хозяйству... иногда эти лекции превращаются в экзамен. И сейчас, похоже, ему нелегко.

— Все эти ваши мерристемы... чушь! — грохотал в гараже батя. — Так... теория одна! А ни одного сорта так и не выведено — мало ли что можно наплести!

Оча что-то говорил, оправдываясь.

— Чушь! — гремел батя. — Все чушь!

— Надо его вытаскивать оттуда! — сказал я жене. — Что он... последние минуты на даче... проводит в гараже?

— А давай — на лодочке покатаемся? — предложила она. — Простимся с озером.

— Ну, давай... только ты весла проси.

Так мы и не научились с батею просить весла! Душевности в нас мало — вот что! Но сегодня, в день отъезда, вдруг начать вываливать душевность, которую все лето скрывал... как-то неловко! Вот уж на следующий год, если вернемся сюда, — сразу начнем с душевности! Надеюсь, тут уже не будет ни просто мук, ни мук творчества. Будем веселиться!

— Ладно, я возьму, возьму... Не беспокойся! — Она уже затопала своими ножонками к калитке.

Потом я наблюдал, как она стоит перед их крыльцом и Савва и его жена, шутливо отпихивая друг друга, что-то весело говорят. Нонна улыбается, кивает маленькой, расчесанной на прямой пробор головкой, внимательно слушает, снова кивает. Огромные весла торчат у нее за спиной.

Вот стукнула калитка, вернулась Нонна, довольная, покачивая головой.

— Савва с Маринкой говорят: если ты на следующий год не приедешь... мы с Саввой повесимся... Вот. А Анчарика отравим — так что смотри. Я почувствовала даже, что слеза у меня течет! И вдруг Анчар прыгнул — лапы мне на плечи — и слизнул ее. И хвостом замахал.

У нее вдруг опять засветились в глазах слезки

— быстро потерла их грязным кулачком.

— Ладно. Поехали! — сурово проговорил я, закидывая на спину весла. Заглянул в гараж к отцу: — На лодке поплывешь?

Замученный Оча спрятался от бати в «яму», под чей-то автомобиль, поставленный на ремонт. Батя бомбардировал его сверху:

— Селекция... это — все!

— На лодке поплывешь, нет?! — громко рявкнул я. Глуховат уже батя!

— Ка-ныш-на! — проговорил отец, довольный очередным разгромом оппонента.

И в последний раз мы выплыли в озеро. Я греб чуть слышно, осторожно... Может, в этот раз обойдется? Опасный вообще водоем! Каждое плаванье по нему заканчивается какой-нибудь неприятностью! Но в этот раз ни на мосту Ужасов, ни на зловещих мостках никто не маячил. Неужто Бог помилует нас?

Да, какое-то счастье мы, похоже, все-таки заслужили — поскольку на мостках появился всего лишь грозный Битте и рявкнул:

— Сколько можно вас ждать?!

И вот роскошный «хорьх» стоит у крыльца. Можно выносить пожитки. Я оглядел в последний раз увядающие местные красоты, вдохнул

уже холодный, но особенно чистый осенний воздух. Вернемся ли? Подросшие козлики, как фавны, стояли на задних копытцах, уже доставая передними до края забора, сдергивали торчащие над ним листики... Все!

О господи! Настя! Спускается по переулку, еще не видя нас, но заранее улыбаясь, представляя, как мы удивимся и обрадуемся ее приезду.

— Ну, ты молодец! — встретила ее мать у калитки. — А мы уезжаем как раз!

— Значит, буду вам помогать! — бодро проговорила Настя.

— Да-а. — Отец вышел на крыльцо, огляделся. — Как написал мой друг в школьном сочинении: «Настала осень, и пришел конец гусям».

И вот багаж загружен. Что тут еще забыли... Оча.

— Ну, удачи! — по очереди пожали ему руку. Оча прифрантился даже — в честь торжественного момента.

— Будешь в городе — заходи! — неуверенно проговорил я.

Но своего адреса (собрав волю в кулак) не оставил. Увы!

Ключ от нового замка батиной квартиры жег мне сердце (как раз в рубашке лежал)... Представ-

ляю, как бы Оча обрадовался, если бы я ключ ему дал!.. Но кому-то приходится быть и злобным!

Напоследок батя конечно же установил рекорд лета! Он внимательно разглядывал Битте-Дритте, расхаживающего возле красавца «хорьха», потом вдруг спросил у меня горячим шепотом:

— А что это за парень? Надежный?

— Это, батя, хозяин нашей дачи, у которого мы прожили три месяца! Что, недосуг как-то было с ним поговорить?

— Да брось ты чушь-то пороть — не было его тут! — яростно прошептал батя.

Молодец!

Ну что еще? Кто еще тут не охвачен?

Вон Кузя стоит, отворотясь, на своей террасе.

Идейные враги? Нет уж, это слишком шикарно для нашей жизни! Пойду займу у него сто рублей — чтобы он понял, что такое настоящая дружба!

После финиша

— Ч-черт! Где же их взять, десять копеек! — Я шарил замерзшим пальцем в задубевших углах кошелька... Ни черта! Сзади пихалась очередь — хорошая у этой бабки картошка!

Хоть в базарном павильоне холод не такой, как на улице, но руки все равно задубели... ч-ч-черт! Где все монеты? Ведь были же!

Теперь приходится держать деньги, когда они есть, вот в этом грубом кошельке, сшитом, похоже, из кирзового солдатского сапога, даже без особых изменений его формы. Тяжело такой запихивать за пазуху, вытаскивать еще тяжелей. Главное, у него нет отделения для мелочи, поэтому мелочь приходится искать где попало, что особенно неприятно, когда сзади бушует очередь!

А какой был у меня кошелек раньше — мягонький, с отделением для монет! Сперли-таки дети Юга на дачном рынке — прижимались, якобы что-то предлагали, какие-то свистульки... В результате вместо кошелька теперь этот сапог! Вот выковырял монету!

На каждом пальце по тяжеленному мешку

— сметана, творог, сыр, камбала, картошка, свекла, капуста, — посеменил медленно к выходу из павильона, высунулся... Ну и мороз!

Идти приходится меленькими шажками по ледяным колдобинам, три квартала от рынка до дома занимают чуть ли не час! Насквозь промерз!

Вспоминал на ходу, как любимого кошелька лишился. Вспоминается ушедшее лето.

Был на даче такой момент, когда осталась у меня последняя сотельная, да и то потому только, что рваная была — уголок надорвался! Стал склеивать его папиросной бумагой — уголок чуть сморщился, и одна цифра из номера на ассигнации скрылась. Ох, вряд ли где примут такую бумажку! Левин дал мне ее за мою частушку в «Золотом блине» — а дареному коню, как известно, в зубы не смотрят!

Склеил, положил в кошелек — еще тот, мягонький, хороший! — и на рынок дачный пошел: может, там удастся кому-либо втюхать? Стал ходить по рядам, выискивать жертву. Вот, может, эта старая тетенька с цветами — моя жертва? Но на хрен мне цветы? Вот, может, этот крепко поддатый кавказец примет? А ну бритвой полоснет?

И вдруг, пока я искал жертву, жертва сама себя

нашла! Хватился — а кошелька нету! Поначалу я обрадовался, хохотал. Вот, думаю, вляпался кто-то! Хотел обогатиться — а вместо этого проблему поимел! Но потом хохот как-то захлебнулся. Хоть и такую ассигнацию, а жаль. В нее хоть и позорный, но вложен труд! И потом, эта же сволочь не знала, что рваную крадет? А вдруг бы настоящую? Рассвирепел! Тем более я понял уже, кто спер-то, — дети Юга.

Добрался наконец до дома, поднялся крохотными шажками по лестнице, скособочась, всунул в дверь ключ. Ввалился. С грохотом кинул мешки, плюхнулся прямо в прихожей в кресло, сидел вытянув ноги, отдуваясь. Лицо абсолютно задубело! И руки! Удалась зима!

Жена выглянула в прихожую. Снисходительно:

— А! Это ты!

Я, представьте! Раньше она на Сенной ходила (дешевле там и лучше), теперь я хожу. Вместо моральных страданий имею теперь физические!

— Тебе какая-то баба звонила!

Я — воинственно:

— Ну и что?

— Приглашает тебя на вручение «Чернильного ангела»!

— ...Не мне, естественно?

— Естественно, нет! — смотрит презрительно. — Неужели попрешься?!

Я сидел молча. Вот отогреюсь маленько — погляжу. Конечно, радости мне там мало, а чести и того меньше... Но Ваня может подумать, что я сержусь на него... А я на него вовсе не сержусь — и надо, чтобы он увидел это и не расстраивался!

— ...Пойду! — произнес со вздохом.

— Идиот! — жена рявкнула.

Укрепила здоровье! Навставляла зубов!

Тут замок заскрипел. Батя является с регулярной прогулки. Каждый день ровно час прогуливается — при любой погоде в легкой курточке, даже в такой мороз! Бодрый, румяный! Молодец! А я-то сейчас, когда мы с женою ругались, старался потише быть, на дверь его поглядывал: как бы батя не расстроился! А он и не расстроился, оказывается, — спокойно в это время гулял!.. Даже неинтересно!

— Идитии-и! — Жена с кухни зовет.

Сели ужинать. Батя румяный, молодой, стройный. Зубами сверкает. Ест он так же истово — последовательно и основательно, — как и работает.

Откинулся наконец от стола. Улыбнулся.

— Ты знаешь, — сказал мне, — я сегодня ночью какой-то каламбур придумал... Помню, даже засмеялся под одеялом. Думаю, надо утром Валерию сказать! И забыл — представляешь?! — с досадой хлопнул звонко по коленке. — Забыл! — весело засмеялся.

— Записывать надо! — злобно проскрипел я.

Я так всегда все записываю!.. Даже много лишнего, как оказывается!

Глянул на часы. Половина девятого. Сейчас бы на диване распластаться перед телевизором. Вчера работал всю ночь. Но надо вставать и идти на вручение... «За творческий вклад в дружбу народов на современном этапе». К сожалению — не мой!

А я между тем тут тоже дружбы народов укреплял, на современном этапе. Был на конгрессе в Хельсинки, хотел со шведами, норвежцами, немцами подружиться... Но с удивлением обнаружил, что крепче бывшей советской дружбы ничего нет. Не увлекал почему-то нас ни острый галльский смысл, ни сумрачный германский гений... Почему-то бывшие советские народы — встречались в простонародной пивной у вокзала — все там оказались: и белорусы, и украинцы, и таджики, и узбеки, и грузины, и армяне. Два че-

ченских поэта. И ясно стало абсолютно: большего братства, чем между нами когда-то было, нигде не было и не будет уже никогда! Чеченцы нам ближе англичан!

Более того — я даже Россию в границах до 1914 года охватил! С финном подружился, у которого жил. Маленький, круглый, веселый. Кстати, вдовец, с двумя мальчиками. Но как-то спокойно, уютно живет. Машины журчат, стиральная, посудомоечная. А он сидит, добрый, симпатичный, русской культурой восхищается: какая глубина! надо бы научиться жить по-ихнему. Договорились дружить!

И чеченский поэт в гости пригласил. Приезжай, сказал, как бога приму. Видимо, как бога войны.

Вот такой охват!

А премию — Ване!

Ну ладно. Пришел. Позолоченный дворец Воронцовых.

Ваня сидел какой-то встрепанный, растерзанный, словно и не понимающий, что это с ним. Но когда какой-то референт шепотом спросил у него номер его валютного счета, Ваня отчебучил весь длинный ряд цифр, ни разу не сбился! Да, Ваня не так прост! Во всяком случае, не так прост, как правда.

Но настоящим триумфатором конечно же Кузя гляделся! Скромный, интеллигентный, в солидном костюме, с добротной бородой! «Совесть всех современников»!

Ваня, ясное дело, отработал подарок. Соображает, что требуется от него! Напился, устроил бузу, к иностранным бабам приставал с односмысленными предложениями, потом с барменом сцепился! Все культурно. Буквально вся пресса отметила, что премию дали какому-то выдающемуся мудаку. Таким боком, и Кузя получил пусть горькую, но всероссийскую славу! По всем каналам объяснялся, и подтекст был такой: каким ничтожествам только не приходится давать высокие премии... Но главное — помогать пробиваться принципам сквозь пургу и порошу, что он, с его скромными возможностями, и делает! Аплодисменты.

Меня Кузя тоже приголубил. Столкнулись мы с ним только уже на фуршете, и Кузя заявил громогласно:

— Ну, ты-то, ясное дело, только выпить приходишь!

А — по морде?!

— Что он ко мне цепляется? Ведь все уже отобрал, что можно! Мог бы вообще не замечать! Я

ведь все уже отдал — что надо еще ему? — такой горький вопрос задал я Ване, когда он заглянул ко мне через пару дней после премии, с двумя бутылками.

— Все, говоришь, отдал? — Ваня хитро улыбнулся. — Да, выходит, не все!

На первой бутылке я еще осторожно общался с Ваней, особенно насчет премии... Вдруг узнает, что я его чуть ненароком «Чернильного ангела» не лишил? Когда дети Юга сперли мой кошелек — и не у меня одного, оказывается, — тут я маленько озверел, пошел к Савве и сказал, что не все передовое человечество одобряет вселение детей Юга на Ванину дачу... тем более Вани в помине нет! Часть передового человечества резко против!

Кузя с удивлением на меня посмотрел, словно впервые увидел:

— О! Оказывается, вы и нормально умеете разговаривать... когда припрет! А то этот, — в сторону Кузи кивнул, — все какой-то туфтой меня кормит: мол, все человечество вздрогнет, если их убрать.

— Пусть вздрагивает! Убирайте! — сказал я решительно.

Кому-то приходится быть и нехорошим...

Так что теперь я — не спорю — от любой премии отрезанный ломоть! Весь рейтинг коту под хвост!

Приплясывающих, поющих детишек вывезли на автобусе в какой-то монастырь. Жить спокойнее стало. Со мной теперь все ясно: на детишек голос поднял... отрезанный ломоть! Можно не суетиться. Я только за Ваню тогда беспокоился: вдруг и премию ему отменят, коли детишек-то нет? Обошлось! Никто и не поинтересовался! В разговоре я даже засомневался, касаться ли с Ваней этой темы? Думаю, он даже изумится: какие дети? Все хорошо.

Только вот Кузя что-то цепляется, никак не утихнет. Ваня признался мне, на границе между бутылками, что Кузя всюду рассказывает обо мне как о жалком, беспринципном, лживом, корыстном типе... Ну что цепляется-то? Ведь я же все ему отдал, что мог!.. Неужели — не все?

Кузя сильно в гору пошел, стал теперь тут официальным представителем фонда — за объективность свою и бескорыстие. Вытеснил Втахову за рубеж, стал выполнять все ее прежние обязанности. Ну, не все, конечно... Это я «не все» подразумеваю относительно меня! Ну, не поймите меня неправильно... фу, запутался... не все обязанности относительно меня — это я имею в виду, что он не снимает мою квартиру, как Втахова снимала. Вот. Это я и имел в виду. Все!

И вообще Кузя сейчас ощущает себя как бы батькой всей нынешней литературы. Недавно на деньги фонда Всемирный конгресс провел по самому передовому течению — постмодернизму. Весь мир созван. Правда, приехали почему-то лишь албанские и монгольские постмодернисты... Неужто в других странах уже нет? Но все равно размах-то какой — от Монголии до Албании! Батька наш Кузя теперь — литературный батька!

Недавно я его в вагоне метро наблюдал, он меня, конечно, не видел, погруженный в свои мысли — о человечестве в целом. Рядом с ним беременная стояла, а напротив их развалясь сидел мерзкий юнец, закатив презрительно очи, жвачку перекидывая с зуба на зуб. Но наконец проняло его, кинул злобный взгляд на беременную, взвился с места, повис на поручне, буркнул: «Садитесь!» И тут Кузя меня потряс. Посмотрел на юнца, потом — на пустое место и скромно так произнес: «Ну что вы, юноша! Не беспокойтесь! Я постою!» То есть никакой беременной не заметил, даже не представил себе такого, просто уверен был, что юнец дрогнул перед ним, «совестью всех времен и народов», узнал, затрепетал, конечно, и место уступил! Скромное торжество это све-

тилось в Кузином взгляде. Скромно отказался. А беременная тут вышла, на место не села... И Кузя, не заметив ее, остался при своем величии... Так что ж цепляется?

Зиновий, отец его, вернулся осенью из-под Бордо, где провел все лето с малой дочкой, проявляющей, говорят, недюжинные музыкальные способности, ну и деловые связи, разумеется, завел.

Вернулся он в сентябре, невзначай как раз к своему семидесятипятилетию... но народных торжеств, как было бы при прежней эпохе, — увы! Дали скромный «Знак почета», взяли пару интервью. Поселок — культурный центр перешейка — это событие отмечал, конечно. Но не так повально, как было бы раньше.

«Золотой блин», к примеру, на это событие никак не прореагировал.

— Кого эти старперы нынче интересуют?! — Это произнес именно Левин, владелец «Золотого блина», никак не отметивший славный юбилей своего бати, пусть сурового и немногословного — немногословного в отношении Левина. Но все-таки... так про батю... хоть духовно не близкого.

«Золотой блин», кстати, вскоре после этого сгорел — запылал, подожженный со всех кон-

цов... Но вряд ли это с местью Зиновия связано!.. Исключено! Зиновий выше этого — вряд ли про «Золотой блин» вообще знал!

Да и сам Левин не очень унывал... «Ну, блин горелый... Ну и хрен с ним!» Ко мне он с другим предложением явился — рекламу сочинять. И в тот раз, когда я Кузю увидел, я как раз рекламу для его брата Левина сочинял, прикидывал, как лучше сделать на стенке вагона рекламу икры минтая. Два варианта крутил. Первый: «Подай к столу любовь» — или: «Чья? Русалочья!» Остановился на первом... Вообще Левин теперь — все-таки сказались отцовские гены! — рекламу интеллигентную требует, с грустинкой! «Переходят все границы тараканы и мокрицы»... За грустинку — отдельная плата. Ну что еще Кузе надо от меня?!

Размашистый Ваня тоже скучать не давал, вскоре явился ко мне с новой незадачей: «Посоветуй как друг!» Оказалось, только что были они в одной стране с делегацией поэтов-песенников на приеме у их королевы. Странно, подумал я, каких это поэтов-песенников королева принимает? Давно я думаю насчет Вани: не полковник ли он? Все может быть. Короче, во время этого приема вдруг погас свет. Все метаться начали: провокация!

Ваня в темноте столкнулся с какой-то сухонькой женщиной. Ну и... сам толком не понимает, как все произошло. Потом, когда зажегся свет, увидал, что королева на него как-то странно поглядывает. Вот так. Теперь, если вдруг ребеночек родится, что же ему, Ване, королем становиться? Не хотелось бы — а вдруг придется? Как быть? За обсуждением этой жгучей проблемы мы вылакали с Ваней бутылку водки и в конце концов решили твердо: пусть будет так, как будет.

Вообще, все летние красавцы не позволяли себя забыть!

Савва, силу накопив, повязал главного бандита округи, чем привлек бурное одобрение — и поддержку — всех его конкурентов. Теперь берется за следующего...

Об этом мне язвительный Битте-Дритте сказал, явившись с визитом. Вообще у меня в доме как бы их посольство образовалось...

Надюшка, сказал Битте, ребенка ждет, но он не уверен, что от него, — к ней в последнее время поэт Марат Дьябкин ходил.

А в общем-то все на месте. Только вот Оча слинял, не вынеся низкоквалифицированного и малооплачиваемого труда. Сначала его якобы добродушный, интеллигентный Зиновий к себе

сманил, суля интересный, творческий труд. А закончились посулы эти, как и следовало ожидать, покраской крыши их дачи. И когда Оча, на крыше засидевшись, сказал, что должен уйти покушать, то рачительный хозяин как бы невзначай лестницу свалил, по которой Оча взбирался, и про Очу «забыл». Вспыльчивый Оча спрыгнул с крыши, ногу повредил, но, хромая, ушел. Кузя, хоть на террасе был, этого мелкого происшествия не углядел. Ваня почему-то к себе на дачу беженца не пригласил, хотя хладнокровно наблюдал эту сцену... и мог бы дружбу народов укрепить... Но зазнался, видимо, после получения премии.

В итоге наш «кавказский пленник» сбежал. Хромая, ушел к своим соплеменникам, которые у фермера Ивана Ивановича доярами работали. История, потрясшая в свое время всю округу. Было у Ивана Ивановича три сына, справных красавца, все хозяйство ему вели. Но тут пошла кавказская война. Сыновей забрали. И все трое не вернулись. Погиб, правда, только один. Другой там влюбился, женился, остался. А третий на той войне каким-то бизнесом занялся и вскоре сел. Не стало, короче, сыновей. И тут вдруг на ферме появился кавказец, из того самого народа, с которым сыновья воевали, — и свои услуги

предложил. Сперва Иван Иваныч его прогнал, но тот снова пришел: жить негде. Стал работать. Иван Иваныч пригляделся: хорошо, черт, работает! И скромный — не гуляет, не пьет. Потом к нему соотечественник прибился. К тому — брат. И теперь на ферме Иван Иваныча коров доят дояры из той самой народности, в войне с которой сыновья его сгинули. Сперва Иван Иваныч не мог вместить в свою голову такой парадокс: как же так, сыновья сгинули, а эти — тут? Пил горькую, гулял. Среди местных про него шутка ходила: «Дорогой Иван Иваныч, ты пусти нас с бабой на ночь». За пол-литра пускал. А хозяйство все гости захватили. И вдруг однажды Иван Иваныч проснулся и сказал: все! Снова стал командовать, молоком торговать. Возле его ворот на шоссе всегда стоит банка на табуретке, и в ней что-то белеет: не молоко, правда, а свернутая бумага. Но проезжающие все равно понимают: молоко. Выходят, покупают у трех его верных нукеров — сам Иван Иваныч теперь только командует. Вот кому надо было «Чернильного ангела» дать!

Но Оча и там не прижился. «Коровьей сиськи не хватило», как язвительный Битте-Дритте сказал. Теперь Оча, как Битте говорит, подался в город к своим соплеменникам, на Сенном рынке

предлагает контрабандный спирт.

Была в визите Битте-Дритте и деловая часть: взял триста рублей «в счет ремонта моей будущей машины», как он сказал. Вон как люди вперед смотрят: я и не знал, что у меня, оказывается, будет автомобиль!

— Вы тут «Чернильного ангела» разыгрываете, — сказал Битте уже в прихожей (все ему ведомо), — а вон наши мужики, пока спирт из «чернильной цистерны» не прикончили, на самом деле посинели! Вот кто «чернильные ангелы» в натуре — а вы языком только ля-ля-ля!

Умело обидел. Сказал бы это до трехсот рублей — не получил бы!

Но в общем-то Битте мало изменился: руки золотые, сердце стальное, глаз — алмаз.

Как-то судьба Очи меня растревожила. Хотелось бы ему помочь... Только желательно не квартирой! Желательно — морально! Специально несколько раз на Сенном рынке проходил мимо их рядов. Смуглые хлопцы стоят, в сторону смотрят, но доносится шепот, когда идешь вдоль их шеренги: «Спирт, спирт, спирт!» И вот — снова иду! Навстречу мне движется милиционер и «спирт, спирт, спирт» по мере его приближения затихает. Милиционер поравнялся со мной — и

вдруг из его уст: «Спирт, спирт, спирт!»

А Ваня-друг скучать не давал. Уже ближе к весне явился с новой незадачей: жить негде! Разводится с Амгыльдой! Решил-таки поднять семью на недосягаемую для себя высоту! Амгыльда требует за развод дачу и квартиру. Что делать?

Помню, как Ваня — давно еще — с Севера вот так же явится: «Скажи всем *там*, — (где «там», конкретно не указывалось, это я сам должен был сообразить), — ...скажи там: приехал с Севера чувак, денег ни копья, жить негде... скажи там всем — может, *кто* заинтересуется».

Заинтересовался тогда один я... Но сейчас — нет: перенаселенность у меня... К Кузе! К Кузе, на дачу его! Заодно нашу старую дружбу возродю! После того, как Зиновий опять в Бордо убыл — лекции читать, — Кузя один мыкается. Я даже думал: если он один, может, будет стирать заодно и нам? Но не вышло. Мается Кузя!

— Есть один вариант, — пока уклончиво Ване сказал. — Попробую.

— Давай... скажи ему! — Ваня разгорячился. — Хороший, мол, мужик! А если не поверит... — тут Ваня вообще закипел, — я так будку ему начищу — век не забудет!

— Послезавтра зайди, — сказал Ване сухо (вдруг

не получится?), но внутренно ликовал я... дружбу нашу верну!

Уходя уже, Ваня глянул на стенку и стал вдруг рыдать: мол, точно такой коврик висел у него над колыбелькой... пришлось отдать!

Наверняка снова вокруг пальца меня обвел!.. Не было у него никакой колыбельки! Но трудно разве обвести вокруг пальца, если человеку это приятно? Тем более — друг!

Помню, как в молодости я целую зиму ходил без рукавов, рукава поносить дал: один рукав Кузе, другой — Ивану!

Так что коврик — тьфу!

Понесся к Кузе в деревню — насчет Вани узнать. Все-таки неизвестно, как Кузя относится к нам после всего... Может, сердится?

Возле станции в наш Дом творчества заскочил. Грезилось мне, что там все по-прежнему... Нет! Совсем уже там ледовый дворец: сосульки с крыши в сугробы вросли. Не пролезет.

Вышел на улицу — и увидал вдали: дым розовым столбом над Кузиным домом. Помчался туда. Как раз был канун поста, прощеное воскресенье... солнце пригревало уже. Счас мы с Кузей друг друга простим!

Однако суховато он меня принял, хотя перебору

с визитерами не наблюдалось в тот день. И вдруг — Дженифер вышла! Вот это да! Воссоединились, значит? Ну, хорошо! Но, похоже, грустили. Похоже, не она его втянула в свое богатство, а он ее — в свою нищету. Стекла замерзшие. Угля нет! Весь пол, как в мелком бисере, в мышиных какашках. Достали корочку сыра из мышеловки, угостили. Но все же я поцелуй с них сорвал!

Нет, все же хорошие у нас люди! Мужик с доской на плече разворачивался, выходя на станции Удельная, и сам себя треснул доской по голове. И сам же извинился: «Простите ради бога!» И сам же простил: «Ничего, ничего!» И даже не заметил в задумчивости, что не два тут было хороших человека, а всего один!

Ночью Ваня позвонил: с Амгыльдой помирился!

Потом я за столом письменным сидел, бормоча откуда-то прилетевшее: «Да... Ужасно! Ужасно!» Потом вдруг спохватился, опомнился: что — ужасно-то?

Ночью можно только ручкой работать: стук машинки будит семью.

Ну вот, пожалуй, и все! Я шлепнул ручку плаш-

мя на лист. Потянулся... Прислушался. Из кухни бряканье донеслось: батя шастает.

— Ты чего это тут... по ночам?

— Да вот, — смущенно проговорил батя. — Чайку решил попить... Вроде закончил! — Он слегка ошалело глянул на меня.

— Что?

— Все! Абсолютно!

— И я вроде тоже!

Вот так вот! Главное — усидчивость. И — выдержка. И гений, парадоксов кум!

Мы смотрели друг на друга, потом налили чай, взяли чашки.

— У тебя пальцы в чернилах! — усмехнулся батя.

— Этим и горжусь!

— Вы чего это тут делаете? — зевая, вошла жена.

ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ

Глава 1

Я забыл: пузыри на лужах — это к долгому дождю или к короткому? Криво отражая окна, кружатся возле люка. Но все равно — к короткому или длинному, вечно стоять под аркой не удается, надо идти домой. Я гляжу на наши окна. Лишь у отца окно светится: все пишет свое «последнее сказанье», как, усмехаясь, говорит он... но мне туда, в темноту, где ждет меня все... все, что я заслужил. Весь ужас. Вперед!

Теперь еще какая-то «острая стадия» наступила у нее! Значит, все, что было до этого, «тупой» можно назвать? Последняя шутка твоя — кстати, неудачная. Иди. Прошел через мокрый, хлюпающий двор, воткнул ключ-пластинку, открыл железную дверь. На темной лестнице жадно втянул запах — будто запах может чем-то утешить. Глупая надежда. Обычно пахнет. Хорошо, что не пахнет бедой — гарью, например. Но беда не обязательно пахнет. Так что — хватит принюхиваться. Иди. Все возможные задержки ты использовал уже, скоро все увидишь сам, все успехи за неделю, пока не было тебя.

А вдруг все нормально? А? Любимая моя фран-

цузская пословица: «Никогда не бывает так хорошо — и так плохо, как ждешь». Но это больше во Франции, наверно. Последнее время мне стало казаться, что так плохо, как ждешь, все же бывает. Особенно у нас. Уж у меня — так точно. Особенно — с ее помощью. Жди беды — и не ошибешься... Готовь амбар под новый кошмар. Пословица средней полосы и Северо-Запада... Шутка вскользь. Хватит тебе изгаляться на лестнице: у тебя, между прочим, квартира тут. В бомжи не удастся выбиться в ближайшее время — пока что это только мечта. Отворяй ворота! Дверь со скрипом отъехала. Темнота — и вновь втянул запахи. Вся надежда на нос — вдруг он подарит что-то? Глаза пусть пока отдыхают — им много работы предстоит. Уши тоже не радуют — зловещая тишина. Горелым попахивает — но, слава богу, не пепелищем, а сгоревшей едой. Это уже — родное!!! Эйфелеву башню из сумки достал — как-никак из Парижа приехал! — но это, похоже, тут никого не волнует... засунь ее куда-нибудь!

По коридору тихо пошел. Полоска света под дверью отца. Но — пока не надо туда, с ним мы окончательно запутаемся. Давайте — по одному? Медленно, со скрипом, дверь в спальню открыл...

Спящая жена — лучший подарок, тогда бы и я рухнул, до утра. Но — подарки кончились. Нету ее! Впрочем — мысли запрыгали, — одеяло откинуто, синеет в лунном свете пододеяльник, как сугроб. Значит, все же ложилась? Потом — встала и ушла? Вопрос: когда это было? Сегодня, вчера, сразу после моего отъезда? Отец вряд ли даст четкий ответ: удивится, потом как бы задумается — на это много времени уйдет, он не любит спешить вообще, а тут, может быть, следует поторопиться.

Говорила, давно уже: «Когда я пойму, Венчик, что я совсем уже в тягость тебе, я уйду. Уйду — и не вернусь. А тебе скажу, что в магазин пошла. А денежки оставлю, оставлю — вот сюда положу!» — кивала своей головкой-огуречиком. Сбылось? К выходу метнулся, остановился, решил все-таки на кухню глянуть... Стоит! Ореол луны вокруг ее головенки, потом вдруг дым ее окутал. Стоит! И как всегда в последнее время, смотрит *туда* — в абсолютно темное окошко напротив: там, по ее мнению, я все свое время провожу, даже когда в Париже. Реальное пребывание мое — скрипнул половицей — похоже, мало волнует ее, хоть развались я тут реально на части — будет смотреть *туда!* Там я *жутко* себя веду — как ей, видимо,

хочется. Под это дело можно и пить — уважительная причина. Удобную наблюдательную точку подобрала — не отходя от холодильника. Правда, когда я несколько ее бутылок разбил, стала выбирать более потаенные ниши, но сюжеты черпает — только в окне. Так удобнее ей. Главное — быстро. Считала информацию, налила — хлоп! Даже если это не просто окно, даже если — Вселенский компьютер, все равно нет там столько на меня, чтобы ей так уж горевать, а главное — столько пить!

Стоял, скрипел полом. Похоже — во плоти я ее нисколько не интересую. Пока весь дым не развеялся — ни разу не обернулась. Уйти? Глубокий, освежающий сон? Но тут медленно повернулась она... Все ясно. Ледяной, ненавидящий взгляд — вот негодяй, только что выползший оттуда... там действительно когда-то молодая дворничиха жила. И что? Сколько ни объяснял ей, поначалу шутливо, все внимание ее на этом окошке сосредоточилось! Главное — чтобы не выходя из кухни. Когда-то мы еще весело с ней говорили, и сейчас так же пытался... «Пойми — женщины без высшего образования вообще почему-то не видят меня. Не считают за человека? Странно, но факт!» Не проходило уже это! Тяжелый взгляд...

«Значит, зато с высшим образованием — все в порядке?» Тьфу!

Стояли молча, смотрели.

— Скажи мне... ну зачем ты пьешь? — Вопрос этот от частого употребления стерся, блекло прозвучал.

Ответ был не менее традиционен.

— А ты... зачем был там? — махнула синеньким пальчиком за тоненькое плечико.

Все! Глубокий, освежающий сон! Пошел рухнул. Закрыл глаза.

Воспоминание первое.

Сияющий зал ресторана «Европейской», прекрасный витраж над оркестром — Аполлон мчится на тройке в розовых облаках. На сцене — наш общий любимец, красавец усач Саня Колпашников с оркестром. И — общий пляс. Но смотрят все на нее, как она пляшет — легко, чуть дурачась, сияя. И все мы счастливы: ну что может взять нас, веселых, красивых, и — юных, но уже — знаменитых, любимых всеми тут, даже милиционерами?

Приплясывая, она движется к выходу. Танец обрывается. Мы падаем к столу.

— Ну и девушка у вас! — восхищенно говорит элегантная дама, «заметенная» общим востор-

женным танцем к нашему столу, — такую скинь с десятого этажа — отряхнется, пойдет!

Тогда казалось, что все мы бессмертны! В зале вдруг появляется гардеробщик Михеич, наш преданный друг — не поленился на протезе подняться сюда:

— Нонку там замели!

О господи! Сердце уже предчувствовало это.

Оказалось — спускаясь с мраморной лестницы, загремела с нее, смела нескольких японцев с дорогой фотоаппаратурой — вот и они тут же, в пикете под лестницей стоят, продолжая, впрочем, вежливо улыбаться.

— Аккуратней, ребята, надо! — говорит нам опер Коля, наш друг. — Ведь интуристовская все же гостиница — надо понимать!

Пока все еще мирно, но... В глазах ее уже набирается та муть, которая теперь все загородила!

— Найн! — вдруг почему-то по-немецки произносит она (видно, в полной уже почти отключке решив, раз ресторан интуристовский, немку изображать?).

Коля смотрит на меня вопросительно: мы друзья или нет?

— Что вы от меня хотите? — вдруг на чисто русском, но надменно произносит она.

— Что она... огрести хочет? — В Коле тут закипает профессиональная злость.

Он отрывисто набирает номер, ждет. Ситуация выходит из-под контроля.

— Найн! — Наша красавица вдруг жмет тоненьким пальчиком на рычаг.

— Ну все! Нарисуем тебе! — звереет Коля (да и я, честно говоря, тоже). Коля выводит слово «Протокол».

— Найн! — произносит она с холодной улыбкой и размазывает чернила. Все!

— Ну, ты по максимуму получишь, как Муму! — восклицает Коля.

Это она умела уже тогда!

Воспоминание второе.

Праздник закончился. Все, отплясав, делом занялись. Лишь она гуляет! Преуспевающие наши друзья интересуются ею все более отрывисто, лицемерно восхищаются: «Молодец! Поддерживает боевой дух!» Но лучше бы она его не поддерживала, дороговато это уже обходится — и ей, и мне!

Тягостная ночь уже на середине — а ее все нет. Внизу хлопает дверка такси, я вздрагиваю, по этому лихому звуку чуя сразу все. Теперь (с тоской сжимаюсь под одеялом) надо ждать продолжения... как долго она по лестнице идет! Тягуче

скрипит входная дверь... в руках людей трезвых она так долго не скрипит. В отчаянии я приподнимаюсь — вставать? Потом снова падаю: может, обойдется? На работу ведь завтра — и ей, и мне!

— Вен-чен-ко! — звонкий ее голосок (дурацкое прозвище придумала). — Смотри, кого я привела!

Представляю!

— Сейчас, сейчас! — бодро откликаюсь.

«Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга!» Сам же когда-то это начертал! Теперь — отвечаем. Волокем эту фразу — хотя уже тяжело!

Воспоминание третье.

Юбилей. Серебряная наша свадьба — двадцать пять лет, хотя серебра еще нет ни в волосах, ни в карманах. Ахинея — есть, уже неуместная в нашем возрасте, все более раздражающая!.. а серебра — нет. И что-то надо с ахинеей делать — утянет на дно. Может быть, подскажут друзья: на юбилей-то они точно явятся — быть может, в последний раз! Все-таки не полное я фуфло, выпустил за эти десятилетия немало книг, в настоящий момент проживаю в Доме творчества писателей в Комарове! «Формально все нормально», как говорили мы с ней. Но держаться уже нету сил! Приехала она в Дом творчества

уже сильно подшофе — другой она просто и не бывала теперь. И эту встречу, на которую я еще надеюсь, завалит, как заваливает теперь все, — и друзья разъедутся, оскорбленные или — еще хуже — снисходительно посмеиваясь: «Ну, эти как всегда!.. супруга, как всегда, упруга!..» Но встречу уже не отменить. На что я, идиот, надеюсь, на какую подмогу?

Ну что же — надо идти! Поднял ее, поправил одежки, повел через холл Дома творчества... Позор!

Сели в автобус. Молча, чтобы не тратить последних сил, дотащились до Репина. Ослепительно улыбаясь, вошли в гостиницу «Репинская», где нас радостно встретили уже слегка потертые, но все еще элегантные друзья. Мы опять все вместе, а значит, все хорошо, как раньше! Смутный отрезок (длиной в двадцать пять лет) можно забыть, вернуться в яркую молодость.

Правда, юбилей тот, помню, пришелся на очередной провал экономики, как раз была пора дефицита, так что праздничный стол в конце зала слегка удивлял: белый, жирный соленый палтус — и густое, сладкое темно-красное вино. Но и мы — уже не прежние! Или как? С каждым глотком молодость вроде возвращалась, мы отплясы-

вали наш твист, который и музыканты (наши ровесники) тоже любили... но она двигалась все неуверенней, плюхнулась мимо стула — и это на виду у всех! Когда-то это было весело, но сейчас! Эх! Я поднял ее на стул, глядел в ее ледяные, отсутствующие очи... Зачем мы затеяли этот юбилей? Я придвинулся к ней, обнял за плечи, нежно шепнул: «А ведь ты загубила мне жизнь!»

В суровом ее лице ничто не дрогнуло. Даже не повернувшись ко мне, она наполнила свой фужер густым красным вином. Сейчас хрипло произнесет: «Так давай же выпьем за это?» Не угадал! Так и не повернувшись, небрежным жестом через плечо, словно помои, плеснула мне в харю вином! И что — харя! Главное — белый ангорский свитер, на юбилей впервые его надел, сам себе его в Риге купил — не она же! Все! Пропал свитерок! Весь залит красным! Уж не она будет его отстирывать! Все я! Быстро посыпать солью его — или дать сдачи?.. предпочел соль. Стал осыпать свитер солью под ее презрительным взглядом... надо бы заорать или лучше бы — зарыдать! Но все время делишки отвлекают. Сколько ж я сэкономил слез! Трагедия моя еще и в том, что даже не могу дать волю эмоциям, поскольку поддержание порядка — тоже на мне! Улыбаясь, кинулся в танец:

«Господа, господа!» Под презрительным взглядом ее — праздник дотянул, временами цепенея у зеркала: «Все! Пропал свитерок!»

Но чувств своих полностью не смог задушить, поэтому, когда прозвучал вальс-финал, и официальная часть была, так сказать, закончена, и мы высыпали, приплясывая, на темное шоссе, окаймленное белым пушистым снегом, и друзья, радостно гомоня, уехали, — тут я дал себе волю! Вернее, попытался себе ее дать... но дал — ей! Поскольку — лишь размахнулся — тут же получил четко костлявым ее кулачком в нос! Кровь хлынула на многострадальный свитер. «Проклятье! — мелькнуло в сознании. — Теперь уж его точно не отстирать!» Кровь с вином — коктейль замечательный. И соли, чтобы посыпать, нет — если не считать той, которую машины перемешивают с грязью на дороге. Мы перешли на ту сторону и там дрались, хотя «дрались» — это сказано слишком обобщенно. «Вес мухи» против «веса быка»! Легко представить, на чьей стороне были симпатии толпы! Она приплясывала, зверски ощерясь (кой-какие зубы у нее тогда еще были), и неожиданно ударяла мне то в губы, то в нос — сама же, будучи маленького роста, была практически недосягаема для моих кулаков.

Народ буквально неистовствовал! Все ставки были сделаны на нее! Свитер не отстирать уже никогда! Представьте мое отчаяние: кто же из нас прав? Судя по народу — целиком она! А что же я? Сколько раз я делал для нее хорошее — спасал, вытягивал, а теперь она бьет — и все ликуют. Так как же тогда надо жить? Попробуй разгадай душу народа! Сойдешь с ума! Этого не случилось лишь потому, что подошел автобус, временно все прикрыл, как занавес в бурной пьесе. В автобусе, стиснутые людьми, азартно болеющими за нее, мы не смогли, однако, продолжать эту столь полюбившуюся им драку — только плевались. Юбилейный праздник, в общем-то, удался — в основном, правда, для зрителей. Потом мы вывалились на шоссе, у белеющего во тьме залива, и мне пришлось толкать ее вверх, в ледяную гору, по улице Кавалерийской, ведущей к Дому творчества, — для драки не было рук, так что драки опять не было — может, сказывалось отсутствие болельщиков, нездорового угара? Добравшись наконец до номера, мы рухнули спать, и во сне злоба и отчаяние как-то выветрились, все вылетело, видно, в форточку, открытую в чистый сосновый лес.

— Вен-чик! — утром послышался ее звонкий

голосок.

— ...Ну что? — Я согнулся у раковины над свитером, пытаясь отстирать... Пропала вещь!

— А пив-ко есть у нас? — С подушки смотрело ее свежее, выспавшееся, веселое личико. Ну что делать с ней?

Я выдержал паузу... сколько смог... но смог я недолго.

— ...Е-есть!

— Так дай же его скорее мне! — сияя, воскликнула она.

Значит, могли мы с ней добывать благодать и в такой ситуации? Значит, объединяло что-то нас и помимо пива? Видать... Кончилось?

Я лежал с закрытыми глазами... долго еще там она? Наконец гулко хлопнула форточка. Пауза. Зашелестели шаги. Я сдавил веки еще плотнее. Не хочу! Шаги ее рядом со мною затихли... Глядит? Сейчас, наверное, зарежет! Ну и пусть!

Упала рядом со мной, со вздохом прижалась. Едкие слезы — ее или мои? — защипали скулы. Потом — отпихнулась ладошками, встала и ушла.

Глава 2

Ночью разбудил меня громкий звонок. Вскочил, заметался в темноте, пытаясь понять, где я. Если в гостинице — то где здесь телефон? Потом понял, что дома, и нашел аппарат.

— Алло.

— Ты дома? — после паузы хриплый, обиженный голос дочери.

— Я?.. Да.

— Приехал?

— ...Вроде.

— А почему не позвонил?

Отбился:

— А почему ты так поздно звонишь?

— Я? Поздно? Половины одиннадцатого еще нет.

— Как? — глянул на часы. — Да... Действительно.

Измученный перелетом, а также теплым приемом, рухнул, уснул. Поэтому кажется, что сейчас глубокая ночь.

— Да... Так и чего ты звонишь?

— ...Мне не нравится мать!

— Но матерей, знаешь, не выбирают, — пытался

все в шутку перевести.

— Напрасно смеешься — все очень серьезно! — Настя одернула меня.

Помолчал, осознавая серьезность.

— Ей уже слышались голоса. Теперь добавились зрительные галлюцинации. Все это время она уверена была, что ты не во Франции, а в окошке напротив сидишь! Видела там тебя!

— Да... От такого варианта, особенно по сравнению с Парижем, в восторг не могу прийти. Насколько я знаю — там нежилой фонд?

Пытался еще удержаться за легкомысленный тон. Может, так все оно и рассосется?

— Ее надо срочно в больницу! Пока... разрушения личности, как я надеюсь, обратимы еще!

— В больницу? В... эту?

— Ну а в какую еще?

Наслаждается своей решительностью? А ты со своей мягкостью куда все привел? Настя права — с каждой неделей тут хуже. И — тебя за это надо благодарить. Ее в ту клинику определили еще когда? Но ты — проявил мягкость. Зато — целое лето ей подарил. Подзагорела, окрепла. И?

— Да. Ты, пожалуй, права. Надо подумать.

— Не думать надо, а действовать. Ты помнишь — там мой приятель работает. Стас Николаев? Он

ждет. У тебя есть его телефон?

— Но сейчас-то, наверно, он спит? — пытался все же концовку смягчить улыбкой.

— Ну, сейчас, может, и спит. — Дочурка наконец-то смягчилась, улыбнулась. — Но завтра утром ты ему позвони.

— Слушаюсь! — вытянулся у аппарата. Аккуратненько трубку положил. Потом на жену поглядел, мирно спящую. Ну просто ангел. Так бы и всегда!

Конечно, все мои поблажки ей губительны — но с другой стороны, кроме этих поблажек, какие еще радости жизни остались у нее? Бутылки, по углам запрятанные? В них давно уже не праздник, а чистый ужас разлит. А праздник — лишь я могу ей устроить. Чем-то надо радовать ее? Показывать, что жизнь еще не кончена?

Этой весной у нее глюки начались — стала слышать вдруг, как я разговариваю под нашей аркой, причем — с бабой. И о любви! Странное вообще место для подобных дел — под нашими окнами... Но ей — удобнее так. Да и дело вообще-то малопочтенное, учитывая возраст наш: за шестьдесят! Бреду, увы, не прикажешь! Встречала слезами меня:

— Ну что?.. Наговорился?

— Ну слушай... Ни с кем я не говорил!

Галлюцинации — убедительней жизни. По ночам разговоры мои слышала, даже когда я рядом с ней спал. Это ей несущественным уже казалось: притворяется! В конце концов появился этот Стас Николаев, Настин дружок. Приговор произнес: немедленно! Пока еще можно те голоса заглушить.

Сходили тогда с ней на собеседование, в дом скорби. Печальное зрелище. Вышли — пока?

— По-моему, нормально, — бодро заговорил я, — и врачи люди приятные, и... обитатели мне, в общем, понравились. Видела — там один по мобильнику говорил? Привилегированное местечко!

Не разделяла мой восторг, слезы глотала.

Потом был последний день перед ее уходом. Собирались вяло. Главное, не сказать бы — «сбираться»... как говорила ее мать... что как раз в подобном заведении дни закончила. И тут мне Саша Рубашкин позвонил, прямо из Литфонда, сказал, что дача освобождается и что если я приду сразу, то она — моя! Сбегал, вернулся.

— Порядок! — жене бодро сказал. — Сходишь на месяцок в больницу, а оттуда — на дачу. Запахи!.. представляешь? Все лето там проживем!

В слезках на ее ресницах засверкали огоньки.

Обрадовалась.

— Давай, — расщедрился я, — на рынок сейчас с тобой сходим, одежду на лето купим тебе.

— Давай! — радостно встала. Как легко праздник-то ей устроить!

А когда летние свои увидит одежды!.. легче ей будет уже в больницу идти. Представлять уже можно, в чем она станет по заливу гулять!

На Апраксин рынок ее повел, где, раскинувшись на раскладушках, сиял и пах секонд хэнд. Вполне удачные вещи попадались там!.. особенно для дачи. А в тот день нам особенно везло, отличную летнюю одежку мы ей нашли — легкое платье цвета хаки, белые шорты, сандалии с веревочной подошвой. Хоть сейчас на курорт! Неужто это Бог нам с насмешкой подал перед заточением ее в темницу? Не может быть. Было тепло, с луж на асфальте пар поднимался и поднимал наш дух. Умели в счастье жить, пропуская беды, забывая про них... а что, если попробовать еще раз? Ведь явный шанс нам подкидывают — даже глупый поймет. Остановились вдруг, глянули в глаза. Совпадение полное. Поняли, ничего еще не сказав.

— А можно я не пойду в больницу, а? — проговорила она. — Я справлюсь, справлюсь! Честно

говорю! — для убедительности кивала продолговатой своей головкой.

Я смотрел на нее. Так легко сделать ее сейчас счастливой, неужто я скажу — «нет»? Что думать тут? Теплая площадь с паром над лужами — или затхлый больничный коридор?

— А давай! — махнул рукой я.

Неприятности никуда не денутся — а пока... Мы поцеловались. Стояли, счастливые, в теплом пару. Что — лучше бы этого не было? Ну уж нет! Только это и запоминается в жизни. А что всех нас ждет печальная участь — ясно и так. Но лучше — не сразу! И лето — жаркое вышло, и она действительно не пила, и все вокруг на дачах любили ее, часа два в магазин ходила — у всех калиток останавливали ее. Летний рай.

Но сейчас-то уже осень. Все беды вернулись. И тоже, выходит, окрепли? Раньше она голоса только слышала — теперь добавился видеоряд. Теперь она меня еще видит, напротив в окне, в какой-то «мыльной опере», в запутанных отношениях. Якобы я сижу с какой-то бабой на подоконнике (отличное место!) и восклицаю, хватаясь за виски: «Это ужасно, ужасно!» Я?! Хоть бы книги мои уважила: где-нибудь у меня написана подобная чушь? Двадцать книг выпущено, и такого — ни-

где! Наплевать ей теперь на это. У бреда — свой вкус, и чем хуже, тем лучше, тем чаще можно водку хлестать!.. Но было же — лето? Или я и с этим был не прав? Может, ее бы уже вылечили? А это мы проверим сейчас. Осень — время тоскливое, можно и в больницу пойти. А может, утром опять выход придумается, как тогда? Но тогда — лето начиналось. А теперь — кончилось. Дождь по железу гремит. Встал, на кухню пошел. Пока чисто поле боя, надо диверсию совершить какую-нибудь. Заглянул в ее шкафчик, в углу. Батарея бутылок. Последняя — чуть начатая. С отчаянием в умывальник вылил ее. Вот так вот! И шкафчик к холодильнику придвинул, чтоб дверку не открыть.

Слишком часто идет этот сон, и всегда почему-то поутру. Что я обменялся почему-то на другую квартиру и просыпаюсь — явственно просыпаюсь — в унылой, другой. Вместо своих высоких окон с отчаянием вижу перед собою какие-то мутные «бычьи пузыри», за тощими стенками с драными обоями слышу соседей: кто-то кран на общей кухне открыл, радио дребезжит... Одно ясно — это из-за нее, связано с нею. Беда — она затопляет все, прежнего не оставляет. Долгое отчаяние. И удивительная достоверность. Сдираю

клочки обоев, от них — сухое белое облачко, собираю острые куски отлупившейся белой краски меж окнами. Это не сон! И последним усилием как-то выдергиваю себя оттуда, пролетаю через какую-то тьму и открываю глаза. Высокие сводчатые окна, красивый потолок. Господи — я дома у себя! Какое счастье! Значит, беда только маячит, но еще не пришла. Счастливое это пробужденье подарено еще раз. Сладкое оцепенение, наполнение сначала звуками нашего двора — тихого, солнечного, высокого. И первый — я уже привык — звук: поскребыванье какой-то пустой коробочки по шершавому асфальту, кто-то осторожно ее волокет — сам примерно такого же размера, как и она. Алчный карлик — так я его назвал. Звук этот не нарушает тишину, наоборот, как-то ее подчеркивает, обрисовывает ее своды, размеры двора. И после этого — опять тишина, самая сладкая, самая драгоценная — до первого гулкого хлопка автомобильной дверцы. Столько счастья — а я еще не вставал. Вот бы и дальше так день пошел! С этой мечтой я обычно задремываю, и следующие звуки блаженства — мерное поскрипывание пола в коридоре под шагами отца, тихое, деликатное бряканье посуды на кухне: жена уже что-то делает... будем думать еще десять минут,

пока готовит завтрак. Но ухо уже различает каждый звук — недолго тебе осталось отлеживаться: к блаженным звукам добавляются тревожные. Стук дверки о холодильник — специально подвинул, с натугой, холодильник к пустому шкафчику, где она выпивон свой таила, — теперь из-за близости холодильника его дверку не открыть — но уже бьется, пытается. Долгая пауза, мучительное размышление. Нет, не о завтраке она думает! И во дворе уже — бой, бомжи грохочут баками, опрокидывая их, разбрасывают требуху по двору в надежде найти там жемчужные зерна. Блаженство кончилось, надо вставать. Но вставать надо бодро — с любой минуты, в принципе, можно начать новую, счастливую жизнь — все зависит от слова, которым начнешь. Закидываю ноги к подбородку, выпрыгиваю с тахты. «Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга!» На кухню иду.

А вот и любимая!

Острый подбородок ее высунулся вперед, крупно дрожит. Ходуном ходят большие пальцы. Глаза ее полны слез, глубокими вздохами она удерживает их. В общем — идиллия.

— Мо-р-нинг! — бодро произношу я.

— ...морнинг, — тихо отвечает она, но смотрит мимо.

Разблюдовка ясна: зачем я испортил ей день, порушив маленькую ее тайну, сделав невозможным открывание заветной дверцы? Что она плохого мне сделала? Да практически ничего — если не считать того, что полностью разрушила наши жизни — и свою, и мою, а теперь добивает нашу, совместную. Сколько это можно терпеть? Но стоит ли начинать с этой темы утро? Тем более — отец уже нетерпеливо полом скрипит, и ему кушать нашу драму на завтрак неинтересно, ему геркулесовую кашу подай! Может, вспомнит хотя бы он, что я из Парижу накануне приехал? Задаст вопрос. А я на него отвечу. И так, слово за слово, и выстроится день? На фиг я, как таежный следопыт Дерсу Узала, с утра к разным подозрительным шорохам прислушиваюсь? Плевать мне на них! Даже демонстративно из кухни в кабинет свой ушел — пусть все само собой катится! Легче надо! Как французские товарищи: «Где ваша жена?» — «Ха-ха-ха, она в больнице!» Когда-то я так умел. Даже когда сам в больницу попал, не терялся. «Где ты так загорел?» — все потом удивлялись. «В больнице!» — искренне отвечал. Но никто не верил. В больнице, честно, у большого окна в конце длинного коридора, кое-кого обняв, щурился на солнце. И загорел. Теперь — даже из Парижа

бледный вернулся. Тупо сидючи за столом, ждал, когда из кухни любимый возглас услышу:

— Все гэ!

Так раньше радостно докладывала она — «все готово»!.. Тишина. Не удержался, пошел. Тем более и отец своими скрипами в коридоре меня извел. Не может потерпеть?

— Дай намажу! — выдернул из ее дрожащих рук нож.

С этими ее дрожаниями завтрак не настанет никогда! Да-а... теперь губы ее стали дрожать. Свои глупые надежды на счастье оставь навсегда! И даже — на элементарный порядок и какой-то покой: кроме корок от сыра, ничего в холодильнике нет. Так она тебя ждала-встречала — хотя денег оставил ей миллион!

Спокойно, улыбайся. Это же твой батя пришел, свесил свой огромный сияющий кумпол через порог — то ли здороваясь с тобой, то ли приглядываясь.

— Сейчас, батя!.. Ну ладно — садись!

Гонять еще по коридорам его, в девяносто два года, как-то нехорошо. Он-то не виноват: честно овдовев, продал свою квартиру, переехал к нам. «Завтрак как трагедия» — тема не его диссертации, он всю свою жизнь селекцией больше

увлекался, кормил сперва всю страну, теперь — нас. Поэтому и не будем отвлекать в сторону его с капитальной дороги в мелкие тупики. Поставил кашу перед ним, к жене повернулся.

— Да у тебя же газ опять не горит! — не удержался, рявкнул на нее. И тут же исправился: — Вот спички проклятые! Кто выпускает их только? А-а! Хабаровская фабрика! Ну, тогда все ясно — пока едут, обсыпятся! — весело шлепнул ее по спине, она робко улыбнулась: «Спасибо».

Может, вылезем? Но тут батя вступил. Аккуратно кашу доел, отодвинул плошку, губы утер.

— Хоть и не хочется поднимать эту тему...

Ну так и не поднимай!

— ...но все же придется!

Зачем? Раз я уже вернулся и пытаюсь как-то наладить жизнь — зачем делать заявления, тем более если не хочется?.. Назло?

— ...должен сделать заявление! — упрямо повторил.

Ясно — уже из чистого упрямства, чтобы продемонстрировать, что он еще кремень, а мы все — тряпочки рваные, не годимся никуда.

— За все время твоего отсутствия...

Чайник поставил перед ним! Пей, отец, чай и не круши нашу зыбкую платформу!.. Помолчал,

потрогал ладонью чайник, удовлетворенно кивнул, однако продолжил:

— ...за все время твоего отсутствия... она ни разу не давала мне есть!

Гордо выпрямился: мне рот не заткнешь! Нонна стояла у раковины, ложка в ее руке колотилась о чашку... Договорил-таки!

— Ну зачем, отец, сейчас-то вспоминать?

— Я только констатирую факт! — проскрипел упрямо.

«Не все факты обязательно констатировать!» — неоднократно ему говорил. Но... в девяносто два я тоже, наверное, буду за своим питанием так же следить.

Ну что? А я-то мечтал поделиться парижскими впечатлениями! Никто и не вспомнил о них. Губы Нонны тряслись.

— Я что... ни разу не кормила тебя?

— Нет! — Он вскинул подбородок.

Мне, может, уйти? Мне кажется, они мало интересуются мной, тем, что я сейчас ощущаю. Ощущаю себя булыжником, который они швыряют друг в друга.

— Ни разу? — Она яростно сощурилась.

— Ни разу! — Отец даже топнул ногой. — И ты, Валерий, учти: если ты опять уедешь — я не

останусь здесь!

— И уходи! — Нонна швырнула в гулкую раковину ложку, ушла. Батя, что интересно, спокойно налил себе чаю. Порой, даже в минуту отчаяния, восхищаюсь им.

— Сахару дай, — приказал мне сурово, указав пальцем на сахарницу.

Протянул ему ее.

— Спасибо. — Батя кивнул.

Отец, шумно прихлебывая, пьет чай. Нонна, наверное, плачет.

Так начался трудовой день.

Глава 3

Отец прошел мимо меня с длинной оглушительной трелью в портках: поел, стало быть, все-таки хорошо, одобрил появление сына в своеобразной манере — тут, стало быть, можно быть спокойным.

Займемся инвентаризацией. Парижские сыры. Эйфелева башня в натуральную величину. Сейчас это явно не прозвучит: у бати вызовет осуждение (бросил отца), у Нонны, наверное, ярость: «Хватит врать, ни в каком Париже ты не был!» Спрятать все это? Но обидно как-то. Все-таки в Париже я был и блестящий доклад, говорят, произнес, на стыке этики с экономикой... Лишь здесь я не нужен никому. Положим в кладовку — до лучших времен. Которые вряд ли наступят. Со скрипом дверь в кладовку открыл. Когда-то я просыпался, аж в глубокой ночи, от этого скрипа. Одно время свой выпивон она в кладовке скрывала, справедливо полагая, что в этом хаосе какая-то сотня бутылок ее останется незамеченной, но потом они стали падать на голову, как только дверь открывал. Из-за избытка тары пункт этот пришлось закрыть. Теперь я свое

тута спрячу — она сюда не сунется, здесь она уже была. Со слезами дары свои прятал! Обрадовать хотел, но, чувствую, кроме обид и оскорблений, ничего не буду иметь. Пусть Лев Толстой за ними присматривает — белеет тут его бюст. Друзья както в шутку приволокли, какое-то время честно я на рабочем столе его держал, но яростное его выражение достало меня: работаем как можем, нечего так глядеть! Сослал его в кладовку, хотя и уважаю; вот сейчас исполняю низкий поклон. Пожалуй, спрячу даже все в него (внутри у него полость) — доверяю ему самое мое ценное на сегодняшний день! И прикрыл бережно дверку.

И вздрогнул воровато: Нонна, улыбаясь, из комнаты шла! Как ни в чем не бывало, будто трагический завтрак приснился мне. За это я ее и люблю: зла не помнит. Особенно — своего.

— Ну что, Веча, кормить мне тебя? — ласково спросила.

Я, конечно, растрогался — но вроде бы накормила уже? Сыт, можно сказать! Снова батю приглашать, все по новой? Хватит пока.

Просветлению ее я-то рад, но лучше не напрягать ситуацию, на прочность не пробовать ее. Вот стоим, радостно улыбаясь, — и хорошо.

— Спасибо, я не хочу.

— Ну так отца тогда надо кормить! — помрачнела.

И отца она уже «накормила»! Поспала, забыв все плохое? Вот и хорошо.

— Мы тут поели, пока ты спала, — сказал осторожно. Не дай бог — обидится: «Вот и живите без меня!» Но она — рассмеялась:

— Ой, как хорошо-то! А то я иду, думаю: чем же вас кормить? — Она дурашливо нахмурила лоб, прижала указательный палец к носу.

«Раньше надо было думать!» — мог рявкнуть я, но опустил эту возможность: пусть всегда сияет и не думает ни о чем. А если задумается — быть беде. Чуть было не задумалась: вовремя остановил.

— Ты не волнуйся — все хорошо! — обнял ее костлявые плечики.

— Пра-д-ва? — подняв глазки, робко проговорила она.

— Ну! — воскликнул я.

Если она помнит «наши слова» («пра-д-ва» вместо «правда», например) — то удержу ее на плаву. Слово — самый прочный канат.

Мимо прошел отец, одобрительно попукивая. Идиллия!

В руках он торжественно нес трехлитровую пластиковую банку с золотистой жидкостью —

почему-то любил выносить ее, чтобы все видели. Когда не было сбора публики — выжидал, держа ее у себя в спальне. Дошел до туалета, громко защелкнулся. Оттуда донеслась знакомая трель. Мы с Нонной переглянулись, засмеялись: вся семья в сборе, функционирует нормально!

Потом мы звонко поцеловались, и я пошел в кабинет — записать эту идиллию, но не успел еще записать, как она развеялась: донеслись с кухни отчаянные стоны жены и какой-то стук, словно форточка колотилась под ветром, — но вскоре слух уловил некоторую аритмию, означающую участие человека. Пытался не отвлекаться, но как тут не отвлечешься: имеет место продолжение кошмара! Нонна бьется, как птичка, пытаясь открыть дверку шкафчика с живительной влагой, которую, кстати, я вылил вчера, да еще зачем-то придвинул холодильник к шкафчику, чтобы дверка не открывалась. Садист!

Надо как-то смягчить все. Купить ей выпить? Ну нет! Опять я окажусь в непотребном виде в том окне-телевизоре напротив, вызывая ненависть: такой «благодарности» от нее мне не надо, я ее не заслужил, и как-то не жажду. Надо отвлечь ее куда-то, где этих ужасов нет. Давай сочиняй рай, писака, а старческое свое бессилие подальше

засунь.

— Ну чего? — Потирая ладошки, словно чуя что-то вкусненькое, я вышел на кухню.

Нонна рывком вытащила себя из узкой щели между шкафчиком и холодильником, видно, пыталась бессильными своими ручонками раздвинуть их. Неужто такая отчаянная жажда? Вот она, расплата за веселую жизнь, которую я воспевал так упорно! Я воспевал — а страдает она. А веселились-то вместе — вместе и отвечать. Хотя — что мои моральные муки по сравнению с ее физическими, а точнее — химическими!

Что слова могут? Но другого средства у меня нет. Пока мы говорим с ней наши слова («пра-д-ва», к примеру), мы еще вместе, веревка не оборвалась. Оборвется — и Нонна полетит в бездну, из которой ее мне уже не достать. Ну! Открывай рот! Или только для посторонних ты сочиняешь что-то утешительное, а как беда близко подошла — не способен?

«Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга» — осталось только для постороннего использования, а мы — не выдержали? Я оглядел поле боя, понял, что повергло ее в такое отчаяние, требующее немедленного выпивания: на столе была местами прожженная гладильная доска, рядом

сипел паром утюг. Натюрморт простенький, но для нее — страшный. Душевная слабость ее достигла предела: раньше все было ей интересно и легко, все в доме сияло, теперь ей в тягость любое усилие. Сразу — отчаяние, и тут же — в шкафчик. Холодильник не сдвинуть ей — долго ей мучиться с этой дверцей, думая, что там что-то есть! Ну и пусть лучше *это* думает!

С веревок, протянутых в кухне, свисала, как летящий дракон, полузасохшая простыня — предстоящая битва и угнетала Нонну.

— Ишь ты, чудовище какое! — Я сорвал простыню с веревки, кинул на доску, топая утюгом, начал небрежно гладить, чтоб не подумал никто, что у нас тут какие-то трудности!

— Конец по полу волочится... грязный будет! — робко показала пальчиком она, слегка смущенная.

— Ну и что? Пр-ростыня и должна быть гр-рязная! Пр-равиль-на?

— Пр-равильно! — подтвердила она.

— И отлично! Вот так вот! — Я небрежно швырнул «растоптанного дракона» в кладовку (он плавно и нежно опустился на бюст Толстого), потом воинственно огляделся: ну кто еще мешает нам жить? Никто больше не признался... Дальше

что? Надо развивать успех, пусть даже такой, не давать ей горюниться, падать духом.

— Смотри — погода отличная!

Сам вовсе не был в этом уверен.

— ...пойдем?!

— ...Куда? — устало проговорила она.

Да уж не в пивную же!

— Ну... просто так... погуляем!

— ...А, — без выражения проговорила она и, помолчав, кивнула в сторону отцовского кабинета. — Тогда и этого надо брать... а то сидит целые дни, даже фортку не открывает!

Все-таки как-то они заботились друг о друге, пока я там где-то блистал, и в ссорах их больше человеческого, чем в докладах моих на тему этики.

— Ну давай... — произнес я неуверенно.

Прогулочка будет еще та! «В одну телегу впрясть не можно коня и трепетную лань!» Вознице — то есть мне — нелегко придется. Тебе вообще придется нелегко — легко, как это ни прискорбно, тебе, наверное, не будет уже никогда. Тяжелей — будет! И, глядишь, еще эту прогулку вспоминать будешь как рай!

— А? — Отец ошарашенно поднял лицо от книги: почти ложится на страницу, когда читает. — Гулять?! — С вожделением поглядел на книгу.

— ...Ну давай.

Тоже, видимо, жертвует собой. Да и Нонна идеей не горит — одну туфлю надела, другую держит в руке и, прислонясь к стенке, откинув в отчаянии голову, закрыв глаза, сидит на маленьком стульчике в прихожей. Мне больше всех, что ли, нужно? Мне — только и гулять: три книги не успеваю закончить, мне бы сидеть и сидеть — а уж никак не гулять в рабочее время, ублажая ближних, которые не хотят сами себя в порядок привести!

Мы вышли из двора, пересекли Невский, косо освещенный. Ч-черт! Вроде бы самое красивое место на земле — плавный изгиб улицы к величественной арке Главного штаба, — но все раскопано, перерыто, ржавые трубы, идти надо по грубо сколоченным, шатающимся мосткам — бурная подготовка к юбилею города, даже еще более, наверно, мучительная, чем будет сам юбилей!

Отец, стоически улыбаясь — мол, я терпелив, все снесу, — при этом специально, похоже, раскачивал хлипкие перила, демонстрируя, как все нынче плохо. Нонна застыла в злобе, не глядела на меня — мол, если хочешь меня мучить, так мучай хотя бы дома, а не у всех на глазах.

Страдалица! Один я тут счастливчик: угомоню их (что, наверно, не раньше полуночи будет), потом только сяду за стол! Счастливчик.

Мы на четвереньках почти выкарабкались на площадь. И тут разрыто! С какой-то подозрительной энергией копают — плиты на площади, недавно совсем торжественно уложенные, выворочены, валяются (как недостойные, видимо, юбилея), земля разрыта вглубь метра на три! Гулять придется, как на Курской дуге на следующий день после танкового сражения!

Нонна уже с открытой ненавистью глянула на меня. Я что — специально? Только природу, слава богу, не удалось им охватить ремонтом — солнце сияет, как и при Карло Росси! После утреннего заморозка Александрийский столп в сизом инее, но с солнечной стороны — гладкий, оттаявший, с легким паром.

— Гляди, как интересно! — отцу-натуралисту на столп показал: надо же и для него постараться.

Озабоченно сморщась, отец увлеченно рванулся туда — еле я изловил его на краю провала, вывел на правильный путь. Тоже уже легкий стал, почти как Нонна, — но в каждом еще уйма страстей, порой безумных! Так что твои страсти, если они у тебя остались, задвинь и забудь!

Особенно рвали меня мои ближние, когда ступили мы на твердую почву, вылезли в Александровский сад. Тут, на садовых дорожках, каждый мог показать, на что способен, — отец ступал медленно, вдумчиво, время от времени, как истинный натуралист, вдруг цепко хватал желтый лист на ветке, подтягивал к глазам, потом вдруг резко отпускал ветвь, чем-то недовольный; Нонна резко убегала вперед, рассыпая на ветру искры с сигареты, потом разгневанно прибегала назад, кидала взгляды: сколько будет еще длиться эта пытка? Лишь я, умиротворенный, шел абсолютно счастливый: что может быть лучше прогулки золотой осенью в чудном старом саду! Только вот Адмиралтейство, включая шпиль и «кораблик негасимый» на нем, почему-то заколотили фанерой, что-то там делают.

— Да-а, — горестно вздохнул отец, взирая на это.

Я, что ли, тут виноват? Упрек явно мне предназначен!.. Но все равно не бессмысленная прогулка: хоть какой-то живой румянец появился у них. Я, правда, в результате молчаливым осуждением был награжден: домой шли не разговаривая, так и вошли. Мое терпение, кстати, тоже не безгранично: как бы я кого-то не осудил!

— Ну что — жрать подавать? — произнесла она уже вполне злобно.

— Да! — рявкнул я, не сдержав себя, и ушел в кабинет — зафиксировать эту выдающуюся прогулку: кому еще на свете удастся такое совершить?

Был прерван громким бряканьем посуды, слегка, мне кажется, раздраженным. Прежнее ее звонкое, радостное: «Все гэ!» — отошло, видимо, вместе с нашим счастьем! А ты, сволочь, все пишешь, все записываешь и за это надеешься бабки получить?!. Ну а на что же еще надеяться?

— Иди, — отрывисто бросила она, мелькнув в дверях.

От такого приглашения аппетит как-то пропал — отца надо более радушно пригласить: найти силы.

Вошел в тесную комнатушку его (надо признать, тут Нонна права, довольно плохо проветренную), положил руку ему на плечо. Он своей лапой (гораздо больше моей) прикрыл мою, слегка сжал. Сочувствует?

— Пойдем поедим... что ли! — проговорил я.

Отчаянному моему «что ли» вскользь усмехнулся: понимает все. А еще бы ему не понимать, раз он в самой гуще стоит!.. а за эту его мнимую

отстраненность я благодарен, надо сказать: не хватает еще, чтобы и он рвал душу, как я, от чего ужасы бы только удвоились. Пусть отдыхает, якобы в стороне. С небольшим усилием он поднялся, и мы пошли унылой чередой по коридору на кухню.

Нонна стукнула тарелкой перед отцом — явно уже не дружественно. Повторяется! К обеду силы ее абсолютно кончаются — побеждает Зеленый змий. Глаза ее подозрительно блестят — хотя что тут подозрительного? Все ясно, наоборот! Дверки «заветного шкафчика» приоткрыты. Все-таки умудрилась забраться туда? Но я же собственноручно все вылит! Значит, не все?.. А, пропади оно пропадом! Есть же у жизни конец? Вот он и глянул. И спокойно это прими по возможности — это, говорят, гораздо хуже бывает. А тут — тихомирно, все свои!.. Вот то-то и обидно, что от своих гибель пришла! Но, наверное, чаще так и бывает — посторонних хлопотно привлекать. Все верно.

Неприятная, надо сказать, у отца привычка: сгибаться, сморщившись, над тарелкой и глядеть на содержимое так, словно какашку тут ему подали, а не еду! Не понимает, что Нонна на срыве, не обязательно тут претензии предъявлять! Хозяйство так все равно не поднимешь, а ее можно

в больничку загнать... Хотя этого вроде все равно не избежать.

Поковырялся отец — и брезгливо, величественно тарелку отодвинул: царственный жест!

Солнце сделало круг и кухню озаряло сейчас отраженным светом от окон напротив.

— Не будешь? — Нонна произнесла.

— Не-а! — как-то даже легкомысленно ответил отец.

Нонна смотрела на него налитыми своими глазами, потом взяла тарелку, повернулась с ней к мусорному ведру: недружественный жест!

— Постой! — вскричал я. — Зачем же выбрасывать?

— Ты, что ли, доешь? — проговорила она презрительно.

Да. Я доем! Доем, выблюю — и снова доем! Она злобно сгребла зеленые шарики с отцовой тарелки на мою. У меня и своих хватало. Да-а. Я повел носом, стараясь незаметно... Да-а. Пахнет так, как порой в комнате отца перед проветриванием. Не та ли это долма (фарш в виноградных листьях), что я перед Парижем купил? Долма допарижская! Может, она в холодильнике держала ее? Да нет. Судя по запаху — вне! Холодильник ей нужен для более важных дел! Помню, она перед отъез-

дом как раз потчевала меня этим — кстати, еще враждебнее, чем сейчас. Сберегла, стало быть, и враждебность, и долму. Лишь долму слегка подгноила — и вот теперь подает.

«Ты, Нонна, гений гниений!» — весело говорил ей, пока было еще веселье. Но сейчас комплимент этот удержал при себе: нечего баловать ее — и так разбаловалась!

Молча стал есть. Из пищевода пошла встречная волна — но я властно ее подавил, пропихнув две долмы, потом еще и еще! Есть источник раздражения — уничтожим его! Оставим чистый стол — и никаких раздражений! Улыбка легкой отрыжкой перекривилась, но взял себя в руки, улыбкою ослепил.

— Кончилась? Жалко. А ты что ж не ешь?

— Не хочу! — она ответила мрачно.

Если это отравление — то слишком грубо обставленное. Впрочем, тонкости давно уже не волнуют ее.

Отец еще посидел, тронул своей большой ладонью чайник, убедился, что он холоден как лед, и поднялся.

— Спасибо, Нонна, тебе! Будь здорова! — произнес он с едва заметной иронией.

— И тебе на здоровье! — с насмешкой более

заметной отвечала она.

Когда-то этот ритуал держал нас так же, как «доброе утро» перед завтраком. Теперь все вкус отравы приобрело, как та долма, что я только что докушал. Батя хоть жизнь свою сберег, а я для сохранения мира в семье своей рискую, получив лишь насмешку бати и презрение жены.

Посидел, лучезарно улыбаясь. Нонна мрачные, нетерпеливые взгляды кидала — мешал я, видимо, тут какой-то созидательной деятельности!

— Ну, спасибо тебе! — Я наконец поднялся.

Ирония непрочитанной осталась — какие-то другие эмоции вызвал. Ушел.

За письменным столом сразу почуял легкое недомогание: по животу волны шли, снизу вверх, заканчиваясь во рту, где я гигантским усилием их тормозил. Они могли и подальше заканчиваться — в унитазе или, например, на полу, но я их удерживал, нанося, видимо, здоровью непоправимый вред. Организм хочет от чего-то избавиться, а я не даю: звуки рвоты, мне кажется, могут нарушить наш хрупкий покой! Потом появилось какое-то странное восприятие всего, словно я на все это, в том числе на себя, откуда-то издалеча, чуть не из космоса смотрю. Знакомое ощущение, еще с детства: такое было, когда я скарлатиной начал

заболевать, едва не сведшей меня, кстати, в могилу. Пора? Тогда были вызваны врачи, что сейчас, я чувствую, неуместно. Зато — мгновенное решение всех проблем! Моих, во всяком случае. А они пусть свои решают.

Я, казалось мне, далеко улетел. Комната уже каким-то далеким воспоминанием казалась. И вдруг телефон зазвонил — далеко, глухо. Не может быть, что это меня! Такого давно уже в этой комнате нету. Но кто-то звонит и звонит. Все еще пытается дозвониться. Видно, любит меня. До трубки дотянулся. Рука моя страшно длинной показалась. Потом долго — наверное, час — трубку нес к своему уху. Точнее — к тому облаку, что осталось от моей головы.

— Алло! — Слово это, оказывается, помнил.

— Ты там спишь, что ли? — голос Кузи.

Ага, сплю. Вечным сном. Но — пришлось возвращаться. Вспомнил дальним краем сознания, что Кузя просто так не звонит. Слово его теперь — на вес валюты. Стоит реинкарнироваться.

— Да нет. Слушаю тебя! — произнес я.

Кузя раньше довольно скромно стоял. Единственный его печатный труд — брошюра «Гуси в Англии», но эти гуси неожиданно высоко его вознесли: член всяческих международных ко-

миссий, определяющих, кого из наших брать на мировой уровень. В Париж, конечно, он своеобразно меня пригласил. Вместо себя. Аккурат одиннадцатого сентября мне позвонил, когда весь мир смотрел, как «боинги» в небоскребы врезаются. Но говорил так, словно он единственный в мире об этом не знал. Мол, не хочу ли я тут в Париж *слетать*. У него самого, к сожалению, «руки не доходят». А у меня как раз такое положение дома было... что руки за все хватались. Погибну? И хорошо! Вылетел. И вышло удачно. Другой возможности у меня не было в мировую элиту влететь, а так — уже заторчал в их компьютерах... Если Кузя меня с корнем не вырвет.

А может, снова какая катастрофа, не дай бог, и он опять меня вместо себя посылает? Пушечное, точней, самолетное мясо? Но счас я и на это готов пойти!

— В Африку не хочешь слетать? — небрежно проговорил Кузя.

Я поглядел на мокрое царство за окном... Хочу ли я в Африку!

— Это в связи с Парижем, что ли? — уже как бывалый международный волк просек я.

— Ну! Компашка та же самая! — лихо произнес он. Будто мы с компашкой той лихо кутили. Этого

не замечал. — Ну, там больше — этический будет уклон. Моральное осуждение нефти, загрязняющей не только физическую, но и духовную сферу. Расскажешь что-нибудь в масть.

Крупным международным экспертом становлюсь по этике и эстетике.

— Ясно! — усмехнулся я. — Какой-нибудь нефтяной магнат отмыться хочет нашими слезами.

— Точно! — хохотнул Кузя. — Умеешь ты это... влепить! Поэтому и ценю тебя. И посылаю.

А эти как останутся тут — без этики моей и эстетики?

— Вообще-то Африка меньше других, мне кажется, нефтью загрязнена, — пробормотал я.

— Ну, — усмехнулся он, — тут этика захромала твоя. Неловко даже как-то. Тот, кто любит ездить в Париж, и в Африку должен любить ездить.

— Вообще-то да... А когда надо?

— Во вторник в Москве, в той же конторе. Вношу?

— Спасибо тебе.

Кормилец! Это я уже потом произнес, бросив трубку. Я еще за Париж его не поблагодарил (подарю ему Эйфелеву башню), а он мне уже Африку на подносе дает. На деньги, в Париже сэкономленные (как это ни кощунственно звучит), месяц

можно прожить (не в Париже, разумеется), а на полном отказе от восточных нег и африканских страстей, глядишь, и перезимуем. А они тут пока помаются чуток. С голоду не умрут — денег оставлю. А дальше уж их дело. Если с ума окончательно не сходить — жить можно. К бате надо зайти. Вдохнуть бодрости. То ли самому вдохнуть, то ли вдохнуть в него. Вошел в его комнатку, снова руку ему на плечо положил. Он в этот раз как-то вяло прореагировал.

— Ладно, отец, — пробормотал я, — сейчас... Нонна немножко успокоится, и мы с тобой в харчевню какую-нибудь сходим поедим.

Батя похлопал теплой ладонью по моей руке. Тут вдруг распахнулась дверь и явилась Нонна: волосы растрепаны, глаза горят, выпяченная вперед челюсть крупно дрожит.

— Так, да? Для чего это я должна успокоиться? Что вы задумали тут?

Сейчас вцепится!

— Да Нонна, ты что? Ты и так спокойна. Ты не поняла. Просто хотим с отцом в какую-нибудь харчевню сходить. Раз ты есть не хочешь. А то я уезжаю скоро тут...

Мимоходом сообщил главное.

— ...надо, чтобы он на всякий случай знал... где

подхарчиться. И все! — Я глянул весело.

— Когда ты уезжаешь? — пробормотала она, опускаясь на стул.

— Да через неделю примерно, — беззаботно сообщил я. — Продержитесь?

Нет ответа...

Так что же? Не ехать? А что же осталось мне? Сумасшедший дом? Альтернатива — могила. Еще одной порции протухшей долмы, как сегодня, не выдержу. Сомру. Перед глазами плывет все, двоится. А так, может, спасусь?

Все! Захотят выжить — выживут. Денег оставлю им. Тут новая волна рвоты поднялась во мне. Печатая шаг, четко прошел в уборную, уверенно сблевал. С прежней жизнью покончено!

И вот настал вечер отъезда. За окнами — тьма. И лампочки светят тускло. На столе — французские сыры.

— ...Вот так, — заканчивал я тяжелую беседу. — Забыла фактически ты меня — какой я есть на самом деле. Не нужен я больше тебе... в конкретном виде!

— Да что ты, Веча! — Она подняла глаза. — Да я за тебя... кому хочешь горло перегрызу!

— ...Мне, например, — я усмехнулся.

— Да что ты, Веча! — закричала она.

Мы обнялись, и снова чьи-то слезы — то ли мои, то ли ее — щипали скулы.

Потом — уже из Москвы ей звонил.

— Ну как ты? — спросил.

— А я тут умираю, Венчик, — тихо произнесла.

— Ну-ну! — грозно пресек эти настроения.

Молчит. Плачет? Во как кончается жизнь.

— Так что... в Африку мне не ехать?

— Ну почему, Венчик? Ты поезжай! Если ты хочешь — ты поезжай!

«Хочешь» немножко не то слово.

— ...а я уж тут... — Снова умолкла.

— Отлично! Договорились! — на бодрой ноте закончил я. А то если начнешь таять, растаешь до конца.

Глава 4

Когда я летал за границу в советские времена, рядом сидели только проверенные товарищи: вдумчивые, интеллигентные, многие — в очках, большинство — в бородках. Сейчас — с ужасом оглядел салон: какое-то ПТУ на взлете! Дикая публика. По-моему, даже не понимают, куда летят. Сосед мой, бритоголовый крепыш, посетив туалет, на место к себе пролез прямо по моим плечам, в грязных кроссовках.

— Э! А поаккуратней нельзя?

— А по рылу, батя? — сипло произнес он.

Да, трудно жить в новых условиях! Перед моим отъездом Кузя сказал:

— Там еще один тип от нас будет... Ну, ты поймешь!

Вроде я понял!

— ...ты постарайся как-то... уравновесить его!

Ну и работа пошла! Таких вот «уравновешивать»? «Уравновесишь» его! Вскоре он захрапел и даже солнце Африки, ворвавшись в иллюминатор, не разбудило его: таким и солнце до фонаря.

Поэтому я был потрясен, когда в Каире, на пленарном заседании, посвященном альтерна-

тивному топливу, после того как я прочел свое эссе «Сучья» (как костер из сучьев под окнами больницы спас меня), тип этот кинулся ко мне:

— Во где встретились-то! Я ж тоже на сучьях торчу!

Потом нас на пирамиды возили — такая жара, что я только высунулся из автобуса кондиционированного — и обжегся буквально и сразу обратно залез. Смотрел через стекло, как полицейские в черном, с белыми нарукавниками гоняют какого-то всадника без лицензии, кидая камни в него. Тот ловко уворачивался, сползал набок с лошади (другую лошадь держа под уздцы), хватал с земли камни и в полицейских швырял. И одновременно к туристам подскакивал, предлагая их прокатить — под градом камней. Полицейские отступили вроде — потом вдруг на белых верблюдах появились, стали дикого того всадника теснить. Господи! — с тоской смотрел я на них: мало мне своих тревог, еще эти добавим?

Тут Боб, мой друг-крепыш, влез в автобус.

— Вообще какой-то отвязанный народ! — кивнул через окно на дикого всадника, который, прорвавшись через полицейских на верблюдах, пожилую японку на лошадь посадил. Коллеги наши послушно в пирамиду лезли, в гигантский

этот гроб, а мы с Бобом снова вместе оказались, не захотели «гробиться». Ночью в притон какой-то пошли. Был там полумрак — а танец живота, дребезжа монетками на талии, исполнял почему-то мужик, что нам не понравилось.

Потом нас всех на море отвезли.

Утром лежал я перед отелем, на плотном песке, и глядел, как смуглый смотритель пляжа кормил ибисов (аистов по-нашему). Белого и черного. Как ангелы, они хлопали крыльями за его спиной, а он входил в прозрачную воду на тонких ногах (таких же почти, как у птиц) и, наткнув на крючок какую-то крошку, кидал леску, свернувшуюся кольцами, и почти сразу выдергивал. И в воздухе мелькал серебристый язычок — пойманная рыбка. Он отцеплял ее от крючка, брал в темный кулак с желтой ладошкой, заводил его за спину и разжимал. Один ибис — строго по очереди — делал грациозный шаг и склевывал рыбку.

До бесконечности нельзя на это смотреть — надо идти звонить.

Ну и мороз, кондиционированный, в этой будке, в знойной-то Африке!

— Алло! Алло!.. Отец?

Чье-то сиплое дыхание... На грани вымирания они, что ли?

— Алло... — голос отца, но абсолютно безжизненный.

— Ну как вы там?

Пауза. А вдруг все нормально у них? Делает жизнь подарки? Нет? Что он молчит так долго? Тут каждый вздох — цент!

— ...Плохо, — чуть слышно произнес он. — Ты когда приедешь?

А сам он пытался что-то улучшить? Он мужик или нет? Или главное для него — «сына порадовать»: мол, бросил ты нас!

— Что значит «плохо»? — домогался я. — Как Нонна?

— Нонна... не поднимается, — вяло ответил.

— Что значит — не поднимается?! — орал я.

— Что ты орешь? Приезжай и посмотри, что это значит.

— Так Насте позвони! — закричал я.

— ...Хорошо, — абсолютно безжизненно ответил. Потом вдруг слегка оживился: — Так Настя тут.

— Тут? Так чего ж ты?! — (На хрена мы тут деньги роняем?) — Давай ее!

После долгой паузы трубка брякнула. Хорошо, что не на рычаг ее положил! Удалился с задумчивой трелью в штанах. Хорошая слышимость!

— ...Алло! — трубку наполнил наконец мощный голос дочурки.

— Здорово! — жизнерадостно произнес я. Раз дезертировал — то надо уж изобразить радости Африки. — Ну как там у вас?

— У нас все плохо! — (Хоть бы голос убавила — зачем вещать на весь мир?) — Мамулька полностью вырубилась: уверена почему-то, что ни в какой не Африке ты, а в квартире напротив. Выбегает, орет! Пришлось Стаса вызвать!

— ...из больницы, что ли?

— Ну а откуда ж еще?!

Тоже, похоже, не совсем уравновешенна!

— Говорит — срочно надо ее...

— В больницу?

— Ну... — Настя понизила голос: — Она рядом тут...

— Вен-чик? — вдруг донесся голосок Нонны. — Так дайте же его мне!

— Лежи! — рявкнула Настя. — ...Она под капельницей у нас.

Господи!

— Ну ты не волнуйся, отец! — заговорила Настя наконец бодро. — Лекарства закуплены, делаем все... Ну, дать трубку ей? Только недолго!

Долго я и сам не смогу.

— Вен-чик, — ее голосок. — ...как я рада-то!

— И я рад.

Ажно вспотел в этой морозной будке.

— Ты когда прие-н-дешь?

С нашими буквами говорит!

— Скоро уже!

Всех отравил уже своей ложью!

— Ну, держитесь там! — выкрикнул я.

Обрыв связи. Пять минут, мною заказанных, истекли. Из холодной будки вывалился в теплый, уютный холл. Солидные, благополучные люди, медовый трубочный дым. Упал в кресло. Посидел. Потом вышел на жару. Тупо смотрел: перед сухою канавой яркий арабский бульдозер, разрисованный цветными буквами-червячками... Веселый народ!

Потом я потел в тесной многонациональной толпе в сердце пустыни, перед шатром кочевым, делил общий восторг, наблюдая, как мамаша в паранджe жарит на верблюжьих какашках (альтернативное топливо) темные лепешки и дает их чумазому ребенку. И нам надо так!

Глава 5

— Какая там Старая Русса! Мы еще Деменск не проехали! — Боб небрежно, одним пальчиком, рулил.

Сблизились мы с ним! Как я прочел на том конгрессе эссе «Сучья» — так он и не отходит от меня.

— Так я ж на эти сучья жизнь положил. Я ж на Севере служил — так там все реки сплавные сучьями забиты, гниют! Еще в армии — я механик был — такую печку соорудил, прессованными таблетками из опилок топили! Наш зампотех полка Кулибиным меня называл!

И на конгрессе он всем навязывал свою печку — но весьма прохладный встретил прием. Сблизились мы на сучьях с ним — и не надо смеяться. За грубой внешностью у него нежная скрывалась душа!.. Иногда, правда, и грубая внешность свое брала. Переночевали мы в Москве, в гостинице, чтобы «с ранья», как он выразился, стартовать. Переночевали весьма своеобразно. Он позвал меня вечером в отельный кабак — я, мучась, отказался. Решил в номере остаться, считал — не вправе кутить. Решил домой лучше позвонить

— но так и не решился номер набрать: зачем размениваться — уж лучше всю прелесть сразу! Трус!

Зато Боб себя доблестно показал. Когда я, час примерно промаявшись, все же пошел в кабак — застал там потрясающую картину. Вела туда изогнутая мраморная лестница, на второй этаж, и вся она была усеяна поверженными телами! Некоторые, постанывая, ползли вверх, видимо, не считая еще битву законченной, большинство, постанывая, ползли вниз, видимо, вполне уже удовлетворенные битвой. На верхней площадке, как памятник, возвышался Боб — грудь его дышала привольно, глаза сияли. Из одежды на нем кроме брюк остались только крахмальные манжеты. Грудь рубахи свисала вниз, как фартук, так же и спина. Тем не менее он был полностью счастлив. Некоторые из поверженных, изрыгая проклятья, все же доползали, но обессиленно замирали у его ног. Рядом с ним, почтительно скручивая ему руки, стояли метрдотель и милиционер.

«Он сказал: „Мне морда твоя не нравится!”» — пояснял Боб причину конфликта. Кто именно «он» — в этом сплетении тел определить вряд ли было возможно. Интересно: если оскорбил его

кто-то один, откуда же столько поверженных? Милиционер задал ему этот вопрос, и Боб снисходительно пояснил:

— Набежали.

Метрдотель спросил у него — как же он один справился с такой уймой народу?

— У нас в Старой Руссе все такие! — победно выкатив грудь, пояснил Боб.

— Надо будет отпуск там провести! — не без юмора произнес мильтон.

Похоже, нас отпускали.

— Ты когда домой собираешься? — поинтересовался страж.

— Завтра, — ответил Боб.

— Давай тогда пораньше. Счастливо тебе.

В фойе Боб усмехнулся, оглядев свое отражение.

— Да-а... вообще-то морда на любителя!

Мы забрали его джип со стоянки рано утром — но не потому, как сказал Боб, что мы кого-то боялись, а потому, что «дел куча». Надеюсь, не такого рода «куча мала», что была на лестнице? А впрочем — пускай! В моем состоянии все казалось благом! Как учил меня мой отец: «Лучший отдых — смена работы». Я бы сказал: «Лучший отдых — это смена ужаса». Чужой ужас — не

твой. Все что хочешь покажется развлечением по сравнению с тем, что меня дома ждет. И этот путь — последний, может быть, отдых, доставшийся мне. И я смотрел в упоении: золотые перелески, холмы, прелыми листьями пахнет. Дышится, кстати, гораздо слаще, чем в Африке. А ты думал — как?

— А это «самоварная дорога» зовется у нас, — улыбается Боб.

Мы едем вдоль двухэтажных бревенчатых домов, солнце, вставая, взблескивает в промежутках. Вдоль шоссе стоят столики, лучи протыкают золотом дым из самоварных труб. Машины останавливаются, владельцы самых «крутых» тачек, выставив на родную землю ботинок от Версаче, лакомятся шанежками, хохочут вместе с задорными старушками. Единение народа. Счастье, покой. Вот бы тут и остаться!.. но тогда не будут тебя уважать, те же бабки над тобой посмеются — тут уважают тех, кто спешит. Мы тоже проводим тут минуту — но какую сладкую — и трогаемся. Ехать бы так и ехать! Ми-ро-неги! Ми-ро-нушки! Яжелбицы! Деменск!

— Тут и начинал я! — Боб умильно озирает избушки. — Бабки пижму для меня собирали, а я сушил и платил им впервые нормально — за

сколько лет! В любую избу тут зайду — сразу в баньку!

Тело сладострастно начинает ломить — а может, действительно? Но Боб расхлябанности моей не признает — подает, наоборот, пример деловитости.

— А проблему твою решим! — произносит он строго.

...на пьянке в сердце Африки я все ему рассказал.

— Маманя у меня тут раньше работала, — указывает на домики в долине. — В Стране дураков... свозили их со всего Союза. Разбежались нынче все... в Думе заседают!

Политическая эта бестактность коробит меня — но где они, политкорректные? Он же меня везет. Все поезда в Питер оказались оккупированы футбольными фанатами: без него бы я пропал.

— Так что тема знакома. Упакуем старушку твою! — Боб обнадежил. Такая деловитость пугает — но твоя «корректность» к чему привела?.. Скоро увижу!

— Тут вот хутор у меня был — восстановил мельницу, гончарные мастерские. У меня — одного — официальный самогонный аппарат был! Иностранцы балдели!.. Пожгли! — сообщает Боб.

— ...Иностранцы?

— Ха! — произносит Боб горько. — Иностранцев, автобусы их, от шоссе девчонки верхом сопровождали, в длинных платьях, вуалях, дворянки как бы! Иностранцы...

— Понятно.

— Ну, ты понял уже? Нормальный был бизнес — но кто ж у нас потерпит его?

От родных мест, похоже, у него осталась лишь горечь. В столь молодом возрасте — ему двадцать шесть — столько уже разочарований! Не думай, что ты один страдаешь... утонченная душа!

— О! Вот же мельница! — восклицаю я.

Боб скорбно кивает — но скорости не снижает: на сантименты нет времени у него! А вон и «как бы дворянки»! Несколько дам в развевающихся длинных платьях скачут наискосок.

— Это так уже... привидения! — безжалостно усмехается Боб.

Одна из них — с золотыми веснушками — догоняет нас, из последних сил лошади скачет вровень, глаза ее зеленые полны слез! Боб, не выпуская руля, протягивает ей купюру — но она вместо того, чтобы схватить ее, гордо натягивает поводья — и на прекрасной белой лошади остается вдали, постепенно уменьшаясь. Жестоко!.. но,

видимо, надо так? Мне б так решать проблемы — не увязал бы в дерьме. Но молчать тоже трудно — не позволяет душа.

— Младшая жена? — оборачиваясь к почти исчезнувшей амазонке, улыбаюсь я.

— Моя младшая жена еще не родилась! — произносит Боб твердо.

Осталась позади идиллия, мы съезжаем с последнего холма, теперь до самого Питера будет все ровно...

И вот уже — как быстро замелькало все! — сталинское ретро Московского проспекта, раздолбанная, но людная Сенная — и уже сверкают, выбивая слезы, плавный изгиб Мойки, поднебесный купол Исаакия. На роскошную Большую Морскую. Вычурные фасады банков. Шикарные витрины. А вот и арка моя, «черная дыра»!

— Стоп, — произношу я.

— Ну, хоп! — произносит Боб, мы лихо шлепаем ладошками, ладонь в ладонь (последняя моя лихость?). И я вылезаю. Дальше, родной мой, бегом.

В арке едко пахнет мочой — даже заслезились глаза. Привыкай к отчаянью. Железная дверь почему-то цела. А ты бы хотел, чтобы все рухнуло, как твоя жизнь? Не много ли хочешь? «Всему остальному» плевать, что там у тебя. «Все осталь-

ное» живо еще! Сам справляйся. Железная дверь тут ни при чем! Моя дверь, кстати, тоже цела. Чуть выпала по краям штукатурка, а так... Отпер. Дверь со скрипом отъехала. Вдохнул. Запах — самая быстрая информация. Затхлость. Сладкая вонь лекарств. Запах беды. Ты не ошибся — попал по адресу. Заходи!.. А может, еще ничего страшного?.. Заткнись!

За поворотом коридора попался отец. Даже не попытался изобразить радость встречи. Лишь отступил быстро с дороги, аж распластавшись по стене, — мол, быстрее, быстрей! Уже даже так? А ты все еще не готов? Кто-то должен тебе все устроить? Проходи в комнату! Прохожу...

Повел медленно дверь. Здесь запах погуще. Открыл. Нонна лежала, скрючившись на диванчике, страдальчески зажмурясь, почему-то накрытая пальто. Я осторожно приблизился. Наверное, она почуяла тень на лице и сморщилась еще отчаянней. Замучили ее? Вот ты и тут! И никуда больше отсюда не выйдешь: сама собой с протяжным скрипом закрылась дверь. «Нонна!» Я качнул ее за плечо. Она так легко — даже страшно — качнулась. Родные тонкие косточки. Тела не осталось совсем. Она разлепила один глаз, другой так и остался слипшимся.

— Венчик! — прохрипела она.

Попыталась привстать, но локоть сорвался и голова плюхнулась с размаху назад. Господи! Но почему, если болезнь, то и наволочка рваная! Несчастье не щадит ничего. Чтобы поцеловать ее — встал на колени. И — как ни странно — почувствовал покой и даже блаженство: я здесь! Сухая ее ладошка гладила меня по волосам... Счастье? Дунуло в форточку... отворилась дверь? Нонна быстро села, второпях даже стукнув меня лбом. Господи, как сухая кожа обтянула ее лицо! Один ее глаз нелепо выкатился, другой почти залип.

— Венечка! Спаси меня! — прошептала она испуганно.

Я обернулся. В двери, подбоченясь, стояла Настя и худой белокурый парень. Я почувствовал, как Нонна дрожит.

— Погодите! — с отчаянием произнес я.

— Здравствуй, отец! — произнесла Настя с обидой. Вот, мол, отцовская благодарность за двухнедельный ад! И грохнула дверью.

Теперь горе уже с двух сторон! Но — сперва сюда повернемся. Я все-таки усадил ее, придерживая за спину, другой рукой гладя по тоненьким сухим волосикам на прямой пробор.

— Все, все! — приговаривал. — Теперь все бу-

дет хорошо! Теперь я уже тут, и мы все сделаем как надо! — (Я почувствовал, что она дрогнула.) — Верней, все как ты захочешь! — поправил я. — Что ты сейчас хочешь сильней всего? — (Тут она, наоборот, оцепенела.) — Давай! Ну скажи. И мы это сделаем. Ну? — уже шутливо-ласково встряхивал ее, пытаясь заглянуть в глаза. Долго тут ее мучили — надо как-то подбодрить, чтобы жизнь в ней хоть чуть-чуть пробудилась.

— Я хочу... погулять, — произнесла она тихо, последнее слово — чуть слышно.

Боится? Не выпускали ее? И форточку не открывали? Две недели подряд?

— Конечно! Какие проблемы! — воскликнул я.

Я вернулся — и теперь нормальная, разумная жизнь здесь пойдет! Законопатили ее тут — так и здоровый не выдержит. Сейчас мы с ней прогуляемся — и она оживет. От сознания все идет — а особенно в таком деле. Ведь — тьфу, тьфу, тьфу — все сейчас здоровое у нее. Кроме сознания. А оно из слов состоит! Подменим слова, вернем любимые наши, веселые — и прежнюю жизнь вернем. Ведь «формально все нормально», как шутили мы. Деньги привез. Накупим всего, а глядя на вкусные вещи, кто не будет рад? На самом деле все просто. Счастье — когда я тут — легко

сделать.

Пойду скажу им, что мы уходим... но скоро придем. Ясно — и Насте тяжело. И с ней поговорю. Всех тут расколдую!

— Сейчас, — улыбнулся Нонне, бережно положил ее на подушку. Вышел. Перед кухнею глубоко вдохнул: входим в атмосферу высокой плотности.

— Мы прогуляемся? — легкомысленно свесившись за порог (мол, даже входить для такой мелочи не стоит), произнес я.

Настя и гость глянули друг на друга, тяжко вздохнули. Мол, столько трудов, а теперь этот игрунчик все испортит — видимо, поездка в Африку окончательно ослабила его мозг!

— Отец! — произнесла Настя трагическим басом. — Врубись наконец! Пойми, что мать серьезно больна! Стас как специалист находит ее состояние очень тяжелым. Настаивает на немедленной госпитализации.

— А может... я как-то попробую... тут?

— Что — тут? — заговорил Стас. — У нее острейший алкогольный психоз. Весьма опасный. В том числе — и для окружающих! Настя говорит — она слышала голоса? Вы поймите — этот голос... ей все что угодно может приказать, вплоть... — Он

поглядел в угол, где у нас висели кухонные ножи. Настя, кивнув, собрала их в свою торбу.

— Ну говори, отец! Она слышит голоса?

Да не только голоса она слышит... А кое-что еще видит! Сказать? И этим ее погубить? Диагноз — и за решетку?

— Голоса? — произнес я удивленно.

— Прекрати, отец! — Настя жахнула по столу, заходила по комнате. — Ты бы тут посидел!

Я тут уже... поседел! В том числе — и благодаря Насте! Так что!.. Но надо же Нонне сделать хоть какое-то облегчение!.. Тем более что скоро, видно, ее придется упечь. Но счастливой, хотя бы на час, надо сделать ее? А то — отчаяние и отчаяние подряд! Кто это выдержит?

— Но от часовой прогулки на свежем воздухе, надеюсь, не будет беды?

— Но учтите — малейшая доза алкоголя ее убьет! Мы закачали в нее довольно серьезные лекарства...

— Я вижу!

— Пошли, Стас! — Настя нервно направилась к выходу.

— ...Спасибо тебе! — произнес я.

— Пожалуйста, — холодно проговорила она. — Список лекарств — на столе!

В комнате дочь стала сворачивать свои вещи — и слезы блеснули у нее. Я открыл рот, чтобы сказать ей... но тут Нонна громко застонала в спальне. Все — уже не до разговоров, надо идти.

— Ну... расскажи мне... что тут делать, — попросил Настю.

Вздохнула.

— ...Через час у нее лекарства. Вот лежат. Следи, чтобы проглотила, а то она любит прятать их. — Ну... — Мы глядели друг на друга. Тут в дверях засветился лысый кумпол отца. Как всегда, вовремя! Тяжелая ситуация еще тяжелей, когда смотрят на нее — вот так, с прищуром. Всю жизнь он злаки изучал — теперь изучает нас.

— Кстати, — прохрипел он. — Я за лекарства ей заплатил. Пять тыщ.

— Тебе прям сейчас надо? — обернулся я.

Ничего не ответив, он повернулся, зашаркал к уборной. И он обиделся? Начал я хорошо: всех уже обидел, Нонне ничем не помог.

— И не гуляй, ради бога, с ней, — устало произнесла Настя. — Все заканчивается истерикой — почему ей нельзя выпить? И затащить ее домой — целое дело... Это она для тебя уже стонет! — усмехнулась дочь. — При мне помалкивала. — Настя рванулась было туда, навести порядок,

но остановилась. — Ну все. Поехала отдыхать. Держись, отец. Вот телефон Стаса тебе.

Они вышли. Я медленно закрыл дверь. Теперь все это мое. Под стоны супруги — теперь это от меня никуда не уйдет, можно не торопиться, я отслюнил пять тысяч (разменял часть валюты в Москве), отнес бате. Тот растроганно похлопал меня по руке, взял банкноты.

— Нет, если надо — пожалуйста, — сказал он, — но пусть у меня лежат. Спокойней мне: если пойдет, то на дело. Не просто так!

«Просто так» уже, наверное, ничего не будет. На кухне бумажку взял. Расписание ужасов. В восемнадцать ноль-ноль — галаперидол. Ее матери давали. «Успокаивает» так, что не пошевелиться! Высыпал несколько штук на ладонь... Невзрачные на вид, крохотные таблетушки. Был, помню, такой журнал «Химия и жизнь». Да, химия больших успехов достигла, чем «и жизнь»! Глянул на часы: без пяти восемнадцать. Теперь и ты будешь жить по расписанию. Иди!

Нонна встретила меня, неожиданно — одетая и даже причесанная.

— Венчик! Не давай мне этих таблеток — прошу тебя! Видишь, что они со мной сделали? — (Один глаз не открывается, другой вылез.) — Я буду

хорошая. Обещаю тебе! Просто тебя не было и я переживала. А теперь все будет хорошо! Пр-равиль-на? — бодро, как прежде, воскликнула она.

— Пр-равильна! — бодро, как и прежде, откликнулся я.

Глава 6

Проснулся я оттого, что гулко хлопнула форточка. Приподнял голову. Нонны нет. Курит? Пейзаж за окном: луна, летящая в облаках, как ядро. На кухню пришлепал. Нет! В кладовку распахнута дверь. Щелкнул выключателем. Бюст Льва Толстого навзничь опрокинут, бесценные мои дары, что я под ним до времени скрывал, на полу валяются, как не имеющие смысла, — и Эйфелева башня, и французские сыры. А я-то вез! Другое искала. Понятно что! В кабинет свой метнулся: ящик стола выдвинут, бумажник вывернут, валяется сверху. Да, сомнамбулы действуют четко! Все мои африканские сбережения, предназначенные для спокойной жизни в умеренном климате, улетучились с ней: это выходная дверь вместе с форточкой хлопнула. Вот тебе и слезы в обнимку, и жаркий шепот! Дурак!

«Сколько злобы в этом маленьком тельце» — такая шутливая у нас была присказка. Теперь сбылась!

С болью дыша, сверзился с лестницы. Через двор, озираясь: может, она где-то здесь? Как же! Под аркой выскочил на улицу, на углу стоял,

вглядываясь во тьму. Через квартал — тьма подсвечена красной вывеской «Лицей». По-моему, это что-то дорогостоящее? Но деньги-то у нее теперь есть! Что ей цены? Это я притоны Африки обходил стороной — а ей нет преград! Ну все! Устрою! Двинулся туда. Какая-то старуха, изможденная, растрепанная, шла, сдуваемая ветром. Господи! Так это же она! Если бы раньше, в молодости, кто бы мне такое показал — я бы умер. А теперь — почти спокоен. Кинулся к ней. За тощие плечи схватил. Медленно подняла глаза — стеклянные, абсолютно бездонные, не видящие меня. Тряс ее, голова моталась, но взгляд ее не менялся и явно обозначал: «Ни-кого со мной нету, я од-на! Что-то мешает мне двигаться, но это уй-дет!» Такую вот богатую информацию получил от нее. Не зря бегал! Поверх мятой ночной рубашки надето пальто. Карманы обшмонал — ни копейки.

— Где деньги? — тряс ее. Бесполезно. Во взгляде лишь надменности добавлялось: «Что это? Кто это встал на моем пути?»

Господи! Я же о нормальной жизни мечтал! Рядом с нашей аркой большая витрина: пышная дубленка под руку идет с отличным пальто. «Вот, — говорил ей, — это мы с тобой идем!» — «В прошлом?» — грустно усмехалась. «Нет. В будущем!»

— отвечал. Но будущее — другим оказалось. Все убила она! За стакан водки все отдала! Заметил вдруг плотно сжатый синеватый ее кулачок — жадно ухватился, стал пальчики разжимать. Какой-то смятый фантик изъял. Расправил: сто долларов.

— А остальные где?!

Не отвечала. Лишь все большей ненавистью наливался ее взгляд: комсомолка в лапах гестапо! Тряс ее. Вот что она сделала со мной! Веселым некогда человеком!.. Как зиму теперь проживем? Холодно уже. Луна в облаках. Возбуждение сменилось унынием. Надо помирать. А — на что? С новым порывом ярости до пивной ее доволок. За дверью амбал светился, почему-то в ливрее. Элитное место! Попроще не могла найти, чтобы мне не комплексовать, не унижаться? А?.. На милость ее ты напрасно надеешься! Это не жена уже. Это — враг.

Лакей почему-то грубо себя повел — сначала вообще не хотел открывать, отмахивался пренебрежительно. Потом, когда увидал, что я дверь с корнем вырываю, открыл, но узкую щелочку. Не пролезть нам нынче в красивую жизнь!

— Что еще надо?

Значит, что-то было уже? Может, деньги удаст-

ся отбить? — жалкая надежда взметнулась.

— Простите... она заходила к вам?

— Заходила? — неожиданно тонким голосом произнес. — Так кто ж пустит ее?

Драка тут не спасет! И на его — да и на любой взгляд — зрелище жалкое. Правильно, что не пустил. Но где ж деньги?

— Постойте! — всунул в щель ботинок. — А деньги она, извините, давала?

— Да показывала стольник баксов! Но такую и за тыщу нельзя пускать!

Я задрожал.

— Между прочим... у нее высшее образование!

— У меня тоже, — сказал он равнодушно. — И что? Милицию вызвать?

— Так денег вы... не брали у нее? — совсем уже униженно бормотал. Что она сделала со мной! Пластаюсь перед надменным швейцаром.

— Послал ее... — Тут что-то человеческое трепыхнулось в нем. — В смысле — в ночной ларек. Но тут как раз вы появились.

Нормальный парень! Это только она...

— Спасибо вам!

Дверь захлопнулась. Стояли с ней на ветру. Вот она, наша с ней действительность! И не будет другой. В этой надо... как-то себя вести.

Обнял за плечи ее, осторожно к дому повел — пусть швейцар учится, что всегда надо нежным быть. Пусть видит, что не все еще выгорело в нас.

Дома я, конечно, обшмонал ее, нарушил слегка ту идиллию, что на улице представлял. Бесполезно! Несчастья она исполняет до конца!

— Зачем ты пьешь? — проговорил как положено.

— А ты зачем... был там? — пальчиком на окно мотнула, что напротив. Темное, как всегда. Опять я был «там»! А где-нибудь, интересно, я бываю еще? Ну все. Три часа ночи уже. Думаю, даже она в ближайшее время никаких ужасов не способна совершить. Но ошибся. Пихнул ее на кровать. Наискосок плюхнулась. Ничего. Годится! Для тех, кто последние деньги из дома уносит, очень даже неплохой ночлег. Почти сразу же безмятежно захрапела. Глубокий, освежающий сон!

...Но не таким уж он освежающим вышел. Проснулся от какого-то тихого, монотонного лязганья. Взметнулся, привычно уже. «Медицинская тревога»! Она сидела у меня на койке в ногах и точила большой узбекский сувенирный нож о белую пиалу. Мои любимые вещи. Чуть смерть не принял от них!

— Зарезать меня хочешь?! — закричал я.

— Себя! — завизжала она.

Вывинтил из ее пальцев ножик, вытащил пиалу. Обнял за плечи, к ее кровати отвел. Обмякла, не сопротивлялась. Только какая-то очень горячая была.

— Веч! Мне страшно! Кто-то чужой поселился в меня! Что делать, Веч?

Сама же «чужого» этого подселила! Но что теперь говорить? Стоя на коленях у кровати, гладил ее по голове. Уснула тихо. Но это уже, надеюсь, вся ее программа на сегодняшнюю ночь? Уснул — но как бы все вокруг видя. Во всяком случае, видел, как рассвело. Бледные окна напротив засветились сквозь туман. Скоро я снова «там окажусь»! Не угомонится. Надо Стасу звонить. Хотя еще рано, наверное. Телефон дал служебный, видимо? Может, домашний у Насти спросить? Да нет, пусть уж она отдыхает. Страдания все переведем на себя. Походил по квартире, все более светлеющей. Поглядывал на часы. Полдевятого уже. Наверное, можно? Психиатры, наверное, рано заступают?

Слушал гудки с колотящимся сердцем.

— А Станислава Петровича можно?

— А Станислав Петрович ушел уже. Сегодня он

в ночь дежурил. Полчаса как ушел.

Как раз — когда ты маялся, не решался. Никак не врубишься ты, что совсем новая жизнь у тебя. И прежний облик — приятного человека, соблюдающего приятности, — забудь. Выть будешь по телефону по ночам, и все за это ненавидеть тебя будут! Прежнего симпатягу — забудь. Неприятная пошла жизнь, с неприятными отношениями. «Третье дыхание» мучительным будет! Знай!.. И это все она сделала, такая маленькая, невидимая под одеялом почти! Блеснули узоры на коже — поглядел на них с кротким вздохом. Такая роскошь — с ума сойти — мне в сердце должна была вонзиться! На место отнес! Прилег на минутку и снова как-то прозрачно заснул, видя эту же комнату... чуть-чуть разве другую. И самое важное упустил — проснулся от бряканья. Утро уже!

Быстро на кухню пошел. Она, сладостно чмокая, прищурив глазки, пила чай... но что-то быстро убрала в хлебницу!

— Что там у тебя?

Поглядела лукаво, потом открыла хлебницу, смущенно сияя, вытащила огромный, на полбатона, бутерброд с джемом.

— ...Захотелось, Веч!

Так бы и жить!

— А! Сделай и мне!

Сидели, чавкая. И еще какое-то нетерпение подмывало ее — весело, загадочно поглядывала на меня.

Ну, с ней просто запаришься! — подумал я радостно. То так, то так!

— Ве-еч! — мечтательно проговорила она. — ...Какой сон мне снил-сы!

Она была так счастлива, что я почти забыл даже, какой мне «снился сон». В раю оказались! Отлично же сидим!

— Рассказать? — спросила, сияя.

От волнения не мог ничего выговорить, только кивнул. Вдруг так и продержимся? Хорошо б!

— Ну... — Она смущенно потупилась, потом выпрямилась. — Как будто я приезжаю в какой-то южный город — весь в зелени, цветах. Понимаю, что это Ровно, где дядя Саша, когда я была еще маленькая, начальником станции служил. Но и где-то помню, что на самом-то деле Ровно, особенно возле станции, вовсе не такое... Но кто-то специально мне сделал хорошо! И это я понимаю — и от этого счастье совсем какое-то... безграничное. И вот — оборвалось бряканье. Остановился вагон. Тишина. Солнце. И я так в блаженстве лежу, сладко потягиваясь, потому что знаю, что

дядя Саша самый главный тут и меня любит, поэтому можно не вставать, понежиться. Тишина. Солнце. И никого. Счастье. Потом зеркальная дверь отъезжает — «зайчики» пробежали по купе, — и входит дядя Саша, седой, в белом кителе, с ним какие-то начальники — тоже в белом все и красавцы.

— Вставай! — дядя Саша улыбается. «Не хочу-у-у!» — потягиваюсь.

— Ну, тогда, — его заместитель, красавец, говорит, — мы будем на вас брызгать!

Все улыбаются, и появляется пиала...

Пиала — я знаю откуда.

И все они окунают в нее свои пальцы и брызгают в меня. Золотые капли летят. Я смеюсь, отмахиваюсь. И просыпаюсь... Что это, Веч?

Может, это прощанье со счастьем? Вслух я этого не сказал. Мы смотрели друг на друга. Резко как-то ворвался телефон.

— Не надо, а? — вдруг проговорила она.

Вздохнув, я взял.

— Вы меня разыскивали? Что-то случилось? — строго и как-то больно громко, на всю квартиру, проговорил Стас.

Нонна застыла.

— Э-э-э... — Никогда еще не было мне так нелов-

ко излагать при ней, хотя звонки неудобные бывали.

— Опять обострение? — жестко произнес он.

— Да, да! — радостно вскричал я, словно сообщая о чем-то приятном.

О неприятном при ней не могу говорить! Раздирали меня в разные стороны он и она!

— И что вы решили делать?

Хоть бы потише говорил!

— С кем ты разговариваешь? — нахмурилась она.

— Да так! — Я махнул рукой.

Вряд ли Стасу понравится такое отношение. А без него — вспомнил я ночку — не обойтись.

— Хотелось бы... э-э-э... встретиться, — мямлил я.

— Привозите ее сюда! — проговорил Стас жестко. — Дома это все бесполезно.

Нонна все поняла. Руки ее дрожали — особенно большие пальцы ходили ходуном.

— Веча! Ну что я такого сделала? Я тебе рассказала сон!

Ну вот и хорошо. И пора проснуться! — заводил себя я. — Лепит какую-то чушь про раннее детство. А сейчас возраст немножко другой!

— Когда можно подъехать? — прямо спросил я.

Место уже знакомое: теща померла там. Надоело кривляться. У меня тоже нервы есть!

— Собирайся!

— Куда? — Теперь и лицо ее дрожало.

— В больницу! Здесь ты всех сведешь с ума... включая себя.

— Я... не пойду! Не пойду! Убей лучше меня здесь! — Она схватила узбекский ножик. — Или я тебя убью!

Улыбаясь, я выставил руку.

— Немножко погоди... А... извините — вы машину не пришлете? Состояние... не совсем транспортабельное, — сообщил в трубку я.

За тещей присылали!

— Это я слышу, — сухо сказал Стас. — Но, к сожалению, транспортом не располагаем. Время приемки — до двенадцати. Жду вас!

Убежала куда-то. Теперь ищи! Дрожала в кладовке, вместе с ножом.

— Я не поеду, Веча. Не подходи!

Я сел за стол, уронив лицо на ладони. Ведь не может же быть, чтоб ужас конца не имел! Попробую друга Кузю подключить к этому счастью. Занято! Хорошо устроился.

Строго глянув, прошел мимо отец. Видимо, рассчитывает на завтрак. Оптимист. Твердока-

менный оптимист, я бы отметил. И в аду потребует завтрак. «А?.. Что?!. Почему это — нельзя?» Брякнул задвижкой ванной. Водные процедуры? Это умно. Но боюсь, что сегодня будет не совсем обыкновенный день.

— Алло! — Кузя наконец прорезался.

— Салют! — весело произнес я. Нельзя отпугивать. — Ты прокатиться не хочешь сейчас?

Самое мерзкое — не в самом отчаянии, а в том, что его надо скрывать!

— На чем прокатиться?

— А на авто!

— Странная у тебя какая-то игривость с утра! И куда ж?

Нелегко игривость эта дается!

— А... Надо женку в больницу отвезти! — произнес легкомысленно.

Долгая пауза. Давал, видимо, понять. Судя по длительности — много чего. И прежде всего давал понять неуместность такого тона! В следующий раз буду рыдать. Тогда-то он точно испугается и сбежит. А сейчас, что ли, не точно? Если б хотел — таких пауз бы не устраивал!

— Извини... но она — согласна?

Вон какую высокую ноту взял! Решил отказать не просто так, а по причине своего благородства.

Умно.

— Ты же знаешь конвенцию... За которую и мы с тобой, кстати, сражались: в психушку нельзя сажать без согласия клиента. Кроме... — Кузя произнес.

— Кроме? — спросил.

— ...Ну, я не помню, старик!

Измотал я его с утра непомерными своими требованиями: конвенцию наизусть знать... Но главное он четко усвоил. И я за это стоял. В общечеловеческом смысле! Но — не в таком!

Объяснить ему разницу? Впрочем, понял бы, если хотел!

— Ну, извини. Подзабыл немножко. Подучу, созвонимся. Извини.

Трубку положил.

Я на часы глянул. Пешком не дойдем. А в транспорте будет за всех цепляться — боюсь, что не хватит моих сил.

Бобу, может, звонить? Его вроде бы принципы не мучают в такой степени, как интеллигента Кузю, — боюсь, что многие в таких конкретных делах услугами беспринципных пользуются, не то замучаешься.

— На связи! — Голос Боба совсем рядом возник.

— Хелло! Это я. Твой тренер по этике.

— А-а.

— Встретиться хотелось бы...

— Голяк лепишь. Что надо-то?

— Да тут... женку в больницу закинуть!

Тут какой-то нарастающий грохот в трубке нас перебил.

— Что это? — закричал я.

— Сукодробилка врубилась! — заорал он ликующе. — Приезжай! Напишешь — денег дам!

— Позвоню. — Я положил трубку и с гулких просторов вернулся в свою тесную квартирку.

Да. Это не его масштаб. Это — твой масштаб. Ты и действуй. Никто не сделает вместо тебя. И желательно — в темпе. Как правильно тот же Кузя говорит, лучше сразу действовать жестко, чтобы потом не пришлось действовать жестоко. Вот только боюсь, что стадию жесткости я давно пропустил — осталась только стадия жестокости.

В кладовке не оказалось ее! Убежала? Но я не слышал, чтобы хлопала дверь! Но она могла и не хлопать. На бегу в спальню заглянул — и затормозил резко: она плашмя на кровати лежала. Вытер пот. И душу вдруг защемило. И облегчение, и жалость, и любовь: не оказывает яростного сопротивления! Она вообще, бедная, на сопротивление не способна.

— Собирайся, — мягко ей сказал.

Хорошо, что как бы в шутку «сбирайся» не произнес. Так мать ее говорила, что в свое время (или с опозданием даже) «сбиралась» по тому же маршруту, что Нонна теперь. Лучше не напоминать.

— Вставай, — качнул ее за плечо.

Стадия мягкости. Которая, увы, несколько затянулась — и вот к чему привела.

Тут, как всегда вовремя, раздался уверенный скрип половиц: Командор приближается. Отец на пороге возник, свесив большую лысую голову в комнату, пытливо, как настоящий исследователь, изучая ситуацию. Но сейчас исследователи не нужны. Нужны исполнители — хоть чего-нибудь.

— Утро доброе! — произнес благожелательно.

Кривым кивком я этот факт подтвердил.

— А завтракать мы будем сегодня? — поинтересовался он.

Правильно! Всякие мелкие происшествия не должны сказываться на пищеварении. Тут он прав — и этим и крепок. Это вот только меня всякие мелкие происшествия доконали.

— Ближе к вечеру! — довольно резко сказал и добавил ласково: — Хорошо?

Усмехнулся как не очень удачной шутке и медленно — так он ходит — приблизился. Господи! Если посылаешь несчастья — то зачем их еще и нагружать дополнительным багажом?

— У меня к тебе разговор, — словно не замечая ситуации, доверительно произнес.

А зачем ему замечать посторонние ситуации? Он прав. Ему, в девяносто два года свои, дела соблюсти — нелегкая задача. Свой бы путь разглядеть! Понимаю.

— Ты к зубному меня не можешь сегодня отвести? — сморщился вопросительно, глядел мне в глаза.

На Нонну, распростертую на кровати, я указал:

— По одному, ладно?

Довольно твердо это сказал. Но в мягкости — утонешь и не сделаешь ничего.

Некоторое время он еще постоял, усмехаясь, — показывая, что мой отказ не унизил его, да и не мог унизить, — потом с громким хрустом могучего костяка медленно развернулся — и половицы тяжко заскрипели под ним... Несколько позже, батя! Хорошо?

Зато Нонна — ну просто ангел мой — со вздохом уселась, потерла синеватыми кулачками красные глазки и на ножки встала. Нижнюю челюсть,

дрожащую, прихватила верхними зубками, немногочисленными уже. Несколько раз вдохнула глубоко, на самом краю удерживая слезы.

— Ну хорошо. Венчик, — мужественно произнесла, — если ты хочешь, чтобы я скорее ушла, — я уйду. Хорошо.

Обнял ее:

— Да не хочу я, чтоб ты скорее ушла! Хочу, наоборот, чтоб ты скорее вернулась!

Постояли, обнявшись, потом она отпихнулась кулачонками, обошла меня. Трагическая версия ей ближе. И, может, — верней? Не будем размышлять об этом — размышлять будем потом, когда что-то хоть сделаем.

На кухне ее застал. Глянула грустно: теперь каждой минутой ее буду попрекать?

— Чайку? — бодро потер ладошки.

Счастливая, кивнула. Но для счастья уже мало у нас резервов — она не запасла: заварки нет ни в чайнике, ни в буфете. В наши годы от одних только вдохов-выдохов счастья не почувствуешь, надо что-то более капитальное иметь!.. не имеем.

А впустую улыбаться... только морщины гонять! Вот так. Сел за стол мрачно. У нее слезы закапали в чашку с кипятком. Не хочу кипятка! Она вытащила какой-то жалкий пакетик на тесемочке,

стала окунать. Из него вдруг темно-фиолетовое облако поперло. Смородиною запахло. Молча вдыхали. Господи! Вот — хорошая сейчас, а ее в психушку надо волочь. Но когда она ножом начнет размахивать — этого ждать? Сейчас надо!

— Скус-на! — сладко сощурившись, проговорила она.

Я поглядел на ходики. Над засохшими бутербродами с сыром (сколько уж они пролежали тут у нее?) какая-то сонная муха прожужжала, Нонна помахала над сыром рукой. Может, последний раз это? Поднялась.

— Халат берем? — бодро крикнул из ванной. Ответа нет. Лицо ее сморщилось беззвучным плачем — и я с удовольствием бы заплакал, но этой роскоши мне, увы, не видать! Мой удел — жалкая бодрость.

В уборной теперь защелкнулась! В отчаянии глянул на часы. Потом шкаф распахнул, стал в сумку метать ее лифчики, трусы, полотенца! У нее — возвышенные страдания на горшке, а мелочевкой — уж мне заниматься! Она бы в больницу меня собрала? Как же! Мои болезни никого не волнуют, мое дело — обслуживать всех! Ага: полблока сигарет!

— Опаздываем!

Дернул в уборную дверь.

— Чего тебе? — дрожащий ее голосок послышался.

Злодей и в уборной не позволяет посидеть.

— Надо мне! — ответил грубо-добродушно.

Такая вот мягкая версия — мол, не в спешке вовсе дело, а не терпится мне самому! Последний, пожалуй, мягкий подарок, который могу ей в этой спешке преподнести.

Задвижка щелкнула. Поддалась она. Сердце сжалось: как легко ее победить. Еще несколько таких же «побед» — и меня тоже можно будет госпитализировать! Только вот кто сумку мне соберет?!

Ей сумку ее показывать, наверно, не надо — тяжело будет ей. Грузи давай. В ванную метнулся, расплющив пальцем нос, думал — так-так, так... Паста, зубная щетка... Наверно, шампунь. Я его люблю — но уж ладно! Вдруг почему-то в кафельную стенку его метнул, пластмассовый флакон отпружинил. Говорил же: истерика — недоступная роскошь для тебя. Теперь надо лезть под ванну, вытягивать тот флакон. Тяжелее же делаешь!.. Но какую-то роскошь могу я позволить себе?

В прихожей пальто ее не оказалось: ни пальто,

ни Нонны. Ушла? Тут я разорвался, привычно уже, — одна половина на лестницу ринулась, другая назад. Нонна, в шапке и пальто, на кухне сидела, разглядывала клеенкин узор.

— Насмотришься еще, увидишь! — добродушно проворчал.

То, в чем не был сам до конца уверен. Глянула, со слезой, на сумку в моих руках. Сама могла бы собрать — для слез, может, меньше времени бы осталось!

— Пошли!

Остановилась. В комнатку поглядела, косо освещенную последним лучом.

Помню, как мы в Венгрии были с ней. Прелестная поездка! Венгры тогда любили меня, и она была еще веселая и красивая. В отеле у нас комната была — солнечная, тихая, напротив — костел, звон оттуда летел. Вся жизнь еще была впереди, неприятностей всех и тени еще не было — но как грустно было ту комнатку покидать: часть жизни исчезала навеки. Мне приходилось — тогда уже — толстокожего изображать: что за слезы, мол, мы же из маленького городка в Будапешт едем!

— Прощай, комнатка! — сквозь слезы улыбаясь, помахала ладошкой.

Чувствительность ее тогда прелестной ка-

залась, за это я ее и любил. И осталась такой — только не радость мы уже вдыхаем, а больничный аромат.

«Прощай, комнатка»! — чуть было не напомнил ей. Но с комнаткой, где вся жизнь прошла, тяжелей прощаться. Скомкать это надо! За рукав ее потянул.

— Прощай, комнатка! — сказала дрожащим голоском и ладошкой махнула.

Помнит! А думал — ты один? Вместе все прожили.

А может, тут продержимся?.. Так! Еще кто-то нужен, чтобы *меня* вести? Такого рядом не видно. Придется самому.

Тяжелую сумку (что я там напихал?) повесил на шею, руки протянул к ней.

— Ну, пошли? Быстрей уйдем — быстрее вернемся!

Она почти безучастно позволила проволочь себя через двор, потом — через улицу, но вдруг на углу она ухватилась за поручень у витрины, с отчаянием глядела на наш дом.

— Веч! Ну не отдавай меня! Я буду хорошая — обещаю тебе!

— Да не волнуйся ты... Вернешься!

Поручень не отпускала. С отчаянием — сам

почти стонал! — отколупывал по одному ее побелевшие пальчики. Оторвал — и дальше она уже не сопротивлялась.

... Всю жизнь мы с ней потратили на то, чтобы выбраться с унылых пустырей в центр, — и вот ржавый троллейбус волочет нас обратно, скрипит: «Не задавайся! Знай свое место. Сюда вот, сюда!»

Из роскоши тут только старое кладбище — а дальше уже совсем безнадега идет. Да и какая может быть «надега» за кладбищем?

Серые сплошные бетонные заборы, заштрихованные дождем. Проломы замотаны колючей проволокой. Когда-то каждый день с ней так ездили на работу, жизнь безнадежной казалась. Вырвались-таки! И — назад? Ей спасибо! Сидит вздыхает — будто я в этом виноват!

Улица Чугунная! Суровые места. Улица Хрустальная — без всяких, впрочем, признаков хрусталя. Величественные своды троллейбусного парка — тут заканчивается городское движение и вообще, видимо, все. Но нам, что характерно, дальше надо. Не думал раньше, что за концом жизни что-то есть. Придется заинтересоваться. Вон даже какие-то светящиеся окошки подвешены вдали. Но нормально уже туда не попасть.

Дождь нас мочит на пустыре, а она даже и прятаться не пытается, мокнет насквозь. Мол, ты хотел этого — смотри. Дождя я не заказывал! А тут уже и не твоя зона — это ты там где-то мог диктовать: то царство разрушилось. А здесь — бегать будешь и почитать за огромное счастье, когда транспорт какой-нибудь тебя подберет. И за концом жизни что-то есть. Третье дыхание... но уже сбивчивое, увы! Что есть, глотай — раз вовремя не остановился, осваивай, гляди во все глаза: все это, можно сказать, для тебя дополнительный подарок. И тут из-за какого-то мертвого угла вдруг драненький автобусик вывернул, с каким-то удивительным номером: 84-А! За отчаянием — только хохот и остается: 84-А! Надо же!

Залезли. Тепло, уютно, тускло — и даже люди переговариваются. И какие-то окна снова пошли, потом — какие-то темные небоскребы без окон — элеватор, что ль? Чувства, выходит, не умерли — и здесь реагируем еще.

А больница — это ж вообще старинная усадьба, с колоннами, полукруглый дом, высокие ступеньки. Аллея могучих кленов, ровные стриженые кусты. Багровые листья, как сердца, на могучих ветках — но многие уже слетели, наткнулись на острые пики кустов. Поднялись с ней на сту-

пеньки. Постояли на крыльце. Вдохнули сладкий гнилостный запах. За весь путь впервые поглядели друг другу в глаза.

— Вот и все, Венчик! — проговорила она.

Вышел довольно быстро — не очень уютно было там. Стоял на аллее, смотрел на остриженные сучья, сваленные под фонарем. Вдруг увидел, что кора на них вся в мелких белых точках. Птички накакали. Надо будет Бобу сказать! — оживился. Да вряд ли кому еще понадобятся твои наблюдения.

На пустой темной улице стоял. Вспомнил вдруг, как отец ее, чопорный красавец инжэнэр, говорил удивленно:

— Вы позволяете Нонне уволиться с завода? Но куда же она пойдет?

А я тогда наглый был. Думал: какой еще завод, батя, когда весь мир валяется у наших ног! С усмешкой сказал ему:

— Не волнуйтесь так! За жизнь Нонны я полностью отвечаю!

...Ответил!

Помню, как ликовала она, кружилась, пела, тоненькие ручки подняв: «Там де-вушка пляшет кра-сивая! Краси-вая! Счастли-вая! Там девушка пляшет краси-вая! Счастли-ва-я!»

Глава 7

В сладком предутреннем, светлом сне приснилось мне то окно. Я бы увидел его и так, если бы проснулся и открыл глаза. Сон лишь немного сместил реальность, показал его прежним — вымытым, сияющим, обвитым пышной желто-красно-фиолетовой гирляндой цветов, растущих из ярко-зеленого ящика на подоконнике. Даже во сне я зажмурился, застыл... было же когда-то такое счастье! Немного еще полежал в той легкой, счастливой жизни, стараясь не шевелиться даже: шевельнешься — и станет тебе самому ясно, что ты не спишь, надо подниматься. Лучше — неподвижно. Не потерять то окно!

Не так уж давно — в другой жизни — я стоял перед ним, любовался гирляндой, и вдруг за стеклом появилась молодая, прекрасная девушка. Отвернуться? Зачем? Наотворачиваюсь еще! Я помахал ей ладошкой — по взгляду ее было видно, что ждала этого, — и она тут же радостно ответила. Жизнь тогда была бурной, летучей — через минуту я куда-то умчался и про это забыл. По утрам лишь, вскоре после тихого поскребыванья Алчного Карлика, раздавалось сухое, веселое

шарканье метлы — это она мела: была дворничихой и где-то училась. Откуда я про учебу-то ее знаю? Во влип! Точно: ни разу не разговаривал с ней, только улыбался. Наверное, по глазам это чувствовалось ее, что не просто она дворничиха, а где-то учится! Шарканье то сильно взбадривало — отлично начинается день, когда такая девушка дорожку тебе разметает. Помню — ликованье и какую-то наглость: хорошо это — но этого мало. Это лишь часть замечательной жизни предстоящей, малая часть, кусочек гениальной картины. Откроется гораздо больше еще. Помню то ликованье, смешанное с ожиданием чего-то гораздо большего... поэтому я так и не подошел к ней, не познакомился... чтобы не замыкать этим жизнь. Впереди — такое еще! И правильно чувствовал. Вскоре подтвердилось это абсолютно наглядно. Стоял я у окошка, махал... тогда еще обиды от этих пустых маханий не было у нее — она тоже тогда, наверное, думала, что это лишь начало, лишь малая часть будущего счастья, поэтому не напирала, а радовалась. И вдруг я увидал, что точно над ней, этажом выше в окне, тоже стоит женщина, постарше слегка, но уже все знающая, уверенная, холеная — такие ничуть не меньше манят. Что ж, подумал я, игнорируем ее? Зачем? Наигнориру-

ешься еще! Жизнь быстро тебя разлюбит, если ты не любишь ее. Отомстит тут же холодностью — за твой холод. Нельзя! Тем более холода и не было вовсе во мне тогда — ну буквально весь организм перерой, не найдешь холода, только — огонь. Пусть же она думает, что это я ей машу. От меня не убудет, а женщине в таком возрасте (с молодым нахальством подумал) вдвойне будет приятно. Глазами с ней встретился — и снова помахал. И — обе ответили. Хитрый, ч-черт! — с восторгом подумал. И долго это длилось. Пока, думаете, не рухнуло? Фиг вам! — пока еще лучше не стало, еще больше расцвело. Махал я утром двоим, ликуя, и вдруг увидал, что на первом этаже, точно под ними, совсем юная дева стоит, в школьном передничке. Вот это удача! Поглядел, помахал. Ответила, покраснев. И — каждое утро, а иногда и по вечерам. И все трое — махали. И мне больше не надо было ничего — такую композицию портить нельзя. То есть войди я к одной, так остальные исчезнут. Умен, ч-черт! И так за несколько секунд изменял я сразу троим! А если жену считать (а почему ж не считать ее?), то — сразу четверым! И это не стоит мне ни малейших усилий, ни времени, ни денег. Кто еще может так? Хитрый, ч-черт! Буйное ликованье. И я бы сказал, что от

этого всем троим вовсе не треть моего счастья доставалась, а, наоборот, — утроенное счастье. Умный, ч-черт! Поганей всего сейчас, в глубокой уже старости, отказываться от этого, шамкать: как я был подл!.. Умный ты был, собака! А сейчас — поглупел. Открывай очи-то. Смотри на грязное-то окно, пылью заросшее. Вот это действительно беда. Поэтому Нонна так к нему и приросла. Беда с бедой срастается. Но так ненавидеть меня за то окно! Совершенно, кстати, напрасно. Ни разу не бывал там. Может, за мою холодную ловкость Нонна меня и ненавидит? Никогда ни во что не влипал! За это и отлилось нынче? Доносилось до меня, что там проблемы, но я куда-то летел, спешно удерживал победы, ухватывал успехи. Стоять тут и пялиться бесконечно не мог. Так что я все правильно делал. Но этого мало, оказывается. Раз в год заглядывал туда, с легкими угрызениями совести, замечал изменения (а в тебе их не было, думаешь?). В окне этом рядом с моей красавицей появлялись мужики — сперва симпатичные, потом все более жуткие. Показывали мне кулак, а то и нож... потом призывно бутылкой стали махать. Я махал, но не шел. Так от жизни и уклонился. Не только там, но и здесь. Так что, по сути, Нонна права, ненавидя меня за то, что не сгорел с ними

— с ней и с ее «визави». Выкрутился! Но не до конца. Петлей меня жизнь все-таки прихватила.

Раньше бодрило меня с утра сухое, бодрое шарканье метлы: жизнь продолжается, надо жить. Не помню даже, когда звук этот исчез. Порой и не замечаем, как ссыхается душа, улетают звуки, любимые запахи — посторонние, не главные. Их исчезает больше всего, и пустоту они самую большую оставляют. Отправил Нонну, чтобы не беспокоила... и теперь уже *абсолютно* пуст. Что же, выходит, лишь она последнее время тебя и наполняла?

Вопрос только — чем? Нервно на кухню пошел. Вот чем она меня наполняла! Все подоконники, шкафы, столы заставлены грязными, закопченными, пригорелыми кастрюльками, мисками, сковородками. И — никакую не выбросить и даже — не вымыть, в каждой кастрюльке не просто вещество, а горькая неизбежность, ее тоненькими ручками созданная. И как большое из атомов состоит, так она сумела большое горе из этих мелких кастрюлек сложить. Скрупулезно, старательно, вроде бы мелким своим слабостям потакая. Но я знаю уже, нервно вздрагиваю: главная мина в нашей жизни — это вот такая кастрюлька, в каждой запасена маленькая гадость,

ею созданная.

Разгребать? Ведь не со зла это все, а по слабости. Хотя есть такое выражение точное: «Слабый человек не может быть добрым». Неизбежно его слабости к гибели приведут — и не только его самого, но и ближних. И вроде бы — с таких пустяков: гречневую кашу не доела, в кастрюльке оставила. Зная уже, чем эта мелочь чревата, умолял: «Ну доешь эту кучку!» — «Нет!» — слабость, когда на нее давят, может очень упрямой быть. Так и осталась в этой кастрюльке кучка — не в чем стало молоко кипятить. Отец неторопливо, даже величественно кружку протягивал — и изумленно поднимал брови, когда следовал отказ. И так — каждое утро. Что мы в жуткой ситуации существуем — не желал понимать! «Как это — занята кастрюля? Чем?» Мелкой неприятностью. Что, объединяясь, горе дают. После долгих моих упреков, оскорбленная, принесла молока, но почему-то — в мягком пакете. Если сразу вылить его в кастрюльку, то ничего, не опасно, но мы без опасностей уже не живем. «Ну, доешь кашку, освободишь кастрюльку?» — «Нет!» Из-за воинствующей слабости ее — мощные катаклизмы начались. Такой вот, слабенькой, все по плечу. Каждое утро список с ней составляли

— но каждый раз она, расслабившись, что-нибудь забывала купить, из-за чего завтрак, ужин, обед в ужас превращались. Написал же — «творожная масса». Вечером — нет ее. «Ну как ты могла забыть? Ты помнишь вообще, что я жив? Сигареты свои (не говоря уж о прочем) не забываешь купить?» Слезки! Уже жизнь — трагедия, хотя «выдано» еще не все. Начинаю двигать реальность, но кругом мины-кастрюльки, несущие беду. «Ну давай сделаем омлет!» Вытирает кулачком слезки, тихо шепчет: «Давай». Значит, пакет молока, на утро предназначенный, надо раскупоривать, дырявым оставлять? Мина! «Ну доешь кашку из кастрюльки, умоляю!» — «Нет!» Сам бы доел — но в руках открытый уже пакет молока, криво писающий. Швырнуть его, уйти? Или — остаться тут, пока памятник не поставят — «пенсионер, писающий молоком». Налил молока в омлет, пакет прислонил боком на полочку в дверце холодильника. Батя бредет. «Кушай омлет, отец!» — «Как? А творожной массы нет?» — «Творожной массы нет». Хорошо, что мы еще газом не отравлены — порой она газ включала, но забывала поджечь. Точней — в этот момент замечала, что позабыла спички купить. Уходила за спичками, но оказывалась совершенно в другом

месте, причем надолго. А газ все шел. Так что на минном поле жили при ней, жизнью рискуя.

Утром — лезу в холодильник и вижу, что зыбкий пакет с молоком наклонился и вылился в тот отсек, где я хранил (в холодильнике положено) ленту для пишущей машинки: теперь она не черная, а белая у меня. Полпакета молока все-таки вытащил, спас. «Ну доешь, прошу тебя, эту кучку каши в кастрюльке. Видишь — молоко сейчас выльется!» — «Нет!» Молоко в раковину выливаю. Вот так! «Обязательно, — дрожат ее губы, — утро со скандала надо начинать?» — «Но разве я это делаю? Ты!» — «Я? — Глаза ее блещут гневом. — Я разве что-нибудь сказала тебе?» — «Ты — не сказала, ты — сделала!» — «Я вообще не делала ничего!»... Это верно. Может, это моя энергия созидания конфликт создает? И ежели на все плюнуть, махнуть рукой, все еще и успокоится? Нет. Отец скрипит половицами, успокоиться не дает. Его мощный силуэт нашу жизнь как-то еще поддерживает, расслабиться не дает. «Батя лютует» — эта фраза поддерживает меня. Но сам бы он хоть на что мобилизовался, чем бы помог! С трудом я приучил после ванной белье его на батарее подсушивать, мокрым в грязное не совать. Этого я добился, зато теперь любуюсь на батарее его

кальсонами. Чтобы он, высушив, еще и убирал это — эта стадия безнадежной оказалась. Помню, задумал вчера перед сном: если хоть чуть постарается отец, уберет утром кальсоны с батареи — значит, выкрутимся общими стараниями... если нет — то нет. Нет. Стой и любуйся: белые флаги кальсон.

Теперь еще — кастрюльки. Музей ржавых наших бед. Сохранять, что ли, их как нашу память духовную? Или — выбросить? Если Нонна ушла — то и больную эту память, видно, выбросить надо? Уничтожить этот рассадник микробов нашей беды. И, пользуясь ее отсутствием, новую жизнь тут начать, чистую и блестящую, как новая эмалированная кастрюля?

Хорошо б. А пока надо отцовскую миску найти и вложить туда раритетную гречневую кашу, после чего, глядишь, освободится кастрюлька для молока, а там, глядишь, засияет и все остальное. Курочка по зернышку клюет. Где же миска? Наверняка, у отца в его хламе. Слышит, наверняка, что я тут брякаю... Не принесет! Ему его величественные писания важнее. Это я только зачах на мелочах!

— Привет, отец. — Боюсь, что произнес это без особой душевности.

Миска, естественно, на его рабочем столе, с присохшими объедками. Убрать, а тем более — вымыть ему в голову не приходит. Не его масштаб. Это — мой масштаб. Вокруг его лысого купола нимб сияет! С досадой поморщился, когда я потревожил его, поганую миску убирая. Шваркнуть ее на пол, уйти?! Купить новую никелированную кастрюлю как знак новой, разумной жизни и гордо и одиноко отражаться в ней?

— ...Пошли завтракать, — буркнул я.

Унес его миску, сполоснул. Каши положил. Отец еще долго не появлялся — забыл, видимо, о моем приглашении среди своих трудов. Наконец, когда я уж отчаялся, зашаркали шаги его. Приближается! Ура.

...Ошибаешься! Щелкнула щеколда — надолго, наверняка, в уборной закрылся. Раньше не мог? Хоть бы немножко учитывал семейные дела, мог бы вспомнить, что Нонна в больнице, что мне неплохо бы туда поспешить. Только по своему плану действует, даже в уборной. И там, наверняка, у него свои какие-то правила, свои мысли, может быть, даже исследования. Нам в его голове места нет. Наконец отщелкнулась щеколда уборной, но тут же захлопнулась дверь ванной. Исследования его продолжаются. Как всегда, по-

чему-то долгое время, не включая кранов, стоит. Тишина там гнетущая! «Ну что он там делает, что?» — Нонна в этот момент возмущенно шептала. Ее чувствами живу! Своих нет? Отец наконец пустил в ванной воду — шипение донеслось. И почти тут же резко вырубил — так, что трубы дрогнули. Да, страсти еще много в нем! Это только я от своих чувств отказался — времени нет. Отец наконец явился, поприветствовал трелью в штанах, но сухо и кратко. Лютует батя.

Может, и мне можно теперь вкратце посетить «общественные места»? В туалет я на секунду зашел — и тут же вышел. Ведь можно же быстро, когда ждут тебя? Но ему не объяснишь — он привык напористо, неукротимо все делать — что в туалет ходить, что сорта выводить. В ванной особенно неукротимость свою он проявил: вся голубая поверхность сочно захаркана. Недавно как раз красил я ванну — батя по-своему ее украсил. Есть свежие поступления, а есть давнишние. Свежие лучше! Трепещут под струёй воды. Напор увеличиваешь, душ ближе подносишь — трепещут сильней, но не отцепляются. Стройно вытягиваются, почти до прозрачности, до не-существования... но не уносятся водой в слив. Цепко держатся темной головкой, кровавым сгустком.

Разве рукою подковырнуть?.. А-а! Не любишь?.. Первый головастик умчался, за ним — второй. Но старые, крепко присохшие, и ногтем не отковырнуть! Просто не ванна, а какой-то музей. На умывальной раковине ее волосы, вычесанные, кружевами сплелись. Смыть?.. А вдруг их не будет больше? Смыл. Постоял с бьющим душем в руке, как с пращой. Ну? Кто еще на меня? Душ закрыл. Все! Тихо, чисто, пусто во мне. Никаких страстей... в больницу пойду страсти набираться... Набрался! Тут же зазвонил телефон:

— Попов?

Мне-то казалось, что я — Валерий Георгиевич уже... Нет!

— Попов? Вы почему молчите? — Голос женский, но грубый, напористый.

— Слушаю вас! — бодро ответил. Вот и прилив сил. А то — еле ползал!

— Утихомирь женку свою — а то мы утихомирим ее!

Странно, что мне звонят, ведь они профессионалы?

— Ну... как-то вы успокойте ее!

— Это мы можем, — голос торжествовал, — видел в коридоре у нас кроватку с ремнями?

Представил ее в ремнях.

— Прошу вас — ничего с ней не делайте! Я приеду сейчас!

— Когда?

Чувствуется — не терпится им ее распять! Хочется им от своей тяжелой службы хотя бы какое-то моральное удовлетворение иметь... Хотя «моральным» это трудно назвать.

— Буду... через десять минут!

Это, конечно, невероятно... Но лишь невероятные усилия ее и могут спасти. Мечты о новой, чистой жизни, как кастрюля сияющей, выкинь и забудь. Не даст Нонна!

И вдруг ее голосок:

— Венчик! Спаси меня! Они у меня украли все деньги!

Господи! Куда я ее отдал? Решил, называется, проблему!

— Ты ей деньги давал?

Неприятный вопрос. И по тону, и по смыслу. Денег я ей, конечно, не давал, опасно это... но и участвовать в этом издевательстве над ней — не намерен.

— Прошу вас — не делайте с ней ничего! Я сейчас приеду.

— А нам пока что тут делать с ней? Она, слышишь, двери разносит!

Действительно — грохот какой-то. Неужели это она? Да — далеко зашло дело. Неужто сами они, трусливая мысль мелькнула, не могут справиться, обязательно душу мне рвать? Они ведь специалисты!.. Они-то справятся!.. но что оставят тебе?

— ...Через десять минут! — бросил трубку.

Время пошло. По комнатам заметался, одежку хватая. Вот и силы пришли: через полгорода взялся промчаться за десять минут. Вот только на чем, интересно? На крыльях любви?

На бегу на батю наткнулся: прочно стоял, коридор загораживал.

— Слушай... — сморщился...

— Ну?

— Ты обещал меня сегодня к зубному свести!

— М-м-м... К зубному? Завтра — хорошо?

Сдвинул его, побежал. На самом деле я уже где-то в районе Лавры должен находиться! Батя обиделся. И так уже стонет душа: ничего хорошего нельзя сделать, не сделав плохого... додумать эту блистательную мысль некогда, не до мыслей сейчас.

Тяжело дыша, выскочил на улицу. Третье дыхание. Поглубже будет второго и даже — первого. И довольно еще энергичное... по сравнению с

четвертым,

Так! — крутился на углу — троллейбусы, царственно-медленные, отметаем с ходу — на них я не скоро доберусь. Тачка! — руку взметнул. Не останавливаются. Не любят беды. А ты явно бедственно выглядишь: развязаны шнурки, рубаха свешивается до колен из-под куртки. Кому такой нужен? Люди нормально хотят жить — это понятно, а твоя ненормальность отпугивает. Хорошо хоть это просек. Семафоря одной рукой, другой рубаху запихивал — но мало свой облик улучшил, не останавливается никто.

Тормозить их надо властно, неторопливо — сразу останавливаются. Но не нажить мне уже эту стать.

— Эй! — Конь прямо на тротуаре, надо мной: бешеные глаза навыкате, из ноздрей пар.

Сколько раз я возмущался ими, «бедным Евгением» себя чувствуя, на которого Медный всадник наезжает. Эти Медные задницы достали уже!

— Поедем, дядя? — нагло произнесла.

Славная у них реклама: «или задавлю».

— За десять минут за Лавру домчишь?

— Не фиг делать!

Лет шестнадцать-восемнадцать, наверно, ей

— а уже бизнес собственный, под седлом. Лошадь, слегка дымящаяся, накрыта добротным «чепраком», по-нашему — одеялом. Ты вот прошляпил жизнь свою — а эти, может быть, все и возьмут.

— Прыгай! — выпростала ножку в кроссовке, освободила стремя.

Схватился за дугу седла, вознесся. Раскорячился, держась за седло, на широком теплом заду лошади.

— Геть! Геть! — амазонка звонко кричала.

Я стыдливо молчал. Заняться ее воспитанием — потерять темп. Но — прямо наезжает на людей, те испуганно шарахаются. Мчит прямо по тротуару! А ты бы хотел — среди машин? И вообще, если бы не ехали с Бобом через Валдай, не видели бы там его амазонок — вряд ли и к этой бы сел. Но — с кем поведешься! На шестьдесят третьем году приходится пересматривать свои этические и эстетические принципы — такая уж у нас динамичная жизнь. Не думал не гадал, что такой грязный бизнес буду поддерживать: лошадь подняла на скаку хвост, и сочные «конские яблоки» зашлепали. Уберу... потом? — подумал вяло.

— Ну, куда? — обернулась она: взгляд почти такой же бешеный, как у коня.

Глянул: уже купола Лавры над нами!

— ...В Бехтеревку мне!

— Так бы сразу и сказал... дядя!

Другой бы слез, наверное. Перешли на галоп.

Темные пошли места. Но зато — просторные. Гуляй-поле, вольная степь! «Мы красные кава-леристы, и про нас...» Успели-таки!

— Тпр-р-р!

Успели. Только вот — к чему?

— Сколько я должен тебе? — уже из лужи к ней обернулся.

— А сколько совесть подскажет, — усмехнулась.

Совесть, оказывается, по-прежнему в цене!

Пошел через парк, почему-то медленно. Почти все уже «багровые сердца» слетели с веток, наделись на пики кустов. Образ этот подальше засунь — роман «из благородной жизни» вряд ли придется тебе писать.

Позвонил, вошел в тусклый коридор. Вот где твои герои. Бродят, как тени в аду. Твоя нынешняя «партия».

— Вы мне звонили? — у фигуристой дежурной спросил.

— Попов? Вон ваша супруга.

— Где?

Похоже, я на скаку несколько идеализировал

ее. Довольно холодно на меня глянула. Ясно. Когда скандал ее насчет «кражи» (и, видимо, связанных с этим надежд на покупку бутылки) не прошел, сразу же потеряла интерес к жизни, в том числе и ко мне. На фиг я ей, собственно, нужен, если ей самого главного не могу дать? В «предательстве» моем сразу убедилась: видит, что я ничего не принес.

— Счас, — тоже довольно холодно ей сказал.

Вспомнил свою безумную скачку. Не стоит этого она!

Прошел в короткий «аппендикс», где сидели доктора.

— Обычная алкогольная ломка, — даже не поворачиваясь, глядя в какую-то папку, Стас произнес.

— Но вы... что-то можете? — я пробормотал.

— Вот. Об этом мы и должны с вами поговорить! — с каким-то даже удовольствием произнес и даже от бумаг оторвался. — Дело в том, что сосуды, в том числе головные, довольно хрупкие у нее. Так что применение сильнодействующих средств — дело весьма серьезное. И — как бы вам помягче сказать... необратимое. То есть будет спокойная она... но несколько заторможенная.

— ...Насовсем?

— А вы что-то другое предлагаете? Таких срывов, как сегодня у нее был, мы больше допускать не имеем права. Понимаете — она даже у нас... выделяется.

Это она может! Молодец! Она даже на многотысячном заводе выделялась.

— Но, — заговорил я, — есть слово такое... «душевнобольные». Значит, душу надо врачевать. Словами, разговорами... общими приятными воспоминаниями... когда все было хорошо.

— У вас есть такие воспоминания? — почему-то удивленно спросил.

— Да... Мы очень хорошо жили, — ответил я.

Стас удивленно и даже обиженно взметнул бровь. Кто же ему, интересно, мешает жить хорошо?

— Ну что ж. Действуйте! Дерзайте! — Он резко встал.

Похоже, он разозлился, что я свою линию повел. Конечно, «острый психоз» надо как-то убрать... но тупая она мне не нужна. Это уже не она будет.

— Тогда вы попробуйте сегодня словесную свою терапию, — усмехнулся снисходительно. — И если ничего у вас не получится — будем колоть.

Я кивнул. Мы вместе вышли в коридор. Больные гуляли группками, дружески беседуя, как на

Невском. Из комнаты отдыха доносился хохот, стук домино, треск бильярдных шаров, пальба по телевизору. Снова смех. Все живут нормально! Даже здесь. А она даже здесь умудрилась выделиться в дурную сторону!

— Здесь... пробовать? — спросил я у Стаса.

— А где же вы хотите? — усмехнулся он. — «Не здесь», по-моему, вы уже пробовали?

— А нельзя выйти погулять?

Здесь она меня вряд ли расслышит. А кричать — это будет не то.

— Ну, я готов сделать для вас исключение. Погуляйте — но только во дворе: час — до обеда. Понимаю, — по-мальчишески усмехнулся, — что не дать вам испробовать ваш талант было бы кощунством!

Издевается? Поглядим!

— Спасибо.

Разошлись.

— Ну ты, корова! — весело подошел к ней, застывшей в кресле. — Чего расселась? Гулять пошли!.. Где тут у тебя пальтишко, кроссовки? Давай. Где?

— В шкафу... — проговорила безжизненно.

— Ну так давай... неси! — Надо как-то расшевелить эту куклу, заставить ее двигаться ради

нее же!

Поднялась еле-еле. Медленно ушла в туманную даль коридора. За ней? Ну не могу же я всегда переставлять ей руки и ноги, надо, чтобы она сама двигалась. Тогда, может, выберемся?.. О, обратно идет. Седые растрепанные патлы, мертвый взгляд. Нет, не выберемся! — понял с отчаянием. Вспомнил, как я верхом сюда! Кончай ты эти скачки. Бодрость духа твоя не соответствует действительности.

— Что ты принесла?

— ...Что?

— Чье это пальто? А сапоги — чьи?

Посмотрела с ненавистью:

— Ты пришел мучить меня?

— Спасать, идиотка!

Все удивленно оглядывались. Оказывается, в сумасшедшем доме — то есть в нервной клинике, пардон, пардон, — положено спокойней себя вести, без надрыва, во всяком случае. Все вокруг всё принимали как должное и даже удовольствие получали, гляжу: этот выиграл в домино, этот — в шашки. Так, наверное, и надо принимать любую стадию, неизбежную. Это только ты (комплекс отличника) пытаешься не как все быть, и тут норовишь победить. Жену свою — уже победил,

будь доволен. Теперь попробуй восстановить. А может, в шашки, как все? Уметь надо проигрывать? Не дергаться на сковороде?

Какую-то сладкую негу почувствовал, чуть даже не начал почесываться, как перед парной. А? Расслабиться?.. Да не расслабишься ты! Иди догоняй ее, шмотки ее ищи, вытащить пытайся... пока не начали ее «бомбить» «глубинными бомбами». Вдруг — увильнем, как всю жизнь с ней увиливали от всяких «бомб»? Пошел вслед за ней. Да, густеют тут запахи. Отросток коридора, короткий, глухой. Напротив — туалеты. Очень удобно. Тряпка дверь занавешивала, брезгливо отодвинул ее (не надо этим брезговать), в палату вошел. Затхлый пенал. Окно в темноту. Уже и стемнело, пока я тут.

— Здравствуйте! — бодро проговорил.

Привычка. Хочешь, чтоб и тут все любили тебя? Проехали. Некому больше тебя любить. И если глянуть — то непонятно уже, за что. Отвыкай. Соседки ее, лежа на койках (дама-аристократка и грубая девка, пардон), одинаково сухо кивнули. Видать, старуха моя уже достала и их. Тупо перед распахнутым шкафом стояла, забыв, видимо, зачем открыла его.

— Где твое пальто?

Глядела на меня, словно не узнавая: кто это беспокоит ее? Да — здорово тут уже над ней поработали! Или — сама дошла? Так, скорей. Без моих слов, без ритуала жизни, принятого у нас, совсем рассыпалась — не помнит ничего. Попробуем собрать?

— Подумай, не торопись! Где может быть твое пальто? — проговорил мягко.

— Да вон валяется! — резко девка сказала. Мол, кончится когда-нибудь эта мутотень?

Видно, зябла Нонна, накрывалась пальто поверх одеяла — и завалилось туда.

— Благодарю вас! — расшаркался.

Полез, согласно ее указаниям, под кровать. Нонна не шелохнулась. Конечно, это мой долг — под кроватями лазить, не ее. У нее — проблемы серьезные, а я — так. Могу и полазить. Вон и пальто, у самой стены, в мягком коконе пыли. Видимо, блюсти чистоту и порядок здесь считается пошлым. Стиль другой, не совсем обычный, но как раз подходящий для подобного заведения. Выволок пальто. Да-а. Соседки злобно к стенке отвернулись: и я уже их достал! Стряхивать пальто здесь как-то неловко, но и идти в таком... значит признать: все! Больше не пытаемся! Понес его в туалет. Да, здесь стиль заведения тоже выдер-

жан. Наверное, если уборщицу сюда пригласить — «что я, сумасшедшая?» — ответит она и права по-своему будет. Странно, я решил, будто в таком месте что-то *почистить* можно. А где? Здесь и придется!.. Под кроватью же, в виде двух комов пыли, и кроссовки нашлись. Стянул с костлявых ее ступней тапочки, кроссовки натянул. Вспомнил, как она говорила: в четвертом классе ее чуть в балерины не взяли, но решили, что большая ступня. А она так с той поры и не выросла. Да и сама-то она не выросла почти. Глядишь — была бы балериной! Другая судьба. Но — досталась эта.

— Вставай!

Поднял ее под мышки. Натянул, как на манекен в витрине, пальто. Вытолкнул немножко. Наш театр, чувствовал, совсем уже соседок извел.

По коридору повел. На нас смотрели, шушукались, хихикали. Даже тут она умудрилась быть хуже всех! Или, наоборот, моя бурная деятельность всех смешит? Вникать будем после. К выходу ее подвел.

— Стоп! Это еще что такое? — фигуристая взвилась.

— Станислав Петрович разрешил.

— А меня он спросил? — стала накручивать диск.

Уже, можно сказать, погуляли по коридору — пора и расходиться. Но неожиданно — выпустили. Дежурная встала, воткнула ключ в дверь.

— Пятьдесят минут. Ровно.

Мы молча вышли. Боюсь, это даже слишком много окажется — пятьдесят минут.

Вышли на крыльцо. Ветер злой, ледяной, порывистый — такой самую горячую выстудит любовь. Но, похоже, нам и нечего уже больше выстуживать — выстыло все. На алкоголе наша любовь держалась, им же она и отравилась, а без него — превратилась в ненависть. Четкий диагноз.

В чем польза больниц — в них обнажаются отношения, никаких добавок нет, отвлекающих и смягчающих. Беда выжигает все лишнее — а главного, смотришь, и нет.

Надо же! Совсем квелая была — но, оказывается, земные желания у нее не все иссякли: вдруг даже как-то ловко повернулась спиной к ветру, вспыхнул огонек, просвечивая красным ее куриные лапки. Взвился дымок. Забыл про курево, не привез — но она не спросила даже: со мной, похоже, даже таких не связывает надежд. Могла бы, прикуривая, от ветра за мной спрятаться — я все-таки более мощный экран. Забыла. Потом, с

явной досадой, вспомнила, повернулась:

— Ну? Куда?

С такой злостью спросила — будто это она обязана меня тут развлекать: навязался. Да, с развлечениями тут неважно дело обстоит: извилистые дорожки ведут к точно таким же тускло освещенным корпусам. Куда ни пойди — все равно в больнице! О свежем воздухе я мечтал (для нее), но она предпочла сигарету. Пятьдесят минут! Бр-р-р.

Одна аллея все же нас повела — молча шли, словно отрабатывая. Зашли в тупик, с двумя машинами. Почему-то один, темно-синий «жигуль», был весь мокрыми листьями залеплен, рядом стоящий белый «Москвич» почему-то ни одного не прилепил к себе листочка. Отец тут, конечно, целую теорию бы развил, но я, чуя ее настроение, молчал. Побыли в тупике — и достаточно. Впереди только тьма, в прямом смысле и в переносном. Отгуляли свое.

— Ну? Обратно? — фальшиво возбудился я и даже ладошками хлопнул, потер с аппетитом: мол, согреемся там, «пождранькаем», как когда-то говорила она.

Она, видимо, сдерживая слезы, пошла куда-то за корпус, в темноту — еле удержал ее на краю

какой-то ямы.

— А ты думала — мы с тобой на Невский пойдем? — произнес я уже злобно.

Как всегда, ничего не хочет ни понимать, ни соображать — прет, куда ей хочется, когда уже и некуда переть!

Не отвечая, уходила в темноту. Теперь она еще заблудится тут!

— Ну, хочешь — выйдем за ограду? — проговорил и тут же проклял себя.

Благодарности, естественно, не дождался, но — молча повернула к воротам. Поплелся за ней. За калиткой, кстати, еще большая тоска: тут хоть деревья, а там полная пустота. Пусть посмотрит!

Расходятся тусклые промышленные улицы, огражденные ровными бетонными заборами. Все? Но тут она неожиданную волю проявила, иногда я даже боялся ее — жаль только, что вспышки воли приходятся вот на такие дела: вскинув руку, вдруг прямо на дорогу кинулась, и не просто, а под обшарпанный пикап-«каблучок», тот резко затормозил, со скрипом, — даже развернуло его.

— Держи свою дуру! — водитель проорал и умчался.

Я ее и держал, спиной прислонясь к шершаво-

му дереву. Сердца наши колотились рядом — но врозь. Я скручивал воротник ее пальто: задушить, что ли? И тут не успокоилась! Куда же ей еще? На тот свет? Организуем!.. На это, впрочем, духу не хватит у тебя. Другое верней: куда она ни потащится, я за ней. Вот это — вернее. Хоть и скучней.

— Пошли!

Она молчала, но зло, и только я удавку ее ослабил, как тут же рванула опять.

— Найн! — вдруг истерически завопила и, вырвавшись, помчалась наискосок.

Надо же, это словечко — «найн» — из далекого прошлого вдруг долетело, когда она, юная и прекрасная, впервые попала в тюрьму, по пьяному делу, правда, на пятнадцать суток всего. Как-то ударило меня это слово под дых, долго даже пошевелиться не мог. «Найн!» Получается, с самого начала все определилось уже, и напрасно я кривлялся-бодрился сорок лет? Вот она, суть нашей жизни. «Найн!»

Догнал ее. Но в некотором смысле было поздно уже. Крепко схваченная, успела-таки руку взметнуть. И тут же олицетворением злой ее воли из-за глухого бетонного угла вывернул сумасшедший какой-то автобус, чем-то похожий на нее — такой

же маленький, встрепанный. Явно рассчитанный на клиентов *отсюда*. Даже номер какой-то безумный: 684-К! Не поверю никогда, что где-то 683-й существует! Только этот. Специально для нее! Нормальный бы проехал, видя такой сюжет, а этот резко остановился, заскрипев, и дверка гармошкой сложилась. Водитель явно ненормальный — в черных очках, несмотря на сумрак: как же семафоры в них видит? Или семафоры не интересуют его?

Тут она высокомерно на меня глянула: может, поможете даме войти? Я бы ей помог! Но при зрителях не обучены скандалить. Даже если этот зритель в черных очках. Подал руку ей, поднялись в салон. Да, из комфорта тут только буква «К», что, видимо, означает — «коммерческий». А так... рваные сиденья. Какие-то довоенные рюшечки на занавесках. Впрочем, все это не интересовало ее: села на ближнее сиденье, на водителя даже не поглядев. Холодная наглость, железная уверенность — водила туда довезет, куда надо ей. Все обязаны подчиняться! Я, естественно, тоже ничего водителю не сказал — но он тем не менее тронулся. В смысле — поехал не оборачиваясь. У него тоже твердый план. Лишь у меня — смутные надежды, что мы не приедем с ней никуда! В этом

единственное наше спасение. Но разве бывают автобусы, идущие «никуда»? Впрочем, появилась такая надежда: полчаса уже ехали, и — ни одной остановки и даже ни одного намека на то, что здесь может быть какая-то остановка. Глухие заборы без дырок, потом — стеклянные стены до неба пошли, но что приятно — без единой дверцы и что еще лучше — без огонька. Маршрут этот мне нравится. Полюбуемся — и привезет нас назад. Но не тут-то было!

Мы как раз стояли у железнодорожного переезда, грохотали бесконечной чередой темные товарные вагоны. Водитель терпеливо ждал, а я, наоборот, ерзал в беспокойстве. Судя по громоздкому номеру, маршрут этот, похоже, пригородный. Завезет нас в какой-то глухой поселок, где вообще будет нам не приткнуться. Ее наглая уверенность вовсе не имеет никакой почвы — скорей всего, высадят на таком же пустыре, но за десятки километров отсюда. Что-то нет других желающих на этот автобус, да и мы едем зря. Ее надежды на алкогольный сияющий рай тоже рассеялись — судя по угрюмости ее взгляда. Грохот состава резко оборвался, водитель заскрипел рычагами, ржавый корпус затрясся. За переездом была уже какая-то бесконечная равнина, окру-

женная мглой.

— Найн! — вдруг резко произнесла Нонна и встала.

Водила потянул еще какой-то ржавый рычаг, и дверка открылась. Нонна шла абсолютно уверенно, словно все тут знала наизусть. На самом деле у нее есть характер, но проявляется в основном негативно. Однажды она прошла от поезда пятнадцать километров ночью, зимой, до домика отца на селекционной станции, где я скрывался от ее алкоголической ревности. Шла элегантная (уверенность в моей измене посетила ее в кабаке), потеряла в сугробе туфлю, но дошла, разгоряченная и прекрасная. Скромность нашего с отцом существования постепенно успокоила ее. Но сейчас-то «вечный зов», который ее ведет, если успокоится, то только рюмкой — хотя, скорее всего, после того как раз и начнутся главные неприятности.

— Спасибо! — отдал водителю два червонца.

Все ужасы ее я обязан еще обслуживать! Все! «Закруглю» как-то это путешествие — и больше она не увидит меня! Не для того Бог вдохнул в меня душу, чтоб я по грязным ямам тут шкандыбал! Имею доказательства, что я достоин лучшей судьбы!

Оказалось, если идти прямо, то обязательно куда-то придешь. Как капсула на лунной поверхности, обнаружился обшарпанный домик со светящейся вывеской, впрочем, огонь в некоторых буквах судорожно бился, а в некоторых — иссяк. «Арарат»! Ковчег нас доставил правильно — туда, где теплится жизнь. Но лучше бы она тут не теплилась: предпочел бы вечно «носиться во тьме».

Вошли. Сразу потекли сопли в тепле. Интерьер соответствующий. Тусклое освещение. Темные столы рядами, как парты, стоят.

— Закрыто! — пискнула коротышка в мини-юбке. Гнала на нас шваброй с намотанной тряпкой мутную волну. Но Нонну это никак не остановило: прошагала по луже и молча села за «парту», как прилежная ученица, напряженно размышляющая на тему «Кому на Руси жить хорошо». Имеется такой снимок в семейном альбоме. Коротышка застыла в отчаянии — всю лужу ей испортили! Нонна сидела так же неподвижно и уверенно, как в автобусе: ее желания все должны исполнять! Кто, почему — эти мелочи ее не волнуют... Исполнять!

— Арамчик! — жалобно произнесла коротышка.

Арамчик — тощий, длинношеий «учитель» этих «учениц» — сидел на первой «парте» и даже не обернулся, лишь резко вскинул узкую ладонь, что должно было, видимо, означать: «Тишина! Внимание! Не отвлекаемся на пустяки!» Огромные оттопыренные уши его, подобные крыльям, были багрово просвечены светом из бара, верней, из занимающего почти весь бар аквариума.

Из соседнего помещения доносился гулкий звон воды, падающей из крана в ведро, с наполнением ведра этот звук становился все глуше, потом, слегка скособочась, появилась вторая «ученица», напоминающая первую, с плещущим ведром воды. Подойдя к стойке, она сняла босоножки, поднялась с натугой на стул, а потом на стойку и, соблазнительно согнувшись, обрушила в аквариум содержимое ведра. Послышалось шипение. Из камней, оставшихся на дне, в образовавшийся слой воды поднялась светло-зеленая муть. Сладко запахло болотной гнилью — и я почему-то жадно ее вдохнул. Сладкие воспоминания.

Я помню, как однажды голышом
Я лез в заросший пруд за камышом.
Колючий жук толчками пробегал
И лапками поверхность прогибал.

Я жил на берегу, я спал в копне.
Рождалось что-то новое во мне.
Как просто показать свои труды.
Как трудно рассказать свои пруды.

Я узнаю тебя издалека
По кашлю, по шуршанию подошв.
И это началось не с пустяка:
Наверно, был мой пруд на твой похож.

Был вечер. Мы не встретились пока.
Стояла ты. Смотрела на жука.
Колючий жук толчками пробегал.
И лапками поверхность прогибал.

Вспомнил эти стихи, потом огляделся с отчаянием: вот чем кончается все!

Когда-то я написал эти стихи вот этой женщине, сейчас она абсолютно безучастно сидела рядом, страстно думая о другом, о своем! А я еще надеялся вытащить ее словами — а мы вообще молчим уже час. Называется — встретились, уединились! Аквариум, однако, приковывал и ее взгляд. Она тоже чуяла, что сейчас это не просто аквариум, а измеритель Времени, а может быть — Вечности. Пока он не наполнится, ничего вокруг другого не

произойдет.

И снова — действие не менялось абсолютно — «ученица» вышла из гулкого помещения с корявым ведром, с натугой влезла на липкую дерматиновую стойку бара, обрушила воду за стекло, муть поднялась с тихим шипением — и новая волна гнилостного запаха. Не разгибаясь, она обернулась к Араму. Тот оставался недвижен. Бесконечность только лишь начиналась, вся была еще впереди. «Водоноша» спрыгнула с бара. С подоконника из таза с прозрачной водой пучились черные глазки золотых рыбок — похоже, лишь они проявляли некоторое нетерпение, иногда булькали, всплескивали хвостом. Нонна, в отличие от рыбок, не суетилась. Во взгляде ее была ледяная решимость, способность пересидеть любую Бесконечность и сделать, как надо ей. У меня нет такой силы. Все, я проиграл. Сил было лишь на протухшую реплику:

— Скажи, ну зачем ты пьешь?

Голова ее медленно повернулась. Ледяной взгляд. Потом — кивок выпяченным подбородком в сторону аквариума:

— А ты зачем... был там?

Вот так. И аквариум сгодился. Теперь там, а не в прежнем окне. Вселенский Компьютер, показы-

вающий все мои грехи. Просто куда она ни глянь — полная информация обо мне!

— Ну, все! — Я резко поднялся. Ждать, пока гулко наполняется следующее ведро, — значит утратить остатки воли. — Вставай!

Пальчиками я сжал ее хрупкую шейку, чуть-чуть потянул вверх. Встала как миленькая! Подвел к выходу — никто на нас даже не поглядел — и, отпустив шею, пихнул ее довольно сильно, так что она вылетела на дождь, поскользнулась в луже.

— Так, да? — произнесла хладнокровно.

Грязь, стекающая с пальто, ее абсолютно не смущала. Ее, похоже, ничем теперь абсолютно не смутишь!

— Так, представь себе! — заорал я.

Хорошо, что хоть в «Арарате» сдержался.

Моя воля тоже может что-то: я поднял руку — и материализовался пикап-«каблучок». Может, тот именно, под который час назад кидалась она? Будет, однако, по-моему. Не снизойдя до разговора с шофером, распахнул дверцу, впихнул Нонну внутрь и сам вжался туда же.

— В больницу!

Водила рванул с места не уточняя — знал, видимо, из какой больницы клиенты шастают по

гнилым пустырям.

В затхлый больничный коридор мы вошли с ней подчеркнуто отдельно, и она сразу же, не оборачиваясь, ушла к себе, а я остался у двери.

— Ну что... убедились? — произнес Стас, пробегая мимо. Я молча кивнул.

Глава 8

Троллейбус жалобно скрипит. Изредка выплывает фонарь, озаряющий лужу, рябую от дождя. Иногда лужи — цветные от редких окраинных реклам, но веселит это мало.

После нашей прогулки с женой Стас, утвердив свое умственное превосходство, еще долго трепал меня.

«Ну, вы поняли наконец, что бессильны? Может быть, даже и мы бессильны, но *обязаны* попытаться!»

И — «попытать». Больные, как я слыхал, это «глубинными бомбами» называют. Почему бы не испробовать? Только вот что останется после них?

В конце Стас по заслугам меня оценил: «Конечно, методы словесного воздействия отрицать нельзя, — он снисходительно улыбнулся, — но, мне кажется, у вас нет... достаточного морального веса, чтобы воздействовать на нее».

А я-то наивно считал, что у нас есть духовная близость, более того, даже программа какая-то есть: «Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга». Оказалось — только «глубинные бомбы» есть.

Или — выбирай — «кино» в том окне, «мыльная опера», где я главный злодей. Финал: нож. Глаза не разбегаются, а скорее — сбегаются к переносице, чтобы не выбирать ничего. Да и «глубинные бомбы», оказывается, надо еще «проплатить». Когда я, морально подавленный, дал согласие. Стас высокомерно («Я в этом не разбираюсь») в отдел маркетинга отправил меня, где мне «выкатили» за лечение такой счет, как за отдых на море. Впрочем, «на море» она уже как бы отдохнула — все деньги мои угрохала в ту ночь, когда выбежала из дому. Как это умудрилась она: пятьсот долларов — за четыре минуты? Должна, что ли, кому-то была? Может, тому швейцару? Но он бы, наверное, сказал? Он-то как раз свой «моральный вес» ощущал в полной мере и не стал бы лгать и юлить — зачем это такому славному человеку? Виноват, впрочем: не пятьсот. Четыреста. Сто баксов она сохранила в потном кулачке. На них и гуляем — иногда даже скачем верхом.

Подписал договор — длинный список лекарств. «Успокоительных». Прежней, веселой, уже не увижу ее! Подписав — «выплата в течение месяца», — вернулся, отодвинул тряпочку на дверях, уже как бы издалека на нее посмотрел. В выпуклых своих очках разглядывала какой-то

журнальчик... Прощай.

Лужи уже сплошь стали разноцветными — въезжаем в царство нег и сказочных наслаждений возле станции метро «Площадь Александра Невского». Что ли загулять? Хлебнул горького я сегодня достаточно — надо чем-то вкусным запить, вроде пива. Запой мне, к сожалению, не грозит — такая роскошь мне, увы, недоступна.

Вылез у станции. Станционная жизнь бурлит. Кроме жриц любви (тут в основном почему-то провинциальные) теперь еще кучкуются амазонки навроде той, что так лихо в больничку меня домчала. Табун их — под конным памятником Александру Невскому, своей бронзовой дланью как бы благословляющего их. И они уверенно конской грудью наезжают на пеших жриц любви, теснят их с площади, при этом — хохочут. Откуда уверенность в них такая? Высоко сидят? Долго стоял смотрел. Интересно. После больницы-то! Эти — умнее пеших: торгуют не своим телом, а телом коня. Почему, интересно, тут только девочки, почему конных мальчиков нет? В другом, видимо, месте? Надо будет узнать.

Ну все. Погулял — и достаточно. Но тут одна конная Лолита наехала на меня: «Прокатимся, барин?» Формулировка, не скрою, мне понрави-

лась. Да и сама она тоже. Мелькнуло вдруг: не та ли самая красавица зеленоглазая, что догоняла нас на Валдае верхом? Да нет — сюда она вряд ли доскакала. Боб это не одобрит. Похожая просто. Впрочем, все они почему-то похожи между собой. Генерация? Плотные, сбитые, маленькие — без коней вряд ли им удалось бы конкурировать тут с прежним контингентом. «Давай!» Она вынула ножку из железного стремени, я вдел туда свой лапоть, взлетел. И сразу — почти равным Александру Невскому почувствовал себя.

Поерзал, устраиваясь. Устраиваться тут интересно оказалось: сразу же кто-то третий, нас обоих волнующий, между нами возник. А считалось, что все давно закончено в этой сфере. Третье дыхание! Вопрос, оказывается, в том, с кем дышать. Третье дыхание, оказывается, может и сладким быть.

Затряслись. Довольно болезненно это — на хребте лошадином без седла. В седле только ее попка помещалась, ритмично подпрыгивала.

В витринах Старого Невского отражение ловил: смотримся неплохо. Как бы я главный, высокий, а она — беззащитное существо. Вспомнил любимую в детстве конфетную коробку: Руслан везет Людмилу из плена, на коне. Мощный Руслан,

впереди — беззащитная Людмила, к нему прильнувшая, а сзади, к седлу притороченный, седой, злобненький старикашка Черномор. Точно не сказать — к мельканию в витринах приглядывался, — на кого я больше похож: на стройного Руслана или согбенного Черномора. В конце концов решил: в зависимости от витрины. По звонкой брусчатке перед модным рестораном процокали и снова — на глухой асфальт. Пробки, семафоры не для нас: проскальзывали грациозно. За Московским вокзалом, на широком Невском с мощным движением въехали на тротуар, теснили конской грудью прохожих.

Амазонку мою вдруг прорвало — не иначе как оживленный Невский подействовал на нее — стала лопотать (впрочем, это как-то не мне предназначалось, а воздуху, меня она мало замечала). Сообщила, что у них в Пушкине конно-спортивная школа была, потом их бросили, продали, на самообеспечение перевели — а где сено взять, кормовые добавки? Впрочем, судя по раздутым бокам коня (да и по ее попке), полное истощение им не грозит — думаю, она побогаче меня. Вот навстречу по тротуару, рассекая толпу, встречная всадница проскакала, тоже со вторым наездником сзади нее.

— Привет, Анжелка!

— О, Саяна! Привет.

Проплывают над всеми! Новые хозяйки жизни.

— А где ты сейчас живешь-то? — спросил у нее.

— А! Пока еще тепло — в парке Интернационала, танцевальный павильон нам сдают. Вповалку спим, не раздеваясь.

— А хочешь тут жить? — показал на свой домампир.

— Не! Со стариками я не живу! — даже не оборачиваясь, определила. По сбивчивому дыханию, видно.

— Тю, дура! Я сам такими не интересуюсь. Расселяют нас, полно комнат. Сюда давай.

Въехали, чуть согнувшись, под арку во двор. Окно бати сияет, источая мудрость. Флигель напротив — темен и пуст.

— Раньше жила дворничиха, — на то окно показал. Заселю по своему усмотрению.

— Так. — Анжелка ногой, прямо с коня, дверь приоткрыла. — Тут и Ворон может стать. И топят, похоже.

— Очень даже может быть. Это у нас жилые не топят, а нежилые — очень даже может быть.

— Ну, клево. Слезай тогда. Раз так — бабок не

надо. Мы девчонки глупые, но тоже понимаем, кто нам хорошее делает. Только ты и не думай! — обернулась воинственно.

— А я и не думаю! — С коня сверзился и враскоряку пошел. Теперь у нас такая походка?

Анжелка тоже спешилась, как мужичок с ноготок, коня под уздцы в дверь провела. Тугая пружина хлопнула. Что я думаю — сам не пойму. Но что-то, видно, думаю, раз говорю?

К себе на кухню поднялся. Не зажигая света, уставился в то окно. Там зайчик по стенам заплясал. Анжелка осваивается. Зачем? Не такой уж я друг детей и животных — но как-то вмешаться в тот бред, что в том окне бушевал, обязан просто. Пусть Нонна что-то мое там увидит! Не так обидно будет погибать.

Б. У. Бред Улучшенный. Или — Ухудшенный. Поглядим. Во всяком случае — хоть чуть-чуть Управляемый. В какой-то степени и от меня теперь зависящий. Или хотя бы мной сочиненный. Так что если вдруг по выходе моя супруга зарежет меня, то будет хотя бы частично ясно — за что. Частичка моего тепла будет к этому делу тоже примешана... Пропадать, так с музой!.. А теперь — отдыхать.

Но, увы, отдых не удался. Вдруг щелкнул вы-

ключатель, как выстрел с глушителем, и кухня вся озарилась, Анжелке на обзор. Морда моя в стекле отразилась. Сто шестнадцатая серия «мыльной оперы» понеслась! Клин клином вышибают, бред бредом. Анжелка, рыбка моя, как ты в этом аквариуме?

Но вдруг вместо нее какой-то окровавленный вампир там! Что-то не то, получается, я сочинил? Растянулся огромный рот, два клыка показались. И понимал постепенно с ужасом, что не там он, а тут, за моей спиной! Вышел из-под контроля сюжет. Все силы свои собрал, развернулся... и на батю наткнулся. Чуть успокоился — и еще сильней ужаснулся: весь в крови и даже рубашка закапана. Где это он?

— Ты что, батя? — я пробормотал.

Он долго смотрел на меня, весь сморщась, обнажив клыки... других зубов не осталось. Где они?!

— А?! — вдруг произнес он, оттопыривая ухо.

— ...Что с тобой?! — проорал я.

— К зубному ходил, — просипел он обессиленно. — Зубы вырвал... девять штук.

— Ну на хрена, отец? Делать, что ли, тебе нечего?

Мало проблем!

— Надо ж было разобраться сперва... посовето-

ваться... — пролепетал я.

— Но ты же обещал пойти со мной к зубному. И не пошел.

Опять я виноват.

— Ну ладно. — Он улыбнулся «ослепительно», положил свою лапу мне на плечо.

Я положил на нее свою ладошку. Постояли так. Потом я открыл холодильник.

Глава 9

Без Боба я бы пропал! Конечно, Кузя, высоконравственный друг, осудил бы меня, что я к помощи «маргинальных слоев» приникаю. Но ведь сам же он и сосватал нас!

Кстати, Боб сам тоже недоволен был, когда я за помощью к нему обратился. Долго «пальцы топырил», «крутого» изображал — злился, что в коммерческие тайны я лезу его. Да не нужны мне его «коммерческие тайны»! Мне деньги нужны! Что мне его моральный статус! Я и раньше догадывался, что не только очисткой Земли от гниющих сучьев занимается он. Однако именно он мне сгодился, при всей его моральной некрасоте не побоялся мне продемонстрировать ее, мою жизнь спасая.

Вагон «левой» карамели посадил меня сторожить на запасных путях. Достойное занятие для меня нынче. Одевался соответственно... хорошо, что не выкинул старье. «Умный, ч-черт!» — как Нонна когда-то говорила. И когда старушка меня сменяла — прям так в больницу и ехал, в старье. Можно, конечно, было домой заскочить, переодеться... но зачем? Хватит, намодничались. Для

теперешнего оно лучше. Вот так жизнь и падает. А ты думал — как?

Стас с первого раза не опознал меня. Опосля привык. Таперича так. Входил в затхлую ее палату. Она теперь в основном, распластавшись, под капельницей лежала. Ставил минералку на тумбочку, фрукты вынимал. Забирал сгнившие. Не прикоснулась даже. Не реагировала на меня! «В лучшем случае» резко отворачивалась, с влагой в глазах. Я виноват? Из-за нее, можно сказать, сижу в холодном вагоне!.. но ей разве объяснишь?

Потом этот вагон карамели Боб успешно толкнул, но меня не бросил. На этих же путях посадил вагон просроченной виагры охранять, причем о просроченности честно сказал, чем обидел меня слегка... Что, если не просроченная, то не доверил бы? Впрочем, какая разница мне? Я сам просрочен. Мне уже никакая виагра не поможет. Спал на упаковках ее, вольно раскинувшись, но сексуального оживления, обещанного ею, не уловил.

Стук в дверь вагона раздался. Старушка пришла меня сменить. Залезла, приняла все по описи. Бывают же деловые такие! Впрочем, что я — «старушка», «старушка»! Сам себя неверно оцениваешь — «старушка» эта моложе тебя. Это как раз ты — «старик». Усвой это. Спрыгнул из

вагона — и на бок завалился. Вот так!

Потер бок. По шпалам пошел. У огромного ангара депо в полутьме сварка сверкала — двое сваривали котел. Я знал уже — это печка для перемолотых сучьев, один из сварщиков — Боб. В масках и не узнать. Впрочем, чушь говорю: движения у каждого свои. Вон Боб. Понял еще до того, как он рукой в рукавице мне помахал.

И я в больницу поехал. Привыкай. Это теперь ты дома — в гостях, а в больнице — дома.

У метро, возле ярких ларьков (после рельсов здесь все верхом роскоши казалось), постоял, размышляя, что надо купить. Блок сигарет... апельсины... Что-то еще! Ага! — радостно вспомнил. Туалетную бумагу! Каждый раз там в ужас прихожу от растерзанной газеты, а бумагу все забываю купить. Вспомнил. Обрадовался. Теперь радуюсь столь простым вещам. Дожил! И это, понял вдруг, хорошо.

«Пять-шэсть штук» купить надо, порадовать ее. Вспомнит или нет любимую нами когда-то присказку — «пять-шэсть штук»? Отдыхали мы когда-то в Сухуми... осталось ли что от того дома с террасами, где жил маленький профессор Леван и жена его, могучая красавица Клара? Все у них было — «пять-шэсть штук». Даже в Ленинград нам

перед нашим выездом звонили: «Купите шляп для Левана!» — «Сколько?» — спрашивали мы, радостно перемигиваясь. «Пять-шэсть штук!» И мы покупали, летели к ним. Счастливая жизнь под мандариновыми деревьями, над винным погребом. Когда покупали что-нибудь там, других слов не было. Порой до абсурда доходило — просто так уже веселились. Шли вдвоем в кино: «Сколько билетов?» — «...Пять-шэсть штук!» — радостно смеялись. Но тогда все копейки стоило! Потянем ли сейчас? С туалетной бумагой — потянем! А там, глядишь, и счастье вернется. Помню, как шли вечером с пляжа, пересекая рельсы, сжатые с двух сторон буйной растительностью, над шпалами в темноте светлячки танцевали. «Пять-шэсть штук»? Как же! «Пять-шэсть *тысяч* штук»! Интересно, вспомнит или нет? Если вспомнит — выберемся!

— Так пять или шесть? — Продавец туалетной бумаги не понял меня. Не врубается! Да откуда ему?

По коридору с упаковкой радостно шел — и больные встречные улыбались: «Запасся дядя!»

Нонна распластанная под капельницей лежала — не поглядела даже на меня. Жахнул упаковку туалетной бумаги на тумбочку:

— «Пять-шэсть штук»!

Не реагирует! Не помнит уже ничего, в чем счастье наше было! Не выберемся!

На табуретку опустился. Упаковку порвал. Рулон вынул. «54 м» — напечатано крупно на нем.

— Вот! Пятьдесят четыре метра в каждом! Хватит тебе?

И вдруг она повернулась ко мне — и бледная улыбка появилась на ее сморщенных губах. Впервые! Все же вырвал ее из темноты!

Обратно приплясывая шел. Вот уж не думал, целую свою жизнь, что самая большая радость в больнице ждет!

Ночь я не спал, думал, вспоминал. Похоже, счастливые воспоминания о Сухуми помогли ей. Надо помочь ей вспомнить себя. Ведь всегда из всех передряг выбирались и часто именно благодаря лихости ее, беззаботности. Не признавала забот... и они — отступали. «Нисяво-о-о!» — восклицала бодро в самый завальный год, и действительно — «нисяво», обходилось. Благодаря ей прожили легкую жизнь и с Купчинских болот в эту квартиру на Невском перебрались, в самое красивое на земле место. «Нисяво-о-о!» Надо не исправляться ей — поздновато это, а просто вспомнить себя. Элементарно. Именно

такой стать, как раньше, и никакой другой. Слабость ее — это и сила ее. Именно трогательная беспомощность ее и вдохновляла многих вокруг, вызывала у них, людей обычно жестоких, такой прилив доброты, что и мне порой перепадало. И, ее полюбив, все и себя начинали любить: вот, оказывается, мы какие хорошие с хорошими-то людьми! Праздник.

Помню, жили мы с ней в Доме творчества в Ереване. Решил однажды в ярости в горы ее погнать. Накануне напилась она с коллегами моими — я, значит, работал, а она пила!.. Начало воспоминаний этих — злобное, не спорю, но зато потом! Ранним утром я поднял ее, а заодно еще и ту парочку, с которой она напилась. «В горы, в горы! Здоровая жизнь!» Те двое, муж и жена, поднялись покорно, еще не понимая толком, куда их ведут. Нонна, конечно, заплакала, слезы размазывая тощим кулачком. «Я не могу, Веча! Лучше убей меня здесь!» — «А-а! Не любишь?! А напиваться, душу мне рвать — можно?» Выпихнул их на шоссе. Побрели, покачиваясь. Шоссе извилисто в горы поднималось, наверху терялось, в утренней мгле. Там, по слухам, как некий град Китеж, сказочная «олимпийская деревня» была. Но из обитателей Дома творчества (с их-то образом жизни) никто

не видел ее — только смутные легенды доходили до нас. Но мы достигнем ее. Хватит дури... А кто будет сомневаться — убью!

Уныло склонясь вперед, шли по извилистому шоссе... настолько извилистому! С отчаянием, после часа виляний, увидел рядом совсем брошенную канистру, от которой, думал, мы уже дико высоко поднялись. А она — рядом, можно наклониться и взять. Дорога — специально для страданий, не только физических, но и моральных, для демонстрации тщеты всех усилий, всех надежд чего-либо достичь. Нонна, как слабое существо, первая этим прониклась, села на пень возле шоссе, заявив, что не пойдет дальше.

Сырость насквозь проникала: бр-р-р! «Ну оставайся, если хочешь замерзнуть!» — «Хочу!» — «...Нет, пошли!» — «Веча!..» — воинственно вскочила, челюсть, выставленная вперед, задрожала, вскинула кулачки (большой пальчик почему-то всегда внутрь зажимает). «Сколько злобы...» — «...в этом маленьком тельце», — была у нас с ней такая присказка на двоих, часто спасала нас, снимала напряг. Но в тот момент — вряд ли. Злоба ее от слабости шла, яростно слабость свою защищала, чтобы не делать ничего такого, что не нравится ей. И такой злобы в этой защите больше

ни у кого не встречал. «Оставайся!» — я заорал. И чтобы не петлять больше тут, чтобы опять после часа ходьбы скорбную Нонну рядом не увидать, решил резко в гору пойти — и пару друзей, ни в чем не повинных, перед собою пихал. Те испуганно переглядывались: «Во влипли!» Лезли на четвереньках по скользким камням. Нонна исчезла внизу. В сырое непроглядное облако попали. И вдруг — круглые камни, «лбы», тонким льдом покрылись. Как лезть? Падали, катились, мордою тормозя. Но отступать еще опаснее стало, чем наступать: перестанешь карабкаться — покатишься вниз. И когда вылезли мы наконец наверх, ободранные, окровавленные, — увидели этот «град Китеж» во мгле. Ринулись в бар, светящийся вывеской, — и первое, что увидели, войдя внутрь, — это Нонну! Сидела розовенькая, румяненькая, аккуратненькая, в одной руке у нее была чашка кофе — красная, армянская, керамическая, в другой — фужер коньяка и, судя по радостному ее настроению, уже не первый. «Венчик!» — закричала, сияя. Да, зла она не помнила. Особенно — своего. Что тоже, если вникнуть, прелестно. Как она опередила нас?! Кто-то пожалел ее, сиротинушку, подкинул на авто? Нас, измученных, окровавленных, честных, никто не жалел. Вокруг

нее, сочувственно и озабоченно, местные женщины сновали — на нас, наоборот, поглядывали, как на злодеев, испачканных в крови. В своей кровинушке-то!.. Никому не интересно. Вообще выгнать нас хотели — «санитарный час»! «Санитарный час» нам, окровавленным, был нужен, но выгоняли нас. Спасибо, Нонна нас выручила, сказала радостно: «Это со мной!» Неужто счастье ее не сработает больше?

От меня зависит — сколько сил вложу. Сколько наших слов вспомню!

Глава 10

Перед рассветом — самый тревожный сон. Или просто — самый запоминающийся? А этот сон, который я вижу сейчас, тревожит еще и своей повторяемостью. Может, и вправду что-то значит он, если так упорно приходит? Мы — в другой квартире. То ли я так глупо обменял, то ли мы вынуждены были переселиться. Смертельная тоска! Во сне я просыпаюсь, выныриваю из глухой темноты и вижу перед глазами чужие, аляповато-нищенские обои, которые теперь — с отчаянием понимаю — мои. Стенка кривая, пузатая, явно — картонная, в лучшем случае — фанерная, делит жизнь на клетушки. К тому же, я чувствую, не все клетушки — мои. Кто-то — так ясно, словно перегородок нет, включает, выключает дребезжащее радио, кто-то надсадно кашляет — бедная, убогая жизнь. Как же я так вляпался? Ведь вроде бы поднялся куда-то в процессе жизни?.. Упал? С отчаянием вспоминаю прежние наши светлые, достающие до высокого потолка окна... счастливчик — раньше каждое утро видел их, просыпаясь! Теперь открываю глаза — какой-то мутный «бычий пузырь» вместо окошка, приплюснутый

низким серым, неровным потолком. Городские трущобы. Это не новостройки даже — там гораздо радостней и светлей. Это — столетний центр убожества, несчастий и нищеты. И все правильно, понимаю я, — это убежище соответствует нашей жизни — жизни нищих стариков, им так и положено жить, в соседстве и постоянных бессильных ссорах с такими же, как они. Прежняя красивая квартира — и, может быть, даже красивее, чем была, — появится только в грезах перед рассветом. А вот пузатая эта, залосненная чьими-то грязными головами стенка — теперешняя твоя реальность, и сколько ни таращь глаза (мол, может, ты не совсем еще проснулся...) — вот! Надо шаркать на кухню с кривым кафельным полом, нелепой дровяной плитой, множеством столиков по углам, накрытых чужими пахучими клеенками. Реальность. Грезить о прежней просторной квартире перестань: ты потерял ее безвозвратно. Вот проснешься окончательно, освежишь себя из медного крана на кухне — и, может быть, вспомнишь, как ты все потерял, в том числе и последнее — любимую квартиру, где ты был счастлив когда-то. А теперь что ж — какое счастье, такая и квартира. Вставай. Нет, еще немножко погрезить, будто я там, в преж-

нем любимом доме. Вот бы проснуться однажды там! Я тыкаю в стенку перед глазами, фанера пружинит. Все? Я с отчаянием зажмуриваюсь... медленно развожу веки... О, счастье! Брезжут прежние высокие окна. Неужели я по-настоящему просыпаюсь? Здесь? Распахиваю глаза... Да! Лежу счастливый, но обессиленный. И где-то с краю еще тревога — может, еще проснешься *там* и не вырвешься. Будь начеку. Но пока — о, блаженство! — еще хватает сил просыпаться здесь.

Лежу плашмя, наполняясь звуками счастья. Вот отец шаркает по коридору, шарканье обрывается, наступает пауза. Остановился у двери, склонил сюда свой огромный лысый «котел» и, отчаянно жмурясь, вглядывается: на месте ли я, не загулял ли? С вами загуляешь! Тут я, тут. Но полежу в блаженстве еще — в последние годы оно только и есть, пока не встанешь.

Сейчас Нонна на кухне забрякает... Тишина. Не забрякает! Но, может, вернется и это, раз «квартира вернулась»? Прежней ее даже и в больнице уже нет! Прежней она лишь здесь может стать. А там? Там вылепят нечто «для отчета», а не для меня.

Работай. Вставай.

Отец прервал лирические размышления мои

резкой трелью в штанах. Пр-р-равильная р-р-реакция! Раздраженно зашаркал дальше по коридору. Щелкнул выключатель. Потом — щеколда. Значит, можно лежать еще минимум полчаса. Отец там капитально устроился. К этому делу, как и ко всему прочему, подходит азартно, напористо, обстоятельно. Глубокий научный подход. И торопить его там, дергать дверь — в высшей степени бестактно!

Щеколда наконец отщелкнулась. Вперед!

Глава 11

— ...Что это за возраст такой? — вещал батя. — В шестьдесят я еще был... конь! Волгу переплывал!

Зазвонил телефон. Боб!

— В Москву едем.

— Как?!

— Бабки нужны тебе?

Все-таки хочет капитализм меня схавать, загубить мое дарование! Это хорошо.

— Что делаем? — я поинтересовался.

— Сучья будем втюхивать. В смысле — таблетки уже, из опилок спрессованные. Отлично горят!

— Там это что... экологическая комиссия опять собирается?

— Ну.

— Когда едем?

— Через сорок минут.

Вот это ритм!

— Извини, отец! — (Пшенной кашей его кормил). — В сберкассу не могу сегодня с тобой пойти. Срочно уезжаю.

— Ну? Куда? — удивился и даже обрадовался, похоже, больше меня.

— Ты уж как-нибудь тут... Ладно? — Я озабоченно несколько раз дверь холодильника открыл и захлопнул.

— Ладно, ладно. Езжай! — махнул своей огромной ладонью.

— Если Нонна будет звонить, — пробормотал (что сейчас с ней там, лучше не думать), — ...скажи, я в Москве, скоро приеду.

И у меня, выходит, бывают дела!

— Езжай, езжай! Все тут будет в порядке, — почему-то подмигнул. Радость его и мне передалась. Вернусь — возьмусь!

Боб забибикал внизу.

— О! Вот это машина! — отец одобрил. — Я в такой точно ездил по полям.

Ну, не совсем, конечно. Ну — пусть.

— Бывай, батя! — Мы обнялись.

Молодец Боб: и наши с отцом отношения взбодрил.

Смена ужасов — лучший отдых! Я спустился. И с Бобом обнялись тоже — раз уж такая пьянка пошла! Я поднял взгляд — батя сияющим куполом светился в окошке.

— Кто это?

— Батя мой. — Я помахал ему, он ответил.

— Ну? — Боб глянул с удивлением, но почему-

то на меня. — Ладно, все. Хоп! — Он поставил в кабину ногу, и тут вдруг из флигеля донеслось ржанье.

— Что это? — застыл Боб.

— Да... тут, — произнес я нетерпеливо.

— Ну, хоп! — Он закинул себя в машину, я уселся с другой стороны.

Вместе хлопнули дверцами. И — рванули. Брякнули люком.

— Тут сейчас заедем еще — печку подцепим! — крикнул он мне, когда мы проезжали под аркой.

Печка на колдобинах издавала дребезжанье, похожее на ржанье, и с торчащей спереди изогнутой самоварной трубой походила на железного коня с раздутым брюхом.

Боб то и дело влюбленно оглядывался, особенно когда «ржанье» становилось нестерпимым — но то для меня, а не для хозяина.

В промежутках он поглядывал еще на мешки, сваленные на заднем сиденье, дробленые сучья, спрессованные в таблетки, похожие на игральные шашки. Выиграем ли? Конечно, хотелось бы попросить Боба пореже оглядываться, ведь все-таки едем через трудные места, нерегулируемые перекрестки, где надо глядеть в оба! Но — если страсть!.. Других лирических порывов, кроме

любви к печке, не наблюдалось у нас. Даже когда проезжали родные его места. Боб разве что на минуту тормознул — справить нужду. От струек шел пар, лопухи с бордовым отливом, трепеща, что-то лопотали. Долина казалась пустой, строения любимого его хутора — безжизненными. Амазонки в вуалях не скакали к нам. Все, видно, в город подались, под руководящую длань Александра Невского. Горизонт окаймлял лес, сплошь уже черный, лишь кое-где взблескивали березки, как седые волоски. Вот мельница. Она уж развалилась. Быстро это у нас. Когда ехали в прошлый раз, она почти целой казалась... В промежутке целая грустная жизнь прошла.

— Ты небось поливаешь меня? — вдруг произнес Боб.

Я чуть буквально его не понял, в испуге отдернул струю.

— В каком смысле? — пробормотал я.

— Ну, в смысле — в своих сочинениях? «Новый русский», тупой?

— Да нет, — сконфуженно произнес я.

Еще и не приступал, если честно. Какое, однако, самомнение у него! Почему-то думает, что перед глазами у меня ничего больше нет, кроме его персоны. Не будем разочаровывать. Ведь кроме него

вряд ли мне кто поможет: деньги в больницу надо в месячный срок. Так что личность, безусловно, выдающаяся.

— Я — просто русский! — гордо выпрямился Боб. Спохватившись, убрал «инструмент», и я тоже, соответственно моменту. Молча постояв, мы пошли назад. Он потрепал любовно по холке своего «стального коня», и мы, слегка замерзшие, сели в машину. Больше мы с ним не говорили почти, лишь звучала местная «музыка» — Яжелбицы, Ми-ронушка, Миро-неги!

— А чего это я к тебе так прилип? — вдруг он удивился.

Я и сам удивлен!

О «самоварной дороге» с трудом вспомнил я — напомнили деревянные двухэтажные дома, но обочины были пусты — видно, холодно уже людям стоять. Грусть и печаль. Но я ими наслаждался. Просто прекрасными были они — по сравнению с ужасом, что оставил я за кормой. Для того я, впрочем, и ехал, чтоб забыть о своем. Ну хотя бы как-то рассредоточить беду в этой печали вдоль дороги... Помогло!

А Москва — всегда как-то бодрит, даже чумазыми заводскими строениями. Лишь в Москве видел такие надписи: «Строение 4», «Строение

5». Какая-то энергия скрыта в этих надписях! А как замирает душа на старинных центральных улицах перед скоплением темных лимузинов с нетерпеливыми мигалками! И понимаешь вроде, что не сидеть тебе в таких, не решать глобальных проблем, — но сердце сладко щемит, а вдруг? Приятно просто представить — поэтому я так люблю ездить в Москву. Боб, — глянул на него, — похоже, не так счастлив и беззаботен: сейчас дергается в пробке, а дальше, похоже, будет еще трудней. Во всяком случае, я заметил несколько насмешливых взглядов из роскошных лимузинов в сторону нашего «железного коня» с его грубыми, чуть извилистыми сварными швами, отливающими фиолетовым. Легкая брезгливость во взглядах читалась примерно так: нужны, наверное, такие страшилища, как этот «троянский конь», и даже где-то, наверное, приносят пользу — но зачем надо было гнать его сюда, портить благолепие? Если польза от него есть — то шлите ее сюда прямо уже в виде денег, желательно — иностранных. А зачем же *это* переть? Боб, тонкая душа, чувствовал это.

— Ничего... сожрете! — неуверенно бормотал он.

И у отеля, где парковались мы, чувствовалась

та же самая брезгливость.

Перед комиссией Боб, волнуясь, ко мне в номер зашел:

— Глянь-ка: носки вроде не в тон?

— Не — вроде в тон, — пытался взбодрить его я.

Боб подошел к зеркалу, в глаза себе глянул:

— Ну что? Бздишь, суколюб?

Доложили на комиссии. И — выгнали нас. «Для принятия решения». Никто даже не захотел выйти на печку нашу взглянуть!

— Из золота им, что ли, — бормотал Боб, — печку надо было сварить?

Шведам отдали наши сучья! У них даже и печки такой нет! Через пару лет сляпают только. А пока наши сучья в наших реках гнить будут, воду отравлять. Зато печка у них будет — тип-топ, не стыдно в любую виллу поставить. Хоть в Швеции, как сказал Боб, и нет вилл: дурным тоном это считается, признаком воровства. Едешь и едешь по Швеции, и сплошь — скромные деревянные домики, оставшиеся им к тому же от предков. И им это в самый раз. Это *наши* стараются, для *своих* вилл — чтобы *шведская* печка у них стояла.

Горе просто! А как волновался-то Боб, готовился! Носки-то, может, оказались и в тон, но вот

мы оказались «не в тон». Вечером разбрелись по номерам. Часов в девять я позвонил ему. Боялся — вдруг он опять устроит побоище в кабаке, как тогда, когда мы с ним из Африки добирались. «Ура, мы ломим! Гнутся шведы»?

— ...Алло, — тихий, словно не его голос ответил.

Теперь еще миллионер у меня на руках!

— Ну как настроение? — бодро произнес я. — Может, того?..

— А, это ты, — произнес он тускло. — А я думал, это бляди опять.

Да, с этим здесь хорошо. И накануне всю ночь звонили без передыху — но тогда мы волновались, готовились, сочиняли доклад. «Плакала Саша, как лес вырубали!» — с этого Боб, по моему совету, сообщение начинал. А мое эссе «Сучья» и не дослушали даже! Так что той ночью не до *этих* было. А теперь — уже не до них! Только мы с ним пожелали друг другу спокойной ночи — сразу звонок.

— Можно к вам зайти?

— А вы кто?

— А я Люба. — (Смешок.) — Любовь.

Любовь нечаянно нагрянет! И некстати, как всегда. Была уже у меня любовь — теперь надо

разбираться с ней в нервной клинике.

— Извини, Люба. Нет настроения, — в трубку сказал.

— Так, может, появится? — Снова какой-то странный смешок.

Марихуаны, что ль, накурилась?

— Нет! — Я злобно кинул трубку.

Тут же — снова звонок. Выходит, не обиделась? Или — то новая уже, еще не обиженная?

— Алло.

— Ты чего там? — Голос женский, но грубый. — Залупаешься? Сейчас огребешь!

Выселять будут? Или так убьют? Трубку повесил. Снова звонок!.. Соглашаться? Представил вдруг, как Нонна лежит, в душном пенале.

Стал розетку искать, чтобы выдернуть. Но где же она? Столом, умники, задвинули. Встав на колени, яростно дергал стол. На третий дерг он вдруг поддался легко и чмокнул прямо углом мне в зубы. Сразу кинул туда язык... Шатается! Во, плата за честь — переднего зуба лишился! Но выдернул провод, как герой-связист! Укутал зуб в кошелек. И задремал спокойно. Пусть теперь только сунутся! Зуб за зуб!

Раньше бы обязательно вляпался в историю!

В чем сила несчастья — начисто выжигает всю

дрянь.

Из Москвы не могли выбраться три часа, на выезде — пробки. Работают сотни машин, воздух аж сизый от бензина! Вздыхали с Бобом. Мы тоже, увы, вносим свою грязную лепту. Но мы хоть пытались что-то изменить!

Вырвались наконец на простор. Чуть вздохнули. Перелески, холмы. Ныряли с горы на гору, и наш железный коняга сзади ржал.

Ничего! Пока мы его тащим — а там, глядишь, он нас повезет!

— А денег я тебе все равно дам! — произнес Боб упрямо.

...Впервые заметил вдруг, что в больницу как-то уверенно иду. В одной из первых бесед доктор Стас высказал мнение, что нет у меня «морального веса», чтобы Нонну спасти. Есть у меня моральный вес! И к тому же — материальный! — пощупал карман.

Переобулся у входа в тапочки, повесил пальто, не спеша по коридору пошел. Самодовольно дыркой от зуба что-то насвистывал. Ранение как-никак! Стас с удивлением на меня посмотрел: *так* я еще тут не ходил. Я поклонился спокойно. «Зайдите... попозже», — Стас пролепетал. Я кив-

нул с достоинством. Хорошо с весом-то!

Глава 12

И дальше по коридору пошел. «Сколько можно белье вам менять?» — кому-то нянечка кричала. Тепло. Уютно. Последнее, в общем-то, на земле место, где ты еще можешь достойно себя показать. Не устраивать скандалов — мол, я не такой, как все! — а достойно все это принять. Чтоб сопалатники сказали: «Нормальный был мужик!»

Помню, когда я лежал... пошел однажды в туалет. Окна белым закрашены. На подоконнике больничные банки с намалеванными номерами. Посередине почему-то стремянка стоит. Мужики возле нее толкутся, как у стойки бара, на ступени ставят баночки-пепельницы. Дым — не продохнуть. Но тут дым как проявление их последней радости принимается. Последний уют. «Накурили, черти! — нянечка заглянула. — Поспелов! Ты тут?» Маленький, скособоченный мужичок неторопливо окурок о стремянку загасил, положил в баночку. Знал он, что это последний его окурок? Наверное, знал. «Тут я», — спокойно ответил. «Что тебя черти носят? На операцию иди!» — «Ну что, Поспелов? Поспел?» — сосед его усмехнулся. «Точно», — Поспелов сказал. И

просто, обыденно вышел. И больше уже никогда никуда не входил. Нормальный был мужик! Такими, впрочем, полна курилка. В том числе и тут — из приоткрывшейся двери вместе с клубами дыма вырвался оживленный гвалт. Словно не больница, а дом отдыха.

Дальше — треск бильярдных шаров, стук костяшек домино. Хохот. Не ломаются люди. Женщины — вяжут, сплетничают, хихикают. Вот уж не думал раньше, что именно в больнице начну так человечество уважать.

Шел, вдыхая запахи. Полюби их. Может, и удастся еще и свежим воздухом подышать, недолго. Но последний твой воздух — вот. Третье дыхание. Дыши. Это — вполне достойное место.

О! Нонна навстречу идет, улыбается. Здесь не видел ее такой. Выслужил?

— Венечка!

Обнялись. Ощутил родные ее косточки. Отпрянула. Румяное, сияющее личико.

— Я сейчас, — как-то таинственно-радостно улыбнулась.

Кивая — сейчас, сейчас! — скрылась в столовой. Ловко пронырнула в толпе больных — любовался ею, — вынырнула, в тоненькой ручке тарелку держала, с пюре и землистой котлетой. Начала

наконец есть? Отлично! Значит, выберемся.

— Вкусно? — я на тарелку кивнул.

— А? — Она весело глянула на меня. — Тут у одной женщины собачка маленькая — ей несу!

Господи! Упала душа. Откуда тут — собачка-то? Сама она — маленькая собачка... до старости щенок.

Просто светилась счастьем! В палату вошли. Кивнула на мой тяжелый пакет с продуктами, сказала, улыбаясь:

— Став сюды.

Вспомнила любимую нашу присказку, ожила!

Однако появление ее в палате с тарелкой было нерадостно встречено. На койке у входа толстая девка повернулась к стене. На койке напротив седая аристократка тактично вздохнула, но все же, не удержавшись, сказала ей:

— Вы хотя бы старое выносили!

Да-а. Тумбочка и подоконник были заставлены тарелками с засохшей, протухшей едой. Ожила, стала двигаться — и вот!

— Ну хавашо, хава-шо! — весело дурачась, откликнулась Нонна. — Вот это, — сняла с подоконника одну тарелку, — сейчас унесу! — Все так же сияя, подошла к девушке у входа: — Скажите, это у вас собачка?

— Нет у меня никакой собачки! — рявкнула та.

— Извините, — доброжелательно произнесла Нонна. — Я вспомнила — это в другой палате! — Убежденно кивая, вышла с тарелкой.

— Ну, ты понял, нет?! — яростно повернулась ко мне девка.

— Надеюсь, вы поняли? — смягчила ее грубость дама. — Ваша жена... это ваша жена — или мама?.. Извините. Мы, конечно, уважаем ее возраст... и ее доброе сердце... и болезнь, но она делает наше пребывание здесь фактически невозможным. Вы чувствуете? — Ее ноздри затрепетали.

— ...Да, — произнес я и стал, слегка отворачиваясь, составлять тарелки одну на другую. Но тут вошла Нонна.

— Оставь, Веча! — сияя все так же и даже больше, сказала она. — Сейчас я эту женщину встретила, у которой собачка, она скоро зайдет!

За ее спиной я встретился взглядом с дамой. Боюсь, что я смотрел умоляюще: только Нонна начала что-то чувствовать! Нельзя же это сразу давить? Дама вздохнула. Я обещающе поднял ладонь, что должно было, видимо, означать: уладим! Потом взял Нонну за руку:

— Пойдем.

— Ты уже уходишь? Я понимаю, понимаю!

— закивала. — Если женщина та зайдет без меня — попросите ее подождать, — улыбнулась она соседкам. — Я ей все сама покажу! — произнесла она не без гордости.

Я кивнул соседкам, не глядя на них, и вывел ее за сухую, горячую ладошку. Нет, про собачку ей сказать я не в силах. Вон как радуется она. Мы шли за руку по коридору, встречая порой насмешливые улыбки: разнежились старички!

— Ну как вы живете-то там с отцом? — Она как бы сурово наморщила лоб, потом снова разулыбалась.

Уж не огорчу я ее!

— Да ничего так... справляемся, — произнес я.

Она закивала:

— Ну конечно. Сейчас ведь все есть! — не без гордости проговорила она. — А вот когда мы еще в Купчине жили, ведь ни-чего не было! — Она покачала головой. — Помню, я Рикашке нашему мясо в столовой брала, какое-нибудь второе. Садилась за стол и незаметно так вытряхивала из тарелки в пакетик. Потом выдавальщицы заметили, прогнали меня.

Она тяжко вздохнула.

Да не только в Купчине мы жили так — и когда в центр переехали, тоже было нелегко. Помню про-

гулку с песиком первого января тысяча девятьсот девяносто какого-то года. Странно пустые, словно после атомной войны, центральные улицы. Ледяные тротуары, песик испуганно скользит, скребет коготками по льду. Ощущение конца жизни: все витрины абсолютно пусты, магазины закрыты. Тревога: ведь не сможем мы дальше жить! Каким образом? Денег нет, и неоткуда им взяться — старые издательства кончились, новые не берут. А все, чего еще нет в пустых магазинах, подорожает, как нам благожелательно было объявлено, в сто раз! Кажется, что улицы теперь всегда будут такими пустыми! И это мы с ней пережили! Возвращаюсь с собачкой домой, сопя в тепле носом. Нонна бодро говорит: «Нисяво-о-о!» И как-то все устраивается — благодаря ее легкомыслию, неприятию трудностей, — и так и не воспринятые нами, они отступают. Сколько «темных полос» весело проскакивали с ней. Эту — проскочим?

Мы доходим до двери.

— ...Давай теперь я тебя провожу.

Мы идем обратно, к ее палате.

— Ну... — Я встряхиваю ее, как бы шутливо впихиваю туда, заглядываю сам и, сделав дамам прощально-успокоительный жест, исчезаю.

Медленно иду по коридору обратно. Конечно, тяжко ей здесь! Но... окажись она дома — быстро какая-нибудь «собачка» заведется и у нас. Она и сама «собачка», я вздыхаю. Маленькая собачка до старости щенок.

Я протягиваю руку к пальто на вешалке, и тут кто-то дергает меня сзади. Я быстро оборачиваюсь. Она. Прилив счастья: сегодня еще раз увидел ее! Лицо ее вдруг сморщивается беззвучным плачем.

— Они меня все время ругают! Я не могу больше. Забери меня отсюда! Я хочу домой!

Я прячу ее в объятьях, глажу жиденькие волосики на голове. Слезинки ее жгут сквозь рубашку.

— Ну что ты? Что ты? Конечно, скоро я тебя заберу! А ты как думала, а? Что я здесь тебя, что ли, оставлю? Отвечай! Ну? — отстранив, шутливо встряхиваю ее за плечи.

— Пра-д-ва? — согласно нашему семейному жаргону переставляя буквы, доверчиво спрашивает она.

— Ну! — Я встряхиваю ее еще сильнее. — Давай! — шутливо отпихиваю. В слезинках уже светится улыбка. Сжав и разжав поднятый кулак, я выхожу.

Троллейбус словно заблудился — за окнами,

кроме пушистых белых хлопьев, не видно ничего. Первый снег в эту осень — и сразу такой! Сколько же их, этих нежных снежинок? Покрыли чистым, пушистым снегом все пространство и летят, и летят, словно показывая нам неисчерпаемость высшей милости, которой хватит на всех и на всё. Да, похоже, я сильно ослаб за последнее время, если обычный снег доводит меня до слез.

Растрогавшись, я даже проехал мимо дома. Спохватясь, разжал уже сомкнутые челюсти троллейбуса и выскочил у Эрмитажа. Челюсти, брякнув, снова сомкнулись за моей спиной. Не было видно ни широкой Дворцовой площади, ни темной Невы — лишь высокий снежный шатер вокруг. Я поднял к снегу лицо. Оно стало мокрым и, как ни странно, горячим. После долгого отчаяния и пустоты — вдруг такая белая милость, легкая, очевидная и щедрая связь с небесами. Сквозь снежинки я разглядел золотого ангела, летящего над Петропавловкой. Потом справа стало проступать что-то светлое и широкое. Откуда это свечение? А! Это Эрмитаж, освещенный прожекторами, вделанными прямо в мостовую. Вот первый прожектор. Светящийся и даже теплый квадрат под слоем прозрачного снега. Я протянул руку — она осветилась, ладонь почувствовала

поднимающееся тепло. Ну вот. Я слегка задохнулся. ...Сейчас! Я встал на краю свечения, потом, присев, зачем-то смел снег с уголка толстого квадратного стекла. Потом, воровато оглянувшись, стал коленом на теплое стекло и, глядя на ангела в небесах, быстро перекрестился. «Господи! Помоги ей! Ведь она же хороший человек. Ты же знаешь! Клянусь — больше не обращусь к тебе ни с одной просьбой, но буду помнить тебя всегда!» Постояв на колене, перекрестился еще раз. Потом неуверенно поднялся. Стряхнув снег с брючины, поглядел в небо. Может быть, мало? Снова опустился и перекрестился еще раз. «Хорошо?» — глянул вверх, потом поднялся, повернулся, пошел. Я шел через большой снежный дом к нашему дому. У арки остановился. Медлил уходить. Такого больше уже не будет. А что я сделал? Попросил: «Помоги!» Какое-то бесконечное задание — даже неловко. Надо как-то сузить, облегчить Ему — у Него столько всего! Я глубоко вдохнул, глянул вверх. «Помоги... оказаться ей дома! Все остальное — я сам. Хорошо?» Постояв, ушел в арку.

Дома я откинул подушку, взял ее аккуратно сложенную старенькую ночную рубашку, быстро поцеловал. Наши очки, обнявшись, лежали на

подоконнике.

Глава 13

Давно не было такого глухого утра. Все словно заложено ватой. Вспомнил, проснувшись: такой выпал вчера снег! И не просто выпал: я стоял на коленях под ним, глядя в небо, словно пытаясь по нитке с белыми узелками подняться туда. «Помоги оказаться ей дома! Все остальное — я сам!» Погорячился под снегом! Что «остальное — я сам»? Сам-то в порядке ты? Дом-то — в порядке? Не сойдет ли тут она снова с ума?

Вдев ноги в тапки, кряхтя, прошаркал на кухню. Холодильник. Первый бастион. Оставить все так, как при ней лежало? Все эти крохотные скомканные целлофановые мешочки, которые она, озабоченно что-то нашептывая, складывала-перекладывала? Некоторые из них уже вздулись, несмотря на холод. Представляю, сколько там киснет всего!

При всей ее как бы тщательности, она выкидывала в ведро или забывала на прилавке шикарную свежую еду, а эту — перекладывала и с обидой — до слез — выкидывать запрещала! Честно говоря, «собачка» у нее уже тут завелась. «Ты, Нонна, гений гниений!» — весело ей говорил.

Смеялась сначала: «Ты, Веча, мне льстишь!» Потом — плакала. Теперь ее «собачка» там. Триста у. е., что отвалил мне Боб за безуспешное воспевание сучьев, целиком почти на ее лекарства ушли. Есть толк? Вообще, если вглядеться, то есть... На мой пакет с передачей посмотрела и сказала: «Став сюды!» Заклинание наше. А в заклинаниях этих — наша жизнь. Как жизнь Кащея в иголке, спрятанной в яйце.

Жили мы тогда еще в Купчине, на болоте. Пустые прилавки. Жуткие времена. Но самое отвратительное было дело — бутылки сдавать. Стояли по многу часов. Сырость, туман. Измученная, плохо одетая толпа. Сколько перенесли издевательств! Почему сделано было так, что полдня надо было мучиться за эти копейки? И не денешься никуда. Хоть вой! По длинной очереди вдруг слух проносился: молочные не берут! Почему, как? Без комментариев. Некоторые только с молочными три часа тут и стояли. И снова — удар: винные по ноль семьдесят пять не берут! Стон волной проходил. Кто же так издевался над нами? За что? Окончательно продрогнув, сломавшись, медленно спускались по осклизлым ступенькам в подвал. Ступенька — полчаса. Вместе с Нонной обычно стояли, морально поддерживали друг

друга. И — наконец-то! Приемное помещение. Желанный подвал. Кислый запах опивок в бутылках. Лужи на полу — почему под крышей-то лужи?! Без комментариев — как и прочее все! На весу тяжеленную сумку держать? Не в лужи ведь ставить. И вдруг однажды — как раз день моего рождения прошел — тяжелую сумку доволок. И старушка обтрепанная, в углу, с жалкой кошелкой, засуетилась. И засияла вся! «Да ты ня дяржи, ня дяржи! Став сюды!» — освободила сухой островок, сама вся в стенку вжалась. Заботливо так и радостно на нас глядела, рот сухою ладошкою вытирая. С тех пор, стоило нам сказать где-то «Став сюды!», сразу же легче становилось. Вспомнила она! Размечтался я...

Ведь Нонне благодаря и на Невский мы переехали — чиновник, седой волчара, очаровался вдруг Нонной — наверное, как мы когда-то той подвальной старушкой — и квартиру эту, на которую кто только не точил зубы, нам дал!

Отец, шаркая, появился, с банкой жидкого золота в руках, сверкая ею на солнце. Когда еще Нонна в магазин ходила — всегда почему-то дожидался ее возвращения и ей навстречу, сияя банкою, выходил.

— Ну почему, почему он в другое время ее не

может вылить? — шептала возмущенно она. Так постепенно накапливалась надсада. И — срыв!

Как же все это размагнитить? Отец, похоже, не собирается поступаться принципами: раз Нонны нету — на меня с этой банкой пошел.

Его накал тоже можно понять. Всю жизнь в самом центре был бурной жизни: посевная, сортоиспытания, скрещивание, уборка — люди, машины, споры... теперь только так может страсти вокруг себя разбудить. Методом шока. Раньше методом шока растения менял — высеивал, например, озимую рожь весной, смотрел, что будет. Теперь смотрит на нас.

Сухо раскланялись, и он ушел в туалет. Даже мечтать опасно Нонну сюда возвращать. Все, что в больницу ее привело, очень быстро здесь по новой налипнет. Не только холодильник наш чистить надо, но и нас. И делать это мне придется — больше некому. Но как? Нормально — как же еще?

Нашел кусочек сыра, кончик батона, щепотку чая. С этого и начнем. И когда отец вышел с опустошенной банкой, к столу его торжественно пригласил. Батя растрогался — последнее время мы питались как-то отдельно, он рано встает, а тут вдруг — такая встреча! Заметался с банкой в

руках, не зная прямо, куда и поставить эту драгоценность перед тем, как сесть за стол. Ласково отнял у него банку, поставил пока на сундук ее, усадил его. Ну... приступим! Подвинул бутерброды, чаю налил.

— Ты во сколько вчера пришел? — произнес он вдруг.

Я чуть не подпрыгнул. Хороший разговор! Я к нему — с лаской, а он наседает на меня, родительское внимание проявляет, несколько запоздалое. В те годы, когда я больше в его руководстве нуждался — с двадцати моих лет до шестидесяти, — он больше блистал своим отсутствием, проживая в другой семье. Поздновато наверстывает. Сейчас уже скорей я должен его воспитывать! Сколько мы говорили ему, чтобы банку с золотой своей жидкостью не обязательно бы демонстрировал нам, в другое время выливал — ранним утром, когда мы еще спим... он же, по агрономской своей привычке, рано встает. Бесполезно! Упрямо прется с банкой на нас, явно уже демонстративно. Всю жизнь на своем настаивал, и, наверное, правильно. Теперь-то должен он хоть на чем-то настоять? С нами борется. Одну уже поборол... но та совсем слабенькая была. Она и сама себя поборола.

А я с ним бороться не буду. Если мечтать о

Нонне — надо хотя б попытаться тут мир установить.

— Да нормально пришел, не поздно, — ответил я. — Ты вчера вроде лег пораньше? — заботливо спросил.

В глазах его мелькнуло грозное веселье: что-то придумал наверняка. Сейчас выскажет. Не будем портить ему торжество — я заранее улыбнулся.

— Ясно, — произнес батя. — «Часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет?»

Когда-то шпарил наизусть главы «Онегина» — но и теперь цитатку неслабую подобрал. Гордясь своей проницательностью, намекает, что, сплавив жену в больницу, провожу время в кутежах. Ну что ж, если ему так нравится... да и памятью своей не грех ему погордиться. Сделаем, как ему нравится: я, лукаво потупясь, вздохнул. Тут уж он совсем распрямился, мохнатые свои брови взметнул, очи засверкали. Орел!

— Да-а! — Он оглядел наш скромный стол. — Пищу добывать нелегко!

Я вздрогнул, но в руки себя взял. Понял, что он сейчас любимую свою лекцию начнет: «Культурные растения — основа питания человечества». Если бы спокойно прочел, а то будет нагнетать, постепенно распаляясь, и кончит надрывным

криком, тем более если ему возражать! А я возражаю, не могу удержаться, уж слишком настырно он насилует очевидные факты в пользу своей теории. Удержаться не могу... характер бойцовский, отцовский. Как тут хрупкой Нонне жить? Она и не живет больше. Мы тут теперь бушуем. Готовясь к схватке, я воинственно стулом заскрипел, посноровистей усаживаясь. Ну давай... начинай! Но очи отца вдруг ласковыми, прелестными стали — это он умел.

— Слушай! — коснулся ладошкой колена моего. — У меня к тебе будет просьба.

Не «будет просьба», а, видимо, уже есть? Давай! Все давайте!..

— Слушаю тебя, — ласково произнес.

— В собес не сходишь со мной?

При чем, спрашивается, здесь частица «не»? «Не» сходишь? Чистая демагогия.

— Конечно, схожу, батя. А в чем дело там?

Конечно — все выдюжим! А куда денешься? Наше место — в собесе.

— Да понимаешь ли... — Он мучительно сморщился. — ...Пенсию убавили мне. Почти в два раза.

Новое дело! Казалось, что хоть у него все прочно.

— Не может быть!

— Да вот представь себе! — заорал бешено. Помолчав, снова коснулся колена моего, набираясь, видимо, у меня сил. То есть — мои отнимая. Слегка успокоился. Продолжил скромно: — Раньше около трех платили — а теперь полторы.

Ну буквально все рушится. Не удержу. Но — удерживай!

— Не может быть, — тупо я повторил.

— Да что ты заладил! — снова он заорал. Да, огня еще много у него, даже завидно. Сгонял в комнату свою, с распластанной сберкнижкой явился, сунул мне в харю: — Гляди!

Да-а. Залюбуешься! Действительно, последняя строчка в книжке — тысяча пятьсот. Видимо, постановление такое вышло: «С целью улучшения... и дальнейшего углубления... населения временно уменьшить пенсию профессорам со стажем работы по профессии сорок лет и больше в полтора — два раза». Я-то здесь при чем? Последнее я вслух произнес, кажется, — он гневно вытаращился:

— Как это — при чем?

Мол, вы затевали перестройку! Теперь — отвечай.

— Вот, Надя мне все бумаги собрала, на селекстанцию ездила! — Папку приволок.

Аспирантка его, сама давно уже на пенсии. Умеет он нагрузить. Раньше — по полю за ним бегали, теперь — гоняет тут. И меня загоняет. Но спорить с ним? Нет. Я тут гармонию должен наладить, прежде чем о большем мечтать.

— Ну что же... поехали. — Я с хрустом поднялся.

Своей пенсией бы надо заняться, не пойму, почему маленькая такая... опосля!

— Поехали! — азартно батя вскочил.

Небольшая увеселительная прогулка. Мне, конечно, уже в больницу бы надо — но вот это, видимо, будет повеселей.

Небольшая борьба уже в прихожей началась: батя норовил выскочить в летней курточке, я удержал его:

— Опомнись! Снег уже лежит!

— Нет никакого снега!

Пришлось скручивать его, вести к окошку. А это только начало пути.

— Это ж разве снег!

Его не переупрямишь. Хотя наст до подоконников первого этажа достает... «Нет снега!» Но в пальто таки впялил его!

На круговой нашей лестнице он упрямо стирал рукавом пыль со стенки!

— Иди посередине — я тебе помогу! — ухватил его.

Вырвался! И это только начало пути!

Вышли во двор. Сощурились от сверкания и сияния. Но снега, «конечно, нет». Проложена по голубому насту глубокая белая дорожка. Но снега, «конечно, нет»! Как-то я с ним тоже завелся, настроился на спор, на борьбу. Характер бойцовский, отцовский. И тут же и начался бой. Поперек пешей дорожки шла «звериная тропа», глубокие круглые провалы... Конские следы? Или — следы кабана? Впрочем, видны были и кое-какие следы более весомые и неоспоримые — жирные, золотые «конские яблоки» с торчащими из них пушистыми травками. Мы четко, как я полагал, шли мимо — и вдруг батя рванулся туда: еле ухватил его за полу. Он такой — специально наступит, чтобы потом мрачно морщиться: «Черт знает что!» Но я грубо пресек эту попытку. Тем более — чувствовал свою вину за появление тут конского кала. Привел «на свою голову» лошадь. «До головы», впрочем, пока не дошло — но дойдет, если будет так развиваться. Батю утащил от соблазна, провел его, протащил под гулкой изогнутой аркой (снегу тут мало было — принесен лишь конскими и людскими ногами), на улицу

выволок. Вообще, времени не так много у меня!

На улице он снова уперся: гулял всегда один, по глубоко продуманной научной системе. Выйдя из ворот, нюхал воздух, соображал, откуда сегодня дует ветер, и шел навстречу ему: то прямо — на Дворцовую площадь, то направо и назад — на Мойку. Сбить его было нельзя, он якобы выяснил в результате исследований, что в той стороне, откуда ветер, меньше газа машин — сдувает оттуда. Трудно сказать. Вряд ли его теория подтверждается практикой — но, ей-богу, некогда проверять. Пусть он сам один как хочет гуляет, подтверждает или опровергает свои теории — но сейчас-то не до гуляний. Почти силой до Невского его дотащил. Это я, наверное, должен упираться — мы ведь по его делу идем. Но его трудно переупрямить, раз что-то себе в голову вбил. Удивительно: крестьянский сын, из деревни, всю жизнь ходил агрономом по полям — и так прихотливо себя ведет, скрупулезно так о здоровье своем заботится. Странно, но факт. И факт, наверно, полезный — именно из-за тщательного «принюхивания к воздуху» так себя и сберег. У крестьянского сына такая «бережливость» себя — но мне, увы, не досталось этого шанса, мне часто как раз в нехорошую сторону надо идти. И не упирайся,

батя, — двигаемся-то как раз по твоим делам, крестьянское свое сибаритство подальше засунь! Там, куда ты рвешься, с «наветренной стороны», нет, увы, собеса! Собес, увы, там, куда ветер все газы сгоняет, — нам, увы, туда. Через весь Невский, крепко загазованный, через площадь Восстания, где вокзал, и — на Старый Невский, в собес. Там тоже загазовано не слабо, но ты же сам надумал ехать туда.

Во дворе была тихая зимняя сказка, деревенская почти, с «конскими яблоками», — а тут скрип, треск, вой. Снег размазан в грязную кашу. Гуляй, батя, ты этого хотел! Маршрутку я резко остановил — точней, она резко остановилась: не ожидал, что она встанет среди скопища машин. Сзади загудели, засигналили на все лады. Влазить надо быстро. Сдвинул многотонную дверцу, запихивал батю туда — но он неожиданно расперся ручками-ножками, как Жихарка, которого в печку суют, кидал на меня через плечо бешеные взгляды: да не туда! Пришлось насилие применять, отрывать от железа руки. Наконец запихнул. Он продолжил и в маршрутке протестовать, но я уже с ним не спорил, свисал с креслица, тяжело дышал. Это еще начало маршрута!

Не признавал он и собес, долго в парадном упи-

рался. Слава богу, что такие рейды нечасто у нас.

Затащил его в темный коридор, усадил в кресло. «Вот тут сиди!» Пару раз вскакивал, буйно протестовал — я не вникал уже, тупо ждал, когда наша очередь подойдет в заветную дверцу. Тут многие себя буйно вели, то и дело кто-то пытался прорваться: активная жизнь у людей уже кончилась, а силы есть. Каждый, видно, считал, что он особенный, рассиживаться ему некогда — пусть старики тут сидят! И я пару раз порывался, но после — уселся... А ты-то кто? Не старик? Дыши ровно. Вот так.

Всегда какая-то радость нас ждет: инспекторша очень любезная оказалась, сразу в компьютере батю нашла.

— Чем же вы недовольны, Георгий Иваныч? У вас самый высокий пенсионный коэффициент.

— Самый высокий? Зачем только вы сидите тут! — гневно поднялся. — Вот! — сберкнижечку свою распахнул.

— Что ж вы плохого в ней видите, Георгий Иваныч?

— Как? — выкатил свои бешеные очи. — По-вашему — это ничего? Вдвое урезали пенсию! Это как?

— Где вы видите это, Георгий Иваныч? — все

так же любезно произнесла и даже головкой к его могучему «котлу» прильнула. — Внимательней надо смотреть!

— Что — смотреть? Вот — последняя строчка. Напечатано — тысяча пятьсот. А было — три тысячи! Это как?

— Но тут же есть и *предпоследняя* строчка. В ней тоже напечатано — тысяча пятьсот тридцать два.

— Так это за прошлый месяц!

— Да нет, Георгий Иваныч, за этот. Смотрите — то же число. Видите? Просто пенсию вам через два разных банка переводят теперь. Так им удобнее — может быть, налог меньше. Но вас это никак не затрагивает. Поняли меня?

— Нет! — произнес яростно.

Поражения своего не признает никогда.

Но я-то все понял уже: с дурью своей вломились, время отняли у очаровательной женщины!

— Пошли, батя! — потянул его за рукав.

Тут, кстати, и меня маленькая радость ждала. Красавица эта, сама любезность, — как ей сил хватает с такими вздорными людьми говорить? — без всяких просьб и меня на экране высветила.

— Валерий Георгиевич?

— Да ничего... ладно... мы пойдем! — тянул отца за рукав, тот упирался, хотя тоже все понял, но последнее победное слово должно быть непременно за ним.

— А вот к вам, Валерий Георгиевич, вопросы есть!

Интересно.

— Вы сейчас работаете — или уже уволились?

Неужели так выгляжу, что и работать уже не могу? Но она ж догадалась!

— В смысле — служу ли? — пробормотал.

— Вот именно, — улыбнулась она. — С киностудии вы уволились? Сколько вы проработали там?

Да! эксплуатировался. Было дело. Питались оскорблениями, пили вино обид. Выросли, с друзьями вместе, неплохими специалистами. Уволили год назад — видимо, убоявшись блеска, ссылаясь на пенсионный возраст.

— Уволили в прошлом году, — я признался.

— Вот видите, — она обрадовалась, — а указано, что вы еще работаете!

— И что?

— Неполная пенсия тому идет, кто еще работает. А теперь — полная будет!

Это я удачно зашел.

— Спасибо.

Признал свою ошибку. Полный пенсионер! Но батя свою ошибку нипочем не признает!

— Надежда эта — веч-чно напутает, — с досадою бубнил.

— Это ты напутал, ты! А она, наоборот, все сделала для тебя — хоть и напрасно. Бумаги все для тебя собрала. Стой! Не выкидывай! — (Был сделан такой яростный жест.) — Все. Поехали.

Лютует батя.

— Куда?! — он вытаращился.

— А хотя бы в сберкассу! — я рявкнул. — Пенсию свою получи!

И мне, за труды мои напрасные, немножко дай — бедность уже взяла за горло!

«...воруют все, кому не лень», — бормотал он еще в коридоре, хотя, как культурный человек, мог бы уже признать, что не прав. Но не признает!

— И-и-и! Верно! Ворують! Делають что хотять! — охотно подхватила бабка, оказавшаяся рядом. Уходим отсюда, пока не поглотил нас недовольный народ, пока не сделались мы неотделимой его частицей. Прочь!

Обессилел я. Вышли на улицу. Хотел тут сказать я отцу, чтобы он повнимательней немножко

сделался. Но — не стал. Только поругаемся. А все равно — мне же потом мириться. Все — на тебе. Держи моральный вес-то!

— Все отлично, батя! — потрепал его по плечу.

...Второй раз мчусь через это же самое место. Правда, сейчас без бати уже. Но особого облегчения не чувствую: в больницу, не в театр. Помню тот день, когда рулоны туалетной бумаги принес ей как особую единицу измерения. Шесть рулонов времени прошло! Дела — без особенных изменений: то вроде полегче ей, то — потяжелей.

Чем бы порадовать ее? Увеличением моей пенсии? Может и не понять. Как Стас, ее доктор, мне сообщил, она тридцать четыре года себе дает. Сколько же мне сейчас, интересно? Скоро, наверно, в детство впадем!.. Держи моральный вес-то!

На пересадке у Лавры, под памятником Александру Невскому, конные нищенки обступили меня, теснили грудью (своего коня), требовали «на сено», предлагали прокатить. Кругом, на тротуарах и мостовой, были груды экологически чистого навоза, но он мне уже несколько надоел. И потом — часто ездить верхом слишком экстравагантно. И, проскользнув между амазонками, я нырнул в ободранный подкидыш, вдохнул

родной, волнующий запах бензина. Нормальная жизнь! На краю площади иллюминация кончилась, и мы въехали во тьму.

Почему же так шершаво жить без нее? Мы с отцом смотрим друг на друга, как в зеркало, и приходим в ярость. Лишь упрямство, нахрапистость! Я пытаюсь это как-то смягчать — а он даже не пытается!

Ругались три дня назад: вышел к ужину торжественно-мрачный: «Слыхал, на Васильевском пожар, ТЭЦ сгорела, весь район без тепла и электричества!» — «Слушай! — не выдержав, заорал я. — Тебе мало наших семейных неприятностей — надо еще из телевизора тащить?» Он гордо выпрямился. Явно программировал такой ход событий. По резким эмоциям скучал, сильным событиям... но таким, которые желательно не касаются непосредственно его самого. «Я лишь констатирую факты!» — свою коронную фразу сказал. «Не те факты ты констатируешь! — устало произнес я. — Не все факты надо констатировать!» — «Не понимаю тебя!» — оскорбленный, вышел.

Сотрем друг друга в песок. Она как раз своими веселыми нелепостями смягчала нашу жизнь, на нее злоба вся изливалась — и тут же хотелось

ее простить. После ругани она, расстроившись, удерживая слезки, надувала мячиком свои красненькие щечки, резко выдувала. «Ну ладно! Хватит!» — сразу же хотелось по черепушке ее погладить. Помню, как однажды я решил, морально совершенствуясь, бюст Толстого из кладовки переставить на свой рабочий стол. Ходит все время пьяненькая — может, бюст великого моралиста ее устрашит? Пачкая белым ладони, поднял этот бюст — и чуть не выронил: был он пустой изнутри, и в нем «маленькая» стояла! Вот тебе и «моральный авторитет» — я вдруг развеселился. «Маленькую» убрал, а бюст на место поставил. И потом, тихо улыбаясь, слушал, как ходит она по коридору, замедляя шаги у кладовки, потом, не решаясь, мимо проходит и снова возвращается. Затихли шаги. Дверца заскрипела. Буквально замер я в предвкушении... чего? Долго сопела своим носиком озабоченно, видно, тяжелый бюст приподнимая, — тоже трудится человек на своем фронте! Потом — довольно долгая тишина — я торжествующе хихикал. Потом — тяжелый стук опущенного бюста, не оправдавшего надежд. Пауза. «Умный, ч-черт!» — восхищенный шепот. Уже понимая, что я слушаю, ловко на мировую идет. «Умный, ч-черт!» — это у моей двери, чтобы

слышал я. Комплимент этот, надеюсь, относится не к Толстому, а ко мне? И сейчас, в темной маршрутке, вспоминал, улыбаясь. Так вот и жили мы. Неплохо, как теперь вспоминается.

Кончилось все это плохо, конечно. Но ведь хороших «концов жизни» и не бывает, наверно? Но неужели это — конец? Третье дыхание? А ты что б хотел? Чтоб тебе несколько концов изготавливали: этот не нравится, давай другой? Нет уж. Такой, как заслужили. Гибнем от того же, чем жили. Нормальный ход. Обидно, наверное, ни за что погибать, а мы — как раз понятно за что! За прелести свои, теперь сгнившие. Так что, Пигмалион-реаниматор, кончен твой труд! Из воспоминаний кашу не сваришь! Они только в головенке твоей остались — больше нигде. А она, интересно, помнит? А толку-то что? Как в самом начале мне Стас сказал: «Деменция. Разрушение личности». Из черепков горшок не слепишь, чтобы суп в нем можно было варить. Вот если бюст Толстого расколется, то, наверное, его можно слепить. А живое, веселое, бодрое существо — из черепков-то — навряд ли.

Неужто не выберется она сейчас? Всегда ж выкарабкивалась — из самых жутких ситуаций, которые, как сейчас, сама же и создавала. Именно

на лихости, бесшабашности и выбиралась: «Нисяво-о!» И все действительно — обходилось. «Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга!» — это ж я при ней сочинил. И что же? Кончилась жизнь?

Помню, две недели прогуляла на режимнейшем предприятии, где работала после института. Бормотала с утра: «Я договорилась, договорилась! В библиотеку иду!» Выгонять, на мороз? И так — две недели. На режимнейшем предприятии, где вход и выход на табло отмечались, каждая минута рассматривалась отделом кадров! И — две недели, без объяснений. Влететь в такое только она могла. Ясно было, что обычным путем не спастись. Да и какой путь тут — обычный? Путь несколько странный нашла — обычный разве что для нее. К своей подружке Лидке пошла, где за бутылкой они все проблемы решали, не минуя и мировых. А уж эту-то! «Тьфу!» — как Нонна небрежно отметила. Муж Лидки грузин был, художник, и у них там постоянно «князья» паслись, которые «все могут»! Ночью пришла. «Дунувшая», естественно. Но на это я уже сквозь пальцы смотрел. Главное — радостная. «Сде-вава!» — шутливо произнесла и голубой листок на стол шмякнула. Я поднял его, глянул — и помутилось в голове. Все буквы на нем — и напечатанные, и написанные от руки — были

грузинские, этакие веселые извилистые червячки! А где же фамилия-то ее? Та-ак. Фамилия-то как раз по-русски, но явно на месте вытравленной, другой... Ювелирная работа! С таким бюллетенем надо прямо в тюрьму. «Ну, если посадят меня, Венечка... то, может, тебе тоже в ту тюрьму устроиться кем-нибудь?» — хихикнула, ладошкой губы пришлепнула, вытаращила веселые глазки. Неужто сажают и таких? «Нисяво-о-о!» — бодро утром сказала. Где же — «нисяво»? Уставать я уже стал от ее бодрости: ночь не спал. Раньше и я был веселый, но всю веселость она себе забрала, мне только ужас оставила — вполне обоснованный, надо сказать. Вернулась — радостная. И опять же — поддавшая. Но тогда мы пили не просто так — победы отмечали.

«Ну что?» На работу придя, сразу же собрала в курилке за цехом совещание, своих подружек и корешей, таких же бездельников, как она, на их бурную поддержку надеясь... но и из них никто в восторг от ее бюллетеня не пришел. Наоборот, старались зловещий этот листок скорее другому передать — и быстро он опять в ручонках у нее оказался. И все ушли. И осталась она одна, с этим листочком в дрожащих руках. И тут, на беду свою, зашел в ту курилку у сборочного цеха молодой,

перспективный парторг. Покурить с массами, о проблемах узнать, потом смело их на собрание вынести! Время было — лихие шестидесятые. Но такого — не ожидал. Нонна, хабарик отбросив, к нему кинулась: «Что вы посоветуете? К вам одному могу обратиться!» — сунула бюллетень. Тот взял листок, посмотрел, покачнулся и, прошептав побелевшими губами: «Я этого не читал», — быстро вышел. Тогда она, на рабочее место не заходя, пошла в отдел кадров и отдала бюллетень. Через час примерно звонок: «Зайдите!» Дружки проводили ее, дали клюкнуть. Смело вошла! — этакая Жанна д'Арк. «Вот что, Нонночка, — всесильная Алла Авдеевна сказала, — больше не делай так. И никому, слышишь, не рассказывай!» — «Куда... идти?» — Нонна пролепетала. «На рабочее место», — Алла Авдеевна улыбнулась вдруг. И все к ней так относились — именно ей демонстрировали свою доброту, — мол, и мы тоже люди. Умело провоцировала она на то своей как бы слабостью и растерянностью — на грани нахальства, и это сочетание веселило всех. Парторг, встречая в столовой ее, лихо подмигивал: «Мы знаем с тобой одну вещь!» И ему приятно было — себя лихим ощущать. Время такое было. И вроде как с ее легкой руки парторг резко пошел в гору, стал

смело везде выступать, «лихие шестидесятые» все выше его несли. В конце концов оказался в Москве, крупным деятелем шоу-бизнеса, но звонил и оттуда — Нонну своей «крестной матерью» считал. Очарован был. Парторг Очарованный. «Ну как вы там, все гуляете?» — по телефону кричал. И никаких других версий не принимал — только эту. И даже когда я в последние годы пытался робко говорить ему, что не все у нас так уж складно, хохотал: «Да вы везде свое возьмете!» Парторг верил в нас.

А я-то — верю, нет? Словами в основном наша жизнь держалась — событий радостных не было уже давно.

Приходя, заставал ее пьяной, озлобленной. Душу мне рвала, ночи не спал. Но утром — успокаивал себя. Все равно разговор надо вести к примирению — так лучше сразу сделать мир, правильными словами.

— Ты чего это? — добродушно спрашивал. — Поддамши, что ли, вчера была?

Правильное, мне кажется, находил слово: «поддамши» — это гораздо лучше, чем «пьяна».

— Я?! Поддамши? — весело восклицала. — Никогда!

Чуяла уже, что скандала не будет.

— Ну, не поддамши... Выпимши. Было такое?

— Я? Выпимши? — Она веселела все больше. — Да вы что, гражданин?

— Ну... клюкнувши-то была? — Я глядел на нее уже совсем влюбленно.

— Клюкнувши? — добродушно задумывалась, оттопырив губу. — Странно... — насмешливо глянула на себя в зеркало. — А мне казалось, я была так чис-та!

На словах и держались. На наших. На моих.

За темным окном маршрутки снег повалил. Сплошной — как тогда... когда я у Эрмитажа молился. Молитва и сейчас продолжается... молитва длиною в жизнь.

Шел от ограды через сад, и вдруг из тьмы в круглый свет фонаря выскользнула собачка. Вытянув усатую мордочку по земле, закатывая черные глазки, она смотрела на меня снизу вверх, но не подобострастно, а как-то лукаво. Хвостик ее мотался влево-вправо, почти как снегоочиститель. Ее, что ли, собачка? — вдруг осенило меня. Реализованный ее бред? Ну молодец, молодец, собачка! И она — молодец. Реализовала-таки свою собачку! А если ее на это хватило — то, может, восстановим и жизнь?

Смелое предположение! Ну а вдруг?

Я протянул пряничек, но она, вздохнув, покачала усатой головкой и перевернулась голым животиком вверх, требуя ласки. Прихотлива, как хозяйка ее! Если это и бред, то бред симпатичный.

Улыбаясь, я поднимался по лестнице. Навстречу мне кто-то бежал вниз. Я посторонился и узнал Настю. Увидел слезы на ее лице.

— Ну... что там? — произнес я бодро.

Настя лишь махнула рукой, сбежала вниз и хлопнула дверью.

Не может быть! Не может быть ничего плохого, раз я только хорошее вспоминал!

Заклинатель змей, смертельно ужаленный! Пигмалион-реаниматор!

Я рванул вверх по лестнице.

Ворвался в палату, в затхлый пенальчик... и, с наслаждением вдохнув сладковатый от лекарств воздух (третье дыхание!), опустился на стул. Слава тебе, господи! Все тихо! Вот, оказывается, где самое острое счастье-то бывает!

Нонна, распластанная, лежала. Откинута тонкая ручонка с синеватыми венами, от нее трубочка поднимается к стойке с баллоном. «Под капельницей».

— Венчик! — тем не менее она радостно произ-

несла, приподняв головку.

— Лежите! — молоденькая сестричка воскликнула. Улыбнулась мне: — И так у нее сосуды тонкие, трудно попасть.

«У меня руки тон-кия!» — помню, Нонна так говорила. Для больницы это, конечно, проблема.

— Спасибо вам! — сестричке сказал.

— Венчик! — Нонна, похоже, довольно бодро себя чувствовала, несмотря на иглу в руке. — У меня к тебе просьба. Убери тарелки, пожалуйста, что у меня тут... скопились. — Она виновато глянула на даму-соседку.

Услышав такую речь, та любезно со мной раскланялась. Идут, вижу, дела!

— Сделаем! — стал составлять тарелки.

Вот уж не думал раньше, что счастье — за всю жизнь самое острое — в больничной палате меня ждет! Единственное уже место на земле, где именно я конкретно нужен! И даже — незаменим! В других уже всех местах — например, в вагоне с виагрой — кем угодно я заменим. А тут — единственный, кто сделает все... чем другие брезгуют. Только я могу! И абсолютно, кстати, не брезгую. Котлеты, кстати, делись куда-то с тарелок. Собачка? Лишь присохшие макароны остались — а это вообще ерунда!

Пошел. Побежал почти. С пирамидой тарелок — к туалетам. Тут мелькнула смешная мысль: может, с ее тарелками надо в женский? Да нет, все равно надо в мужской! — усмехнулся. Вот уж не чаял никогда, что возле больничных туалетов радоваться буду! Но не припомню, где в последнее время такое счастье испытал. На поправку идут дела! И какие люди тут чудесные — ту же молодую сестричку взять или соседку, интеллигентную даму. Понимает все, деликатно сочувствует. Тут же из туалета вышел старичок, увидел меня, радостно засуетился, дверь придерживал, пока я с тарелками входил. Чудесно — и он тоже свое место нашел, где в его годы полезен может быть и даже приятен! Больничный рай? Как переход к раю настоящему? Скинул крышку с ведра, стал туда с тарелок соскребать ложкой. Да, состав мусора тут разнообразный: прогоркклые окурки, тампоны окровавленные, чьи-то трусы обкаканные. Жадно вдохнул. Привыкай, не стесняйся. Третье дыхание твое, может быть, самое глубокое.

Сполоснул тарелки чуть теплой струёй, составил горкой, по коридору понес. Встречая взгляды, почему-то лихо подмигивал: все о'кей!

В столовую внес, обклеенную веселыми ап-

пликациями, тарелки на клеенку поставил: вот! Пожилая нянечка, что управляла тут, — седая, краснолицая — всплеснула ладошками:

— Это супруга ваша прислала? Ну молодец!

Обратно как на крыльях летел. И вдруг — Нонну увидал. Топает понемножку своими крохотными ножками!

— Ве-еч! — радостно проговорила. — Что ли выписывают меня?

— Ну!.. А кто тебе сказал это?

— Сестричка! Ну... сказала она, что капельница эта последняя. Кончен курс. Ве-еч!

— Ну чаво тебе?

— Узнай, а? Ить интерес-на!

— Ну а что? Можно! Вместе пойдем?

— Не-е. Я боюсь. Я лучше тут тебя буду ждать. Вдруг ты выйдешь и скажешь, — она мечтательно сощурилась, — поехали домой!

— Жди!

Я сам похолодел от столь неожиданной возможности — как-то не подготовился. Думал... А что вообще-то я думал? Что вообще-то хотел?

Хорошо, что перед входом в кабинеты врачей был такой отросток-аппендикс, закрытый занавеской. Я хоть постоял там немного, приходя в себя. Нонну домой? Прекрасно. И ее бредовая

собачка к нам перебежит, и прочие чудеса начнутся. Нет, надо сначала понять. Я вернулся к ней.

— Занято, — безмятежно улыбаясь, сказал я. — Счас. Посидим маленько.

Я собрался с духом.

— Да, кстати, — как бы вскользь, лишь бы протянуть время, сказал я, — тут Настю встретил на лестнице... чего плакала-то она?

Глазки Нонны, весело, оживленно бегающие, остановились, словно пойманные, нижняя челюсть выдвинулась вперед, крупно дрожала.

— А тебе что? — проговорила она совсем другим, глухим голосом.

— Да так просто, — беззаботно ответил я. — Ждем! — Я кивнул на занавеску: — ...Так чаво?

— Ты тоже пришел мучить меня?

— Нет... просто я спрашиваю, — начал злиться и я. Значит, только ей можно страдать, к остальным это право не относится?

Я смотрел на нее.

— Пристала ко мне... — Нонна, пытаясь успокоиться, надувала красные щечки мячиком, потом шумно выдыхала воздух, удерживая слезы. Но они все равно проступили на глазах, — ...почему я пью, — отрывисто проговорила она.

— Где?.. Здесь? — пролепетал я.

— Ну а где же еще?! — вдруг произнесла она хрипло и грубо, вовсе в другом обличье... но такое мы тоже видели.

— Так ты пьешь... здесь? — проговорил я.

— ...Нет, конечно! — с какой-то хамской ухмылкой сказала она.

Так. И это она хочет выписываться?

— Ну и оставайся тогда тут всегда, если тебе так нравится! — тоже грубо произнес я. У меня тоже есть нервы!

— Вон-на что! — произнесла она нагло.

Я сидел раздавленный полностью. А только что ликовал! Идти к Стасу? Но с чем? Мы долго молча сидели. Вдруг — словно переключатель щелкнул — она засияла снова, улыбалась весело и слегка плутовато:

— Ве-еч! Ну сходи, а?

Не в силах сказать что-либо, я поднялся с трудом. Пошел. Зачем-то задвинул за собой занавеску. Постоял. Но что можно выстоять тут? Испариться бы лучше совсем, чтобы не решать, не думать! Два решения — и оба ужасны. Трудно какое-либо предпочесть. Глаза не разбегаются, а, наоборот, сбегаются к переносице, чтобы не видеть ничего. Назад хода нет: что я ей скажу? А

вперед? С чем я оттуда выйду? С каким решением? Одно знаю — с ужасным. Приятных решений тут нет.

Что она сейчас там сияет, не исключает того, что час назад она обдала Настю ужасом. Наверняка то есть! И так, видимо, будет всегда, раз Стас решил ее выписать: ничего больше сделать нельзя. Остальное — мое. Третье дыхание. Самое большое счастье бывает, оказывается, между ужасами! Я постучал.

— Да, — донесся усталый голос.

Замотали его! Чуть приоткрыв дверь, я влез в шелку: может, так больше понравится ему? Дальше особого простора тоже не наблюдалось: узкий кабинет, заставленный столами. Стас — в дальнем углу.

— Садитесь, — произнес он.

Я втиснулся между двумя столами.

— Как раз хотел с вами поговорить, — сказал он без всякого энтузиазма.

Начало не предвещало ничего хорошего — конец, думаю, будет совсем плох. Хочешь — ну так говори! Вместо этого он долго сосредоточенно играл в бирюльки — поднимал с магнитной черной тарелочки гирлянду скрепок, любовался ею, опускал и вытягивал снова. Совсем, видно,

выдохся — рта не может открыть! Открыл-таки.

— Ну что... — Стас произнес.

— Ну что? — я повторил как эхо.

— Состояние, в общем-то, стабилизировалось.

Вопрос только — какое состояние?

— Острый алкогольный психоз, опасный для окружающих, удалось, к счастью, снять.

Я кивнул, соглашаясь.

— Могу вам сказать теперь — стоял вопрос о буйном отделении, и довольно остро. Один голос перевесил — чтобы лечить ее здесь.

Я всегда был за демократию.

— Ну а теперь... вы видите, — он гордо сказал.

Я кивнул. Одобряюще. Понимающе. И с оттенком признательности, я надеюсь?

— А до бесконечности мы ее держать не можем. У нас ведь здесь не клиника, а НИИ. Научные кафедры. Нас в первую очередь интересуют больные... подтверждающие, так сказать, наши теории! — Он улыбнулся.

— А она — не подтвердила? Никакой теории? — Я натянуто улыбнулся.

Скоро кожа лопнет от этих улыбок! Уж не могла подтвердить какую-нибудь теорию! Даже в сумасшедшем доме оказалась глупее всех!

— Ну почему? Подтвердила, — продолжал улы-

баться Стас. — Но старые. Давно известные.

Что дура дурой и останется! — самая старая и самая верная теория.

— Вы хотите забрать ее? — Стас как-то опередил не только мои слова, но и мои мысли.

— Да, — быстро произнес я.

А что мне оставалось.

— Но вы осознаете... — проговорил он.

Осознаю. А куда денешься?

— Но... от тяги к алкоголю... вы ведь избавили ее?

Помолчав, Стас покачал головой.

— Если вам кто-то скажет, что лечит алкоголизм, бегите от такого человека немедленно. Это шарлатан! — Он произнес это, видимо, гордясь своим глубоко научным... бессилием.

— Значит... — проговорил я.

— Значит, — подтвердил Стас. Мы молчали. — У вас есть на что опереться? Заставить ее сопереживать чему-то... за что-то почувствовать ответственность? Отвлечь ее, хотя бы чуть-чуть, от постоянных мыслей об алкоголе?

— Ну... всякие... семейные притчи, — улыбнулся я.

— Слова, слова, слова! — вздохнул Стас. — К сожалению, это не то!

Ну почему же? Словами как раз удавалось мне держать наш мир в гармонии. Такая работа.

— Мне кажется, у вас нет... морального веса, чтобы влиять на нее! — произнес Стас. Второй раз. — Другой вариант, — сказал он, поняв, что подавил меня полностью, — интернат.

— На сколько?

— Как правило, навсегда. Там они становятся... тихими. И никого уже не беспокоят.

Знаю. Теща, ее мать, была там. И теперь уже нас не беспокоит. Совсем.

— Нет. Спасибо, — сказал я. Хорошо, что не сказал «нет уж, спасибо!». Держи моральный вес-то!

— Ну что ж. Я уважаю ваше решение! — Стас поднялся, протянул руку. И я ее пожал. — Значит, оформим все. Выпишем лекарства. Желательно нам до комиссии успеть. Там люди пожилые как раз, старой советской закваски, — усмехнулся. — Сторонники изоляции хронических больных в интернатах.

Это на вольном Западе, я повидал, сумасшедшие по улицам ходят!

— Так что я вам позвоню, — сказал он.

— А когда... комиссия?

— В принципе, может быть хоть завтра. Когда освободится Евсюков.

Хоть бы он никогда не освобождался!

Мы смотрели со Стасом друг на друга. Похоже, одну его прогрессивную теорию я все же подтвердил — «о бесстойловом содержании нервных больных»! Что ты несешь? Опомнись. Человек сделал все, что мог.

Держи моральный вес-то.

— Ну, всего вам доброго! — раскланялся я.

— Всего! — Стас рукой помахал.

Впервые со мной дружелюбно простился.

В предбаннике я постоял, «делая лицо». Хорошо, что он есть, этот предбанник. Может, вернуться, отыграть все назад?.. Не принято это... Ну — выходи. Дед Мороз!

Радостно вышел. Она, сияя, шагнула ко мне.

— Ну, все нормально, — сказал я. — Скоро тебя выпишут.

Она боднула меня лбом в грудь, обняла.

Ради этого момента можно все перетерпеть!

Она подняла мокрое лицо.

— Неужели я окажусь в моей квартирке? — мечтательно проговорила она. — ...Отец, конечно, со своей банкой меня встретит!

Это уже казалось ей счастьем!

— ...Пошли. — Она вдруг ухватила меня за ладонь.

— ...Куда?

— Пошли. — Она мотнула головкой.

Втянула меня в столовую. Там сидели последние обедающие. Седая краснолицая нянечка скребла половником по дну большой кастрюли.

— Дай ей денег. — Сияя, Нонна указала на нее. — Она хорошая...

— Чтоб этого не было! — рявкнула та. И добавила добродушно: — Уж садитесь — покормлю вас.

— Ешь, Веча, ешь! — приговаривала Нонна.

— ...Сладко на вас глядеть! — вздохнула нянечка.

На крыльце я стоптал снег, открыл парадное. На лестнице повстречал нашу соседку сверху, Лидию Дмитриевну.

— Как там Нонночка? Поправляется? Мы все так любим ее тут, ждем!

— Поправляется! — бодро сказал я. — Скоро появится... наше красное солнышко.

— Замечательно!

Лидия Дмитриевна прошла. Я поднялся... Придется так и сделать, как сказал... Тяжело с моральным весом-то!

Глава 14

Об этом, вспомнил я, Нонна мечтает, но пока что отец встретил меня с банкой жидкого золота. Специально ждал? Да нет, думаю. Все рассыпалось. Раньше это как-то регулировалось ее приходом, теперь — ничем. Отец рассеянно брел, не замечая меня. Все рассыпалось. Вокруг страданий ее, пока они были здесь, все держалось. Но ничего. Скоро опять этот стержень появится. Нонна придет. Подготовились? Духом воспряли? Конечно! А как же еще?

Первый бастион, который одолеть надо, — холодильник. Открыл. Прежняя наша жизнь, дикий хаос, — в замороженном виде, чтоб сохранить навсегда. Помню, как она плакала однажды, что ее от КБ в колхоз посылают, картошку из-под снега убирать. «Вот, — открыла холодильник в слезах, — я уже и курочку в дорогу купила!» Я глянул, помню, захохотал: курочка — точно ее напоминала: такая же тощенькая, синенькая, с тонкими лапками! Умела она умиление вызвать и смех. А в колхоз, кстати, так и не поехала — проспала. Устроил ей скандал от лица всех колхозников. Вот еще — комочки счастья ее,

мутные маленькие пакетики с тухлой капустой, с рынка принесенные доказательства любви к ней со стороны колхозниц — любви, впрочем, небескорыстной, оплаченной мной. Сил ее лишь на это и хватало, совала их вглубь и навсегда забывала — о щах, например, и речи не могло быть. Выкинуть? А чего ждать? Появится — новые принесет! Народная любовь не иссякнет, пока деньги не кончатся у меня. Выкину пакетики эти, отведу хоть душу, пока она не пришла. Дальше — один восторг нас ждет: «Смотри — и огурчик в пакетик кинула!» — «Не может быть!» Завидуешь? Тебя-то никто не любит так, даже корыстно.

Кстати, напротив в окне — затишье, тьма. Не вяжется там кино... хотя душа вложена. Часть души.

Из того, что конкретно можно съесть, — сардельки обледеневшие, боюсь даже вспоминать, из какой они эпохи обледенения. Не важно. Главное — качество. Кинул в кипяток. Батя, конечно, мог бы что-то получше купить, пока я по больницам шастаю. При его-то пенсии! Но считает кухонные дела недостойными своего интеллекта. Зато для меня они — в самый раз. И когда он явился, с вымытой, сияющей банкой в руках, — на ужин его пригласил, отведать что бог послал.

Суровый у нас бог. А что делать?

— Сардельки жесткие у тебя! — покусал, отодвинул.

— Обледеневшие.

— Какие?

— Обледеневшие.

Мрачно усмехнулся, задвинул задребезжащий стул под стол, удалился. Вот и ладно. Ужин удался.

Теперь к окну повернулся. Главное, что надо отрегулировать, — это «кино». Почему-то думал, что все теперь в моих руках. Как бы не ошибиться! Рядом с тем окном на стене намалевано черным спреем: «Анжелка. Саяна». Титры, можно сказать! Надеюсь, Нонне приятно будет увидеть, чего я тут достиг без нее! Ее бред на свой заменил. Саянку я, кстати, не прописывал. Сама прижилась. Мой бред тоже выходит из-под контроля? Управлюсь ли с ним? Скоро счастье встречи пройдет, и Нонна уставится в то окно. Что увидит она там? Снова — «мыльную оперу»? Или — мультик? Что захочет, то и увидит. Нет уж — то, что я захочу! А что ты можешь-то? Может, последний вечер твой остался? С «моральным весом», я чувствую, у меня полный завал. Смотрел на темное окно напротив. Вот та черная дыра, куда провалится

наша жизнь! И что делать?

О! И Анжелка появилась. Подошла вплотную к стеклу, увидела меня и пальчиком поманила. Б. Р. Бред реализованный. Впрочем, еще не совсем. Надо реализовывать? Лучше все-таки по-своему, чем втемную.

Вышел во двор без пальто. Чего тут одеваться: все близкое, родное, свое! Двор весь завален навозом. Дворничиха, красавица, как раз за этим окном жила. Теперь там живет наездница. Повторяется жизнь — но как-то с меньшим к ней интересом. По навозу пошел, как по шелковому ковру.

Скрипнул дверью. Прямо за ней лошадь стояла, с крутыми боками — еле протиснулся. Тут же, в подъезде, был мраморный холодный камин, в нем навалено сено, и она, опустив голову, грустно жевала. Потом, чуть подняв голову, тяжко вздохнула, из ноздрей две струйки пара пошли. Ты-то что вздыхаешь?

Поднялся по темной лестнице. Сердце колотилось. Уходишь в иную жизнь? А что? В прежней уже пожил, хватит. «Хва-н-тит!» — как Нонна говорит. На лестничном подоконнике мерцали темные аптечные пузырьки: аптека бомжей. На дверях — выцветшие таблички с фамилиями.

Кнопок — как на баяне. Но двери все почему-то открыты. За ними — тьма. Где сейчас все эти люди? Может, все, кто входят сюда, исчезают?

Управляй бредом-то! Подошел к главной двери, «бредовой». Постоял. Сердце — на всю лестницу — гулко стучало. Входить? А выйду? Я выбрал старинный звонок, с ручкой как рукоять шпаги, с круговой надписью: «Прошу повернуть». Такой как бы старинный, романтический выбрал вариант. Но зависит ли тут от тебя что-то? Из глубин квартиры донесся механический звон. И — ни голоса, ни шагов. Я толкнул дверь, она поехала. Вошел, пугаясь скрипа половиц. Волосы на голове шевелились. Ощущение — что увижу сейчас труп! Такого бреда у меня еще не было. Новый жанр.

— Открыто! — донесся наконец довольно грубый (огрубевший на ветру?) голос хозяйки. Знакомых с такими голосами еще не было у меня. Неприятна новая моя жизнь. Куда лезешь? Надеешься тут порядок навести? Напрасно. Но — не остановиться уже. В прихожей лежало седло, на гвозде мерцала уздечка. Вошел в темную комнату, освещенную луной. Сердце прыгало. Ведь именно тут, по версии жены, проходит моя настоящая жизнь. А может, она права? Я

огляделся. На подоконнике мерцали все те же пузырьки. На полу круглились баллоны, в основном пластиковые, криво отражали мое окно. Оно меня почему-то взволновало сильнее всего. Страшнее всего, оказывается, на *свое* жилище смотреть — со стороны и как бы из небытия. Все на месте стоит, горит лампочка — но тебя там таинственно *нет*. Еще — нет? Или — уже нет? Прежняя жизнь вдруг страшно далекой отсюда и абсолютно недоступной показалась. Дрожь пошла. Да, влез ты куда-то!

Приоткрылась дверца, повалил пар, синеватый в свете луны. Встрепанная голова Анжелки высунулась оттуда. Смотрела на меня с некоторым недоумением — видимо, за стеклом я ей интересней казался. А также — в седле. Вышла все-таки. Укутана в полотенце. Но — только голова. Короткой своей пухленькой ножкой придвинула к стене вспоротый матрас, криво лежащий. Порядок любит. Потом только глянула в упор на меня. Показала на меня пальчиком... скорей на нижнюю часть.

— Мой! — властно произнесла.

Что это, интересно? Притяжательное местоимение — или глагол? Боюсь, что последнее. Вот тебе и «романтический вариант»!

— Ну? — подстегнула. Правильнее было бы, наверное, — «нно!». Посмотрел на нее... Сейчас бы просроченной виагры сюда! Впрочем... она и не нужна, кажется? Что эт-то? Вот это да. В мои-то годы! Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась?

— О-о-о! — уважительно произнесла Анжелка.

Вот тебе и «о»!

— Счас! — деловито произнес.

Пошел к ванной. Освежающий душ? Вошел внутрь, хотел было прикрыть дверь... Нет, мы немножко по-другому поступим. Вставил средний палец правой руки в светящуюся щель возле петли, на которой дверь держится. Левой рукой потянул дверь за ручку, сдавил в щели палец. Сдавил немножко. Что? Слабо?! Зажмурился посильнее, рванул левой рукой. А-а-а! Вот это по-нашему! Захрустело. Анжелка, надеюсь, вздрогнула от моего вопля? Гордо согнувшись от боли, вышел из ванной. Средний палец правой руки маячит вверх и не сгибается, несмотря на посылаемые сигналы. Анжелка, слегка лупоглазая, с изумлением смотрела на него, оттопырив губки. С таким, видно, еще не сталкивалась. Классику надо читать! «Отец Сергий» называется рассказ. Современная трактовка: я — и. о. отца Сергия.

Я. Тот, правда, отрубил пальчик в аналогичной ситуации — но я уж не чувствую себя *настолько* грешным. Сделал, что мог.

— Извини, — гордо произнес, для наглядности палец подняв. — Должен тебя покинуть.

Помчался, подпрыгивая, в ночную травму, на Малую Конюшенную.

Маленький лысый хирург помял палец.

— Оборвана связка верхней фаланги. Сейчас наложу вам лубок. Недели через четыре, будем надеяться, срастется.

— Да-а?! — воскликнул я.

— Впервые вижу столь радостного клиента! — хирург сказал.

Примчался домой. Мимо кладовки проходя, гипсовому Толстому вздетый пальчик показал. Тот аж побелел.

Глава 15

С утра отец хмурый, насупленный был, бровями стол подметал. Немного Толстого напоминал, сосланного навеки в кладовку.

— Пошли завтракать, — ему сказал.

Думал крикнуть, как Нонна: все гэ!.. Но ее не заменишь.

— Мгм... — отец произнес, не отрываясь от рукописи. И потом долго еще не шел. Не мог оторваться, счастливчик? Наплевать ему на то, что все остывает, главное — его вечный научный шедевр!

...Видать, просто ты завидуешь, что он пишет, а ты нет. Но этим моим злобным чувствам пора дать отпор... Может, Нонна вернется. И к тому времени должны быть тут мир и благодать.

Явился наконец. Мрачно кивнув, уселся. Раньше было принято говорить «Бодр-рое утр-ро!», и как-то это задавало тон на весь день, но теперь, когда нет Нонны, исчезло все. Невелика птичка, да звонкий голосок!

Отец увидал вдруг мой пальчик запеленутый, пострадавший.

— В носу, что ль, ковырял? — усмехнулся.

Так подвиг мой оценил. Спасибо, отец, на добром слове.

Похлебал молча каши, маленько потеплел, подобрел.

— Ну, спасибо тебе, что не забыл! — усмехнулся он.

— Как можно!

— Ну, всяко бывает! — откинулся, улыбаясь.

Чувствую — сейчас он настроился мудростью делиться. А потом — нельзя?! Хмурое его настроение гораздо меньше раздражает меня, нежели добродушное. Не чует этого?

— При царе еще было...

Начал издалека. При царе Горохе, видимо.

— А, — произнес я холодно. Но его не собьешь.

— Да-а-а... — он произнес неторопливо.

Боюсь, что, пока доберемся мы с ним до сегодняшних дел, день закончится. Но хочешь не хочешь, любишь не любишь, а надо терпеть. Единственно когда общаемся с ним — за завтраком. Надо!

— А? — он вопросительно произнес, требуя, видимо, поддержки.

Я кивнул благожелательно: мол, давай, давай! Время терпит! Но не в такой же степени! Минут пять после этого он молчал. Склонив брови,

яростно растирал в чашке лимон с сахарным песком. Сколько сил еще в нем!

— Так что — при царе-то? — пришлось его немножко поторопить.

— А?! — снова произнес.

Молодецки уже огляделся: мол, если так просите, так уж и быть, расскажу.

Просим, просим.

— Лет пять мне еще, что ли, было. Или шесть?

— Ну, не важно, — проговорил я.

Он усмехнулся, заранее и меня настраивая на веселый лад.

— Жили бедно мы с матерью. Отец в бегах...

Это знакомо мне. Веселое начало.

— А детей нас семеро. Я почти самый старший. Второй после Насти. Нина еще в люльке была. А я уже самостоятельный вроде.

Это какая-то сага!

— Ну, утром встаем... нас кормить чем-то надо. А нечем!

Если он намекает на плохой завтрак!.. пусть дальше готовит сам!

— Мне мать и говорит: ты к Андрюхиным пойди, вроде как бы по делу. Тут письмо от отца пришло — вот от него поклон им и передай! А Андрюхины, наши дальние какие-то родственни-

ки, богато жили! Был, помню, у них Тимка, мой ровесник. Дружили мы. Прибегаю к ним: «Здрасьте!» — «А-а! — хозяйка мне говорит, — явился. А мы уж хотели кошку в лапти обувать да за тобой посылать!» Намекая вроде, что я каждый день к ним хожу. Андрюхины, за столом сидя, смеются. Тоже большая была, дружная семья. «Ну, садись уж за стол, раз пришел!» — говорит хозяин. И я чувствую, что добрые они и любят вроде меня, но все равно — неловкость. Вспомнил — прям как сейчас! «Да ты раздевайся», — хозяйка предлагает. «Да я на минутку, прям так!» — сажусь в полушубке. Андрюхины смеются: «Ишь богатый какой! Шубой хвастает!» Понимаю, что любовно смеются, но неловко все равно. Главное — начинаю есть и потею, в полушубке-то. Но снять теперь — тоже неловко. Обливаясь потом, быстрее ем, чтоб с неловкой этой ситуацией покончить, а от спешки потею еще сильней, пот капает в плошку! Но полушубок, с отчаянием понимаю, еще и потому нельзя снять, что рубаха рваная — совсем застыжусь!

Отец умолкает, уносясь чувствами туда. Да и я тоже. Он, наверное, единственный человек, который помнит то время. Понимаю — это ж колоссальное счастье для меня, что я это слышу.

— А что ели — не помнишь? — с надеждой спрашиваю я.

— Почему ж? Помню! — бодро отвечает он. — Кулагу ели.

— Что это?

— А? — снова, подняв брови, смотрит соколом, гордясь с полным основанием, что такое помнит.

Может, он один только это уже и знает?

— Кулага? Ну, это... мука с солодом. Такая кашица. С фруктовыми какими-то добавками — яблоки, кажется! — не вникая уже в мелочи, чуть свысока произносит он.

Бежать записывать? А куда? Я-то уже не пишу.

Все же — к нашим дням надо вернуться.

— Отец! — решительно произношу я. — ...Скоро Нонна может вернуться.

— Нонна? — Он удивленно поднимает мохнатую бровь. Забыл, видимо? Кулагу помнит — а Нонну забыл? — И что? — спокойно интересуется он. Да. Особого энтузиазма не высказал. Хотя знаю, что дружат они за моей спиной, иногда нарушая мои заветы. Забыл? «И что?»

— Так вот...

Не хотел об этом говорить... Решил так: если он по дороге на завтрак уберет кальсоны свои с

батареи в сундук, возникать не буду! Но он даже не глянул туда, прошествовал величественно! И так, видимо, будет. Втемяшить что-либо трудно уже ему. С огромным трудом втемяшил, чтоб старое свое белье после ванной клал на батарею, сушил, а то он раньше прямо мокрое клал в грязный сундук. Это — удача. Но дальше не пошло. Чтобы с батареи снести в сундук — это его уже не заставить. Так что, похоже, правильней мне — жалеть, что начал его воспитание. Так поздно.

— Отец! — все-таки говорю. — Сколько можно тебя просить, чтоб ты кальсоны свои убирал с батареи? Неприятно. Особенно женщине. Понимаешь?

— Они еще не высохли! — яростный взгляд.

— Да ты даже не прикоснулся к ним, когда шел!

— Нет, прикасался! Когда ты дрых еще без задних ног!

Пошла драка! Тут уж не до гармонии — только успевай!

— Ну если ты встаешь так рано... — нанес ему меткий удар. — то тогда будь любезен выливать банку с мочой, пока никто не видит этого!

— Не хочу вас будить! — ответил яростно. — Потом... и другие соображения есть, чисто фи-

зиологические!

— Тебе трудно лишний раз пройти до уборной?

Яростное молчание. И в этом, наверняка, у него есть какой-то свой метод, как в скрещивании растений, научно обоснованный... его вряд ли собьешь! А что мы при этом испытываем (слился уже чувствами с Нонной), ему наплевать! Главное для него — научное совершенство, «абсолют»! Не имеющий никакого отношения к жизни!.. во всяком случае — к сегодняшней!

В гордом молчании брякал ложкой. Потом, немножко оставив каши, отодвинул пиалу.

— Каша вся в комках! — произнес надменно.

Гурманом он исключительно здесь сделался, переехав к нам. Раньше, в сельской своей жизни, что попало ел. «Гвозди переваривал!» — как сам гордо говорил. Теперь гурманом заделался!

— Отец!.. — после восклицания этого я долго молчал. Что бы ему сказать такое, как бы уладить все? Безнадежно! — Отец! Скоро Нонна выходит. Она... не совсем в порядке еще. Прошу тебя: не придирайся ты к ней! Главное сейчас — не истина, как ты любишь, а спокойствие. Не спорь с ней — даже если она не права. Она этого не выдержит.

— А я — выдержу?! — Отец тоже уже задрожал.

Очаровательный завтрак. Судя по нему — все готово к приходу Нонны.

Вспомнил недавний их скандал. «Если он будет... баррикады в своей комнате делать, — Нонна дрожала, — я вообще из дома уйду!» — «Ты в стол мой лазаешь! Деньги берешь!» — «Я?!» — «Ты!» Трудно тут с гармонией! Но вроде немножко успокоили там ее?.. С другой стороны — только она и вспоминала вечером: «Пойдем к отцу твоему, поговорим. Ить скучаить». И мы шли.

— Ну, спасибо тебе за разговор. И завтрак! — Отец скорбно поднялся. — Как меду напилса!

Сутулясь, слегка склоняясь вперед, как пеший сокол, по коридору пошел. Зря я его! Это я сам жутко боюсь ее прихода — а вину, уже заранее, на батю валю. А он-то чем виноват? Выбрал свою линию — на возраст девяносто двух лет — и этой линии держится. И не уступает! И прав! Я от победителя-бати устаю, но каков будет он — побежденный? Вот когда горе начнется. Не приведи господь!

Отец строго из коридора выглянул, махнул своей огромной ладонью.

— Суда иди!

Что-то там изобрел. Побитым уходить с поля боя — не в его правилах. Взял в руки себя, что-то

придумал.

— Это ты наворотил? — указал на рубашку мою, брошенную на сундук. — Так это и останется?

Молодец! По очкам — победа! Я кинул в сундук рубашку грязную, а заодно и кальсоны его, которые он протянул мне величественно, и гордо ушел. Молодец! Пока он побеждает — или пусть думает, что побеждает, — жить все же легче ему. И нам, стало быть, легче — когда в форме человек!

— Таблетки прими! — строго я ему крикнул. Но это ж разве реванш?

Он вернулся-таки — еще грозно, но уже весело из-под кустистых бровей поглядывая: победил, так весело на душе!

Взял фужер со стола, водой налитый, сморщившись, посмотрел туда, словно там гадость налита какая-нибудь. Есть такая привычка у него, не очень приятная. Я уже ему говорил!

— Водопроводная вода? — грубо спросил.

Сам бы мог решать такие проблемы!

— ...Да! Водопроводная! Но — не отравленная. Кипяченая, — сказал я.

Весело на меня уже поглядел. Выломал из пластинки таблетки, ссыпал в ладонь свою огромадную, снова сморщится, скушал, запил водой.

Вот и хорошо.

— Побреюсь, пожалуй. — Отец задумчиво седую щетину поскреб.

Мне бы надо срочно побриться — мало ли что? Могут в больницу вызвать. Ну ладно уж, хорошее настроение его, с трудом созданное, будем беречь.

Из ванной с моим тюбиком высунулся:

— Мыло?

Довольно грубо звучит, а это, между прочим, международный шейвинг — крем «Пальмолив»! Молча кивнул — хотя столь потребительское отношение к моему крему покоробило меня. Тюбик тощ, а когда новый куплю — не знаю. Триста у. е., выданных Бобом, тают... как крем!

Сучья отняли навсегда — и больше нет у нас с ним *общих* доходов. Просроченная виагра уехала куда-то... Пенсия? На нее максимум неделю можно прожить. Кузя, мой высоконравственный друг, мудро вещает: «В наши дни, как и всегда, впрочем, в ногу с партией надо шагать!» — «С какой же партией, Кузя?» — «Ну, в наши дни, слава богу, есть из чего выбрать! Глаза буквально разбегаются!» Это у него. А у меня почему-то не разбегаются, а, наоборот, сбегаются в одну точку к переносице. Неохота смотреть. Хотя, судя по нашим делам, с альтернативным топливом связанным, мы

больше к «зеленым» тяготеем. «Зеленым» и по философии, и в смысле цвета выплачиваемой валюты... надеюсь. Но сучья сгорели помимо нас... а какое еще альтернативное топливо, не знаю я. И Боб, этот «дар Валдая», делся куда-то. «Абонент находится за пределами досягаемости»!

О литературе вообще не говорю. Последние детективы мои — «Смеющийся бухгалтер» и «Смерть в тарелке» — канули во тьму. В издательство звоню, никакого голоса нет, только музыка в трубке звучит: Моцарт, Симфония номер сорок. Но не до конца.

Вспоминаю с тоской лучший свой промысел последних лет. Как крупный специалист по этике и эстетике крепко и уверенно вбивал клин между эротикой и порнографией, кассеты на две груды расчесывал: эротика — порнография! Больше не звонят. Решили, видимо, что в моем возрасте разницы уже не смогу отличить? Или вообще — исчезла она, эта разница? Жаль, кормила неплохо. Чем кормиться теперь? Это в молодости можно было болтаться, а теперь — надежный дом надо иметь.

Отец, из ванной в уборную переходя, выключатели перещелкнул и заодно на кухне вырубил свет, забыл, видимо, о моем существовании. А

может, светло уже?

В окошко посмотрел. Привычно уже содрогнулся. Сейчас особенно четки черные буквы у того окна: «Анжела, Саяна»! Каббалистика какая-то! Но — ничего! Пострадавшим забинтованным пальцем перекрестился. Я — отец Сергий теперь! Не искусить меня. Стас насчет моего «морального веса» сомневался... есть теперь у меня «моральный вес»! Вот он! — на пальчик глядел. А с темным окном этим, с этой «черной дырой», я, считай, расплатился полностью. Пальцем заплатил! И если Нонна снова увидит там меня с кем-то! Тогда... глазки ей выколю этим пальчиком! Вот к такому доброму, оптимистичному выводу я пришел.

С кухни пошел и рассеянно свет бате в уборной вырубил: обменялись любезностями. Батя заколотился там бешено, словно замуровали его! Вернул освещение.

Теперь, как опытный, свободно плавающий гусь, должен подумать, куда мне плыть.

В крематорий звал соученик мой из Института кинематографии — речевиком-затейником, речи произносить. Там и ночевать можно в освободившихся гробах. Но это уж напоследок.

Батя прошествовал по коридору, сообщил, на меня не глядя:

— Пойду пройдусь.

Правильно, батя. Пойди пройдись. Насладимся покоем. Но — не вышло. Зазвонил телефон. Трубку поднимал с натугой, как пудовую гантель.

— Алло.

— Так вот, — голос Стаса. — Миг настал! Евсюков из Москвы вернулся — и сразу же назначил комиссию. Я не в силах! Попробуем что-нибудь. Приезжайте к двенадцати!

Рядом с телефоном с кем-то заговорил, потом удалился — трубка осталась лежать. Но от пустой трубки, с эхом, мало толку. Я нажал на рычаг.

Снова звонок.

— Да!

— Тема есть, — неспешный голос Боба. А ты думал — он тебя отпустит? — Я тут в Думу хочу податься — побалакать бы надо.

Самый подходящий момент!

— Я тут... немножко спешу, — я сказал вежливо.

— Счас буду, — отключился, гудки.

Заманчиво, конечно, помочь будущему государственному деятелю, но... Есть более срочные задачи. Если я через сорок минут в Бехтеревку не домчусь — Нонну, глядишь, «упакуют», как мать ее упаковали там. Недолго мучилась старушка.

Но у нее к тому времени муж умер уже. А я-то жив. К сожалению. Что ты такое говоришь?

Главное — ни хрена не готово, холодильник захламлен... как наша жизнь. Что я с ней тут делать буду — когда сам не знаю, что делать? Ну, видимо, с ее приходом и появится смысл — в том, чтобы из болота ее тянуть.

С батей бы посоветоваться!.. но он, как всегда, величественно удалился в нужный момент! Хотя бы как-то проинструктировать его! А! Все равно делать будет все по своим теориям! Хоть бы у себя пыль вытер — я провел пальцем по стеклу на полке! Но нет. Наверняка и тут в научную полемику вступит, а мне надо бежать. Ссыпался с лестницы.

Ч-черт! Тут-то и напоролся на батю. Не проскочить! С блаженной улыбкой стоит посреди двора, покрытого, как роскошным ковром, «конскими яблоками», и на руке держит сочный образец.

— Видал? — ко мне обратился.

Спокойно разломил «яблоко», половинку мне протянул. Для науки нет преград! Объект, достойный изучения. Снаружи круглый, шелковистый, темный — на сломе более светлый, шерстистый, с ворсинками. Все? Я отвернулся от предмета, глянул на арку.

— Ценный, между прочим, продукт! — обидевшись на мое невнимание, назидательно батя произнес. Зря я брезгливость продемонстрировал к натуральному хозяйству. Будет теперь воспитывать меня. — В любом крестьянском доме, — голос свой возвысил, — ценили его!

Ну, в нашем доме тоже хранят. Не убирают. И даже производят, с размахом. Теперь тут у нас наездницы проживают — так что с этим не будет проблем.

Тут это как раз и подтвердилось — Анжелка свою лошадь вывела под уздцы. Конюшенная улица, где были когда-то Царские Конюшни, чуть в стороне, а у нас тут свое, нажитое. Сможем изучать.

— Прокатимся? — Анжелка задорно мне крикнула.

Я ей пальчик забинтованный показал, торчащий. Боюсь, неправильно меня поняла. Сделала неприличный жест — и в седло взметнулась, пришпорила лошадь — но тут же осадила. Из-под арки во двор мягко, по навозной подстилке, знакомый джип въехал. Боб свинтил стекло, глядел на наездницу. Видно, напоминала «податливых валдаек» с хутора его.

Батя на Анжелку тоже благожелательно глядел,

чуя, что перебоев с продуктом не будет тут.

— Между прочим, отличное топливо. — Отец бросил кругляк в снег с некоторым сожалением. — Кстати, экологически чистое! — усмехнувшись, добавил он. Вспомнил, видимо, мою историю про африканку, что жарила своему мальцу лепешки на верблюжьих какашках. Наше не хуже!

— Растаптывали в проулке, сушили, потом резали. Всю зиму печку топили, — поведал батя.

— Печку? — Боб даже вылез из тачки. — И тепло было?

— Жарко! — сверкнул взглядом отец.

Ну, надеюсь на их сотрудничество. А вот если я через полчаса в больнице не окажусь, будет действительно жарко! Я дернулся. Но батя — слишком опытный лектор, слушателя никогда не выпустит, пока не внушит свое.

— Кстати, — произнес он задумчиво, — из-за кизяков и род наш такой!

Уже почти на бегу я тормознул возмущенно. Опять гнет свою теорию о влиянии условий на наследственность! Сколько спорили с ним, чуть не дрались — свое гнет упрямо.

— Как? — произнес терпеливо я.

Насчет истории рода хотелось бы узнать. Как конкретно повлияли условия на нашу семью?

Грыжа — это гены. А что еще?

Хотя в обрез времени, но это слишком важный вопрос.

— А?! — Хитрый батя, нагнетая обстановку, прикинулся глухим. Теперь еще надо уговаривать его. Не дождется! — Так из-за кизяков все! — Долгая пауза. Я пошел? — ...Дед твой, отец мой, носил кизяки в дом. Отец его, прадед твой, такое устройство вешал ему через шею — ящик спереди, ящик сзади. Ну и надорвался он.

Как, кстати, и я. У меня даже раньше грыжа вылезла, чем у отца. «Корень-то покрепче»! Год он насмехался, куражился — потом выскочила и у него. Так что грыжей мы навек обеспечены прадеду благодаря.

— Ну, работать он не смог больше. Начал книжки читать.

Аналогично.

— Потом писарем стал. Я видал записи его: каллиграфический почерк! Отлично писал.

Я тоже стараюсь.

— Ну так с него все и пошли учиться и вот стали кем-то... — Он торжественно возложил руку мне на плечо.

Мы постояли молча.

— Кизяки-то научишь делать? — с волнением

произнес Боб.

У него свой азарт: атьтернативное топливо, международный фурор. Прихоть эксцентричного миллионера.

Но батю не так-то легко взять! Подержав еще свою руку на моем плече, он уронил ее и, полностью отключившись, пошел себе, даже не глянув на Боба. Да, родственница права: «Корень-то крепче будет!» В свою сторону его никто не согнет. Батя медленно удалялся под арку. Спокойно и даже величественно. Передал эстафету поколений мне. Продавил-таки свою навозную колею — через меня.

— Тебя надо куда? — Боб открыл дверцу.

Надеется, что навоз прочно вошел в мою кровь. А куда денешься? Если он успеет меня домчать, готов дерьмо утаптывать всю мою жизнь.

— В больницу не подбросишь по-скорому? — произнес я.

Он кивнул.

Всадница под гулкой аркой с гиканьем обогнала отца, но он никак не среагировал, не ускорил свой медленный ход: лошадей он не видал, что ли? Медленно, ссутулясь и раскорячась, он вышел на улицу, вдумчиво постоял, определяя, куда дует ветер. Строго против ветра всегда идет. Считает

— одна из теорий его, — что в наветренной стороне меньше газов автомобильных. Личная его экология, которую он блюдет тщательно, поэтому так крепко и долго живет.

Наконец вправо свернул. И мы смогли вырулить.

— Да-а, крепкий батя у тебя!

Мы выехали на Невский.

— Куда конкретно надо? — Боб спросил.

— Да надо тут подскочить в Бехтеревку.

Боб кивнул. Придется мне за батю отвечать. Осуществлять, так сказать, преемственность поколений. Дед, правда, начинал с кизяков, а я, похоже, ими закончу! Замкну собой круг.

У одной из амазонок, скачущих перед нами, лошадь подняла хвост и насыпала «продукта»! С этим не будет проблем. Боб на меня радостно глянул. Все как у него на валдайском хуторе. Теперь у нас тут хутор.

Кстати, если бы не любимая жена, я мог бы еще соскочить с этого дела. Но так, по дороге в Бехтеревку, не рыпнешься уже. Позаботилось мое семейство обо мне.

— Да, крепкий у тебя батя! — растроганно Боб произнес. — Чем-то деда моего напомнил!

— Чем?! — воскликнул я.

Наше фамильное сходство теперь поддерживать надо.

— Кизяки тоже делал! — вздохнул Боб.

— Так ты умеешь, наверное?

— Нет. Мне не передал.

В мою сторону поглядел. «Передача», значит, может быть лишь через моего батю. Точнее, через меня. Таперича, благодаря бате и жене, я первый энтузиаст, умелец-говнодав. Спасибо. Приобщили к семейному ремеслу.

— Помню, — разнежился Боб, — чуть лето — сразу делает замес. Добавляет мякину, труху.

Значит, знает рецепт? Но перебивать сладкие его воспоминания я не стал.

— А сам уже на какую ни есть красотку поглядывает. — Боб подмигнул.

— А красотка-то тут при чем? — Я даже вздрогнул.

— Ну как? — разлыбился Боб. — Утопчет, высушит. Штабелями их сложит... Кизяки, я имею в виду. Потом — продаст кизяки по хатам, деньги в шапку и идет.

— ...К красотке?

— Ну а к старухе, что ли? — Боб захохотал.

Похоже, эту часть технологии он неплохо усвоил. Хоть сейчас в Париж! Но производство,

видно, на мне. Усложнились отношения нынче: навряд ли у нас так же весело, как у его деда, дело пойдет!

Мы ехали мимо старого кладбища.

— ...А тут счас хоронят, интересно? — я спросил.

Пытался как-то отвлечь Боба, на более возвышенную тему беседу перевести, но он, похоже, это дело крепко застолбил. Занял экологическую нишу. Снова смысл жизни появился у него.

— Это ж теперь будет в мире «намбер ван»! — восклицал он восторженно, собираясь, видимо, на кизяках подняться, как наша семья, занять место в элите... Но насчет «всего мира» я бы не спешил: отнимут, как сучья отняли. Погодим! Я уже чувствовал, что тоже переживаю.

— Эх! — Боб резко тормознул.

Чуть не проехали. Лишь мечтали о «топливе будущего», а домчались в момент, словно мы в будущем уже!

Я с тоской глядел на больницу: у меня тут красотка своя, кизяки я для нее теперь делаю. А куда деться?

— Подожди тут... минуток дцать! — уже уверенно, как соавтор, сказал Бобу.

Надеюсь, быстро не остынет его азарт в этом

грустном пейзаже? Мы ж еще многое с ним должны обсудить!

Я прошел по тусклому коридору, постоял перед засаленной занавеской, заменяющей дверь, отпахнул ее.

— На комиссию ушла! — сказали соседки вместе и, как мне показалось, с волнением.

Жалкая ее беспомощность, похоже, проняла и их, на всеобщей доброте, ощутимой особенно в больницах, и держится наша жизнь. Даже в самом конце. И как-то обыденно все происходит, без декорации и пафоса. И это, наверное, хорошо? Я вышел в закуток перед палатой: пыльное, с разводами грязи, огромное окно, пожелтевший, но с сильным запахом фикус. Вот тут примерно все и определится. Кончилась наша жизнь — или немножко еще осталось?

Походив в закутке, я, не удержавшись, пошел все же по коридору к кабинету главного врача. Вряд ли я понадоблюсь комиссии, но — вдруг? В дальнем конце, у кабинетов начальства, царила роскошь: кресла из кожзаменителя, большой аквариум. Я с тоской вспомнил пахучий аквариум, который чистили у нас на глазах в баре на краю темного пустыря, холодную ее враждебность, когда мы сидели там. Изменилось ли что за месяц,

стала ли она теплее?

Вдруг кто-то дернул меня сзади за пиджак. Я обернулся. Нонна стояла, смущенно сияя.

— Ве-еч! — проговорила она. — ...А сколько мне лет?

Это она готовится к комиссии? Или уже была?!

— Ну а ты думаешь — сколько? — опасливо проговорил я.

Вот сейчас все и выяснится... где ей жить!

— ...Сорок? — пролепетала она.

Я в отчаянии швырнул шапку в стену! Все!.. Лишнее себе позволяете — самому же придется и поднимать.

— Шестьдесят тебе! Шесть-десят! Запомни!

Зачем ей, собственно, уже это запоминать?

— Ты... была уже на комиссии? — В последней надежде я уставился на нее.

Не поднимая головы, своим костлявым подбородком виновато кивнула.

— Ну ничего! — бодро взял ее за плечо. — Там тебя и подлечат!

— Значит, я домой не поеду? — По щечкам ее в красных прожилках слезки побежали.

— Но что ж ты не могла сосредоточиться?! — простонал я.

Наверное, надо было туда ворваться! Отвечать

за нее?

Стараясь успокоиться, она надула дряблые щечки мячиком, потом шумно выдохнула, и они сразу обвисли.

Распахнулась дверь, обитая кожей, и вышел Стас. Он шел мимо нас, не глядя. Замучили мы его! Он подошел к фигуристой медсестре, положил на ее стол бумажку. Она прочитала, изумленно глянула на Стаса, потом на нас.

— Оформляйте! — буркнул ей Стас.

Я выпустил руку Нонны. Ну все. Надо отвыкать!

— ...На выписку. — Это было сказано хоть и без души, но — в нашу сторону.

— Как? — воскликнул я.

Мы с Нонной смотрели друг на друга.

— ...А вы зайдите ко мне, — по-прежнему на меня не глядя, произнес он, — ...один.

— Стой! — Я снова схватил Нонну за руку.

— Я стою, Веч! — Она радостно кивнула.

В кабинете Стас долго молчат.

— Как я уговорил их?! — воскликнул он наконец, разведя руками. — Боюсь, что я несколько преувеличил... ваши способности. Болезнь ее, похоже, сильней.

Я сам, боюсь, их преувеличил... Я этого не сказал

— но он прочел это в моем взгляде.

— Комиссия, кстати, еще работает. — Он сделал движение к двери.

Пойти с ним? Но она ждет там, робко улыбаясь. По ней не пройду.

— Понял. — Стас снова сел. Помолчали. — Главное, — он шлепнул по столу ладонью, — дух противоречия в ней не удалось истребить. — Когда она говорила комиссии, что ей сорок лет, я заметил в ее глазах... веселые огоньки! Как вы думаете — это она нарочно могла говорить?

— Могла. Из-за любви к веселью она и здесь оказалась, — вздохнул я. ...Когда ее «воспитываешь», в глазах ее тоже веселые огоньки загораются.

«Ну как? Поняла, что я тебе говорил?» — «Нь-ня!» — весело восклицает она. Хочешь, чтобы другой она стала?.. «Нь-ня!» Такой она мне и нужна.

— Сами разбирайтесь! — Стас ладонью махнул, потом подвинул бланки. — Ну что... сильные лекарства выписываем? Будет тихая, но...

Неузнаваемая. Другая.

«Нь-ня!»

— Слабые никакой гарантии вам не дадут... Да и не будет она их принимать! — сорвался Стас. Помолчал, успокаиваясь. — Значит, скоро снова

пожалует к нам. Ну что ж... веселитесь. — Стас подал мне бланк, встал. — Я, кстати, тоже стою за сохранение личности, — грустно улыбнулся он.

Мы вышли. «Личность» нетерпеливо ждала нас у входа. Боюсь, что у меня на лице не было того восторга, как у нее. Утвердительно ей кивнул.

— Ур-ря! — она подпрыгнула.

— Ну что ж... пошли собираться, — вздохнул я, обнял костлявые ее плечи, и мы двинулись по коридору.

— Ну что... теперь будешь себя хорошо вести? — несколько запоздало, у самой палаты, попытался «воспитывать» ее. Она радостно на меня глянула.

— Нь-ня! — откинув остренькую челюсть, воскликнула она.

Мы спускались по лестнице. Сколько я мечтал об этом моменте! Но — «все бывает не так плохо — и не так хорошо, как мы ждем!». Хоть бы формально сказала: «Я, Венчик, буду слушаться тебя!» Вспорхнула, птичка. Ну ничего! Сейчас ее сдавят в троллейбусе... в метро!.. Обратно запросится! Только тут я вспомнил про Боба. Вряд ли он настолько загорелся идеей сушеного говна, что до сих пор не уехал?

Стоял!

С почтением я оглянулся на светящийся окнами бастион науки.

— Помаши дяденькам ручкой!

Стянув варежку, она помахала. Мы приблизились к джипу.

— Ой, Веча! Это наша машина?

— М-м-м-да.

Высоко влазить, как на самолет. Боб, как и положено уважающему себя водителю, сидел истуканом.

— Ой, здрасьте! — Она слегка удивилась. Серьезно думала — я сяду за руль? Серьезно вообще она никогда не думает!

Боб «мое сокровище» невысоко оценил. Оно верно — на любителя. Лишь в моей голове — и душе — живет еще знание: как она прелестна!.. А так-то вообще трудновато объяснить...

Нас закачало на выбоинах. Нонна не понимала пока, что кто-то может не разделять ее счастья, крутилась на тугом кожаном сиденье, сопя в тепле носиком, разглядывала салон, мигающую разноцветными лампочками приборную доску. Стянув шапочку, помотала головой, вольно раскидав по плечам жидкие грязненькие волосики.

— Вы — друг Валеры? — радостно спросила она. Боб кивнул мрачно. У людей его круга присказка

есть: «Таких друзей — за... и в музей!»

— Я рада! — просияла она.

Знала бы она, что нас связывает! Впрочем, она мало что знает! Ее счастье. И еще меньше хочет знать. Лишь то, что ее интересует. А интересует ее... В кулачонке у нее появилась вдруг сигаретка.

— Я закурю, да?! — явно собираясь нас этим осчастливить, проговорила она.

Боб, поборник здоровья и экологии, красноречиво молчал. Но я-то молчать не мог. По новой все начинается — сперва беспорядочное, по первому позыву, курение, потом...

— Остановись! — процедил я.

— Вай? — уже с задором и вызовом произнесла она английское «почему».

Я молча вывинтил из ее пальчиков сигарету, грубо сломав. Куда выкинуть теперь эту гадость? ...не всем нравится эта вонь.

Я вдруг почувствовал, что уже дрожу. Может, повернем обратно, поторопились уезжать? Я, во всяком случае, там охотно останусь!

В глазах ее кратко блеснули слезы. Потом ушли.

— Ну ха-вашо, ха-вашо! — ласково проговорила она.

Но дома, конечно же, задымит! Мы с отцом только-только отвыкли жить в пепельнице. И задымит, главное, против того окна!.. в котором вскоре увидит меня! Курением, ясно дело, не ограничится! Ей, видите ли, хочется! А что будет с нашей жизнью — ей наплевать.

Похоже уже, твои нервы гораздо хуже, чем у нее. Но тебе же не кололи успокоители, а также витамины. Кроме виагры, ничего и не ел. Возбуждения, правда, не чувствую, только утомление.

Да и она больше ни о чем уже не может думать: держит в кулачке новую сигарету, тяжко вздыхает. Главное — надышаться этой дрянью. Да, прихотливый характер ее — неизлечим. Сочетать свои желания с реальностью никогда не могла. Да и не пыталась!

— Ладно, кури, — сказал Боб. Ему и десяти минут этих вздохов хватило, а мне их слушать всю жизнь. И скоро я окажусь во всем виноват!

Она стала торопливо чиркать зажигалкой — я вынул ее из трясущихся ручонок. Слезы засверкали. Может, обратно повернуть? Комиссия, думаю, еще не закончила свою работу. Извините, сказать, ошибка вышла. Она вовсе и не собирается по-человечески жить — в интернат ее! Лучше один раз оказаться жестоким, чем потом мучить-

ся всю жизнь нам обоим.

Но тут мы как раз вывернули на Невский: шикарные витрины, красивая, веселая толпа. Сразу после больничных сумерек!

— Ой, как я рада, Веч!

Надо быть железным Феликсом, чтобы повернуть. Вот так жизнь и оплетает нас теплой паутиной, а потом, глядишь, — уже пальцем не шевельнуть. Кстати, насчет моего неподвижного пальчика не поинтересовалась она. Радость жизни ее захлестывает: мои тут страдания, муки отца Сергия, не интересны ей. Веселиться хочет! Глазки сияют, головка туда-сюда!

Но пока не мучайся. Насладись. Давно ты уже Невским не любовался, тем более из такой шикарной машины. Любимую жену вытащил из больницы! Повернулись друг к другу.

— Не сердись, Веч!

Мы поцеловались. Вот уже и дом наш, угловой, самый красивый на Невском. Жизнь удалась! Помню, как мы стояли на углу и я отковыривал ее пальцы от поручня, и она кидала отчаянные взгляды на дом, прощаясь. Вернулись же!

— Ур-ря! — поглядев друг на друга, закричали мы.

И въехали в арку. А вот и навоз! Материал, из

которого теперь будет строиться наша жизнь. Да, не терял я времени. Целый табун тут развел. Автографы наездниц — Анжела, Саяна, — начертанные какой-то дьявольской копотью возле того окна. Саяна-то совсем ни при чем, ни разу даже в глаза ее не видел!.. Докажи. Посмотрел на свой забинтованный пальчик. Не подведи, родимый. В тебе вся моя сила. Моральный вес!

И я решил уже: если не оценит, как я мучился тут, снова в окошке том меня будет наблюдать — пальцем этим глазки выколю ей! Имею право.

Вылезли из машины.

— Ну, до связи, — сверху, со своего трона, изрек Боб. — ...На вот тебе, — хмуро протянул две сотенных баксов.

— Ладно. Только переобуюсь — и пойдем с тобой это дело топтать! — откликнулся я. — Дело срочное, понимаю!

Некоторые «конские яблоки» еще дымились.

— Я разве сказал что-то? — обиделся Боб и, раскатав несколько сочных кругляков, вырулил на улицу.

Он столько сделал мне, а я нападаю. Совсем, видно, ослаб! А кто же тут будет главным генератором счастья и тепла? Кроме тебя, некому! На Нонну поглядел. Счастливо сморщившись, двор

озирала, в дверь не входила.

— Волнуюсь, Веч!

Мы подошли к железной двери.

— Как открывать? Я забыла, Веч!

Это забыла она! А вот то, что следовало бы забыть, скоро вспомнит!

Сдвинули железную дверь, стали подниматься по лестнице. Она, шевеля носиком, жадно вдыхала. Понимаю ее: хочется еще до того, как квартира откроется, что-то ухватить! Помню, как я тут бежал, возвращаясь из Африки. И, как ни странно, хоть положение тогда было отчаянней, больше чувствовал сил. Но знаю, что и сейчас сил ровно столько окажется у меня, сколько понадобится!

Отъехала дверь.

— Ну, входи!

Надула щечки в прожилках. Выдохнула. Шагнула через порог. Что бы потом ни было, вспомним: был такой счастливый момент!

— Вот наша вешалка. Узнаешь?

Кивнула. Не могла, видно, сразу говорить. Глядела на меня. И за этот взгляд, за этот миг я все готов вынести — и до, и после.

Батя, конечно, не подвел, вышел с трехлитровой банкой золотистой мочи — шел по коридору медленно, вдумчиво, не замечая нас. Борется за

свои права, за свое расписание, не уступает. По-прежнему тверд. И порой мне кажется — уступит в этом, сломается и в остальном. Может, даже перестанет в восемь вставать и садиться за рукопись. Но ей, душевно раненной, как объяснишь?

Впрочем, вспомнил я, из больницы ей эта банка чуть не символом семейного счастья казалась, светлым воспоминанием. Точно!

— Привет! — подкравшись сбоку к отцу, сказала Нонна.

— А?! — Он озирался, почему-то не замечая ее.

Вот — увидел.

— Эх! — как-то лихо воскликнул. — Вот это да!

Заметался в узком проеме с банкой, ища, куда бы поставить ее. Нонна смеялась. Потом выхватила у него банку, звонко чмокнула ее, поставила на сундук.

— Ну, здравствуй, мила моя!

Обнялись. Отец мощной своей ладонью растроганно похлопывал ее по тощей спине. Не могли расстаться!

— Ну ладно! Иди. — Видимо, ревнуя, я взял с сундука банку, вручил ему.

Он, снова погрузившись в глубины своего сознания, пошел медленно к туалету. Не много времени у него занял душевный порыв. Но боль-

ше не надо. Если еще и он начнет нервничать — совсем хана.

Шутливо впихнул Нонну в спальню.

— Садись! Будь как дома.

Изможденная, бледная улыбка.

«Как дома» — это как когда? Если — как перед больницей, то не дай бог. Да нет! Не зря же ей витамины кололи. Должна же она что-то понять? Второй раз пройти через это не хватит сил. Второго раза не будет, с таким счастливым концом.

Сидела, радостно озираясь. Вся еще больничная, мятая, пахнущая лекарствами. Грязные космы-висюльки для больницы годились, но у нас все-таки элегантный дом. Эту больничную пассивность надо бы выдавить из нее!.. Горячишься.

— Ну чего? В ванной помоешься?

— ...Подожди, Веч!

— Ну, я пока воду включу? — рванулся к ванной.

Та-ак. У нее уже слезы блеснули. Поехали! По ее расписанию будем жить. Привык за это время куда-то мчаться!.. теперь бережно надо двигаться.

— Ну, отдыхай.

Осторожно уложил немытую головку ее на подушечку, вышел, дверку прикрыл.

Сидел за столом, нетерпеливо скрипя стулом. Куда бежать? Некуда больше тебе бежать.

Скрипнула дверь. По коридору прошаркала. Неужто ванну запустит? — ухо навострил. Нет! Туалетный водопадик. Прошаркала назад.

Теперь ты — сиделка. Вот и сиди... Толстая пыль, абсолютно на всем, не волнует ее. Так же, как батю. Только тебя волнует. Вдыхай!

Не знаю, сколько так просидел, свесив на кулаки щеки. Вдруг со скрипом дверь отъехала. Нонна явилась, виновато вздыхая. В пальтишке своем мятом, в пыльных кроссовках. Надо ей все покупать: бомжиха уже! Совсем об этом не думала, как, впрочем, и ни о чем. Но — сияла.

— Веч! Я буду стараться! Я в магазин пойду. Да, — закивала головкой. — Давай посмотрим — чего надо купить?

— Давай... конечно! — радостно заметался.

Оказались на кухне. Холодильник открыли.

— Я, Веч, на рынок пойду! — сообщила гордо.

Рынок, полный крынок. А деньги где? Наскребем. Главное, что желания появились у нее. Причем — здоровые.

— Представляю, как капустница меня ждет! — сказала она.

Молодец. Вспомнила еще одну нашу семейную

радость (кроме отцовской банки).

— Представляю, как она обрадуется! — Нонна говорила. — Замашет сразу: «Сюда иди!» Перед больницей говорила мне: «Не поддавайся, милая!»

Слезки блеснули. Как бабушка говорила моя — слезки на колесках. Понял вдруг, почему я *сейчас* так ее люблю: бабушку мне напоминает, такой, как я помню ее. Тоже радостная за продуктами шла, полная впечатлений приходила. А у этой — капустницы любовь. Взаимная. Хоть и не бескорыстная. Возвращалась всегда счастливая от нее, смущенно улыбаясь, вытаскивала из мятой сумки своей очередной мутный пакетик с квашеной капустой.

— Вот... купи-ва! — говорила, потупясь.

Правда, та ей от любви всегда подкидывала в пакет то маринованный чесночок, то перчик. Это уж не от корысти — от любви. Так что мешать этой страсти нельзя. Хоть дальше пакетиков дело не шло. Чтобы сварить, например, щи — этого не было. Складывался пакетик в холодильник, где их воняло штук уже, наверное, двадцать. Но это ее счастье квашеное трогать нельзя. Пусть хоть чему-то радуется, все равно.

— Ты, Нонна, гений гниений! — говорил я ей,

пакетики перебирая: некоторые, кажется, за позапрошлый год.

— Ну ты, Веча, мне льстишь. — Пока была бодрая, отвечала весело.

Ничего! Некоторые жены, говорят, алмазы коллекционируют. Так что мне повезло.

— Ну и чего ты думаешь там купить окромя капусты? — поинтересовался я.

— Я забыла, Веч, что там продается. Капустницу только помню одну, — улыбалась. — Но я вспомню, Веч! Ты мне денюх дай — и я вспомню.

— Де-нюх? А давай лучше я напишу: «Выдать. Луначарский». Пойдет?

— Не-е, Веч! — засмеялась.

Валюту разменивать придется. Но за счастье такое — не жалко отдать. Правда, приглядывал я тут, возле дома, одну шинель. Но — уровня Акакия Акакиевича мне не достичь. Слабоват. Федот, да не тот, пальто, да не то, метод, да не этот! Пошли в обменник. Купюру разменял. Деньги в бумажник сунула. Кивнула: «Спасибо, Веч!»

Долго смотрел ей вслед. Пока не свернула на Кирпичный. Потом по Мойке пойдет. Там, наверное, ветер дует, воду рябит. Красота, после больницы-то! По Гороховой, забитой машинами, дойдет до Садовой, по ней — к Сенной. Любит она

дорогу эту! Ликовал вместе с ней.

И дома улыбался еще. Телефон зазвонил. Говнодав меня требует? Ну и что? Это тебе не просроченная виагра: все свежее, натуральное! Да с чистой совестью, да по свежему воздуху. Красота! В Москву с товаром поедем, на международный рынок станем выходить!

— Слушаю! — крикнул в трубку.

После паузы:

— Алло.

Настя.

— Привет, дорогая!

— Ну как вы там?

— Нормально.

Какой-то тревогой из трубки повеяло.

— А мать как держится?

— ...Нормально. Ничего.

— Позови-ка мне ее.

— Она... в ванной сейчас.

Улыбка моя, отражаясь в зеркале, уже глупой казалась.

— ...В ванной? При ее-то водобоязни? — Она слегка напряженно хохотнула. Долгая пауза. — Ты что — отпустил ее, отец?

Пауза еще более долгая.

— Ну а что? Пусть свободе порадуется! — отве-

тил я. — Счастье — лучшее лекарство.

— Ты что?.. Рехнулся, отец? Стас разве не говорил тебе, что алкоголизм не излечивается?

— При чем тут алкоголизм? Человек радуется!

— Мы проходили уже ее «радости»! — Настя воскликнула.

Всегда я так: лечу счастливо — и мордой об столб!

— Да не волнуйся... придет она, — пробормотал я.

— Да она, может, и адрес уже не помнит!

— Так что же мне делать?

— Беги, отец! И по пути во все шалманы заглядывай.

— Да.

«Кролик, беги!» Был такой любимый роман нашей молодости. Бежал по Кирпичному, по Мойке, по Гороховой, Садовой, ко всем стеклам, витринам прилипая. Прерывисто, тяжело дышал. Третье дыхание.

На рынок вбежал, полный крынок. Нет. По рядам квашения промчался. Которая тут ее капустница? Не пойму. Я, к сожалению, в такие нежные отношения с посторонними не вступаю, как она.

Заглянул в пивную на рынке, полную громко го-

ворящих кавказцев, представил ее тут — как она просит прикурить вот у этого небритого кавказца, тянет к нему дрожащую ручонку с сигаретой... и это, наверное, счастье было бы — увидеть ее с ними, — радостно сел бы к ним и, может быть, выпил бы пива, расслабился наконец — сколько же можно за горло себя держать?

Но рай этот только представил — и нужно было уже бежать.

«Веч! — говорила она. — Если я пойму, что тебе мешаю, то уйду. Насовсем».

И я ее отпустил!

Потом я сидел на гранитном пеньке у нашей арки, сняв шапку и положив ее на колени. Прохожие вопросительно глядели на меня: подавать ли милостыню?.. Обождать!

— Ве-еч! Ты чего здесь? — вдруг послышался ее голосок.

Мерещится? Я поднял глаза. Она стояла передо мной — маленькая, тощенькая, с тяжелой, раздутой сумкой в руке. Как доволокла столько?

Я поднялся.

— Чего так долго ты?.. я уже извелся!

— На рынок ходила, Веч!

Не было тебя на рынке!.. Ну ничего. Главное, что вернулась. Личико, правда, как клюквинка,

набухло. И явственно доносится некоторый «аромат степу». Но предупреждал же меня Стас, что алкоголизм не лечится. Я же сам подписался на этот вариант.

— Ну, отлично. Пошли домой. Чего это ты приволокла? — потянулся к ее сумке.

— Тайна! — отвела руку мою. — Но вы довольны будете!

Даже облизала губки язычком, вкусно чмокнула.

Что бы это могло быть такое? Как-то я привык бояться ее тайн! Впрочем, привыкай по новой. Как бы с новыми силами. Давай считать, что за время ее отсутствия ты отлично отдохнул, поднабрался сил и спокойно перенесешь по крайней мере первые испытания. Улыбайся, генерируй счастье. Когда оно есть, то и легкие недостатки друг другу можно простить. Бутылка, кстати, там не прощупывается — несколько раз ненавязчиво коснулся сумки ногой. Может, продержимся... до чего-нибудь?

Мы вошли в квартиру — тепло здесь после уличной холодрыги.

— Ну? Помочь?

— Не ходи за мной! — улыбнулась таинственно, словно готовя мне радостный сюрприз.

Боюсь я сюрпризов ее! Но — придется радоваться, иначе — слезы. А после слез, чтобы успокоиться, придется напиться... Ей. А может, и мне? Когда-то я любил это дело. Вовремя остановился. Может, время опять пришло? Отлично будем жить, с разбитыми мордами «после совместного распития спиртных напитков». Зато — без напряжения, делаем что хотим!.. Нет. Пару раз я пытался опускаться, оказалось — тяжело. Гораздо тяжелее, чем жить нормально. Сразу куча проблем и хлопот, нервы — на пределе!.. Погодим. Нормально попробуем — скучной мещанской жизнью.

Впрочем, скучной — навряд ли. Уши — торчком. Пытаюсь по тихим шорохам учуять опасность, как известный таежный охотник Дерсу Узала. Это чем-то она брякает в холодильнике? Полочку, что ли, вытаскивает? Зачем? Что-то огромное, видно, туда запихивает. «Большое, как любовь!» Была когда-то у нас такая песня и танец: «Зе биг эз лав!» — «Большое, как любовь!». Кружком, взявшись за руки, отплясывали в ресторане «Крыша», с друзьями и подругами. А в центре круга — лихо куролесит она. Недавно! Мне — сорок лет. И обошлось безумство это, как сейчас помню, в сорок рублей. Славно было. А сейчас я — таежный

охотник Дерсу Узала. И — опасные шорохи... Вот — в кладовке уже странное постукивание. Место это отлично знаю. Там еще — Лев Толстой, и в полом бюсте его бутылку прятала. Ничего, блин, святого! Проверить пойти? Покончить с зыбким этим раем? Нет. Понадеемся еще!

Что-то очень долго там брякает... но там же вся посуда у нее! «Формально все нормально», как шутили мы с ней.

Сколько словечек всяких было у нас — держались благодаря им, не падали духом. Мол, это лишь шутим мы и ничуть не страдаем.

После возвращения ее с покупками, помню, я выходил в прихожую, целовались, потом шумно принюхивались друг к другу: не пахнет ли чем? На этой шутке — держались: вовсе мы друг за другом не следим, а так, просто принюхиваемся, как собачки.

Еще, помню, шутка была. Когда она уже явно была навеселе, подносил свой кулак ей к носику, грозно произносил: «Чем пахнет?» Она, с упоением как бы, втягивала запах, сладко зажмурясь. Держались. Веселились, как могли. Продержимся? Может, пойти дать ей понюхать кулак? Если сладко вдохнет, зажмурясь, вспомнит нашу шутку — значит, все хорошо. И может, еще долго

продержимся? А?

Нерешительно приподнялся... Рискованно. Вдруг рухнет даже то, что еще есть? Сел снова. Вот так я теперь провожу время за рабочим столом! Впрочем, это и есть теперь моя работа. Пошел. Кулак в запасе держал, за спиной. Как увижу ее — определю сразу: способна ли еще воспринимать? Заметил вдруг, что передвигаюсь бесшумно... охотник, выслеживающий рысь! На кухню внезапно вошел. Она, сидя на корточках у холодильника, испуганно вздрогнула, быстро захлопнула дверку. Та-ак. Глянула снизу на меня, но почему-то не испуганным оком, а, я бы сказал, счастливо-таинственным. Сюрприз?

— Чего это там у тебя?

Снова глянула, еще более таинственно-радостно. Какой-то просто маленький праздник у нее.

— Показать?

— Ну.

Поглядела еще, как бы решаясь, потом — отпахнула дверцу... Арбуз! Тяжело, кособоко лежит, занимая холодильник.

— Хочется, Веч! — сказала она, сияя.

Что ж — и для меня тоже радость: арбуз, а не алкоголь. А просто так радоваться ты не можешь уже?

— Дай кусить! — проговорил жадно.

— ...После обеда, Веч!.. Ну хавашо, хава-шо! Отрежу кусочек.

— Ну ладно уж! Потерплю!

Расцеловались, как бы довольные друг другом. И я пошел. Принюхиваться друг к другу не стали пока что. Можно хотя бы немножко в блаженстве побыть?

Побывал. Но не особенно долго. Снова тихое бряканье в кладовке раздалось. Второй арбуз у нее там? Ох, навряд ли! Скорее, что-нибудь менее официальное, увы. Продержимся ли до обеда? Кстати — какой обед? Ничего такого я там не приметил. Только арбуз! Арбуз на первое, на второе, арбуз на третье. Вряд ли сойдет. Батя лютует в таких случаях, а также в некоторых других. Пойти ей сказать? Не стоит, наверное. Рухнет наше хрупкое счастье, полное таинственных шорохов. Сделаем не так. Умный, хитрый охотник Дерсу Узала бесшумно сейчас пойдет и задушит курицу. Бесшумно ее принесет, и мы ее бодро сварим, не возбуждая обид, тревог, избежав вытекающих (и, возможно, втекающих) последствий. «Умный, ч-черт!» — как говорила Нонна, когда я находил очередную ее бутылочку. Приятно чувствовать себя «умным ч-чертом!». Вышел бесшумно.

Когда вернулся с курицей в когтях, Нонна по телефону громко разговаривала — с Настей, как понял я. Настя наседала, как всегда.

— Ну Настя! — Нонна отбивалась. — Ну хавашо! Ха-ва-шо! Куплю курицу, как ты велишь! Ладно! Уже бяжу, бяжу.

После этого — долгая пауза и совсем уже другой тон — надменный, холодный:

— ...В какой больнице, Настя? Что ты плетешь? Я нигде не была!

Разговор в неприятную стадию вступал — в том числе для меня. Забыла уже все! Быстро. «Аромат степу» уже все помещение властно заполнял. «Я маленькая, — Нонна поясняла, когда мы еще на эту тему могли шутить, — поэтому запах весь снаружи находится!» Есть такое.

Бесшумно, зажав курицу под мышкой, к кладовке пошел. Поглядев пристально в глаза Льву Толстому, приподнял его. Эх, Лев Миколаич! «Маленькая» в тебе стоит! «Зачем люди одурманивают себя?» Нет окончательного ответа. Пойти с этой «маленькой» к ней? Подержав, опустил Толстого. Пусть хотя бы обед нормально пройдет. Хочется ведь немного счастья — или покоя, на худой конец.

Когда она на кухню пришла, я уже озабоченно

куру вилкою тыкал в кипящей воде.

— Ч-черт! — с досадою произнес. — Никак не варится курица *твоя*! Мороженую, что ли, купила?

Смутилась чуть-чуть, лишь тень сомнения промелькнула... потом проговорила доверчиво:

— А других не было, Веч!

Легко ее обмануть! Потом — радостно уже — брякала, я весело на машинке писал историю курицы, отец с дребезжаньем двигал у себя в комнате стул, видимо, то отодвигая его от стола, то снова придвигая, садясь и продолжая свой неустанный труд.

Звонкий голосок Нонны с кухни донесся:

— Иди-ти! Все гэ!

Вот она, долгожданная идиллия! Заглянул к отцу, в его маленькую комнатку с атмосферой тяжелого труда:

— Пойдем обедать.

Согнувшись над бумагами, мрачно кивнул, но больше движений не последовало. Ну, идиллию же надо поддержать, хлипкую! Неужели не понять?? Донеслось наконец дребезжание стула, когда я уже далеко ушел.

Он сел за стол, ни на кого не глядя. Лютует батя! Теперь, видно, настал его черед?

Сморщившись, смотрел на помидоры на та-

релке — так, будто ему положили кусок говна. Неужели не понимает, что надо веселье поддержать! Потрогал вилкой:

— ...Помидоры квашеные, что ль?

— Какие? — Нонна поднялась.

Торчащая вперед челюсть задрожала.

— Квашеные, говорю. Непонятно? — с мрачным напором повторил.

— Отец! — я вскричал.

Он мрачно отодвинул тарелку.

Конечно, помидоры эти Нонна из своих давних «загноений» достала, добольничных! Но неужели надо подчеркивать это, нельзя заглотить ради счастья семейного? «Объективная истина» — ею кичится? Главное — отношения между людьми. Без каких-либо установок заранее! Конкретно, как оно сложится каждый раз. Нет! Замшелые его принципы ему важней. «Не каждый факт надо констатировать!» — сколько раз ему говорил. Но его не сдвинешь. Курицу ковырял. Отодвинул.

— Что, отец? — произнес я.

— Жесткая, — холодно отвечал.

Ну и что, что жесткая? Трудно ему сгрызть? Вон зубов у него сколько еще — больше, чем у нас с Нонной вместях! Неужто не понимает, что это экспериментальный обед, *первый* после больни-

цы! Не важно это?

— Спасибо, — чопорно поклонился, встал.

Пошел из-за стола, холодно пукнув. Обычно с задушевной трелью выходил.

Нонна, блеснув слезою, глянула на меня. Я лихо ей подмигнул, сгреб помидоры со всех тарелок на свою (она, несмотря на всю ее душевную чуткость, тоже их не ела, боясь, видимо, отравиться). Ел только я, торопливо чавкая, весело ей подмигивая. Проглотим все! Сладостно закатив глазки, провел ладошкой по пищеводу. Красота! Нонна смеялась. Вот и хорошо! Теперь возьмемся за птеродактиля.

— Слушай! Ты ешь?

— Ай эм! — ответила бодро.

От помидор отрыжка, конечно. Но, надеюсь, не умру. А если и умру, то с чистой совестью. Совсем хорошо.

Улыбались друг другу. И тут отец свесил лучезарный свой кумпол на кухню. Смотрел, прикрыв ладонью глаза, как Илья Муромец. Высмотрел наконец!

— Нонна, — сипло произнес.

— Что? — произнесла она холодно.

Но оттенки чувств не волнуют его.

— Хочу сегодня купаться!

Именно сегодня надо ему?!

— ...Хорошо. Я все приготовлю! — проговорила Нонна, дрожа.

— Послушайте! — через полчаса орал я. — Вы с Нонной составляете идеальную пару: она сует тебе рваные носки, ты кричишь, что их не наденешь. При этом оба даже не смотрите на носки целые, что я вам сую! Вам так больше нравится? А мне нет! У меня есть тоже... самолюбие. Я ухожу.

Недалеко ушел.

Нонна стояла у кровати в темноте. Окно напротив, наоборот, сияло. Экран пока что был пуст. Но — скоро наполнится, можно не сомневаться. Что пойдет нынче? Мультик? Или «мыльная опера» опять? Я, конечно, освежил там видеоряд. Но понравится ли?

Нонна неподвижно глядела туда. Что ей там сбрендится?

— ...Спать хочу! — прерывисто зевнув, вымолвила она.

Не успев опомниться, я заметил: дрожащими руками стелю ей постель! Вдруг что-то не то там увидит. Боюсь я за свой видеоряд.

— Конечно... я тоже лягу! — лепетал я.

Глубокий, освежающий сон! Лучший доктор. Времени, правда, полшестого всего. Легли... Толь-

ко вечный сон может нас успокоить!

Лежа, смотрел на то окно... скоро заработает? Я, правда, там приватизировал бред. Но будет ли лучше от этого? Сомневаюсь. Волнений, во всяком случае, больше. Впервые в сочинении своем не уверен... В соавторстве с нею не могу сочинять!

Чуть задремал и сразу увидел волшебный сон — когда ты так же лежишь и то же видишь, но в другом времени. И в другой жизни. То окно — чистое, отливающее небесной голубизной, обвитое гирляндой оранжевых колокольчиков. Сквозь сон почувствовал, как горячие счастливые слезы полились. Наполовину проснулся. Да-а. Были когда-то цветочки. Теперь — ягодки.

Вдруг резко телефон зазвонил. Я вскочил с колотящимся сердцем. Кто звонит среди ночи? Какая еще беда? Одной мало? На часы глянул — шесть часов. У людей — вечер. Это только у нас — ночь.

— Алло! — тем не менее бодро произнес.

Голосом могу управлять. А по голосу, как по веревке, глядишь, выберемся.

— Привет, — Кузин голосок. — Ну что? Блаженствуете?

— В каком смысле?

— Ну — Нонка-то выписалась.

— А-а. Да.

Видно, немножко по-разному оцениваем мы с ним эту идиллию.

— Ну как... подлечили ее?

Не долечили. И — не долечат. Не до-ле-чивается она!

И тут же это и подтвердилось: Нонна, зевнув, вдруг вскинула свои тощие ножки, встала на них и, глянув на меня как на пустое место, по коридору пошла. Льва Толстого проведать? Заскучал, поди, старик. Есть в нем одна маленькая тайна — но, к сожалению, выпитая почти до дна. Слышал озабоченное ее пыхтенье: гиганта мысли нелегко поднимать. Изумленная тишина, потом — стук. Поставила классика на место. Не оправдал классик ее надежд.

— Значит, все в порядке у вас? — Голос Кузи в трубке прорезался, мне померещилось, через тысячу лет. — Тогда не хочешь ли прокатиться опять?

Волна счастья окатила меня: улететь из этого ада! Да еще небось по важному делу — какой-то очередной проект спасения человечества! Но волна тут же схлынула, разделилась: половина души ликовала еще, а половина — торкалась в тесной кладовке: как там лахудра моя?

— Ты помнишь, наверное: мы шведам отдали лицензию на переработку сучьев.

Как не помнить! Душу порвали. Выходит — не до конца?

— Та-ак, — произнес выжидательно. Одно ухо было здесь, другое — в кладовке.

— Ну, они хотят что-то типа буклета выпустить. А у тебя, вспомнил я, какое-то эссе было о сучьях?

Было! «Сучья в больнице». «Больничные сучья». Кузя, друг!

— На Готланд приглашают они тебя!

Ну тут душа уже на три части разорвалась.

— А Боб? Участвует? — выговорил я.

— Твой Боб!.. — проговорил Кузя презрительно.

«Твой Боб»! Во-первых, Кузя сам мне его дал, просил в Африке «уравновесить» его. А во-вторых, как же так можно обращаться с людьми? Боб изобрел все, наладил!.. А все презрительно упоминают о нем!

Тут душа моя окончательно лопнула. Надо с Кузей обаятельно говорить, а левое ухо тем временем слышало, как Нонна уже настойчиво в дверь скребет, дергает замок, пытается выйти. Походы мы знаем ее!

Сразу на двух фронтах невозможно страдать.

Пострадаем на этом.

— Можно подумать чуток? — произнес я вальяжно. — Заманчиво, скажем... но я тут что-то пишу.

— Ну ты заелся, гляжу! — Кузя уважительно хохотнул. — Ну, думай! — перезвоню.

Да, я заелся. Говна.

— Ну, хоп! — бодро я произнес.

— Чао.

Не говори «хоп», пока не перескочишь! Да, я заелся! Метнулся к двери. Еле успел: она уже одолела замок, ветхое ее рубище сквозняком развевалось.

— Погоди. Ты куда это?

Глянула яростно: кто тут еще путается?

— Выйти надо, — проговорила отрывисто.

Поглядел на сумку ее: чем-то нагружена. Если в последний путь надумала, то многовато берет.

— Дай денег мне! — произнесла надменно.

— Для чего это?

— Ну... сигареты купить!

— «Ну сигареты» вот у тебя, — вытащил из кармана ее пальто почти полную пачку.

— Ну... еще кое-что! — нетерпеливо сказала она.

— Чтобы... Льва Толстого наполнить внутрен-

ним содержанием?! — заорал. Бедный Толстой! Достается ему от нас после смерти. — Хватит уже! Все! — Сорвал пальтишко с нее, бегал по коридору, в кладовку швырнул его. — Все! Хватит! Ты поняла? Хватит! Больше мучиться с тобой не могу я, второй раз мне Бехтеревку не поднять! Поняла?

Враждебно молчала. Ну, если оно так — закрыл дверь на большой ключ, сунул его себе в шальвары. Дубликат она вряд ли найдет.

— Все! — закрылся в уборной.

Последнее место, где не достанут меня. Задвижка — лучшее изобретение человечества. Но! Только приготовился к блаженству — входная дверь жахнула. Открыла все-таки? Ну и пусть. Человек все сам выбирает. Я — тут остаюсь.

Но недолго длилось блаженство. Через секунду уже с ужасом глядел, как медленно, но властно повернулась ручка. И тут покоя мне нет. К сожалению, это не привидение. Привидение я бы расцеловал. Привидение, несомненно бы, оказалось самым милым членом нашей семьи. Но привидения, я понимаю, не пукают. А тут донеслась знакомая задушевная трель. Неужели же батя понять не хочет, что если за рабочим столом меня нет, спальню на ходу он видел, наверняка,

кухню тоже, — неужели нельзя вычислить, что я в уборной? Покоя дать мне? Такие мелочи не интересуют его. Что я есть, что меня нет — не так важно. Посмотрим, что запоют без меня. С этой величественной мыслью я открыл.

— Послушай, отец! Неужели ты не понимаешь, что я тут?

В уборной я! Навсегда!

— Откуда мне знать? — ответил величественно.

А по дороге не поинтересовался — где его сын?

— Заходи, — я махнул рукой, скорбно удалился.

Выгнали о. Сергия из его обители! Да и какой я отец Сергий? Где обитель мне взять, чтобы покой обрести? Нет обители. Да и отец Сергий, что поразило меня, когда я наконец удосужился до конца прочитать это произведение, и не герой вовсе, и не святой, а так. Толстой не так глуп оказался, чтобы позера этого ставить святым. Глубже оказался! Святая у него — бедная родственница отца Сергия, которая вовсе не удаляется из этого ада, а живет в нем, стараясь сделать хоть что-то. Часто уступает грехам, лжет. Высокие принципы только в пустыне хороши, а тут... тут по-всякому приходится. Святая — она! А не о. Сергий. Не я.

Впрочем, у меня еще есть шанс в бедную родственницу превратиться! Так что... сломанный пальчик свой, которым ты так гордился, засунь лучше... в ноздрю себе и никому не показывай. Надо Толстого лучше помнить, а не пальцы ломать. Молчи. И терпи. И делай, что можешь. Как бедная родственница.

А вот и Нонна уже! Надменно прошла, булькая карманом, не глядя на меня, бедного родственника. Сумку, приметил я, забирала с собой, а та в объеме уменьшилась. Что-то сбыла? Неужели бюст нашего классика — главное прикрытие свое?

Когда шаги ее стихли — наконец заглянуть туда смог. Классик, слава богу, на месте. Стоит. Видимо, уже весь наполненный внутренним содержанием. На Толстого рука ее не поднялась. Пригляделся около... На меня рука ее поднялась! Книжки, за всю жизнь мной написанные, вымела с полки. Меня пропила!.. Интересное наблюдение: порой кажется, что страдание уже до предела дошло, некуда дальше!.. Ан есть. Увидел, глаза повыше подняв, что и Настины книги, переводы с английского, тоже продала! Настю ей не прощу! Сколько трудов это дочке стоило, сколько страданий! Пропила!

Кинулся к ней, затормошил. Что-то забормотала. По спальне привольно разлился «аромат степу».

— Что ты творишь, а? — тряс ее, тряс.

Душу бы вытряс, если бы она в ней оставалась еще!

— Что надо? — наконец разлепился один глаз, холодный и властный.

— Душу твою хочу забрать! Душу! Вот только нет ее у тебя!

Заплакал. Сел на диван.

— В чем дело? — надменно поинтересовалась она.

— Что ж ты, сука?! — утираясь, плакал я. — Наши с Настей книжки пропила? Ты что же, не понимаешь — это последнее, что есть у нас!

Вместо раскаяния — улыбка зазмеилась:

— Ошибаешься, Венчик! Твое как раз не взяли они. Сказали — такого говна им не надо! Посмотри, — кивнула торжествующе.

Поднял сумку ее, валявшуюся в пыли. Точно! По тяжести уже чувствовал — не врет. Честная! Мое тут. Лишь Настины книги продала. Но радоваться ли этому? Нет. Злоба отчаянием сменилась. И это хорошо. Злоба неконструктивна. Помню, когда решил из больницы ее забрать, обнялись,

счастливые, и сказал ты себе: ради этого момента можно все претерпеть!.. Претерпел?.. Но еще не все.

— Ну... убедился? — гордо произнесла.

Этого не претерпел.

— Что ты со мной сделала? — завопил. — Я ж для тебя жизнь свою сжег!

Заметил, что при этом тычу забинтованным пальчиком в дырку от зуба... Почетные раны мои. Но как я их получил конкретно, ей, думаю, не надо говорить. Моральный мой вес на нее не действует. Ей вообще ничего не надо говорить!

Наскреб денег по сусекам, рванул в «Букинист». Он уже закрывался, но я пролез. Выкупил Настины книги. Пришел. Кладовку открыл. Книги на полку расставил — Настины, а заодно и мои. На Толстого глянул. Вот так, Лев Миколаич! Мы тоже что-то могем!.. Теперь надо идти мириться.

Но она не желает, видите ли! Презрением встретила меня. Чтоб как-то хоть успокоиться, хлебнул чаю, что перед нею в чашке стоял, — и задохнулся! «Чай»! Водка наполовину! В больничке этому научилась? Не зря я столько денег заплатил!

— Продала ты за водку нас! — прохрипел я. — Неужели ничего лучше водки нет?!

— Что может быть лучше водки? — усмех-

нулась. — ...Лучше водки может быть только смерть!

— Тогда пей! — Я выплеснул чашку ей в лицо.

Не отводя от меня ледяного взгляда, она медленно обтерла рукой щеки и потом звонко расцеловала каждый пальчик. Зазвонил телефон. Боб! Работодатель. Рабовладелец.

— Ну? Чего делаем?

Трудно как-то сформулировать. Я молчал.

— Бабки нужны тебе? — не дождавшись энтузиазма, он надавил.

Мне — нет!.. А ради этой суки я не собираюсь говно топтать!

— Нужны. Но ты же видел. Боб! Своего говна мне хватает! Не до тебя!

— Ну смотри, — с угрозою произнес, трубкой брякнул.

И под пулю она меня подведет, даже просто.

Звонок. Видимо, уточнение — когда киллера ждать.

— Ну? Надумал?

Кузя! Я рад.

— Еду! — сразу сказал.

— Пр-равильно! — Кузя воскликнул.

Хоть один есть у меня друг!

— Как я приеду? — Настя сказала. — У меня ж в

компьютере все!

— Ну так тащи сюда компьютер!

— Нет!

— Ну как хотите! — трубку повесил.

Я тоже что-то могу хотеть — например, жизнь свою спасти.

...Досви — Швеция!

Глава 16

С маленькой котомкой из дома ушел. Свобода! Стоял на ледяном углу, поджидая Кузю.

Кузя, друг! Все друзья мои, шестидесятилетние шестидесятники, ездят на ржавых тачках эпохи зрелого социализма, все были тогда кандидатами-лауреатами. За светлое будущее боролись. Напоролись!

Тормознув, Кузя скрипучую дверку открыл, и я нырнул в уютную вонь: аромат бензина, промасленной ветоши. Хоть боремся с ним за чистоту атмосферы, не жалея сил, добираться к высокой цели приходится, вдыхая бензин... Что, несомненно, усиливает нашу решимость покончить с этим злом.

— Этот губернатор *ваш*, — Кузя усмехнулся, — весь город перекопал, к юбилею готовясь, ни пройти ни проехать!

Глянул на него. Эх ты, седая борода! Все неймется? Дух у нас такой.

— Ничего, найдем на него управу! — он боевито сказал.

Я робко поежился. Круто берет! Сразу видать — свободного общества представитель. Глядишь,

и я на свободу вырвусь через него!

Кузя, голован, среди нас самый успешный, международное сообщество консультирует — куда нас, грешных, девать.

И помогает! Куда б я без него сейчас делся? В запой? Но у нас в семье есть уже один пьющий член — этого достаточно. А я благодаря Кузе вхожу в мудрую международную жизнь.

Затряслись по набережной Фонтанки. Трехсотлетие города близится — а нормальных дорог нет! Это уже моя собственная смелая мысль.

А если уж я такой смелый, надо еще одну важную вещь сказать.

— Слышь, — Кузю спросил, — а чего вы Боба-то совсем отбрили? Он, можно сказать, всю душу в эти сучья вложил!

— У твоего Боба, — Кузя со скрипом переводил рычаги, явно перенося свою дорожную злость на нашего друга, — со вкусом не все о'кей. И с репутацией — тоже.

— А что такое?

Человека вообще-то легко закопать!

— Ведь это ты, по-моему, его породил? В Африку сунул. Помнишь, еще просил меня «уравновесить» его? — я напомнил.

— Я его породил!.. — мы ухнули в яму, — ...я его

и убью! — Мы кое-как вылезли из ямы на асфальт. — В Швеции советую тебе о нем не вспоминать. Скомпрометируешь идею.

Ни фига себе! «Сучья» — это же его идея была. И теперь — он же ее компрометирует? Ловкий поворот! Вспомнил, как мы с Бобом бились в Москве. Правда, целую лестницу телами врагов я не усеял, как он, но зуба своего, помню, лишился — языком нащупал остренькую дыру. Мне таперича, выходит, платят, чтоб закопать Боба, моего друга, навсегда? Выйти, что ли? Проходняками тут до дома недалеко. Прийти, снова шею подставить: душите меня? Ни вперед, ни назад. Уж вперед все-таки лучше. На шведском острове погощу, хоть простора немножко вдыхну. «Третье дыхание» уже пошло, прерывистое, — без кислорода нельзя.

— А чем Боб так уж отличился? — все же спросил,

— А ты не знаешь? В глазах международного сообщества он труп — и в политическом, и в этическом.

Сразу в двух смыслах труп — это даже для Боба много.

— Хорошо, что не в физическом! — вырвалось у меня.

— На что ты намекаешь? — Кузя вспылил. — Мы подобными делами не занимаемся!

Ну ясно. И других дел хватает. Мы уже выруливали на шоссе к аэропорту. Среди мелькающих придорожных реклам («шоколад»... «виски») вставал время от времени большой плакат с Кузиным портретом. Тревожно взъерошенный, с растрепанной бородой, он стоял у сожженного леса и вопрошал всех: «Доколе?» Я опустил стыдливо глаза: словно и ко мне относится этот упрек. Ну ясно: в связи с выборами ему поручено природу охранять. А двоих на плакат не поместишь. Вдруг мы с Кузей вздрогнули: на одном плакате рядом с «Доколе?» было подписано: «До ... и больше». Кто-то, видимо, из машины вылезти не поленился! Да, трудно с таким электоратом работать.

— Боб твой, если хочешь знать... — заворчал Кузя, словно Боб эту приписку сделал, — сам себя закопал, в этическом плане... Вагон просроченной виагры толкнул! В глазах международного сообщества это — смерть.

Я похолодел. Знает, что и я в этом деле замешан? Держит на крючке? Кто виагру-то сторожил — зная, что просроченная она? Я. И не возразишь. Тем более — он мои командировочные мне еще не выдал. Но я все же сказал:

— Так за полцены он виагру-то продал! Кто брал — тот, наверное, понимал?

Кузя пристально посмотрел на меня: мол, тоже хочешь стать этическим трупом? Это мы враз. Может, с виагрой инцидент еще не взволновал мировое сообщество — но может взволновать.

— Эту просроченную виагру нам в порядке гуманитарной помощи прислали. — Кузя почему-то даже голос понизил. — А Боб — толкнул ее! Так что о нем — забудь!

А то, как мы с Бобом его печку в Москву таранили, — и это забыть? Хотя бы печку его взяли! Он и то бы, наверное, доволен был!

Но... некогда, как всегда: въезжаем уже на пандус аэропорта. Вышли. Кузя дал мне маленько валюты, чтоб я там по возможности развязно себя держал. Остальное, говорит, шведы доплатят, если я как следует сучья воспою.

— В Стокгольме тебя встретит Элен! — Кузя с явной завистью произнес.

— Как я ее узнаю? — я небрежно спросил.

— Она тебя откуда-то знает, — Кузя проворчал.

Интересно, интересно. Ну что? Я уже представлял себе длинный салон международного авиалайнера скандинавской компании САС с нежно-желтыми, если верить рекламе, подголов-

никами на креслах и того же цвета жилетками на стройных стюардессах. Сажусь, потягиваюсь, скидываю ботинки, сладострастно шевелю пальцами в носках. Свобода!

Однако Кузя пихнул меня в узкую боковую дверь, мы выбрались на какой-то внутренний двор, заваленный техническим хламом, Кузя подмигнул мятому субъекту в кожаной летчицкой куртке. Впрочем, что за летчики летают сейчас в таких куртках? Какой у них может быть самолет?

— Ну... пошли. — Летчик как-то неодобрительно оглядел меня.

Я пошел за ним, потом оглянулся: с Кузей, наверное, надо как-то проститься? Кузя, привстав на цыпочки, посылал мне вслед крестные знамения... Хорошее напутствие!

Дальше, видимо, надо разбираться самому.

— Что за борт? — деловито спросил я у летчика.

Мы деловито пробирались через какие-то складские помещения.

— Чартер, — процедил он.

Ну ясно. По чартеру и примус полетит! Через маленькую дверку мы вылезли на поле. Огромные лайнеры, к ним подъезжают роскошные

заправщики, тянут хоботы... Забудь. Это не для тебя. В углу — крохотный грязный самолетик, вместо нормального заправщика к нему тянет кишку какая-то ржавая бочка на колесиках. Реакция летчика тоже меня удивила.

— Видал? — стянув летчицкий шлем, он кивнул туда. — Чем заправляют, суки! Вся нефтяная мафия мира против нас!

Но, наверное, надо как-то активней протестовать? Я огляделся. Перед кем? Ты спастись так хотел — но, оказывается, тут другим больше пахнет... Тоже хорошо. Летчик в кабину полез. Далеко ль улетим? Может, у него жизнь не сложилась — поэтому все это устраивает его? Ну а у кого больше жизнь не сложилась, чем у тебя? Полезай! Тебе красиво делают — а ты упираешься еще, как Жихарка перед печкой! Давай. Погибнешь героем. Кузя заботится о тебе: прошлый раз в Африку послал, в мусульманские страны, — вскоре после арабской диверсии в Нью-Йорке, теперь — против нефтяной мафии всего мира запустил. Поднимает тебя, над бытом, на недосягаемую прежде высоту!

Салон весь завален промасленной ветошью. Впрочем, кто сказал тебе, что это салон?

Пилот, выглянув из кабины, обнадежил:

— Точно. Заправили говном.

Оно вроде бы топливо будущего — так мы с Бобом недавно мечтали. Но до будущего не долетим.

— Как волка загнали... — прохрипел летчик.

Он тут, значит, тоже не просто так.

Помчались, подскакивая, потом подскакивания резко кончились: оторвались. Вот оно, счастье полета! Полный отрыв от земных бед!

Замирает душа: унылые дома окраин как белые куски рафинада стоят. Потом вдруг залив, сверкающий на солнце, встал на дыбы!

Куда ты забрался? Надоела, что ли, жизнь?.. Да! Надоела! Настолько, что совсем не страшно!

И вот — зазмеились фиорды. Чувствуется — не наши уже: у нас нету таких — тем более так много сразу! И тут пилот, выглянув, обрадовал:

— Сильный лобовой ветер — больше часа на месте стоим!

— И что?

— Ничего! — проорал он. — Топливо кончилось! Заправили, называется! На ветер ни капли не добавили. Падать будем — в смысле планировать. Держись!

И я держался, прижатый к креслу. Какие-то коробки по салону летали. Думаю, что как раз они,

а не я — главный груз. Порой, все силы собрав, приподнимался... Все тот же фиорд! Во, мафия! Даже упасть не дает! Но мы добились своего: все же падали понемногу. В наклоне — земля. Полосатый «чулок» на мачте... О! Самолетики! Правильно падаем. Стукнулись. Покатились, подскакивая. Встали. Пилот из кабины выглянул, стянул шлем:

— ...Нет уж! Таких друзей — за... и в музей!

Меня он имел в виду — или кого-то другого? Не знал. Тем не менее я гордость испытывал. «Нет добросовестней этого Попова!» — Марья Сергеевна еще в первом классе сказала. Прилетел!

Сполз с трапа. Какой-то стеклянный павильон, небольшой. И — ровное поле. А где же Стокгольм? Стены павильона разъехались. Вошел. Действительно — Швеция. Строго-приветливый персонал. Как я сразу смекнул — с ними нашими приключениями не надо делиться: не поймут. У них это ненормальным считается. Но все равно — я полу-Чкаловым себя чувствовал, вразвалку вышел к встречающим... А вот и Элен!

Какие-то рощи сплошные, редкие хутора. Элен через Швецию меня везла. Действительно — знал когда-то ее. Девочка из Бокситогорска приехала в Ленинград, с мечтой о Скандинавии. Учеба

— тогда я ее и знал, — роман с преподавателем, неудачный брак. Развод. Работа в Интуристе. И вот — печальный итог. Баронесса.

Жилистый, загорелый девяностолетний барон в приспущенных грязных штанах бегал с корявым колом по участку, гоняя пугливых ланей, объедающих саженцы. При этом он внятно ругался по-русски. (Неужто в мою честь?)

— Главные мои враги — это лани и бабы! — с легким акцентом сказал мне он, очевидно, не имея в виду присутствующую тут же супругу?

Потом мы с Элен плыли на пароме на остров.

И началась как бы новая жизнь.

Раннее утро. Велосипедный звонок. Выглядываю: большая русая голова Элен, ноги в клетчатых брюках на педалях. Велосипед, мне предназначенный, рядом сиял. И — во время долгих велопрогулок по острову — Элен дополняла картину своей жизни. Главное место тут, конечно, занимал портрет барона.

Чудовищно скуп. За время их отношений ни одной вещи ей не купил: ходит она в том же, в чем познакомилась с ним.

Из баб (их, оказывается, все же признает) любит только своих скотниц. И — не только своих.

Начисто лишен баронской спеси. Обожает

нажираться в деревенских кабаках. Роскошь презирает.

...что видно и по дому его: не менялся почти со времен прапрапрадеда, тоже презирающего роскошь.

Впрочем, у шведов это в крови. Помню, по пути из аэропорта, под проливным дождем, сотни шведов, дождя как бы не замечая, не покрывая голов, шпарили в скользкую гору на велосипедах... презирая роскошь! Дома их так столетия и стоят, поражая скромностью. В наших пригородах такие сносят. Кстати, и здесь, на Готланде, чем глубже домик из черных от времени бревен врос в землю — тем лучше. Уважаю! Хоть и понимаю Элен: жизнь до встречи с бароном она тоже в скромности прожила, но привыкла этим не гордиться.

Теперь еще баронесса у меня на руках!

Министерство энергетики, в котором она состоит переводчицей, перекинули из Стокгольма в маленький городок. Шведский социализм требует заботиться о маленьких городках. Правда, из него взяли в штат одну только уборщицу — остальные все крутят педали, выезжая из дома раньше на два часа. И — ни единого стона при этом!

Нет уж: всю Швецию я ей исправить не могу! Могу только выслушать... Но, увы, роман из жизни баронов не собираюсь писать! Но что-то в Швеции позаимствую, надеюсь: феноменальный их стоицизм — и, надеюсь, чудовищную скупость. Попробую все же, домой вернувшись, хоть какой-то выдать жизненный подъем. Иногда мы подъезжали с Элен к универсаму, но внутрь я не заходил. Запас из России ел: колбаска, быстрорастворимая лапша. На почту с ней заходил. Элен, купив таксофонную карту, барону звонила. Судя по ее мимике за стеклом, говорила только она. Барон, видимо, разговоры тоже роскошью считал. Я смотрел на витрину с телефонными картами: купить, что ли, горя крон на пятьдесят?.. Да нет. Не стоит. Скоро даром получу.

Иногда, затосковав в номере, выходил один. Бродил в узких улицах средневекового крохотного Висбю, столицы острова Готланд. Стены оставались чужими, не узнавали меня.

Наконец-то я нашел на земле место, где не нужен абсолютно никому!

Выходил за крепостную стену к морю. У стены, на скользком камне, всегда одна уточка стояла, на одной тоненькой лапке, другую лапку поджав. Чем-то она меня волновала!.. Вспомнил — чем!

Однажды жена вернулась домой с работы, рыдая: посылали их институт убирать картошку под снегом, как это принято у нас. Заснула, отрыдав. Я заглянул в холодильник. Захохотал. Уже и курочку в дорогу купила. Такую же тощенькую, как она, с такими же жалкими лапками!.. Умела ими за душу взять!.. «Быстрокрылой зегзицею» прилетела сюда?

И в ресторан, и в кафе, и даже на общую нашу кухню, где хохот, смешение языков, трубочный дым, ходить стеснялся. В номере ел. Пищу в пакетике за окном держал, прижав рамой. Однажды ночью налетел шторм. Дом наш трясся от ветра! Утром глянул: пакетика на подоконнике нет! Оторвало. Унесло. Распахнул окно, выглянул наружу. И увидал — на газоне, прижатый штормовым мусором, мой пакетик лежал! Кинулся вниз, ухватил пакетик, стал жадно есть... И — застыл. Увидел, что сквозь широкое окно нашей кухни писатели всего мира с изумлением смотрят на меня: что это? Русский прозаик мусор ест? Я стал на пакет показывать, подняв его в левой руке, правой стучал себя по груди: мол, это все мое, нажитое! «Унесенные ветром» харчи.

«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»... то... «меж людей ничтожных мира,

быть может, всех ничтожней он».

Все! Хватит! Аполлон требует! Пошел в старинный магазин с деревянными прилавками, ручку купил. Принес ее в номер, к бумаге прижал... пошли буквы: «Ну что, сука? Не ожидала, что по-русски будешь писать?»

Заглянула Элен:

— Про сучья пишешь?

— А то!

Ручка наконец расписалась. А не хотела сперва!

...Сучья как следует я разглядел только в больнице, лежа у высокого сводчатого окна. Серые, с зеленым налетом тополиные ветки с острыми розовыми почками, набухшими, как женские соски, стучали в пыльные стекла. Жадно в них вглядывался: может, последний с воли привет? С тоской ждал операции грыжи, фамильной нашей болезни, выведшей нас, по преданию, в интеллигенты (перестали таскать тяжести, стали грамоту знать). Отец часто это вспоминал. Операция повторная, сложная. Первый раз по слабоволию своему разрешил попрактиковаться студенту — и вот результат. Но мягкость, уступчивость — это, наверное, хорошо? Для интеллигента-то? Зато второй раз, говорят, будет резать профессор:

хотя обычно они грыжу не режут, но у меня там сложности, спайки какие-то... Разберется профессор-то!

И на сучья смотрел. Какую-то надежду они вселяли в меня, распуская почки. Так взглядом впивался в них... что даже белые точки запомнил на коре, следы птичьих посиделок.

И только зазеленели ветки — пильщики появились. Это слегка головокружительно было — люди за окном, на высоте четвертого этажа, оседлали ветки. И зажужжали пилы. Огромные сучья, падая, царапали стекла, словно пытаясь удержаться за них. Соскальзывали — и исчезали. И вот остались лишь ровные обрезки внизу окна и серое небо. Все! Кончилась жизнь. Не за что больше держаться.

Я лежал на операционном столе. Перед лицом моим повесили белую занавесочку, чтоб я не видел, как там шуруют во мне, под местным наркозом. Только вбок можно было смотреть, в огромное окно. Но — совершенно пустое. Что-то там профессора удивило во мне. Тревожные переговоры. Окно расплывалось.

— Эй! Как вы там? — крикнул профессор за занавеской, но очень издалека, как мне показалось.

— ...Эй, — тихо отозвался я, уплывая.

И вдруг я увидел, что по окну снизу вверх летит что-то белое. Померещилось? Но — сознание вернулось, я внимательно глядел в окно, ожидая от него хоть чего-нибудь, хоть какого-то знака. И — какие-то кружева поднимаются, все ощутимей, все уверенней, веселей! Дым! Кто-то жжет костер во дворе. Сигналит кому-то? Господи, обрадовался я. Да это же мои сучья, сгорая, шлют мне привет. Отчаянно дымят — чтобы я о них помнил, а потом рассказал!

— Эй! Что там у вас? — бодро крикнул я сквозь занавеску...

Дописав, стал стучаться к Элен.

— Что случилось? — испугалась она.

Оказалось, была глубокая ночь.

Утром прочла, сказала, что постарается перевести и передаст энергетикам — для включения в буклет, посвященный сучьям. Гонорар выдала — пятьсот крон! — и улетела к барону. Покинула меня местная муза!

Но дело-то сделано. Я бутылку купил и гордо уже на кухню явился, как равный. Чокнулись, со звонким шведским восклицанием: «Сколь!»

Литовский поэт, с могучей бородой, по-русски спросил — почему я раньше не приходил?

— Работал, — скромно ответил я.

Теперь ездил на велосипеде один. Передохнуть остановился на высокой горе. Море голубым куполом поднималось. И, вдыхая свежесть и простор, на самом краю в полотняном кресле старик сидел. Сзади дом его стоял — старый, но крепкий. Вот это — старость. Вот это — третье дыхание!

Осторожно вниз заглянул. В прозрачной, золотой от солнца воде лебеди плавали. Иногда опускали в воду головки, щипали травку на круглых камнях. Выпрямляли гордые шеи свои и казались рассерженными, поскольку возле клювов у них воинственные зеленые усики заворачивались.

Поглядел вдаль, на готический Висбю, с башенками, петушками-флюгерами. Вдохнул пространство. Зажмурясь, постоял. И почувствовал как бы кровью: все! Отдохнул! Можно возвращаться.

Уточку навестил. Она так же на камешке стояла, на тоненькой ножке одной, какая-то еще более тощенькая и растрепанная, чем всегда, — единственное близкое мне существо на всем острове, И увидел вдруг — или мне это почудилось — белое облачко возле головки поднялось. Что это в правой поднятой лапке у нее? Никак — курит? Разнервничалась небось после шторма, бедненькая моя? Ничего — покури, подумай:

всегда ли ты правильно ведешь себя?

В аэропорту ждал я свой летающий гробик, и в это время мимо прошествовал экипаж — ослепительные стюардессы в оранжевых жилетках, статные, элегантные летчики. С ними полететь? Билеты на этот рейс знаменитой компании CAC есть еще. Заработал я покоя себе чуть-чуть?

Не заработал!

Какой покой! На обратном пути, когда мы падали уже на родную страну, даже линолеум на полу вспучился от дикой вибрации. Какой покой?

Наконец грохнулись. Поскакали. Остановились. Прилетел!

Глава 17

Выбрался через кордоны в зал прилета и увидел, что кто-то машет мне... Кузя! Друг!

Выехали на шоссе. Вот и вернулся я. С некоторой грустью смотрел вперед, вдоль строя облысевших деревьев... Унылая пора. Очей разочарованье.

Кроме всего еще одна неприятность встретила нас. Когда мы давеча ехали в аэропорт, перед очами то и дело плакаты Кузи мелькали, со встрепанной бородой и скорбным взглядом: «Доколе?» А теперь, когда ехали, на обратной стороне тех же щитов — плакаты Боба, Кузиного врага, — не только на предстоящих выборах, но и вообще. «Взрастил гада!» — это явственно в Кузином взгляде читалось. Прилизанный Боб в расшитой косоворотке стоял, за ним юные амазонки гарцевали верхом. Надпись: «Будущее России». Неужели — оно? И толково так сделано было: плакаты Кузи мелькали перед глазами тех, кто улетал. А если, мол, ты в Россию возвращаешься — значит, Боб.

— Всадницы Апокалипсиса! — стонал Кузя. — Твой Боб конно-спортивный центр им открыл. Весь город засрали уже!

— Но, говорят, — произнес я несколько отстраненно, — он вроде собирается из навоза кизяки делать. Печки топить... При повышении тарифов... для бедных людей...

— Из всего деньги делает! — Кузя сказал злобно.

Не помирить их. Хотя обоих люблю. Но меня сейчас другое глодало.

И наконец, не выдержав (мы уже среди каменных громад мчались), Кузю спросил:

— Ко мне ты не заходил случайно?

И замер.

Кузя не отвечал — видно, сердится на меня из-за Боба... но не могу я так — человека забыть!

— ...Заходил, — после долгой паузы Кузя буркнул.

— Ну... и как там? — вскользь поинтересовался я.

— Фифти-фифти, — сухо Кузя сказал. Потом вдруг заулыбался: — Она что у тебя — в бюсте Толстого шкалики прячет?

— Заметил?! — Я тоже обрадовался почему-то, хотя вроде особо нечему тут радоваться.

К дому подъехали.

— Ну... звони, — сказал Кузя миролюбиво.

«На ее почве» помирились. На что-то, оказыва-

ется, годится она.

Кузя умчался, а я тупо стоял. Вдохнул. Выдохнул. На витрину смотрел. «Мир кожи и меха». «Мир рожи и смеха»! Не зайти туда уже никогда? Нет нас уже на свете? Как молодежь говорит — «отстой»? На витрине шинель шикарная, в которую я все «войти» мечтал, как Акакий Акакиевич, — под руку с пышной дубленкой шла. Иногда я Нонне показывал: «Вот это мы с тобой идем!» — «В прошлом?» — усмехалась она. «Нет. В будущем!» — говорил я. Вошел! Валюту в кармане нащупал. Вот так. Все равно деньги Толстому достанутся. А так — с какой-то радостью к ней войду!

Вышел с дублом в пакете. Оглянулся на витрину. Шинель там осиротела моя... Ну ничего. Главное — как в жизни, а не как на витрине!

Поднялся по лестнице. Отпер дверь, жадно втянул запах... Как в пепельнице! Курит, значит?.. Но это, наверно, хорошо? Закрыл, брякнув, дверь. Тишина.

— Венчик! — вдруг раздался радостный крик.

Ставя ножки носками в стороны, прибежала, уточка моя! Боднула головкой в грудь. Обнялись. Потом подняла счастливые глазки.

— Венчик! Наконец-то! Где ж ты так долго был?

Я глядел на нее: плачет. И сияет. Вот оно, счастье, — не было такого ни после Парижа, ни после Африки! «Заслужил?» — мелькнуло робкое предположение. Впрочем, причина счастья скоро открылась: Настя вышла.

— Привет, отец!

— О! И ты здесь! — воскликнул я радостно.

Настя усмехнулась: а где же ей в такой ситуации еще быть?

— Дорогие вы мои! — обхватил их за плечи, стукнул шутливо лбами. Причем Настя, поскольку на голову выше была, торопливо пригнулась.

— К сожалению, я не сразу приехала, — выпрямляясь, сказала Настя. — По телефону она вроде нормально разговаривала.

— А... так? — спросил я.

Настя, вздохнув, махнула рукой.

— Что ты, Настя, несешь? Мы же договаривались! — Нонна, блеснув слезой, попыталась вырваться из-под моей руки.

— Ну все теперь нормально, нормально! — Я поволок их вместе на кухню, хотя каждая уже, злясь на другую, пыталась вырваться. Однако доволок. — Ну? Чайку?

Глядели в разные стороны. Чаек, боюсь, придется делать мне самому. Причем — из их слез:

вон как обильно потекли у обеих. Хотя Настя, закидывая голову, пытается их удержать. Видимо, отдала все силы матери, больше не осталось. Ну что же, пора приступать. Никакого чуда без тебя, ясное дело, не произошло. Чудо надо делать. Так что — считай себя отлично отдохнувшим и полным сил.

— О! Так у меня подарок для тебя! — Я встряхнул Нонну.

— Да? — шмыгнув носом, проговорила она. — А какой, Веч?

Я гордо внес дубленку в мешке.

— О! — сказал я и начал вынимать ее, вытащил только рукав, как Настя отчаянно замотала ладонью: нельзя!

Поглядев на нее, я медленно запихнул рукав обратно... Нельзя? Видимо, Настя имеет в виду, что в новой дубленке та сразу умчится, а потом ее не найдешь? А я-то хотел!.. Не подумал? Кинуть в сундук? Я так и сделал. И пускай! Нонна, кстати, между тем тоже мало проявила интереса к предмету: глянула на пакет вскользь и равнодушно отвернулась.

Всегда я так: лечу радостно — и мордой об столб!

Отряхнемся. И начнем веселье сначала.

— Ну что тут у нас? — лихо распахнул холодильник.

Лучше бы я этого не делал. Пахнуло гнильцой. «Ты, Нонна, гений гниений!» — шутил я, когда мог еще об этом шутить. «Ну ты, Веча, мне льстишь!» — отвечала она весело, пока могла еще веселиться.

— Ну, так... Значит, в магазин мне идти, ждранькать готовить вам? — проговорила Нонна зловеще.

Настя за ее спиной замахала рукой: ни в коем случае!

— Ну, давай я схожу! — произнес я оживленно.

— Нет уж, не надо одолжений таких! — злобно проговорила она и закрылась в уборной.

Мы с Настей переглянулись в отчаянии: неужто все наши усилия напрасны?

— Ты пойми, — губы у Насти дрожали, — одну я не могу оставить ее: дед никакого внимания не обращает. А с ней идти — убегает, потом лови ее!

— Спасибо тебе! — подержал ее за плечо.

В коридоре стало шарканье нарастать. Отец приближается. Вошел. Любой напряженный момент под его цепким взглядом из-за кустистых бровей в десять раз напряженней становится. Мог бы что-то сделать тут, пока не было меня, как-то

посодействовать порядку! Никакого внимания! Весь в высоких мыслях погряз! В реальность с кислой миной выходит.

— Привет, отец! — произнес я бодро.

Как-то он не прореагировал на мой приезд. Значимости этот факт не обрел.

Он посмотрел на пустой стол. Повернулся. Мол, нечего зря время терять!

— Погоди, отец, — положил ему на плечо ладошку. — Сейчас мы сварганим что-нибудь.

Кивнул криво. Глаз не поднимал. О господи. Неужели теперь его проблемы пойдут? Одни еще не решил — хватают другие? Ну а как? Так что лучше тебе считать отлично отдохнувшим себя, полным здоровья и сил. Так и условимся.

— Сейчас какой месяц? — наконец сипло он произнес.

— Ноябрь. А ты не помнишь, что ли? — я несколько раздраженно спросил.

Боюсь, что сил и здоровья у меня не так много, как хотелось бы.

— Это какой месяц считается? Зимний? — произнес он.

Решил покуражиться? Всю жизнь высчитывал сроки сева с точностью до дня и не знает — какой зимний месяц, какой осенний?

— А что? — сдерживаясь, спросил: его долгие паузы невозможно терпеть!

— Да надо бы в сберкассу сходить, разобраться там, — произнес упрямо. — ...Вдвое пенсию урезали у меня!

Господи. Опять он за свое! Удачно вернулся я. Словно не уезжал.

— Ну мы же ездили с тобой в собес — разве не помнишь? Ты просто одну строчку в сберкнижке рассмотрел — а пенсия твоя в две строчки печатается почему-то. Суммируются они!

Не реагирует. Его не собьешь. Если упрется — хоть трактором тяни!

— ...помнишь, еще Надя, аспирантка твоя, по новой все бумаги твои собирала. А оказалось — зря. Пенсия у тебя и так напечатана нормальная... только в две строки!

Мне бы такую пенсию.

Молчит!

— Эта Надя! — проговорил наконец. — Очки навесила, а не видит ничего!

— Это ты ничего не видишь! — я наконец сорвался. — Верней — и не хочешь видеть! Чтобы всем нервы пилить!

Он усмехнулся торжествующе.

— Книжку принеси! — я рухнул на табуретку.

«Опять двадцать пять!»

Ушел. Долго не было его.

— Это он специально делает, чтобы брюзжать! — проговорила Нонна дрожащим голосом.

Раздавит он нас?

Медленно шаркая, он возвратился.

— На! Гляди! — гневно свою сберкнижку передо мной распахнул.

— Ну вот — смотри, — произнес я почти спокойно (в гневе не разберемся). — Две строки. Но в один день записаны. В одной строке записано — тысяча пятьсот, а в другой — тысяча пятьсот тридцать два. Больше трех тысяч пенсия у тебя! Понял? Нет?

Долго глядел, потом молча, так ошибки и не признав, сунул книжку в карман рубахи — мол, раз так, нечего тут больше обсуждать. Пустяк. Но от пустяков этих можно с ума сойти!

— Надюшка эта... напутает вечно! — он упрямо пробормотал.

— Да ты ей спасибо должен сказать...

Ну ладно... Устал я. Напрасно надеялся на передышку. С какой стати? Передышка теперь только будет... известно где. Так что — дыши!

— Так, может, сходим тогда в кассу? — отец произнес.

Я снова взял у него книжку, пролистнул. Два года не берет деньги — с тех пор, как переехал сюда. «Непрактичный» якобы!

— Ну пошли.

А куда денешься? Это не просто повторяется все. Это я все утаптываю, постепенно.

— Только у меня, — он вдруг отчаянно сморщился, — просьба к тебе.

А в сберкассу сходить — это не просьба? Пустяк? Вторая, видно, покрепче будет?

— ...Ну говори же! Время идет.

С каким-то даже задором глянул на меня. Сюрприз?

— ...Давай лучше в мою комнату пойдем, — таинственно произнес.

Это обнадеживает.

— Ну... вы пока тут... — сделал неопределенный жест девушкам, побрел за отцом.

Сели в его комнате. Он стул придвинул. Шепнул, дыханием обдав:

— У меня дело к тебе.

— Слушаю. — Я отодвинулся слегка.

В совсем интимные его тайны не хотелось бы входить... но куда денешься?

Снова придвинулся он с виноватой улыбкой:

— Понимаешь, не могу уже никак ногти на

ногах постричь. И так и этак пытался!.. Постриги, я прошу тебя... Сам понимаешь — кроме тебя, мне обратиться не к кому.

— ...Сделаем! — я бодро ответил. — Давай. Значит, так... — Я задумчиво прижал палец к носу. — Сейчас таз принесу.

— Зачем таз-то? — он мрачно удивился, густые брови взметнул.

Ясное дело, есть у него своя теория и на то, как ногти на ногах стричь. Но теории его не всегда к практике подходят.

— Таз, — я сказал, — это для того... чтобы ногти твои разлетались не шибко.

Он хмуро кивнул. Мол, дожил! Даже ногти твои стригут не по твоей теории!

Я загремел в ванной тазом. Ножницы взял. Девочки дружно дымили на кухне, недоуменно глянули на меня. Я, держа таз в левой руке, как щит, ножницы к губам приложил: знать о предстоящем таинстве им ни к чему. Внес к нему таз, бросил звонко:

— Ну давай. Разувайся.

Это еще ничего. Это еще, может быть, только начало предстоящих нам испытаний! Главное — впереди. Вздохнув, он слегка стыдливо стянул носки. После чего, взяв себя в руки, в глаза мне

твердо смотрел. Мол, нам стыдиться нечего. Честная жизнь.

Это только я тут немножко вздрогнул. Вот это да! Вот это открытие! Грибок. Точно как у меня. Ногти белые, непрозрачные, крошатся, усыпая носки. И к тому ж — впиваются, врастают в мясо, не подобраться к краям. А я-то считал, что где-то подцепил, в аморальном общении. Надеялся — излечимое. А вон оно что! Поднял на него очи. Он невозмутимо глядел.

— Вот это да! — произнес я.

— Что именно? — поинтересовался он.

Отличный сюрприз он мне подготовил! Не зря я так рвался домой!

— Ну... грибок у тебя. Точно как у меня! А ты говоришь, что наследственность — не главное! Пишешь тут! — Я кивнул на стол его, заваленный бумагою.

— Наследственность ни при чем тут! — он упрямо проскрипел. — Оба заразились где-то!

Мол, отец за сына не ответчик! Сам тогда и стриги! Измучил меня своим упрямством! На нем и ехал всю жизнь. И если чего добился, то упрямством своим.

— Ну давай, — мстительно проговорил я, щелкнув ножницами. — Ноги в таз клади.

Огромные расхоженные лапы. Твердые. По земле находил, намозолил, набил.

— Вот так вот поверни! Та-ак!

Я хищно впился ножницами в крайний ноготь.

— Ой-ой-ой! — сморщившись, завопил он.

Что такое? Зачем расстраиваться так? Если это заболевание случайное — так скоро пройдет. Чего ж так расстраиваться-то?

На следующий ноготь наехал.

— Ой-ой-ой! — он еще громче завопил.

Трогательная картина: отец отвечает за сына. Ну а куда ж нам деться друг от друга. Еще и грыжа у нас!

Та-ак. Под ногтями остриженными кровь пошла. Картина мне знакомая. Оказывается — и не только мне! Выдернул таз из-под ног его, подложил газету.

— Что ты делаешь?! — отец завопил.

Ничего. Придется по моей теории пока пожить — на долгие научные споры времени нет.

Пошел снова в ванную (девушек поприветствовав на ходу), в таз теплой воды набуровил, принес отцу.

— Клади ноги в воду.

— Нет!

Под пытками не ломается!

— Клади, говорю.

Нет! Пришлось мне каждую его ногу брать руками, класть в таз. Он обиженно в сторону смотрел — мол, бессилен, но не согласен!

Зазмеились кровавые ленточки. Омыл раны. Почти библейская сцена: омовение ног. Залепил раны пластырем. Пошел вылил в унитаз воду с кровью, спустил. Поставил таз на место... Теперь лишь такая у нас жизнь.

И только хотел я расслабиться чуток... Кряхтя и согнувшись, отец вошел.

— Пошли, — прохрипел батя.

— К-куда? — Я даже поперхнулся.

— В сберкассу! Ты ж предлагал! — он произнес почти гневно.

Я?.. Ну конечно! Только вот как Нонну оставить? Такая роскошная возможность ныне отпала. Взять с собой? Напоминает мне это все головоломку про волка, козу и капусту, которых надо через реку перевезти. Главное — Нонну не оставить с Львом Толстым тет-а-тет!

— У тебя какие планы? — вскользь у Насти спросил.

— Жду звонка Вадика — и уезжаю! — бодро ответила она.

Козу, значит, надо брать с собой!

— Может, прогуляемся? — легкомысленно жене предложил.

Глянула уже враждебно. Мол, что ж это за каторга опять? А кто эту каторгу устроил? Я?

— Не пожалеешь! — лихо ей подмигнул.

Боюсь, неправильно меня поняла. Но наедине с Толстым ее никак нельзя оставлять!

— Ну... — Насте сказал, — если уже не застанем тебя... Счастливо. Спасибо тебе.

Звонко расцеловались.

Более сложную прогулку трудно вообразить. Отец медленно идет, назидательно! С постриженными ногтями мог бы и быстрее идти. Нонна нетерпеливо убегала вперед, возвращалась, рассыпая искры от сигареты на ветру. Сейчас, нервничал я, искра в рукав залетит, и сгорит ее ветхое пальтишко. Был такой случай в школе у меня, когда я курить учился, пытаясь слиться с массами. Не научился. Зато она дымит за двоих. Так и летят искры. Не хватает еще ей обгорелой ходить. И так выглядит почти бомжихой... А «праздник дубленки» не скоро придет. Если вообще когда-то придет. По настроению — не похоже.

Подбежала, вся на нерве уже, щечки надувая, потом шумно выдыхая:

— Веча! Я пойду, а? Я больше так не могу, в таком темпе! Неужели мы тоже когда-то будем так же ходить?!

Обязательно. Если, конечно, доживем.

— Зачем тебе? — устало ее спросил.

— Мне надо срочно купить... кое-что.

— Что тебе надо купить?

— ...Сигареты!

— Сигарета у тебя в зубах.

Вынула, с некоторым удивлением осмотрела:

— Последняя, Веч! Я пойду? — рванулась.

— Нет!

Забегала кругами. Отец медленно шел, основательно, весело поглядывая из-под кустистых бровей.

— Здесь давай пойдем. — Я свел его с тротуара на проезжую часть. Каменные плиты тротуара перестилаются уже третий раз. Деньги, выделенные на трехсотлетие Петербурга, «осваивают»! А люди по мостовой прутся. Нормально. Главное — история. Для истории и людей не жалко. Батя обычно на эту тему ворчал: «Наворотили ч-черте что! Вся Дворцовая площадь раскопана!» — «А зачем ты прешься туда?» Но в этот раз глаза его почему-то весело поблескивали: видно, очередное открытие сделал, сейчас обнародует. Прям

не дождусь!

Часть дороги была отделена для прохожих какими-то плоскими металлическими баллонами вроде батарей отопления. «Специально, что ли, где-то выломали?» — подумал я. Отец медленно подошел к одному, покачал могучей своей лапищей, удовлетворенно кивнул. Нонна отчаянный взгляд на меня кинула: так мы никогда не дойдем!

— Что, отец? — спросил я заботливо.

— Запасные топливные баки от трактора, — он уверенно произнес.

— Какие тут тракторные баки, отец? — сказал я с отчаянием. — Это Невский проспект!

Он кивал своим мыслям, не слыша меня. С его «открытиями» мы точно никогда не дойдем! Не оторвать его теперь от этого. Если только опровергнуть! Я кинулся к тому баллону... Действительно — сверху какая-то отвинчивающаяся крышка. Победа! — отец торжествующе глянул на меня. Счастлив? И ладно! Пусть хоть повсюду будут его «боевые друзья трактора»!

Усмехаясь, отец медленно двинулся дальше. Нонна металась туда-сюда, как «раскидай» на резиночке. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Да и трактор еще. Но для меня

это — запросто!

— Я пойду, Веч?

— Погоди. Сейчас мы деньги получим! — подмигнул ей. Но вряд ли «мы» — это она.

В сберкассу вошли — под башней Думы, недавно обгоревшей от восстановительных лесов.

Отец входил медленно, раскорячась, тяжко вздыхая. «Изображает немощь, — думал я злобно, — чтоб у меня больше было проблем!»

Войдя, он огляделся, дико сморщась, словно я его на помойку привел! А между тем — вокруг мрамор, кожаные диваны, никелированные рамы окошек. Разве такие раньше сберкассы были? Да и народ уже весь аккуратный, нормально одетый. Меняется жизнь! Подвел за оттопыренный локоть к окошку его,

— Вот сюда тебе, — взял листок. — Сколько выписать?

Поглядел на меня, еще больше сморщась:

— Я сам!

Растопырясь, всех отодвигая от окошка, долго писал, от нас спиной прикрывая тайну вклада своего. Жалуется, что видит плохо, — но это, видимо, на второй план отошло.

Другая проблема у меня теперь на первый план вышла. Нонна, по залу мечась, нервно закурила

новую сигарету. К ней величественный охранник подошел, вежливо попросил удалиться. Что она — минуты без сигареты не может?!

— Ладно... выйдем, — взял за локоть теперь ее, вывел на воздух.

Постоим тут: пусть отец тайной своего вклада неторопливо насладится.

— Я не могу так, Веч, — на цепи жить, — вся дрожала.

— Но пойми: я тоже разорваться не могу: лучше за вас вместе волноваться, чем в отдельности.

— А ты не волнуйся, Веча!

— Как?

— Я немножко побегаю — и приду.

— Какая ты придешь?

Блеснули слезы.

Молча стояли с ней. Вдруг крупный снег повалил. Под таким же снегом, я вспомнил, молился я. На колени вставал. Счастлив? Что я тогда просил? Глупо просить нереального — как-то неловко перед Ним, в двадцать первом веке-то. Просил я возможного: чтобы она вернулась, была со мной. Счастлив? А чтобы жить без забот — это глупо просить. С тобой то, что ты вымолил. На фоне серого неба — светлые снежинки, сцепляются на лету, еще крупнее становятся.

Вышел отец, дико озираясь. Руку, раз за разом, за пазуху совал. Сейчас мимо кармана вложит свои сбережения! Кинулся к нему. Направил его руку с бумажником в карман: опаньки!

Оглянулся. Нонна, слава богу, не сбегла. Двинулись обратно. Отец, вперед склонившись, как пеший сокол, еле уже брел: видно, последние свои силы на сохранение тайны вклада истратил.

Остановились у перехода Казанской улицы — батя испуганно вцепился в мой локоть перед потоком машин.

— Я пойду, Веча? — Нонна произнесла. — Я обещаю, Веч!

А что Настя мне дома скажет? Все ее усилия — долой? У нее тоже нервы на пределе.

— Н-нет, — выдавил я.

Нонна быстро закинула голову — чтобы слезы удержать. Снежинки на лицо ее падали, таяли и текли.

Тут зажегся зеленый, и я ее за локоть схватил. И так, распятый между ними, через улицу их поволок.

И лишь когда прошли уже под аркой — выпустил их. Доберутся. Мне тоже надо набраться сил на этом коротком пространстве — от арки до дверей. И только подошли к железной двери

(за железной дверью спокойней уже), как оттуда вдруг соседка вышла, из верхней квартиры, — подружка ее, бывшая актриса.

— Ой, Нонночка! — расцеловались, защебетали.

Пошли дальше с отцом — душить их счастье я не хотел...

Сбежит?

Сейчас Настя мне врежет. Решил сам напасть на нее:

— Что, не звонил еще твой Вадим? Что он думает вообще?

Настя только открыла рот, чтобы рявкнуть: «Где мать?» — возмущенно поперхнулась. Характер бойцовский, отцовский. Но тут, к счастью, со двора донесся звонкий хохоток нашей общей любимицы.

— Иди посмотри, — Настя все же скомандовала.

Тем более что голосок Нонны оборвался вдруг. Убежала? Но тут — бывают же сладостные звуки — ключ зашкрябал в замке! Вошла веселая, разрумянившаяся.

И что б потом ни случилось... Был такой счастливый момент! Правда, измотала она всех ближних, но это уже пустяк.

— О, Настя! — сказала она радостно. — Ты приехала? Как я рада-то!

Батя сокрушенно головой покачал. Сочувствует? Сделал бы что-то!

Настя сурово на меня глянула: ты понял, отец? Ничего не помнит. Ни в коем случае нельзя ее отпускать!.. Характер бойцовский, отцовский: непременно ее воля соблюдаться должна!

Я подмигнул ей лихо: мол, все о'кей. Но такое легкомысленное пренебрежение разъярило ее — в глазу засветился мстительный, торжествующий огонек:

— Да, *кстати*, отец: тебе снова звонил *твой* Боб! Ты что, денег должен ему?

— Да, кажется. Никто больше не звонил? — Я пытался увести разговор в сторону.

Опять рухнет хрупкое счастье!

— Спрашивал, — продолжила Настя упрямо. — Что, у вас окна из пуленепробиваемого стекла?

Тишина повисла. И общий ужас. А ведь только что счастье было! Неужели нельзя было его поддержать? Я один должен стараться?

— Кто это — Боб? — проговорила Нонна надменно.

Королева контролирует своего дворецкого!

— Это твой скорее Боб! — ответил я в ярости.

— Из-за тебя он возник — деньги на твое лечение нужны были! Пора отдавать!

— Но я же не знала, Веч! — проговорила Нонна испуганно.

Моей ярости испугалась — или Боба? Хотелось бы, чтобы моей ярости.

— Теперь пулю жду из-за этого!

— И что ж делать, Веч?

Спохватилась!

— Работать на него заставляет! Дерьмо воспевать.

— Тебя?! — воскликнула Нонна.

— Да, представь себе. Меня. Бывшего певца тонких материй! Заставляют теперь воспевать дерьмо... Материал, наиболее трудный для воспевания. Вот так!

— Ну нет уж! — Нонна твердо губы сомкнула.

Засверкали глаза. Можно подумать — на баррикады пойдет! Или по крайней мере — на работу. Или — последняя надежда — в кладовку не пойдет.

Ничего! И это утопчем!

...Аппарат зазвонил. Настя раньше меня трубку схватила. Молодость, азарт!

— ...Ясно, — сказала. — Иду!

Поцеловала нас, умчалась. Есть в жизни сча-

стье!

Телефон вскоре опять зазвонил. Это уже счастье мое — Боб, брателло, к ответу требует — за то, что я его сучьями торгую на стороне. Ну что же, по всем делам — выстрел в упор из сицилийской двуствольной «луппары» положен мне. Но — бывают же радости!

— Страф-стфуй, Фалерий!

Кайза, финская подруга моя. Обычно она каждым летом на месяц квартиру снимала у нас, набирала тут материал для научной книги о стрессах. Но этим летом — не приехала. У нее у самой случился стресс: ее квартира сгорела. Однако звонит.

— Слу-ушай меня! Тут в Петерпург е-едет отин профессор... ты не знаешь его. Я хочу тень-ги с ним перета-ать, за арен-ту твоей кфартиры!

Вот это кстати. Обрадовался:

— Это... за будущий год?

— Я еще не знаю про пу-утушый кот. За проше-етший!

— Какой прошедший, Кайза! Ты же не жила?

— Но тем не менее я ан-ка-широ-вала ее! Ты никому ее не става-ал!

— ...Нет, Кайза! Нет.

— Ну спасипо, Фалерий!

— Целуем тебя!

Трубку повесил. И вдруг — счастье почувствовал. Оказывается, я что-то еще могу! На Нонну поглядел.

— Правильно, Венчик! — она произнесла.

Раз живы души у нас — не погибнем!.. Стала сладко зевать Нонна.

Увел ее. Глубокий, освежающий сон!

Получился, впрочем, не очень глубокий... Лежал вспоминал. Голоса слушая в нашем дворе. Какие-то странные... Может, из прошлого? Или, напротив, — из будущего? Задремал.

Снова скрип какой-то с кухни донесся. Пошел. Та-ак! Заняла позицию. Против *того* окошка стоит! *Это* она вспомнила! Нет бы хорошее, *реальное* вспомнить что-нибудь. Или хотя бы придумать что-то толковое. Нет! Дымок поднимается над ее головой. Что-то есть в ее голове, кроме дыма?

Подошел. Погладил ее по темечку. Обернулась.

— Ну чего смотришь? — я сказал. — Нет там ничего! Пусто. Тьма.

Виновато улыбнулась:

— Так это еще страшнее, Веч!

Чем-нибудь, конечно, наполним... Чем?

Слышал во сне — опять половицы заскрипели. Туда? Открыл глаза — койка пуста. На посту сто-

ит. Смотрит. Нет — не спасемся мы!

О! Вот и Анжелка появилась, рыбка моя! Голенькая, но бедра полотенцем повязаны.

Да-а. Мой бред не лучше прежнего оказался. Б. У. Бред Улучшенный? Наоборот! Бред Ухудшенный! Разучился бредить.

Анжелка пальчиком поманила.

Это конец. Интересно — что это я сочинил? Мультик? Боевик? Мелодраму? Сам не пойму. «Мыльную оперу», в ста шестнадцати сериях? Столько не потянуть!

— Тебя, кажется, там зовут? — поворачиваясь ко мне, Нонна проговорила.

— Меня? — я произнес удивленно. — А может — тебя?

— Иди! — закричала она.

Дрожащей рукой стала срывать с гвоздя декоративный узбекский нож в ножнах. Как я любил его! Долго вешал, место искал. Погибну за свой дизайн! Когда ждал ее, трусливо петельку ножен к гвоздику веревочкой привязал. Совсем убирать — не хотел. Красиво! Вот и получи. Зря только пальчик ломал. С целым бы лучше смотрелся в гробу. Анжела машет. Но хоть погибну за свой сюжет. «В связи с профессиональной деятельностью» — лучшая смерть. Но ей ее «деятельность»

дорого встанет — если зарежет меня. И тут о ней должен заботиться?

— Уйди! — дрожала она. — Очень тебя прошу! Не доводи до греха. Тебе там лучше. Иди!

Мне там замечательно. Но тянуть без конца эту «мыльную оперу» не намерен. Силы уже не те. И пальцев не напасусь. На мой грязный бинт не глянула даже! Тщетны усилия. Вытащил нож, протянул ей:

— Бей!

Отличная развязка. И «моральный вес» сохраню. Нож в тонкой ее ручонке заходил ходуном. И хочется вдарить — и что-то удерживает ее. Надо было к маменьке ее отправить!.. Но поздно уже.

— Ой!.. А кто это? — она вдруг произнесла.

А мне и самому интересно. Вторая голова! Задвигалась в том окошке, как поплавок... О! Вот он-то все и устроит! Боб.

За то, что я предал его, — пуля положена мне. Вот и ладушки! И Нонна на свободе. Некстати возликовал. А может, воспеть все-таки кизяки? Что мне стоит? Стал махать ему ручонкой: мол, погоди. Все же мой бред лучше, чем ее. Выбор есть.

— Так это ж Боб! — сказал я небрежно. — Что из больницы нас вез.

— Который убить тебя хочет? — еще сильней

затряслась.

— Ну что ж... я, пожалуй, пойду.

Хоть стекла он не разобьет — целы на зиму будут. Останется обо мне такая хрупкая память. Даже курточку не надел. Минута осталась мне? И одеваться не стоит... Момент!

— Вен-чик! — донесся отчаянный крик. Поняла?! Да поздно!

Боевик, выходит, сложился. Новый для меня жанр. Перебежал двор. Поднялся по лестнице. Предстал.

— Не понял! — развалившись в роскошном кресле, Боб произнес. — Ты как вообще ситуацию расцениваешь? Соскок?

Я молчал.

— ...Брезгуешь, значит?

Ну разве чуть-чуть. Боб за барсеткой на столе потянулся.

— Я вообще-то не против, — уныло я произнес.

Анжелка, сонно глядя в стекло, губки подкрашивала, словно все происходящее не касалось ее. Какие-то квелые отношения у них. Зато у нас в семье отношения отличные!

— Не смей, Венчик! — раздался крик, и Нонна явилась. Мою высокую репутацию лишь она, выходит, хранит?

— Отвали ты! — Боб маленькой своей ладошкой взмахнул.

— ...Я?! — проговорила она.

И не успели мы ахнуть, как ее маленький синенький кулачок в рыхлый нос Боба влепился. Кровь хлынула на его свитер. Это знакомо мне!

— Ты что? Новая вещь-то! — Боб забормотал.

Забегал по комнате, голову закинув, пытаясь нащупать что-то... соль, например. Анжелка краситься продолжала. Нонна бегала повсюду за ним, выставив челюсть и кулачки, и еще бы влепила, если б голова не была закинута его. Еле скрутил ее, оттащил. С «новым русским» разобрались. Его кровью смыл свой позор. Их напор пресловутый против нашего бешенства — ноль.

— Извини! — я Бобу сказал.

Он стоял, голову закинув, удерживая кровь. Для бегства лучший момент. Вытащил Нонну — сначала на лестницу, через двор — и домой.

— Ве-еч! Я правильно сделала? — поинтересовалась она.

— Правильно, правильно. Но, — перехватил ее руку, — свет лучше не зажигать!.. И давай ляжем-ка...

Чтоб площадь обстрела уменьшить.

— Я понимаю, Веч!

Полночи я думал, что это мы от страха дрожим. В половину четвертого усомнился в этом. К батарее подполз. Так точно! Побулькали — и отключили. Сейчас бы печь с кизяками! Размечтался. Нонна этому положила конец. Будем гордо дрожать! Впрочем... по-пластунски до кладовки дополз и, толкая перед собой электропечку, как щит, обратно вернулся. Включил. Дорого! Но как быть? Услышал, что батя за спиной тоже дырки в розетке вилкой нашаривает. Согревшись, уснули.

Глава 18

Проснулся — и сразу зажмурился: солнце свесило во двор грязную ногу. Осенью не часто выпадает такой день. Заслужил?

Встал во весь рост. А как надо? В детективе не очень уверенно чувствовал себя. Не мой жанр. Может, и не примет он меня? — спасительная мыслишка.

В ванную пошел. Отец выставил на лазурном глянце новую серию удачных плевков. Но я знал уже, как с ними бороться: наиболее цепкие ногтем подковырнул. Нормально день начинается! Так бы и шел!

На забинтованный свой пальчик, впитавший грязь разных стран, кровь ног отца, смотрел. Кровь носа моего друга, к счастью, не впитал. Доктор сказал — если оживет через месяц, значит, оживет. Моральный фактор членовредительства в борьбе с соблазном как-то поблек. Такие подвиги не нужны. Нужны пальцы. Как бедной родственнице отца Сергия. Вот та действительно святая была: ни о какой святости не помышляла, а просто — мучилась вместе со своей семьей.

Так что кого тянет к святому членовредитель-

ству — тому советую сначала Льва Толстого внимательно прочитать.

Дверь в ванную распахнулась. Нонна. Помню, ветхую ее рубашку из-под подушки брал, целовал. А теперь она сама стоит в этой рубашке!

— Ой! Ты уже здесь, Веч!

Я уже здесь! Стою, об-нов-лен-ный!

— А помнишь, Нонна, поэт-песенник Резник, ныне миллионер, стихи тебе написал: «Нонна, Нонна — ты мадонна!»

— Помню! — кивнула она.

Завтрак вместе готовили. «Все было приносим-о и съедаем-о» — любимая наша фраза из «Старосветских помещиков».

— А помнишь, Веч, — она на меня вдруг лукаво глянула, — у нас на лестнице была надпись: «Я тебе разрешаю все»?

— Ну... когда это было! — отвечал я. — До ремонта. Лет двадцать назад! Да и не я это писал.

— Точ-чно? — смотрит на меня она.

— Точ-чно! — отвечаю я. Чую легкое беспокойство. — Но теперь, я надеюсь, будешь прилежно себя вести? Годы все же.

— Нь-ня! — весело отвечает она.

О такой и мечтал?

— Ну все. — Она оглядывает стол, сдувает при-

липшие волосы со лба. — Зови!

— А давай — лучше ты позови! Как раньше!

Об этом, можно сказать, мечтал долгими осенними вечерами.

— Да не услышит он!

— Это — услышит.

— Точно! — смеется она. Набирает в грудь воздуху и тоненько вопит: — Идити-и? Все гэ!

Тишина. Не слышит? Я иду к нему. Пишет, почти упав на стол.

— Ну! Ты идешь? — спрашиваю я.

Приподнимается, смотрит.

— Ка-ныш-на! — весело произносит он.

Появляется наконец. Весело поглядывает. Но это — не из-за пищи. Наверняка, придумал что-то.

— Бодр-р-рое утр-ро! — произнес. Неплохая шутка. Усаживается. — Помню, при царе еще... — начинает неторопливо... Снова — «про кошку в лаптях»! Но сейчас, надеюсь, чуть в другой трактовке? Да и Нонна это не слышала — ей полезно услыхать.

— ...Ну, спасибо, Нонна, тебе! — Плотно позавтракав, он встает от стола.

— На здоровье! — радостно Нонна отвечает.

Рай?

— Ну... теперь прими таблетушки — и порядок! — говорю. Она послушно кивает, роняет голову на грудь. Бормоча над списком, выламывает из пластин таблетки, ссыпает в горсть и, лихо размахнувшись, закидывает в пасть. Таращит глаза якобы в ужасе... потом губы ее расплываются в умильной улыбке. Довольная, поглаживает по животику. Моет посуду. И после нее я нахожу все таблетки в раковине.

— Ну, я пойду, Веч?

— ...Погоди! Я с тобой... Хочу дубленку на тебе посмотреть.

— Какую, Веч?

Может, хотя бы дубленка нас спасет?

О! — я достал пакет. Чуть его вывернул — дубленка сама, упруго, как львица, выпрыгнула и пышно разлеглась на тахте.

— Это мне, Веч?

— Тебе, тебе! Надевай.

— Ой, а я ж гряз-ныя! Не мылыся еще!

— Ну так прими душ.

Тяжко вздохнула. Малейшее усилие может ее к отчаянию, а то и к ярости привести.

— Ну что? Убираем? — Я поднял дубло.

— Ну ладно, Веч. Я тебя слушаюсь.

Скрылась в ванной. Долго не было ее.

— Ну? Скоро ты?! — рявкнул я из прихожей, где уже полчаса, наверное, завязывал шнурки.

Щеколда щелкнула.

— Бяжу, бяжу!

На улице я забегал то спереди, то сбоку:

— Ну ровно купчиха идет!

— Я так давно не гуляла, Веч!

Приближались к местной пивной в переулке под названием «Лицей». Какие-то неприятные воспоминания корежили меня.

Швейцар с длинными фалдами (и с высшим образованием, помнится?) угодливо дверь распахнул:

— Заходите. Есть раки-с!

Вспомнил я смутно: однажды темной ночью он пьяную старуху отсюда гнал. Померещилось?

— Ой, Веч! Как здорово! Зайдем?

Молодец. Зла абсолютно не помнит. Особенно — своего.

— М-м-м... Пожалуй, нет. Несолидное заведение! — строго произнес я.

Вышли на Мойку. Зажмурились. По зеркальной воде плыли тонкие льдинки. На одной стояла пестрая уточка. Проплывая мимо нас, почесала лапкой в затылке. Мы подошли к Красному мосту, ставшему от времени Розовым. Уточка вплыла в

тень моста. Исчезла под ним.

Подъем был скользкий, покрытый льдом.

— Веч! Ну пусти меня. Я не могу на цепи. Я обещаю, Веч!

— ...Ну иди.

Мы поцеловались. Она — радостно, я — со вздохом. Перейдя реку, она остановилась, задумавшись. Ну что? Дубленка диктует иной маршрут?

Уточка выплыла из-под моста.

Толстой хмуро меня встретил. Что я натворил! Видела бы Настя! Сколько она старалась! А я? Все зря? За что боролись мы долгими зимними вечерами? Бюст за уши взял, приподнял слегка. Опустил в отчаянии: шкалик, с жидкостью чуть на донышке, стоит в нем! Вздохнув, взял Толстого, на мой рабочий стол перенес. Пусть тут нам в душу глядит.

Вдруг батя порадовал, выглянув из комнаты:

— Тебе мужик один звонил. Боб. В рабстве, что ль, у него?

Ключ зашаркал в замке — я весь превратился в большое ухо. Вкрадчиво заскрипела дверь... легкие шаги. Спешит к Толстому припасть? Я тихо захихикал. Оттуда тоже донесся неуверенный смешок.

Потом — робко открыла мою дверь. Толстого увидела.

— ...Умный, ч-черт! — восхищенно прошептала.

Надеюсь, это относится частично и ко мне?

Вошла решительно:

— Ну ладно, Веч! Давай по-честному.

— Ну давай.

— Я же обещала. Вот, — торжественно вытащила из кошелки бутылку. — Пиво. Одно. Можно, Веч?

Я поднял бюст:

— Став сюды.

— Вы, Нонна, красавица и чудовище в одном лице.

— Я все сделаю, Веч!

— Что ты сделаешь?

— Все!

Глядели друг на друга.

— Ты... хотя бы под моим столом вымела. А то — упали очки за стол... и вот — даже не разбились, такая пыль!

— ...Но это же хорошо, Веч?

— Ну что ты наделала?

— Что?!

— Что это?

— Это? Котлеты!

— Это мурло какое-то! Все разваливается!

Слезами блеснув, метнулась с кухни. Счастье-то строй!

— Стой! — за руку ее ухватил. — Давай... будем с тобой считать... что это макароны по-флотски. С фаршем.

В слезах ее усмешка блеснула:

— Но без макарон!

— Точно! — я сказал.

Засмеялись.

— Только вот, — снова помрачнела, — как твой отец к этому отнесется?

— Ничего! Бывают макароны по-флотски не только без макарон... но даже без флота!

Засмеялись. На сколько еще хватит слов?

Вечером квартира озарилась снова — но отраженным солнцем от стекол напротив.

— Да в шестьдесят я Волгу переплывал! — кричал батя.

Я тоже что-нибудь переплыву. А пока мы показали нашу совместную мощь — уничтожили макароны по-флотски без макарон.

— ...Чай? — сдержанно Нонна произнесла.

Ну отец! Видит же, что Нонна в полном изне-

можении... во всяком случае — изображает его. И тем не менее он твердо произносит:

— Да.

Потом я сидел за рабочим столом, наблюдая, как гаснут стекла, и заодно слушал стенания Нонны, доносящиеся из спальни. Но это она уже так — демонстрирует невыносимость своего бытия, при этом конкретно не делая ни хрена! А ты из этого строки гонишь? А из чего их еще гнать? Третье дыхание. Потом Нонна, устав стонать, приходит ко мне, берет меня за руку, виновато улыбаясь:

— А давай к отцу твоему сходим?.. Скучаить ить?

Ночью я думал: хороший был день!.. Но выдержу ли еще такой?

Выдержу! Завтракая, на то окно жадно поглядывал: где ж Боб? Хотелось бы с ним схлестнуться, набить карманы деньгами. Уже сценарий рисовался: фекальное шествие! Чумой мелкого предпринимательства я, видать, крепко схвачен. Где же Боб? Среди ложных ценностей тоже попадаются очень неплохие. Дело-то наверняка международное, может, уже получено валютное «да»? Но где же он? Видимо, я представляю для

него большую опасность, чем он для меня? Звонок. Вот и он, долгожданный!

— Хелло! — сиплый его голосок.

— Хелло. Ты, кажется, интересовался, Боб, пуленепробиваемые ли у нас стекла? Так вот — простые они! — Поначалу на жалость решил надавить.

— А что — стекла тебе? — прохрипел Боб. — Вы и так мне всю морду раскровянили — от визажиста звоню. Как там кошка твоя? Мне бы такую!

Ну, это погорячился он.

— Ну что с кизяками? — я на более мягкую тему перевел. — Есть идеи.

— Во-во! — Боб обрадовался. — Честно скажу — я уж и двигатель на кизяках кумекаю.

— Пердолет?

— Умеешь ты сформулировать! — Боб захохотал. — Ценю!

Во сколько, интересно? Но если надо, воспою — хотя предмет это непростой для воспевания.

— Сняли кирасирский манеж, — Боб поведал. — Знаешь это где? Тонну набрали уже. Чистим город. Месим, топчем. Ими и отапливаемся уже... Так бабки нужны тебе?

— Да есть маленько пока.

— Так не придешь, значит, коли с бабками-то?

— ...Ну почему же? Приду.

— Но ты — с душой? Честно? — разволновался он.

— Конечно! — воскликнул я.

Я все делаю с душой. Тем более — дело родное. Семья наша с кизяков начинала свое восхождение. Правда, дед мой начинал с них, а я ими закончу. Замкну круг собой.

Отец разговор мой внимательно слушал, усмехаясь из-под бровей.

— В рабстве, что ль, у него? — снова поинтересовался.

— Примерно да, — я ответил.

Он кивнул. Ушел, удовлетворенный. Через некоторое время снова пришел — чем-то еще более довольный.

— Я тут «Иосифа и его братьев» читаю. Как он из рабства выходил. Чего надо-то от тебя, чтоб освободили?

— Видимо, мою жизнь, — я ответил.

Отец пренебрежительно рукою махнул (мол, это что ж за богатство?), вытащил свой заштопанный кошель, усмехаясь, вынул купюру:

— На вот тебе.

Красная цена!

— Спасибо, батя. Но не надо пока, — отвел его

дар.

— А то бери. Помнишь, как в «Фаусте»? Маргарита отдала все драгоценности, полученные от Фауста, монахам — и те были очень довольны.

Без ехидства не может он!

Снова звонок. Уточнения какие?

— Хелло... О, здрасьте, здрасьте! — прикрыл ладонью трубку, отцу шепнул: — Это Надя, аспирантка твоя.

Он сразу азартно дернулся:

— Дай!

Все сразу ему «дай»! Отвел его руку, шепотом заговорил:

— Спасибо скажи ей.

— Это за что ж это?! — воскликнул. — Она все напутала только! — Снова к трубке рванулся.

— Да постой ты! — Как мог, я удерживал его, целое сражение у нас возле трубки развернулось. — Ты одну только строчку в сберкнижке разглядел вместо двух, а она все твои пенсионные бумаги по новой сделала! Понял, нет? — Я прижал его к стенке: — Поблагодари ее.

— ...Понял, — неохотно он произнес. Я отпустил его, протянул ему трубку. — ...Алло! — просипел он. — ...Надя? Ну здравствуй, мила моя! Спасибо тебе! Как хорошо-то ты все сделала — пенсия у ме-

ня почти вдвое возросла! Ну спасибо тебе! Пока.

Мы посидели с ним молча, потом он поднялся, потрепал мне плечо и ушел к себе.

Снова звонок! Кузя. Не забывают друзья!

— Слышал? — сразу взял быка за рога. — Возле Испании танкер развалился с нашим мазутом. Однокорпусный — тонкий, как яйцо. Такие же, кстати, и по Неве ходят и скоро в Приморск будут заходить.

Я мягко эту тему отвел:

— Сочувствую. Но, Кузя, извини, своего хватает.

— А ты, что ли, думаешь, я слепой? — вдруг и Кузя разволновался. — ...Хочешь знать, я с того только и начал тебя воспринимать, когда увидал, как ты к отцу и Нонке относишься!

Без этого я пустышка, выходит?

— Поэтому и помогаем, как можем, И посылаем, когда получается.

— Спасибо тебе.

Пора со двора. К Нонне в спальню зашел:

— Все! Вставай и убирайся.

— Из дома?

Вспомнила нашу старую шутку!

— Нет. В доме!

Пошел. Отец с золотой банкой меня провожал.

Через наш угол пробегая, на витрину посмотрел. Шинель моя там одна скучает. А могла ведь мои плечи утеплять. Впрочем, в витрине она благородней глядится.

Подошел к ней поближе — и обомлел. Уценка на пятьдесят процентов! Уценили подвиг мой. Впрочем, он больше и не стоит.

Потом я топтал в манеже навоз — не испытывая, кстати, никаких мучений. Все равно все утопчу — в золото. В крайнем случае — в медь.

КОМАР ЖИВЕТ ПОКА ПОЕТ

1

— Так что, готовьтесь к последней неприятности! — сказал врач.

— Надеюсь, в моей жизни? — вяло пошутил я.

— Нет. В его! — просто сказал он.

— Да? А мы собирались на дачу его везти.

— Никаких противопоказаний. Постарайтесь только, чтобы это прошло без дополнительных потрясений.

— Но там Вас не будет!

— Ну, будет другой врач... который скажет Вам то же самое. Готовьтесь!

— И как я должен готовиться?

— Ну, в основном — морально... ну и материально, конечно.

— Лекарства?

— Ну — лекарства тоже вреда не принесут. Но главное — представьте себе, что бы ему хотелось... под конец жизни. Вы знаете, что сейчас для него самое важное?

— О да!

— Надеюсь, он нас не слышит?

— Он вообще плохо слышит! А особенно — через стены!

— Сочувствую Вам. И желаю присутствия духа. Терпения. И как говорили в старину — милосердия.

— Спасибо.

Он нас не слышал — но зато мы его слышали! Уже довольно длительное время из его комнаты доносился какой-то периодический душераздирающий треск, природу которого я никак не мог понять

— Что это он у Вас там разбушевался?

— Хотите посмотреть?

— Нет. Мне пора. Это уже Ваше.

— Спасибо.

Проводив доктора, я пошел к отцу.

— С-с-сволочь! — донеслось оттуда. Это он так разговаривает с непослушными вещами. Да-а-а! Вот уж не ожидал! Вытащил с полки на стол тяжеленный кубометр клейких пахучих дерматиновых папок, спрессованных собственной тяжестью, и теперь с треском их разделял — дипломы, почетные грамоты, поздравления — слипшаяся его жизнь.

— Это не берем, что ль?

— Ну... тут, я думаю, будет сохраннее.

— В утиль, что ли, сдать? — усмехнулся он мрачно.

— Не лютуй, отец! Вот эту же совсем недавно тебе принесли — от губернатора.

— Эту всем принесли.

— Ну остальное-то — не всем!

— Нету сил выкинуть. А ты не хочешь мне помочь!

— Тут я тебе не помощник!

Хотел сказать: в твоих закидонах — но не сказал.

— Тебе надо науку твою дописывать, — бодро сказал я.

— ...Я тут сделал, чего ты просил, — он протянул потертую папку с растрепанными шнурками. — Что я помню, конечно.

Его жизнь.

— Спасибо.

Со двора донеслись гудки. Кузя! Я сунул папку отца в свою сумку. Вперед!

...Как мне нравится наша квартира! Особенно, когда нас там нет. Как раз сейчас всю ее залило солнцем. Вздохнул, взвалил на спину узлы, и шелестя ими по стенам, спустился. Нонна как раз вела под ручку отца — он шаркал ногами очень медленно. Отвык выходить. Его могучий лысый купол свесился и раскачивался. Да! Пока свежий воздух не слишком хорошо действует на него!

Впрочем — какой тут воздух — один угар! Кузя, выскочив из машины, с удивлением смотрел. Год назад, в прошлый переезд, батя иначе выглядел. Сразу раскритиковал Кузин автомобиль. Теперь — не совсем, мне кажется, даже понимает, что происходит! Подавляя ненужные эмоции, я протиснулся с узлами вперед, крякнув, взвалил их на крышу авто, на ржавый багажник. Автомобиль жалобно заскрипел, скособочился. Кузя застонал, вскинув руки. Ничего! Сейчас батей уравновесим! Задвинул его. Автомобиль выпрямился.

— Веревку лови! — скомандовал Кузе. Не дать, главное, ему опомниться.

С Нонной залезли на заднее сиденье.

— Вперед!

Кузя, испуганно озираясь, выруливал со двора. Кругом кишел малый и средний бизнес — ящики, коробки, фургоны. А когда-то был красивейший двор!

— Батю своего придерживай! Падает! — процедил Кузя сквозь зубы. И это представитель одного из прогрессивных течений нашей политики! Где же сострадание к ближним?

— Слушаюсь! — откликнулся я. Излучать уверенность во всех направлениях — моя обязанность. Мне бы кто уверенности одолжил! Я

вытянул из джинсов ремень, закинул бате на грудь, пристегнул к сиденью.

— Как-то ты жестко, — пробормотал Кузя. Вот оно, сострадание.

— Рули!

Мы выехали на шикарный Невский, слегка подпортив пейзаж. Ничего! Перебьются! Перелетели Неву. Отец вдруг вышел из глубокой задумчивости, повернулся и произнес, стеснительно улыбаясь:

— Слушай... надо бы вернуться.

— Что забыли?! — рявкнул я.

— Всемирную Историю! — совсем уже стеснительно произнес он.

— Двадцать восемь томов? — воскликнул я.

Кузя в ужасе чуть не съехал в реку. Двадцать восемь томов расплющили бы его коробочку! Отец писал капитальный труд — «Историю селекции с древнейших времен» и «Всемирная История» ему, конечно, была нужна... но возвращаться — плохая примета. Тем более, я и не собирался эту «Историю» брать.

— Пря-ма! — я Кузе сказал, а отцу ласково объяснил — Отдыхать едем.

2

Отдых начался своеобразно. У Разлива шоссе ремонтировалось. Мы телепались по узкой объездной дороге в облаке дыма и пыли. Вначале отец вроде бы поперхнулся, закашлялся, потом стал хрипеть.

— Сворачивай!

— Куда?

— В улицы давай!

Боюсь, что Кузя в последний раз меня перевозит.

Я видел в зеркале, что глаза отца вылезли, обычное ласковое, насмешливое выражение исчезло, появилась какая-то муть.

— В больницу рули! Вот сюда налево.

Пятнистый охранник — уже и в больницах зачем-то охранники! — сначала нас даже не пускал, отмахивался. Потом, пригнувшись, увидел отца и взмахнул шлагбаумом.

Просто райский сад какой-то, а не больница! Вот здесь и отдохнем.

У приемного покоя я схватил каталку, пустил ее по пандусу. Взгромоздил на нее отца. Колесики встали поперек. Пришлось нагибаться, поправ-

лять. Въехали. Глаза отца закрыты, распахнут рот. Кадык его прыгнул: сглотнул. Нагретая солнцем большая комната.

— С чем пожаловали? — бодро встретил нас лысый доктор.

— Вот... отец.

— Да, да... И что вы хотите?

— Но он, по моему...

Врач потрогал его шею.

— Жив! — сообщил он.

— И... что?

— Все! А что Вы хотите? Сколько ему?

— ...Девяносто четыре.

— Прекрасно! Но что вы хотите от нас? Мы можем только восхищение свое выразить. Он у вас Богатырь!

— Так не хотите... Богатыря?

— Не! — весело воскликнул тот. — Вы куда, вообще, направлялись с ним?

— ...На дачу.

— Прекрасно!

— А больница?

— ...Скажите — мы раньше с вами не виделись? — вдруг произнес он.

— Да какое это имеет значение?! — вспылил я.

Доктор вздохнул: приятной беседы не полу-

чалось.

— ...Он что принимает у вас?

Я достал из отцовских шаровар упаковку, показал.

— М-м-м. Это, пожалуй, слишком сильно — по половинке лучше.

Веки отца дрогнули. Услышал что-то?

— Богатырь! — снова восхищенно воскликнул доктор. Это счастье в приемном покое уже начинало меня утомлять. Уборщица, что терла пол мокрой тряпкой, внесла ясность.

— За восемьдесят лет они не берут, — запрещают им. Раньше в Зеленогорске хоть принимали — а теперь закрыли и там.

Богатырей старше восьмидесяти не берут. А хилых — тем более!

— Вот и глазки открыли! — умилился эскулап. Отец внимательно смотрел на него, словно изучая. Потом, словно чем-то удовлетворенный, закрыл глаза. Наш хозяин, видимо, перепугался: как бы не навеки закрыл.

— Так что — давайте его в машинку вернем, — улыбнулся он виновато. Все-таки, наверное, такой врач лучше, чем никакой? Слабое утешение. Главное, что и мне никак не содрать сладкой улыбки. С таким радостным хамством бороться

трудней.

— Валерий... — просипел батя.

— Что, отец ?

— ...едем домой.

И тут еще бузит! В приемном покое!

— На дачу, отец.

— Ну — я вижу, у вас еще есть, о чем поспорить, — заспешил доктор, — Очень было приятно, поверьте. И запомните: уже можно по половинке! — как большую радость, напомнил он.

— ...Вы гений, — на прощание сказал ему я.

Так. Одно важное дело сделали: с медициной покончили. Отца заносило на поворотах, но, как только что нам было указано — это лишь наши проблемы!

— Стоп.

Я вылез из машины, не разгибаясь, отпахнул низкие ворота, которые тут же завалились набок... ну совсем как батя! Мы въехали, остановились. Вот это тишина!

Впрочем, не все так уж глухо в этом замшелом царстве — «будка Ахматовой», в которой нам предстоит жить, как и многим предыдущим жильцам, выделяется среди прочих домов своей свежестью — был ремонт. В прошлый год совсем уже догнивала будка, разваливалась — и вдруг!

Пошел я в унынии на местное кладбище, пообщаться с друзьями, которые там.

Раньше я с грустью думал, что и сам лягу рядом, но — изменились времена — теперь там кладут людей совсем иного рода — так что для личной грусти нет повода, да и возможности: это раньше можно было позволить себе такую роскошь. У могилы Ахматовой вдруг увидел знакомого, но не сразу узнал... Припухлость как бы навсегда обиженных губ... неповторимый темнооливковый цвет кожи... Дима Бобышев! Один из четырех знаменитых «ахматовских сирот». С ним был румяный человек в очечках. Александр Петрович Жуков. Тоже знакомый с тех лет — как многие геологи, сочинял стихи. «Как дела?» «Как у всех» — ответил тот. Дима почему-то мрачно усмехнулся — впрочем, такая улыбка у него с ранней молодости была. Подъехали. Выпили. Да-а-а, будка не в лучшем виде предстала!

— Пожалуй, надо бы ее починить! — вздохнул Жуков. И починил! Оказался, замечу вскользь, директором международной геологической фирмы. Прислал осенью лихих плотников — и вот! Как новенькая! Как при Ахматовой была! Ухватил батю под мышки, вынул, поставил.

— Смотри, отец!

Но он смотреть не пожелал. А точнее — не смог. Сияющий «кумпол» его свесился, губы висели... ладно — после. Сейчас бы до кровати его доволочь! «Взяли!» — сказал. И Кузе пришлось поучаствовать. Сейчас батю не вниз, а вверх предстоит транспортировать — хоть и не высоко: крыльцо отличное сделали... но — крутое.

Шаркая по слежавшимся иголкам, добрели до перил.

— Пыльца! — сипло отец произнес. Селекционеру везде мерещится пыльца. Но тут, увы, не его поля!

— Точно! Пыльца! — вдруг и Кузя подтвердил. И этот туда же! — С сосен летит! Гляди — ботинки зеленые!

Я глянул вниз. Да. Он прав. Они оба с батей правы! Я не прав!

— Подняли!

Отец как бы отсутствовал, но когда я его спросил, на всякий случай: «На кровать?» — он, не открывая глаз, просипел: «Нет. За стол.» Смело! Сгрузили за стол. Стояли, утирая пот. Узлы потом легкими сверточками показались!

Простились с Кузей. Я сел как бы передохнуть. Но тут батя, расшатывая хлипкий стул, грозно раскачиваться начал... это значило, что он хочет

встать как бы самостоятельно, а на самом деле — я должен подойти и поднять его.

Ожил!

— ...Что, отец?

— Хочу на сосенки мои глянуть! — слегка виновато произнес он.

Помнит... Проклятье! Сосенки эти еще в прошлом году свели всех с ума. Когда въехали, он часто задирал голову — я думал, что он любуется вековым красавицами-соснами, а он вдруг изрек:

— Засыхает все! Начисто! Скоро здесь будет голо! (с ударением на второе «о»)

— С чего ты взял? Из-за крон солнца не видно!

Упрямо молчал. Потом произнес вдруг:

— Дай мне кайло.

— ...Что-о?!

— ...Кайло! — просипел он, уже закипая.

— Где я возьму тебе кайло? Тут, между прочим, дача, а не каторга!

— Рази? — усмехнулся, зловеще. И прав оказался! Жизнь больше на каторгу стала походить. И даже кайло его реализовалось — нашел где-то на строительстве железяку, похожую на гигантский дверной крючок, и стал железякой этой выдирать юные сосенки в лесу, и сюда притаскивать

и сажать. Для наших ученых нет преград! Только сосенки почему-то хирели, как он их ни поливал. Видно, сила великого агронома иссякла. Вот рожь — та поддавалась ему — причем в гигантских масштабах, и даже тут под окнами взошла, а вот — эти жалкие сосенки не подчиняются!.. страдал. И ведь вспомнил и через год! Решил, все-таки и тут победить! В девяносто четыре года!.. но где я кайло его найду — после той великой стройки, что здесь была? Опять — каторга? Помню, как мы вставали с ним в полшестого утра и к конторе шли — на «наряды» — работу и технику на весь день распределять. В первый раз — когда мне было четыре года, в последний — когда я посетил его в свои пятьдесят три, а ему было восемьдесят два, а он работал еще, ходил по полям — и даже пенсию, как выяснилось, еще не оформил! Такого размаха работ я, к сожалению, предоставить ему не могу... Я и себе-то не могу.

— Отец! Оставь ты эти сосенки! Не растут они у тебя.

Засопел обиженно. Но раскачиваться перестал... подействовало? Если так, то жаль. Чем ему теперь заниматься?

Когда я через час заглянул к нему на веранду, он спал... сам как-то на кровать перебрался... и

это весь его путь.

Пришла моя пора работать! Тут — мой масштаб. Возьмемся за узлы. Нет! Сперва сделаем вешалки — прежние, вместе с прочим, тоже унесены, ураганом истории. Но когда въезжали, я взглядом коршуна углядел подходящую проволоку на свалке за домами — вот какой мой размах! Уже знал откуда-то я, что вешалки исчезли. Все больше исчезает вещей. Даже самых привычных, необходимых. Тьма, в которой все гаснет, вплотную уже подобралась! Бумажник, очки, членский билет Союза писателей — все, на чем зиждилась жизнь! А мы в ответ новое сделаем! Вот она, проволочка моя серебристая! Выгнем из нее вешалку-плечики. Закрутим, закончим крючком, повесим. На нее — развесим одежды. Пустая пластиковая бутыль. Вещь как бы ненужная. Но не у нас! У нас мы режем ее поперек, верхнюю половину привязываем к дереву и отвинчивая-завинчивая пробку, имеем умывальник. Другая половина бутыли образует черпало, которым, черпая из ведра, льем воду в чайник и в тот же самый умывальник! Так-так-так! — приплюснув пальцем нос, быстро думал: что же еще? Тут и отец на кровати сел, взъерошенный, спустил на пол ноги в сползших носках.

— Сумку мою дай!

— Слушаюсь!

Приволок котомку ему, с его рукописями... Вот где богатство-то!

Теперь — моя песня: суп! Беру мясо из пакета, кидаю в кастрюлю. Мою. Кипячу, снимая бурую пену.

— Нонна! Картоху!

И вот — первая очищенная картофелина стукнула в таз. И отец бодро шуршит бумагами... Музыка!

В прошлом году мы все время под небом обедали — и в этом году будем! Вытащил с-под кровати круглую пластмассовую столешницу — солнце наше. Три ножки... а где же четвертая? Ага! От меня не скроешься. Втыкнул ноги, выволок стол на крыльцо, поднял на вытянутых:

— Летний сезон открыт!

— Отец! Обедать спускайся!

...Вспомнил, что в этом году все иначе немножко — пошел за ним.

— Нонна! Стул ему подставляй! Не так! Под жопу ему!

Держал этот памятник фактически на весу! Стал понемногу выпускать его... опустил! Стул заюлил всеми ножками, но устоял! А я еще думал

— сумлевалси, брать ли гантель! Вот она, моя гантель, размером с батю. Думаю, окрепну. Батя, надо сказать, абсолютно спокойно держится. Будто ничего такого особенного не происходит с ним. Правильно! Еще не хватало мне паники от него. От него скорей чего другого дождешься! И вот! Дождался.

— Да-а-а...

Думал — он любуется природой.

— ...скоро тут совсем станет голо!

Опять это ударение на второе «о»! И года не прошло!

— Да-а-а... сосенки мои кто-то обгладывает! — бросил тяжелый взгляд на нас с Нонной. Оно конечно. Возможно, и мы сосенки обгладываем, борясь с цингой.

— С чего ты взял, отец, что эти сосны огромные сохнут? — перевел внимание его с сосенок на сосны — может, к ним он спокойней относится?

— Без игл... Без игл!! — завопил в ярости... нет — дух у него еще тот. В прошлый год этим прославился, героем народного эпоса стал!

...Какие-то деятели вдруг стали к нашим литфондовским участкам приглядываться, меряли шагами. Внимания не обращали на нас. Интеллигенция наша тихо бурлила, металась мучительно

между несколькими оскорбительными версиями. Первая — что нас продала наша мэрия, наплевав на нас и на наш Литфонд. Вторая, более оскорбительная — что нас продал наш же родной Литфонд. Третья — самая оскорбительная: что участки берет Москва, наплевав на нашу родную мэрию и на наш родной же Литфонд. И одна из версий, боюсь, подтвердилась бы в ближайшее же время, если бы не отец.

В общем-то, «по большому счету», как принято говорить, он не принимал участия в волнениях, был глух — как буквально, так и переносно: трудно было взволновать его чем-то, к чему он был равнодушен. Видимо — он даже не знал, чьи эти дачи и чьи участки. Может быть, даже думал, что мои. Несколько раз он абсолютно спокойно проходил мимо захватчиков — боюсь, что даже принимая их за своих. Самых активных было двое — один как бы продавал, другой покупал. В тот роковой раз покупатель мерил землю, шагая по ней в ярко-оранжевых ботинках. И все бы ничего. Если бы не угораздило его наступить на сосенку. Разве мог он, предельно обнаглевший, представить себе, что это чахлое растение сорвет сделку? Но в этот момент калитка дремуче заскрипела. И на территорию вошел батя. Лицо

его заросло зверской щетиной. Рубаха частично выбилась из порток, мотня свисала ниже колен. В одной руке его волочилось кайло. Из другой могучей длани свисала сосенка, жалкая, как нашкодивший котенок. И тут батя увидал чей-то ботинок на своей и без того погибающей сосенке! Седые брови его взметнулись. Тусклые, внутрь обращенные глаза засияли гневом. Отец замахнулся ржавым кайлом — ему было абсолютно наплевать, кто этот человек и какая у него охрана — кайло таких тонкостей не знает. И человек тот почувствовал это! Он поднял руки и метнулся назад... если бы он знал, что от него-то и требовалось только это! Но он решил, что настал час народного гнева и вот народный мститель, согбенный труженик, казнит его! Эта иллюзия, видимо, так и не рассеялась, поскольку гость, отъехав, больше не возвращался. А тогда отец хмуро прошел сквозь аплодисменты, даже не слыша их, поскольку слуховой аппарат его, изувеченный очередным пытливым экспериментом, валялся на подоконнике. Остался эпос. И теперь отец, кажется, собирался его продолжить.

— ...Кайло дай, — просипел он еле слышно.

Я ждал и боялся этих слов!

— Отец!

...Что я мог прибавить к этому восклицанию? «Остановись!»? Это было бы глупо. Но кайло его я разыскивать не пойду. Видимо, и в этом году он собирается всех нас снова сделать участниками своего жесткого эксперимента. Что характерно, что при той бешеной ревности, с которой он относится к своим «сосенкам», он яростно выступает против какой-либо помощи им — и когда один маленький мальчик стал с любовью поливать эти сосенки, отец отнял у него леечку, чем довел мальчика до слез. Пространство под окнами веранды, где шел эксперимент, приобрело славу места, где опасно ходить. При том, весело скалясь, он поощрял любые зверства природы — град размером с шарик для настольного тенниса, легкий летний снег — это пожалуйста. Главное — исключить всякое воздействие человека — эксперимент должен быть чистым. Эти сосенки должны вырасти (или не вырасти) естественным отбором, как миллионы других. Выкапывание их с корнем и перенос на новое место он почему-то вмешательством в их жизнь не считал, видимо, ставя себя представителем высших сил, а не вульгарного человечества. «Эксперимент должен быть представительным». Сколько еще несчастных сосенок он собирался сюда пере-

тащить? На селекционной станции огромный ангар был занят его колосьями — он изучал их, отбирал, обмолачивал, сортировал, рассыпал по пакетикам. Потом рассевал на тысячах делянок, втыкая колышки с трехзначными цифрами. И снова собирал урожай и рассматривал каждое растение... Такого размаха работ я, подчеркиваю, предоставить ему не могу! Да и кайло его куда-то исчезло.

Тут я на некоторое время успокоился. И как оказалось, зря. Отец стал вдруг уверенно клониться со стула вправо. Перешел уже за границу равновесия!.. Нет. Ласково потрепав кустистую зеленую травку, выросшую вдруг на большом довольно участке перед домом, сумел вернуться в вертикальное положение. Молодец.

— ...Перезимовала неплохо, — пробормотал он.

— ...Кто? — произнес я, не подумавши.

Отец выкатил на меня глаз.

— Рожь! — рявкнул он. Как я мог забыть. Где-то уже в августе в прошлом году, потеряв вдруг на время интерес к сосенкам, он впал в хандру, почти не вставал. И в это время его посетил бывший его аспирант, а ныне тоже профессор, Васько. И взметнулись всходы! Прежние хозяева тут сажали картошку, теперь они с Васько посадили

рожь! Масштаб, конечно, не тот, что был прежде у них — но я, увы, не председатель колхоза. Но зато — признаюсь со стыдом, в первый раз — ежедневно и тщательно наблюдал, как всходит главная наша кормилица — озимая рожь. Сперва проклюнулись фиолетовые «пальцы», потом они стали раскручиваться в лист, изнутри выскочили кустики. К сожалению, неотложные дела заставили меня в начале сентября переехать в город, и увести бешено упиравшегося отца — поэтому мы лишились чудного зрелища: как ярко-зеленые озимые уходят под снег! Но перезимовали они, как утверждает отец, неплохо. Значит, надо быть готовым к страде.

— Смех, конечно... — Батя горестно оглядывал это убогое поле. Все равно что адмиралу пускать лодочки в ручье. Но, каюсь — больший размах работ нам и не освоить. Батя грустил.

К счастью, в этот момент, словно лебедушка, подплыла Нонна с кастрюлей, поставила на стол под соснами и сняла крышку. Аромат, похоже, временно отвлек отца. Некоторое время мы, шумно всхлипывая, ели.

— Тебе добавки?

— Ага.

И, наконец, откинулись, удовлетворенные.

— Подходяще! — цыкнув зубом, отец произнес свою самую щедрую похвалу. Бывает и в нашей жизни счастье: мы на даче, все вместе, любим друг друга и пока что все живы. Переглянулись...

— А помнишь, в прошлом году, — сказал я Нонне — когда мы выносили сюда наш суп, на запах его от соседей собачка приходила, старенькая совсем? Хромала, еле уже шла — но на наш суп приходила. Нет, что ли, больше ее?

— Да вот же она! Под столом! — обрадовалась Нонна.

3

«Наконец-то все хорошо!» ...Эйфория меня погубит! Размягченный идиллией, я оставил отца греться на солнышке, поднялся в комнату и стал читать.

...В детстве я очень любил купаться. Мне теперь кажется, что большую часть детства я провел в нашей славной Терсе — теплой, чистой, широкой. Мы плавали, ныряли, пуляли друг в друга водой. Даже когда шел бой и вдоль Большого проулка бил пулемет, мы все равно пробегали через него к речке. Иногда пули на излете бились в густой, пышной пыли. Тогда мы накрывали их ладошкой и забирали с собой. Они еще долго были горячие. Вокруг шла гражданская война и не всегда можно было понять, кто наступает, а кто отступает — в пылу боя им было некогда это нам объяснять. Помню, как у соседей убили подростка-сына. Семью эту в Березовке очень любили, и женщины выли по всему селу.

Отец с сыном пошли косить и с колокольни по ним начал стрелять снайпер. Так и не узнали, чей он был. Отец был более опытный, прошел

империалистическую войну и сразу упал в канаву и стал звать туда сына. Но тот потерял голову и побежал, и был убит.

Я помню ясно, как мы завтракаем у нас во дворе, под огромной ветлой, на которую мы вешали серпы, косы и грабли. И прямо над ее кроной свистят пролетающие снаряды. Отец говорит: «Это в Краишево бьют». Краишево было село за рекой, где жили «цуканы», которые все говорили на «ц»: «Ну цо, цо?»

На мне было уже тогда много дел по хозяйству — в частности, весной и когда шли дожди, я должен был затапливать наш сад. Этим раньше занимался дед Степан, потом он умер и обязанность эта почему-то перешла ко мне, восьмилетнему. И я относился к этому делу с полной серьезностью. Когда вода бурно стекала по нашему проулку, я строил запруды и направлял ее. Сад был окружен валами, и вода долго стояла как зеркало и пропитывала почву. Без этого в нашем южном засушливом степном климате ни о каком урожае яблок, слив, груш не могло быть и речи. Еще моя обязанность была — купать нашу кобылу Зорьку в Терсе. Я очень любил это делать, но однажды чуть было из-за этого не погиб. На обратном пути Зорьку закусали слепни и она

сломя голову кинулась в саманный сарай, где она стояла. Я еле успел сползти назад по ее хребту — а мог быть задавлен насмерть, поскольку расстояние между ее хребтом и верхом двери было очень узким. Скольких смертей я избежал! Видно, судьба меня готовила для чего-то.

После того, как старшая сестра Настя вышла замуж за Петра Лапшина (как и все семьи в деревне, они имели вторую, уличную фамилию — у них эта фамилия была Денискины), я приступил к полевым работам, главным образом с Петром. Это была большая семья, у них было пять лошадей, и они не признавали артели по совместной обработке земли, которую как раз в это время организовывал в деревне мой отец.

Помню, как мы с Петром уезжали на всю неделю пахать пары или зяби. Он научил меня держать плуг и одновременно управлять лошадьми, и я справлялся с этим прекрасно. Он запрягал лошадей, налаживал плуг и уходил с ружьем на ближайшее озеро, где гнездились утки. И я пахал один до самого обеда, и более сладкого чувства я не помню. К обеду приходил Петр, клал в деревянную глубокую чашку два куска сала и растирал их топорищем. Затем он засыпал это пшеном и варил кашу. И ничего более вкусного я не ел. А

если он еще добавлял туда подстреленную утку или даже грача — это было вообще объяденье! Помню, уже тогда я дивился крестьянской сметке. В первый наш выезд с ним Петр насмешливо спросил меня: как сделать стол в степи, где ничего нет? Я растерялся. А Петр вырыл канаву, мы опустили в нее ноги, и нашим столом стала вся бескрайняя степь!

Помню, как Настя родила своего первенца прямо в поле, во время жатвы. До обеда со всеми женщинами вязала снопы, а после обеда родила мальчика. Назвали его Иваном, в честь нашего с ней отца, Ивана Андреича. Мальчик был смелый, веселый, шустрый. Катался на коньках по льду Терсы. Пробивал железной пешней лед и пил воду. Заболел воспалением легких и умер.

Я прошел четыре класса сельской школы, и чтобы учиться дальше, нужно было уезжать из деревни, в районный центр Елань за девятнадцать километров. Там была бывшая гимназия, а теперь школа второй ступени. Мать стала меня уговаривать остаться в деревне: ведь два старших сына были уже далеко, вели абсолютно самостоятельную жизнь, и я был последним ее сыном. Татьяна уже училась во второй ступени, а Нина была еще маленькая, некому было помо-

гать по хозяйству. Но я упрямо стоял на своем. Отец поддержал меня. Он был ученый, грамотный. Рассказывал, что любил читать с детства, и когда рассерженные родители гасили лучину, он выходил, прислонял книжку к белой стенке хаты, и продолжал читать. И я получился такой же упрямый, как отец. С самого раннего детства я помню красивые книги у нас, отец сам их переплетал и научил меня. Он поддержал меня, как мать ни плакала. Посадил на телегу и отвез в Елань. Определил меня в школу и на квартиру. Я жил с ребятами нашей волости, но из других деревень: Николаем Тынянкиным и Сергеем Сыроежкиным. Они были лучшие ученики класса, и мы быстро сдружились. Николай был не только отличник, но и заводила, весельчак. Помню, как он специально, чтобы нас рассмешить, переходит по голубокой осенней грязи главную улицу Елани. Потом поднимает ногу, а подошвы сапога нет — осталась там! Мы смеемся. Он учил меня бороться: валить противника на себя, и в воздухе переворачиваться. Учились мы этому на глубоком снегу, и больно не было. Денег нам было оставлено очень мало. Но мы очень любили смотреть кино, сидя на ограде. Странно, что никто нас не сгонял — наоборот, все добродушно посмеивались. Помню,

из артистов мне больше всего нравились Дуглас Фербенкс и Мэри Пикфорд. После девятого класса мы с друзьями расстались. Потом я случайно узнал, что мой замечательный друг Тынянкин поступил на философский факультет ленинградского университета и вскоре умер от чахотки.

Все время учебы лето я проводил в Березовке, работал в артели по совместной обработке земли вместе с отцом. И там, прямо в поле, мне принесли письмо от старшей сестры Татьяны из Саратова. Она взволнованно сообщает, что там образуются курсы для поступления в сельскохозяйственный институт. На курсы принимают с направлением от колхозов, и я могу приехать с направлением от артели. Помню, отец дал мне пять рублей. И больше я у родителей никогда не одалживался и полностью перешел на собственный кошт. Отца своего с того момента я больше не видел. До Камышина я ехал по железной дороге, а оттуда до Саратова — на пароходе, на палубе. Тогда я впервые увидел Волгу во всей шири. А также с тоской почувствовал, что начинается другая жизнь и старой, которую я так любил, не будет уже больше никогда.

С детства отец учил меня быть крепким мужиком. Брал меня с собой, когда шел резать

барана. Зайдя в хлев, он сначала гладил барана между рогами, потом резко вздымал его, зажимал между коленями, ножом разрезал и разводил кожу на горле, и быстро перерезал глотку. И сразу вешал его за задние ноги на специальную палку, и начинал свежевать — потом сделать это было уже гораздо трудней, нельзя было медлить. Все это было нелегко, но без этого нельзя обойтись в крестьянском хозяйстве. Часть этой силы я от него унаследовал.

В Саратов я приплыл ночью, но общежитие нашел. Я был полон решимости добиться своего. Меня провели по уже темному коридору. Открыли дверь. Я увидел койку, лег и сразу уснул. Я не помню, как уснул, но хорошо помню свое пробуждение. Когда я сел на койке и огляделся, я с удивлением понял, что нахожусь в огромном зрительном зале театра. Кровати стояли не только в зале, но и на сцене и даже в ложах. Как раз именно в ложе я и оказался. Везде были весело гомонящие люди — и главное, я не мог понять, какой именно час суток переживает вся эта публика: кто-то ест и ложится спать, а кто-то, наоборот, быстро ест и торопливо уходит.

Меня сначала взяли на подготовительные курсы, но, послушав меня (я знал наизусть чуть не

всего Пушкина), зачислили сразу на первый курс. Мне было тогда пятнадцать, но выглядел я, закаленный степной работой, намного старше.

Помню первую лекцию — как старичок на кафедре произносит слово «пестик» с таким восхищением и умилением, что умиление это передается и мне. Из студентов запомнились два друга-балагура — Борис Буянов и Борис Кац. Вижу, словно сейчас, как Боря Кац проталкивается через толпу студентов в столовой, и кричит радостно: «Вот вы меня толкаете, и не знаете, что я сейчас буду ставить печати на ваши пропуска в столовую». Все восторженно расступаются.

Первый год мы учились в старом здании у оперного театра. А на второй курс мы уже приехали из военного лагеря в новый корпус. Агрономы должны были быть и командирами Красной Армии. Я хорошо там стрелял и вернулся со званием «ворошиловский стрелок». Но в армии мне не понравилась атмосфера обязательного подчинения людям гораздо более низкого уровня знаний, и я все время вступал в спор.

— Валера! Он упал!

Я оторвался от папки, выскочил на крыльцо. Отец лежал навзничь у ступенек, его глаза были вытаращены как-то безжизненно. Заголившаяся

изнанка правой руки кровоточила... ободрал о перила, когда падал?

— Отец! — я кинулся к нему — Ну зачем ты? Позвал бы меня!

Ни звука!

— Отец!!

— Я просто вспомнил, — произнес он абсолютно ровно, — где лежит мое кайло. И хотел его осмотреть.

Я тащил его на себя. Словно чугунный! Не поднимается! Не хватает ему только кайла! Подняв, я держал его на весу, как безногий памятник: он словно и не пытался стоять! При этом лицо его было абсолютно безмятежным, словно ничего тут такого не происходило — обычные трудовые будни!

— Нонна! Принеси йод, смажь ему руку!

Я не мог даже сходить за пузырьком, бросить отца. Теперь я много чего не мог! Как-то на свежем воздухе его разморило, хотя я надеялся на абсолютно другое!

...После второго года обучения была практика по механизации производства. Мы работали в широких и жарких степях Заволжья. Туда завезли американские комбайны, но работать на них было некому, и пришлось учиться нам. Меня

поставили комбайнером на прицепной комбайн фирмы Холт, а местного рабочего назначили штурвальным. Работа была сложной и напряженной. В засушливой степи пшеница вызревала очень короткая, и приходилось держать режущую часть хедера очень низко. При срезании малейшей сухой кочки она попадает в комбайн и тот оказывается в облаке пыли, которая целиком накрывает и нас. Комбайн останавливают и ищут возгорание. Поэтому умелое управление хедером — большое искусство. Комбайн тащил большой гусеничный трактор, и слаженная работа с ним тоже на совести комбайнера, как и работа молотилки и своевременная выгрузка готового зерна в грузовик. Только успевай! А мне ведь еще не было семнадцати. Чем я, кстати, был очень горд. Наш агрегат посетил американский инструктор. Он приехал на виллисе вместе с красивой переводчицей. Посмотрел на нашу работу и сказал «окей» и ничего больше. Так что и переводчица не понадобилась. А может, это и не переводчица была. Я получил за ударную работу (за угарную работу, как шутили друзья) от руководства шерстяные брюки и джемпер. Было сорок градусов жары, пыль закрывала небо, и друзья мои смеялись над таким подарком, требова-

ли, чтобы я все это одел. Но я решил подарить джемпер сестре Татьяне, а брюки поберечь. Но не получилось — их в первый же день украли из палатки, где мы жили.

Тихое, гулкое поскребыванье на веранде прервало мое чтенье — я, как зверь уже — знаю каждый звук! И каждый в разной степени бьет по нервам. Приятных звуков не осталось. Поскребыванье значит, что отец подтаскивает к себе пустую трехлитровую канистру... но как, интересно, он собирается в нее сикать (почему-то именно это слово принято в нашей семье), если он не может стоять на ногах? Лежа на боку? Приятная тема для размышлений — но надо вставать и идти. Не встану! Над его мемуарами сижу! Надо уметь игнорировать тяжести. Не все замечать... маленькая хитрость. Которая обернется большой бедой.

— Встань, отец. Отвинчивай крышку и одной рукой банку держи, а другой... вынимай свой... предмет. Понял меня?

Смотрит в сторону, громко сопя: не нравится! Да и я не в восторге.

— У меня есть... одна насущная потребность, — виновато улыбаясь, тихо произнес он... я даже склонил к нему ухо — мол, громче говори.

— Посрать! — вдруг придя в ярость, рявкнул он так, что я отшатнулся. Все, наверное, пошатнулись в радиусе километра вокруг! Мгновенно, конечно, сообщение это по всему миру разнеслось.

— Слушаюсь... Пошли.

Я уже центнер этот под мышки держал, но тут слегка подбросил, получше перехватил: путь, чай, не близкий! И не простой! Пришлось лбом его двери открывать, разумеется, в мягкой манере! Он тихо стонал. «Терпи, казак. Атаманом будешь!» Всю жизнь он мне это говорил... теперь я ему это говорю.

— Валера! Он упал... там!

Все привычно уже... но с новыми оттенками. Конечно — я покинул его. К его же собственной рукописи отлучился! Мысль, что я должен ждать, причем не за дверью, а рядом с ним, у «очка», со всеми вытекающими и вылезающими последствиями, сперва не нравилась мне... но теперь уже нравится! Теперь зато мне с улицы в окошечко лезть — перед тем, как упасть, он еще и закрылся.

— До щеколды не дотягиваюсь! — зло сипел он оттуда. Интересно — он «до» или после упал? Вот он, теперешний круг моих интересов! — горько

думал я, пока лез. Интерес удалось удовлетворить: «после». Наверное, это хорошо. И после некоторых процедур — обратная дорога... Меньше часа на все ушло — о чем говорить? Одно удовольствие!

— ...За стол! — прошептал он, когда я дотащил его обратно.

— Слушаюсь! — прохрипел я.

Опустил эту тяжесть, стул завихлял ножками. Но устоял! В отличие от меня: я-то как раз рухнул... Темнеет, кажись... или это в глазах у меня? В июне дни длинные. Так что — не расслабляйся.

— Лампу... мне принеси.

Уверен, что мир создан под него! Точнее — под те задачи, что он ставит перед собой... но последнее время — больше передо мной. Где я отыщу теперь его лампу? С помойки принес ее — надеюсь, она опять там, плотники выкинули ее вместе со всем хламом — с собой, надеюсь, не увезли? Побрел на помойку... Археолог! В том виде, как оставил лампу отец, вряд ли она сохранилась. Долго он ее усовершенствовал. Лист прицеплял на тарелку-абажур, чтобы лампочка глаза не слепила, вверх-вниз его сдвигал, стремясь к совершенству. «На свой макар» переделывал все — до тех пор не успокаивался. Но теперь-то уже

все не переделаешь — силы уже не те... Но он, видать, решил не признавать поражений. А за то, чтобы их не было — отвечаю я!

А вот и лампа! Великолепно себе лежит, среди прочих творений разума, и даже лист, что удивительно, свисает с нее. Хотя были тут, рассказывают, дожди и снега... Крепко сработано! Его стиль. Лишь отряхнул ее чуть-чуть — и как новенькая! Скромней скажем: такая, как была. Принес, гордо поставил перед ним. Воткнул, щелкнул — и даже лампочка зажглась! Чудо! Не только лишь зимостойкие сорта выводит он, но и лампы!

— ...Не она, — мельком глянув, прохрипел, и снова устремил взгляд в свои бумаги.

Что он, издевается? Хочет сказать, что на помойке огромный выбор ламп, а я умышленно приволок ему не ту?

— ...Та ...отец.

Что-то, видать, в моем тоне почувствовал он: повернулся вдруг ко мне, улыбнулся. Огромной своей ручищей за локоть взял.

— ...Турок ты, а не казак! — проговорил насмешливо. В нашем суровом семействе это как ласка идет!

— На помойке нашел! — зачем-то сообщил я,

как бы намекая на награду, разумеется, чисто платоническую. Это уже, по нашим понятиям, перебор, моральная распущенность, перехлест эмоций. Такое не принято у нас.

— Значит, помойку не убирают! — сварливо произнес он. И, схватив вдруг лист, прицепленный к абажуру, безжалостно оторвал его, поднес вплотную к глазам и отчаянно сморщился. Что означает у него крайнюю степень сосредоточения.

— ...кто эту чушь написал? — он сунул лист мне под нос. Текст сугубо научный. Я этого не писал. Стало быть... но он уже и сам догадался.

— Да-а... — произнес он — Теперь я уже все по-новому понимаю.

Это радует, безусловно. Но не означает, наверное, что надо лампы портить — причем собственного изготовления! Я пытался скрепкой прицепить лист на место... отваливается. А-а! Пускай! Мне-то какое дело? Тем более — он вдруг забыл про меня, но зато стал задумчиво и сосредоточенно раскачиваться на стуле. Сейчас встанет и куда-то пойдет, ни на что не взирая.

— Отец!

С отрешенной и даже блаженной улыбкой раскачивается — мысли о предстоящем загадочном

маршруте затмевают все!

— Отец!

На этот раз услышал меня и даже посмотрел с интересом — но интерес этот, как выяснилось, относился не ко мне.

— Ты мне вот что скажи, — ласково взял меня за локоть, улыбнулся прелестной своей, как бы виноватой, улыбкой. — Ты видел колья мои? — глядел на меня прям-таки страстно! В прошлом году навыдергал кольев из ограды заброшенного детсада и вокруг чахлых своих сосенок навтыкал. Сосенок не видел никто, но колья все увидели и с вопросами кинулись ко мне: «Что это?» «А то... чтобы вы здесь не ходили!» Примерно так приходилось отвечать. Поскольку сосенок никто не видел, да и увидеть их трудно было, обиделись все. Теперь сожгли его колья, видимо. Но не со зла, я думаю — для тепла. Как бы ему объяснить все поделикатней?

— Отец!.. Ты, наверное, думаешь, что ты один здесь живешь. Но ты ведь не один здесь живешь! Понял? У людей тут свои дела!

Обиженное сопение в ответ. То есть получается, что я в равнодушии к людям обвиняю его... по советским меркам — это кошмар!.. но «равнодушие» — это еще сказано мягко!

— Учитывай людей! Все-таки эти колья твои... никого не радуют!

Протяжно зевнул в ответ и демонстративно отвернулся! Вот так! «Еще на всякую ерундистику время терять!» Но тут уже я завелся.

— Отец! Скажи... ты вот знаешь кого по имени, кто тут рядом с нами живет? Или тебе это глубоко неинтересно?

Зевок. И взгляд вдаль, с надеждой: может, кто поинтереснее подойдет?

— Ну что ты за человек! — я воскликнул.

— Ну... что я за человек? — он поднял наконец-то глаза, улыбнулся прелестной своей улыбкой... задело чуток?

— Сказать?

В этот день отчаяния — или, может, усталости, — не сдерживаться, наконец, дать себе волю, и сказать? Что это даст? Мне — и ему? Поздновато уже его воспитывать. Только расстрою. А впрочем — пусть расширит свой кругозор. Говорит же, что всегда надо учиться, и чем шире круг света, тем длиннее граница с тьмой. И что знаний не бывает бесполезных. Тогда — прими!

— Вот ты десять уже лет живешь у меня...

Кивнул. Правда, неохотно. Отрицать все пока невозможно, но он этого момента дождется, и

— в спор! За что, про что — не имеет значения: «Комар живет, пока поет!»

— И за десять лет... ну скажем, за восемь... тебе даже в голову ни разу не пришло... позвонить моей матери — твоей бывшей, кстати, жене, с которой ты неплохо жил четверть века, вырастил, скажем, не худых детей... Ноль! Ни разу даже не спросил ее номер... если забыл.

Долгое молчание... Попал? А не слишком ли? Нет! Снова вдруг зевота его одолела его.

— Да тебе всегда и на нас-то наплевать было, твоих детей! Ты страстно — вот то действительно была страсть! — предлагал то в Суйду, то в Немчиновку нам переехать, где тебя-то ждали опытные поля, а нас что там ждало?

Тишина. Потом он, не в силах больше сдерживаться и внимание изображать, жадный взгляд на бумаги кинул: когда, наконец-то, поработать дадут?

...Молодец, батя! Силен! Сокрушить его трудно. Помню, как сестра второй его жены, Елизаветы Александровны, долго с умилением разглядывала нас. Я еще мучился, ждал: что-нибудь сладкое скажет!.. А она вдруг произнесла: «Да-а-а! Корень-то покрепче!» Удар! Нокаут! «Корень-то покрепче!» И счас еще силен! Только интересным

чем-то можно его зацепить, а так — незыблем. Но в том, что по-настоящему ему интересно, я не секу! Один лишь раз, когда его, вроде, пробило, он произнес взволнованно: «Да-а-а... жаль, что ты не унаследовал мое дело!» Я, тоже растроганный, кивнул. «Писали бы вместе!» — уже вполне по-деловому добавил он. Тут я сразу протрезвился. «Твое, разумеется» — уточнил я. Он взгляд изумленный кинул: «Ну а чье же еще?»

К чужому был туг на ухо — слышал только свое. Мой день рожденья — никогда не вспоминал. Не знал даже, когда и где умер его отец. И в последнее время с одинаковой яростью две взаимоисключающие версии защищал: то утверждал, что умер тот в лагере, в тридцать восьмом, то говорил, что у старшего сына Николая в Алма-Ате, уже вышедши. Помнил только, когда вывел свои сорта. Да и то приблизительно! К себе, надо отметить ради справедливости, так же суров... помню, как я был потрясен, когда неструганый топчан увидел, на котором он спал, из нашей ленинградской квартирки уехав. Но им это не принималось к обсуждению, и даже к рассмотрению: спал. И полшестого вставал и в морозной мгле шел к конторе, на «наряды», где распределяли лошадей и технику для работ. Бывал с ним...

— Отец! Ты даже к себе абсолютно холоден!

Посмотрел! Почувствовал, стало быть, тут что-то необъясненное... Объясненное — презирал! Взгляда бы не поднял! А тут глядел. Долго и насмешливо: мол, объясняй — как это, я холоден сам к себе?

— ...ты встаешь... и куда-то идешь... уже не стоя при этом на ногах! И не думаешь абсолютно о том, что каждое падение твое может смертельным оказаться.

— Как это? — спросил весело и задорно. Тема эта, видать, слегка его заинтересовала, по своей новизне. Хотя чего уж тут нового!

— Ты сам же мне рассказывал, что твой друг и коллега Наволоцкий так погиб.

— Наволоцкий? Да. Был такой замечательный «пшеничник». Но ничего такого, что ты рассказываешь, я не говорил.

— Говорил!

— Нет! — глаза его весельем зажглись, и наверняка бы сейчас он весело ногой топнул, как раньше в спорах, если бы мог!

— А откуда же я знаю это? На девяносто пятом году...

...ровно как ты, — я чуть было не добавил.

— ...так же вот... побежал. И сломал ключицу!

И — неподвижность. Пролежни. И — атрофия легких. Не смог уже дышать. Слыхал? Сам же мне рассказывал — в таком возрасте кости уже не срастаются. И — все!

— Не помню, — холодно произнес.

— Что тут помнить-то? Медицинский факт!

— Факт — это еще не теория! — твердо сказал.

— А тебе этого факта мало? Тебе и тут теория нужна?

— Ка-ныш-на! — весело произнес. Помолодел. И тут я поверил даже — пока теорию свою не допишет, не... Ничего с ним не случится, короче.

— Кстати, — он вдруг проникновенно добавил, — в том, что ты говоришь про меня, есть доля истины. Так же я, кстати, думал одно время про своего отца. Увлекался он, все время. То одним, то другим. Уезжал, не раздумывая. Нам, вроде, внимания мало уделял. Так думал я — пока однажды отец не поехал в Елань. Сапоги одел новые. А вернулся — босой!

— Как?!

— Да обыкновенно как: встретил там старшего сына своего, Николая — босого. Сапоги снял — и отдал ему. Вот так вот. Видал миндал? — закончил он своей любимой бодрой присказкой, и стал уже свои листочки подтягивать, считая, видимо, наш

спор законченным, а свою победу — бесспорной.

— Отец!... Но ведь ты падаешь! — воскликнул я — Будь ты благоразумен, все-таки!

— Мен пьян болады! — усмехаясь, произнес он. Что по-татарски означает: «Я пьян сегодня!» С Казани у него много татарских выражений. Есть, вообще, чем в споре придавить.

Воспоминание из дальнего детства: отец колол в сарае дрова, и колун соскочил с топорища в лоб. Помню, как входит, политый кровью, к лицу ладони прижав. Потом лежал с огромным опухшим носом, заплывшими глазками, обиженно сопел...

— Идити-и-и ужи-нать! — из комнаты Нонна закричала.

— Ну что... легкий ужин? — сказал я.

— Можно, — бодро ответил он. И даже сделал движение руками, как будто идет.

Но пошел-то на самом деле я! Легкий ужин не так-то легко нам дастся. Для начала — стол с улицы в избу внести — еще раз бороться со ступеньками не будем. Поставить перед столом стул покрепче — и притащить отца. Взяли, раз-два! Оба с тяжким стоном — и я, и он... В моем постпенсионном возрасте уже меня кто-то должен носить — но ношу пока я. Вынужденная бодрость. О-па! Приехали. Какой закат озарил наши скром-

ные стены!

— Смотри! Тень отца! — воскликнула Нонна.

Гордый профиль. Одна из несправедливостей жизни — твой профиль могут все увидеть — кроме тебя!

— Тень отца Гамлета. — усмехнулся он.

— Смотри, лучше... олень! — на левый кулак я положил опрокинутую правую кисть с растопыренными пальцами. Тень: голова оленя и ветвистые рога! — Помнишь — ты меня научил?

Показывал он тени нам — в Казани, у печки. Еще до войны!

— А вот, помнишь — собака лает! — я поставил поперек лучей заката ладонь. Разводил-сводил пальцы, — «собака лаяла». Отец тоже поднял руку, но опустил — пальцы не слушаются.

Потрясающая ладонь у него! В два раза больше моей, тоже немаленькой! Помню, как он мне на пальцах показывал — как расходятся судьбы. Было это тогда, когда я вниз как-то пошел.

— Вот гляди! — два растопыренных пальца протянул. — Вначале вы вместе с другом, а потом — все больше расходитесь: он все больше — вверх, а ты — вниз, — тронул нижний палец.

И я сразу понял все, на пальцах, и помнил уже всегда! И сейчас — с улыбкой показал ему, тень

двух разведенных пальцев на стенке нашей. Помнишь, отец? Все-таки всегда вверх мы шли!

...Помню, как школа придавила меня: сразу изгоем себя почувствовал. Все уже друг друга знают, откуда-то, громко разговаривают, куда-то идут. Я один, потерянный. На самом первом уроке — как сейчас помню то отчаяние — выдали нам по серому листку в мелкую клетку, сказали: рисуйте, что хотите! В сущности, каждый должен был нарисовать себя, чтобы учителям ориентироваться: кто сколько места в жизни займет. И помню, сколько я занял, стесняясь и всего боясь: одну клеточку! Тупым серым карандашом, еле видным, нарисовал почему-то уточку, стараясь в клеточку ее поместить. «Смотрите — самый скромный у нас!» — Мария Григорьевна мой листок показала, и ржали все! Таким путем, съедая меня, она с трудным классом контакт устанавливала. И тут — приехал отец. Мы в Ленинграде жили уже, но он в Казань еще ездил, просо свое внедрял. Тихо спросил у бабушки: «Ну как у Валерия в школе дела?» Та вздохнула в ответ. И он подсел ко мне за стол. Где я, горемыка, кривые палочки выводил. Громко хлопнул по колену себя. Проговорил любимую свою присказку: «Эх, товарищ Микитин — и ты, видно, горя немало

видал!» Я самолюбиво отстранился. Но он огромной своей ладонью придвинул меня. И дальше помню — ясный морозный день. Я, ликуя, сбегаю по мраморной школьной лестнице, и — раскрываю отцу тетрадь. ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ. И — 5! Первый успех в моей жизни! Мы выходим с ним на мороз, снег сверкает, в ограде Преображенской церкви стволы трофейных шведских пушек торчат, сизые от инея.

— Молодец! — батя смеется — На лыжах пятерку догнал! Умел сказать, да и сделать — мне только вспомнить да записать!

— ...Где еда-то? — он весело произнес.

— Бяжу, бяжу! — крикнула с кухни Нонна.

4

Агрономы тогда требовались срочно и в большом количестве. И на последнем курсе меня вызвали к директору института и спросили — не могу ли я поехать работать уже сейчас? Диплом мне обещали прислать на место, если я хорошо проявлю себя. И я с радостью согласился, поскольку у меня было уже много идей, которые страстно хотелось воплотить на практике. И я даже не спросил, куда ехать — земля есть везде, а другое меня не интересовало. Опять, как и в школе, я не доучился до конца. Но это постоянное «скорей» меня радовало, соответствовало моему темпераменту и нетерпению.

По приезде в Алма-Ату нас, как степных жителей, поразили прежде всего горы, поднимающиеся сразу за городом и покрытые снегом. Я остро почувствовал, что начинается совсем новая жизнь. В министерстве Казахстана выяснилось, что в самом городе нужен только один человек, но на юге Казахстана, в Чимкенте формируется новая Южно-Казахстанская область и там нужны агрономы. Мы тряхнули в кепке жребий. Но выиграл не я. Жребий мне всегда доставался не лучший. Но

это и сформировало меня. Лучшим он оказывался потом. И мы, уже только двое, купили билеты в Чимкент.

Выйдя из вокзала в Чимкенте, мы с удивлением увидели голую степь. Стоял один-единственный дом азиатского типа, окруженный высоким глухим дувалом. Тут же мрачно стоял привязанный осел — и ничего больше. «Вот так приехали!» — горько засмеялся мой друг. Но приехавшие с нами пассажиры сказали, что нужно немного пройти вперед — и будет город. Это вызвало у нас недоверие, поскольку до самого горизонта никакого города не было видно. Но мы все же пошли, и вскоре прямо у нас под ногами открылась глубокая красивая долина. Между зелеными кронами виднелись железные крыши, покрашенные в самые разнообразные цвета. Мы обрадованно стали спускаться. Город оказался очень приятный. Дома все были одноэтажные, и в каждом дворе был сад. Тротуары отделены от улицы бурными арыками и двумя рядами могучих деревьев, закрывающих пыльное небо — они были гладкие, светло-серые и без коры, ранее таких я не видел. Все дома имели владельцев, и многие пускали к себе жильцов. Мы зашли с другом в понравившийся нам дом. Нас встретила полная седая женщина, как мы

узнали, зубной врач. Фамилия ее была Колосенко, что нам, как агрономам, очень понравилось, о чем мы сразу же сказали ей, и она рассмеялась. Мужа у нее не было, была дочь, больная и прикованная к креслу, но очень веселая и образованная, и мы в последствии очень подружились. Мы узнали, что в городе есть хороший парк с большой сценой, где часто гастролируют театры. Мы были прикреплены к столовой, но там, как и в магазинах, практически не было ничего. У нас в Областном Земельном Управлении был заместитель заведующего Осипов, в задачу которого входила организация самоснабжения. Он ездил по окрестностям и покупал фрукты, овощи, рис, вино. И только лишь изредка — мясо. Это было удивительно для этих мест. Совсем рядом, под Ташкентом, наша семья спасалась от голода в двадцать втором году у одного из родственников матери. И в глазах у меня навсегда запечатлелась картина — как гнали баранов. Они шли как бы самостоятельно, плотной пыльной массой несколько дней подряд. Иногда только вдоль этого бесконечного потока скакал всадник — и потом снова шли только бараны. То была настоящая бесконечность! Но баранов отобрали у хозяев и распродали по дешевке. Жители рассказывали,

что еще совсем недавно можно было приобрести большого барана буквально за копейки. И вот результат. Казахи, которые кормились всегда при баранах, остались ни с чем. Но, находясь в городе, где жили в основном госслужащие, мы плохо пока представляли масштабы бедствия. К нам подселились еще двое, присланные из нашего же института. Однажды в воскресенье один из них принес бутылку водки и предложил тут же выпить. Мне пить не хотелось. И я сказал, что не стоит и начинать, с одной-то бутылкой. Все начали смеяться. И я, обидевшись, схватил бутылку и выпил ее целиком. Ночевать мне пришлось в милиции, и я считаю, что тогда я выяснил свои отношения с пьянством раз и навсегда.

Наш начальник товарищ Арипов мне нравился... Этот пожилой человек всегда был целеустремлен и серьезен, и первое время я с удовольствием и даже жаром выполнял все его поручения. Особенно мне запомнилась одна поездка в дальний Сузакский район. Там только что было восстание против русских, и Арипов спросил меня, не боюсь ли я. Я сказал, что нужно научить казахов возделывать землю, и тогда они не будут восставать. Арипов почему-то хмыкнул. Но ничего не сказал. Я был наивен и горячо верил в успех

науки, как многие тогда. С Сузакским районом не было никакой оперативной связи, поэтому надо было как-то добираться туда. Предстояло составление плана области по заготовке кормов, однако не было никаких сведений оттуда о численности и состоянии сенокосилок в районе. Я ехал с присущим мне в те годы энтузиазмом. Поезд шел по главной магистрали, соединяющей Россию и Среднюю Азию. Я знал, что дорогу эту строил мой отец, когда скрывался от ареста за связь с нашим сельским учителем и совместное с ним чтение запрещенной литературы. Это было еще до моего рождения! А теперь я ехал по этой дороге. Может быть, как раз это место насыпи, где я проезжаю, строил он? Кстати, и в советское время он отличался упрямством и склонностью к отрицанию банальных истин, которые повторяли все. Отчасти упрямство это передалось и мне...

— Да уж! — подумал я. Потянулся (была уже ночь, все мои спали), протер платком очки и стал читать дальше.

...Упрямство и погубило его. В тридцатые годы, когда это было равносильно самоубийству, он громогласно повсюду заявлял, что Сталин — не

гений! Все его любили и уважали, и пытались унять: «Что ты такое говоришь, Иван Андреич? Может, у тебя лихорадка?» Лихорадкой он заболел как раз тогда, когда строил эту дорогу, еще как беглый революционер. А теперь, в советское уже время, упрямо говорил везде, что Сталин — не гений! И это и погубило его. После очередного его выступления он оказался в лагере под Камышиным, и дальше следы его теряются...

Теряются, да не совсем... Во всяком случае, когда отец ехал по насыпи, его батя был еще жив и не арестован. Но писем друг другу они не писали. И после отъезда отца не общались — каждый упрямо занимался своим.

Я сошел на маленькой станции и передо мной широко раскинулась степь, дальше никакой дороги не было. На самом горизонте просматривался невысокий хребет Ала-Тау, за который мне и надлежало попасть. На вокзале, где я представился уполномоченным Областного Земельного Управления, мне сказали, что завтра рано утром к Ала-Тау пойдет караван верблюдов, и я могу отправиться с ним. На верблюдах мне прежде ездить не приходилось. Хотя в Березовке у нас некоторые семьи держали верблюдов. И один

упорный мужик даже пытался пахать на них, но был ими оплеван, над чем смеялась вся деревня. В общем, я знал, что верблюд — чрезвычайно своенравное и злое животное. Но тогда лишь вежливо поблагодарил смотрителя станции и стал ждать утра. Рано утром я пошел на базарную площадь и застал сборы каравана в самом разгаре. Про меня уже знали, и указали верблюда, на котором я могу поехать. Поскольку я впервые ехал на верблюде, я попросил показать, как именно на него можно сесть. Мне показали. И я полез на смирно лежавшего верблюда, подогнувшего под себя ноги. Потом, понукаемый казахом, предводителем каравана, верблюд резко встал, выпрямив лишь передние ноги. И меня мотнуло назад, но я удержался. Потом он так же резко выпрямил задние, и я упал грудью на передний его горб. И караван двинулся. После этого я многое еще испытал в жизни, но скажу, что нет ничего более выматывающего душу, чем езда на верблюде, день за днем. На ночных стоянках караванщики разжигали костер. Я сидел, стесняясь, в сторонке. Потом они присылали ко мне коротконогого чумазого мальчонку, который, тоже страшно смущаясь, выкрикивал одно слово: «Шай!» (что означало «чай») и убегал обратно.

Я подходил к их казану, вежливо кланялся. Набирал в свою кружку кипятку, и уходил обратно. Вообще, стеснительность была одним из моих главных недостатков. Наша квартирная хозяйка говорила про меня: «Гера — он такой... Лишней воды не выпьет!» Такая моя характеристика мне запомнилась на всю жизнь и часто мешала. А в словах квартирной хозяйки я чувствовал досаду. Видимо, она надеялась на какие-то наши отношения с ее больной, но очень симпатичной дочерью — однако, дальше дружеского общения я не шел. Наш караван поднимался в горы и по ночам становилось все холодней. К счастью, я захватил солдатское одеяло и на ночевках спасался им. Наконец, мы доехали до городка Кентау. Оттуда я еще добирался верхом на лошади, что после езды на верблюде казалось мне счастьем. Сельский начальник этого района был необыкновенно высокий и злой казах. Когда я, согласно моей задаче, спросил у него про сенокосилки, он резко ответил мне, что никаких сенокосилок нет, поскольку заготовкой кормов никто не занимается, животноводство тут всегда было пастбищное и никаких запасов не делали. Все пастухи, раньше пасшие гигантские стада, принадлежавшие баям, теперь стали колхозниками

и умирали от голода. Особенно я почувствовал это в южно-казахстанском городке Аулета, где я на следующий год руководил посевной, Я нарезал участки для посева, и сеял прямо в образовавшиеся за зиму болота, чтобы была влага для семян. Вскоре болота пересыхали, и я еще прикатывал их сверху катком, чтобы верхний слой был твердый и оставшаяся влага не испарялась. Однажды я, получив на неделю вперед огромный каравай хлеба (рука едва доставала до низу), нес его в гостиницу. Вдруг я услышал сзади быстрые шаги — какой-то человек гнался за мной. Я резко повернулся к нему лицом. Видимо, он хотел вырвать у меня каравай. Но из-за моего маневра промахнулся и, пробежав по инерции еще несколько шагов, упал в пыль. Когда я нагнулся к нему, он был уже мертв. Видимо, он был одним из несчастных, изголодавшихся людей, которые из степи добирались сюда, в надежде хоть чего-то поесть, и тут умирали. Рано утром по городу ехала специальная повозка, собиравшая по улицам умерших. В одно и то же время она проезжала мимо гостиницы и из под рогожи всегда свешивалась чья-то рука или нога.

Мои посевы ржи и ячменя взошли хорошо и дали небывалый для этих мест урожай. Но когда я вернулся в эти края зимой, меня охватило отчаяние.

Казахи всегда были кочевники. А тут они были лишены юрт и поселены оседло в так называемых «зимовках». Это были хижины, сложенные в один кирпич из необожженой глины. В своих поездках мне не раз приходилось ночевать в этих насквозь промерзших сооружениях, в которых казахи теперь проводили короткую, малоснежную, но весьма суровую зиму. Кто-то грустно назвал эти хижины «ледяными дворцами», и название это распространилось. Все зерно, которое я с таким энтузиазмом учил их выращивать, безжалостно отбиралось и вывозилось. Стад у них давно не было — этот способ существования был признан «классово чуждым». Чтобы не умереть с голоду, они были вынуждены весь зимний день разыскивать в поле одиночные случайно оброненные зерна и к вечеру набирали их горстку на всю семью. Разводили прямо в хижине огонь, жарили эту горстку семян в казане, и долго их грызли. Потом укладывались ногами к огню, и засыпали. При этом я, словно какой-то сказочник, рассказывал им о передовых методах земледелия, высоких урожаях и всеобщем изобилии. Из таких поездок я приезжал не слишком удовлетворенный. Арипов и не требовал от меня бодрых рапортов, он все прекрасно понимал. Мои друзья тоже все

больше разочаровывались в своей работе. Зато все больше преуспевали по части развлечений. Помню, как нам в Чимкент приехал Омский театр оперетты и выступал в парковом театре. Мы как-то быстро подружились с артистами и, главным образом, артистками. Однажды, когда после долгого совместного возлияния я решительно пошел домой, друзья мои, не сочтя нужным вовремя остановиться, угнали какой-то грузовик, и всю ночь вместе с актрисами с громкими воплями носились по главной улице. Наутро все они были арестованы. Правда, актрис почти сразу же отпустили, поскольку друзья мои мужественно взяли всю вину на себя. Дело назревало серьезное — грузовик оказался военный и даже какой-то секретный. Им грозил политический процесс. А чем это заканчивалось, мы уже знали. Их временно выпустили, мы посовещались, и я пошел к местному уполномоченному НКВД Сергею Кречетову. К счастью, мы вместе играли с ним в волейбол. Он был капитан сборной города, и мы с ним очень хорошо понимали друг друга на площадке. Он был хороший парень, и я объяснил ему, что никакой политической подоплеки в действиях ребят не было, одна только молодая дурь. Подчиненный Кречетова, человек пожилой

и очень злобный, резко возражал, но нам удалось его подпоить, и дело замяли. Однако, вскоре произошло нечто гораздо более серьезное. Ночью раздался стук в наше окно. Я выглянул и увидел Петра Чугунова. Мы с ним вместе учились в институте, а потом он работал неподалеку от нас в Туркестане. Он сказал, что поругался со своим начальством и уехал, поскольку не согласен с тем, что делается. Он был голодный, усталый, немытый. Я дал ему умыться, накормил его. Мы проговорили всю ночь. Оба мы считали, что надо менять жизнь. Но выводы, как выяснилось, сделали разные. Утром он ушел, сказав, что поедет к родителям в Гурьев. Я дал ему денег и еды. Через несколько дней Арипов собрал всех нас и сообщил, что молодой сотрудник из Туркестана Петр Чугунов арестован при попытке перехода турецкой границы. И органы разыскивают тех, с кем он встречался перед этим и кто ему помогал. «Хорошо, что его не было у нас», — как-то очень многозначительно произнес он. На очередной волейбольной тренировке мне показалось, что Кречетов как-то мрачно поглядывает на меня. Тучи сгущались. Но главное — я чувствовал полную бессмысленность своего существования, и все большее непонимание с моими коллегами.

Я убеждался, что молодость с ее радостями кажется им вполне достаточным основанием для того, чтобы ни о чем больше не беспокоиться. Меня же такое положение дел решительно не устраивало. Чимкент был город благоустроенный и красивый. Но из него моя родная Березовка казалась мне раем — там у каждого человека каждый день был наполнен осмысленным трудом. Хотя я понимал, что и там сейчас идут те же разрушительные процессы. Смириться, и жить как все, далеко не заглядывая? Вот коллеги мои почти что счастливы радостями обычной жизни. Чего же хочу я?

Мои мучения отражались и в моей личной жизни. Все друзья уже нашли себе подруг, зачастую вполне привлекательных, и вскоре собирались обустроить нормальное существование. Я тоже встречался с женщиной, ее звали Мария и она работала у нас в ОБЛЗУ бухгалтером. Она была разведена, у нее было двое детей и свой дом с вполне налаженным бытом. Ко мне она относилась хорошо. Мы гуляли с ней в парке, после чего она не раз приглашала меня к себе домой, но я каждый раз вежливо отклонял приглашение. Я понимал, что если брать на себя обязательства, то нужно оставаться здесь навсегда.

У нас в учреждении была подписка на «Сельскохозяйственную газету». И в очередном номере я увидел объявление о наборе в аспирантуру во Всесоюзном Институте Растениеводства в Ленинграде. И этот номер почему-то оказался у меня на столе. Теперь я думаю: не Арипов ли мне его подложил? С годами я все больше осознаю его роль в моей жизни. Он явно выделил меня из всех и надеялся что-то из меня сделать. Вообще, период жизни в Чимкенте я не стал бы окрашивать целиком негативно. Там я как-то отстоялся и многое понял. Главное, что в жизни всегда есть возможность поменять ее и подняться выше, но многие не видят этой ступени, или боятся ее, или ленятся, и в конце концов все их возможности сводятся к нулю. Я же не мог с этим смириться, и в отличие от многих имел желание и силу двигаться выше. И это я почувствовал именно там, за что я благодарен этому городу.

Я поговорил с моим другом Сергеем Быковцом, с которым мы вместе приехали сюда, и под моим влиянием он тоже решил ехать в Ленинград. Для меня было некоторой неожиданностью, что Арипов наотрез отказался нас отпустить. Поначалу я обиделся, но потом понял, что как начальник он абсолютно прав. Когда понимаешь мотивы

своего противника — легче жить. Жизнь уже не кажется тебе сплошной несправедливостью — к сожалению, слишком многие скатываются к таким убеждениям, и их ждет судьба неудачников. А жизнь всегда оставляет какую-то щель. И надо суметь ею воспользоваться, пока крышка не захлопнулась. Так же произошло и тут. В те годы несанкционированное бегство с места работы могло закончиться весьма печально. Но тут — улыбка судьбы: именно нам с Быковцом пришли повестки — явиться в Алма-Ату на трехмесячные воинские сборы! Тут уж никакой Арипов не мог ничего сказать. Мы устроили прощальный вечер, который прошел очень весело. При этом я сумел договориться с наиболее душевным из моих друзей, Васей Захарченко, что если я ему напишу, он продаст принадлежащую мне мебель и вышлет деньги. Куда — я не стал уточнять, речь шла как бы об Алма-Ате, но хитрый Вася все понял, и подмигнул. Шаг наш, конечно, был отчаянный, но я понимал, что впервые за последние месяцы я делаю что-то нужное, и это придавало мне силы. Перед самым отъездом я пригласил мою знакомую Марию на прогулку в городской парк. Мы разговаривали о разных пустяках. Потом я проводил ее до дома и поцеловал ей руку.

Она посмотрела на меня и заплакала. Но уже ничто не могло поколебать моей решимости. Иногда я думаю, кем бы я стал, если бы остался в Чимкенте? И никакого применения моим научным идеям там не нахожу.

В Алма-Ате, не заходя ни в какой военкомат, мы сразу же поехали на вокзал и купили билеты до Ленинграда с пересадкой в Москве. Там, пока мы любовались красотами московской вокзальной площади, которая показалась нам великолепной, у моего спутника украли чемодан со всеми вещами и деньгами. И пришлось мне принимать его на мой кошт.

Исаакиевская площадь в Ленинграде с огромным собором еще больше поразила меня. До этого в Саратове я видел лишь невысокие дома и небольшие церкви. Мысль о том, что теперь я буду проходить тут каждый день, наполнила меня ликованием — ведь рядом в роскошном здании находился Всесоюзный Институт Растениеводства — цель нашей поездки. И действительно, на этой площади я бывал потом множество раз, можно сказать, что здесь состоялась моя судьба — в ВИРе я вскоре защитил кандидатскую диссертацию по пшеницам, и на другой стороне площади, в «Астории» мы вместе с великим Ни-

колаем Ивановичем Вавиловым отмечали успех. И когда мы, разгоряченные, вышли из ресторана в сквер проветриться, я стал доказывать Вавилову, что через три года выведу новый сорт. Он, смеясь, говорил мне, что так быстро сделать это никому еще не удавалось. Но мне удалось. Но до этого еще произошло многое. А в первый раз в ВИРе нас с Быковцом приняли не особенно радостно, сказав, что мы приехали без всякого вызова и наши шансы крайне малы. Кроме того, приемные экзамены в аспирантуру начинались лишь через месяц. Но, видя наше искреннее огорчение, над нами сжалились, и дали направление в общежитие, которое находилось на Саперном переулке. И мы поселились в доме, с которым у меня теперь тоже связано много воспоминаний. Так, после тихой моей Березовки и сонного Чимкента я оказался в самом красивом месте одного из лучших городов мира — уже ради одного этого имело смысл стараться и рисковать.

Но ликование было недолгим — я уже тогда понял, что жизнь никогда не щадит тебя и шлет испытания самых разных твоих качеств. Вскоре кончились деньги. Кроме того, в ВИРе сообщили нам, что прибыло уже достаточно кандидатов в аспирантуру с самыми солидными

рекомендациями, а поскольку мы не имеем даже официальных направлений, наши шансы практически равны нулю. Казалось, надеяться было уже не на что. Возвращаться в Чимкент не имело смысла — там мог нас ждать только арест. Быковец предложил поехать в Саратов. Там было все знакомое и родное. Кроме того, многие наши соученики там работали и могли нам помочь.

Мы уже купили билеты на поезд. Но почему-то в день отъезда я предложил съездить в Петергоф, посмотреть знаменитые фонтаны, и несмотря на возражения Быковца, мы поехали. Там была уйма народа, настоящее столпотворение. Кстати, произошла и интересная встреча — в толпе у Самсона, раздирающего пасть льву, я вдруг увидел Колю Антипенко. Только я раскрыл рот, как он мгновенно исчез. Момент этот очень характерен для того времени. Коля учился с нами в институте, и вдруг пришли сведения, что отец его раскулачен и сослан. И в тот же день Коля исчез. И вот — появился в толпе в Петергофе, и испугался, увидев нас. А мы с Быковцом подробнейше осмотрели все фонтаны, и в результате опоздали на поезд. Я, с рюкзаком на спине, догнал последний вагон и схватился за поручень, но оглянулся на отставшего друга. Он стоял, тяжело

дыша. И махал мне ладонью — мол, уезжай, я приеду следом... Но я почему-то разжал руки и отпустил поручень. Теперь я понимаю, что то оказалось самое главное действие в моей жизни. Мы пошли в кассу, где я вдруг сказал Быковцу, что остаюсь. Он стал убеждать меня, но в результате я вдруг пришел в ярость, рявкнул на него и ушел в общежитие. Моя невоспитанность и после часто подводила меня. Жена моя Алевтина говорила мне, что как я был деревенский вахлак, так и остался. Но зато я всегда знал, чего хочу. Разжав руки и отпустив поручень вагона, в котором менее решительный человек так бы и уехал, я получил то, что хотел. Когда, проводив Быковца, который уехал в Саратов к своей невесте, я вернулся в общежитие, в почтовом ящике меня ждал денежный перевод. Мой друг Захарченко, которому я написал, ни на что не надеясь, продал-таки мою мебель и прислал деньги! Жизнь все-таки вознаграждает твои усилия. И вслед за мелкими удачами идут крупные. Вавилов, как настоящий ученый, верил не чужим бумажкам, а своим глазам — и после пятиминутного разговора со мной приказал зачислить меня в аспирантуру.

Долгий, многоступенчатый грохот! Звонкое

дребезжание сдвигаемого стула, потом тугой скрип подвинутого стола. Отец, падая, рушит все! Давно уже доносились оттуда подозрительные шорохи... да что в них «подозрительного», было ясно — батя встает. Но я предпочитал ничего не слышать. Три часа ночи — я вполне мог бы и спать. И как всегда: не хочешь слышать шорох — услышишь грохот!

Тоже уже скрючась по-стариковски, я встал и пошел. На веранде нигде его не видать... выпал в открытый космос? Я распахнул дверь на крыльцо... но стон послышался сзади. Отец оказался в узком пространстве между чуть сдвинутым столом и стеной. Теперь и я застонал. Как оттуда его изымать, и главное — что нас ждет впереди? Сон и покой отменяются?

— Фортку хотел открыть... душно! — просипел он оттуда.

— Да? А там тебе — не душно? — поинтересовался я.

Видимо, как это ни жестоко, надо воспользоваться ситуацией и провести воспитательную работу — в более комфортных условиях он плюет на мои слова!

Ни звука в ответ. Видимо, не признает своего поражения, а так же моего права указывать ему...

Ну тогда полежи! Я вышел на крыльцо. Вдохнул душистую ночь, сладостно потянулся. Вернулся.

— Отец! Но ты понял уже, что тебе нельзя ходить одному?!

— ...Не понял, — глухо оттуда донеслось.

5

«Давно, унылый раб, задумал я побег». Жизнь наша более-менее «устаканилась»: скорее менее, чем более. Но чего ждать? В таком состоянии она может еще пребывать очень долго, но это не значит, что все вокруг должно замереть. Если и я заглохну и перестану работать, то какой будет толк, и как я смогу оказывать помощь отцу и на что будем мы жить? Надо действовать, пока хоть мои ноги идут, «рубить дрова» на предстоящую долгую зиму... Так? Мои литераторские дела — последний наш источник существования... надеюсь — он не иссяк?.. так иссякнет, если я буду тут сидеть!

Мобильник, заросший уже паутиной, вдруг засвиристел и неприятный женский голос сообщил, что в главном театре старинного русского города Покрова (где я никогда не бывал), — премьера моей пьесы! Сердце запрыгало. До этого моя пьеса шла лишь в маленьких подвальных театриках. И вот — главный театр города... хоть и небольшого. Она добавила, что если я приеду, она меня, как завлит, рада будет видеть. Но во что выльется, эта радость? Об этом я не решился

спросить. Ну, наверное, во что-то выльется, — раз спектакль!

— Хорошо... буду, — вальяжно произнес я.

Теперь это надо донести до сознания отца и, главным образом, Нонны. Отца эта мелочь вряд ли впечатлит: разве что после того, как я уеду, его некому будет таскать. И некому будет спорить с ним — без чего он, конечно, скиснет. Но что будет, если скисну я?

После аспирантуры и защиты диссертации я еще некоторое время наслаждался Ленинградом и городом Пушкиным, где были опытные поля ВИРа. Но по распределению мне надлежало ехать в Казань и заниматься просом. Просо дает один из основных продуктов питания — пшенную кашу. Особенно она была важна для армии.

Сначала Казань мне очень не понравилась. Башня казанского Кремля с нелепыми огромными часами на ней показалась мне просто смешной. Идущая от Кремля главная Проломная улица состояла из одно- и двухэтажных домов. Время от времени разносился гортанный и какой-то словно неземной крик муэдзина.

На попутной телеге я отправился на селекционную станцию. Мы долго ехали вдоль огромного казанского озера Кабан. И я думал — что будет

со мной на новом месте, сумею ли я сделать то, для чего послан сюда? Задача была поставлена простая, но трудновыполнимая — за кратчайший срок резко увеличить урожайность проса. На селекционной станции мне сразу понравилось. Администрация и отделы располагались в большой и красивой архиереевской даче. Стены были такие толстые, что на подоконниках можно было спать. Такое потом неоднократно случалось, когда гости оставались ночевать в отведенной мне комнате. Дача стояла на холме над озером и была окружена хорошим фруктовым садом. Я жил сразу за крутым подъемом дороги, над входной аркой, в бывшей надвратной церкви, превращенной в квартиру. Вид из окна открывался чудесный, были далеко видны холмы и поля. Чтобы попасть в мое жилье, нужно было пройти через несколько служебных комнат бухгалтерии и канцелярии, и это почему-то нравилось мне.

К тому моменту культура проса находилась в заброшенном состоянии. Но был конец тридцатых, и пахло войной. И вот кто-то в Москве вспомнил, что в царской армии основным содержанием солдатского котелка была пшенная каша, и было создано сразу много вакансий по просу, и одна из них досталось мне. Вначале я

обратил внимание на то, что зерна местного низкоурожайного сорта проса имеют самую разную окраску. Были зерна пятнистые, желтые, бордовые — всего около пятидесяти расцветок. Традиционно считается, что просо — типичный самоопылитель. Даже одиночное растение проса нормально самоопыляется и дает потомство. В то время как раз торжествовала «теория чистых линий». Пыльца других растений и даже тех же, но отличающихся, ни в коем случае не должны была опылять «чистую линию». Эта точка зрения торжествовала в те годы безусловно и нигде не оспаривалась. Считалось просто нелепым против нее выступать. Наиболее известные селекционеры той поры придерживались этой теории. Но меня всегда раздражали общеизвестные взгляды и теории, которые нельзя оспорить. Именно они-то, мне кажется, и тормозят науку. А ведь еще сам Дарвин проводил общебиологическое изучение этого вопроса и открыл, что растения не терпят долго самоопыления, ухудшаются и вырождаются. Не случайно местный сорт проса, который я рассматривал, имел столь разнообразную окраску зерен. Именно постоянное перекрестное скрещивание различных разновидностей дало столь устойчивый сорт, с годами не

вырождающийся и дающий стабильный, хоть и не слишком высокий результат. И меня посетила дерзкая мысль — найти ту пару, то единственное скрещивание семян разного цвета, которое дает наилучший результат! Нужно было проверить скрещивание каждой расцветки с каждой. И если учесть, что расцветок было около пятидесяти — подсчитайте, сколько таких «брачных делянок» с разнообразными парами скрещивания нужно было засеять! Но это не останавливало меня. Чем трудней достигается истина — тем она значительней. И я начал скрупулезную, и как казалось многим, нелепую работу. «Ну и чудака нам прислали!» Весьма немалое количество зерен последнего урожая местного сорта я тщательно разделял на кучки одного цвета. Потом составлял пары — каждого цвета с каждым — и высевал. Естественно, каждой делянке присваивался номер, написанный на колышке, воткнутом в угол делянки, и в специальной тетради было записано, какой именно гибрид посеян под этим номером. Забегая вперед скажу, что удача ждала меня под номером 176. Именно на этой делянке путем скрещивания образовался знаменитый сорт Казанское 176, повысивший прежнюю урожайность проса в два с половиной раза и обеспечивший пи-

тание Красной Армии даже тогда, когда в связи с началом войны численность ее резко увеличилась. Сорт этот оказался весьма устойчивым и высевается повсеместно по сей день.

Но не хочу оставлять впечатления, что это далось очень легко. У меня был очень хороший, добросовестный помощник — лаборант, татарин по имени Талип. И мы с ним проводили время в поле от темна до темна. Именно с ним, с его упорством и добросовестностью связано одно смешное, хотя и достаточно опасное происшествие. Когда мы высеяли наши гибриды и с трепетом ждали результатов, я сказал Талипу, что по правилам надо бы удобрить посевы, только тогда они покажут себя в полную силу. Но с удобрениями, особенно с минеральными, было в те годы очень туго. И вдруг Талип закричал, что знает, что нужно делать. От радости он даже раскраснелся — у татар очень нежная, розовая кожа, как правило, с очень редкой и мягкой растительностью. Талип сказал, что на чердаке казанского кремля за многие десятилетия спрессовался толстый слой голубиного помета, который представляет собой отличное минеральное удобрение. Они с братом несколько раз собирали этот помет для огорода. Но делать

это очень опасно, поскольку в кремле находится татарское правительство и проникать туда без спросу запрещено. А выносить помет из правительственного здания нам, конечно, никто не разрешит. Тем не менее, на следующее утро мы взяли мешки и веревки, и через известный Талипу полузаваленный подземный ход проникли в кремль. С важным и озабоченным видом прошли мимо многочисленной охраны — нас, видимо, посчитали за каких-нибудь маляров и не остановили. Мы спокойно вошли в главное здание. Там ходили сплошь очень важные, даже надменные люди. Слегка заробев, я сказал Талипу, что все-таки зайду к коменданту. Расскажу ему о государственном значении нашей работы. И наверняка он даст разрешение. «Хорошо, — сказал Талип спокойно. — А я пока пойду дерьмо собирать». Я нашел коменданта. С улыбкой вошел к нему и начал рассказывать, но он не дал мне говорить. Как только первое его потрясение прошло, он стал орать — кто я такой и как посмел оказаться в правительственном здании без пропуска! Я пытался успокоить его, говорил, что выполняю важное правительственное задание. «Вот только поэтому я и выпускаю Вас — иначе все могло бы закончится худо, — слегка

успокаиваясь, произнес он. — Но обещайте, что вы выкинете вашу вредную и опасную затею из головы!» Я только открыл рот, чтобы клятвенно уверить его в этом, как чуть не застыл с разинутым ртом. В окне — именно в этом окне! — показался грязный раздутый мешок на веревке — это Талип спускал наш груз с чердака! Дул ветер, мешок раскачивался, и несколько раз шарк-нул по стеклу. Комендант даже встревоженно вздрогнул, но, к счастью, не обернулся. Он и пред-ставить себе не мог, что в тот момент, когда он проводит важную воспитательную работу, за его спиной происходит такое! Придя в себя, я стал горячо рассказывать о задачах, которые ставит правительство перед сельским хозяй-ством. Комендант ерзал, но перебить такую речь не решался. За это время Талип спустил еще три мешка. Каждый раз, когда грязный раздутый мешок появлялся за спиной коменданта в окне, я с трудом удерживался от хохота и усиленно тер нос. Потом мы еще несколько раз ходили с Тали-пом в кремль, уже без посещения коменданта, и отлично удобрили наш посев.

Первое время на селекционной станции я стра-дал от одиночества, и дружба с Талипом мне очень помогла. Я не раз бывал в его доме-усадьбе,

играл с его ребятишками и мечтал, что когда-нибудь и у меня будет столько же. Вспоминаю несколько характерных случаев той поры. Однажды мы, пообедав, вышли во двор, и вдруг Талип, показывая какие-то еле видные точки далеко в небе, проговорил важно: «Гуси! Мои!» За обедом мы с ним немножко выпили (Мен пьян болады — как говорил в таких случаях Талип). И я стал смеяться, говоря, что так можно показать на любых птиц в небе, и объявить их своими! Талип, усмехаясь, молчал, а я вдруг заметил, что эти точки в небе стали стремительно увеличиваться. И через несколько секунд огромные гуси, тормозя в грязи лапами, приземлились точно в его маленький двор! «Понял? Татары никогда не врут!» — произнес Талип назидательно.

В другой раз мы стояли в сапогах на грязном скотном дворе, и прямо перед нами в грязи копошилась огромная свинья — только уши ее торчали. Я привык все оспаривать и, смеясь, говорил Талипу, что напрасно татары не едят свиней — вон какое аппетитное животное! И тут вдруг свинья с хлюпаньем вытащила свое рыло из грязи. И я с ужасом увидел, что там что-то бьется и верещит. Я успел разглядеть, что то была огромная крыса. Свинья ловко подкинула ее, поймала,

и с громким хрустом сжевала. При этом глазки ее весело и дружелюбно смотрели на нас. «Понял теперь?» — произнес Талип, торжествуя.

Я говорил уже, что завидовал его бурной семейной жизни с множеством детей, от шестнадцати лет до года, и мечтал иметь столько же. Тем более, я уже понимал, что обоснуюсь здесь надолго, поскольку мои научные интересы находят тут вполне достаточную пищу.

Свою будущую жену Алевтину я видел несколько раз в Казани на разных совещаниях, она очень нравилась мне, но заговорить с ней я не решался. Некоторую роль тут еще играло и то, что я знал — она дочь академика Мосолова, который недавно переехал в Москву и стал вице-президентом Сельхозакадемии, заместителем Лысенко. Еще я слышал, что Мосолов с этой семьей разошелся и завел в Москве другую семью. Но это не имело значения. Я боялся обвинений в карьеризме и приспособленчестве — эти качества осуждались тогда очень резко. И кто-то мог заподозрить в нашем знакомстве такой смысл. А я всегда, и особенно тогда, приспособленчество и карьеризм ненавидел.

Но вдруг она появилась на селекционной станции и поступила к нам на работу. Как-то я пришел

в столовую и встал за ней в очередь на раздаче. Мы разговорились и сели за один стол. С тех пор мы стали встречаться. Ходили куда-нибудь, разговаривали, я провожал ее домой. Я узнал, что она неудачно была замужем и имеет маленькую дочку. Но это не остановило меня, тем более ее дочка мне понравилась и она быстро, по-детски привязалась ко мне. Помню, как мы однажды гуляли с ней по парку архиереевской дачи, и я заметил среди ветвей директора станции Косушкина, у него была длинная доха. Я спросил дочку, видит ли она его и кто это такой? Она ответила, что видит, но не знает, кто это. Я надеялся, что мы разойдемся и не встретимся с ним и сказал ей, что это Дед Мороз. Но тут мы увидели, что директор повернул на нашу аллею и идет нам навстречу. И когда мы сошлись и поздоровались, она бойко сказала, что знает, кто он такой. Он был новый директор и ему было приятно, что даже дети узнают его в этой должности, но когда он услышал, что он Дед Мороз, громогласно расхохотался.

Скоро появился и сын Валерий. Когда он родился, я очень обрадовался, был горд, и послал ему в родильный дом письмо, начинающееся словами: «Слышишь ли ты меня, сынку?!»

...Слышу! — пробормотал я и встал.

— Ты сегодня уезжаешь? — спросила Нонна.

— Да.

Она резко повернулась, ушла. Видимо, курить. Или плакать. Что одинаково бесполезно — и то, и другое меня уже не задевает. Меня нет. В эти короткие минуты покоя надо быстренько решить, как одеться. По идее — надо бы костюм, галстук: как-никак, премьера моя, торжественная церемония. Но по опыту знаю — все можно вытерпеть, любые унижения и издевательства; почему-то вышибает у меня слезы лишь ситуация, когда я еще к тому же торжественно одет! Сколько раз я уже оказывался элегантным мудаком, зачем-то торжественно одетым по последней моде — и для чего? Для кого? Больше мы на это не попадемся. Небрежная курточка — случайно заехал, ни о чем существенном и не слыхал даже, так — заглянул. В таком облике ужасы как бы идут мимо — ты вообще тут приезжий, в Москву проездом на верхней полке... Вот эта замшевая курточка достаточно мятая (так, небрежно зашел, ни к чему не готовясь), и достаточно легкомысленная (проезжая на курорт, весь уже в счастье, и ничто уже не может испортить тебе его). К зеркалу подошел... Годится! Немножко слишком уж мятая...

но это целиком на совести Нонны, которой у нее нет, — так что вопрос исчерпан. Теперь надо быстро решать, сколько брать денег из заначки — по идее, меня там ждет торжественный прием, но идеи редко сейчас сбываются. Нюхом чую, все будет не так, как я ожидаю. Хотя я и не ожидаю, фактически, ничего, и все равно — будет, даже не так, как я *не* ожидаю, а все наоборот. Смутно. Муторно. Поэтому возьмем смутно-муторное число денег, чтобы ни то ни се — такое вот и оказывается в самый раз. Вот такой смутный увалень явится на премьеру — и она будет, думаю, соответствовать ему. А мчаться туда в несусветном сиянии — это значит удариться рылом об столб. Потаенный опыт — может быть, даже засекреченный. Что все так хреново — виду не подаю. Зато знаю — что даже эта курточка мятая слишком шикарной окажется для предстоящей встречи — подошел ватник бы и треух. Но появляться в таком виде, соответствующем истинному положению дел, пока не решаюсь. Надо держать марку — перед Нонной и перед отцом. Потому, фактически, и еду. С большей охотой валялся бы в пуху. Оптимистическая версия (в которую не верю) — безумная пьянка с актерами, влюбленными в мою пьесу. После всеобщего их падения в салат

— призывный взгляд перезрелой трагической актрисы. Распушенные волосы перед зеркалом. Рыдания по поводу коварства мужиков и судьбы, в промежутках — сами понимаете... но боюсь, что реальность мало будет на это походить. Поэтому стоит, черт возьми, немалого мужества туда поехать — трепещу как лист. Поэтому звание эгоиста и негодяя мне даже льстит, из последних сил марку эту поддерживаю!

Все! Я нырнул!.. Через веранду, однако, пришлось пройти. Отец безмятежно спал, положив огромные свои ладони под голову... слишком безмятежно: раза четыре, если по запаху судить, стоило бы ему проснуться! Но это уже все... в прошлом! Меня, фактически, нет! Нонна пришла с крыльца, со слезами на глазах... от ветра, видимо... или от дыма?

— Ты чувствуешь? — воскликнула она.

— Что именно? — я холодно осведомился, уже с сумкой в руках — ... То, что ты накурилась, как паровоз — это чувствую.

— А это? — боязливо повела дрожащим подбородком своим в сторону бати.

— Ах, это... — я откинул его одеяло... все мокро. — Ну это пусть пока будет так, — сообщил с улыбкой.

— ...Так?

— Именно, — ласково уточнил.

— И так... жить?

— Ну а как же еще? Если иначе вы не умеете — значит, так.

— И сколько же?

— Ну-у... Видимо — до моего приезда.

— А когда ето будет... твой приезд?

— Ну-у... э-э-э... — с этим нечленораздельным мычанием хотел вытечь. Но тут вдруг, сбросив одеяло, уселся отец. Атмосфера, прямо скажем, сгустилась.

— Отец!

Некоторое время он молчал, вполне дружелюбно, потом ласково осведомился:

— Ты что-то сказал?

— Сказал я, сказал. А ты — что наделал?!

— Что именно? — интеллигентно осведомился он.

— Не видишь, да? — ухватив, приподнял его в ярости, выдернул разукрашенную им мокрую простыню. Потом, снова резко посадив его, скатал трусы с его тела. Слегка отворотясь, кинул все это кучей у входа. Потом снова вздернул его.

— Не молоти отца-то! — жалобно произнес он.

— Никто тебя не молотит!.. Стой так. И вот —

бери в одну руку свою банку... прежде крышку отвинти... так. А в другую руку... свой орган бери... замечательно! О чем ты задумался? Думать будешь, когда я уйду. И будет это очень скоро! А пока — исполняй... Ну что ты опять задумался? Всю вечность я не буду под мышки тебя держать! Вот! — прислонил его к стенке... — Бывай!

...«душа лубезный», как он любил говорить.

— Ну все! Салют! — я загремел по ступенькам. Свернул за стеклянный угол веранды.

— Валера!! — остановил меня отчаянный крик. Не будь он такой отчаянный — не остановил бы. Я побрел назад. Плохая примета. И тут же сбылась!

— Валера!... он делает... не то.

Это уж точно! Плечом к стене прислонясь, ритмично кряхтел, сморщив лицо в напряжении — и банку с узким горлышком не спереди, а сзади держал! Так вот он меня провожает.

— Отец! — зашел сзади к нему, еле вывинтил у него из рук банку (весь он в таком цепком напряжении был)... и чуть не выронил ее — слава Богу, что сумел удержать: на узком горлышке банки красовался «цветок» — этакая мягкая желтая пахучая розочка... в дорогу мне подарил!

Кинул отца на кровать, санитарно обработал... Нонна зажав рот, почему-то выскочила... Теперь

«цветок». Через комнату его выносить, где наши вещи и пища, или — через улицу, на радость людям? Выбрал первый, более умеренный, скромный вариант. Зато обратно через улицу шел, мимо умывальника... на дорожку помоюсь! Тут Нонна и настигла меня.

— Не понимаю, как ты нас оставляешь!

А вот так. Дерьмо это никуда не денется — хватит и на мой приезд! Пошел. Сосенки его жалкие торчали, но грозных кольев его вокруг не было. Прошел!

6

...И тут началась война. А как раз перед ней стал я автором двух знаменитых сортов проса — кроме 176, еще на 430 делянке получился отличный гибрид, и после государственных испытаний я был признан автором двух высокопродуктивных сортов проса — Казанское 176 и Казанское 430. А я еще думал, ехать ли мне в Казань! Перед самой войной приехал я на Лаишевское опытное поле, и директор совхоза угостил меня замечательной пшенной кашей, пышной и румяной. «Это, — сказал, — Ваше 430. Очень вкусный сорт». Сеяли уже на многих полях. И назначили меня заместителем директора по науке — теперь Косушкин вынужден был за руку со мной здороваться, хотя, как прежде, был хмур.

И тут началась война. И поехали мы с моими дружками агрономами, Кротовым и Зубковым, в Казань в военкомат. Первым Кротова вызвали. Выходит — назначение в кавалерию.

Смеемся: «Устроился! Пешком не хочет ходить!» После Зубков ушел. Вернулся веселый. Точное свое назначение сказать нам, ясное дело, не мог — секретно. Но как мы поняли из его на-

меков — на юг куда-то, кажется, в Крым. Тоже посмеялись. Никто тогда не предполагал, что война такой долгой и тяжелой будет. Вызывают меня. «Ваше дело, — говорят — рассмотрено. Решено Вас оставить на прежнем месте работы — армию и страну кто-то должен кормить». Вышел ошарашенный. Говорю. Друзья смеются: «Только ты и годишься, что на свой огород!» Обнялись мы, простились. Помню, как Кротов тряхануул своими ручищами меня... после войны он уже этого сделать не мог. Тяжело было из Казани возвращаться. Алевтина обрадовалась, конечно — но все равно как-то неловко было. Тем более — со всеми простились уже. Прощальный банкет нам закатили. И тогда я сгоряча много из своей одежды раздал — в армии оденут! Теперь приходилось ходить, выпрашивать... Один мне мои же ботинки за деньги продал! В общем, смех и грех. А жизнь пошла очень тяжелая. Работать приходилось одному за двадцатерых, народу на станции никого, — ни рабочих, ни механиков, ни лаборантов — все самому делать приходилось, хотя и был я заместителем директора по научной части. И со всех сторон вдруг пошли напасти. Бедствие общее было, так что бед нам на всех хватило. Иду однажды утром в поле, на заре еще

— догоняет Косушкин меня на своей таратайке. Он на таком одноместном кабриолете ездил, и запрягал отличного рысака. «Тр-р-р! Ну что, — спрашивает, — слыхал?» Ну я, как всегда, ни сном ни духом. Все, что меня не интересовало, и в чем другие преуспевали, как-то мимо меня шло, словно в тумане. «Не от мира сего!» — так меня Александра Иринарховна, Алевтинина мать, сразу определила. «Не слыхал ничего... А что случилось?» «А то, что в тюрьму ты пойдешь!» Оказалось, кто-то в НКВД написал, что в амбаре, после того, как я просо свое посеял, осталось два мешка зерен. «Специально недосеял! Вредитель!» Кто это написать мог — не представляю. На складе Раис, инвалид работал — вряд ли он. В общем — катит комиссия. На вид, вроде, штатские. Одного из них я знал. Кучумов. До этого несколько раз его в Казани встречал: раньше он в Москве в Сельскохозяйственной академии работал, потом в армии служил. Теперь в Казань его направили, в республиканское министерство.

До этого мы, конечно, с Алевтиной подготовились, тщательно все продумав. Характер у нее сильный был, решительный — вся в академика-отца. Я признался ей, что самочинно уменьшил отверстия в «стаканах» сеялки, высыпающих

зерна, — считая, что и такое количество зерен моего проса даст вполне достаточное количество всходов. Почему у меня появилось столь дерзкое решение, да в еще столь опасную пору — не могу объяснить. Но помню, как оно появилось, и я не смог ему противостоять. Это опасное упрямство досталось мне, видимо, от отца. Но именно лишь в такие минуты я ощущал, что делаю нечто существенное, за что потом смогу себя уважать. «Ты упрямый осел!» — сказала мне Алевтина, когда я рассказал ей. После этого она буквально умоляла меня — если я не хочу оставить ее вдовой и детей сиротами — ни в коем случае не признаваться в содеянном. Где-то уже под утро я с неохотой согласился. Когда все еще спали, мы пошли с ней на машинный двор и восстановили стандартные отверстия в стаканах сеялки. Осмотрели те два мешка, что остались и могли меня погубить. Вспомнили, что шел тогда дождь. Стаканы сеялки открываются периодически, от вращения колеса. А в дождь земля мокрая, и временами колесо не крутится, а скользит юзом, и стаканы не открываются, и таким образом могло высыпаться меньшее количество зерен на погонный метр. От сотни мешков осталось два. Потянут на тюрьму? Ки-

нув на них последний взгляд, мы пошли по полю домой — подготовиться к встрече с комиссией. Помню, был красивый восход. Просо уже проклюнулось: всходы были красивые, дружные. Помню — это больше всего меня мучило — как же они будут тут без меня, ведь столько еще работы с ними до сбора урожая! Неужто не увижу этого? Алевтина сказала мне: «Давай, я возьму сейчас бабушкино варенье, и мы зайдем к Кучумову с угощеньем к утреннему чаю. Он мужик хороший и, кроме того, многим обязан моему отцу». «Нет!» «Эх ты, — Алевтина говорит, — как был вахлак деревенский, так и есть!» Мы пришли домой, и почти тут же за нами прибежал дурачок Веня — он был на станции кем-то вроде курьера. Почему-то комиссия вышла не вся, а только двое — Кучумов, и еще один, со счетами и линейкой. «Остальных в Казань отозвали» — хмуро Косушкин мне сообщил. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо. Все поле облазили. Каждый стебель сосчитали. И Кучумов написал: «Всходы соответствует норме». Вечером Алевтина мне говорит: «Ну теперь-то мы хоть зайдем к нему? Человек нас спас.» «Нет» — сказал я. Теперь об этом жалею. Вскоре Кучумов ушел в армию, и погиб. Страдал я от характера своего. Понимал, что стеснитель-

ность моя порой в грубость, а порой и в хамство переходит, в нежелание с людьми говорить. Так и осталось!

Косушкин с особым значением мне руку пожал — от него это подарок: суровый был человек. Рассказывали о нем: «Приходит он домой на обед. Молчит. Жена суетится, бегает. Знает уже — что чуть не по нем — гроза! И вот как-то раз — щей горячих налила ему, стопку поставила. Хлеб. Сидит, не ест. «Коля! Ты чего?» В ответ ни звука! Прошло минут пять. Молча встал. Вышел, и дверью грохнул... Оказалось — ложку не положила ему!» Так что — симпатия такого человека дорого стоит! Вскоре тоже на фронт ушел. Без него совсем трудно стало.

В августе — как раз посевы нужно было убирать — приходит приказ: всех работоспособных мужчин отправить за Волгу, на строительство оборонительных рубежей... Что все бросается здесь — даже не обсуждается. Враг уже близко подошел.

Собрали в Казани всех — в основном, стариков, составили списки. Меня назначили командиром сотни. Заместителем я сделать попросил моего друга Талипа, нашего лаборанта. Ему уже за шестьдесят было, но каждый год у него по ребен-

ку рождалось. «Работаю понемножку ночами!» — скромно говорил.

Посадили нас в грузовики и отвезли за Волгу, в голую степь. «Здесь будете работать.» «А жить?» «Стройте, — Маркелов нам говорит, военный инженер, — ройте блиндажи, долговременные огневые точки — и будет у вас крыша над головой. А пока еще тепло, в поле поживете.» Стали мы землю рыть, строить траншеи, укрепления. И страшные дожди тут пошли. Земля тяжелая, к лопате липнет — не отбросишь ее, приходится руками снимать. Греться негде, сушиться негде. Первое время мы ходили еще в деревню ночевать, за семь километров. Потом так уже уставали, что спали в вырытых ямах — одежду какую-нибудь постелишь, и спишь. Считали, сколько дней еще осталось до возвращения — вначале сказали нам, что на месяц нас посылают. И вот — последний рабочий день. Все уже радостно домой собираются, и тут на вечернем построении объявляют нам: все, кто тут есть, остаются еще на два месяца. Ну, тут волнения, конечно, начались, у женщин — слезы. Говорят мне мои: «Ты начальник нашей сотни, иди Маркелову скажи, чтобы на два дня домой отпустил — помыться и теплые вещи взять. Морозы ведь

начинаются.» Передаю эту просьбу Маркелову — тот начинает кричать: «Это дезертирство! Покидать строительство оборонного рубежа — преступление!» Вышел я от него. Как у нас в Березовке говорили: «Словно меду напился!» Пересказал все нашим. Молча разошлись. Но потом, видно, опять где-то собрались. Утром будит меня Талип мой — бледный, как смерть: «Егор Иваныч! Беда! Вся наша сотня ушла!» Маркелов меня, скрючась, встретил — обострение язвы у него. Сипел только: «Ответишь! Ответишь!» К счастью, связь с городом не работала. Но Маркелов поручил заместителю своему в город меня везти, когда машина приедет. Помню последнюю ночь — темную, морозную. На звезды смотрел. И сказал, помню, себе: «Если останусь жив — обязательно все созвездия выучу!»

...Тут я оторвался от чтения, даже с досадой. Не только потому, что свет в автобусе тускл, и глаза заболели — а из-за отца! «Кто о чем, а вшивый о бане!» Человек, может, больше детей своих никогда не увидит, а в последнюю ночь о том думает, что знаний не добрал! Ну что это за чудовище?.. А впрочем — я кусок его рукописи для бодрости взял. Его шкура все выдержала. А моя не выдержит, что ль?! Снова нырнул.

Под утро сквозь дремоту слышу — машина. И какие-то радостные голоса. Талип, мокрый, вбегает: «Егор Иваныч! Вся сотня вернулась!» Выскочил я, всю сотню расцеловал: «Милыи вы мои!» И про меня не забыли — от Алевтины теплые вещи привезли!

В ноябре только я вернулся на станцию — и увидел с ужасом, что и просо, и рожь, и пшеница лишь с краю убраны, остальное гниет! Косушкин давно уже на фронт выпросился, а без него я, оказывается, директором считался... «Срыв уборочной». Об этом радостно сообщил мне такой Замалютдин Хареевич — вместо меня, уже уволенного, недавно назначенный. А то, что я на укреплениях был — это Министерство сельского хозяйства не касается. То совсем другое ведомство. Поехал в Казань я, в республиканское министерство. И там вдруг сам министр сельского хозяйства обнимает меня: из Москвы только что грамота мне пришла — за высокий урожай моего проса в целом по стране! Потом открывает он такую маленькую дверку в стене, а там у него — бутылок целый арсенал. Возвращаюсь на станцию, Хареевич на меня как на привидение смотрит: «Ты откуда? Чего?» Я так шляпу сощелкнул его. «Мен пьян болады!» — сказал.

Так... Стены крепостные! Теперь моя битва пойдет. Вышел. Посмотрел на часы. Рано еще. Боишься? Вдоль высокой стены с зубцами спустился к широкой реке. Наконец-то я немножко оторвался от быта, есть чуток времени подумать. Себя вспомнить, свой сюжет. Он уже вполне определился жизнью, надо лишь записать. Сюжет не самый победный, но мой. И если до конца его прописать, будет поучительным. Но только вот когда написать... и кому подарить?

Недавно был я на шведском острове Готланд, в международном писательском доме. Создан он для дружбы писателей разных стран, однако долго я не мог вписаться в эту концепцию. Заглядывал воровато на общую кухню — там гвалт, хохот, звон бутылок. Никто не видит меня. Раз я такой неприметный — вообще перестал ходить туда. Покупал еду в гипермаркете за крепостной стеной, приносил в свою скромную комнатку и за неимением холодильника хранил в пакетике за окном, прижав пакетик рамой, доставал время от времени, грустно ел. И так бы провел месяц, и уехал бы подавленный и ничтожный, но «не было б счастья, да несчастье помогло». Однажды ночью налетел шторм. Крыша звенела, с громким хрустом что-то ломалось вокруг. Утром затихло.

К окну подошел. Увидел — моего пакетика с едой нет, оторвало ветром! Высунулся, увидел, что весь газон под окном закидан сучьями и мусором. И среди хлама мой пакетик разглядел! Метнулся туда. Выдернул его, распахнул — слава Богу, все на месте — и сыр и колбаса. Стал жадно есть. Чуть успокоившись, поднял голову, и — о, ужас! — писатели всего мира через стеклянную стену кухни с изумлением смотрели на меня... до чего дошел русский писатель: мусор ест! Объясниться пытаясь, я показывал рукой на пакетик, потом бил себя в грудь — мол, мое, мое! Но этим еще большее изумление вызывал. Ушел в комнату. И после долгих страданий понял вдруг — да это же хорошо! Это же рассказать можно! А потом — написать! И пришел вечером на кухню — все сначала с испугом глядели на меня, но тут я сел в кресло, и все рассказал — как я прижимал рамой пакетик, и как его унесло... Успех полный. Оценили сюжет. Не только сюжет — поступок! Все, выручая меня, наперебой стали рассказывать, какие еще более нелепые люди — они. Литовский поэт рассказал, как он, гуляя в тоске и одиночестве по заливу, камешки по ровной поверхности пускал. И камешек в очередной раз подпрыгнул, и прямо в голову утке попал! Та заверещала,

забегала по воде. «Убил! Убил!» Литовский поэт спрятался в комнате, и неделю не выходил, боясь, что местные любители природы его растерзают. Немецкий классик рассказал, как однажды в задумчивости сел в чужую машину, абсолютно не похожую на его собственную, и приехал домой, где был схвачен полицией, которой трудно было что-либо объяснить. А финский драматург рвался еще более нелепое о себе рассказать... Стены рухнули! Все потом говорили, что это самый веселый вечер за весь месяц тут был. Ведь самое приятное людям — почувствовать, что добрые они, и я, в дурацкий оборот попав, предоставил им такую возможность. Такая работа.

В Париже, во время книжной ярмарки, выйдя из ванной в номере, какой-то пакет увидел, прилепившийся к босой ноге. Отлепил. Президент Франции приглашает через полчаса на встречу с ним и Путиным! Как же я этот конверт раньше-то не заметил?! Лихорадочно оделся, кинулся вниз. С лестницы увидал, что за стеклянными дверьми автобус отъезжает с умными москвичами. Кинулся вниз — и с разгона впечатался лбом в стеклянную дверь! Вообще-то фотоэлемент должен был успеть дверь открыть — но я опередил, видимо, скорость света — настолько спешил

президентов вблизи увидеть. Вместо этого упал, изумив весь персонал — видимо, то первый случай был соприкосновения человека с дверью, мой личный рекорд. Успел к тому же заметить я, перед тем как упал, что и москвичи этот казус заметили, отъехали радостно хохоча... Но не тут-то было! Испуганный портье меня поднял, в кресло втащил, принес из бара мешочек со льдом. Сидел я, приложив ко лбу мешочек, пронизывающий холодом, и думал горестно: и в Париже непруха! Да куда ж ты денешься от себя?! И вдруг я увидал надо мной вежливо склонившегося красавца во фраке. «Вы русский писатель есть?» По виду догадался! «Есть... немного» «Я должен вести вас во дворец... где остальные ваши коллеги?» «Уехали». «Но на чем? Здесь стоит официальный автобус, который прислал президент!» «Не знаю, где они. Поспешили, видимо» «Но вы, надеюсь, поедете?» «Да пожалуй, да!» В результате я промчался через Париж в президентском автобусе с эскортом мотоциклистов. Полицейские отдавали честь. А быстрые москвичи, прибыв с опозданием во дворец, были несколько удивлены, что я их там встречаю.

В сущности, и пьеса моя о том же. Как герой-горемыка, сдавая квартиру, получает череду бед.

Причем первый же съемщик его тут же пересдает квартиру второму, второй — третьему и т.д. И как герой, уступая всем, оказывается победителем.

Половину солнца закрыло длинной тучей, и огромный разлив реки разделился надвое — одна половина светлая, жемчужная, неподвижная, вторая — темная, неспокойная, рябая.

Под обрывом прожурчал и стих автомобильчик. Из него вышел могучий мужик в хаки, в широких резиновых сапогах. Раскатал, как коврик, резиновую лодку. Стал подкачивать ее, наступая на педаль. Шлепанье голенища сапога и сипенье насоса не нарушали тишину, а наоборот, подчеркивали ее. Ожил я, у реки... раздышался. Встал.

У театра, построенного в размашистом стиле «купеческий модерн», чеченцы торговали белорусским товаром. Покупатели были наши. Я тоже купил зачем-то будильник, поддерживая, как говорится, отечественного производителя... Ну все! Надо идти!

— А Маргарита Феликсовна ушла!

— Как? Она же мне встречу назначила! Премьера тут как бы у меня... Я приехал...

— Без понятия! — гордо вахтерша произнесла.

— А вы ничего не путаете?

— Я давно уже ничего не путаю!

Зазвенел телефон.

— Маргарита Феликсовна ждет вас! — послушав трубку, произнесла она так же гордо. Никакой нестыковки между первой частью разговора и второй она не почувствовала. — Пожалуйста, вот туда.

С протянутыми руками, в кромешной тьме, я щупал стену на узкой лесенке — наконец, стена подалась — заветная дверка!

— Маргарита Феликсовна?

— Да? — с удивлением посмотрела на меня. Совсем иначе, видимо, меня представляла. Но я-то как раз такой ее представлял — измученная интеллигентка, ненавидящая свою рабскую должность. И что все тут ужасно — сходу читалось в ее лице. А раз все ужасно, лучше вообще ничего не делать — будет беда. Но раз уж я приехал!.. придется порадовать. Я просто застонал внутренне. Точно так все и видел издалека!

— Э-э-э... — произнесла задумчиво. Не знала, видимо, с какой неприятности начать. Но я сам пришел к ней на помощь.

— Я, наверное, должен сдать Вам билет?

— ...Билет... Билет... какой именно?

— На автобус... на котором я приехал сюда.

— А-а-а — тут лицо ее даже просияло. Эта-то неприятность как раз не пугала ее! — Вы, видимо, имеете в виду оплату проезда?

— ...Видимо, да.

— А-а-а, — совсем обрадовалась, — это не ко мне!

У меня, мол, для Вас свои неприятности... а это так!

— Это к директору. Но сейчас его нет.

Сочла необходимостью чуть умерить мое горе, объяснив:

— Понимаете — сегодня у нас в городе выборы — так он там.

— А-а-а. Понимаю! Тот спектакль, видимо, важнее? — неловко пошутил.

И был холодом встречен. Видно, директор ее сражался как раз на стороне прогрессивных сил. Сказал неудачно. Конечно, теперь ни о какой оплате билета речь не может идти... Вообще — начало неудачное. Но и конец, я чувствую, не подведет!

— Так... теперь о премьере, — собравшись с духом, произнесла она. Я тоже собрался с духом. — Николай Альбертыч не сможет присутствовать... у него дела... Но стиль вы его сразу почувствуете, так что незримо... он будет на сцене. Не удивляй-

тесь... э-э-э... некоторым особенностям спектакля. Пьеса для него — лишь основа... А скорей — даже нет!

Тот рыбак, поди, трех лещей поймал, пока мы тут истязаем друг друга.

— Сейчас я проведу Вас в зал, — с мученической улыбкой она встала. — Но присутствовать на спектакле тоже, к сожалению, не смогу.

Какое-то массовое бегство! Один я, что ли, буду там?

— Не беспокойтесь... какое-то количество билетов продано, — прочтя мои мысли, бледно улыбнулась она.

Опять какими-то темными лесенками мы вышли в зал. После привычной уже тесноты он поражал величием. Купеческий размах. Но задействованы были, почему-то, лишь уголок сцены и, соответственно, примыкающий к ней кусок зала. Все остальное было погружено во тьму. Спектакль еще до начала поражал. Три полосатых матраса — два стоя и один лежа — декорации спектакля. Поражаюсь мужеству пришедших — и пока еще не ушедших зрителей. Будь моя воля — я бы сразу ушел. На матрасы я и дома могу смотреть. Маргарита Феликсовна уже смылась... повернулся — а ее уже нет!

Приехал! На послабление жизни надеялся... тихую ласку. Не будет уже послабления тебе!

Начали хриплой музыкой... По ходу спектакля я все яснее понимал, почему Альбертыч не хочет общаться со мной. Все перевернуто! Второй акт шел почему-то первым, после перерыва — начало. Так что нелегко было врубиться, как говорит нынешняя молодежь. Все мужские роли исполняли женщины, и — наоборот... Но как-то все же дышала «расчлененка» — зал даже реагировал порой. Все же весь мой текст он не выкинул, и это сказалось. В конце даже похлопали — но на сцену почему-то не вызвали меня. Актеры, похоже, даже не знали, что я тут. Сурово! А я-то в сладком бреду представлял себе пьянку с актерами, ласки перезрелой премьерши... Жди! Главную женскую роль, как я прежде отметил, мужик исполнял!

Маргарита Феликсовна уже рядом юлила.

— Попробуем к Николаю Альбертычу зайти?

— А что — это так сложно?

Мучения, видать, еще не кончились мои.

— Нет. Просто — он против был вашего приезда.

Ну просто все тут полно тихой ласки!

— ...Зайдем.

Если кто-то думает, что меня можно извести

— тот глубоко ошибается.

Мастер сидел перед телевизором ко мне спиной, и так и не повернулся.

— Николай Альбертыч! — моя фея робко произнесла.

Мастер не повернулся. В глаза Джорджу Бушу в телевизоре глядел.

— Автор... — пролепетала фея.

— А. — Не оборачиваясь, протянул мне руку через плечо.

— Простите, — жадно ладонь его ухватил, и бережно потянув на себя, вместе со стулом уложил его на мягкий ковер. — Извините!

Бесшумно вышел. Он, что интересно, так и лежал, не шелохнувшись. Зато Маргарита Феликсовна оживилась — впервые в ней зажегся какой-то огонь! Как девочка, выскочила вслед за мной, кудри растрепались ее, глаза сверкали.

— Что вы себе позволяете?!

Я молча уходил.

— Как я Вас понимаю! — уже на улице воскликнула она — ...Знаете — моя мать тяжело болела. Куда ж я могла уйти? Вот — впервые иду по улице... раньше только бегом!

— А что... было с ней?

— ...Возраст. Девяносто четыре!

— Сколько и мне!.. в смысле — отцу моему. И... уже все?

Кивнула.

— А он... еще ходит у вас?

— Да фактически нет.

— У нее тоже с этого начиналось... Памперсы?

— Да пока еще нет.

— Как же вы обходитесь?

— Да никак, пока что... придется купить.

— Берите английские.

— Хорошо.

Много батя застал: дореволюционные пеленки — и памперсы, двадцать первый век!

— Дальше очень быстро пойдет, — проговорила она.

— Что?

— ...Все. Дальше все очень быстро... начнет отказывать.

— Как?

— Увидите! Могу Вас до аптеки довести.

А я еще волновался, что приехал зря!

— А Вы... одна со всем справлялись?

— Да.

Зашли. Отоварились... Родным человеком оказалась! Купил две упаковки памперсов, громко шуршащих... Этот Попов везде найдет, что

урвать!

— До автобуса еще долго... могу Вас по монастырю провести. Когда-то я там экскурсоводом работала.

Длинная многоарочная звонница. Могучий храм.

— А это что?

— Это театр у нас под открытым небом... Николай Альбертыч тут «Годунова» ставил... Вообще — постановки под открытым небом удаются ему...

Река уже гасла. Тянуло прохладой.

— Его даже пригласили в Казань, на праздник тысячелетия... помогаю сценарий писать ему.

— Казань?! А я там родился! А батя — работал там! Сорта свои вывел. На какой-то там доске высечен, говорят...

— Я Николаю Альбертычу скажу. Нам нужны персонажи... А то — он предложил им Ивана Грозного, а они говорят: «Нет».

— Батя вполне Ивана Грозного заменит... он Татарию от голода спас! Было бы здорово его привезти!

Памперсы громко шуршали. Убрать их некуда было. Но не в этом беда. Один мужик, скажем, телевизор вез. Но не в этом дело! Главное — что

билетов не было, ни на один автобус! Они тут уже полные шли — из Пскова, Пушкинских гор. Касса даже не открывалась. Наконец я вышел прямо к автобусу, деньги протянул. В результате я делил кресло с огромным омоновцем, тот наваливался на меня дикой тяжестью... Только памперсы и спасали — между нами догадался их воткнуть.

...В Питере, что удивительно, сияли огни, люди вовсю еще гуляли. После темного автобуса было странно... видно, дню этому не суждено еще кончиться.

Подтвердилось. Промчась через город, на Финдляндском я пересел на Комарово. Моя спешка мне что-то не нравилась. Снова за окнами шла тьма, озаряемая вспышками, поначалу беззвучными. И снова — немая вспышка на все небо за черным забором елей. Мы стояли на станции Белоостров, когда послышался быстро нарастающий шорох. У фонаря замелькали капли. Еще и промокну! Полный набор!.. Нет, еще не полный. Еще не знаю, что дома ждет. Не сомневаюсь, что оба члена моей семьи, освободившись от гнета моего, выступили по полной программе. Пожара пока не видать — но еще и далековато! Но пожар — примитив! Они на гораздо большее способны. Вот эта гигантская гроза — не их ли работа?

В быстро бегущих извилистых струйках на стекле разыгрались цветные огни ресторана «Шаляпин». Репино. Следующее — Комарово. Выходить. Дождь слышен даже в грохоте колес. Ярость, с какой он колотит по крыше, теперь достанется мне. Промокну мгновенно. А вот и гром. Явлюсь, как мокрая курица! А должен, как громовержец — сухой, заряженный электричеством! Стоя в тамбуре, растерзал упаковку, один памперс одел как водонепроницаемый шлем, второй — как спасательную жилетку, и лишь третий — по обычному, всунув ноги в эти ослепительные, шуршащие, влагонепроницаемые трусы. В таком наряде выскочил на перрон под струи. Народ, спрятав лица, бежал, поэтому наряд мой не произвел впечатления. Жаль, что я не так на премьеру явился — был бы гораздо внимательней встречен. Промчался сквозь ливень — только ноги промокли, а так сухой! Памперсы прошли испытания, блестяще их выдержав! Но... что-то все большая тревога охватывала меня. Все окна дачи сияли — и наши, и соседские, хотя уже второй час ночи был. Это — или какой-то большой непредвиденный праздник, или — наоборот... это скорее. Несмотря на дождь, в ярком свете отцовской веранды толпился народ: вот где,

оказывается, настоящий спектакль — а я зачем-то куда-то ездил!

— Скорей, Валера! Она его сейчас убьет! — крикнул кто-то. Я взбежал на веранду. Распахнул дверь. Стол был опрокинут навстречу мне. Слежавшиеся отцовские рукописи разлетелись широко. Почему-то они были перемешаны с разбежавшейся обувью. Не знал даже, что у нас столько ее. Из каких запасников? Впрочем — это не главный вопрос. Отец лежал на спине между опрокинутым столом и кроватью со сползшею простыней, и когда моя тень упала на него, вдруг отчаянно засучил ногами и руками, отбиваясь. Что тут произошло? Нонна спокойно сидела в комнате, глядя прямо перед собой.

— Что здесь?

— Где? — холодно осведомилась она.

Я кивнул на веранду.

— Не знаю, — она пожала плечом — Зачем-то опрокинул стол.

— Зачем ты опрокинул стол? — я навис над отцом.

— Она замахивалася на меня, всякой обувью. А я ногами махал, оборонялси.

— Ясно! — я пошел в комнату. — Уходи!

— Куда? — злобно сказала Нонна.

— Куда хочешь.

— Я никуда не хочу.

— Тогда вали на улицу! — сильно пихнул ее, и она тоже упала. Два тела на руках!

Кряхтя, поднял отца под мышки. Подержал — и некуда передвинуть его в этом хаосе. Обратно положил. Сперва Нонна.

— Уходи.

— Дождь!

— Нормально!

— Да? А ты знаешь, что он тут вытворял?!

— Главное, что ты тут вытворяла!

— Да? А он слушался меня? Только ты уехал, он сразу встал и куда-то пошел. Меня отшвырнул. И с лестницы грохнулся. Все сбежались. Он лежит в крови! «Это ты Нонна, его спихнула?» Да мне его и на миллиметр не сдвинуть! «Скажи, отец!» — я его прошу. Молчит, только сопит. Все, на меня озираясь, как на убийцу, втащили его. Через пять минут снова грохот. Тумбочку с плитками своротил! Лежит на полу, улыбается. «Чайку, говорит, решил попить!» «А меня ты не мог спросить?» «А это не твое дело!» — говорит злобно... Это пока ты еще до станции, наверно, не дошел! А что потом — я уж не рассказываю! Потом уже и люди озлобились — столько раз его поднимать!

Решили столом его и креслами задвинуть — и вот результат! — заплакала, утирая слезы грязным кулачком.

— Листы собери, — произнес вдруг отец совершенно спокойно.

Поразило меня полное его спокойствие. Казалось, только что был унижен и растерзан.

— Что? — повернулся я к нему.

— Листы собери.

...Сам лежит... как лист!.. и командует.

— Сначала тебя, отец, надо собрать... где тапки твои? Один вот... а другой?

На это не реагировал. Тапки не интересовали его. Тапки его — моя проблема. Главную команду он дал. Ползая, собирал листочки. Разной степени желтизны. Есть уже и совсем свежие — но желтые сплошь исписаны, а на новых — неразборчивые каракули, часто только в начале листа и внизу. Заметив, что я их разглядываю, спросил:

— Разобрать нельзя, что ль?

— Ну почему... можно, — ответил я, для убедительности поднеся пару листочков к лицу.

Подцепив за столешницу, поставил стол. Положил кипой листы — вряд ли в хронологической последовательности.

— Дай лист, — протянул руку с пола.

— Прямо «дай»? Может, ты встанешь сначала ?

Молчал с каменным спокойствием. На предложение мое не реагировал. Мол, это твоя уж забота, куда грешное мое тело приткнуть, главное — листы дай. Я поднял стул, улетевший почти к двери, поставил перед столом. На столешнице ерошились листы. Батю усадил. Он схватил верхний, поднес вплотную к глазам, как-то весело щурясь, разглядывал. Потом бросил его на стол, выхватил из середины. Тоже разглядывал минуты две, бросил. Повернувшись на стуле, весело смотрел на меня.

— Ты чего сочиняешь-то ?

— Ну... — я слегка застеснялся, решив, что он спрашивает про мои труды.

— Ни хрена ведь не разобрать, — кивнул на свои листки

Никакого страдания в его облике я при этом не ощутил.

Словно он с какой-то мелкой оплошкой столкнулся, а не с концом всех дел. Наоборот — я в какой-то растерянности был, не зная, как и продолжить.

— Да-а-а, — произнес он, — придется...

Он задумчиво умолк. Неужели скажет — «это цело кончать»? Вот тогда энергия его действи-

тельно окажется неуправляемой, и уж покрутимся мы! Сейчас сила его в этих листочках, как жизнь Кощея в яйце, а вот ежели она вся на нас обрушится — тогда попоем!

— Васько надо звать, диктовать ему! — произнес он несколько сокрушенно. Единственное, что огорчало его *сейчас*, что придется диктовать любимому ученику, не полностью, к сожалению, одобрявшему последние его открытия в области теории. «Нету *полностью преданных*, полностью разделяющих!» Вот что бесило его сейчас! Слабое слово — «огорчало». «Бесило» — вот! Что у его ученика, тоже уже профессора, могут и свои быть дела — отцу даже в голову не приходило!

— Мыло дай! — сказал он резко.

По полной неожиданности — не понял его. Потом вспомнил, что «мылом» он грубо называет мою пенку для бритья с запахом флер-д-оранжа.

— Ты что? Бриться решил? Третий час ночи!

Да-а-а, богатый сегодня день!

— А что — поздно, что ль?

...Если верить Маргарите Феликсовне — и врачам... то неизвестно, сколько раз он успеет еще побриться...

— Давай! — протянул ему новый цилиндрик пенки.

Нонна, переживая свое поведение, ходит на дожде под вспышками молний, и скоро полностью смоет с себя вину. Отец, накрутивший душистую белую пену на щеки — счастлив, как дед Мороз. Счастлив и я.

7

— Отец! Делай все прямо туда! Не срывай их! Прошу тебя. Я их специально тебе привез! Понимаешь?

— Не понимаю!

— А что ты понимаешь?!

— Понимаю... что мне надо в уборную сходить.

— Не пойдешь ты больше в уборную! Не могу я тебя больше волочь! Я тоже старый человек! Понимаешь?

— Не понимаю.

Три дня уже продолжается эта воспитательная работа!

— Сейчас поймешь!

Взял его целлофановый баллон, с желтой солью на внутренних стенках, аккуратно поставил по центру комнаты, затем открыл дверь на крыльцо, и ударом ноги вышиб банку на улицу.

— Теперь понял? Нет у тебя больше этой штуки! И в клозет я тебя больше не поволоку! Грыжа у меня — помнишь, может быть? От тебя, кстати, по наследству досталась! Вот — памперсы! Видишь? Памперсы на тебе! Ну... давай.

Страдание искривило его лицо. Человеку,

уважающему себя, совершить «младенческую оплошность» на глазах у людей. Не дай мне Бог до этого дожить. Но тут — никуда уже не денешься.

— Ну прошу тебя! Я устал, понимаешь? Постарайся.

— ...Постарался.

— Молодец. Спасибо тебе.

За это, вообще-то, странно благодарить... но это если со стороны. А я, честно, так извелся и так обрадовался, что абсолютно искренне благодарил!

— Нонна! Подойди сюда. У нас тут есть с тобой работа.

Нонна, отворачиваясь, подошла.

— Значит так. Четко по программе. Бери мусорный мешок. Встряхни его, расправь. Положи на стул...

— А ты только командовать будешь?

— Отнюдь! Я сейчас его приподниму, и буду держать. А ты мгновенно расстегивай и вытягивай из-под него.. все это. Особенно можешь не разглядывать — быстро складывай, и запихивай в мусорной мешок. Закручивай его — и бегом на помойку. Остальное сделаю я... Приготовились!

Поднял. Натужно кряхтя, его держал. Нонна рекордно быстро сработала: минута — и ее уже нет. Если б она и другую работу так делала — но

другую работу она не ненавидит так, поэтому делает медленней.

Уфф! Отпустил отца. Чуть передохнув, повалил его набок, подтер, потом уже лиловые пролежни на заду обдал желтым жирным спреем — облепиховым маслом, растер салфеткой. Сколько пятен уже на нем, непроходящего темно-фиолетового цвета. Спрея не хватило. Тут и он их увидел.

— Да-а. Что-то я зацвел. Видно — скоро созрею...

Чистый памперс я подсунул сам, поддернул, застегнул липучками. Повалил батю.

— Спи!

— Не молоти отца-то! — произнес он жалобно.

— А что, батя — сравнимо с молотьбой?

Ночью мы неоднократно сходились с ним — он поднимался и шел в темноте, как медведь-шатун, я встречал его объятьями — через секунду бы он грохнулся! — и некоторое время мы, тяжко сопя, боролись, потом я подсечкой кидал его на тахту, держал, шепотом объяснял ему, что ходить уже нельзя, а пора уже использовать высокие фекальные технологии... он использовал. Я их ликвидировал. Мусорный бак заполнился — утром соседки убьют меня!

И опять — легкую дремоту разрывал резкий

шорох — это он срывал памперсы, и держа свой могучий орган наперевес, двигался к крыльцу — чтобы рухнуть оттуда, вслед за струей. Перехватывал его, возвращал к технологиям. Засыпал — и снова просыпался от шороха. Шел к нему, перехватывал, валил после яростной борьбы. Прятал и застегивал его вольнолюбивый член. И снова — просыпался от шороха. За эту ночь я нагляделся на орган, породивший меня, больше, чем за всю предыдущую жизнь! Потом, когда просыпаться становилось все тяжелей, я снимал и одевал памперсы, уже не открывая глаз, все делал наощупь, как слепая медсестра. Встав, как боксер после десяти нокдаунов, в очередной раз я с удивлением увидал, что сосны озарены солнцем. Славно ночку скоротали!

С очередным памперсом я вышел на крыльцо и увидел, как к ограде подъезжает вишневый «БМВ», из него выходит красавица, и фотографирует будку. Я помахал ей. Нас не так-то легко сломить! И она помахала в ответ.

Проснулся я от стука пишущей машинки. Это я, что ли, печатаю? Давно пора — уж год как ничего не печатал! Странно только — что медленно печатаю... словно учусь. И еще странно то, что машинки нет. Вот тут, возле стола стояла! На

чем же я печатаю? И как? Я поднял голову... Батя стучит? Так он ведь ни в жизнь не печатал!

Это меня даже больше изумило, чем если бы я печатать стал, после года перерыва!

— Молодец, отец!.. Только много пока ошибок делаешь.

— Машинка твоя сломана, начисто! — прохрипел. — Выкинь, другую купи!

Забыл, видно, что сам мне ее подарил, совсем недавно. Долгое время держал у себя, и позволял только на нее любоваться, когда я в гости к нему приходил. А я печатал на разных ржавых ундервудах, которые в пыльных комиссионках находил. Но напечатал, однако, немало, в упорстве немногим уступаю отцу. А этот рыжий чехол с драгоценным инструментом демонстрировался мне, словно некий недостижимый приз, который я заслужу, видимо, когда-то, совершив непонятно что. Сам отец и его Елизавета Александровна на машинке и не пытались печатать, поскольку пропадали на своих делянках от зари до зари. Появилась она у них, когда какое-то благоустройство сложилось, а до этого отец, изгнанный из ВИРа в Суйду и оказавшийся один, спал там на дощатом топчане и приезжал к нам в город только по выходным, крючась от язвы. Мать страдала

— но и ее можно понять — мы заканчивали школу, в вузы поступали, а отец жестко требовал, чтобы мы всей семьей переехали в Суйду и жили среди полей, а мама не соглашалась. Спасибо ей! И как неизбежность, появилась Елизавета Александровна — практикантка, потом знатный селекционер. Квартиры, полученные рядом, соединились в одну. Коллектив советской селекционной станции не осуждал их нисколько, а наоборот, всячески поощрял. Парторгом там, помню, был милейший, благообразный Титов, которого старушки соседней Воскресенки, родной деревни Арины Родионовны, принимали за священника: «Батюшка, благослови»! Был там и ядовитый Шиманович, травовед, в недавнем прошлом политзаключенный, которого отец, будучи директором, взял на работу в пятьдесят пятом году, когда еще шли слухи о новых «посадках». Был там уютнейший Василий Архипыч, семеновод, специалист по зерносушилкам, с которым мы выловили всех щук в неказистых соседних речках, насмешник и анекдотчик, составляющий вместе со своей Любовью Гордеевной вариант «старосветских помещиков» — именно у них спасался отец, пока не соединился с Елизаветой Александровной. Среди пустынных полей, ко-

торые так меня угнетали после города, когда я ездил к отцу, расцвел чудесный цветник интеллигентов-специалистов, прекрасно понимавших друг друга и ценивших отца. Вот уж, действительно — «Не пойдешь — не найдешь». «Георгий Иванович, когда что-нибудь просит, ужасно стесняется, прижимает руку к сердцу и кланяется», — говорил мне Наволоцкий, гениальный «пшеничник». Видимо, суховатым и холодноватым отец казался только мне. Может, на меня влияли страдания матери, уязвленной и раздавленной уходом отца, плюс переживания моей любимой бабушки Александры Иринарховны, брошенной мужем-академиком примерно так же — только он перебрался не в Суйду, а в Москву... а теперь та же история с дочерью и ее детьми! Вскоре бабушка с горя умерла... Но если отец даже точно не знал, когда его-то собственный отец умер — что тут какая-то бывшая теша!

Когда я приезжал к отцу, он обычно сидел в холодном своем кабинете среди тусклых алюминиевых коробок с зернами, в пальто и шляпе, и торопливо писал. При моем появлении он весело таращился, показывая, что видит меня — но пера не оставлял. И пока не заканчивал страницу (или главу) — пера не бросал. Лишь закончив,

плашмя звонко шлепал ручку на бумагу. «Видал миндал?» — произносил свою любимую победную присказку. Слегка стесняясь, он притягивал меня рукою к себе, произносил почти шепотом: «Ну как ты живешь?» — и не дожидаясь ответа, бодро поднимался и вел меня на поля. Не видел бы его трудов — ни за что бы не поверил, что в этих продуваемых ветром унылых просторах закопано столько энергии и ума! Рожь — ей пришлось ему заниматься, переехав в Суйду, была самой распространенной и самой запущенной культурой. «Рожь высокую», которая к осени падала и спутывалась, крестьяне брали серпами, а комбайн сквозь эти джунгли пробиться не мог — получалось, что рожь сеять уже нельзя. Отец скрестил великаншу с коротконогим дичком, хитро обведя его вокруг пальца — так, что кроме короткого стойкого стебля он ничего предкам не передал. Но иногда, через поколения, он заявлял о себе: вдруг появлялись образцы — вылитые отцы, не только коротконогие, но и с хилым, осыпающимся колосом. Нужно было еще раз «провести» его — отец использовал тогда «клумбу» — обходя, со мною вместе, бескрайние поля, отбирал и аккуратно выкапывал лучшие экземпляры и высаживал их на стороне вместе, переопылял,

получал «элиту». Я терпеливо ходил вместе с ним, с унынием чувствуя, что он возлагает на меня надежды... но надежды его оправдал не я, а аспирант Васько, приезжавший по утрам из Гатчины на мотоцикле, весь забрызганный грязью (особенно встречные поливают, — жаловался он), и — сразу же вместе с отцом залезающий в пыльные заросли. Я, мучаясь, сидел на краю канавы, твердо решив все-таки отстоять свою непричастность — тогда я твердо был уверен, что это — не жизнь.

Иногда отец вроде понимал, что не только лишь о гибридах и сортах надо говорить с подрастающим сыном — что-то, наверно, и другое интересует его. Специально, думаю, он повел меня в сельскую баню. Стыдливо вдруг сунул намыленную мочалку мне между ног, пробормотав: «И похаб три... не забывай!». В бане я и так был красен — но тут побагровел еще больше. «Что еще за слово такое... деревенское он сказал! Можно, наверно, было сказать это как-то иначе!» Но — как? А он, тоже сделавшись еще красней, продолжил: «И эту... штуковину свою... береги. Если тебя будут учить как-то баловаться с нею — сразу уходи!» Тут пот прошиб нас обоих окончательно. Помню, что стыдно мне было вовсе не

из-за темы — с друзьями мы вели гораздо более смелые разговоры. Стыдно было из-за отца, из-за его неумелости, торопливости. Все, небось, думают про нас: «Спохватился батя! Перед ним уже взрослый мужик сидит — а он ему детские вещи рассказывает! Где же ты батя, раньше был?» Вот чего стыдно было мне — а отнюдь не темы. Воспитание в этом направлении он продолжил в тот же день. Провожая меня на станцию — на этот раз мы были в огромном темном поле совершенно одни — он вдруг проговорил лихо, заканчивая какой-то эпизод: «В общем, как Василий Архипыч говорит — за двумя зайцами погонишься — ни одного за яйца не поймаешь!» Это значило, по его понятиям: вот мы с тобой разговариваем, как два взрослых мужика, порой и соленое словечко можем ввернуть. Все нормально! Но некоторое время после этого мы не могли смотреть друг на друга, стыдясь вовсе не зайца с яйцами (во дворе мы посильнее закручивали) — а именно этих торопливых попыток сближения, выглядевших жалко. Надо отдать должное отцу — мучился этой темой он недолго, и уверенно соскользнул в разговор, где не испытывал ни малейшего смущения — только восторг. «Тут у меня получены инте-рес-нейшие результаты!» — и спихивал ме-

ня с утоптанной дорожки в темные заросли ржи — и во тьме, и с закрытыми глазами он мог найти в бескрайнем поле все, что интересовало его, и даже вовсе не искать, а сделать шаг — и ухватить нужный ему колос. Тут уже ничто не смущало его — к примеру, что сын его промок, и может опоздать на последний поезд!.. «Интереснейший результат!» Вот что важно, остальное — пустяки!.. Вроде бы, ничего не вынес я из тех мучительных своих поездок — и селекционером я не сделался, и половое воспитание получил не там... Но то пребывание в темном бескрайнем пространстве, под огромным небом, как-то осталось во мне.

Но главное — все, что я сейчас вспомнил, я должен удерживать в распухшей голове. Отец прочно узурпировал машинку — не подойти. Сперва стучал сбивчиво, неуверенно — но постепенно вдруг разошелся — сплошной треск. Смело приобретает новый опыт. На девяносто пятом году. За леском, где чеченские наемники строили дачу кому-то, тоже послышался стук — батя всех поднял на трудовую вахту! И даже дятел прилетел на сосну, и начал долбить — трудовой всеобщий подъем. Только я не при деле. И уверен, кстати, что отец отнюдь не воспоминания свои печатает. Только науку! Только наука интересует его!

Я подошел. Как раз несколько рычажков букв, торопливо нажатых, сцепились перед листом, и отец, запустив туда палец, пытался этот узел разорвать. Не смущаясь хрупкостью устройства — он и колосья свои так же хватал, видимо, сразу чувствуя их цену, прикосновением подушечек пальцев... Но тут-то он не понимает ни черта — в гневе сломает. Я расцепил яростно сцепившиеся клинки букв, отодвинул машинку.

— Отец. Ты хотя бы сначала спросил, как пользоваться.

Вылупил дикий глаз. Не признает, никакого чужого опыта! Резко рванул к себе машинку.

— Счас кончу!

Глянул я безнадежно на его текст... Наука! «Если в потомствах наблюдается большое разнообразие, или между потомствами наблюдается невыравненность, то пересадки растений повторяются...» Безнадега! На лирические воспоминания, на чувства трудно его «подловить». Не ловится! Помню, пытался я взять верную уж тему — как они с Елизаветой Александровной сблизились в Суйде, и были вместе потом сорок лет... Глухо!

«Ну что, — неохотно заговорил. — Помню, как она впервые появилась у нас. Было это в шесть утра перед конторой — на нарядах, где рабочих

и технику распределяли...» «И что?» «Ну... первое время она нападала на меня... что я их отделу селекции картофеля мало выделяю техники и людей. Ну а я отвечал, что сорта Наволоцкого и Титова находятся на государственных сортоиспытаниях. Поэтому главное внимание — им...» «Все? Ну — а потом?» «Ну а потом... я постепенно понял, что она неплохой специалист». Все. Так что «на чувства раскручивать его» — бесполезно. Крепок дуб! Жили они при этом нормально. Помню, показал мне однажды свою статью в журнале, всю сплошь, как грядка морковкой, утыканную восклицательными знаками. «Что это?» — удивился я. «Да это Лиза читала», — простодушно ответил он. Так что какие-то чувства допускались! Когда Елизавета Александровна погибла (в старости левый глаз ее не видел, и с этой стороны и налетела машина) — отец через некоторое время вдруг спросил у меня: «Как ты думаешь — мертвые еще слышат?» «Не знаю. Может быть. А что?» «Я тогда, у остановки стоял около Лизы... но ничего не сказал».

Стучит!.. Нет — отвлечь его может только запах обеда! Разогреваем «тот еще суп»... Так. Ароматы, кажется, начинают достигать его ноздрей: стук машинки замедлился, и прекратился вовсе. Я

поднял крышку: отлично! Сейчас подаем. Обернулся — и обомлел. Он, сияя огромным своим «кумполом», уже тут был, за круглым столом!

— Отец! Из-за тебя меня кондрашка хватит! Ты как оказался здесь? Эти твои «перелеты»... чреваты, если ты не понял еще!

— Я по стульям крался, — пояснил он — за ручки хватался.

— Понял. Только ты больше так не делай.

Сидел. Сиял.

— Наливай, Нонна, — сдался я.

— Наливай, мамаша, щов — я привел товарищов! — усмехнулся он.

Мы молча, но шумно ели. Откинулись, наконец.

— Я сделал тут... важное открытие! — цыкнув зубом (капуста застряла), сообщил он.

Дня у него без открытия не проходит! Некоторые из них просто безумны!

— Отец! А ты не хочешь, все-таки, в больницу лечь?

— Не-а.

— Пач-чему ?

— Помню — раз ходил я к врачу... перед войной еще, кажется.

— Но война-то давно прошла! Шестидесятиле-

тие Победы, если не ошибаюсь, отпраздновали!

— ...Сказали мне номер кабинета. Нашел его. А там написано — доктор Гибель!

Отец захохотал.

— А уже после войны, кажется... Да! Алевтина послала, посоветоваться насчет лысины. Сижу, жду. И вдруг выглядывает доктор в халате. Лысый — абсолютно! Кричит: «Следующий!»

Захохотал снова. Крепкие еще зубы у отца!

...Все это, безусловно, мило — но еще одной такой ночи мне не пережить! Мне и день такой трудно пережить. Знойный, неподвижный. Отец на своей теневой веранде мирно спит, подложив большие ладони под голову, улыбается во сне, как ребенок с рекламы памперсов. После бурной ночи имеет право и поспать. Это мне не положено — сижу в жаркой комнате с тяжелой головой, то роняя ее, то снова поднимая... Не спать! Если еще и я засну — то кто нас, вообще, разбудит? И что с нами будет? В частности, со мной? Детектив «Тень дворника», действие которого я прихотливо поместил в Одессу, в безумной надежде пожить в этом славном городе этим летом — усыхает, в связи с невозможностью посетить этот город, так же как и другие города нашей прежде бескрайней Родины... Не спать! Единственно доступный для

художественного воплощения субъект лежит на веранде, и вытесняет своим пронзительным запахом и «Тень дворника», и все остальное, вместе взятое. Вот она, точка приземления, после всех моих полетов. Машинка как раз освободилась — давно мог бы это заметить. Заодно глянем, что он там настучал...

Новый устойчивый сорт дается большим трудом, терпением, и еще некоторыми качествами, которые трудно объяснить. Я бы сказал прежде всего о широте и свободе взгляда, умении увидеть то, что все боятся увидеть, поскольку это противоречит общепринятым взглядам и лучше туда не смотреть. Но мне Бог дал такую смелость, хотя многие, даже мои ученики, предпочитают называть это безумием. Я уже много раз мог остановиться на чем-то, открытом мной, а такого немало, заняться рекламой ценного открытия и выклянчивать награды, вполне заслуженные. Но мне каждый раз это становилось уже неинтересным и неудержимо влекло новое, часто противоречащее прежнему. «Тебя бы на трех академиков хватило — вовремя только ты остановись!» — говорил мне Садчиков, мой ученик, ставший академиком и одно время возглавлявший Белорусскую Академию наук. Из

метода клонирования растений (рассаживания кустов из одного зерна, в результате чего оно давало до десяти килограммов зерен), из метода, который мы с ним придумали еще в пятидесятые, и который имел чисто подсобное значение (получение достаточного материала для скрещивания), он сделал себе имя и положение. А я помираю тут на жалкой веранде, предоставленной мне моим сыном, и ни один ученик не поддержал последних моих открытий, неожиданных и часто противоречивых, и не остался со мной. Но я ни о чем не жалею. Многие, получившие почести, не сделали ничего конкретного, лишь занимались пропагандой какой-нибудь частности, порой «одолженной» у меня без отдачи, а мне удавалось сдавать на сортоиспытания сразу два-три сорта, и как правило, районировали совсем не тот сорт, на который я рассчитывал, — тут нужен именно спектр, и что-то из этого спектра пройдет. Как я их создавал? Объяснить это невозможно. Не зря на моем девяностолетии мне говорили: «Ваши методы бесподобны, но их невозможно повторить, поэтому они уйдут вместе с Вами». И мне это очень жаль — я все же хотел бы кому-то их передать. Но все предпочитают действовать по шаблонам. Долгое время у

нас преследовали генетику — теперь наступила другая крайность: никто не осмеливается поколебать ее постулаты. Пример — моя сотрудница Пугач. Работник честный и старательный, и хорошая женщина. Одно время она заведовала лабораторией генетики при открытии в Белогорке нашего института. Главным направлением лаборатории был, как я припоминаю, именно генетический метод создания сортов — но ни одного сорта таким методом создать не удалось. Гибриды, созданные скрещиванием чистых генетических линий, за два поколения теряют свою гетерозисность (вспышку качества и урожайности сразу после скрещивания). Это типичная комбинаторика — мол, сложи только кубики, и будет картинка. Ее упорно пропагандируют и сейчас — потому, что это понятно и доступно, и легко написать диссертацию, и тебя поймут и поддержат такие же, как ты, боящиеся сделать шаг с проторенной тропки, и защищенные уже званиями и наградами. Но сорт так механически «сложить» невозможно. Поэтому нет у Пугач сортов, так же как и у всех, кто слепо надеется на генетические комбинации. На самом деле скрещивание и создание гибридов — лишь начало. А сорт создается необъяснимой соразмерностью

и очередностью всех действий, что чаще всего невозможно повторить и что дается лишь интуицией и бесчисленным числом попыток. Поэтому теоретиков-генетиков, в том числе и академиков, так много, а реальных селекционеров, имеющих конкретные удачные сорта — единицы. Мой сорт ржи Ярославна районирован лишь в Ленинградской области, что говорит о его привязке к местным условиям, но зато он дает сорок пять центнеров с гектара, что на пятнадцать центнеров больше обычного. Мой следующий сорт «Былина» отличается высокой продуктивностью и неполегаемостью, но главное его достоинство — в скороспелости, что дает возможность получить до наступления нашей ранней и влажной осени первоклассные сухие семена.

Мне удалось в жизни не только создать шесть продуктивных сортов (считая два сорта проса в Казани, широко высеваемые до сих пор), но и глубже понять методы селекции. По озимой ржи это, конкретно, отбор растений в заданном направлении до цветения и пересадка их на изолированный участок для цветения и взаимного между собой переопыления. Затем — выбраковка растений по зерну и высев на изолятор и их отбраковка, так

же до цветения. Селекционер повторяет методы при каждом выпуске семян, и при качественном улучшении имеет право на оформление сорта. Но кому сейчас хватит терпения и, главное, уверенности, чтобы заниматься этим из года в год?.. Боюсь, что даже мой сын не обладает достаточным терпением, чтобы хотя бы дочитать до конца эти заметки...

Об эти буквы я спотыкнулся и чертыхнулся: ч-черт! В таком своем состоянии — и то уел! Улыбается, неизвестно чему... «Слышу, батьку, слышу!»

Последний мой сорт, который я не успел размножить и изучить, высеян, я думаю, в этом году только под окнами этой дачи, что не дает, разумеется, никаких возможностей для его изучения, и я со слезами на глазах гляжу на него.

Я вдруг тоже почувствовал резь и слезы в глазах — наверное, от долгого и неотрывного чтения.

Однако, при создании этого сорта я заложил бомбу, которая при удачном стечении обстоятельств разнесет вдребезги все привычные основы селекции.

Снова вздрогнув, я глянул на него... «Бомба»!

Как бы дачу не разнесло!

...И если я увижу в созревших растениях хоть малейшее подтверждение моей правоты — я буду счастлив и смогу с достоинством умереть.

Это мы только думаем, что мы здесь отдыхаем! На самом деле — при эксперименте его присутствуем! Посмотрел на всходы, довольно дружные и высокие... Что он там «заложил»? Он тут главный. А мы все — лаборанты его.

В лучах заката (и славы) по аллее важно прошествовал писатель Строгин, наш несгораемый лауреат, впитавший в себя всю мудрость и не оставивший ничего нам. Пора и мне о чем-то подумать. И этот день догорел... а жрать нечего. «Я сейчас, Нонна!» — крикнул, и оседлал мой ржавый велосипед. На площади у магазина кипела жизнь — шикарные «иномарки», веселые девушки... И главное — летняя беззаботность! Вздохнув, вошел в магазин — за прилавками никого уже не было. Лето! Греются. Поздно приехал. Купить удалось только мозги. Самый невостребованный товар.

— Нонна! Мозги убавь! — спохватившись, крикнул я ей.

— А я уж их давно выключила! — заметив тут

некоторую долю шутки, робко хохотнула она.

Разбудил отца, довел до стола. После сна он посвежел, улыбался.

— Я новое открытие сделал! — улыбаясь, объявил он.

Без открытий у него, как правило, день не проходил!

— Ну... так и какое же? — спросил я.

— А? — он весело сверкнул глазом: мол, говорить — не говорить? — Сделал!

— И про что же?

— А? Про смерть, — произнес он спокойно, и весело поглядел на нас.

Потрясенные столь неожиданным применением его таланта, мы долго молчали.

— Поскольку в скором уже времени мне предстоит с ней тесная встреча... я решил все продумать загодя, — сообщил он.

— Слушай! — сказал я, — с этим экспериментом ты лучше погоди.

Как бы эту темку закрыть, неуютную? Впрочем — неуютной эта темка казалась, вроде бы, только нам. Он улыбался спокойно и даже торжествующе.

— Ну — и какое же открытие? — поинтересовался я. Хотелось с ним сцепиться — как всегда,

когда он свои безумные теории выдвигал. Но тут, наверное — воздержаться лучше бы. Тема уж больно необсуждаемая.

— Надо... свое время назначить ей! Удачное! — не дождавшись наводящих вопросов, сообщил он. — Договориться, короче. Но уже не обманывать ее.

— Для кого — удачное-то? — злобно поинтересовался я.

— Ну — для себя, разумеется! Чтобы закончить все! Ну, и — чтобы и у нее все сходилось... более-менее, — уже с небрежной улыбкой добавил он.

— Ну и что? Сговорились?

— А. Сговоримся! — закончил уже уверенно и, эту тему решив, стал в кухню смотреть. — Поесть там у нас найдется что-то?

Ну что ж... это теория менее безумная, чем все предыдущие его. Ранее он — сеял, например, озимую рожь весной, яровую пшеницу — осенью, вытряхая новые, нераскрытые прежде возможности из них. И использовал!

— Ну... и как же ты будешь его... определять?

— А? — глянул задорно — А вот этим, — кивнул за окно на всходы. — Мой последний посев. И есть там одна штука... которой я горжусь! Доказать, или даже объяснить уже ничего не успею — но

чувствую — есть! — он гордо откинулся на спинку стула. Я подумал, что он скажет сейчас свою любимую веселую присказку: «Видал миндал?» — но на это, видать сил ему уже не хватило. Но на науку хватило. — Еще трубкование не началось. Потом — цветение, опыление, но я уже чувствую — есть! Созреет этот сорт — и все! Больше не имею вопросов. Не буду вам докучать. Уносите! — махнул рукой.

— Но стоит ли жестко так с производством связывать? — пробормотал я.

— А с чем — связывать?! — рявкнул он — Так подыхать?!

— Не хочу даже... при таком разговоре присутствовать! — Нонна, всхлипнув, ушла.

— Ну у тебя есть, кажется, и с чем другим связывать... твой итог? Одних дипломов твоих... полкомнаты. На них смотри!

— А! — отмахнулся своей прекрасной огромной ладонью — Это когда еще было!

— И прости, — неукротимый дух противоречия передался и мне. — Но ты уверен, что финиш этот, — кивнул на посев, — понравится тебе? А вдруг — нет? Ведь пересеять, как ты любил, уже нельзя будет!

Может, удастся все же его сбить с этой жесткой

привязки?

— Значит — вся жизнь моя — дерьмо! — заорал он. Потом успокоился, даже мне подмигнул. — Не волнуйся. Она, — смерть я имею в виду — тоже не дура!

Хитро ей подольстил.

— Гуляешь, батя! — только я и сказал.

По аллее ходил... Чего делать-то? Как-то этот... «последний праздник урожая» похерить надо! Увезти его куда-то, отвлечь. Пусть забудет свой «срок уборки». У стариков память дырявая, глядишь — и забудет, вместе с озимыми своими под снег не уйдет. Но что я могу предложить ему достойное вместо того — на что он положил жизнь... и с чем теперь хочет встретить смерть? Ничего я более достойного предложить не могу. Не каждый такое право может иметь — так увязать свою жизнь с природой. Бурный финиш придумал себе. И главное — по специальности! Такое даже медикам редко удается. И если получится у него, как хочет — уйдет с улыбкой торжества, — все сделалось, как он сказал. Другим для этого приходилось целые государства завоевывать. Или — разорять. А у бати — весь процесс под окном. И увезти его — значит, последнего азарта лишить.

Попробую все-таки. Вернулся. Он, согнувшись

к столу и даже высунув язык от старания, с изуверской селекционерской тщательностью резал таблетку пополам. Неужели — сам помнит? Ведь, вроде, в больнице по дороге сюда в отрубе был?

— Отец!

— Да? — откликнулся он любезно.

— Ты слышал — нас с тобой в Казань приглашают!

— Да? И с какой же это стати? — спросил насмешливо.

Нет. Не собьешь теперь его с «эксперимента». Упорство это и сделало его. Теперь — погубит. Впрочем — как сказать. И что считать гибелью? Для него, может быть, несбывшийся эксперимент, теория неподтвержденная, гибель и есть. Не путать со смертью! Смерть в лаборантках у него, измерения сроков созревания проводит. Может, отец еще и выговор ей даст, за небрежность! «Сильнее, чем Фауст Гете!», — как вождь говорил.

— Давай отложим... эксперимент твой. Тысячелетие Казани в сентябре! А ты там — национальный герой... всю страну накормил в трудную пору. Скоро специальное приглашение получим.

Альбертыч! Не подведи!

Презрительной усмешкой встретил батя этот

пассаж. На славу он никогда не разменивался.

— Что-то в течение последних семидесяти лет я не получал от них никаких известий! Что это вдруг?

Не собьешь его! С «последнего эксперимента» не выбьешь. Даже в Казань — где все лучшее было у него. Но у него теперь лучшее — здесь. Где гипотеза его проверяется. Век бы мне ее не слыхать! И когда это он придумал ее? Видимо, когда я был в отъезде, и идеи его не мог разбивать. Теперь уже поздно, похоже.

Надо, наверное, срочно на почту идти, с Маргаритой Феликсовной связаться, и с Альбертычем через нее... чем черт не шутит — вдруг позовут? Туда, конечно, не доволочь мне его, но зато, может, это в сторону его отвлечет?

Феликсовна, ясное дело, изумилась безумно. Никак не думала, что после такого приема снова ей позвоню. Но вот есть, оказывается, такие любители. О встрече мечтаю. Исключительно — в Казани! Держалась сухо — но растопил ее, постепенно, мой энтузиазм. «Представляете — человек в войну гениальный сорт у них вывел. Даже два! Тысячелетие празднуют, а ему — почти сто уже лет!» «Так вы думаете... Георгий Иванович сам может приехать?» «...Не уверен... но я

все расскажу про него! Главное — приглашение пришлите!» Крепко озадачил ее этой вспышкой чувств. «Ну хорошо... запишите тогда мой факс. Пришлите основные сведения о Георгии Ивановиче. Я Николаю Альбертычу покажу...» Вот и сойдутся Богатыри!

— Все, отец! Едем в Казань! Звонил сейчас — нас там ждут! Бурно готовятся... потрет твой рисуют, три на два!

— Ой ты боже мой! — произнес он насмешливо.

Не собьешь!

— Ну тогда в больницу ложись! — рявкнул я. У меня нервы тоже имеются!

— В больницу? — недоуменно поднял бровь, словно впервые про такое заведение услышал. — Но друг же твой сказал, что не надо в больницу! Ну — который в больнице нас принимал, по дороге сюда.

Помнит! Хотя в несколько фантастическом виде.

— Какой друг?

— Ну — вы вместе в школе учились. Он еще к нам домой приходил. Не помнишь, что ли? — уже закипая, произнес он. — А сейчас в больнице нас принимал... но не принял.

Новый его закидон! Но лучше сейчас с ним не спорить, организм его не трепать. Я сам-то уже не узнал бы школьных своих друзей — полвека прошло. А он уверяет, что узнал! Ну пусть. Ладно. «Комар живет, пока поет».

— Вот только фамилию его не могу вспомнить! — как бы сокрушенно произнес батя. Куражится! Хочет превосходство свое показать. — По полтаблетки тот велел — и все в порядке!

Потом мы сидели с отцом на крыльце. Солнце стекало, плавилось в соснах, но жара не спадала.

— Ой! Как я купался — в речке Солар, в Ташкенте, где мы в двадцатых годах от голода спасались! Кидались с высокого обрыва, прямо в водопад! — отец рубанул своей огромной ладонью. — Речка ледяная, стремительная была... выскакивали ошарашенные! — и вниз по водопаду нас мчало! Помню — за водопадом натяжной мост был, упругий, и там молодая женщина ругалась с каким-то мужиком... аб-солютно пьяным! — почему-то со счастливой улыбкой произнес отец. Видно — на таком расстоянии любые воспоминания сладки.

...Мужик тот все руками размахивал, что-то доказывал, и вдруг — брык! — прямо под перилы, и в речку упал! Женщина сбежала с моста, побежала туда, где вода резко поворачивала, в скалы

упираясь. Мужик пытался там выбраться, женщина палку протянула ему, но он сорвался, и его дальше понесло — в белой пене совсем исчез. И тогда женщина прыгнула, прямо в платье, и тоже там скрылась. И далеко уже вниз по течению все-таки выкарабкались они. Одежда прилипшая. Разделись, сели сушиться...

Отец, улыбаясь, смотрел туда.

8

— Поезд пойдет через Сестрорецк! — объявил сиплый голос.

Бывают же подарки судьбы! Люблю эту дорогу — хотя она выпадает редко, когда чинят основной путь.

В отличие от прямого, привычного, этот, окольный, оставляет ощущение какого-то сна. Поезд почему-то беззвучно, без привычного грохота, идет по широкой привольной дуге, и кажется, что он наконец-то съехал с опостылевших рельсов и катит свободно, как душа велит. Ты летишь прямо посреди огородов — слева и справа вплотную к поезду свисают высохшие помидорные плети, сверкают целлофановые домики теплиц. Мощные женщины с руками по локоть в земле иногда распрямляются, стоят, но тихого нашего поезда словно не видят, будто он такая же привычная и удобная вещь на огороде, как ржавая ванна с водой.

Потом поезд проходит по краю широкий зеленый луг, всегда почему-то пустынный — только на самом горизонте из низких кустов торчит огромное несуразное здание с закрашенными

белилами окнами — словно нежилое. Хочется думать о нем самое необычное — маршрут этот дарит какое-то отрешение от забот, словно отпуск, и хотя время он берет почти такое же, как прямой путь, но вдохнуть свободы и даже счастья позволяет всегда. Например — вот я спокойно понял, что этот странный и как бы недостижимый дом на горизонте — та самая больница, где мы однажды уже были с отцом и, похоже, снова будем опять. Так что осмотреть ее с разных сторон не мешает. Как однажды сказал отец, зайдя вдруг ко мне (тогда мы еще жили отдельно): «Был сейчас в крематории. Провожали профессора Галину Ивановну Попову. На всякий случай все там осмотрел, подробно». Усмехнулся. «Ведь когда самого привезут — ни черта уже не увижу». Больница показалась всеми боками и медленно опустилась за горизонт.

Этот выезд мой — первый за последние два месяца. Находился при бате неотлучно, и только лишь эти две огромных клеенчатых сумки с грязным бельем, которые я едва волоку, даровали мне временную свободу.

Когда было солнце — быстро стирали, сушили на веревке между сосен (на одной из них на большой высоте было железное кольцо — по легенде,

приделанное для гамака Ахматовой и за эти годы поднявшееся, вместе с ее славой, так высоко). Потом зарядили дожди, и сушить батины вещи прямо из-под него на электрической батарее было душновато. Сладковатая вонь заполнила хату, и главное — белье оказывалось скукоженным и все таким же пахучим и грязным. И вот я с двумя плотно набитыми тюками был командирован к стиральной машине «Индезит». В момент переезда отца к нам его сбережения попали под знаменитую инфляцию — и покупка машины была попыткой спасения хоть части его средств. А вот теперь — без нее бы пропали. Конечно, памперсы играли свою роль — но доставалась не только памперсам! Вот — два могучих полновесных тюка... даровавших мне этот праздник. Ловок я, однако — взволнованно объяснил, что при дожде вещи все равно не проветрятся и не высохнут — не стоит и стирать, надо ехать. И как только, убедительно это доказав, выехал — сразу сквозь туман проступило солнце — и у деревянных домов (совсем близко) — сушилось белье и шел пар из темных мокрых досок. Ловко я провел всех: когда надо мне — дождь, когда добился своего — солнце! Давно забытая моя репутация известного ловкача и пройдохи очень бы помогла мне сейчас

— как раз чего-нибудь такого, бодрящего, сильно мне не хватало последний год. Батя сильно-таки меня согнул. Сейчас лежит, уже почти не вставая, но ведет себя спокойно и уверенно, словно бы слегка на время прилег. «Дай!», «Узнай!», «Где ты был?.. Не мог ты там быть!» Понимаю, что он мудр, а если бы он впал в панику — вот тогда окончательно бы все рухнуло, завалился бы и я! А так — мне тоже приходится быть орлом, рядом с таким батей! «Орел степной, городской, междугородний и международный» — как дразнила меня одна моя знакомая из Москвы. Но когда это было! Взлететь теперь, с двумя тюками белья, тяжеловато будет!.. Попробуем.

Недавно отец отмочил — в буквальном и переносном смысле этого слова. Сидя за машинкой, я вдруг с ужасом увидал, что он как-то слез с крыльца и пошатываясь, идет между сосен. От долго лежания он был всклокочен и встрепан, одежда сдвинута, перевернута. Как раз оказавшиеся за частоколом любители Ахматовой обомлели: чья же эта столь экзотическая тень? У ближней к частоколу сосны отец остановился.

— Валера! Что он делает! — донесся вопль жены.

Покачавшись и найдя равновесие, отец скатал

до колен шаровары, зашуршал памперсами, и — хрустальная струя сверкнула на солнце. Потом отец усмехнулся — казалось, его мысли далеко, вряд ли он думал о бедных экскурсантах — неторопливо натянул штаны и побрел назад. У крыльца с распростертыми объятьями встречал его я. Уже привычное отчаяние последних месяцев всколыхнулось... но лишь чуть-чуть. Чувствовал, что это лишь цветочки — дальше еще круче пойдет: так что чувства лучше приберечь! В оправдание отца скажу, что это оказался последний самостоятельный его выход — после этого он лишь лежал и сидел. Кто знает, как мы распорядимся последним своим выходом?.. А перед этим был такой: я, по его просьбе, выводил его к цветущей ржи. Батя словно дремал у меня на руках, глаза его были полуприкрыты... «Забыл он, что ли? куда я его веду?» — думалось мне. Опустил его на приготовленный стул — отец так и не шевелился. Ну все? Прощание окончено, можно волочь его назад ? И вдруг — «отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы» (одно из любимых стихотворений отца). Он впился страстным и даже гневным взглядом в крайний росток. Чем он так его прогневал? По моим скромным познаниям, все было на месте — вот

эти черные мешочки с пыльцой — мужские половые органы, а торчащие липкие хвостики, на которые должна прилипать пыльца — наоборот, женские. Еще я помнил, что «своя» пыльца не годится — должна обязательно прилететь пыльца соседей, — перекрестное опыление у ржи. Призрачное, полупрозрачное облако как раз и реяло над плантацией. И вдруг отец, зверски ощерясь, стал хватать длинные липкие кончики, отрывал и отбрасывал их. Кастрировал, отбраковывал какие-то растения — быстро и, видимо, безошибочно. Обратно я волок его чуть живого — нелегко дался ему его последний трудовой подвиг! Большую часть времени он теперь спал. Я переехал за его стол — глядел то на него, то на его записи.

Когда отец наш был на войне (первой империалистической, надо понимать?), *все у нас заболели тифом. Сначала заболели старшие брат и сестра — Николай и Татьяна. Они болели так долго, что у них даже образовались пролежни. Мать и самая старшая, уже замужняя сестра Настя были в поле, потому что нас нужно было как-то кормить. А я все дни и ночи находился у изголовья заболевших с миской мелко наколотого льда. Когда они просяще открывали рот, я насыпал им*

ложкой на язык некоторое количество льдинок. Время от времени я спускался в погреб и возобновлял запасы. Когда они стали поправляться, тут заразился и заболел я. И болел я даже сильнее, чем они — может быть, потому что был младше. Потом мать мне призналась, что поскольку я не поправлялся и становился все хуже, за мной даже перестали ухаживать. В крестьянстве потому и рожали столько детей, что многие умирали еще в детстве. Я лежал в хате в одиночестве и помирал. И вдруг я приподнялся и широко открыл глаза. Была ночь. Но в хате никого не было. Я еще подумал, что, наверное, все ночуют у соседей, чтобы не заразиться от меня. В окно светила яркая луна. И я почему-то знал точно, что это не сон. У низкой двери в хату стояло ведро с водой, а над ним на гвоздике висел жестяной ковшик. И я вдруг понял, что я потому все вижу так ясно, что сейчас должен умереть. Эта мысль так испугала меня, что я стал из последних сил пытаться приподняться. Помню, что у меня появилась мысль (довольно неожиданная для пятилетнего), что смерть забирает лишь тех, кто не двигается, а если движется — то, значит, живой, ей не принадлежащий. Я старался двигаться, как мог — в основном, извивался. И тут я с удивлением — и

восхищением — заметил, что ковшик на гвозде стал раскачиваться — сначала слабо, а потом все сильней. И раскачавшись сильно, и как-то весело, он вдруг слетел с гвоздика и нырнул в воду в ведре. И сразу же бодро вынырнул и поднялся. Все это было абсолютно реально — через край его переплескивалась и шлепалась на пол вода. Продолжая как-то весело раскачиваться, он подлетел ко мне и остановился у рта. Я схватил его руками и жадно стал пить. Вода была холодная и очень вкусная. Потом я сразу заснул. И со следующего утра я стал поправляться. Все удивлялись и говорили, что произошло чудо. Но про прилетевший ковшик я никому не рассказывал, боясь, что меня засмеют. Я и так среди ровесников-ребят считался безудержным фантазером, и не раз дрался, обижаясь на насмешки.

А теперь я сидел над отцом с лекарствами и питьем. Несколько раз я вызывал «скорую» — отец почти переставал дышать. Но как специально к их приезду садился на кровати и довольно внятно говорил. Сняв кардиограмму и выписав новые лекарства, они уезжали — и батя тут же вырубался, лежал чуть не бездыханный — и так сутками подряд. Однажды лишь, когда я стал задумчиво рассматривать его банку какао,

философски размышляя, что вот, скоро и мне вступать на эту стезю, а какао, говорят, как раз напиток долголетия — он вдруг разлепил один глаз, потом приподнялся, и вывинтил у меня из пальцев какао! И поставив его рядом с кроватью, снова уснул.

...И впервые за это время я выбрался — с двумя сумками грязного белья. Но в нашем возрасте особенно привередничать не приходится. Много лет я замечаю уже, что счастье и покой испытываю лишь в общественном транспорте. Кругом милые люди... и больше ты их никогда не увидишь.

И пейзаж за окном радовал своей дикостью! На привычном, прямом пути все уже было рассчитано и расписано. На мосту через речку Сестру я четко решал: перестать думать о неприятностях дачных. У странного, покрытого кафелем дома на станции Левашово я разрешал себе начинать думать о неприятностях городских... Невелика свобода. А тут — все какое-то дикое, незнакомое. И даже не знаешь сперва, о чем думать. Вот — остановка. Серая выцветшая деревянная «трибунка»-платформа торчит из зарослей камыша. Ни души, и лишь шумит метелками ветер. На таких станциях — воспаряет душа, вспоминает, что в жизни — вовсе не один путь, а много разных... и

о большинстве из них ты даже не догадываешься. Чудная дорога! Даже цивилизация подступает какая-то другая. Надпись на глухом бетонном заборе: «Печник. Стаж работы — 70 лет». Была бы печь — обязательно бы глянул на этого печника! Но нет у меня печи! А у кирпичного здания бывшей тюрьмы сходятся все пути в один, и плоский Финдляндский вокзал всегда одинаков — по какой дороге не едь!

Метро. Невский. Подъезд. Дверь. А вот и машина «Индезит» — формальная цель моей поездки... Это ты почему-то надеялся, что будет формальная, а получается — главная. И похоже — единственная! Потыкал автоответчик. Тишина. И то радуйся — что с дачи никаких известий нет. Вот оно счастье-то: на автоответчике — ноль. Счастье, конечно же, скромное... но ты и сам небогат. Развязываем тюки... да-а... когда-то я считал свою жизнь удавшейся, а квартиру — роскошной. Не предполагал, что здесь такие запахи раздадутся! И это — еще не твои запахи. А будут и твои. Глянул на часы. Так: пять минут положил на философские размышления... Вполне! Пора приникнуть к циферблату — машинному: программа стирки, температура воды, время отжима... Не менее увлекательно. Закладываем. Врубаем.

Время пошло. Как мы шутили в молодые дни: до трех часов — секс, после трех — мучительный самоанализ. Но думал ли когда, что время воспарения духа будет так ограничено — и даже не черточками на часах, а делениями на стиральной машине?.. Кстати — тратишь время зря — два деления абсолютно бесполезно прошли! Загуляюка я, делений на пять! На больше, к сожалению, не получится... да я и не хочу! Откопал в столе записную книжку. Стал листать. Так... Это мог бы быть интересный звонок. Но тут в пять делений явно не уложимся. Тут делений на восемь, не меньше, чувств. Так... этот звонок — деления на два. А что я пустые три деления делать буду? Нет... Вот этот номерок — пожалуй, на пять делений. Кстати — одно деление уже прошло: вода булькает, барабан крутится. Крутится диск... «Алле!» Сперва, как положено, молчание. «Извини — все никак не мог позвонить»... «Батя лютует?» Вот это правильная формулировка! Сколько раз она выручала меня! «Батя лютует» и «Мама приехала». Когда жизнь тисками сжимала — только это и выручало. «Мама приехала» — это отзвучало уже. Но «батя лютует» по-прежнему, и даже еще сильней. Открыл только рот, но тут на следующее деление перещелкнулось, машина загрохотала,

затряслась. «Отжим». Совершенно я позабыл, что последние два деления такие бурные! Врешь! Прекрасно знал! На это и рассчитывал: абонента еще слышно, но тебя — нет. С упоением слышал слова: «негодяй», «сволочь»... даже сладко жмурился. Давно ничего подобного не заслуживал. Для меня это — мед. Машина, дернувшись, умолкла. Стрелка — на красной черте. В трубке пошли гудки. Точность! Последняя виртуозность.

Пауза... А вот это — главный звонок! Слышу по звуку. Труба зовет!

— Что ты орешь? Какие вьетнамцы?

Под ногами хрустели ампулы. Кресла, которыми я задвинул отца, были раскиданы... но батя как чистый ангел спал!

— Откуда я знаю — какие? Приехала «скорая», а в ней — вьетнамцы. На каком-то птичьем языке говорят.

— Практиканты, наверное?

Ведь здесь, вроде бы, не Вьетнам?

— Откуда я знаю? Один только русский был... водитель.

— И что?

— Когда я вызывала, отец, вроде не дышал. Приехали. Я была изумлена. По птичьи лопоча, эти... взломали ампулу... сделали укол. Потом

— еще два. Тут отец вроде ожил, и стал кричать: «Умоляю — приступайте к докладу! Умоляю — приступайте к докладу!» Эти вьетнамцы по-русски не очень-то понимали, но испугались, наверное, глаз его — мутных... и каких-то безумных. Отошли от него, залопотали. Тут водитель рявкнул на них: «Ну что? Испугались? Забираем дедульку!» Те ринулись на него. А он стал ногами отбиваться — да так зло! Таким я и не видела его! Прям так ногами сучил, словно на велосипеде гнался! Даже зубы оскалил! А потом... — Нонна вдруг осеклась, и даже вдруг покраснела. Лет сорок нашей с ней жизни я уже такого не видал.

Первое, что мне в голову пришло:

— Испачкался, что ли ?

— Это да, — согласилась она как-то спокойно. Раньше эта тема больше волновала ее. Но она еще сильнее продолжала алеть.

Что он мог такое учинить, на старости лет, что Нонна, женщина тоже уже не молодая, зарделась так ?

— Ну?! — мне это уже надоело.

Нонна еще больше зарделась.

— Он еще... жуткую частушку какую-то пел. Ногами так бил... и выкрикивал. Говорить?

— Говори.

Нонна потупилась... потом подняла взгляд... и тоже стала выкрикивать, ритмично. К концу частушки ее придушил смех, и она прикрылась сморщенной ладошкой: «...Подойду-ка я с милашкой к комитету бедноты!.. Отпусти ты нам, начальник... на полхуя еботы!»

Я изумленно поглядел на отца... Вот так профессор! И прямо как ангел спит!

Возмущение перешло в восхищение. Сколько я еще не знаю-то про него!.. и уже не узнаю.

— Ладно. И что в конце?

— В конце... ничего.

— Вот это ты умеешь, — я взъярился, — чтобы в конце... было ничего!

— А я-то тут при чем? Это он, — кивнула на отца, — виноват!.. Вьетнамцы... в ужасе разбежались. А водитель захохотал. «Ладно! — говорит, — если ваш дедулька на такое способен — значит, жизни его в ближайшее время ничего не грозит! Поехали!» И уехали они.

Нонна вздохнула. Потом, поднеся ко рту кулачок, снова прыснула.

— М-да... Погуляли вы тут неплохо, пока я там... стирал. Кстати — развесить надо. Ладно — я сам.

Я вышел на волю. Развешивал не спеша. После всех этих... впечатлений отдышаться надо. Какой

тут воздух! Особенно по вечерам. Жить бы да жить! Мне бы тоже не мешало добавить сил!

Потом сидел рядом с батей... Подежурю чуть-чуть. Может, еще что-то яркое о нем узнаю!

Все годы войны меня командировали в колхозы, в разные районы страны — я должен был учить оставшихся в деревнях людей выращивать мое высокоурожайное просо. Много разного мне там пришлось увидеть и пережить. Особенно мне запомнился один случай. В одном колхозе мы закончили уборку проса очень поздно — было катастрофически мало техники и людей. Я задержался там почти на месяц, и очень волновался — что переживает моя семья? Почта там не работала, телефон тоже. Наконец, я добрался до маленькой станции, через которую должен был проходить поезд на Казань. Люди, ждущие там, предупредили меня, что поезда, как правило, проходят переполненные и даже не открывают дверей. Поэтому, кстати, даже касса не открывалась и не продавалось никаких билетов. Но мне обязательно надо было ехать, поэтому, когда ночью подошел поезд, и двери не открылись, я встал на подножку вагона и уцепился за поручни. «Ты же умрешь от холода!» — кричали мне, но я не отвечал и даже не оборачивался. Висеть было

очень тяжело, к тому же у меня на спине был довольно большой рюкзак с пшеном, которое я вез, чтобы накормить мою семью, поскольку питание во время войны было довольно скудное. Всю ночь я проехал так, и закоченел настолько, что не чувствовал ни рук, ни ног. Кроме того, мела сильная пурга, и к утру я превратился в сугроб. Когда стало светать, еще в сумраке я увидел огромный мост через Волгу. Я обрадовался, что скоро будет Казань — хотя чувства и мысли приходили какими-то притупленными. Но тут-то и началось самое страшное и непонятное. Как раз когда мы въехали на мост, на меня вдруг посыпались стекла из окна на площадке. Кто-то выбил стекло. Я пытался отвернуться, хотя замерз и почти не мог двигаться, и получил несколько глубоких порезов лица. Я очень удивился, поймав губами свою кровь, что в таком насквозь промерзшем теле кровь такая горячая. Помню, что я даже усмехнулся. Видимо, радость от неожиданных, парадоксальных открытий не оставляла меня даже и в столь критическую минуту. Но оказалось, что все самое страшное еще впереди. Из разбитого окна вдруг высунулась какая-то острая железная пика, и стала яростно колоть меня, явно пытаясь при этом

выколоть глаз. Нужно было как-то защищаться, но я боялся отпустить руку и упасть — поезд как раз шел на большой высоте над частично замерзшей, частично черной, дымящейся водой. Ужасно было представить, как я туда упаду. Но удары пики становились все сильней и точней, и как я ни старался отворачиваться, кровь уже заливала глаза и текла, кажется, уже и из самих глаз. И тут я решительно оторвал от поручней левую руку и стал защищать свое лицо. Сначала замерзшая рука почти меня не слушалась, но постепенно разогрелась и обрела силу и ловкость. В конце концов мне удалось как следует ухватить эту пику и вырвать ее у моего загадочного врага. Применять ее для нанесения ударов я не стал, а с облегчением и радостью бросил вниз, и после нескольких звонких ударов она исчезла. Когда поезд подошел, наконец, к платформе Казани, я с трудом отцепился от поручней и едва слез. И тут же меня потащила бешеная толпа приехавших и встречающих. Никто из них не смотрел на меня и понятия не имел о том, что со мной недавно происходило. Я подумал с улыбкой, что это, наверно, и хорошо — такие гадости и не должны замутнять человеческое сознание. Чуть отогревшись в вокзале и немного умыв лицо, я по-

спешил домой и накормил мою любимую семью чудесной пшенной кашей.

Я сидел и смотрел на отца.

9

— Я понял, — сопя, произнес отец. — У меня кровь из носа идет, когда я горячее ем!

Еще одно открытие, хотя не очень и радостное. При этом он довольно спокойно ел картошку с собственной кровью. Силен! И здорово, видно, проголодался после всех испытаний, ему выпавших — в том числе и вчера.

— Ч-черт! — я скривился от боли — Что-то челюсть моя совсем... разрегулировалась! С трудом налезает — и дикая резь! Аж слезы идут!

И все время струйка слюны с уголка рта стекает... об этом уж я не стал говорить!

— Да, — прибавил я, — Видно, пришло мое время болеть.

— Погоди! — отец усмехнулся — Еще мое время не прошло.

Мы смотрели друг на друга.

— Отец! Ты чего хулиганишь, в больницу не идешь? С вьетнамцами тут драку затеял!.. международный скандал!

Отец, улыбаясь, смотрел. И про вьетнамцев, похоже, помнил.

— Ты помнишь, — с усмешкой проговорил,

— что я тебе рассказывал, как я в крематории все рассматривал? Уж когда самого привезут — не увидишь ничего. А хотелось бы... еще посмотреть, — он кивнул в сторону своего «поля». Я тоже поглядел туда.

Выросло уже с метр. И довольно тучные колосья свисают. Что-то надо сказать?

— Но это плохо, вроде бы, когда колосья свисают? — пробормотал я — Стебли склонятся, перепутаются... комбайном будет не убрать.

Мы грустно смотрели друг на друга... уж какой тут комбайн! И какая «уборка»?

— Ты... шпециалист! — усмехнулся батя. — В молодости я тоже стремился, чтобы он торчал... как штык! Стоит — значит не полегает!

Мы улыбнулись с ним вместе, отметив вполне прозвучавшую аналогию с «мужскими проблемами»... но отвлекаться не стали.

— Но не всегда первое, что приходит в голову, самое удачное. Заметили, что когда колос торчит — вода в чешуйках скапливается, и некоторые критерии зерна понижаются. Видал миндал? Так что... хотелось бы все это досмотреть.

Тут я понимаю его! «Хочется!» А остальное все ерунда. Даже на жизнь не хочется отвлекаться — а уж тем более на такую скучную тягомотину,

как смерть!

Помню, как я писал свою книжку «Жизнь удалась!» — месяц вообще не выходил из дому. Нонна — она тогда еще веселая была — смеялась: «Вот ето да! Пишет «Жизнь удалась!» — а дома еды никакой, и денег ни копейки.» «Отлично!» — я говорил. И свое продолжал. При этом вполне могло быть, что деньги на сберкнижку уже пришли, за сценарий о детях. Но — некогда было! Ерунда! Главное — свое видеть, а деньги и прочее — чепуха! Предпочитал остатки картошки есть, но — не отвлекаться... Но тут, похоже, и «последняя картошка» уже кончается.

— А если... случится что? — пробормотал я. — Тут даже поликлиники нет.

— А, это уже не наша забота!... Будет, как-нибудь! Ведь не может такого быть, чтобы совсем никак не было? — он лихо мне подмигнул. — Сделается как-то! Знаешь, как каланчу побелили?.. Повалили да побелили!

— ...А это кто?

С изумлением я смотрел на кудрявого мальчика, схожего с ангелом — войдя в калитку, он, весело подпрыгивая, направлялся к нам. Чем-то он меня напугал. Увидел в окне нас с отцом.

— Здравствуйте! — вежливо произнес он — Вы

эту пшеницу будете сами убирать? — он указал рукой на наше поле, длиной целых три метра.

— Это рожь, мальчик! — сказал я — А ты что — юннат?

— Нет, меня бабушка послала! — звонко ответил он.

— Подойди, — сипло произнес отец, махнув ладонью.

Мальчик, гулко топая, поднялся на крыльцо. Сняв сандалики, вошел в белых носочках с каемочкой. Подошел к столу. Отец вдруг взял его за плечики и грустно смотрел на него.

— А зачем тебе это нужно? Высевать будешь? — отец с надеждой спросил.

— Нет, — честно ответил мальчик — Бабушка курам будет давать.

— Ясно, — отец вздохнул — Курам... на смех. Ну ладно. Берите... Как убирать будете?

— Бабушка скосит косой.

Молчание было долгим. Мальчик попытался высвободиться из батиных рук.

— ...Ладно! Только условие: не раньше чем через... десять дней. Запомнил? — он сильно тряхнул мальчика.

— Да! — воскликнул мальчик испуганно.

Отец выпустил его. Мальчик торопливо одел

сандалики и сбежал с крыльца.

— Через десять дней... умоляю! — прохрипел ему вслед отец.

На бегу, не оборачиваясь, мальчик кивнул. Может быть, он испугался впервые в жизни?

Отец с тоской смотрел ему вслед.

— Ну вот тебе и... комбайн! — усмехнулся он. — ...Спать пойду.

Улыбаясь, опираясь на меня, он дошел, приседая на каждом шагу, до лежанки. Опустился в кресло. Тщательно расстелил постель. Он всегда застилал — расстилал очень тщательно, без единой морщинки, по-солдатски, хотя в армии был лишь на сборах. Потом капитально, не спеша, строго по своей системе, стал укладываться. Своя система была у него абсолютно для всего. Самое последнее движение — он аккуратно натягивает одеяло на могучую свою лысую голову. Улыбается. И закрывает глаза.

10

Мой дорогой сын Валера! Я уже заканчиваю свои записки, которые ты просил меня написать. Перечитав их, я испугался, что ты можешь подумать, что я всю жизнь только пахал и сеял, а самой жизни не видал. Это далеко не так, мой любимый сын Валера! Я много раз бывал и весел, и пьян, и счастлив. У меня были надежные, верные друзья, и я пользовался благосклонностью женщин, хотя, вынужден признаться, не уделял этому вопросу нужного внимания. Должен отметить, что именно с работой у меня связаны не только научные, но и самые приятные и веселые жизненные воспоминания. Когда я учился в аспирантуре у Вавилова и писал кандидатскую диссертацию по пшеницам, каждое лето я работал на селекционной станции Отрада — Кубанская, расположенной в очень красивой местности с хребтами Кавказа на горизонте. Я подружился там с другим аспирантом ВИРа, Платоном Лубенцом. Мы сошлись настолько, что решили поселиться вместе, вести общее хозяйство и сообща питаться. Платон был украинец. Очень добродушный, но хитрый — и, как бы

сказать... скуповатый. При этом он был склонен к грандиозным проектам. В первое наше лето он решил вырыть огромный погреб. И хранить там запасы консервированных овощей и фруктов, которые были там в изобилии. Он присмотрел холм неподалеку, нанял рабочих, и они по его указаниям стали рыть лаз в этот холм, чтобы потом вырыть в нем помещение для хранения наших запасов. Помню, я смеялся над этим, говорил, что если он отроет скифское золото, то я рассчитываю на половину. Я особенно хозяйственным никогда не был и кроме моих опытов, ничем не интересовался. И вот однажды я шел с поля, и вдруг увидел на фоне заката на том самом холме горделивую фигуру Платона. Я еще подумал, что он стоит, как Наполеон, выигравший сражение. Платон был такой же маленький и пузатый, как и знаменитый французский император. Я подошел. Платон, не спускаясь с холма, прямо оттуда, как вождь с трибуны, сообщил мне, что строительство самого совершенного овощехранилища в мире закончено. Я увидел, что кроме массивной двери, которая была открыта, хранилище имело еще решетку. Платон сообщил гордо, что рабочие сварили решетку по его чертежам. Я потрогал массивный замок на решетке, и сказал

несколько слов одобрения. Платон гордо топнул ногой. И вдруг внутрь хранилища стала сыпаться земля, все обильней, а потом туда же ссыпался и Платон, весь черный, как негр, только глаза его сверкали. Он в бешенстве стал трясти решетку, но она была на замке. Помню, я хохотал так, что упал в канаву и катался там. Платон тряс решетку все сильнее, и я подумал, что сейчас на него рухнет весь холм, Я взял себя в руки, вылез из канавы, весь в репьях, и подошел к Платону. Несколько раз смех еще прорывался, но я старался сдерживаться. Я спросил моего друга, чем я могу ему помочь, и как можно открыть решетку. Он не отвечал, и лишь обиженно сопел. Я сказал ему, что если у него есть ключ, он может передать его мне, и я открою решетку. Тут он засопел еще более агрессивно. Потом даже, как бы забыв про меня, отвернулся и стал отряхиваться. Я понял, что он не может никак преодолеть свою хитрость и жадность и дать мне ключ: «Мало ли что?» Тогда я, снова засмеявшись, сказал, что если ему нечего мне предложить, я пойду немного посплю, а утром приведу слесаря, и он распилит решетку. «На!» — произнес Платон злобно, и сунул мне ключ. Целую неделю он не разговаривал со мной — тем более, что на меня при взгляде на

него то и дело находили приступы смеха.

На другой год им овладела другая грандиозная идея: разведение кур. «Всегда будем при мясе, при яйцах!» Мы отобрали на инкубаторе тридцать цыплят, сделали загородку из железной сетки. Кормили-поили их. Они довольно быстро выросли и оперились. Но нести яйца почему-то отказывались. Может, потому, что среди них не оказалось ни одного петуха — хотя Платон при выборе их несколько раз говорил уверенно: «Петушок». Наша домохозяйка утешала нас, что куры могут нести яйца и без петухов — правда, неоплодотворенные, но такие же вкусные. Но наши куры упорно не хотели этого понимать. В конце концов Платон обозлился и сказал, что пора им рубить головы, раз ни на что, кроме супа, они не годятся. Но и тут нас ждал конфуз. Платон взял топор и открыл загородку. И тут же — ф-р-р-р! — все куры вылетели и разлетелись по станице. Потом мы долго бегали и пытались их отловить — заметив мирно пасущуюся на улице «нашу» куру, накидывались на нее и начинали душить, но, как правило, то оказывались чужие куры, и хозяйки гнались за нами с коромыслами наперевес. Потом мы уже не могли спокойно ходить по станице — от каждой хаты кричали : «Вот они, вот они! Держи их!»

К счастью, пришло спасение. В станицу вдруг въехала машина марки «форд». Все смотрели на нее разинув рты — в ту пора любая машина была редкостью, а тем более такая. Она остановилась как раз у нашего дома, и из нее вышел красавец-шофер, одетый по самой последней моде — краги, кожаная куртка, очки. Это была личная машина Вавилова и личный его шофер. Вавилов в этот момент был неподалеку, на станции Кавказ. В конверте было письмо от Вавилова, связанное с моей диссертацией: он предоставлял мне свою машину и водителя, чтобы я проехал по всему Закавказью и Крыму, и разыскивал в посевах пшениц экземпляры полудикого предка под названием тритикум персикум. Тысячелетия назад люди перестали сеять эту разновидность, но будучи очень цепкой и жизнестойкой, она удерживалась среди культурных посевов, зерна ее попадали при обмолоте в общий фонд и она снова всходила. Вообще, использование диких и полудиких предков с их жизнестойкостью, короткостебельностью и другими ценными качествами чрезвычайно перспективно для выведения новых сортов — это и было темой моей диссертации. Мой сын Валера! Какое это было путешествие! Горы, водопады, живописнейшая природа. И в каждой точке мо-

его назначения меня встречали, как дорогого гостя. Помню, в Нахичевани, на станции Закаталы была оставшаяся от прежнего хозяина большая аллея деревьев грецкого ореха — и мне в дорогу дали целый мешок этих орехов. Но главное — я занимался любимым делом, к которому я стремился всегда. В Крыму я приехал в Никитский Ботанический сад, где тоже работали мои друзья-аспиранты. На море был шторм, и мы катались на огромных волнах. Я был тогда сильный и отчаянный, и прямо на волне ногами вперед взлетал и становился на мол — из всех только мне одному это удавалось! Мой любимый сын Валера! Не плачь! Я прожил счастливую и удачную жизнь. Я люблю тебя и горжусь тобой. И верю, что тебе тоже удастся сделать главное дело своей жизни. Прощай!

...Ну почему я не прочел это раньше и ничего не сказал ему?!

...Только бы не вьетнамцы приехали! — как заклинание, повторяла Нонна.

— Что ты городишь чушь! Причем тут вьетнамцы! Хоть кто-нибудь бы приехал... хоть марсиане... час уже после вызова прошел!

Отец дышал прерывисто, всхлипами. Его руки,

в бурых старческих пятнах, озабоченно сновали по одеялу, словно собирая крошки.

— Они что — не знают где будка Ахматовой? — заорал я.

— Вполне может быть! — испуганно хихикнула Нонна. — Ты сказал — переулок Осипенко. А ведь за шоссе еще улица Осипенко есть!

— Слушай! Почему ты свой ум столько десятков лет скрывала?

Побежал. Виляя между несущимися джипами (вот именно сейчас не хотелось бы погибать), пересек шоссе. Остановился, с болью дыша. Изо всех сил сощурясь, вгляделся. В самом конце длинной узкой улицы Осипенко белел зад какого-то пикапа. Очень может быть. Побежал. Дышать было больно. Крохотный пикапчик начал там разворачиваться. Я стал махать на бегу рукой.

— ...это я, — сипло произнес, ухватившись за ручку дверцы.

Дыхание не утихло еще, когда мы, подпрыгнув на лежавших пластом воротах, въехали на участок. Следуя моим немым жестам, подрулили к крыльцу. Первым выскочил я, затем спустился из кабины доктор. Не вьетнамец, точно. Худой, даже изможденный, слегка прихрамывающий. И почему-то в непроницаемых черных очках. Мо-

жет быть, марсианин? Первым делом, не снимая очков, долго смотрел на дом. Потом вдруг резко повернулся ко мне.

— Что Вы там диспетчеру чушь несли? Какая «будка Ахматовой»?

Еще не справясь с дыханием, я молча указал рукой.

— Что Вы мне чушь городите? Ахматова до революции жила! А это — типичная новая стройка! Вон — гвозди еще валяются везде!

— Был... ремонт! — наконец, я смог что-то выговорить. — А вон... табличка.

Прихрамывая, он взошел на крыльцо. Долго читал табличку, состоявшую всего из восьми слов. Не войдет, пока всю злобу не истратит. Наконец, повернулся.

— Показывайте!

Мы вошли на веранду. Руки отца бегали по одеялу еще быстрей. Голова была закинута, рот раскрыт. Его мощный приплюснутый нос жалобно хлюпал.

— Ну — и что Вы от нас хотите?

— Вот... отец.

— И что же?

— А Вы не видите?

— Вижу старого человека. Даже очень старого.

— И что?

— А Вы знаете, что больницу для престарелых в Зеленогорске закрыли в прошлом году? Вы же, кстати, и закрыли!

Какие это «мы»? Оказывается, это не «скорая», а передвижная политическая трибуна на колесах! Не повезло.

— Если Вы достаточно денег имеете, чтобы ремонтировать дачи — вызывайте «скорую» для богатых. Могу Вам телефончик их дать. А мы бесплатно работаем. И катать человека просто так... чтобы потом обратно вернуть, возможности не имеем! У нас сколько бензину Потапыч?

Водитель Потапыч, присевший передохнуть, не ответил. Видно, к вопросу этому слишком привык.

— ...Правда, приезжают они, — язвительно продолжал этот врач-обличитель — все равно на час позже, чем мы... когда мы час уже больного откачиваем. Маринка! Кардиограмму!

Толстая, да и не очень молодая Маринка раскрыла чемоданчик-кардиограф. Стала прицеплять к отцу датчики.

— Куда? Этот на ногу!

Щелчок. И поползла лента с загадочной линией, пиками и провалами.

— ...Ну что?

— Ничего.

— Нормально?

— Абсолютно ничего нормального.

— Вы что? Издеваться сюда приехали? Перед вами человек!.. Всю Россию кормил!

— Чем это?

— Кашей. И хлебом.

— Агроном?

— Селекционер. Сорта выводил. Проса. Ржи. Кок-сагыза даже, одно время.

— Как зовут?

— Георгий Иваныч.

— Иваныч! — он тронул отца за плечо — Мой отец тоже рожь сеял! Невель, такой город, слыхал? До тридцати центнеров на гектар у него выходило. Нормально?

Отец не двигался и не отвечал — даже на такой существенный для него вопрос.

— Ну что, Иваныч? Путешествовать поедем?

Слипшиеся губы отца разлепились. Может — это вылетело «да»?

— Крепкие мужики тут есть? — доктор энергично повернулся — А то мне напрягаться нельзя. Недавно я тут уже напрягся! — он сдвинул на секунду очки и как-то весело продемонстрировал

правый глаз с красными лопнувшими сосудами.
— Вот так!

Я сбегал в соседние дома и привел «крепких мужиков» — Петю Кожевникова и Колю Крыщука. Врач с водителем тем временем подогнали железную каталку к крыльцу, а возле кровати на полу расстелили толстую оранжевую клеенку с деревянными ручками по углам.

— Взяли — двое под руки, двое за ноги. Переложили вниз!

Мы с водителем брали отца под мышки. Тут меня вдруг прошибла слеза — я вспомнил, как недавно совсем мы боролись с ним тут, когда он пер неизвестно куда — какой крепкий, упрямый был мужик — не перебороть. И вдруг словно «выветрился» весь — совсем невесомый и слабый! Но ярость, слава Богу, еще осталась прежняя — он вдруг вывернулся из наших рук и сел, всклокоченный, в сбившейся одежде, прерывисто дыша. Стал что-то нашаривать возле кровати, яростно отпихивая расстеленную клеенку ногами в приспущенных носках.

— Иваныч! Не шали! — рявкнул доктор.

Отец, продолжая шарить возле кровати, глянул на него, потом на меня абсолютно безумными, белыми глазами. В его руках, ставших уже в два

раза тоньше, чем были, вдруг оказалась ярко-желтая пластмассовая, с мультипликационным зайчиком на ярлыке, банка какао.

— На! На! Тебе! Тебе! — страстно залопотал он, тыча ее мне в руки.

— Бери, раз батя дает! — скомандовал доктор.

Я взял, некоторое время в растерянности подержал банку в руке, потом поставил на его стол, заваленный папками и листами. Может, это последнее, что он видит в жизни... и это не самое худшее, что можно увидеть напоследок.

И он закрыл глаза. Мы переложили его на клеенку на полу, взялись за ручки. Медленно ступая, спустились с крыльца. И водрузили его на каталку, скрипнувшую пружинами. Все как-то расступились, и я покатил отца один. Левая рука его свесилась с каталки, и прошлась по колючим свисающим колосьям. Сжалась — и разжалась.

Вместе с водителем мы вдвинули отца в «скорую». Выехали за ограду. Я сидел на стульчике рядом с отцом, держал его за руку, и смотрел через незакрашенный верх стекла на синее небо, сосны, наклонные столбы солнечного света, словно пытаясь передать эту картину ему. Выехали на шоссе. Свернули налево.

— Разве не в Зеленогорск едем? — вырвалось

у меня.

— Я уже сказал тебе про Зеленогорск! — глянув из кабины через окошечко, сказал врач.

— Но такого вот... заслуженного... должны и в Сестрорецке принять, — жалобно произнесла медсестра, сидящая со мной рядом.

— Мой отец тоже был заслуженный, а умер в своей хатке, как пес! — рявкнул доктор.

Появился высокий ступенчатый дом (называемый в народе «бронтозавр») на берегу Разлива. Остался лишь один поворот...

— Ну все! Я договорился! Бывай! — доктор «скорой» тряхнул мне руку.

— Спасибо тебе... ты настоящий мужик! — только успел пробормотать я, и он умчался.

Тем не менее, после этого отец еще час лежал в накаленной солнцем, чистой и красивой комнатке «приемного покоя», и никто не приходил за ним. Дежурная, не перестающая что-то деловито писать, на мои все более нервные вопросы отвечала одно: «Вашего отца должен осмотреть главный врач и решить, что делать... но пока главного нигде не могут найти.» За это время привезли и увезли шестерых — более молодых и, видимо, более нужных стране. Я понимал, что дело не в поисках Главного — просто где-то там

решается довольно существенный вопрос: брать или не брать? А если — «не брать»?.. Но жизнь все же милостива — наконец, явился огромный санитар, в майке и наколках, но зато с огромным крестом. Движения его были сильно затруднены алкоголем — он двигался словно против сильного течения. Так нынче выглядят ангелы. Я вдруг представил, как смотрел бы сейчас на него отец, если б мог, и как весело и точно потом бы рассказывал. Всего за какие-то пять минут санитар одолел упрямое пространство и подошел к каталке. Отец лежал с закрытыми глазами, закинув голову и открыв рот.

— Этот? — произнес ангел.

Я кивнул. Он взялся за ручки каталки и вдруг мгновенно протрезвел. Движения его обрели силу и четкость. Я еле поспевал за каталкой по коридору. Перед мутными стеклянными дверьми с надписью «Реанимационное отделение» он остановился.

— Вам дальше нельзя! — строго и официально произнес он.

Я посмотрел на отца. Подержал его за щиколотку. Вдруг он открыл глаза — взгляд сейчас был абсолютно сознательный. Он тянул ко мне ладонь. Я дал ему руку. Он подвел ее к своему

лицу и поцеловал запястье. И закрыл глаза.

Я сидел в коридоре. Вдруг за дверьми раздался какой-то грохот: он мне даже знакомым показался. «Батя лютует»? Хорошо бы, если так.

Вышел знакомый уже лысый доктор, который принимал нас тут (а точнее, не принимал). Еще отец почему-то решил, что это мой одноклассник. Он улыбался — что странно, вообще-то, при выходе из реанимационного отделения... но, мне кажется, я понимал его.

— Ну, ваш отец!.. — он восхищенно покачал головой. — Извините... ни один орган уже не работает... но — дух! Мы таких называем — «уходящие», и вдруг он спокойно садится, валит при этом стойку с капельницей, и вежливо сообщает, что он должен «идти на наряды»! Извините — «наряды» — это распределение сельскохозяйственных работ и техники? А то мы тут заспорили с коллегами.

— А Вы что... знаете его?

— Да. Я сначала его узнал... а потом уж тебя. Не помнишь — Валька Спирин? На одной парте сидели!

Ну, батя! И тут оказался прав!

— Но Вы... ты же кудрявый был!

— Ну... вот, — он шутливо развел руками.

— Но ты же петь хотел!

— Ну... вот.

Мы помолчали.

— Так что... извините — пришлось зафиксировать его! — снова переходя на официальные позиции, произнес он.

— В смысле — привязать ?

Этого он не потерпит.

— Скончался. В двадцать два пятнадцать.

— ...А я тут навез всего!

В Комарово я по заливу возвращался. Шел неторопливо — теперь уже не надо спешить!. На асфальте тряслась от ветра пена. Давно я тут не был! Сколько понастроили всего!

Я вошел в его комнату в городской квартире. Вдохнул его едкий запах. А он уже сюда не войдет. Чувствовал он это, когда уезжал? Я как его глазами смотрю... Открыл шкаф. Костюм. Рубашка. Галстук. Ботинки... Сумка — в другом шкафу.

Над столом было его фото: отец в полосатой пижаме (так ходили тогда) на крымской набережной. Через парапет летит длинная волна, насквозь просвеченная низким солнцем — отец, смеясь, отворачивается, и закрывается от нее ладонью.

11

В столе его нашел еще несколько листков.

...Под конец жизни все чаще почему-то вспоминается детство. С самых первых дней моей жизни, проведенных в деревне, все производило на меня громадное впечатление, и главное — я обо всем хотел составить свое особое мнение, непохожее на мнение других. Я еще ползал в рубашонке по лавке, как вдруг заинтересовался содержанием блюдечка на столе, подтащил его к себе и, не раздумывая, выпил. Это был яд для мух. У меня сразу начались судороги, но судьбе не было угодно, чтобы я умер. Я прожил долгую жизнь. Но характер мой остался такой же — я все должен был попробовать сам, и лишь тогда соглашался, но далеко не всегда.

Я рос очень впечатлительным, и жизнь моя запечатлелась очень ярко. Помню запах мятой травы. Вместе с отцом и другими мужиками мы лежим на траве и ждем, когда истопится баня. Садится солнце. Я еще плохо стоял на ногах, но, помню, полез бороться с соседским молодым мужиком. Он, конечно, сразу поддался, лежал

на спине. Я радостно тузил его. А он хохотал: «Победил, Егорка, победил!» Этот момент, почему-то очень важный, я помню ясно, словно он был вчера.

Врезалось и другое впечатление. Я еле научился ходить, и, еще покачиваясь, бегу по тропинке, радуясь, что столько можно увидеть. Передо мной так же радостно бежит маленький воробей, весело поглядывая на меня. И мы оба с ним счастливы. И вдруг сзади налетает какая-то тень, воробей жалобно вскрикивает и исчезает. Только что была молодая и радостная жизнь, и вдруг нет ее — унес коршун! Я постоял, потом заплакал и побежал домой. После я думал — зачем мне это показали так рано? Видимо, для того, чтобы я ценил эту мимолетную жизнь и не растратил бы ее даром.

— Так... Рубашка... галстук... ботинки... костюм. А носки?

— ...Забыл!

Как отец шутил в таких случаях: «Жабыл!»

— Ладно... тут что-нибудь подберем.

Зимой в Березовке тоже было хорошо. С обрыва реки мы катались на «ледовках». Мы находили коровью лепешку побольше и покрасивее. Вдав-

ливали в нее конец веревки, и поливали это на морозе водой. Скоро все смерзалось, и можно было отлично съезжать на этом с обрыва к реке. Съехав, мы за вмороженную веревку, которую не выпускали из рук, тащили «ледовку» за собой вверх, и снова съезжали. Так мы катались до-темна, когда ничего уже не было видно, и тут я спохватывался и бежал домой. Мой кожушок с раструбами, который сшила мне мать, за время моего катания смерзался, и когда я радостно подбегал к дому, он задевал прутья плетня, и они трещали трещоткой.

Мать слышала это и говорила тем, кто был дома: «Егорка бежит, кожушком стучит!»

Похороны были тринадцатого в тринадцать! Батя непременно бы усмехнулся: «Во, не повезло!» Надеюсь — он и усмехнулся — слава Богу, не исчез!

Был «большой выезд» — автобусы подруливали один за другим.

— Открывать будете?

— Нет... Там откроем.

Тяжелый гроб, скребя по крыльцу, по направляющим «рельсам» въезжал в автобус.

«Егорка бежит, кожушком стучит».

— Георгий Иванович Попов был большим ученым. Мы все любили его. Он был сильнее всех нас. Он делал то, что все делать боялись: скрещивал, и потом работал с гибридами так... что у всех волосы дыбом вставали. И неизменно добивался своего! Он был серьезный, исступленный, неотступный ученый. Когда нас, по воле безграмотного партийного руководства, буквально «пересаживали» из Суйды в Белогорку, Георгий Иваныч сражался бесстрашно, как лев, не обращая внимания на угрозы исключения из партии. Но когда нас все-таки «пересадили» на совершенно неподготовленные, скудные поля, он сумел, как настоящий гений, использовать и эти «шоковые» для его гибридов перемены, и именно в Белогорке вывел свои главные сорта ржи. Где другой унывал и падал духом — Попов только весело скалил свои белые зубы! Вскоре он восторгался и Белогоркой, желтыми песчаными обрывами над Оредежем, и как всюду и всегда, придумал свою теорию — что хозяином Белогорки был когда-то итальянец и дал это название. «Белла — Горка!» — подняв палец, восторженно восклицал Георгий Иваныч. Уже профессор, доктор наук, он мог, свистнув в два пальца, вдруг прыгнуть на проезжавшую мимо борону и лихо

проехаться в облаке пыли. Земля во всех видах не пугала его. Он обожал ее. Мы с радостью работали с ним дотемна, а когда шли с поля, он наизусть читал нам всего «Онегина», главу за главой. «Ах, ножки, ножки!» После него у нас не осталось ему равных, и мы сейчас — без поддержки, порой и без денег, работаем лишь на остатках его энергии, которую он дал нам. Спасибо Вам, Георгий Иванович! Спите спокойно.

— Отец! Ты прожил долгую и яркую жизнь. Ты... ехал на верблюде по пустыне, туда, где еще недавно были басмачи. Ты ехал на подножке вагона над Волгой, и какой-то доброхот колол тебя острой железной пикой, чтобы сбросить с поезда — но ты вырвал и выбросил ее. Отец! Ты сделал все, что хотел. Тебе не о чем жалеть.

— ...Прощайтесь.

Самолет разворачивался над Казанью, шли в наклоне желтые поля... огромное озеро... Это же Кабан! Рано утром с городской квартиры родители шли в темноте вдоль этого озера, уже светлого, семь километров до селекционной станции — и несколько раз брали меня с собой. А вот Волга, и железнодорожный мост, где отца пытались сбросить с поезда — но он устоял. Я чуть было не

выскочил из самолета, чтобы лететь туда!

Заверещал телефон. Я еле понял, где я, и нашарил его.

— Валерий Георгиевич ?

— Я.

— Это Маргарита Феликсовна.

— А... Здравствуйте.

— Должна Вас огорчить!

— Как?

— Я говорила с Николаем Альбертычем... насчет вашей поездки в Казань. Но, к сожалению, ничего не получилось... Писатель Строгин будет ваш город представлять.

— А-а. Спасибо! Это неважно! Я все уже написал.

Шел дождь. Пришла женщина в капюшоне и с косой, и стала косить нашу рожь. Я вышел, осмотрелся. Сегодня уезжать. Отцовские сосенки почти высохли. По одной зеленой ветке у каждой. Я вспомнил, какие мощные колья он тут всаживал, охраняя их. Я нашел какую-то палку и воткнул слабый, неуверенный кол... «Победил, Егорка, победил!»

Вдруг прибежала какая-то незнакомая рыжая собака, помахала мохнатым хвостом, и вышло

солнце.